ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН
СКАЗКИ И ИСТОРИИ

I

ХАНС КРИСТИАН
АНДЕРСЕН

СКАЗКИ
И ИСТОРИИ

HANS CHRISTIAN
ANDERSEN

ХАНС КРИСТИАН
АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО
С ЮБИЛЕЙНЫМ КОМИТЕТОМ
«ХАНС КРИСТИАН
АНДЕРСЕН –
2005»

ХАНС КРИСТИАН
АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

ТОМ ПЕРВЫЙ

СКАЗКИ И ИСТОРИИ

ПЕРЕВОД С ДАТСКОГО:

А. АФИНОГЕНОВОЙ,
Н. КИЯМОВОЙ,
Н. ФЕДОРОВОЙ,
Ю. ЯХНИНОЙ

ИЛЛЮСТРАЦИИ
ХУДОЖНИКА
В. ВАСИЛЬЕВА

МОСКВА «ВАГРИУС» 2005

УДК 860-312.6
ББК 84 (4 Дан.)
А 65

Дизайн В.Гусейнова

Андерсен Х.К.
А 65 Собрание сочинений в 4 т. / Ханс Кристиан Андерсен. — М. : Вагриус, 2005

Т. 1. : Сказки и истории. Предисловие А.Сергеева. Составление А.Чеканского, А.Сергеева, О.Рождественского. — 734 с. : ил.

ISBN 5-9697-0001-0
ISBN 5-9697-0027-4 (Т. 1)

Ханс Кристиан Андерсен (1805—1875) — великий датский писатель, чье творчество навечно вошло в золотой фонд мировой культуры. В 2005 году по решению ЮНЕСКО весь мир отмечает юбилей — 200 лет со дня его рождения. К этой знаменательной дате подготовлено данное 4-томное собрание сочинений Х.К.Андерсена.
В первый том вошли его «Сказки и истории» (1835—1858).

УДК 860-312.6
ББК 84 (4 Дан.)

ISBN 5-9697-0001-0
ISBN 5-9697-0027-4 (Т. 1)

«Жизнь в поэтическом свете»
Мир творчества
Ханса Кристиана Андерсена

Ханса Кристиана Андерсена без всякого преувеличения можно назвать самым знаменитым датским писателем. Его художественное творчество привлекало и продолжает привлекать к себе внимание читателей и исследователей во всем мире. Вряд ли кто решится оспаривать тот факт, что главный вклад писателя в мировую культуру — это его сказки (еще при жизни Андерсен удостоился чести называться королем всех сказочников). Вместе с тем как у себя на родине, так и далеко за ее пределами он хорошо известен как романист и драматург, поэт и создатель увлекательных путевых очерков, наконец, как автор по меньшей мере трех книг воспоминаний. Большой интерес творчество Андерсена вызывало в России. В письме переводчице М.В.Трубниковой 28 августа 1868 г. Андерсен писал: «Вернувшись из поездки за границу, я обнаружил с удивлением и радостью прекрасное русское издание моих сказок и историй. Я очень рад, что мои произведения читаются в великой России, чью богатую литературу я отчасти знаю, начиная от Карамзина до Пушкина и вплоть до новейшего времени».

Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 г. в г. Оденсе в семье сапожника и прачки. Когда отец будущего писателя Ханс Андерсен познакомился со своей будущей женой Анной Марией, ему исполнилось двадцать два, она была почти на десять лет старше. Его родители поженились за два месяца до рождения сына. Отец Андерсена был человеком одаренным, отличался живым умом и богатым воображением, но из-за бедности своих родителей не сумел получить образование. Все свободное время он проводил с сыном — рисовал картинки, помогал ма-

стерить игрушки и даже соорудил кукольный театр, а по вечерам часто читал ему комедии Л.Хольберга и сказки «Тысячи и одной ночи». Он бредил Наполеоном и в 1812 г. завербовался солдатом в наполеоновскую армию, однако в военных действиях принять участия не успел и только подорвал в походной жизни свое здоровье. В 1816 г. после недолгой и тяжелой болезни он умер, оставив жену с ребенком на руках. Анна Мария, происходившая из крестьянской семьи, была заботливой и любящей матерью. В ней «все было сердце», как писал Андерсен. Точная дата ее рождения не известна. Исследователи выяснили только, что бабушка Ханса по материнской линии дважды побывала замужем, но еще до первого брака родила трех внебрачных дочерей, одной из которых и была Анна Мария. До того как выйти замуж за отца Ханса Кристиана, она несколько лет прослужила в богатых домах Оденсе, а в 1799 г. у нее родилась внебрачная дочь Карен. Свою сводную сестру Ханс Кристиан позднее встретил в Копенгагене, где она служила прачкой. Через два года после смерти мужа Анна Мария снова вышла замуж. Ее второй муж тоже был сапожником и женился против воли родителей, посчитавших, что их сын мог бы сделать более выгодную партию. Он не обращал на пасынка никакого внимания и никак не повлиял на его развитие. Второй брак Анны Марии был также недолог. Ее муж умер в 1822 г., и после его смерти, оставшись одна, Анна Мария, не отличавшаяся твердым характером, постепенно опустилась, стала пить и закончила свои дни на больничной койке. Ханс Кристиан по мере сил помогал ей материально и поддерживал с ней отношения вплоть до ее смерти в 1833 г.

Всю свою жизнь Андерсен с большим уважением относился к памяти родителей и никогда не скрывал, что родился в бедности. Он гордился тем, что его отец был ремесленником, и благодарил родителей за то, что они обеспечили ему относительно благополучное детство. Особенно тепло он вспоминал о своей бабушке по отцовской линии Анне Катрине и сожалел, что она не дождалась его первых литературных успехов. Бабушка любила и баловала внука. Она даже сочинила для него историю благородного происхождения их семьи: будто бы его прабабушка — богатая и знатная дама — в свое время совершила «ошибку», убежав из дома с «бродячим комедиантом». И все же детство Ханса Кристиана не было столь безоблачным, как он описывает его в своих воспоминаниях. Чувство социальной ущемленности в условиях сословно-бюрократиче-

ской Дании и страх перед тяжелой семейной наследственностью омрачали его сознание. Больше всего Ханса Кристиана пугала болезнь его деда по отцовской линии, который к концу жизни страдал тяжелым психическим недугом. Ханс Кристиан часто наблюдал, как дед бродит по городу в сопровождении толпы уличных мальчишек. Однажды он очень удивил своего внука, обратившись к нему на «вы». В школе для бедных, куда Ханса Кристиана определили в 1811 г., у него не было друзей. За страсть к сочинительству одноклассники дразнили его «слабоумным, вроде дедушки», и это крепко врезалось ему в память.

Предоставленный самому себе, Ханс Кристиан жил в мире грез, уйдя с головой в художественную литературу. Жажда чтения проснулась в нем рано, и он начал брать книги в домах некоторых «важных дам», которые принимали в нем участие. Подростком Ханс Кристиан начал сочинять «кровавые трагедии в духе Шекспира». Он по-прежнему держался в стороне от сверстников, часами мог сидеть, погруженный в мечты, или разыгрывать представления в своем кукольном театре. Спектакли Королевского театра, которые Ханс Кристиан увидел из-за кулис благодаря своей дружбе с разносчиком афиш, вызвали в нем желание стать актером. После конфирмации, состоявшейся весной 1819 г., Ханс Кристиан решил отправиться в Копенгаген и попытать счастья на сцене. Пророчество гадалки, которая предрекла ему великое будущее: «Настанет день, и город Оденсе зажжет в его честь иллюминацию», — заставило суеверную Анну Марию согласиться с решением сына, хотя она и мечтала видеть его портным.

6 сентября 1819 г. с тринадцатью скопленными ригсдалерами в кармане Ханс Кристиан прибыл в Копенгаген и первым делом отыскал Королевский театр. Он мечтал оказаться там в какой угодно роли: танцовщиком балета, певцом или даже автором пьес. Он добился аудиенции у знаменитой балетной танцовщицы А.М.Шалль и продемонстрировал ей свое искусство танца. Его удивительные жесты и вообще странное поведение до такой степени поразили ее, что она, как впоследствии призналась Андерсену, приняла его за сумасшедшего. Точно так же провалились и другие его попытки. Наконец счастье улыбнулось ему, когда он показал свои вокальные способности директору оперной студии Королевского театра итальянцу Д.Сибони. В тот день у него находились композитор К.Вайсе и писатель Й.Баггесен, которые благосклонно отнеслись к странному молодому человеку и собрали деньги на его обуче-

ние. Баггесен произнес свои знаменитые слова: «Я предвижу, что со временем из него выйдет толк! Только не возгордись, когда вся публика начнет рукоплескать тебе!» Ханс Кристиан начал учиться у Сибони и одновременно стал посещать занятия в балетной школе. Спустя год он выступил на сцене в качестве статиста. Однако ни в пении, ни в танце Хансу Кристиану так и не довелось добиться успеха. Его все реже допускали к участию в представлениях, а в июле 1822 г. уволили из театра. Теперь у него оставалась последняя возможность прославиться — сочинять пьесы, тем более что опыт подобного рода у Ханса Кристиана уже был в Оденсе. Он написал трагедию «Лесная часовня» на сюжет немецкой романтической новеллы, следом за ней появилась драма «Разбойники из Виссенберга» по мотивам народного предания. Из театра ее вернули с замечанием, что ввиду полнейшей безграмотности автора дирекция просит его впредь таковых пьес не присылать. Но это не удержало его от новой попытки, и он сочинил драму на тему скандинавской истории «Солнце эльфов». В августе 1822-го в журнале «Арфа» был напечатан отрывок из «Разбойников из Виссенберга». В это время Ханс Кристиан зачитывался романами Вальтера Скотта. Он решил издать сборник своих произведений, включив в него Пролог в стихах, пьесу «Солнце эльфов» и написанную в подражание английскому романисту новеллу «Привидение на могиле Пальнатоке». Сборник появился под заголовком «Юношеские опыты Вильяма Кристиана Вальтера» (в честь Вильяма Шекспира, Вальтера Скотта и Ханса Кристиана — то есть самого себя). Драма «Солнце эльфов» попалась на глаза члену дирекции и литературному советнику Королевского театра К.Л.Рабеку. Он написал на пьесу отзыв, который по сей день хранится в датском государственном архиве, и, отметив полное отсутствие у автора образования, признал, что в его произведении есть искра таланта, который нуждается в поддержке. На собрании дирекции театра Рабек ходатайствовал о королевской стипендии для обучения Ханса Кристиана в школе. Член дирекции статский советник Й.Коллин позаботился о том, чтобы ему предоставили возможность бесплатно учиться. У Ханса Кристиана завязались близкие отношения с переводчиком Шекспира отставным адмиралом П.Ф.Вульфом и его семьей. Талантливого юношу поддержали видные писатели А.Г.Эленшлегер и Б.С.Ингеманн, а также выдающийся физик и философ Х.К.Эрстед.

Годы, проведенные Хансом Кристианом в латинской школе Слагельсе, оказались для него тяжелым испытанием. Обидные придирки, на-

смешки и грубость директора школы С.Мейслинга причиняли способному, но легкоранимому ученику постоянную душевную боль. Он испытывал панический страх перед директором и в какой-то момент был близок к самоубийству. К счастью, преподаватель Закона Божьего К.Верлин, учившийся в свое время у Мейслинга и хорошо его знавший, понял, что происходит с его учеником, и рассказал обо всем Й.Коллину, который немедленно вмешался в судьбу Ханса Кристиана и вернул его в Копенгаген. Здесь он в частном порядке подготовился к экзамену на аттестат зрелости и успешно сдал его в 1828 г., став студентом Копенгагенского университета, однако, следуя совету Й.Коллина, решил не продолжать обучение, а целиком посвятить себя литературе.

Юношеские переживания не поглотили Андерсена полностью и не изолировали от внешнего мира. В годы учебы он много читал, думал и даже сочинял, проявляя острый интерес ко всему, что происходило вокруг. Мировоззрение Андерсена формировалось на стыке двух культурных эпох. В начале XIX в. в Дании зарождалось романтическое движение, испытавшее на себе влияние идей немецких романтиков. Важную роль в распространении этих идей в стране сыграл естествоиспытатель и философ Х.Стеффенс, проходивший обучение в Германии и лично знакомый с немецкими философами Фр.В.Шеллингом и И.Г.Фихте. В то же время датский романтизм произрастал и на национальной почве. Провозвестником романтического движения в Дании стал поэт и драматург Й.Эвальд, в своих исторических трагедиях открывший современникам мир дохристианского прошлого Скандинавии. Вместе с тем всю первую треть XIX в. в стране еще царили дух и идеалы Просвещения. В 1797 г. на датском языке появилось сочинение Ж.Ж.Руссо «Эмиль» (1762). По утверждению историков культуры, в протестантских странах, к которым принадлежала и Дания, оно изучалось, словно Библия. Руссоистские идеи «естественной религии», признающей право разума быть судьей в религиозных делах, с которыми Андерсен познакомился еще в школьные годы, произвели на него огромное впечатление и легли в основу всей его дальнейшей жизни. Идея «природы как великого храма Божьего» стала одной из основополагающих в мире представлений Андерсена. Природа для него — это воплощение гармонии и совершенства, свидетельство силы и величия Творца. Не менее важной для него была и вера в Провидение, вера в доброго и заботливого Бога, который бережно ведет нас через опасности и трудности жизни. «Через все собы-

тия и проявления человеческой жизни проходит невидимая нить, указывающая, что все мы принадлежим Богу», — писал Андерсен. Он размышлял о вечной жизни как доказательстве «божественной природы» человека и не сомневался в том, что в борьбе за Красоту, Истину и Добро «человек может проиграть, но его бессмертная душа в конце концов восторжествует». При этом душа и поэзия для Андерсена, как и для других романтиков, составляли, по сути, единое целое. «Все телесное, материальное, все, что создано с помощью кольца Нуреддина, силой науки и разума, изменяется, как покрой надежды, с ходом времени, и только поэзия, душа пребудут в бессмертии». Вместе с тем Андерсен был далек от церковной ортодоксии. Его мало интересовала жизнь религиозной общины и еще меньше — та напряженная борьба, которую, например, каждый со своей позиции, вели выдающиеся датские религиозные философы и писатели Н.Ф.С.Грундтвиг и С.Киркегор за обновление и очищение датской церкви. Точно так же Андерсен почти не интересовался политической жизнью, считая «увлечение политикой пагубным для поэта». «Госпожа политика — это Венера, заманивающая поэтов в свою гору на погибель их. С политическими песнями этих поэтов бывает то же, что с газетами, которые, чуть появятся в свете, жадно разбираются, читаются и — забываются... Политика — не мое дело, — писал Андерсен. — Бог определил мне иную задачу, я чувствовал и чувствую это».

Искренняя религиозность сочеталась у Андерсена с неизменной верой в прогресс, добро и торжество разума. Он критически отзывался о сословных привилегиях и высокомерии дворянства, сочувствовал тяжелому положению социальных низов и считал подлинной аристократией «аристократию духа». Андерсен высоко ценил гуманистические ценности и во время первой датско-прусской войны (1848—1850), переживая за судьбу Дании, призвал воюющие стороны к миру. «Нациям их права, всему доброму и полезному — преуспеяние!» — вот что должно быть лозунгом Европы; он поможет мне с верой глядеть в будущее. Дай Бог, чтобы это время пришло поскорее! Пусть народы скорее узрят светлый лик Божий!» В то же время он боготворил королевскую власть и не пренебрегал возможностью заявить о своих верноподданнических чувствах. Поэтому неудивительно, что высоко ценивший либеральные ценности писатель пользовался репутацией консерватора, находившегося на крайне правом фланге политической жизни.

Творческий путь Андерсена начался в конце первой трети XIX в., когда романтизм уже достиг своего расцвета в творчестве Эленшлегера, Грундтвига и Ингеманна. Продолжавшийся вплоть до 1870-х гг. романтический период был отмечен выдающимися художественными достижениями и получил название «золотого века» датской литературы. С самого начала Андерсен заявил о себе как о писателе романтического склада и оставался таковым до конца дней, хотя в его позднем творчестве стали намечаться некоторые отличные от романтизма черты. Датские романтики, как и немецкие, верили в созидательную силу фантазии художника, в его способность ощущать свое сродство с природой. И поскольку царящий в ней мировой дух находил свое выражение в исторической жизни нации, то изучение старины, древней литературы, мифов и легенд приближало их, как им казалось, к познанию «духа народа». Древняя история Скандинавии, ее мифология и фольклор вдохновляли Грундтвига и Ингеманна. В сочинениях и практической деятельности Грундтвига делалась попытка объединить религиозные представления христианства с дохристианской народной культурой. В 1830-е гг. он приобрел известность прежде всего как исследователь скандинавской мифологии и автор мифологических драм и псалмов. В большой работе «Мифология Севера» (1832) Грундтвиг истолковывает древние мифы как выражение героического духа датского народа, у которого особая, возложенная на него Богом историческая миссия — объединение народов Севера. «Христианство, объединенное с культурой предков», — под таким лозунгом проводилась в жизнь разработанная Грундтвигом реформа народного образования. Национально-христианские идеи находили отклик и у Ингеманна. Как и Грундтвиг, он был увлечен Средневековьем, посвятив ему множество стихотворений, сказок, драм, исторических романов. Именно в исторических романах о датских королях, которые он писал в стихах и прозе, заключается главное значение творчества Ингеманна. Ориентируясь на образцы средневекового рыцарского романа, он воспевал в них королевскую власть и христианские добродетели.

Проявляя большой интерес к национальной жизни и культуре, Андерсен тем не менее не был склонен в романтическом духе идеализировать прошлое. Ему была больше по душе другая сторона романтического мироощущения — неприятие узкоэгоистического и приземленного отношения к жизни, — ярко выраженная в стихотворении «Золотые рога» (1802), комедии «Игры в ночь на св. Ханса» (1803), поэтической драме «Алад-

дин» (1805) Эленшлегера, противопоставившего духу филистерского самодовольства и стяжательства непосредственность, бескорыстие и искренность чувств «поэтического гения». В то же время, как неоднократно отмечалось в критике, демократические и сатирические тенденции творчества Андерсена, вышедшего из общественных низов, были, несомненно, глубже и острее, чем у Эленшлегера.

В школе Андерсену запрещали заниматься сочинительством, поэтому почти за пять лет учебы он написал лишь несколько стихотворений. Одно из них, «Умирающее дитя» (1826), вызвало восторженные отклики читателей и было переведено на немецкий и французский языки. Переезд в Копенгаген вдохновил Андерсена на создание новых лирических произведений, объединенных в сборник «Стихи» (1830). В него была включена и написанная в прозе сказка «Мертвец», которую он впоследствии переработал, дав ей название «Попутчик». Всеобщее признание принесла Андерсену романтическая фантазия «Прогулка от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер» (1829) об удивительных приключениях автора во время его странствий по окрестностям Копенгагена в новогоднюю ночь 1829 г. Автор этой поэтической импровизации легко перемещается во времени и пространстве. Воображение переносит его из настоящего то на триста лет в будущее, то почти на две тысячи лет назад, во времена Иисуса Христа. В иронически-пародийном тоне он рассуждает о литературе и литературных критиках, остроумно подшучивает над своей собственной чрезмерной чувствительностью. Несмотря на откровенное подражание Э.Т.А.Гофману, сочинение Андерсена пользовалось необычайным успехом и выдержало несколько изданий. В апреле 1829 г. Андерсен дебютирует в Королевском театре водевилем «Любовь на башне св. Николая, или Что скажет партер» — забавной пародией на романтические «трагедии рока». Летом 1831 г. на вырученные от спектакля деньги он отправляется в первое заграничное путешествие в Северную Германию и привозит оттуда путевые очерки «Теневые картины. Из путешествия по Гарцу и Саксонской Швейцарии» (1831).

Подсчитано, что Андерсен совершил двадцать девять путешествий. Далеко не все из них он описал в своих книгах, но все они в той или иной мере оставили след в его творчестве. Андерсен путешествовал больше, чем любой другой датский писатель. Он объездил почти всю Европу, побывал в Северной Африке и Малой Азии. «Путешествия — это

часть моей повседневной работы и образ жизни, — писал Андерсен. — Путешествуя, живешь. Жизнь становится интересной и богатой, питаешься не как пеликан собственной кровью, а впечатлениями Великой Природы». Путешествия расширяли кругозор писателя и служили стимулом к творчеству. Андерсен называл их «освежающим душем», «жизненным напитком», от которого он «вновь возрождался и молодел». Словно губка, он впитывал в себя путевые впечатления, легко и непринужденно излагая их на бумаге. Именно благодаря увлекательному описанию жизни незнакомых стран и народов его путевые очерки пользовались огромным успехом. Оригинальность его способа передачи своих впечатлений заключалась в том, что писатель выхватывал из общей картины самое яркое и запоминающееся и увлекал этим читателя.

Нет смысла искать в путевых очерках Андерсена изображения общественно-политической ситуации в тех странах, где ему довелось побывать. В политических дискуссиях своего времени он не участвовал и пером публициста не пользовался. Привлекательность путевых очерков Андерсена в другом: в импрессионистической красочности запечатленных картин городской и сельской жизни, а также в тонком юморе и лиризме. Своим названием и манерой изложения «Теневые картины» более всего напоминают «Путевые картины» Гейне, по признанию самого Андерсена, оказавшего на него в юности, как В.Скотт и Гофман, огромное влияние: эти писатели «были восприняты мною так, словно вошли в мою плоть и кровь». Как и Гейне, Андерсену удаются неожиданные и почти неуловимые переходы от романтического пафоса к авторской иронии и наоборот. Начало «Теневых картин» дано в шутливой, слегка ироничной манере, но потом повествование резко меняется. Автор сообщает читателю, что теперь он будет вести свой рассказ «очень просто, без всяких прикрас», сосредоточив внимание на впечатлениях от увиденного. Особое значение придается живописным, исполненным высокого пафоса картинам природы, идет ли речь о великолепном виде, открывающемся с Саксонских гор, или о быстрой Эльбе, катящей свои желтые воды через оживленный Дрезден с его высокими башнями и куполами. Посещение кладбищ и похорон — неотъемлемая часть ритуала путешествия Андерсена, у которого часто возникают мысли о смерти, «дающей нам покой и отдых». Он обращается к местным преданиям, рассказывающим о том, что происходило здесь раньше, вплоть до посещения Фаустом кабачка Ауэрбаха в Лейпциге. Впрочем, об этом упо-

минается лишь вскользь. Рассказчик не осмеливается предлагать образованной публике то, что ей и так хорошо известно. К числу особенно сильных впечатлений Андерсен относит свою встречу в Дрездене с Л.Тиком, первым из иностранцев благословившим Андерсена на занятия литературой, и в Берлине с А. фон Шамиссо, положившим начало переводам его сочинений на немецкий язык.

Публикация «Теневых картин» в Дании вопреки опасениям автора была встречена с одобрением, и вскоре книга была переведена на немецкий и английский языки. Успех первых путевых очерков вдохновил Андерсена на новые путешествия. В апреле 1833 г. благодаря поддержке Эленшлегера, Ингеманна, Х.К.Эрстеда, драматурга Й.Л.Хейберга и фольклориста, собирателя датских народных сказок Ю.М.Тиле Андерсен получил стипендию для двухгодичного путешествия в Италию. Сначала он хотел рассказать об этом путешествии в путевом очерке, но, узнав, что Хейберг как-то назвал его «лирическим импровизатором», переменил свое намерение и решил написать роман, в котором соединились бы красочные описания городов и природы Италии с изображением судьбы молодого поэта. Работа над произведением, которому Андерсен дал название «Импровизатор», началась 27 декабря 1833 г. в Риме. Здесь же состоялось знакомство Андерсена с прославленным датским скульптором Б.Торвальдсеном, которое, несмотря на разницу в возрасте, вскоре переросло в крепкую и долгую дружбу. Работа над романом была продолжена в Мюнхене, затем в гостях у Ингеманна в Сорё и, наконец, завершена в Копенгагене. 7 апреля 1835 г. роман увидел свет и сразу же приобрел широкую известность. Находясь среди людей, близких к Торвальдсену, Андерсен с головой окунулся в атмосферу художественной жизни Италии, занялся изучением исторических и художественных памятников Рима. Непосредственным образцом для «Импровизатора» послужил роман Ж. де Сталь «Коринна» (1807, датск. пер. 1825), о трагической любви молодой одухотворенной поэтессы-импровизатора Коринны, в уста которой вложены глубокомысленные рассуждения о народной жизни и культуре Италии. В ее образе де Сталь запечатлела свой собственный идеализированный портрет. Как и в Коринне, в герое — талантливом поэте-импровизаторе Антонио воплощены черты самого автора романа. И все же «Импровизатор» не столько любовный роман, хотя любовная интрига играет в нем заметную роль, сколько роман воспитания, написанный в национальных традициях это-

го жанра, сложившихся, как принято считать, под влиянием гетевского «Вильгельма Мейстера». Основная тема «Импровизатора» — это судьба поэтического гения, бросающего вызов среде и добивающегося всеобщего признания.

Для героя романа, римского юноши-сироты Антонио, бредящего стихами, «поэт — это тот, кто умеет красиво воспевать все, что чувствует и видит». Еще в детстве Антонио поверил в свое поэтическое призвание и мечтает о славе. После смерти матери мальчика берет на воспитание семья пастухов из Кампаньи. Потом о нем заботится семья римского вельможи Боргезе (под колесами его экипажа погибла мать Антонио). Благодаря Боргезе Антонио получает хорошее образование в Иезуитской коллегии. Самое сильное впечатление этих лет — чтение «Божественной комедии» Данте. Юноша много размышляет о поэзии, которая представляется ему «удивительным даром богов», «золотой рудой», которую обогащают «образование и воспитание». Впрочем, попадаются и чистые самородки — это «лирические импровизации природного поэта». Он посещает оперный спектакль «Дидона», в котором человеческая душа «предстает игралищем демонических сил», и таким образом приобщается к романтическому искусству. Потом он влюбляется в исполнительницу главной роли в спектакле оперную певицу Аннунциату и решает посвятить себя искусству поэтической импровизации. С этого момента любовная тема доминирует в романе. Дуэль из-за Аннунциаты с юношей из благородной семьи Бернардо вынуждает его к бегству из города. После многих приключений он оказывается в Неаполе, наблюдает извержение Везувия и переживает Божественное Откровение: «Никогда еще я не чувствовал так близко присутствие Бога. Сознание его силы и величия наполнило мою душу; окружающее пламя как будто выжгло из нее все слабости. "Великий Боже! Я буду Твоим апостолом! Я буду воспевать среди мирового хаоса Твое имя, Твою силу, Твое величие! Я поэт! Даруй же мне силу, сохрани во мне чистую душу, какой должен обладать жрец природы и служитель Твой!"» В Неаполе он завоевывает славу импровизатора и знакомится с красавицей Сантой, которая пытается его соблазнить. Вернувшись в Рим, он шесть лет живет в полной зависимости от своих благодетелей. Чувствуя свое призвание в том, чтобы «познавать красоту мира», он глубоко страдает от высокомерного и снисходительного отношения окружающих. «Будь я богат и независим, дело живо приняло бы совсем иной оборот. Теперь же

все были умнее, основательнее и благоразумнее меня! И вот я научился вежливо улыбаться, когда меня душили слезы, почтительно кланяться, когда мне хотелось презрительно отвернуться, и со вниманием выслушивать пустую болтовню глупцов... Я ожесточился, вооружился упорством; минутами просыпалось во мне и сознание моего духовного превосходства, но, скованное цепями рабства, оно превращалось в демона высокомерия, который уже свысока смотрел на нелепые выходки моих умных учителей и нашептывал мне: "Имя твое будет жить и тогда, когда их имена давно будут забыты..."» Тяжелая болезнь и чувство обиды заставляют его покинуть Рим и отправиться в Венецию, и там он снова становится знаменит благодаря своим поэтическим импровизациям. В Венеции он влюбляется в завороженную его импровизациями юную красавицу. В ней он узнает некогда слепую девушку Лару, которую несколько лет назад Антонио повстречал в Пестуме. Исцелившаяся от слепоты Лара чудесным образом оказывается племянницей венецианского градоначальника. Антонио женится на ней и получает в приданое большое поместье на юге Италии.

Счастливая развязка романа напоминает финал волшебной сказки. Она не содержит ответа на вопрос, как сложилась творческая судьба Антонио, счастливого мужа и помещика. Но, в сущности, это и не важно. Читателю показан сам процесс духовного созревания молодого человека, освоения им той сферы опыта, которая связана с творческим познанием мира. Огромная роль в этом процессе принадлежит фантазии, воображению художника. Именно поэтому самые невероятные с точки зрения рассудка события изображаются в романе как вполне реальные. Действительность, по словам автора романа, «вообще тесно граничит со сверхъестественным, духовным миром, и наш собственный земной мир со всеми своими явлениями, начиная с прорастания семени цветка и кончая проявлением нашей бессмертной души, — лишь ряд чудес». Этот принцип мировоззрения и эстетики Андерсена положен в основу всех его последующих сочинений.

В романах «Всего лишь скрипач» (1837) и «Счастливчик Пер» (1871) Андерсен развивает тему «Импровизатора». В каждом из них повествуется о трудной, подчас трагической судьбе гения, пробивающего себе дорогу к славе. В романе «Всего лишь скрипач», по словам Андерсена, он «выразил свой душевный протест против людской несправедливости, глупости, житейской прозы и гнета». Герой романа, музы-

кально одаренный сын портного Кристиан, не имея средств развить свои способности, покидает родной город Свендборг и отправляется юнгой на шхуне в Копенгаген. Вначале город поражает его своей красотой и величием, но вскоре ему открывается безотрадность жизни городских низов. Когда шхуна покидает столицу и возвращается на Фюн, ее владелец, добродушный коротышка Петер Вик, понимая, что сто́ящего матроса из Кристиана не получится, устраивает его учиться музыке в Оденсе. Вторая линия романа связана с судьбой еврейской девочки Наоме, подруги детства Кристиана. Если Кристиан плывет по течению жизни, то Наоме берет свою судьбу в собственные руки. Влюбившись в красивого циркового наездника Владислава, Наоме отправляется вместе с ним в турне по Европе. Однако любовная связь с грубым и жестоким человеком не приносит ей счастья. Наоме покидает своего возлюбленного и выходит по расчету замуж за французского маркиза, решив «наслаждаться ароматом этой фальшивой жизни». Потом она возвращается на родину и покупает поместье в тех краях, где прошло ее детство. В конце романа читатель снова встречается с Кристианом, который так и не сумел осуществить свое призвание. Долгие годы он жил в нужде и бедности с матерью в Копенгагене, пробавляясь случайным заработком, пока Петер Вик снова не позаботился о нем и не помог ему вернуться в родные места, где он становится сельским музыкантом. Не добившись в жизни того, о чем мечтал, Кристиан умирает. Последняя встреча друзей детства происходит, когда крестьяне, несущие гроб с телом Кристиана, уступают дорогу господской карете «французского маркиза и ее светлости Наоме».

Основная мысль романа выражена в рассуждениях Кристиана о том, что «талант подобен яйцу, которое нуждается в тепле и должно быть оплодотворено удачей, — иначе из него не вылупится птенец». Трагическая судьба героя, по замыслу Андерсена, как раз и объясняется тем, что рядом с ним не оказалось в нужный момент никого, кто помог бы ему в полной мере раскрыть свой незаурядный талант. Эта мысль вызвала резкое несогласие Киркегора, посчитавшего, что в романе отразились лишь скепсис и недоверие к жизни самого писателя. Герой романа, «занятый исключительно самим собой и не похожий на истинного гения», показался философу «просто плаксой». Иную точку зрения высказал близкий к Эленшлегеру поэт и драматург романтического направления Й.К.Хаух. По его мнению, смысл романа значительно шире, чем может показаться на первый взгляд, и писатель выступает в нем защитником не

только талантливых людей, но и «всех униженных и терпящих несправедливые гонения».

В отличие от Кристиана герой романа «Счастливчик Пер» полон оптимистической веры в себя, в свое будущее. Благодаря своему музыкальному таланту Пер добивается высокого положения в обществе. В него влюблена юная баронесса, которую он тоже любит. Пер не только талантливый музыкант и композитор, но еще и замечательный певец. Он пишет оперу о счастливчике Аладдине и сам выступает в главной роли. Во время премьеры под ликующие крики поклонников Пер умирает от сердечного приступа, умирает на вершине славы, «счастливейший из миллионов».

В романах «О.Т.» (1836) и «Две баронессы» (1848) тема самоутверждения гения развивается на фоне дискуссий об аристократичности истинной и мнимой. Герой романа «О.Т.», подающий надежды студент Отто Туструп, мечтает о времени, когда под настоящей аристократией будет подразумеваться только аристократия духа. Отто родился в Оденсе, но вырос на хуторе своего деда в Западной Ютландии. Благодаря своему другу барону Вильхельму, сыну фюнского помещика, Отто принят в самых богатых семьях Копенгагена и Фюна. Однако его мучат смутные воспоминания о прошлом, и он сравнивает себя с изображением Мазепы на картине О.Верне: «Я тоже привязан к спине дикой лошади, уносящейся прочь. И ни одного друга рядом». Снова перед нами герой, вышедший из низов общества, и весь его жизненный путь — это постоянная борьба за самоутверждение среди богатых и знатных людей. Когда же ему удается занять среди них достойное место, его происхождение становится для него позорным клеймом. На плече Отто вытатуированы буквы «О.Т.». И это, очевидно, не только его инициалы, но и название Оденсейской тюрьмы, где он родился и провел первые годы вместе с матерью, которая, как впоследствии выясняется, пожертвовала собой ради любимого человека, взяв на себя вину за преступление, которого не совершала.

В романе «Две баронессы» Андерсен ставит перед собой задачу показать, что душевная красота заслуживает не меньшего уважения, чем высокое происхождение. Главное — суметь найти «отблеск божественного в человеке, даже если его скрывают шутовской наряд или лохмотья». Роман повествует о судьбе Элисабет — дочери странствующего музыканта и его юной жены, разрешившейся от бремени на старой заброшенной усадьбе. Умирающую женщину находят студенты барон Херман, барон Хольгер, граф Фредерик и их наставник кандидат

богословия Мориц. Они решают взять на себя заботу о найденыше. Сначала Элисабет воспитывается у бабушки Хермана, старой баронессы, владеющей поместьем на Фюне. Затем — у Морица, ставшего к этому времени священником на одном из Фризских островов. Юная девушка выказывает незаурядное мужество и душевную силу, когда отправляется одна в Копенгаген спасать своего друга детства, ложно обвиненного в убийстве. В Копенгагене из-за своей наивности и неопытности она попадает в руки женщины, добывающей деньги на жизнь профессиональным попрошайничеством. Потом она вновь встречается со своими благородными защитниками, и заботу о ней берет на себя состоятельная копенгагенская семья. В конце концов Элисабет оказывается в доме старой баронессы и выходит замуж за ее внука Хермана. Став баронессой, Элисабет, по сути, только подтверждает свою принадлежность к аристократии духа.

Устами героини Андерсен выражает основную идею романа о благородстве сердца как «единственно истинном благородстве». «В любом сословии есть своя аристократия, аристократия духа, а не крови, ибо мы все и так одной крови, которая пульсирует в венах каждого из нас». На последних страницах романа Андерсен формулирует эстетические принципы, которыми, по его мнению, должен руководствоваться современный романист. Прежде всего он должен обратиться к современности, ибо «события нашего времени — это золотые россыпи поэзии». Но одного изображения современных событий все же недостаточно. Роман будет пользоваться успехом лишь в том случае, если помимо увлекательных событий в нем будут представлены убедительные характеры и воцарится дух поэзии. «Роман, основанный на увлекательной интриге, читается лишь единожды; то, что кажется в нем неожиданным, ошеломляющим, то, что служит в нем повествовательным нервом, со временем отомрет; и, напротив, произведение, где заявляет о себе человеческий характер со всеми своими особенностями, где мысль отливается в живое слово, где поэзия распростерла свои неувядающие ветви, будет жить в душе читателей вечно». В качестве примера Андерсен называет творчество В.Скотта и Жан Поля Рихтера, которые при всех различиях их творческой индивидуальности «обладают огромной художественной силой и могли бы послужить образцом для современного писателя».

«Быть или не быть» (1857) — последнее крупное произведение Андерсена в жанре романа. В центре внимания автора здесь религиоз-

ные проблемы, вера в Бога и бессмертие души. В письме к дочери адмирала Вульфа Х.Вульф 27 декабря 1855 г. Андерсен пишет, что его пугает распространившееся в Германии материалистическое учение. «Бессмертие, даже Бог исчезают... Я считаю, что наука призвана истолковать Божественное Откровение, и иду с ясным взглядом к той цели, к которой другие бредут слепо. Я хочу мира и согласия между природой и Библией». В письме к Ингеману 31 декабря 1856 г. Андерсен сообщает, что собирается рассказать о происходившей в нем борьбе с «религиозными сомнениями»: «Вера и знание часто сталкивались в тайниках моего сердца». Много сил и времени писатель тратит на изучение трудов Д.Штрауса, Л.Фейербаха и К.Фохта, посещает лекции профессора физиологии Д.Ф.Эскрихта, направленные против материализма. В результате он создает образ героя, который сначала разочаровывается в религии, а потом вновь обретает веру в Бога. Нильс Брюде после смерти родителей воспитывался в доме ютландского священника, потом стал изучать теологию в Копенгагенском университете, однако под влиянием немецкой философии (Фейербах и Штраус) прекратил эти занятия и перевелся на медицинский факультет. В годы учебы Нильс знакомится с еврейской девушкой Эстер, которая с сочувствием относится к христианству, но не обращается в христианскую веру, чтобы не обидеть своих родителей. Ей не нравится пренебрежительное отношение Нильса к религии. Когда начинается датско-прусская война, Нильс отправляется на фронт в качестве полевого врача. Там его тяжело ранят, но в последний момент ему удается спастись. Это неожиданное спасение кажется ему знаком свыше. Во время эпидемии холеры заболевает Эстер. Несмотря на все усилия Нильса спасти ее, девушка умирает. Только тогда Нильс понимает, как много она для него значила. Когда-то Нильс в шутку пообещал Эстер, что после смерти, если душа его не умрет, он подаст ей знак из могилы. Во время похорон Эстер неожиданно раздается звук рояльной струны: значит, душа ее не умерла. Сомнения Нильса окончательно развеяны, и он вновь обретает веру в Бога, в личное бессмертие. Наука и религия в его новой вере предстают в нерасторжимом единстве. Наука познает законы природы, которые суть Божьи помыслы.

Во время работы над романом Андерсену казалось, что поднятые в нем вопросы непременно вызовут дискуссию в обществе. Поэтому он был очень удивлен, когда убедился, что «все, ставшее в романе резуль-

татом научных занятий, привлекло к себе гораздо меньше внимания, чем поэтическое, явившееся непосредственным выражением дарованного Богом таланта». И это был далеко не первый случай, когда у писателя складывалось неверное представление об истинных достоинствах своих произведений.

Наряду с романами широкую известность Андерсену в период 1830—1850-х гг. приносят книги путевых очерков. В конце 1830-х гг. в Дании возникает интерес к произведениям этого литературного жанра и появляются многочисленные переводы путевых очерков европейских авторов. В 1838 г. на датский язык переводится сочинение А.Ламартина «Путешествие на Восток» (1830). Оно привлекает внимание Андерсена красочными описаниями жизни в Греции и на Востоке, которые кажутся ему «в высшей степени интересными». Кроме того, в рассуждениях автора он находит много сходного со своими собственными мыслями и чувствами. «Я люблю Ламартина. Он большой писатель, протягивающий мне руку из другой части света», — пишет Андерсен 3 июля 1838 г. Х.Вульф. Совершенно иначе Андерсен оценивает сочинение немецкого писателя Х.Л.Х.Пюклера-Мускау «Путешествие Семилассо в Африку», вызывающее у него достаточно негативную оценку. «Я никогда не был расположен к нему, — пишет Андерсен 27 августа 1839 г. своей приятельнице С.Лэссё. — Во-первых, он знаменит не по заслугам, а во-вторых, плохо описал Восток. Я бы это сделал намного лучше». Вскоре такая возможность Андерсену представилась. В конце 1830-х гг. его материальное положение стало настолько прочным, что в 1840 г. он отправился в новое путешествие. На этот раз — в Германию, Италию, Грецию, Константинополь, Балканские страны. Это путешествие продолжалось почти девять месяцев и привело к созданию книги «Базар поэта» (1842) — самой значительной из книг его путевых очерков.

22 августа 1841 г. в письме писательнице Х.Ханк Андерсен сообщает, что «приступил к работе над книгой. Она будет состоять из новелл, арабесок, авторских отступлений, которые в совокупности призваны дать представление о том, что я увидел своими глазами». В первых частях книги, посвященных Германии и Италии, Андерсен сообщает о своих впечатлениях в ряде живописных зарисовок с натуры. Он мгновенно улавливает неповторимый характер каждого из посещаемых городов, идет ли речь о «почтенном старом и в то же время современном» Нюрнберге или «беспокойно растущем на пологих берегах Изера Мюнхене».

Большей частью Андерсен, как и другие его современники, путешествует в дилижансе. Но часть территории Германии он впервые преодолевает по железной дороге. Андерсен с восторгом описывает свои впечатления от движения поезда, «сначала медленно, словно детская рука тащит его на веревочке, набирающего скорость; но ты этого и не замечаешь, преспокойно читая себе книгу, потому что вагоны скользят по рельсам, словно сани по гладкому снегу; и только потом, выглянув в окно, видишь, что мчишься вперед, точно вагоны запряжены горячими конями, несущимися вскачь, а потом еще быстрее и быстрее, будто летишь на крыльях ветра». Пассаж заканчивается прославлением человеческого разума, его созидательных возможностей, в том числе и в поэтической сфере. «Разум проповедует вечные истины, а в них и величие, и поэзия».

В Италии Андерсена вновь поражают красота окружающей природы «этой фантастической страны» и яркий колорит национальной жизни, национального быта. «...Красота и грязь. И хотя верно говорят, что в мире нет совершенства, но воистину здесь совершенно и то и другое». Описание путешествия после отъезда из Неаполя становится более плавным и неторопливым. Во время плавания по «ослепительно синему, словно кусок бархата», Средиземному морю Андерсен наслаждается открывающимся ему видом гор Неаполитанского залива, вулканом Стромболи, величественной вершиной Этны, ощущает, как в него вливаются новые силы: «...я опять стал молод душой и телом, смело и уверенно глядел вперед». «Если это путешествие и не отразилось целиком в каком-либо из моих произведений, то все же оно наложило отпечаток на все мое мировоззрение и духовное развитие», — заметит он позднее. После посещения «сожженной солнцем Мальты» Андерсен прибывает в Афины и проводит там целый месяц. Здесь все «производит глубокое впечатление» и «будит серьезные мысли»: «...ведь каждый холм, каждый камень говорят о великих событиях, перед которыми кажутся ничтожными наши житейские невзгоды». Он думает прежде всего об античной Элладе, но его занимает и современное состояние страны после окончания освободительной борьбы греков против турецкого владычества. Впрочем, больше всего он уделяет внимания тому, что непосредственно оказывается в поле его зрения: восхищается природой Греции, более всего напоминающей ему швейцарскую, развалинами храма Парфенона на Акрополе, гордостью и достоинством нищих жителей страны. Направляясь в Константинополь, Андерсен чуть было не погиб во вре-

мя шторма в Эгейском море. С юмором он изображает состояние человека, не находящего себе места от страха за свою жизнь и вдруг спокойно заснувшего после того, как он убедился, что гибель неизбежна. В Константинополе его приводит в восторг празднование рождения Магомета: шествие султана в мечеть, пестрые, празднично разодетые толпы народа, роскошный восточный базар, вечерняя иллюминация города. Нарисованная Андерсеном картина вновь основана главным образом на непосредственных впечатлениях от увиденного в этом полуевропейском, полуазиатском городе. Путь Андерсена домой лежал через Черное море и Дунай, а затем по Сербии, Румынии, Венгрии и Австрии. О последних неделях путешествия сообщается в такой же неторопливой манере, только о плавании по Дунаю рассказ ведется в форме дневника, где события фиксируются последовательно изо дня в день. «Базар поэта» завершается словами вернувшегося на родину счастливого путника: «Первые минуты по возвращении — венец всего путешествия!»

«Базар поэта», стоивший Андерсену заметных усилий и потребовавший от него значительно больше времени, чем он предполагал вначале, увидел свет 30 апреля 1842 г. и вызвал разноречивые отклики. Либерально настроенные журналисты упрекали автора главным образом за «поверхностные суждения» о тех странах и народах, которые он описал в книге. «Напрасно искать в ней какое-либо четкое представление о самобытных жителях Греции или убедительную с политической точки зрения оценку турок, единственного восточного народа Европы», — отмечал рецензент газеты «День». С ним был солидарен рецензент газеты «Отечество», посчитавший, что «Андерсену не удалось ознакомить читателя с мировоззрением и национальными особенностями жизни этих полных огня южан», потому что он «не был подготовлен для исследований подобного рода...». Развивая эту тему, леворадикальный журнал «Корсар» выразил свое недоумение по поводу того, что «вышедший из низших слоев общества и знавший нужду не понаслышке писатель» не проявил должной солидарности с «угнетенными, живущими в нищете народами». В защиту Андерсена выступила «Копенгагенская почта» Хейберга, отметившая успех «Базара поэта» у «большей части образованной публики, которая радуется таланту писателя и не обращает внимания на его мелкие недостатки». Положительно отозвался о книге путевых очерков в «Новой газете интеллигенции» писатель, философ и литературный критик П.Л.Мёллер. Он высоко оценил «лирический талант и тонкую

наблюдательность Андерсена», обладающего удивительной способностью «находить поэтическое в самых заурядных, далеких от поэзии предметах». Еще при жизни Андерсена увидели свет немецкое, английское, американское, шведское и голландское издания книги. Отдельные части «Базара поэта», небольшого объема и носившие самостоятельный характер: «Бронзовый вепрь», «Побратимство», «Роза с могилы Гомера», — впоследствии были включены Андерсеном в собрание сказок и историй.

Среди других путешествий Андерсена, нашедших яркое отражение в его творчестве, стала поездка в июне 1849 г. в Швецию, в которой он уже неоднократно бывал и прежде. В 1840 г., когда он приехал в Сконе, шведские студенты пригласили его в свой университет в Лунде и устроили в его честь торжество, на котором один из них обратился к Андерсену со словами: «Когда вас станут чествовать на родине и в других странах Европы, вспомните, что первыми чествовали вас лундские студенты». Путешествие по Швеции в 1849 г. легло в основу его новой книги путевых очерков, в которой, по словам Андерсена, ярче, чем в каком-либо другом его произведении подобного рода, проявились особенности его музы: «...красочные описания природы, сказочный элемент, юмор и лиризм — насколько последний может вылиться в прозе». В этой книге путевых очерков Андерсену удается самым причудливым образом соединить впечатления от действительности с игрой фантазии, взгляд на шведскую историю с мечтой о будущем. Его восхищают суровая красота шведской природы, скалистые острова вдоль больших озер с каменными валунами и растущими на них редкими соснами. Его описания Даларна и озера Сильян были настолько живописны, что побудили многих скандинавских художников отправиться туда на этюды. Древняя Вадстена с ее замком, полным легенд и преданий о жестоких рыцарских временах, Упсальский дворец, хранящий тайны короля Эрика XIX, народные восстания в Даларна в те времена, когда там «правил бал датчанин», — все это знаки и приметы прошлого, которые будят воображение. Но это прошлое не вызывает восторга у Андерсена. Ему более по душе «благословенное новое время» с его призывами «к миру и согласию». Это время научного и технического прогресса, духовного единения людей, и задача поэта, открывшего для себя достижения науки, — увидеть ясными глазами «правду и гармонию» окружающего мира. «Тогда разум и фантазия его очистятся, просветятся и укажут ему и новые формы, и более одухотворенные слова». Ликующий гимн жизни, познанию, природе и поэзии — глава «Поэтическая Калифорния», написанная под влиянием Х.К.Эрстеда.

Книга путевых очерков «По Швеции» была опубликована в 1851 г. Первой на нее откликнулась шведская пресса, высоко оценившая художественные достоинства книги. «Вся она в целом поэма в прозе, — писал рецензент шведской газеты «Бора». — Картины обыденной жизни прекрасно и непринужденно переплетены с историческими воспоминаниями и фантазиями, а все вместе составляет истинно поэтическую путешествие-сказку, светлую картину севера». Датская критика на этот раз также была единодушна в высокой оценке путевых очерков Андерсена, «заново открывшего для соотечественников эту родственную, близкую нам во многом страну».

В годы активной работы над романами и книгами путевых очерков Андерсен не оставляет своего давнего увлечения театром. Драматическое наследие Андерсена представлено произведениями самых разных жанров: от романтической трагедии до водевиля. Не все из его пьес по-настоящему талантливы. Написанная после множества шуточных комедий еще до отъезда в Италию стихотворная драма «Агнета и Водяной» (издана в 1834 г.) на сюжет датской народной баллады о несчастной любви морского чудища к земной красавице так и не стала тем творческим прорывом в драматургии, на который Андерсен втайне рассчитывал. Пьеса провалилась, потому что представляла собой довольно слабое подражание эленшлегерскому «Аладдину», ее действие было растянутым, диалоги получились бесцветными. Зато громкий успех Андерсену принесла романтическая драма «Мулат» (1840) по мотивам новеллы французской писательницы Ф.Рейбо. Действие пьесы происходит на сахарных плантациях Мартиники в Вест-Индии. В центре — конфликт между жестоким белым угнетателем и рожденным в рабстве мулатом Горацио. Жена плантатора Элеонора и ее юная воспитанница Сесилия знакомятся с ним, когда укрываются от непогоды в его доме. Сначала они относятся к нему равнодушно и с высокомерием, как это принято в их кругах. Но вскоре образованный и благородный Горацио начинает вызывать у обеих женщин понимание и сочувствие. Сесилия влюбляется в молодого человека. Напряжение пьесы достигает предела, когда плантатору становится известно, что в доме Горацио скрывались беглые рабы-негры и что, защищая их, он поднял руку на белого человека. От готовящейся расправы героя пьесы спасает Сесилия, которая становится женой Горацио. Пьеса покоряла зрителей идеей справедливости и гуманности, мелодраматичностью и лиризмом. Как и в романах, Андерсен выражает в ней убеждения,

что истинна только аристократия духа и что любовь выше сословных и расовых предрассудков. Вскоре пьеса была переведена на шведский язык и с успехом шла на сцене Стокгольмского королевского театра. Однако новая драма, «Мавританка» (1840), о борьбе испанцев с маврами во времена Средневековья, выдержанная в том же романтическом ключе, что и «Мулат», театральным событием не стала. Она выдержала всего три представления и была жестоко высмеяна за ходульность персонажей Хейбергом в его сатирической комедии «Душа после смерти» (1840). После провала «Мавританки» утешением для Андерсена стала счастливая судьба его шуточной одноактной пьесы «Первенец» (1845). Действие ее происходит в Копенгагене в доме писателя, который выдал за свою пьесу рукопись уехавшего за границу приятеля и после ее представления принимает поздравления от друзей и знакомых. Комичность ситуации обусловлена тем, что среди гостей, пришедших поздравить мнимого писателя со сценическим успехом, находится и вернувшийся на родину после долгого отсутствия настоящий автор. Благодаря остроумному диалогу и забавным персонажам пьеса неоднократно ставилась на датской сцене.

И все же наибольший успех выпал на долю сказочных комедий Андерсена, объединивших в себе реально-бытовое и условно-сказочное, фантастическое начало. Андерсен сочинял свои сказочные комедии для народного театра «Казино», основанного в 1848 г. с целью просвещения и воспитания широких слоев общества. В соответствии с королевским указом театру полагалось ставить «легкие пьесы, народные комедии и водевили». Первая же попытка Андерсена оказалась в высшей степени удачной. Сказочная комедия «Дороже жемчуга и злата» (1849), написанная по мотивам пьесы австрийского драматурга Ф.Раймунда «Алмаз короля духов» (1824) и сказок «Тысячи и одной ночи», пользовалась в народном театре огромным успехом. Ее герою, принцу Элимару, предстоит сделать выбор между богатством и любовью. Юное благородное сердце принца подсказывает ему, что всех богатств мира дороже доброта и любовь. Это настоящее «чудо из чудес», «самый драгоценный небесный дар». Герой сказочной комедии «Оле Лукойе» (1840) подмастерье трубочиста Кристиан отдает свое сердце в обмен на золотые часы, тиканье которых рождает золотые монеты. Но богатство приносит ему не радость, а страдание, и он чувствует себя одиноким, глубоко несчастным человеком. Впрочем, в финале пьесы выясняется: все, что с ним произошло, было лишь шуткой Оле Лукойе, духа сновидений. Проснувшись,

Кристиан понимает, что настоящее богатство — это здоровье и хорошее настроение. В 1851 г. Андерсен написал для «Казино» еще одну сказочную комедию — «Бузинная матушка». Образ Бузинной матушки, по словам Андерсена, он заимствовал из народного сказания: «В бузине обитает существо по имени Бузинная матушка, которое мстит за всякое насилие над деревом», — превратив ее в добрую фею. Бузинная матушка помогает ученику парикмахера Петеру вернуть возлюбленную, дочь мастера, которую украл жирный крот, чтобы сделать ее своей женой.

На представлениях этих комедий Андерсена перебывало огромное количество зрителей, которым пришлись по душе их простая жизненная мораль, веселый юмор и сказочность, тем более что фантастические персонажи своими человеческими качествами были так похожи на живых людей. Зрителей привлекали в них и всевозможные сценические эффекты, фантастические превращения действующих лиц в сочетании с самой достоверной реальностью. Произрастая из сказок, фантастические комедии Андерсена сохраняли многие характерные черты его сказочного мира. Как известно, своим первым сказкам писатель не придавал особого значения, считая их едва ли не побочным занятием, не имеющим отношения к серьезной литературе. Только со временем его взгляды изменились, и сказка для Андерсена стала синонимом поэзии как таковой. «Для меня сказка, вобравшая в себя и древние предания о дымящихся кровью могилах, и благочестивые истории из детских книжек, как народную, так и литературную традицию, есть самое поэтическое во всем необъятнейшем царстве поэзии. (...) Ведь герой народной сказки Ханс Чурбан всегда в конце концов побеждает: взбирается верхом на коне на стеклянную гору и добивается принцессы. Таким образом, поэтическая непосредственность, над которой открыто насмехались старшие братья, все-таки заявляет о себе в полный голос, и младший брат, возвышаясь до *поэзии*, завоевывает ее, эту королевскую дочь, и полцарства», — писал Андерсен в 1857 г. о сказках.

Именно сказкам было суждено стать венцом его художественного творчества.

Андерсен, конечно, был далеко не первым среди европейских авторов, решившим пересказывать народные сказки и создавать новые произведения в этом литературном жанре. Большие заслуги в возрождении сказки принадлежали Ш.Перро, считавшему, что обновление и развитие европейской литературы невозможно без привлечения фольклорного материала.

Вместе с тем, усиливая роль авторского начала, Перро постарался приблизить народное творчество к эстетическим канонам и требованиям своего времени. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697) прочно утвердил за Перро славу одного из основоположников литературной сказки. В 1820 г. его сказки были переведены на датский язык, вызвав интерес у читателей и в литературных кругах. В Германии начало литературной сказке положили «Немецкие народные сказки» (1735—1787) И.К.Музеуса, свободно пересказавшего многие народные сказки и легенды. Особое увлечение народным творчеством возникло в Германии в период романтизма. В 1812 г. братья Гримм, Якоб и Вильгельм, издают первый том «Детских и семейных сказок» (второй — в 1815-м, третий — в 1822 г.), в которых в отличие от Музеуса они стремятся сохранить весь строй народных сказок, их композицию, характеры и обороты речи. Увлечение народным творчеством постепенно распространяется и в Дании. После того как в 1821 г. сказки братьев Гримм под названием «Народные сказки» публикуются на датском языке в переводах Д.Ф.Линденкроне, в Дании появляются свои собиратели фольклора. В 1818 г. Тиле издает свой первый небольшой сборник «Датские народные предания», за которым следуют еще три сборника (1819—1823 гг.). Издание 1843 г. насчитывало уже около 300 произведений устного народного творчества, которые Тиле сам классифицировал. Помогал Тиле собирать народные предания его ученик — молодой полевой хирург М.Винтер. В 1823 г. Винтер издал свой собственный фольклорный сборник «Датские народные сказки».

Принято считать, что Андерсен обратился к жанру сказки под влиянием Винтера. Однако Андерсену, как и другим датским писателям первой трети XIX в., путь к сказке указали немецкие романтики, видевшие в ней идеальную форму выражения своего отношения к миру. Литературные сказки Тика, Гофмана, Шамиссо, К.Брентано в известной мере опирались на фольклорную традицию. Но по своей структуре, роли автора, образам героев и мотивировкам их поступков резко отличались от народных сказок. Они больше походили на новеллы или рассказы с эксцентрическими, фантастическими сюжетами.

В датской литературе интерес к романтической сказке особенно заметен у Эленшлегера и Ингеманна. Восточная сказка из «Тысячи и одной ночи» легла в основу стихотворной драмы Эленшлегера «Аладдин, или Волшебная лампа». Начиная с 1805 г. писатель создает литератур-

ные сказки в прозе на сюжеты древнескандинавских саг и мифов: «Сага о Велундуре» (1805), «Рольф Краке» (1828), «Сага об Одде-Стреле» (1840) и др. В 1816 г. Эленшлегер публикует «Сказки разных писателей» — сборник своих собственных авторизованных переводов сказок немецких романтиков. В духе немецкого романтизма сочиняет свои литературные сказки Ингеманн. В 1820 г. он выпускает сборник сказок, называя одну из них, «Сфинкс», «сказкой в манере Гофмана». Как и Ингеманн, Андерсен начинает с откровенного подражания немецким романтикам. Еще в конце 1820 — начале 1830-х гг. он публикует несколько стихотворных сказок и баллад на сюжеты народных преданий, соединив в них сказочную фантастику с действительностью. На этом же принципе основана стихотворная сказка «Водолазный колокол», которую Андерсен включил в романтическую фантазию «Прогулка от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер». Ярким примером ранней фольклорной прозы Андерсена может служить и народная сказка «Мертвец». Используя сюжетную канву народной сказки, он выходит в ней за рамки фольклорного источника: дает пространные описания природы, наполняет повествование фантастическими картинами, лиризмом и тонком юмором. Говоря о ранних сказках Андерсена, следует упомянуть и помещенную в путевом очерке «Теневые картины. Из путешествия по Гарцу и Саксонской Швейцарии» сказку в прозе «Король говорит: “Это ложь!”», в которой автор едко иронизирует над увиденной им в Германии драмой «Три дня из жизни игрока». Король, мечтавший услышать настоящую ложь и не удовлетворивший своего желания при жизни, приходит после смерти к Андерсену и, узнав от него содержание этой драмы, восклицает: «Вот это ложь, сын мой! Теперь я спасен!» Таким образом, в своих ранних сказках Андерсен, с одной стороны, следуя примеру братьев Гримм или Винтера, сохраняет простую и естественную интонацию народной сказки, а с другой — в духе немецких романтиков наполняет повествование фантастическими картинами.

Решительный переворот в отношении к литературной сказке происходит у Андерсена в 1835 г., когда вскоре после выхода в свет «Импровизатора» он издает свой первый сборник «Сказки, рассказанные детям», состоящий из сказок «Огниво», «Маленький Клаус и Большой Клаус», «Принцесса на горошине», «Цветы маленькой Иды». В них он отходит от уже сложившейся в немецкой и датской литературе традиции литературной сказки и возвращается к сказке народной, заменяя при

этом форму народного повествования свободным устным рассказом. Как отметил еще Г.Брандес, «Андерсен начинает рассказывать сказки так, как он их слышал в детстве». Сам Андерсен писал Ингеманну 10 февраля 1835 г. по поводу своего первого сборника: «Я рассказал несколько сказок, которые любил в детстве, по-моему, они мало кому знакомы; я написал их так, как рассказывал бы детям». Однако Ингеманн не сумел оценить их значение, посчитав, что время, потраченное на сочинение сказок, Андерсен мог бы использовать для себя с большей пользой. Совершенно иначе отнесся к ним Х.К.Эрстед, заметивший, что если «Импровизатор» сделал Андерсена знаменитым, то сказки подарят ему бессмертие. В конце 1835 г. Андерсен публикует второй выпуск «Сказок, рассказанных детям», в который вошли «Дюймовочка», «Негодный мальчишка», «Попутчик» (переработка «Мертвеца»), а в 1837 г. увидел свет третий выпуск — с «Русалочкой» и «Новым платьем короля». Все вместе эти три выпуска составили первый том «Сказок, рассказанных детям». Второй (новый) том также состоял из трех выпусков сказок, увидевших свет в период с 1838 по 1841 г. В первый выпуск вошли «Ромашка», «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди». Во второй — «Райские кущи», «Сундук-самолет», «Аисты». В третий — «Оле Лукойе», «Эльф розы», «Свинопас», «Гречиха».

Ранние сказки Андерсена еще тесно связаны с народными. Он только слегка обрабатывает известные сюжеты, приближая их к реальности. В то же время их новым и оригинальным качеством является то, что все они написаны разговорным языком и содержат авторскую оценку персонажей и событий. С имитации устного повествования, сразу же вводящего читателя в курс событий, начинается сказка «Огниво»: «По проселочной дороге печатал шаг солдат — ать, два! Ать, два! За спиной ранец, на боку сабля, ведь он был на войне, а теперь шел домой». Не соглашаясь с теми, кто считал началом славы Андерсена его роман «Импровизатор», сын Й.Коллина Эдвард писал, что, скорее, «начало это следует отнести к 1835 г., когда писатель словами "...печатал шаг солдат — ать, два! Ать, два!" вступил в царство сказок». Сюжет сказки строится по обычной для народной сказки схеме, а герой — бравый солдат — на первый взгляд полностью соответствует типу героя народной истории о солдате, который женится на королевской дочери и становится правителем государства. Сохраняя черты фольклорного персонажа, Андерсен с симпатией изображает ловкого и сметливого солдата,

который, завладев волшебным огнивом, убивает старую безобразную ведьму, расправляется с королем и королевой, прятавшими от него свою дочь, и, уступая требованиям горожан, сам становится королем и женится на прекрасной принцессе. В то же время отношение рассказчика к своему герою гораздо более личное, чем это диктуется нормами и правилами народной сказки. В отличие от фольклорного персонажа он резко индивидуализирован, наделен легко узнаваемыми чертами. Солдат смел и отважен, и эти качества в сочетании с душевной добротой и щедростью делают его достойным награды. Вместе с тем он легкомыслен, тщеславен и, как «славный малый и настоящий кавалер», совсем не равнодушен к женской красоте.

Столь же веселым и лукавым юмором окрашено отношение Андерсена к героине «Принцессы на горошине», созданной по мотивам народных сказок, в которых принцессе приходится выдержать испытание — доказать, что она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к принцессам. После испытания ни у кого не остается сомнений в том, что девушка, которая дождливой ночью пришла в королевский замок, действительно принцесса. «Тут они и поняли, что перед ними настоящая принцесса, — раз она через двадцать тюфяков и двадцать пуховиков почувствовала горошину». В невероятной изнеженности принцессы, делающей ее достойной невестой принца, Андерсен, по его словам, в комической форме запечатлел свою собственную необычайную чувствительность, которая часто служила ему поводом для шуток. Сказка заканчивается юмористической деталью, как бы подтверждающей реальность того, что произошло: «А горошину поместили в кунсткамеру, где ее и сейчас можно увидеть, если только кто-нибудь ее не украл».

В ранних сказках Андерсена еще сохраняются особенности сказочного фольклора. Прежде всего это резкая категоричность в оценках добра и зла, резкое противопоставление персонажей, стройность и последовательность в развитии событий. Вместе с тем, акцентируя внимание на моральной стороне поступков сказочных персонажей, Андерсен создает более углубленную картину их внутреннего мира. В «Попутчике» он переосмысливает образ героя народной сказки, мечтающего о королевской дочери. Самоотверженная любовь к околдованной троллем принцессе заставляет Йоханнеса выдержать все испытания и проявить лучшие черты своего характера. Душевное мужество и бесстрашие, твердая вера в добро и справедливость помогают ему разрушить волшебные чары и ос-

вободить принцессу от власти тролля. Маленький Клаус в сказке «Маленький Клаус и Большой Клаус», написанной на сюжет народной сказки «Большой брат и маленький брат», выходит победителем из борьбы со своим обидчиком, потому что обладает моральным превосходством над ним. Симпатии Андерсена к герою находят отражение и в названии сказки. В отличие от народного источника имя настоящего героя в названии сказки «Маленький Клаус и Большой Клаус» Андерсен ставит на первое место. Воплощением несгибаемого мужества, стойкости и упорства служит герой сказки «Стойкий оловянный солдатик». На его отливку не хватило олова, поэтому он стоит лишь на одной ноге. Но он стоит на ней «так же уверенно, как другие на двух». Основная черта его натуры — необычайная твердость духа. Он отправляется в опасное плавание в утлой бумажной лодчонке, отважно вступает в поединок с крысой, не теряется, оказавшись в желудке огромной рыбы, и так же мужественно ведет себя в горящей печи. Когда огонь расплавляет его, то как будто остается невредимым его маленькое «оловянное сердечко» — символ любви, верности и бесстрашия. В сказке «Дикие лебеди» бескорыстие, доброта и трудолюбие помогают героине спасти своих братьев, превращенных злой мачехой в диких лебедей, и устроить свою собственную судьбу, выйдя замуж за короля. «Волны неутомимо катятся одна за другой, шлифуя самые твердые предметы. И я буду неутомимой!», — произносит Элиса, сплетая для своих братьев из дикой крапивы рубашки, которые должны вернуть им человеческий облик. Добро, истина и любовь не даются просто так, они требуют упорства, настойчивости, твердости духа. Наконец, в «Русалочке», созданной по мотивам народного поверья, согласно которому русалка обретает бессмертную душу, если ее полюбит человек, Андерсен воплощает идеал самоотверженной, жертвенной любви, бросающей вызов эгоистической морали. «Я не поставил бессмертие души своей русалочки (...) в зависимость от любви к ней человека (...). Я заставил ее пойти более естественным и совершенным путем», — писал Андерсен. Русалочке не удалось завоевать сердце прекрасного принца, и она умерла, превратившись в пену морскую, но не последовала совету своих сестер убить любимого, чтобы ценой его гибели спасти свою жизнь. И в награду за свои страдания обрела надежду получить бессмертную человеческую душу, о чем так страстно мечтала.

Жанровая форма сказки открыла широкий простор для проявления творческих сил и индивидуальности Андерсена. На это также обратил

внимание Г.Брандес. «Пылкая фантазия Андерсена... все одушевляет и все воплощает; поэтому, например, она оживляет какую-нибудь часть меблировки (...) так же всецело, как куклу, как портрет, как облака, солнечные лучи, ветры и времена года...» — писал он в статье «Андерсен как сказочник» (1869). Далее Брандес отмечал умение Андерсена, во-первых, «придать животным или предметам человеческие качества», а во-вторых, в условной форме сказки «обсудить самые разнообразные темы». И в самом деле, фантастическое у Андерсена вызывает неизменное ощущение жизненной правды. Это результат точных наблюдений действительности, представленной в фантастическом виде. Нарочито же простой, «псевдодетский» стиль повествования — своеобразная игра рассказчика, с легкостью превращающего персонажей своих сказок, даже если речь идет о неодушевленных предметах, в одушевленные существа. При этом персонажи его сказок всегда ведут себя в полном соответствии со своими индивидуальными особенностями, привычками, образом мысли. Бабушка ведьмы в «Огниве» так рассеянна, что забывает огниво в дупле старого дерева; бравый солдат любит покутить и поволочиться за женщинами, его друзья поддерживают с ним отношения, пока у него водятся деньги, и не могут подняться по лестнице к нему в каморку, когда они кончаются. Цветы в сказке «Цветы маленькой Иды» танцуют на балу, влюбляются, умирают. Эльф розы из одноименной сказки играет на солнышке, порхает с цветка на цветок и подсчитывает, сколько шагов пришлось бы ему сделать, чтобы обежать все дорожки и тропинки на липовом листе. Только внешним видом появившаяся на свет из чудесного цветка Дюймовочка напоминает героиню народной сказки. В сказочных событиях ее жизни заключено нечто важное и общезначимое.

Шаг за шагом Андерсен удаляется от народной сказки. 20 ноября 1843 г. в письме Ингеманну Андерсен признается, что свое призвание он нашел в сказках. Но если первыми его сказками были те старинные сказки, которые он слышал еще ребенком, то теперь он сочиняет их самостоятельно. «Теперь я рассказываю все из собственной головы, схватываюсь за какую-нибудь идею для взрослых и рассказываю ее для детей, помня, что к чтению для детей часто прислушиваются и родители, так надо и им дать кое-какую пищу для мысли». К третьему выпуску сказок (1837 г.) Андерсен предпослал обращение «Ко взрослым». Именно в этот сборник он включил сказку «Русалочка», о которой писал, что «ее скрытый

смысл способен понять только взрослый человек, хотя, смею думать, и ребенку она доставит удовольствие». Начиная с 1844 г. он называет свои сборники просто сказками, убирая вторую часть названия, и дает им определение «новые»: «Новые сказки». Первый том. Вып. 1—3, 1844—1845; «Новые сказки». Второй том. Вып. 1—2, 1847—1848. В них представлены такие признанные шедевры, как «Соловей», «Влюбленная парочка», «Гадкий утенок», «Ель», «Снежная королева», «Волшебный холм», «Красные башмачки», «Прыгуны», «Пастушка и трубочист», «Старый уличный фонарь», «Тень», «Девочка со спичками», «Счастливое семейство», «История матери», «Воротничок» и др. Новизна этих сказок в том, что, доступные восприятию ребенка, они адресованы в первую очередь взрослому читателю.

Творчество Андерсена в 1840-е гг. развивалось в русле романтической эстетики, однако если для большинства других романтиков мир сказки был порождением фантазии, то Андерсен сознательно творил его, исходя из самой действительности. «Самые причудливые сказки вырастают из действительности», — писал он в сказке «Бузинная матушка» (1845), в которой старик рассказчик как бы приобщает читателя к процессу создания художественного произведения. Фантастическое возникает здесь благодаря художественному символу, кусту бузины, который будит в герое воспоминания о прошлом. Перед глазами читателя постепенно проходит вся его жизнь, от детства и до глубокой старости. Обращение к действительности как к неиссякаемому источнику сказочных тем и сюжетов имело для Андерсена принципиальное значение. Прежде всего оно было связано с особенностями его таланта. «Материала у меня для сказок масса, больше, чем для какого-либо другого вида творчества. Иногда мне кажется, будто каждый забор, каждый маленький цветок говорит мне: "Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни!" И стоит мне так сделать, как у меня готов рассказ о каждом из них», — писал Андерсен 20 ноября 1843 г. Ингеманну. Но еще более важным стало для Андерсена глубоко усвоенное им эрстедовское представление о «божественном разуме, проявляющемся в природных законах». Очевидно, здесь следует искать источник известной андерсеновской формулы жизни, которая «превосходит самую прекрасную мечту и сама по себе является чудом». Не случайно двум своим автобиографическим сочинениям Андерсен дал название «Сказка моей жизни», выразив в них свое представление о жизни как об удивитель-

ном даре, к которому надо относиться с величайшим благоговением. С жизнью, с природой неразрывно связано искусство, воплощенный дар художника. Эта мысль заключена в сказке «Соловей». Изгнанный придворными из императорского дворца, в котором его место заняла искусственная птица, соловей возвращается в тот момент, когда император лежит на смертном одре. Он утешает и ободряет тяжелобольного. Его пение прогоняет ужасных призраков, и сама смерть, заслушавшись соловья, покидает комнату. Истинное искусство объединяет близких по духу людей, и оно сильнее смерти. Награда для певца — слезы на глазах императора, которые он увидел, когда пел перед ним. У императора благородное сердце, и жизнь его отныне будет иной, более естественной и правдивой, чем прежде. Но художнику как воздух необходима свобода. Соловей просит императора не оставлять его при дворце, а позволить ему прилетать, когда захочется. Он просит его также не причинять вреда искусственной птице, поскольку она принесла пользы, сколько могла. Сам же он будет петь ему «о счастливых и несчастных, о добре и зле», о происходящем вокруг. В «Хансе Чурбане» идея превосходства естественного над искусственным, природы над культурой — это победа природной непосредственности и смекалки над схоластической ученостью. Трое крестьянских сыновей сватаются к королевской дочери, и самый младший одерживает победу. В отличие от своих братьев, один из которых собирается покорить принцессу тем, что вызубрил весь латинский словарь и местную газету за три года, а другой досконально изучил цеховые уставы и решил, что может теперь поддерживать разговор о делах государства, Ханс Чурбан преподносит принцессе дохлую ворону, деревянный башмак и грязь вместо подливки. Он не лезет за словом в карман и на любой вопрос принцессы тотчас же находит подобающий ответ. Сумев лучше всех постоять за себя в разговоре, он становится королем. В «Снежной королеве» тщательную и глубокую разработку получает философская идея борьбы искреннего и непосредственного чувства с холодным и бесстрастным разумом. В основе сказки история двух детей, Кая и Герды, которые не состояли в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. В сердце, а потом в глаз Кая проник осколок «дьявольского зеркала тролля», и все вокруг предстало перед ним в искаженном виде. Злая волшебница Снежная королева показалась ему умной и прелестной, образцом совершенства. Ее поцелуи сделали Кая нечувствительным к холоду, а его сердце превратилось

в кусочек льда. В ледяном дворце Снежной королевы он занят «ледяной игрой разума», складыванием из льдин разных затейливых фигурок. После трудных испытаний, выпавших на долю Герды по пути на север, к ледяному дворцу, ей удалось найти своего названого брата и своей беззаветной и самоотверженной любовью разрушить действие колдовских чар. Горячие слезы Герды, упавшие Каю на грудь, проникли в сердце и расплавили осколок зеркала тролля. «Победой гениальности над холодным рассудком» назвал свою сказку Андерсен, подразумевая под гениальностью силу и глубину чувства Герды, вся сила которой заключалась «в ее сердце, сердце прелестного невинного ребенка». Заметную роль в обозначении философской идеи сказки играют художественные символы. Ледяной дворец Снежной королевы, ее трон, кусочки льда для складывания слов — все это символы «холодного рассудка», которому недоступны душевное благородство, представление о вечности и бессмертии души. И напротив, птицы, солнце, цветы — словом, все, что помогает Герде в ее поисках, служит воплощением идеи христианской любви и доброты, противостоящих холоду смерти.

Сказки Андерсена открывают читателю красоту и духовное богатство мира. Авторское кредо — искренность души и непосредственность чувства, а также, несмотря на трагические стороны жизни, вера в конечную победу добра. Эта победа, считает Андерсен, — «торжество непосредственного, божественного в нас самих». Свои надежды Андерсен возлагает на доброго Бога. Однако Провидение помогает лишь тем, кто, осознавая тяжесть жизни, способен пережить все испытания и измениться к лучшему. В «Гадком утенке», воплощающем представления Андерсена о судьбе и назначении гения, сказочный герой вопреки всем обстоятельствам добивается признания и славы. Он родился в утином гнезде, и его считают безобразным, так как он совсем не похож на остальных обитателей птичьего двора. Таким же безобразным и ни на что не годным он кажется коту и курице, живущим в убогом домике старушки. Он страдает от враждебности окружающих и мучительных сомнений в самом себе. Многое приходится претерпеть ему в жизни, пока однажды у него за спиной не вырастают крепкие крылья. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. «Он был рад, что перенес столько горя и страданий: он мог лучше оценить свое счастье и всю окружавшую его красоту». Как и романы писателя, сказка «Гадкий утенок» во многом автобиографична. В аллегорической форме она рисует борьбу, которую

Андерсену пришлось вести на своем пути к славе. В философской сказке «Колокол» рассказывается история двух подростков, королевского сына и сына бедняка, которые вместе с другими конфирмантами отправляются на поиски таинственного колокола. Его никому еще не удавалось увидеть, но его чудный звон, раздающийся откуда-то из-за леса и похожий на звон большого церковного колокола, западает глубоко в душу. Один за другим конфирманты останавливаются по пути у маленьких фальшивых колоколов, «небольшого счастья, небольшой идиллической радости», и только двое, королевский сын и бедный юноша продолжают поиски. Каждый из них идет своим путем, но в конце концов оба они приходят к одному и тому же горному месту. Перед ними открывается беспредельный морской простор, там «встречались море и небо», «солнце блистало, точно гигантский алтарь». Поспешив друг к другу навстречу и взявшись за руки, «стояли они в огромном храме природы и поэзии, а над ними торжественно звучал незримый колокол, и блаженные духи в танце вились вокруг него под ликующее "Аллилуйя"». Вершиной сказочного творчества Андерсена считал «Колокол» Г.Брандес. Финал сказки, по его словам, — это триумф искусства и науки, которые идут различными путями, но «встречаются в конце концов в одном чувстве восторга и благоговения перед всеобъемлющим Божеством природы». Однако судьба гения может складываться и трагично. В философской сказке «Тень» бал правит посредственность, выдающая себя за гения. Герой сказки — молодой талантливый ученый, превратившийся в слугу собственной тени, которая в конце концов начинает выдавать себя за ученого, а его называть собственной тенью. Когда тень присваивает его ум и знания и сватается к королевской дочери, ученый собирается открыть ей глаза на ее будущего супруга: «Я все расскажу — и что я человек, и что ты тень, всего-навсего переодетая человеком!» Однако все его попытки разоблачить обман ни к чему не приводят. Сражавшегося за Истину, Добро и Красоту ученого казнят, а его тень становится мужем королевской дочери.

Критическая линия в сказках Андерсена, представленная в «Тени», развивается за счет создания большого количества человеческих типов, в которых отражаются черты и приметы провинциального быта. Как и прежде, самый распространенный среди них тип самодовольного мещанина, чувствующего себя уютно и уверенно среди себе подобных и убежденного, что его образ жизни и мысли единственно верный.

Мать-утка в «Гадком утенке» объясняет детям, что мир большой, он тянется далеко-далеко за сад, к полю священника, но она там отроду не бывала. Она учит их правилам хорошего поведения и просит быть особенно вежливыми с испанской уткой, потому что она здесь важнее всех. Столь же ограниченный мирок — дом старушки, где живут кот и курица. О себе они всегда говорят так: «Мы и остальной мир». Здесь ценится лишь умение нести яйца, мурлыкать и выгибать спину. В «Счастливом семействе» старые улитки, живущие в лесу из белокопытников, отлично знают, что именно они первые на свете, что весь лес растет только для них, а усадьба существует лишь для того, чтобы они могли свариться и лежать на серебряном блюде. Они считают себя представителями старинного иностранного рода и презирают обычных черных улиток без домиков как простолюдинов. Штопальная игла в одноименной сказке кажется себе настолько тонкой и деликатной, что ей приходит на ум, будто она произошла от солнечного луча, и т.д.

Трагизм и несправедливость жизни, о которых Андерсен действительно знал не понаслышке, помогала переносить ему вера в жизнь небесную, в награду за земные страдания в потустороннем мире. В сказке «Девочка со спичками» маленькая продавщица спичек замерзает в канун Нового года на улице, не выручив ни гроша за свой товар. Перед смертью она просит свою покойную бабушку взять ее с собой, и та выполняет просьбу внучки. «Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, — они вознеслись к Богу». Утром замерзшую девочку находят люди и, увидев возле нее обгорелые спички, сочувственно говорят: «Девочка хотела погреться!» «И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье». Та же мысль о вечной жизни выражена в сказке «Бабушка». Бабушку похоронили, положив ей под голову сборник псалмов с засохшей розой (воспоминание юности), — так она велела. На ее могиле посадили розовый куст. Над могилой теперь цветут новые розы и поет соловей, а живые помнят старую бабушку с ее ласковым, вечно юным взором. «Взгляд умереть не может! — однажды мы вновь увидим ее, молодую, красивую, как в те давние времена, когда она впервые поцеловала свежую алую розу, что стала теперь могильным прахом». В сказке «История матери» о беззаветной материнской любви смерть уносит младенца из дома матери. Чтобы вернуть его, она броса-

ется следом за нею. Все, кого она просит указать ей путь, равнодушны к ее горю. Ночь требует, чтобы она спела ей все песни, которые пела своему ребенку. Терновый куст хочет согреться теплом ее сердца. Озеро предлагает ей выплакать в него свои глаза. Старуха садовница берет себе ее прекрасные черные волосы и отдает взамен седые. Когда же после всех жертв и перенесенных страданий она в конце концов находит в теплице смерти своего младенца — маленький голубой цветок с поникшей головкой, то понимает, что судьба ее сына в воле Божьей и она должна склониться перед нею. «Не слушай меня, коли молитва моя противна Твоей воле, ибо Твоя воля благая! Не слушай меня! Не слушай!»

В сказках Андерсена 1840-х гг. уже мало что напоминает об их фольклорных первоисточниках. И хотя в них по-прежнему действуют фантастические существа (феи, тролли, эльфы, гномы) и природные стихии, сочетание фантастического и реального служит поводом для серьезных раздумий о жизни человека. Сказка насыщается религиозно-нравственной проблематикой, а ее идейное содержание выражается в подтексте, создающем второй план повествования и несущем основную смысловую нагрузку.

Дальнейшее расширение рамок жанра происходит в творчестве Андерсена в 1850—1870-х гг. и отражается в названиях новых сборников произведений. Наряду со сказками в них появляются так называемые истории: «Истории». Вып. 1—2, 1852—1853; «Новые сказки и истории». Вып. 1—10, 1858—1872. В примечаниях к двум первым томам «Полного собрания сказок и историй» (1862) Андерсен по этому поводу писал: «Для новой серии мне понадобилось новое, подходящее название, и я остановился на названии «Истории». Я нашел, что оно всего больше подходит к моим сказкам: на датском народном языке «история» одинаково означает и простой рассказ, и самую смелую фантазию; нянькины сказки, басни и рассказы — все это известно детям, крестьянам и простолюдинам под именем "истории"».

Придя к выводу, что подобное обозначение более всего соответствовало его сказкам, Андерсен, по сути, констатировал, что он с самого начала стремился к созданию некой универсальной жанровой формы, включающей в себя признаки самых разных жанров «малой прозы», от притчи, аллегории и рассказа до «романа в миниатюре». Новым шагом в этом направлении как раз и стали его истории, которые с точки зрения жанра весьма схожи с литературными сказками немецких ро-

мантиков, однако в них нет сверхъестественных событий и героев, а сказочный мир если и создается, то, как и прежде, на основе объективной реальности. В свою очередь, представления Андерсена о жанре истории заметно повлияли на его поздние сказки, изменив их жанровую природу настолько, что иногда почти невозможно провести грань между теми и другими.

В позднем творчестве Андерсена изредка еще встречаются сказки, написанные в стиле народных, как, например, «Что муженек ни сделает, то и хорошо». Но, по существу, речь может идти лишь о формальном сходстве. В этой сказке отчасти сохранена фабула народного источника, однако введено множество деталей, рассчитанных на комический эффект. Среди персонажей сказки о крестьянине, променявшем «лошадь на корову, корову на овцу, овцу на гуся, гуся на курицу, а курицу на мешок гнилых яблок», появляются путешественники англичане. Они спорят с крестьянином и проигрывают ему, потому что вопреки их ожиданиям он получает от жены не трепку, а поцелуи. «Уж если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он ни делает, находит хорошим — это без награды не останется».

В 1850—1870-е гг. Андерсен под влиянием Х.К.Эрстеда создает множество сказок, в которых в фантастической форме раскрывает достижения современной науки и техники. В сказке «Большой морской змей» жители подводного мира наблюдают диковеннейшую рыбу. Но это не что иное, как телеграфный кабель, опущенный на дно моря и «передающий вести с такою же быстротой, с какой доходит до земли луч солнца». В сказке «Дриада» сказочное существо, обитавшее в каштановом дереве, попадает в Париж и наблюдает чудеса науки и техники на Всемирной Парижской выставке.

По сравнению с периодом 1830—1840-х гг. в творчестве Андерсена 1850—1870-х гг. резко увеличивается количество сказок, отражающих религиозно-нравственные взгляды писателя. Содержание и образы персонажей этих сказок варьируются с большой изобретательностью и фантазией, но утверждение христианских понятий о добре и зле, добродетели, смысле жизни, долге и совести, истине, счастье в них неизменно. Героиня сказки «Камень мудрости» — кроткая умная слепая дочь мудреца символизирует обретение истины в христианской вере. Вслед за своими зрячими братьями она отправляется на поиски камня мудрости, проливающего свет на письмена в книге истины. Их отец

прочитал в ней все, кроме последней главы «О жизни после смерти». В результате он так и не смог найти ответы на вопросы о том, «что такое смерть, чем является душа в теле и как совершается переход души в жизнь вечную». Рациональным путем, по мысли автора, ответить на них невозможно. Поэтому именно слепой дочери, а не зрячим сыновьям мудреца удалось собрать песчинки «истины, добра и красоты», из которых и состоит этот камень. Свет от него упал на страницу книги истины как раз там, где мудрец искал доказательства жизни вечной, и ослепительным блеском засияло всего одно слово: «Вера». От него поднимался светозарный столб песчинок, каждая из которых «соединяла в себе свет истины и сияние Добра». Это был мост Надежды, перекидывающийся от Веры к всеобъемлющей Любви, в бесконечность.

Верой в заботливого Бога-отца и блаженство жизни небесной проникнута сказка «Дочь болотного короля». Героиню этой сказки, прилетевшую вместе с аистами в Данию из Египта, приютили у себя язычники-викинги. У них в плену находился молодой христианский священник. Беседы с ним помогли ей понять, в чем ценность жизни. Героиня обращается в христианство и просит Бога взять ее к себе на небеса. Очищенная от земной оболочки крещением света душа ее обретает вечное блаженство. Все чаще в сказках и историях Андерсена звучит тема греха и искупления. В сказке «Красные башмачки» бедную, красивую, но тщеславную девочку Карен берет на попечение старая богатая женщина. Она дарит ей красивые красные башмачки, в которых Карен, забыв о приличиях, идет сначала на конфирмацию, а потом к причастию. Она все время думает только о них и забывает пропеть псалом и прочесть «Отче наш». Во время болезни своей благодетельницы Карен в красных башмачках отправляется на бал. На балу во время танца ноги Карен сами пускаются в пляс и доносят ее до кладбища, где перед нею возникает ангел Господень. «Ты будешь танцевать... в красных своих башмачках, пока не станешь бледной и холодной... Ты будешь танцевать от дома к дому и стучать в двери там, где живут заносчивые, тщеславные дети, — что они слышали тебя и боялись!» — говорит он ей. Проклятие ангела преследует Карен. Она тяжело страдает и мучается, пока не понимает, что причина ее страданий — грех гордыни и тщеславия. Карен идет в услужение священнику, работает в его доме не покладая рук, а вечерами слушает чтение Библии. И вот перед ней снова возникает видение ангела Господня. Сердце Карен переполняется радостью, оно не выдерживает и разрывается, и, прощенная, она попадает в Царствие Небесное.

Сказка «Девочка, наступившая на хлеб» развивает тему «Красных башмачков». Героиня сказки, гордая и спесивая Ингер, чтобы не запачкать своих башмачков, наступила на хлеб и провалилась под землю в ад. Когда эту историю рассказали другой девочке, то ей стало так жалко несчастную Ингер, что она попросила Отца Небесного за нее. Потрясенная этим проявлением любви и милосердия, Ингер раскаялась в своем поступке. Она искупила свою вину тем, что, превратившись в маленькую птичку, собрала и раздала столько хлебных крошек, сколько втоптала когда-то в грязь. Бог дарует Ингер прощение, и душа ее устремляется на небеса. Этой же теме посвящена и сказка «Анна-Лисбет» о молодой женщине. Став молочной матерью ребенка в семье графа, она забыла о своем собственном сыне, который утонул во время плавания на шхуне с пьяным шкипером. Вначале гибель сына не очень опечалила Анну-Лисбет, но через некоторое время призрак покойного стал преследовать ее повсюду. Свой грех Анна-Лисбет искупила раскаянием. Она пришла в церковь и упала перед алтарем, моля Бога о спасении души, и «когда солнце опустилось совсем низко, душа Анны Лисбет вознеслась ввысь, туда, где нет страха, коли ты победил его на земле. А Анна Лисбет его победила».

Поздние сказки и истории Андерсена — произведения широкого жанрового диапазона, исполненные глубокого внутреннего смысла. История прачки в «Пропащей» — это рассказ о служанке, которая влюбилась в студента, а он в нее, но его мать вовремя заметила опасность, угрожавшую сыну, и уговорила девушку стать женой перчаточника. Вначале их дела пошли в гору, и в доме появился достаток, но вскоре перчаточник умер. Чтобы прокормить себя и сына, она мыла лестницы, стирала белье, но выбраться из нужды все равно не смогла. Постепенно она пристрастилась к спиртному, и люди стали называть ее пропащею. Но автор не осуждает свою героиню. Ведь она боролась за свою жизнь и жизнь своего сына изо всех сил, и не ее вина, что обстоятельства сложились столь трагично. Для работницы Марен она как была, так и осталась добрым и отзывчивым человеком. «... она была достойная женщина! И Господь в Царствии Небесном тоже так скажет, а люди пускай называют ее пропащею!» Как и «Пропащая», подлинным трагизмом и глубиной изображения человеческих судеб отличаются истории-новеллы «Иб и Кристиночка», «Под ивою», «Бутылочное горлышко».

В истории «Садовник и господа» в форме аллегории раскрываются взаимоотношения художника и общества. Садовник Ларсен — подлинный мастер своего дела, творец, у него умелые руки и доброе сердце. Яблони и груши в его саду приносят такие плоды, которым может позавидовать и королевский садовник. Умением Ларсена открывать красоту там, где другим это недоступно, восхищается принцесса. И только господа Ларсена не хотят признать в нем дар художника. Для них он всего лишь садовник, которого они могут в любую минуту прогнать, если им вздумается.

Наиболее значительными в позднем творчестве Андерсена являются его истории о прошлом, исторические «романы в миниатюре». В них, как правило, изображаются исторические персонажи, сохранившиеся в памяти потомков. В истории «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях» повествуется о судьбе старинного дворянского рода. Причины его оскудения и гибели коренятся в действиях основного персонажа, родовитого дворянина Вальдемара До, в котором Андерсен воплощает идею неотвратимости возмездия за нарушение установленных свыше законов и моральных норм. Вальдемар До — типичный представитель своего сословия. В его жилах течет королевская кровь, он смел и горд, умеет высоко держать свою голову, образован. Однако все эти достоинства в конечном счете ничего не стоят, ибо порочна его душа. До высокомерен, себялюбив и алчен. В его усадьбе жилось весело. «Здесь бурлила жизнь. Здесь что ни день пировали. Здесь собирались важные гости со всей округи и из дальних краев, играла музыка, звенели кубки... Здесь властвовал спесивый гонор со всем его хвастливым блеском, и в господах недостатка не было, только Господу не нашлось места!» В жертву своей безумной страсти алхимика — получить золото — До принес свою жизнь и счастье своих дочерей. Чтобы добыть денег на опыты, он распорядился вырубить дубраву на морском берегу. И сам он, и его дочери, кроме младшей Анны Доротеи, смеялись над дикими криками птиц, когда рубили деревья. Лишь один старый полузасохший дуб, на котором свил свое гнездо черный аист, по просьбе Анны был пощажен. До запретил старшей дочери красавице Иде выйти замуж за корабела, которого она полюбила, но который, увы, был беден. Когда же семья разорилась, гордыня не позволила ему остаться с детьми в проданной усадьбе, несмотря на разрешение ненавистного ему нового ее владельца. Он все время думал только о своих опытах, «от за-

бот и бессонных ночей поседели у рыцаря кудри и борода, кожа сморщилась, пожелтела, глаза алчно высматривали желанное золото». А после того как Ида стала женой батрака, Вальдемар До, не пережив позора, умер. Покинула отцовский дом и покончила с собой, бросившись в штормовое море, средняя дочь Иоханна. И только на Анну Доротею, спасшую от разорения гнездо аиста, Бог распространил свою милость. До самой ее смерти аист охранял ее кров.

В истории «Предки птичницы Греты» Андерсен описывает судьбу знатной датской дворянки XVII в. Марии Груббе. К ее образу обращались многие писатели, пытаясь понять, что же заставило супругу внебрачного сына короля увлечься человеком низкого происхождения. Впервые о Марии Груббе написал в одном из своих «Посланий» (1748—1754) датский просветитель, драматург и прозаик Л.Хольберг, встретившийся с ней в 1711 г., когда она уже жила на острове Фальстер и работала там на переправе паромщицей. Позднее история жизни Марии Груббе легла в основу рассказа С.С.Бликера «Отрывки из дневника сельского священника» (1824), изобразившего ее под вымышленным именем Софии и перенесшего действие в XVII в. Андерсен в истории о Марии Груббе стремился как можно точнее следовать историческим фактам, насколько ему позволяли сведения, почерпнутые главным образом у Хольберга. Очевидно, поэтому он и стал одним из главных персонажей его произведения. Именно из уст Хольберга читатель узнает о последних годах жизни Марии Груббе. Свою героиню Андерсен изображает необычайно сильной и цельной личностью, не желающей идти ни на какие компромиссы. Любовь к другу детства Сёрену она сумела пронести через всю свою жизнь. К тому времени, когда происходит ее встреча с Хольбергом, в Марии Груббе мало что изменилось. «Держалась она с достоинством, спину несла прямо, глаза глядели из-под черных бровей горделиво». Ей безразлично, какие слухи распускают о ней и ее муже. В простом паромщике она нашла свою мечту о настоящем мужчине. «Жизнь с Сёреном была мне больше в радость, чем жизнь с тем, кого называют галантнейшим и любезнейшим из всех подданных короля». Андерсеновской трактовке образа Марии Груббе вскоре последовал другой классик датской литературы — Й.П.Якобсен в историческом романе «Мария Груббе» (1876). В рассказе о внучке Марии Груббе птичнице Грете, со смертью которой заканчивается существование старинного дворянского рода, Андерсен выразил идею о скоротечности земной жизни и вечности жизни небесной

Сказки и истории принадлежат к самой важной и жизненной части литературного творчества Андерсена, подлинного новатора в разработке малого повествовательного жанра. Используя поэтику, сюжеты и образы сказок, Андерсен прошел сложный путь от переработки фольклорных источников до создания новых жанровых форм, зачастую лишенных фантастического элемента. Наполнив свои сказки и истории глубоким интеллектуальным и религиозно-нравственным содержанием, он превратил их в универсальный тип литературного произведения, открывающий перспективу развития художественной прозы XX в.

Зимой 1845—1846 гг. после выхода в свет третьего выпуска «Новых сказок» Андерсен отправился в очередное путешествие в Германию, которое стало европейским триумфом писателя. В Лейпциге он получил предложение сразу от трех немецких и одного датского издателя опубликовать на немецком языке собрание своих сочинений. Он заключил контракт с датским издателем С.В.Лорком, пообещав ему написать в качестве предисловия к этому изданию автобиографию. Работа над ней продолжалась с февраля по август 1846 г., в феврале 1847 г. она вышла в свет в Германии под названием «Сказка моей жизни без вымысла» (датск. изд. 1942 г.) и в том же 1847 г. была переведена на английский язык. Прошло восемь лет, прежде чем Андерсен получил предложение опубликовать датскую версию автобиографии у себя на родине. В ее основу легла «Сказка моей жизни без вымысла», основательно переработанная и расширенная автором. Потребность в новой автобиографии, а не просто в переводе с немецкого старой сам Андерсен объяснял тем, что писал он ее за границей, не имея под рукой необходимых материалов, и многое из того, что представляло бы интерес для датских читателей, осталось за рамками повествования.

И немецкая, и датская автобиографии начинаются словами, раскрывающими жизненную философию Андерсена. «Жизнь моя — это настоящая сказка, богатая событиями, удивительно прекрасная! Если бы в ту пору, когда я бедным беспомощным ребенком начинал свой жизненный путь, мне встретилась бы могущественная фея и сказала: “Избери себе цель и дорогу к ней, а я согласно с твоими дарованиями и по мере возможности буду охранять и направлять тебя!” — и тогда судьба моя не сложилась бы лучше, счастливее и разумнее. История моей жизни скажет целому миру то же, что говорит и мне: Всемилостивый Господь Бог наш все направляет к лучшему». Представление о добром

и заботливом Боге, проходящее красной нитью через все его художественное творчество, появляется у Андерсена еще задолго до того, как он получил европейское признание. Свидетельство тому — его первая автобиография (рукопись 1832 г.), которую, отправляясь в путешествие в Италию, он оставил на хранение Э.Коллину, собираясь после возвращения продолжить над ней работу. Только в случае смерти Андерсена она могла быть опубликована, чтобы читатель получил достоверные сведения о его детстве и юности. Вернувшись на родину, он был целиком захвачен замыслом «Импровизатора» и работу над рукописью так и не завершил. Случайно обнаруженная в Королевской библиотеке в 1924 г. литературоведом Х.Бриксом, она была опубликована им в 1926 г. под названием «Жизнеописание Х.К.Андерсена».

«Жизнеописание» играет важную роль в творческой биографии Андерсена. Главное место занимает в нем внутренний мир автора, который рассказывает о себе отстраненно и с чувством юмора, чистосердечно признаваясь в своих ошибках, заблуждениях, слабостях. Не предназначенное для печати, оно до сих пор остается среди других автобиографических сочинений самым полным и объективным источником сведений о детстве и юности Андерсена, которому к моменту завершения работы над рукописью исполнилось всего двадцать семь лет. Именно в «Жизнеописании» он впервые формулирует идею Божественного Провидения, по его убеждению, неуклонно направлявшего его к высшей цели — осуществлению художнического призвания. «С каждым днем мир предстает передо мной во все более поэтическом свете. Поэзия входит в мое существо, и мне кажется, будто сама жизнь есть лишь одно великое удивительное поэтическое произведение. Я чувствую, как невидимая добрая рука управляет всем, что не слепой случай, а биение сердца невидимого Бога-отца ведет меня вперед!» Уже в раннем возрасте Андерсен проникся чувством своей исключительности, и ему важно показать, какие факторы были движущей силой его творческого развития. Само появление его на свет «на кровати, сооруженной из деревянного помоста, на котором год назад стоял гроб с телом графа, богатого, но теперь, увы, мертвого», несмотря на шутливый тон повествования, представляется исполненным глубочайшего смысла. В мир пришел «нищий, но живой, нарожденный поэт, а именно я сам».

Источник поэзии заключен в нем самом, в его внутреннем мире. «Я был поэтом, сам того не подозревая». Крайне важны для формирования творче-

ской личности поэта его детские впечатления. Для Андерсена они основа всего, что проявится позднее в его творчестве. Особый упор он делает на обстоятельствах, способствовавших его увлечению поэзией. Среди них — беседы и игры с отцом, совместное чтение книг, занятия кукольным театром, прогулки с родителями в лес, посещение городского театра. К числу самых сильных впечатлений детства он относит также посещения каторжной тюрьмы и городской больницы. Ему кажется, будто сама атмосфера его родного старого Оденсе с народными праздниками, суевериями, обычаями ремесленников придавала его детству «удивительно поэтический колорит», «будила воображение» и наполняла «каким-то романтическим чувством, незнакомым жителю Копенгагена». Восторг перед красотой окружающего мира, увлеченность театром и первые литературные опыты помогают ему сформировать свой собственный автономный внутренний мир. В окружении ровесников, которым он кажется странным, даже помешанным, Андерсен воображает себя «сказочным героем, сражающимся за свое счастье». Эта мечтательность, эта погруженность в глубины своего душевного мира помогли ему одолеть все беды и несчастья, выпавшие на его долю в Копенгагене. Он был настолько поглощен самим собой, что его не пугали ни одиночество, ни нищета — верные спутники его юных лет. «Мое настроение между тем было превосходным, я относился ко всему с такой легкостью и видел только положительное в окружающем мире... Воображение заменяло мне все, я жил в мире грез...»

Свой юношеский портрет Андерсен рисует с большим психологическим мастерством. Он отлично сознает свои недостатки, прежде всего наивность и восторженность, производившие комическое впечатление на окружающих. «...Моя удивительная наивность и невероятный интерес ко всему, что было связано с театром, вызывали на редкость комический эффект, чего я в силу своей восторженности просто не замечал, считая на самом деле, что, как однажды выразился Эленшлегер, любая улыбка есть знак одобрения. Надо мной часто потешались, но я этого не замечал, имея о своих способностях весьма высокое мнение».

Необыкновенно проницателен он и в отношении других. Удивительно комично при всей своей чудовищности выглядит в «Жизнеописании» директор школы Мейслинг. Его грубость и капризность, вспыльчивость и причуды, упрямство и ученое высокомерие беспредельны и гротескны. В гимназии Мейслинг «со всеми обращался “очень höhnisch”» (язвительно, злорадно. — *нем.*). Дома он постоянно брюзжал, был крайне скуп

и нечистоплотен. «Мейслинг никогда не мыл рук, и если у него были чистые пальцы, то лишь благодаря тому, что он каждый вечер выжимал лимон в стакан для пунша». Грубость и мелочность Мейслинга особенно ярко проявляются в момент прощания с Андерсеном, когда в ответ на слова благодарности директору «за то хорошее, что он для него сделал», слышит: «Убирайтесь к черту!» К фру Мейслинг автор относится не без юмора, но с симпатией. Безуспешно сражаясь с грязью и беспорядком в доме, она постоянно препирается со служанками, обвиняя их в нерадивости и расточительности, и первая рассказывает подругам сплетни о своих развлечениях с гарнизонными офицерами в расчете на то, что «в сказанное ею самой они наверняка не поверят». «Репутация — самое главное для человека!» — поучает она своего юного постояльца, которого сама же пытается соблазнить. В ней причудливым образом сочетаются доброта и расчетливость: когда приходит время прощаться, фру Мейслинг, будучи искренне огорчена, предлагает своему юному постояльцу вместе прогуляться по городу, чтобы «ни у кого не возникло сомнений, что они расстаются друзьями».

В этих «действительно неблагоприятных» условиях, Андерсену тем не менее удалось сохранить веру в себя, в свои творческие силы, о чем свидетельствовали его первые стихотворения, которые он писал тайком от своих наставников. Но, наверное, не менее важно и то, что годы учебы обогатили его неоценимым жизненным опытом, так необходимым писателю. Они научили его «подмечать нелепости жизни» и «создавать комическое, сочетая высокое с низким, не видя в этом ничего, кроме невинной шутки».

Возвращение в Копенгаген вызвало у Андерсена чувство ликования и радости. «Телом и душой стал я теперь словно вольная птица в небе, все горести, все пустые мечтания были забыты, и от этого моя истинная сущность, до сих пор тщательно скрываемая, прорвалась наружу чересчур бурно. Ведь жизнь была так прекрасна. Мое доверие к людям еще не пошатнулось, я не питал злобы даже к Мейслингу, а думал лишь о своей свободе, о своем счастье».

Как о лишенных всякого смысла, рассуждает он теперь о церковных догматах о небесном проклятии и муках ада. «Мне показалось чем-то несерьезным, чем-то принижающим Господа Бога представлять его вопреки слову Христа строгим властелином, карающим человека вечным огнем без надежды на спасение за то, что он не смог побороть в себе

присущее ему от природы... В душе моей бурлило пьянящее ощущение свободы!», — восклицает Андерсен, чувствуя, словно его поэтический талант обретает новые мощные крылья. Успех «Прогулки от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер» вселяет в него поэтическую смелость и уверенность в себе. «Я стал видеть теперь все в положительном свете, и у меня появилась потребность пародировать свои былые горести и бесплодные мечтания». Комедией «Любовь на башне св. Николая, или Что скажет партер» он, по сути, подводит черту под своим несчастливым прошлым и открывает дорогу в будущее. «Я испытывал блаженство! Я действительно был растроган тем, что моя пьеса будет поставлена на театре, перед которым несколько лет назад я стоял нищим и никому не нужным».

Заключительную часть автобиографии Андерсен посвящает рассказу о первой любви. Летом 1830 г. во время путешествия по Фюну он познакомился с Риборг Войт, сестрой своего университетского товарища, двадцатилетней девушкой «с кротким выражением лица и живыми карими глазами». Она много читала и была в восторге от его «Прогулки...». Эта встреча безмерно обрадовала и одновременно озадачила Андерсена. «Никогда прежде я не чувствовал себя таким бодрым духом, я видел, с какой радостью, с каким сестринским чувством она мне улыбалась». В обществе Войт он становился «совершенно иным человеком» и стремился видеться с ней как можно чаще. Однако, оставаясь наедине с самим собой и размышляя о случившемся, он «начинал испытывать непонятный страх». «Я чувствовал здесь себя так хорошо, и одновременно мне так хотелось уехать отсюда, что мне и надо было сделать и чего я, в сущности, желал. Вот я и назначил свой отъезд на следующий вечер». Вернувшись в Оденсе, он понял, что по-настоящему влюблен. Спокойно, почти бесстрастно Андерсен пытается рассказать о том, как складывались его взаимоотношения с Войт, и все же временами не может скрыть своего замешательства. Первое время, пока страсть еще не овладела им, он только постоянно вспоминал, какими приятными казались ему редкие встречи и беседы с нею. Но потом, уже в Копенгагене, узнав, что семья Войт приезжает в столицу, «почувствовал, что готов на все, лишь бы она принадлежала ему». От своих друзей в городке Фоборге Андерсен знал о помолвке Войт с сыном аптекаря и о том, что ее отец, богатый судовладелец, был против предстоящего брака, подозревая, что молодой человек женится на его дочери ради денег. Сам Андерсен почти

не сомневался, что Войт влюблена в него и готова расторгнуть помолвку. И тем не менее он так и не решился просить ее руки. Можно только догадываться о том, что же удержало Андерсена от брака с любимой женщиной. Не исключено, что свою роль сыграла его природная робость. Но скорее всего — и к этому склоняются многие биографы Андерсена, — подобно Киркегору, он так и не рискнул ради семейного счастья поставить на карту свое призвание художника.

«Сказка моей жизни» увидела свет в канун 50-летия писателя, когда он уже находился на вершине славы, и в ней он подробно рассказал о своем творческом пути. В связи с этим существенно изменился жанр произведения: в «Сказке моей жизни» в отличие от «Жизнеописания» доминирует мемуарное начало. Акцент переносится с изображения внутреннего мира писателя на рассказ о людях, с которыми он встречался, о событиях, которые он наблюдал, и на то, как относились к его произведениям на родине и за границей. «Я надеялся, что характеристики множества выдающихся личностей, с которыми мне приходилось сталкиваться, и описание впечатлений, вынесенных мною из жизни и окружающей меня обстановки, могут представлять для потомства некоторый исторический интерес, равно как простое, безыскусственное повествование о вынесенных мною испытаниях может послужить источником утешения и ободрения для молодых, еще борющихся сил», — писал Андерсен, объясняя читателям, что побудило его взяться за перо.

Рассказу о детстве и юности, составлявшему основное содержание «Жизнеописания», уделено теперь немногим более шестидесяти страниц объемного сочинения, истории любви к Риборг Войт — всего несколько строк, при этом имя ее вообще не упоминается; в центре внимания — драматическая борьба за писательское признание и мировую славу. Оглядываясь на пройденный путь, Андерсен с еще большей горечью вспоминает о несправедливых обидах и унижениях юных лет. Самым трудным для него временем остаются годы учебы в школе у Мейслинга. Не менее сложно складываются у него в начале творческого пути отношения с читателями и критиками. «Всюду говорили только о моих недостатках. Случалось даже, что я встречал на улице вполне прилично одетых людей, которые, проходя мимо меня, скалили зубы и отпускали на мой счет злорадные шуточки». Предвзятые и несправедливые оценки его произведений вызывают у него чувство отчаяния. «Мне приходилось

читать не критику на свои сочинения, а прямые выговоры себе; тянулось это долго, но в описываемое время дела мои были особенно плохи».

Конечно, Андерсен отдавал себе отчет в том, что источник его страданий в нем самом, в его чересчур эмоциональной, неуравновешенной натуре: «У меня был талант склоняться к темным сторонам жизни, смаковать болезненное и горькое, желание мучить себя», — в том, что он слишком остро реагировал на события, которые, быть может, и не заслуживали такого внимания. «То, о чем и не стоило бы упоминать, доставляло мне глубокие внутренние мучения и оставалось во мне долгие дни». Но, как бы то ни было, здоровые силы души рано или поздно брали в нем верх над «печалью и мнительностью», а природное чувство юмора «помогало преодолеть угнетенное, подавленное состояние». Именно в такие минуты он «ясно сознавал свои собственные слабости и недостатки и также глупость выходок ретивых менторов».

Сохранить веру в себя, в свои силы помогала Андерсену поддержка близких ему по духу людей. В «Сказке моей жизни» дано множество запоминающихся портретов выдающихся деятелей национальной и европейской культуры, сыгравших заметную роль в его творческой судьбе: Эленшлегера, Торвальдсена, Ингеманна, Х.К.Эрстеда, братьев Гримм, Диккенса, Гейне, Шамиссо и многих других. Эленшлегер для Андерсена — это «истинный, природный, вечно юный поэт», который даже в старости «превосходил всех молодых мощью своего гения». В его духовном облике он отмечает «нечто открытое, по-детски привлекательное, — разумеется, это проявлялось, когда он бывал в кругу друзей, а не в большом обществе; там он был тих и держался особняком». Андерсен глубоко благодарен Эленшлегеру за его помощь и участие, особенно в начале своего творческого пути, когда прославленный писатель одним из первых оценил его поэтический талант. «Не обращайте внимания на этих крикунов! Вы — истинный поэт, это я Вам говорю!». Эленшлегер был и остался для него высшим авторитетом в поэзии и гордостью национальной литературы.

Такое же сильное и искреннее чувство любви и благодарности Андерсен испытывает к Торвальдсену. Он отдает должное не только творческой гениальности, но и неповторимой и самобытной личности великого скульптора. «Сколько жизни и веселья кипело в этом бодром, крепком старике!» — пишет о нем Андерсен после возвращения Торвальдсена из Италии незадолго до его смерти в 1844 г. Его восхищает «мощ-

ная, здоровая натура» Торвальдсена, не желавшего знать байроновской «мировой скорби». Андерсен пересказывает историю о Байроне, которую он услышал от Торвальдсена, работавшего над статуей английского поэта в Риме. «Он согласился позировать мне, но как только уселся, сейчас же состроил гримасу. “Будьте добры, посидите смирно! — сказал я ему. — Не надо гримасничать!” — “У меня всегда такое выражение!” — ответил он. “Вот как!” — сказал я и изобразил его по-своему. Все находили, что статуя похожа на оригинал, только сам он говорил: “Это не я! Я выгляжу гораздо несчастнее!” Ему, видите ли, непременно хотелось казаться несчастным!» — закончил Торвальдсен с иронической улыбкой». Андерсена привлекают прямота, обостренное чувство справедливости, готовность великого скульптора «горячо вступиться за тех, кого, по его мнению, обвиняли напрасно». «Несправедливости, насмешек, особенно если в них проглядывало злое намерение, он не переносил и восставал против них, с кем бы ему ни приходилось иметь дело».

Долгие годы дружбы связывали Андерсена с Ингеманном, которого он считал «самым популярным в народе датским писателем». Яркой чертой творчества Ингеманна, по мнению Андерсена, было то, что все его произведения проникнуты «глубоким и серьезным нравственным чувством». Они высокохудожественны, и, читая их, «как бы прислушиваешься к шелесту могучего дерева поэзии (...). Ингеманн обладал вечно юным сердцем истинного поэта! Большое счастье познакомиться с таким человеком и еще большее — обрести в нем верного, испытанного друга».

Среди других деятелей датской культуры особую роль Андерсен отводит Х.К.Эрстеду, о котором пишет: «Он почти единственный из близких мне людей, постоянно признавал во мне поэтические дарования, ободрял меня и предсказывал, что рано или поздно талант мой признают не только за границей, но и на родине». Подлинное величие ученого сочеталось у Х.К.Эрстеда, по словам Андерсена, с непосредственностью и наивностью ребенка. «В нем был неисчерпаемый источник знания, опыта, остроумия и в то же время какой-то милой наивности, детской невинности. Это поистине редкая натура, отмеченная печатью высшего гения. И ко всему этому надо еще прибавить его глубокую религиозность». Талант Х.К.Эрстеда многогранный и глубокий. Он был не только ученый, естествоиспытатель и философ, но и поэт, прекрасно разбирающийся в вопросах теории искусства. С годами, признается Андерсен, влияние на него Х.К.Эрстеда все более возрастало. «Я усвоил воззрения, которые рекомендует совре-

менным поэтам Эрстед в своем творении "Дух в природе", и, "ценя слепую веру благочестивых людей", сам был готов смотреть на Бога через призму науки, "руководствуясь разумом, который Он сам же дал нам"».

От Х.К.Эрстеда Андерсен почерпнул не только научные знания и просветительский взгляд на религию, но и некоторые эстетические представления, которые легли в основу его собственной эстетики, прежде всего идею добра, которая «должна господствовать в поэтическом творении, что бы там поэт ни изображал, хоть самый ад». Андерсен отмечал, что «Х.К.Эрстед всем сердцем любил все прекрасное и доброе, а пытливый ум его стремился отыскать в них и истину», признавая при этом, что и его собственные произведения более всего ценили за «сердечность, естественность и правдивость». «Ведь как бы ни была прекрасна и достойна похвалы форма произведения, как бы ни поражали своей глубиной высказанные в нем идеи, главную роль играет все-таки пронизывающее его искреннее чувство. Из всех свойств человеческой натуры оно менее всего подвергается влиянию времени и наиболее доступно пониманию каждого».

В «Сказке моей жизни» нашла свое отражение и страсть Андерсена к описанию своих путешествий. Словно восполняя пробел в книгах путевых очерков, он впервые подробно рассказывает здесь о путешествии во Францию и Италию в 1833—1834 гг., где почерпнул материал для первого романа. Не менее интересно, хотя и не столь пространно, как в путевых очерках, даны описания и других путешествий Андерсена. Попрежнему, ему удается запечатлеть то характерное, что его зоркий взгляд выхватывает из жизненной мозаики, однако теперь его внимание привлекают не только красочные подробности, но и социальные контрасты жизни, о чем он писал в своих английских впечатлениях 1847 г. «Я воочию убедился, что значат в Лондоне "высший свет" и "бедность", — о них я впоследствии вспоминал как о двух противоположных полюсах здешней жизни. Бедность представала передо мной в образе бледной голодной девушки в заношенной и потертой одежде; я видел ее, ютившуюся в углу омнибуса. Это было само воплощенное несчастье, не промолвившее ни слова мольбы, ибо попрошайничество в Англии запрещено. Я помню также других нищих, мужчин и женщин, носивших на груди большие листы картона с надписями "Умираю от голода! Сжальтесь!"»

С авторским стремлением к документальности и точности изложения материала связано появление в «Сказке моей жизни» огромного количе-

ства документов: отрывков из писем, пространных цитат из газетных статей и рецензий, с авторами которых Андерсен часто вступает в язвительную полемику. По мере приближения к вершине славы он все больше внимания уделяет перечислению достигнутых успехов, приемам у коронованных особ, отдыху в богатых поместьях. Идея «жизни-сказки» становится лейтмотивом всей книги: «Сказка моей жизни развернулась теперь передо мною — богатая, прекрасная, утешительная! Даже зло вело ко благу, горе — к радости, и в целом она является полной глубоких мыслей поэмой, какую я никогда не был в силах создать сам. Да, правда, что я родился под счастливой звездой!»

«Сказка моей жизни» вопреки опасениям Андерсена, ожидавшего несправедливых нападок, была принята критикой вполне доброжелательно. Уже на следующий день в газете «Дагбладет» появилась рецензия на его книгу, в которой отмечалось «тонкое и точное изображение многочисленных персон, с которыми автору приходилось общаться», а также «его любовь к правде», что, по мнению рецензента, «вообще-то не является отличительной чертой автобиографического жанра». Газета «Летучая почта» опубликовала отрывки из «Сказки моей жизни», охарактеризовав ее как «весьма полезный комментарий» к творчеству Андерсена. При этом рецензент осторожно упрекнул автора в том, что он «слишком часто видит злую волю и враждебное направление ума у своих критиков». Во второй, более обстоятельной статье в «Дагбладет» 11 декабря 1855 г. рецензент, охарактеризовав в целом его творчество, выразил сожаление, что до сих пор Андерсен не получил на родине такого признания, которым уже давно пользуется за границей. Высоко оценив сказки Андерсена, он выразил уверенность, что «Сказка моей жизни» займет не менее достойное место в датской литературе.

«Сказка моей жизни» стала своего рода подведением жизненных итогов и творческим завещанием Андерсена. В ней он изложил свои взгляды на жизнь, литературу и искусство, предназначение художника. Как и «Жизнеописание», «Сказка моей жизни» обладает бесспорной эстетической, историко-литературной и историографической ценностью, служит достойным вкладом писателя в историю национальной литературы.

В России интерес к творчеству Андерсена возник еще в первой половине XIX в. В 1844 г. по инициативе профессора русского языка и истории в Гельсингфорсском университете Я.К.Грота (1812—1893)

был опубликован роман Андерсена «Импровизатор». Перевод романа со шведского выполнила сестра Грота Роза Карловна. Сам же Грот выступил в качестве редактора. На роман откликнулся рецензией В.Г.Белинский. Он высоко оценил перевод, однако содержание «Импровизатора» не вызвало у него особого интереса. Лишь по поводу итальянской природы и итальянских нравов критик заметил, что они «очерчены не без таланта и увлекательности». Причина столь невысокой оценки во многом объяснялась обстоятельствами, в которых она была сделана. В русской литературе 1840-х гг. уже утвердилась «натуральная школа», в Дании формирование реалистической литературы произошло позднее, в начале 1870-х. Романтический роман Андерсена показался критику «устарелым и провинциальным».

С середины 1840 — начала 1850-х гг. творчество Андерсена привлекает к себе все больше внимания. В отечественных журналах публикуются сказки Андерсена, в том числе такие известные, как «Цветы маленькой Иды», «Гадкий утенок», «Бронзовый вепрь», «Соловей». В 1851 г. в журнале «Пантеон» появляется немецкая редакция автобиографии писателя в переводе А.Грека. В 1858 г. Н.А.Добролюбов выступает с первой рецензией на сказки Андерсена, опубликованные на французском языке в «Журнале для воспитания». Отметив, что сказки Андерсена произвели на него самое благоприятное впечатление, Добролюбов выражает сожаление, что, «уже давно известные в Германии, в России они распространены довольно мало». Критик чутко улавливает «прекрасную особенность» сказок Андерсена: «реальные представления чрезвычайно поэтически принимают в них фантастический характер», и кроме того, отмечает «отсутствие в них малейшего резонерства». Вместе с тем, отдавая должное «замечательному таланту писателя», он считает сказки Андерсена исключительно детским чтением. «Нет никакого сомнения в том, что подобные рассказы гораздо более могут занять детей и принести им пользы, нежели всевозможные нравоучительные побасенки».

Во второй половине XIX в. произведения Андерсена уже широко публикуются в России. В 1863 г. «Общество переводчиц» во главе с М.В.Трубниковой и Н.В.Стасовой начинает издание «Полного собрания сказок Андерсена» в переводах с немецкого. В 1868 г. ими же осуществляется перевод на русский язык с немецкого сборника «Новые сказки». В 1861 г. в качестве приложения к газете «Свет» публикуется «Книга картин без картинок», а в 1885 г. — роман «Две баронессы».

В 1870—1880 гг. в издании Плотникова выходит в свет собрание сказок Андерсена в 3 томах. В его подготовке участвуют известные переводчики П.Вейнберг, М.Вовчок, С.Майкова. В 1885 и 1886 гг. в журналах «Русский вестник» и «Русское обозрение» появляются отдельные сказки, переведенные с языка оригинала Ю.Н.Щербаковым. В 1890 г. в журнале «Родник» печатается роман Андерсена «Всего лишь скрипач», который впоследствии выходит отдельной книгой.

Исключительно важным событием для российских читателей стало издание «Собрания сочинений» Андерсена в 4 томах, которое осуществили в 1894—1895 гг. Петер Эммануэль Хансен (Петр Готфридович Ганзен, 1846—1930) и его жена Анна Васильевна Ганзен (1869—1942), стоявшие у истоков русской переводческой школы с языков скандинавских стран. Ганзен приехал в Россию из Дании в 1871 г. Десять лет он прослужил в сибирском телеграфном агентстве. В совершенстве овладев русским языком, стал пробовать свои силы в качестве переводчика: в конце 1870-х гг. перевел на датский язык «Обыкновенную историю» И.А.Гончарова, а на русский — драмы Ибсена «Союз молодежи» и «Столпы общества». Выйдя в отставку, Ганзен переехал в Санкт-Петербург. Здесь он женился и вместе со своей женой занялся активной переводческой деятельностью. Большинство переводов скандинавских авторов на русский язык осуществлялось в это время с немецкого или французского языков. А.В.Ганзен и П.Г.Ганзен всегда переводили с языка оригинала. Благодаря их усилиям на русском языке появились собрания сочинений многих скандинавских авторов, в том числе и Андерсена. Выдающиеся переводчики осуществили перевод с датского языка на русский почти всех его сказок и историй. В «Собрание сочинений» Андерсена наряду со сказками и историями они включили некоторые из его романов и драм, отрывки из путевых очерков, в сокращении — мемуары, а также переписку и воспоминания современников. Таким образом, они решили задачу, которую перед собой поставили, — дать более полное и объективное представление об Андерсене, поставив под сомнение уже сложившийся к тому времени о нем стереотип как исключительно о писателе для детей.

Но еще до выхода в свет «Собрания сочинений» произведения Андерсена получили признание в России. Одним из первых его сказки высоко оценил Л.Н.Толстой. Он сам перевел на русский язык «Новое платье короля» и в переработанном виде включил эту сказку в свою «Азбуку».

В 1868 г. Стасова и Трубникова в письме Андерсену написали о том, какой популярностью пользуются его сказки у читателей: «Русская публика любит эти «Сказки и рассказы», автор которых причисляется к величайшим писателям современности». Сказки Андерсена любил А.М.Горький, избравший эпиграфом к своей книге «Сказки об Италии» слова Андерсена из сказки «Бузинная матушка» о том, что самые причудливые сказки вырастают из действительности. Неизгладимое впечатление «высокими мыслями и глубоким гуманным чувством» сказки Андерсена произвели на И.Бунина. Особенно сильное «поэтическое и восторженное чувство» вызвала у писателя в гимназические годы сказка «Колокол». Сказки Андерсена были любимым чтением А.Блока. В начале января 1907 г. он написал своей матери: «Я уже давно не читаю ничего, кроме Андерсена». По воспоминаниям современников, «Снежную королеву» и «Ледяную деву» Блок воспринимал как-то лично, биографически. Он не очень верил в счастливый конец первой сказки, в победу любви Герды и больше доверял финалу второй сказки — гибели в ледяном потоке Руди, только раз заглянувшего в глаза Ледяной девы, но отмеченного знаком ее власти над ним. К идеям и образам сказок Андерсена обращались в своих произведениях А.А.Ахматова, М.И.Цветаева, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, Д.С.Мережковский и другие русские писатели Серебряного века. По мотивам сказок Андерсена были созданы некоторые популярные сочинения Е.Л.Шварца. «Вдохновенным импровизатором и ловцом человеческих душ — и детских и взрослых» назвал великого сказочника К.Паустовский.

И сегодня, в год 200-летнего юбилея писателя, уже давно ставшего достоянием не только датской, но и русской культуры, он все так же дорог нам своей любовью и состраданием к людям, своим бережным отношением к вечным ценностям бытия. Нас увлекают удивительный полет его фантазии, знание жизни, мудрость и проницательность, великолепное мастерство художника. Произведения Андерсена заслуженно признаны эталоном высокого искусства, они не стареют, они будут жить вечно.

А.Сергеев

ОГНИВО

По проселочной дороге печатал шаг солдат — ать, два! Ать, два! За спиной ранец, на боку сабля, ведь он был на войне, а теперь шел домой. И тут на проселке встречает он старую ведьму; она была омерзительна, губа у нее аж на грудь свисала. И говорит ведьма:

— День добрый, солдат! До чего красивая у тебя сабля и какой большой ранец, ты — настоящий солдат! А не хочешь ли получить столько денег, сколько пожелаешь?

— Спасибо, старая ведьма! — ответил солдат.

— Видишь то большое дерево? — спросила ведьма, показывая на дерево, росшее неподалеку. — Оно изнутри пустое. Ты залезешь на вершину и увидишь дупло, спустись в него до самого низа! Я обвяжу тебя веревкой и подниму наверх, как только ты дашь мне знать.

— А зачем мне лезть в дупло? — удивился солдат.

— За деньгами, — сказала ведьма. — Когда спустишься до самого низа, то перед тобой будет широкий проход, там светло, потому как он освещен более чем сотней ламп. И ты увидишь три двери. Можешь открыть их, ключи торчат снаружи. Войдешь в первую комнату, увидишь посреди нее большой сундук, на нем сидит собака, глаза у нее словно чайные чашки, но ты не переживай! Я дам тебе свой передник в синюю клетку, расстели его на полу, подскочи к со-

баке, возьми ее в охапку и посади на передник, открой сундук и забери столько скиллингов, сколько пожелаешь. Это все медяки, а коли ты предпочитаешь серебро, то иди в следующую комнату. Там сидит собака с глазами, словно мельничные жернова, но ты не переживай, посади ее на мой передник и забирай денежки! Ну, а ежели тебе больше по душе золото, то и его ты можешь получить столько, сколько сумеешь унести, стоит тебе только зайти в третью комнату. Но у той собаки, что сидит там, глаза огромные, каждый с Круглую башню. Всем собакам собака, поверь мне! Но ты не переживай, просто посади ее на мой передник, и она тебя не тронет, а ты забирай из сундука столько золота, сколько захочешь!

— Заманчиво! — ответил солдат. — Но что ты потребуешь взамен, старая ведьма? Ведь что-то же тебе надо от меня, как я понимаю.

— Ничего. Ни единого скиллинга с тебя не возьму! Принеси мне только старое огниво, которое забыла моя бабушка, когда спускалась туда в последний раз!

— Ну что ж! Обвязывай меня веревкой! — сказал солдат.

— Готово! А вот мой передник в синюю клетку.

Забрался солдат на дерево, спрыгнул в дупло, и очутился, как и говорила ведьма, в широком проходе, где горело больше сотни ламп.

Отпер он первую дверь. Ух! Там сидела собака с глазами величиной с чайные чашки и таращилась на него.

— Вот это да! — промолвил солдат, посадил ее на ведьмин передник и набрал столько медных скиллингов, сколько влезло в карманы, закрыл сундук, опять посадил на него собаку и пошел во вторую комнату. Ой! Там сидела собака с глазами величиной с мельничные жернова.

— Не таращься на меня! — сказал солдат. — А то глаза заболят! — Посадил он собаку на ведьмин передник, а увидев, что в сундуке полно серебра, выбросил все набран-

ные медяки, набил карманы и ранец одним серебром и пошел в третью комнату! Фу, какая гадость! У собаки, сидевшей там, и вправду глаза были, как две Круглые башни, и они вращались, словно колеса.

— Добрый день, — поздоровался солдат и взял под козырек, потому как подобной собаки он еще в жизни не видел. Поглазев на нее какое-то время, он подумал, что с него хватит, посадил собаку на пол и открыл сундук. Господи, помилуй! Сколько золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговок сластями, всех оловянных солдатиков, кнуты и лошадей-качалок, все на свете! Да, вот это были деньги так деньги! Выбросил солдат серебро и набил карманы, ранец, фуражку и сапоги золотом, да так, что еле мог идти. Вот теперь он был при деньгах! Собаку посадил он на сундук, захлопнул дверь и крикнул в дупло:

— Тащи меня, старая ведьма!

— Огниво прихватил? — спросила ведьма.

— Верно, — ответил солдат, — совсем про него забыл.

Вернулся и взял огниво. Ведьма подняла солдата наверх. И вот он снова стоит на проселочной дороге, а его карманы, сапоги, ранец и фуражка набиты деньгами.

— Зачем тебе огниво? — спросил солдат.

— Не твое дело, — сказала ведьма, — ты получил деньги! Отдавай мне огниво!

— Ну уж нет! — возразил солдат. — Или ты мне сейчас же скажешь, зачем тебе огниво, или я вытащу саблю и отрублю тебе голову!

— Ни за что! — сказала ведьма.

И солдат отрубил ведьме голову. Вон она валяется! А он завязал все свои деньги в ее передник, закинул узел за спину, сунул огниво в карман и зашагал в город.

Город был замечательный, солдат остановился в самой роскошной гостинице и потребовал самые лучшие комнаты

и свои любимые блюда, ведь теперь он богат — у него столько денег.

Слуге, который чистил его обувь, показалось странным, что у такого богатого господина совсем старые сапоги, но солдат еще не успел купить себе новые; зато на следующий день у него появились и сапоги, и щегольское платье! Теперь он стал благородным господином, и ему рассказали обо всех чудесных вещах, которыми отличался этот город, о короле и его прелестной дочери-принцессе.

— А ее можно увидеть? — поинтересовался солдат.

— Она не из тех, на кого разрешено смотреть! — ответили ему хором. — Она живет в огромном медном замке, за крепостными стенами с башнями! Никому, кроме короля, не дозволяется ни входить к ней, ни выходить от нее, потому как ей предсказали, что она выйдет замуж за простого солдата, а королю это не по нраву.

«Вот на кого бы мне поглядеть», — подумал солдат, да кто бы ему это позволил!

Веселой жизнью зажил солдат: ходил в театры, ездил в Королевский сад и щедро оделял деньгами бедняков, и правильно поступал! Он еще с прежних времен знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, носил красивую одежду, у него появилось множество друзей, которые все в один голос уверяли, что он, дескать, славный малый, настоящий кавалер, и солдату это было весьма по душе! Но поскольку он каждый день раздавал деньги направо и налево и никто ему ни гроша не возвращал, осталось у него под конец не больше двух скиллингов, так что пришлось ему переехать из роскошных покоев, где он жил, в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и латать их штопальной иглой, и ни один из его друзей больше не навещал его — больно уж много ступенек надо было одолеть.

Как-то вечером, когда совсем смерклось — а у него не на что было даже купить свечу, — он вспомнил, что в огниве, которое он взял в дуплистом дереве, куда ему помогла спуститься ведьма, остался маленький огарок. Солдат вынул огниво и огарок свечи, но как только он высек огонь, и от кремня полетели искры, дверь распахнулась и перед ним появилась собака с глазами, как чайные чашки — ее он видел внизу, в глубине дерева, — и сказала:

— Чего изволите, мой господин?

— Вот дела! — воскликнул солдат. — Огниво-то, оказывается, штука забавная: теперь я могу получить все, что захочу! Раздобудь мне денег! — приказал он собаке, и — раз! — собака исчезла, два! — она вернулась, держа в зубах большой мешок со скиллингами.

Теперь солдат понял, какое у него замечательное огниво. Стоило ему ударить по кремню один раз, появлялась собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами, два раза — появлялась та, что сторожила серебро, а на три удара — та, у которой было золото. Солдат вновь переехал в роскошные покои, купил красивую одежду, и тут все прежние друзья опять признали его и крепко полюбили.

Однажды он подумал: разве не странно, что нельзя увидеть принцессу! Все в один голос говорят, что она прекрасна, да какой в этом толк, ежели она вечно будет сидеть в медном замке с множеством башен?! Неужто мне и вправду не удастся на нее взглянуть? Ну-ка, где мое огниво? Он высек огонь, и — раз! — появилась собака с глазами, как чайные чашки.

— Сейчас, ясное дело, глубокая ночь, — сказал солдат, — но мне страшно хочется увидеть принцессу, хотя бы на минутку!

Собака, не медля, выскочила в дверь, и не успел солдат опомниться, как она уже вернулась с принцессой, которая спала, сидя на спине у собаки, и была так прекрасна, что каждому бы стало ясно — да, это чистокровная принцесса.

Солдат не мог удержаться и поцеловал ее, потому что он был настоящим солдатом.

Собака помчалась назад с принцессой, но когда наступило утро и король с королевой разливали чай, принцесса рассказала, что нынешней ночью ей приснился удивительный сон про собаку и солдата. Она скакала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее, принцессу.

— Милая история! — воскликнула королева.

На следующую ночь одну из старушек фрейлин посадили дежурить у постели принцессы, чтобы разобраться, был то на самом деле сон или что-то другое.

Солдат изнывал от желания снова увидеть прекрасную принцессу, и вот ночью появилась собака, схватила ее и помчалась во весь опор, но старая фрейлина надела резиновые сапоги и пустилась следом, правда, далеко позади. Увидев, что они скрылись за воротами большого дома, она решила, что теперь-то знает, где нужное место, и мелом нарисовала на воротах внушительного размера крест. После чего вернулась домой и легла спать; собака тоже понесла обратно принцессу, но, заметив на воротах дома, где жил солдат, крест, взяла мел и пометила крестами все остальные ворота в городе, и очень разумно поступила, потому как теперь, когда на всех воротах были нарисованы кресты, фрейлина не могла бы найти нужные.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры отправились смотреть, где же была принцесса!

— Здесь! — воскликнул король, увидев первые же ворота с крестом.

— Нет, дорогой муженек, вот здесь! — возразила королева, заметив еще одни ворота, на которых был нарисован крест.

— Но крест есть и тут, и вон там! — закричали окружающие хором, указывая на кресты на воротах. И они поняли, что в поисках им это не поможет.

Но королева была очень умной женщиной, она умела не только в карете кататься. Она взяла свои золотые ножницы, разрезала на куски шелковую ткань и сшила изящный мешочек, наполнив его мелкой гречневой крупой, привязала мешочек на спину принцессы, после чего проделала в мешочке малюсенькую дырочку, так, чтобы крупа сыпалась на дорогу, по которой ехала принцесса.

Ночью вновь явилась собака, посадила принцессу себе на спину и помчалась домой к солдату, которому она так полюбилась, что ему больше всего на свете захотелось стать принцем, чтобы взять ее в жены.

Собака и не приметила, как за ней по всей дороге от замка до окна солдата, куда она вспрыгнула с принцессой, сыпалась крупа. Утром король с королевой узнали, где была принцесса, велели схватить солдата и посадить его в тюрьму.

И вот он за решеткой. Ох, до чего же там было темно и тоскливо, к тому же ему сообщили: «Завтра тебя повесят». Невеселое известие, а огниво он забыл в гостинице. Утром сквозь железную решетку на крошечном окне он наблюдал, как народ спешит из города, чтобы поглазеть, как его будут вешать. Он слышал дробь барабанов, видел марширующих солдат. Люди бежали вон из города; среди них был и подмастерье сапожника, в кожаном переднике и туфлях; он так торопился, что одна туфля слетела у него с ноги и ударилась о стену тюрьмы, в которой сидел солдат, глядевший на улицу сквозь железную решетку.

— Эй, малый! Не пори горячки, — крикнул ему солдат, — без меня все равно ничего не будет! Сбегал бы ко мне домой и принес мое огниво, получишь четыре скиллинга, только ноги в руки!

Подмастерье был не прочь получить четыре скиллинга, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату, а теперь — послушаем!

За городом была построена большая виселица, вокруг нее сгрудились солдаты и сотни тысяч людей. Король с королевой сидели на красивом троне, возвышавшемся над судьями и всем королевским Советом.

Солдат уже стоял на ступеньках, но когда ему собрались накинуть на шею веревку, он сказал, что по обычаю, перед тем как казнить грешника, исполняют какое-нибудь его безобидное желание. Ему так хочется выкурить трубку, ведь она будет для него последней трубкой на этом свете.

Король не стал отказывать солдату, и тот, взяв огниво, высек огонь — раз, два, три! И тут появились все три собаки — та, у которой глаза были величиной с чайные чашки, та, у которой глаза были величиной с мельничные жернова, и та, у которой глаза были величиной с Круглую башню.

— Помогите мне избежать петли! — приказал им солдат, и собаки накинулись на судей и на весь Совет, одного схватили за ногу, другого за нос и подбросили их на много саженей вверх так, что они упали и разлетелись на кусочки.

— Не надо! — взмолился король, но самая большая собака вцепилась в него и королеву и подбросила их вслед за остальными. Тут солдаты перепугались, а народ закричал:

— Солдатик, будь нашим королем и возьми в жены прекрасную принцессу!

Посадили они солдата в королевскую карету, собаки, пританцовывая, шли впереди и кричали «ура!», мальчишки свистели, вставив пальцы в рот, а солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из медного замка и сделалась королевой, что пришлось ей очень даже по душе! Свадьбу играли восемь дней, собаки тоже сидели за столом и делали большие глаза.

МАЛЕНЬКИЙ КЛАУС И БОЛЬШОЙ КЛАУС

В одном местечке жили два человека, которые носили одинаковые имена, обоих звали Клаусами, но у одного было четыре лошади, а у другого — только одна. И чтобы различать их, того, у которого было четыре лошади, прозвали Большим Клаусом, а того, у которого была всего одна, — Маленьким Клаусом. А теперь послушаем, что с этими двумя случилось, — всем историям история!

Всю неделю напролет Маленький Клаус был обязан пахать для Большого Клауса и при этом одалживал ему свою единственную лошадку; а Большой Клаус помогал ему своими четырьмя, но лишь раз в неделю, по воскресеньям. Вот так-то. Ну, и щелкал же Маленький Клаус своим кнутом над всеми пятью лошадьми, словно он был им хозяин, пусть и на один день. Ярко светило солнце, на церковной колокольне звонили все колокола, созывая на службу, принаряженные люди, зажав под мышками молитвенники, шли в церковь послушать проповедь священника, и все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, а ему это точно бальзам на сердце, и вот он опять щелкнул кнутом и крикнул:

— А ну, мои лошадки!

— Не смей так говорить! — сказал Большой Клаус. — Тут только одна твоя лошадь.

Но стоило кому-нибудь снова пройти мимо, к церкви, Маленький Клаус тотчас забывал, чего ему не следовало говорить, и кричал: «А ну, мои лошадки!»

— Прекрати сейчас же! — сказал Большой Клаус. — Потому как ежели ты еще раз такое произнесешь, я хвачу твою лошадь по лбу и уложу на месте, конец ей придет!

— Больше не буду, — пообещал Маленький Клаус, но тут мимо, к церкви, прошли люди и поздоровались с ним, и он страшно обрадовался, что в их глазах выглядит бравым парнем, который распахивает свою землю на пяти лошадях, поэтому он щелкнул кнутом и закричал: — А ну, мои лошадки!

— Вот я сейчас пону́каю твоих лошадок, — проговорил Большой Клаус, схватил кувалду и так треснул единственную лошадь Маленького Клауса по лбу, что убил ее наповал.

— Ох, нет у меня теперь больше лошади! — заплакал Маленький Клаус.

После чего он освежевал лошадь, высушил шкуру на ветру, положил в мешок и, взвалив его на спину, отправился в город продавать.

Дорога ему предстояла неблизкая, надо было пройти через обширный темный лес, и тут разыгралось жуткое ненастье. Маленький Клаус заблудился, и прежде чем он снова отыскал дорогу, сгустились сумерки — до города еще далеко, да и до дома тоже, наступила ночь.

Возле дороги располагался большой хутор, ставни на окнах были закрыты, но поверх них все же пробивался свет. «Здесь, верно, мне разрешат переночевать», — подумал Маленький Клаус и постучался.

Дверь отперла хозяйка, но, узнав, что ему надо, велела убираться, ее мужа не было дома, а она одна незнакомцев не принимает.

— Что ж, придется ночевать на улице, — сказал Маленький Клаус, и хозяйка заперла перед его носом дверь.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом был построен сарайчик с плоской соломенной крышей.

— Там, наверху, я и лягу, — произнес Маленький Клаус, увидев крышу, — замечательная будет постель, надеюсь, аист не слетит вниз и не укусит меня за ногу. — Дело в том, что на крыше стоял живой аист, у которого здесь было гнездо.

Маленький Клаус забрался на крышу сарая и лег, немного поворочавшись, чтобы устроиться поудобнее. Деревянные ставни на окнах не доходили до самого верха, и поэтому он видел, что делается внутри.

Там был накрыт стол, а на нем — и вино, и жаркое, и вкуснейшая рыба. За столом сидели только хозяйка и пономарь, хозяйка угощала гостя, а тот налегал на рыбу, больно уж он ее любил.

— Могло бы и кому другому что-нибудь перепасть, — сказал Маленький Клаус, придвигаясь поближе к окну. Боже, какие же пироги он увидел! Да, вот это пир!

И тут он услышал, как к дому подъезжает всадник, это вернулся муж хозяйки.

Он был очень добрый человек, но страдал одним удивительным недугом — терпеть не мог пономарей. Стоило какому-нибудь пономарю появиться перед его глазами, как он приходил в ярость. Поэтому-то пономарь и зашел поздороваться с хозяйкой, когда прознал, что ее мужа не будет дома, и поэтому добрая хозяйка выставила ему все угощения, что у нее имелись. Услышав, что муж вернулся, они страшно перепугались, и хозяйка попросила пономаря залезть в большой сундук, стоявший в углу. Так он и сделал, потому как знал, что несчастный хозяин терпеть не мог пономарей. Хозяйка в мгновение ока упрятала угощения в печь — ведь ежели бы муж все это увидел, то непременно бы спросил, что это значит.

— Ох, ох! — вздохнул Маленький Клаус на крыше сарая, глядя, как исчезает угощение.

— Там, наверху, кто-то есть? — спросил крестьянин, поднимая глаза на Маленького Клауса. — Почему ты лежишь там? Пошли лучше в дом!

И Маленький Клаус рассказал, как он заблудился и попросил разрешения переночевать.

— Ясное дело! — ответил крестьянин. — Только сперва нам надо подкрепиться.

Хозяйка встретила обоих очень любезно, накрыла длинный стол и поставила перед ними большую миску с кашей. Крестьянин проголодался и с аппетитом принялся за еду, а у Маленького Клауса из головы не шли спрятанные в печи жаркое, рыба и пироги.

Мешок с лошадиной шкурой, из-за которой — нам ведь это известно — он и отправился из дома в город, чтобы продать, лежал у него в ногах, под столом. Каша не лезла Маленькому Клаусу в горло, он наступил на мешок, и сухая шкура громко заскрипела.

— Тихо! — приказал Маленький Клаус мешку, а сам опять наступил на него, и шкура заскрипела еще громче.

— Ой! Что это у тебя в мешке? — спросил крестьянин.

— А, это колдун! — ответил Маленький Клаус. — Он говорит, что кашу есть ни к чему, он поколдовал, и теперь в печи полно жаркого, рыбы и пирогов.

— Не может быть! — сказал крестьянин и быстренько открыл печь, где увидел все те вкусности, которые его жена там спрятала, но он-то подумал, что их колдун наколдовал.

Жена не осмелилась возражать, она выставила кушанья на стол, и они принялись уплетать рыбу, жаркое и пироги. Тут Маленький Клаус опять наступил на свой мешок, и шкура вновь заскрипела.

— А что он теперь говорит? — спросил крестьянин.

— Он говорит, — сказал Маленький Клаус, — что наколдовал нам еще и три бутылки вина, они стоят в углу, возле печи!

Пришлось хозяйке выставить спрятанное ею вино, крестьянин выпил и развеселился — да, вот бы ему заполучить этого колдуна из мешка Маленького Клауса.

— А может он наколдовать черта? — поинтересовался крестьянин. — Я бы охотно взглянул на него, потому как сейчас мне весело!

— Конечно, — ответил Маленький Клаус, — мой колдун может сделать все, что я пожелаю, правда ведь? — спросил он и наступил на мешок так, что шкура заскрипела. — Слышишь, он говорит «да»? Только черт настолько безобразный, что на него смотреть не стоит!

— А я не труслив! Как он выглядит?

— Ну, он прямо вылитый пономарь!

— Уф! — воскликнул крестьянин. — Какая досада! Видишь ли, я не переношу пономарей; ну да ладно, я же знаю, что это черт, как-нибудь потерплю! На меня нашел кураж! Пусть только не подходит ко мне слишком близко!

— Сейчас спрошу колдуна! — сказал Маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался.

— Что он говорит?

— Говорит, чтобы вы открыли сундук, который стоит в углу, в нем и притаился черт, но придерживайте крышку, а то он выскочит.

— Помоги мне ее придержать! — попросил крестьянин и подошел к сундуку, где хозяйка спрятала настоящего пономаря, который сидел там и трясся от страха.

Крестьянин приподнял крышку и заглянул внутрь.

— Фу! — закричал он и отпрыгнул. — Я его видел, точь-в-точь наш пономарь! Ужас какой!

Такой кошмар следовало запить, и они пили до глубокой ночи.

— Ты должен продать мне своего колдуна! — сказал крестьянин. — Проси за него, чего хочешь! Сейчас же отмерю тебе четверик денег!

— Нет, не могу, — ответил Маленький Клаус. — Подумай, сколько пользы он мне приносит!

— Ах, если бы мне его заполучить, — сказал крестьянин и принялся упрашивать Маленького Клауса.

— Ладно, — наконец уступил тот, — ты обошелся со мной по-доброму, пустил переночевать, что ж, долг платежом красен. Бери колдуна в обмен на мерку денег, только наполни ее доверху.

— Хорошо, — сказал крестьянин, — но забери с собой и этот сундук, не желаю и лишнего часа держать его в доме, кто знает, там ли еще нечистый.

Маленький Клаус отдал крестьянину мешок с высушенной шкурой и получил взамен целую мерку денег, наполненную до краев. А еще крестьянин дал ему большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

— Прощай, — сказал Маленький Клаус и покатил вперед тачку с деньгами и сундуком, в котором до сих пор сидел пономарь.

По другую сторону леса текла широкая глубокая река, и такое быстрое у нее было течение, что вряд ли кто смог бы плыть против него. Через реку был перекинут большой новый мост, Маленький Клаус остановился посередине моста и громко, чтобы сидевший в сундуке пономарь услышал, произнес:

— И к чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно набит камнями! Я выбьюсь из сил, пока его довезу. Брошу-ка я его в воду, ежели он приплывет ко мне домой, прекрасно, а нет — так и пусть его.

Взялся Маленький Клаус за сундук одной рукой и немного приподнял, словно собирался столкнуть его вниз.

— Нет, не надо! — закричал из сундука пономарь. — Выпусти меня!

— Ой! — воскликнул Маленький Клаус, прикидываясь, будто перепугался. — Он все еще там! Надо побыстрее скинуть его в реку, чтобы он утонул.

— Нет, нет! — крикнул пономарь. — Я дам тебе целую мерку денег, только не делай этого!

— Вот это другой разговор, — сказал Маленький Клаус и отпер сундук.

Пономарь тотчас выбрался из него, столкнул пустой сундук в воду и направился к дому, где вручил Маленькому Клаусу целую мерку денег — одну он уже получил от крестьянина, теперь же его тачка была доверху заполнена деньгами!

— Да, неплохо я заработал на своей лошади! — сказал самому себе Маленький Клаус, вернувшись домой и горкой высыпав деньги на пол. — Вот уж Большой Клаус рассердится, узнав, как я разбогател на своей единственной лошади, но он не дождется, чтобы я выложил ему все начистоту!

Он послал мальчика к Большому Клаусу одолжить четверик.

«Зачем это он ему понадобился?» — подумал Большой Клаус и вымазал дно меры дегтем — а вдруг что-нибудь прилипнет. Так оно и вышло. Когда Большой Клаус получил назад свой четверик, он увидел на дне три новеньких серебряных скиллинга.

— Это что еще такое?! — воскликнул Большой Клаус и тотчас побежал к Маленькому Клаусу. — Откуда у тебя столько денег?

— О, их я выручил за шкуру своей лошади, которую продал вчера вечером!

— Тебе неплохо заплатили! — сказал Большой Клаус, помчался домой, взял топор, забил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и поехал с ними в город.

— Шкуры! Шкуры! Кому шкуры! — кричал он, бегая по улицам.

Сбежались все сапожники и кожевники и начали спрашивать, сколько он просит за них.

— Мерку денег за каждую, — ответил Большой Клаус.

— Ты в своем уме? — сказали они ему. — Ты думаешь, у нас денег немерено?

— Шкуры! Шкуры! Кому шкуры! — закричал он вновь, но каждому, кто спрашивал, почем шкуры, отвечал: «Мерка денег».

— Он нас за дураков считает! — решили все, и сапожники, схватив свои ремни, а кожевники — кожаные фартуки, принялись лупить ими Большого Клауса. — Шкуры! Шкуры! — передразнивали они его. — Сейчас мы покажем тебе шкуры, будешь харкать кровью. Вон из города! — закричали все, и пришлось Большому Клаусу убегать что есть мочи, никогда еще его так не лупили.

— Ну, — сказал он, вернувшись домой, — Маленький Клаус мне за это заплатит, я убью его!

А дома у Маленького Клауса как раз умерла бабка; она, конечно, была старуха злая и сварливая, но он все равно огорчился и уложил ее в свою теплую постель — вдруг оживет. Пусть там бабка проведет всю ночь, а сам он поспит на стуле в углу, ему не впервой.

И вот ночью, когда он сидел в углу, дверь распахнулась, и вошел Большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать Маленького Клауса, подошел и ударил мертвую бабку по голове, думая, что это Маленький Клаус.

— Вот так-то, — сказал он, — больше не будешь меня дурачить! — И пошел домой.

— Какой гадкий, злой человек! — сказал Маленький Клаус. — Он ведь меня хотел убить, бабке повезло, что она уже мертва, а то бы он ее укокошил!

Нарядил Маленький Клаус бабку в праздничное платье, одолжил у соседа лошадь, запряг ее в повозку, посадил старуху на заднюю скамейку так, чтобы она не вывалилась по дороге, и покатил через лес. Когда встало солнце, они подъехали к большому трактиру, там Маленький Клаус остановился и зашел внутрь подкрепиться.

У трактирщика денег куры не клевали, сам он был человек добрейший, только вспыльчивый, словно начиненный перцем и табаком.

— Доброе утро! — поздоровался он с Маленьким Клаусом. — Что-то ты сегодня спозаранку вырядился!

— Да, вот, — ответил Маленький Клаус, — еду в город со своей старой бабушкой, она сидит в повозке, отказалась заходить в трактир. Не отнесете ли ей стакан медовухи, но говорите погромче, она плохо слышит.

— Конечно, отнесу! — сказал трактирщик, налил большой стакан медовухи и понес его мертвой старухе. Из повозки не доносилось ни звука.

— Вот вам внук прислал стакан медовухи! — сказал трактирщик, но покойная не вымолвила ни слова, сидела и не шевелилась.

— Вы что, не слышите! — закричал трактирщик во все горло. — Ваш внук прислал вам стакан медовухи!

Еще раз он прокричал то же самое и еще раз, но старуха так и не пошевелилась, он вскипел и запустил стаканом ей в лицо, медовуха потекла по ее носу, а она сама опрокинулась навзничь, ведь ее просто посадили, но не привязали.

— Та-ак! — крикнул Маленький Клаус, выскочил из дверей и схватил трактирщика за грудки. — Ты убил мою бабушку! Смотри, какая у нее дыра во лбу!

— Ох, какая беда! — заголосил трактирщик, всплеснув руками. — Это все из-за моей вспыльчивости! Милый Маленький Клаус, я дам тебе целую мерку денег и велю похоронить твою бабушку, как свою собственную, только никому ничего не говори, а то мне отрубят голову, а это ужасно противно!

Маленький Клаус получил целую мерку денег, а трактирщик похоронил его бабушку, как свою собственную.

Снова вернулся Маленький Клаус домой с кучей денег и тотчас послал мальчишку-батрака к Большому Клаусу с просьбой одолжить ему четверик.

— Что за дела! — удивился Большой Клаус. — Разве я не убил его? Надо самому посмотреть! — И он отправился с четвериком к Маленькому Клаусу. — Откуда у тебя столько денег? — спросил он, вытаращив глаза при виде такого богатства.

— Ты не меня убил, а мою бабку! — сказал Маленький Клаус. — Я ее продал и получил целую мерку денег.

— Выгодно продал! — заметил Большой Клаус, побежал домой, достал топор, убил свою старую бабку, уложил ее в повозку, отвез в город, где жил аптекарь, и спросил его, не желает ли он купить покойника.

— И кто же это и где вы его взяли? — спросил аптекарь.

— Это моя бабушка! — ответил Большой Клаус. — Я убил ее, чтобы получить мерку денег.

— Господи, помилуй! — воскликнул аптекарь. — Вы богохульствуете! Не говорите такого впредь, а то головы лишитесь!

И аптекарь разъяснил Большому Клаусу, какой ужасный поступок тот совершил, какой он дурной человек и какого наказания заслуживает. Большой Клаус так перепугался, что стрелой помчался от аптекаря к своей повозке, хлестнул лошадей и поскакал домой. А аптекарь и весь честной народ решили, что он сумасшедший, потому и отпустили его на все четыре стороны.

— Ты мне за это заплатишь! — сказал Большой Клаус, выехав на проселочную дорогу. — Да, да, заплатишь, Маленький Клаус! — И, вернувшись домой, взял самый большой мешок, какой только смог найти, пошел к Маленькому Клаусу и заявил: — Ты опять меня одурачил! Сперва я прикончил своих лошадей, потом мою старую бабушку! И во всем этом виноват ты! Но больше ты никогда не сможешь меня дурачить!

Схватил он Маленького Клауса поперек живота, запихнул в мешок, закинул мешок за спину и крикнул:

— Пойду и утоплю тебя!

До реки путь был неблизкий, да и нести Маленького Клауса тяжеловато. Дорога шла мимо церкви, оттуда доносились звуки органа и восхитительное пение. Поставил Большой Клаус мешок с Маленьким Клаусом у церковных дверей и подумал, что недурно было бы зайти внутрь и послушать псалом, прежде чем продолжить путь: Маленькому Клаусу из мешка не выбраться, а весь народ в церкви. И Большой Клаус вошел в храм.

— Ох! Ох! — вздыхал Маленький Клаус, ворочаясь и ворочаясь в мешке, но развязать веревку было невозможно.

Тут появился старый пастух с седыми как лунь волосами и с большой клюкой в руке; он гнал перед собой целое стадо коров и быков, они задели мешок, в котором сидел Маленький Клаус, и опрокинули его. — Ох! — вздохнул Маленький Клаус. — Я такой молодой, а мне уже приходится отправляться в Царствие Небесное!

— А я, несчастный, такой старый, — отозвался пастух, — все никак не попаду туда.

— Развяжи мешок, — крикнул Маленький Клаус, — залезай туда вместо меня и сразу попадешь в Царствие Небесное!

— С превеликим удовольствием! — сказал пастух и развязал мешок, откуда мигом выскочил Маленький Клаус. — А ты будешь пасти стадо! — промолвил старик, залезая в мешок. Маленький Клаус завязал его и отправился своей дорогой, погоняя коров и быков.

Чуть погодя из церкви вышел Большой Клаус и вновь взвалил на спину мешок, который показался ему намного легче, потому что старый пастух весил почти вдвое меньше Маленького Клауса!

— До чего легко его стало нести, это, верно, потому, что послушал псалом!

Подошел Большой Клаус к реке, широкой и глубокой, бросил мешок со старым пастухом в воду и крикнул — он ведь думал, что там Маленький Клаус:

— Так-то вот! Больше не будешь меня дурачить!

По дороге домой на самом перекрестке он увидел Маленького Клауса, который гнал перед собой свое стадо.

— Что за дела! — воскликнул Большой Клаус. — Разве я не утопил тебя?

— Утопил! — ответил Маленький Клаус. — Ты бросил меня в реку с полчаса назад.

— Откуда же у тебя такое прекрасное стадо? — спросил Большой Клаус.

— Это морское стадо! — ответил Маленький Клаус. — Я расскажу тебе всю историю — и спасибо, что утопил меня, теперь я снова на земле и, поверь, по-настоящему разбогател! Мне было очень страшно в мешке, а когда ты бросил меня с моста в холодную воду, ветер так и засвистел у меня в ушах. Я сразу пошел ко дну, но не ушибся, потому что там, внизу, растет мягкая, нежная трава. На нее я и упал. Мешок тут же развязался, и прелестнейшая девушка в белоснежных одеждах, с зеленым венком на мокрых волосах взяла меня за руку и сказала: «Это ты, Маленький Клаус? Вот тебе для начала одно стадо! В миле отсюда на дороге дожидается другое, побольше, я хочу тебе его подарить!» Вот я и понял, что река служила для морского народа дорогой. Они ходили и ездили по дну от самого моря до суши, где река заканчивалась. Как же там было прекрасно: цветы, свежая трава и рыбки в воде, они резвились около меня, как птицы в небе. А какие красивые люди и какие великолепные стада паслись на тучных лугах.

— Но почему же ты сразу вернулся сюда, к нам? — спросил Большой Клаус. — Я бы этого делать не стал, коли там так хорошо!

— Ну, — ответил Маленький Клаус, — просто я пошел на хитрость! Ты же слышал, что я тебе рассказывал: морская девушка сказала, что в миле оттуда, на дороге — а дорогой она называет реку, потому что другой дороги у них нет, —

меня поджидает еще одно большое стадо. Но я же знаю, что река течет извилинами, изгибается то тут, то там, пришлось бы делать здоровый крюк. А путь можно, оказывается, сократить — выйти на сушу и пойти обратно к реке, таким образом я выигрываю почти полмили и быстро нахожу свое морское стадо!

— Ты — везунчик! — сказал Большой Клаус. — Как думаешь, мне тоже подарят морское стадо, ежели я попаду на речное дно?

— Думаю, да, — ответил Маленький Клаус, — но я не смогу тащить тебя в мешке до реки. Ты слишком тяжелый. Но коли ты дойдешь туда своими ногами, а потом залезешь в мешок, я с превеликим удовольствием сброшу тебя вниз.

— Большое тебе спасибо! — сказал Большой Клаус. — Но если я, спустившись вниз, не получу в подарок морского стада, то вздую тебя, уж поверь!

— О нет, не будь таким жестоким!

И они направились к реке. Животные, которых мучила жажда, увидев воду, бросились вниз, чтобы напиться.

— Смотри, как они спешат! — сказал Маленький Клаус. — Им не терпится вновь оказаться на дне!

— Сперва мне помоги, — сказал Большой Клаус, — а не то получишь взбучку!

И он залез в большой мешок, висевший на спине одного из быков.

— Положи туда камней, — приказал Большой Клаус, — иначе, боюсь, я не утону.

— Утонешь! — заверил Маленький Клаус, но все же положил большущий камень в мешок, крепко завязал его и спихнул вниз. Бултых! И вот Большой Клаус оказался в воде и сразу пошел ко дну. — Боюсь, не найдет он там никакого стада! — проговорил Маленький Клаус и направился домой со всем, что при нем было.

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Жил-был принц, которому очень хотелось найти себе принцессу, но только принцессу *настоящую*. И он объездил весь мир в поисках такой принцессы, но всегда оказывалось, что что-то не так, конечно, принцесс было предостаточно, но вот *настоящие* ли они, принц решить не мог: всегда оказывалось, что в них есть нечто не совсем настоящее. И вернулся принц домой в большой печали, потому что ему так хотелось найти настоящую принцессу.

Как-то вечером разыгралось страшное ненастье: сверкали молнии, гремел гром, дождь лил как из ведра — просто ужас какой-то! Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел открывать.

У ворот стояла принцесса. Но, господи, в каком же она была виде из-за дождя и непогоды! Вода текла с ее волос и одежды, стекала в носки туфелек и вытекала из-под пяток, а она уверяла, будто она — настоящая принцесса.

«Что ж, мы это узнаем», — подумала старая королева, но ничего не сказала. Она пошла в спальню, сняла с кровати простыни и тюфяки и положила на доски горошину, а потом навалила на горошину двадцать тюфяков, а на них — двадцать пуховиков.

На этой постели и предстояло принцессе провести ночь.

Утром ее спросили, как ей спалось.

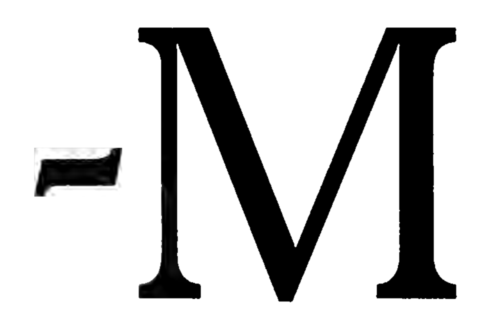
— Прескверно! — ответила принцесса. — Я почти всю ночь не сомкнула глаз! Одному Богу известно, что у меня такое было в постели! Я лежала на чем-то твердом, так что у меня все тело в синяках! Просто ужасно!

Тут они и поняли, что перед ними настоящая принцесса, — раз она через двадцать тюфяков и двадцать пуховиков почувствовала горошину. Такой неженкой могла быть только настоящая принцесса.

И принц взял ее в жены, ведь теперь он знал, что нашел настоящую принцессу. А горошину поместили в кунсткамеру, где ее и сейчас можно увидеть, если только кто-нибудь ее не украл.

Да, вот это настоящая история!

ЦВЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ



ои бедные цветочки умерли! — сказала маленькая Ида. — Вчера вечером они были такие красивые, а теперь все листочки завяли! Почему? — спросила она студента, сидевшего на диване.

Она его очень любила: он умел рассказывать замечательные истории и вырезать из бумаги забавные-презабавные картинки — сердечки с крошечными танцовщицами внутри, цветы и большие замки, в которых открывались двери. Занятный человек был этот студент!

— Почему цветы сегодня выглядят так плохо? — спросила она опять, показывая на увядший букет.

— Знаешь, что с ними? — ответил студент. — Они ночью были на балу, поэтому и повесили головки!

— Но цветы не умеют танцевать! — воскликнула маленькая Ида.

— Умеют, — возразил студент, — когда становится совсем темно и мы все спим, они весело пляшут; почти каждую ночь устраивают балы!

— А детям можно приходить на эти балы?

— Можно, — сказал студент. — Малюткам маргариткам и ландышам.

— А где танцуют самые красивые цветы? — спросила маленькая Ида.

— Ты когда-нибудь бывала за воротами возле большого за́мка, где летом живет король и где есть сад с прекрасными цветами? Ты ведь видела лебедей, они подплывали к тебе, а ты кормила их хлебными крошками. Вот там-то и бывают настоящие балы, уж поверь.

— Мы с мамой были в этом саду вчера, — сказала Ида, — но на деревьях листьев больше нет, и нигде ни одного цветка! Куда они подевались? Летом их было много-много!

— Они в замке! — ответил студент. — Видишь ли, как только король и придворные переезжают отсюда в город, цветы сразу же бегут в замок и начинают веселиться. На это стоит посмотреть! Две самые прекрасные розы садятся на трон, они — король и королева. Красные петушьи гребешки становятся по обе стороны, стоят и кланяются, это — камер-юнкеры. А потом появляются все остальные прелестные цветы, и бал начинается. Голубые фиалки изображают маленьких морских кадетов, они танцуют с гиацинтами и крокусами, называя их фрёкен гиацинт и фрёкен крокус! Тюльпаны и большие желтые лилии — пожилые дамы, они следят, чтобы танцы шли своим чередом и чтобы все было красиво и изящно!

— Но разве никто не наказывает цветы за то, что они танцуют в королевском замке? — спросила маленькая Ида.

— А никто об этом толком и не знает! — ответил студент. — Правда, летом по ночам заходит туда старый управляющий, который присматривает за замком, с большой связкой ключей, но цветы, заслышав звяканье ключей, сразу же затихают и, спрятавшись за длинными гардинами, высовывают оттуда свои головки. «По запаху чую, что здесь цветы», — говорит старик управляющий, но видеть-то их он не видит.

— Вот забавно! — воскликнула маленькая Ида, захлопав в ладоши. — А я тоже не смогу увидеть цветы?

— Сможешь, — сказал студент, — только не забудь, когда придешь туда в следующий раз, взглянуть в окно, наверняка их увидишь. Я сегодня так и сделал и разглядел желтый нарцисс, который потягивался, лежа на диване, — это была фрейлина!

— А цветы из Ботанического сада туда могут приходить? Им же так далеко идти!

— Конечно, могут, поверь мне! — ответил студент. — Потому что они умеют летать, когда захотят. Ты, наверное, видела чудесных бабочек — красных, желтых и белых, они похожи на цветы, они и были цветами — просто соскочили со своих стеблей, взмыли высоко в небо, забили лепесточками, словно крылышками, и полетели. А так как они хорошо себя вели, им разрешили летать и днем, не возвращаться домой, чтобы смирно сидеть на своих стеблях, и в конце концов лепестки превратились в настоящие крылья. Ты ведь сама это видела! Но вполне возможно, что цветы в Ботаническом саду никогда не бывали в королевском замке и даже не слышали, как весело там бывает по ночам. Поэтому я тебе сейчас скажу кое-что, что приведет в изумление профессора ботаники, который живет тут поблизости, ты знаешь его, да? Когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветку о том, что в замке будет большой бал, цветок передаст это всем остальным, и они улетят. Явится профессор в сад, а там ни одного цветочка, и он не сможет понять, куда они все подевались.

— Но как же цветок расскажет об этом другим? Цветы не умеют говорить!

— Правильно, не умеют, — ответил студент. — Но они умеют объясняться с помощью жестов. Разве ты не видела, что, стоит подуть ветерку, цветы начинают кивать и шевелить своими зелеными листьями, и все становится ясно, как будто они говорят.

— А профессор понимает их пантомиму?

— Понимает, уж поверь! Однажды утром он пришел в сад и увидел, как большой куст крапивы листьями делает знаки очаровательной красной гвоздике. Куст хотел этим сказать: «Ты такая прелестная, я тебя очень люблю». Этого профессор стерпеть не смог, он ударил по крапивным листьям, а ведь это пальцы крапивы, и обжегся. С тех пор он не осмеливается трогать крапиву.

— Вот забавно! — засмеялась маленькая Ида.

— Как можно забивать ребенку голову подобной чепухой! — произнес унылый советник правительственной канцелярии, который пришел в дом с визитом и сейчас сидел на диване.

Он терпеть не мог студента и вечно брюзжал, видя, как тот вырезает затейливые и смешные картинки: то человечка, висящего на виселице с сердцем в руках, — похитителя сердец; то старую ведьму на помеле и с мужем на носу. Советник этого не выносил и все время повторял то, что сказал и сейчас: как можно забивать ребенку голову подобной чепухой! Дурацкие фантазии!

Но маленькую Иду очень позабавил рассказ студента о ее цветах, и она потом долго об этом думала. Цветы повесили головки, потому что устали танцевать всю ночь напролет, они явно заболели. Ида направилась к изящному столику, на котором стояли ее игрушки, выдвижной ящик тоже был набит всякой всячиной. В кукольной кроватке спала ее кукла Софи, но маленькая Ида сказала ей:

— Придется тебе встать, Софи, пожалуйста, поспи сегодня ночью в ящике. Бедные цветы больны, их надо уложить в твою постель, может, они выздоровеют!

И она взяла куклу, у которой был очень недовольный вид. Софи не произнесла ни слова — она рассердилась, что у нее отобрали постель.

Ида положила цветы в кукольную кроватку, накрыла их одеяльцем и велела лежать тихо и не шалить, пока она пойдет и заварит им чаю, вот тогда они завтра встанут совсем

здоровыми. Ида поплотнее задернула полог кроватки, чтобы солнце не светило им в глаза.

Весь вечер у Иды не выходил из головы рассказ студента, и когда ей самой настало время ложиться спать, она не могла удержаться и заглянула за занавески на окне, где стояли восхитительные цветы ее матери — гиацинты и тюльпаны, и прошептала:

— Я знаю, что вы сегодня ночью отправитесь на бал!

Цветы сделали вид, будто ничего не поняли, ни один листок на них не шелохнулся, но ведь маленькой Иде все было известно.

В постели она еще долго думала о том, до чего же интересно было бы посмотреть, как танцуют прекрасные цветы в королевском замке. «Неужели и мои цветы там?» Но тут она заснула. Посреди ночи Ида вдруг проснулась, она видела во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот забивает ей голову всякой чепухой. В спальне Иды было тихо. На тумбочке горел ночник, мама с папой спали.

«Интересно, лежат ли мои цветы в кроватке Софи, — сказала она про себя, — мне бы очень хотелось это знать!»

Приподнявшись, она посмотрела на полуоткрытую дверь, за которой находились ее цветы и игрушки. Она прислушалась, и ей показалось, будто в глубине дома кто-то играет на фортепьяно, тихонько и нежно — такой игры ей еще не приходилось слышать.

— Там наверняка цветы танцуют, — сказала Ида. — Господи, вот бы мне на них взглянуть!

Но встать она не решилась, боясь разбудить маму с папой.

— Только бы они пришли ко мне! — сказала она.

Но цветы не пришли, а музыка все еще играла, такая прекрасная, что она не удержалась, выскользнула из постели, подкралась на цыпочках к двери и заглянула в комнату. Ну и забавную картину она увидела!

Ночник там не горел, но все равно было светло, почти как днем: в окно светила луна, освещая пол. На нем в два ряда

стояли все гиацинты и тюльпаны, на подоконнике никого не осталось, одни пустые горшки. Цветы изящно кружились по комнате, образовав цепочку, и при поворотах держали друг друга за длинные зеленые листья. За фортепьяно сидела большая желтая лилия, которую маленькая Ида, определенно, видела летом, потому что она запомнила, как студент сказал про нее: «Ну точь-в-точь фрёкен Лина!» В тот раз над ним посмеялись. Сейчас же Иде тоже показалось, что высокий желтый цветок, и правда, похож на фрекен Лину, и манера играть у лилии была такая же: она поворачивала свое вытянутое желтое лицо то в одну сторону, то в другую, кивая в такт чудесной музыке. Маленькую Иду никто не заметил.

Тут она увидела, как крупный голубой крокус вскочил на столик с игрушками, подошел к кроватке, в которой лежали больные цветы, и откинул полог. Цветы тотчас встали и закивали всем остальным — мол, они тоже хотят танцевать. Старый фарфоровый коптильщик с разбитой нижней губой встал и поклонился прелестным цветам; они вовсе не производили впечатления больных и с довольным видом скакали вместе со всеми.

Со столика что-то вроде упало, Ида взглянула туда — это спрыгнул вниз масленичный пучок прутиков, посчитавший, что он тоже принадлежит к племени цветов. Он был весьма пригож, сверху на нем восседала восковая куколка в широкополой шляпе на голове, прямо как у советника. Масленичный пучок прыгал среди цветов на своих трех красных ногах, громко топая, — он танцевал мазурку, а остальным цветам этот танец был не по силам, потому что они были слишком легкие и не могли топать.

Восковая куколка на масленичном пучке вдруг вытянулась в длину, погрузнела и, вертясь над бумажными цветами, громко выкрикнула:

— Как можно забивать ребенку голову подобной чепухой! Дурацкие фантазии!

Ну, вылитый советник, такая же широкополая шляпа, такое же желтое недовольное лицо. Но бумажные цветы хлестнули этого советника по тонким ножкам, и он съежился и снова превратился в махонькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха. Масленичный пучок продолжал танцевать, и советнику приходилось плясать вместе с ним, не важно, вытягивался ли он во весь рост или оставался махонькой желтоватой восковой куколкой в черной широкополой шляпе. Тут остальные цветы, особенно те, что лежали в кукольной кроватке, начали просить за советника, и масленичный пучок оставил его в покое. В ту же минуту из ящика, где находились кукла Софи и множество других игрушек, раздался громкий стук. Коптильщик подбежал к краю столика, упал плашмя и чуточку выдвинул ящик. Софи встала и с удивлением огляделась.

— Так у вас бал! — воскликнула она. — Почему мне ничего не сказали?

— Потанцуем? — спросил коптильщик.

— Хорош кавалер! — отрезала она, поворачиваясь к нему спиной. Потом села на ящик в надежде, что сейчас подойдет какой-нибудь цветок и пригласит ее. Но к ней никто не подходил, и тогда она начала кашлять — кхе, кхе, кхе, — но и это не помогло. Коптильщик танцевал один, и у него получалось неплохо!

Софи, видя, что на нее не обращают никакого внимания, грохнулась с ящика на пол, наделав много шума. Цветы тут же окружили ее, принялись спрашивать, не ушиблась ли она. Все они говорили с ней так ласково, особенно те, что спали в ее кроватке. Софи нисколько не ушиблась, а Идины цветы, горячо поблагодарив ее за замечательную кроватку и, признавшись, что питают к ней большую приязнь, вывели ее на середину комнаты, куда падал лунный свет, и закружили в танце. Все остальные цветы танцевали вокруг. Софи была счастлива! И она сказала Идиным цветам, что с радостью уступает им свою кроватку, ей и в ящике хорошо.

Но цветы ответили:

— Спасибо тебе большое, но мы не проживем так долго, завтра мы умрем. Только скажи маленькой Иде, чтобы она похоронила нас в саду, в том месте, где лежит канарейка, и к лету мы опять вырастем и будем еще прекраснее!

— Вы не должны умирать! — сказала Софи, целуя цветы.

В этот миг распахнулись двери, и в залу, танцуя, вошло множество прелестных цветов, Ида просто не понимала, откуда они взялись, — определенно, из королевского замка. Шествие возглавляли две великолепные розы с маленькими золотыми коронами на головках — то были король с королевой. За ними, раскланиваясь во все стороны, шли дивные левкои и гвоздики, а потом музыканты — большущие маки и пионы, которые аж покраснели от натуги, дуя в гороховые стручки. Голубые колокольчики и белый душистый горошек звенели так, будто были обвешаны бубенцами. Веселая была музыка. За музыкантами следовали разные другие цветы, и все они, синие фиалки и красные маргаритки, ноготки и ландыши, танцевали и целовались — просто загляденье!

Наконец цветы пожелали друг другу спокойной ночи, маленькая Ида прокралась в свою кровать, и ей приснилось все, что она видела.

Встав утром следующего дня, она сразу побежала к своему столику посмотреть, там ли еще ее цветы. Она отдернула полог — да, они были там, совсем увядшие, и выглядели намного хуже вчерашнего. Софи находилась в ящике, куда ее положила Ида, и вид у нее был ужасно сонный.

— Ты помнишь, что должна передать мне? — спросила маленькая Ида. Но Софи смотрела на нее с глупым выражением лица и не промолвила ни слова. — Ты плохая, — сказала Ида, — а они все танцевали с тобой.

Она взяла бумажную коробочку, на которой была нарисована премилая птичка, откинула крышку и уложила в коробочку мертвые цветы.

— Вот вам славный гробик, — сказала она, — а когда сюда приедут мои норвежские кузены, мы с ними похороним вас в саду, чтобы к лету вы выросли и стали еще прекраснее!

Норвежские кузены Йонас и Альфред были бойкие мальчишки; отец им подарил по новому луку, и они прихватили их с собой, чтобы показать Иде. Она рассказала кузенам про бедные умершие цветы и попросила помочь ей похоронить их. Мальчики шагали впереди, перекинув через плечо луки, а сзади шла маленькая Ида с мертвыми цветами в красивой коробочке. В саду вырыли могилку, Ида сперва поцеловала цветы, после чего опустила коробочку в землю, а Альфред и Йонас выстрелили над могилой из луков — ведь у них не было ни ружей, ни пушек.

ДЮЙМОВОЧКА

Жила-была женщина, ей страшно хотелось заиметь ребеночка, но она не знала, где его взять. Вот и отправилась она к старой ведьме и сказала:

— Мне очень хочется заиметь ребеночка, может, ты скажешь мне, где его достать?

— Что ж, делу можно помочь! — ответила ведьма. — Вот тебе ячменное зернышко, но оно не из тех, что прорастают на крестьянских полях, и не из тех, что насыпают курам. Посади его в цветочный горшок и увидишь, что будет!

— Спасибо тебе, — поблагодарила женщина ведьму и дала ей двенадцать скиллингов, после чего пошла домой, посадила ячменное зернышко, и из него тут же вырос большой красивый цветок. Он был похож на тюльпан, только вот лепестки его были плотно сжаты, как у еще не распустившегося бутона.

— Какой красивый цветок! — сказала женщина и поцеловала его нежные красные и желтые лепестки.

В нем тут же что-то щелкнуло, и цветок раскрылся. И сразу стало понятно, что это и вправду тюльпан, но в его чашечке на зеленом стульчике сидела прелестная крошечная девочка, ростом не больше дюйма, поэтому и назвали ее Дюймовочкой.

Колыбелькой ей служила лакированная скорлупа грецкого ореха, матрацем — голубые фиалки, а одеялом — лепесток розы. Там Дюймовочка спала по ночам, а днем она играла на столе, на который женщина поставила тарелку с водой. По краям был уложен целый венок из цветов, и их стебли опускались в воду; а еще там плавал большой лепесток тюльпана — на нем Дюймовочка могла грести от одного края тарелки до другого: вместо весел у нее было два белых конских волоса. Чудо, как красиво это выглядело. А еще Дюймовочка умела петь, и такого нежного, прелестного пения здесь никогда не слышали.

Как-то ночью, когда Дюймовочка лежала в своей чудесной колыбельке, в окно впрыгнула мерзкая жаба, — оконное стекло было разбито. Огромная, уродливая, мокрая жаба прыгнула прямо на стол, где, укрывшись лепестком розы, спала Дюймовочка.

— Вот отличная жена для моего сынка! — сказала жаба, схватила ореховую скорлупу с девочкой и через разбитое стекло спрыгнула в сад.

Там протекала полноводная широкая река с заболоченным и топким берегом; тут-то и жила жаба с сыном. Ух! Он был такой же мерзкий и противный, как и его мамаша.

— Ква, ква, ква-ква-квак! — только и сумел он выговорить, увидев прелестную малышку в скорлупе грецкого ореха.

— Потише ты, а то она проснется да убежит! — сказала старая жаба. — Она ведь весом с лебединый пух. Мы посадим ее посреди реки на широкий лист водяной лилии, для такой крохотули — это точно остров! Оттуда ей не сбежать, а мы пока там, внизу, в тине, приведем в порядок парадные покои, где вы будете жить.

В реке росло множество водяных лилий с широкими зелеными листьями, казалось, они плыли по воде. Самый дальний от берега лист был из них и самым большим. К нему-то и подплыла старая жаба и положила на него скорлупку с Дюймовочкой.

Бедная малышка проснулась рано утром и, увидев, куда она попала, горько заплакала — большой зеленый лист окружала сплошная вода, до суши никак не добраться.

Старая жаба тем временем, сидя в тине, украшала комнату камышом и желтыми кувшинками — надо же приветить молодую невестку. Потом со своим мерзким сыном она поплыла к листу, на котором находилась Дюймовочка, чтобы взять хорошенькую кроватку малышки и поставить ее в спальне молодых до того, как туда прибудет невеста.

Жаба склонилась в воде в глубоком поклоне перед Дюймовочкой и сказала:

— Это мой сын, твой будущий муж, вы славно заживете у нас в тине!

— Ква, ква! Ква-ква-квакс! — только и сумел произнести сын.

Забрали они кроватку и уплыли с ней, а Дюймовочка, оставшись одна-одинешенька на зеленом листе, сидела и плакала, потому что не хотела жить у мерзкой жабы и выходить замуж за ее гадкого сына. Рыбки, сновавшие в воде, видели жабу и слышали ее слова, поэтому они высунули головки, чтобы взглянуть на девчушку. Когда рыбки увидели такое прелестное создание, им стало ужасно жалко, что ей придется жить с мерзкой жабой там, в тине. Нет, не бывать этому. Они сгрудились в воде вокруг стебля, державшего лист, на котором стояла Дюймовочка, перекусили стебель, и лист поплыл вниз по течению, далеко-далеко, туда, куда жабе было не добраться.

Сменялись места, мимо которых проплывала Дюймовочка, а птички в кустах, завидев ее, начинали петь: «Какая славная малышка!» Лист плыл все дальше и дальше, и вот Дюймовочка оказалась за границей.

Вокруг нее порхал красивый белый мотылек, и наконец он сел на лист — так ему понравилась Дюймовочка. А у нее было радостно на душе: теперь жабе ее не догнать, а места

кругом — загляденье. На воде золотом переливалось солнце. Дюймовочка сняла с себя поясок, одним концом обвязала мотылька, а другой конец прикрепила к листу, который теперь поплыл гораздо быстрее, и она тоже — ведь она стояла на нем.

В эту минуту подлетел большой майский жук, который, увидев малышку, проворно обхватил коготками ее тоненькую талию и взлетел на дерево, а зеленый лист с мотыльком, который был привязан и не мог освободиться, поплыл дальше вниз по течению реки.

Господи, как же испугалась Дюймовочка, когда майский жук взлетел с ней на дерево, но больше всего ей было жалко славного белого мотылька, которого она привязала к листу: высвободиться он не мог, поэтому, наверное, умрет с голоду. Но майскому жуку не было до этого никакого дела. Он уселся с ней на самый крупный зеленый лист дерева, покормил сладким цветочным нектаром и сказал, что она просто прелесть, хоть и ни капельки не похожа на майского жука.

Потом к ним с визитом прилетели остальные майские жуки, жившие на том же дереве. Они оглядели Дюймовочку, и барышни, покрутив усиками, сказали:

— У нее всего две ноги, какое убожество!

— У нее нет усиков!

— И такая тонкая талия, фу! Она совсем как человек! Уродина! — воскликнули хором все жуки женского пола.

А ведь Дюймовочка была красавицей! Так считал и тот майский жук, который принес ее, но поскольку все остальные сочли ее безобразной, он в конце концов с ними согласился и больше не захотел держать ее у себя — пусть идет, куда ей вздумается. Он слетел с дерева и посадил ее на ромашку. Дюймовочка заплакала, она плакала потому, что настолько уродлива, что даже майские жуки не пожелали оставить ее у себя, а ведь она была прелестнейшим созданием, какое только можно себе представить, — нежным и чистым, как лепесток розы.

Все лето прожила бедная Дюймовочка совсем одна в густом лесу. Она сплела себе из травинок колыбельку и подвесила ее под большим листом лопуха, чтобы ее не замочил дождь. Питалась она сладким цветочным нектаром, а пила росу, каждое утро скапливавшуюся на листьях. Так прошло лето, и наступила зима, долгая, холодная зима. Птицы, певшие для нее чудные песни, улетели, деревья скинули листву, цветы увяли, а лист лопуха, под которым она нашла себе приют, свернулся, превратившись в пожелтевший засохший стебель. Как же она мерзла, бедняжка Дюймовочка, платье у нее порвалось, а ведь она была такая маленькая, такая нежная — ничего не стоило замерзнуть насмерть. Пошел снег, и каждая падавшая на нее снежинка была, словно для нас лопата снега, мы же большие, а она всего-то с дюйм. Она завернулась в увядший лист, но он не грел, и Дюймовочка продолжала дрожать от холода.

Вплотную к лесу, в который она попала, подходило обширное хлебное поле, но зерно давным-давно убрали, и на мерзлой земле торчало лишь голое высохшее жнивье. Для Дюймовочки идти по нему было все равно, что идти по густому лесу, и холод пробирал ее до костей. И вот она подошла к двери полевой мыши. Под жнивьем было прорыто небольшое отверстие. Внизу в довольстве и покое обитала полевая мышь. Все ее жилище было набито зерном, а кухня и кладовая — просто красота. Бедная Дюймовочка остановилась на пороге, словно нищенка, и попросила дать ей кусочек ячменного зернышка — она уже два дня ничего не ела.

— Бедная крошка! — воскликнула полевая мышь. В сущности, она была доброй старухой. — Проходи в тепло, поешь со мной!

Дюймовочка ей понравилась, поэтому мышь сказала:

— Можешь остаться у меня на всю зиму, только следи за чистотой да рассказывай мне сказки, уж больно я их люблю.

Дюймовочка выполняла все, что требовала от нее добрая старая мышь, и жилось ей лучше некуда.

— Скоро у нас, наверное, будет гость, — сказала как-то полевая мышь, — мой сосед обычно раз в неделю навещает меня. Он живет побогаче меня, у него в доме просторные залы, и ходит он в красивой черной бархатной шубе. Вот бы тебе выйти за него замуж, забот не знала бы. Только он слеп. Тебе придется рассказывать ему самые замечательные сказки, какие ты знаешь!

Но Дюймовочку все это не волновало, она вовсе не хотела выходить замуж за соседа — ведь это был крот. Он пришел в гости в своей черной бархатной шубе; он богат и учен, так сказала полевая мышь, и дом у него в двадцать раз просторнее, чем у нее, и учености не занимать, но вот солнца и прекрасных цветов он не выносил, говорил о них разные гадости, потому что никогда их не видел.

Дюймовочке пришлось для него петь, и она спела «Майский жук, лети, лети» и «По лугам монах шагает». Крот тут же в нее влюбился: ее неповторимый голос его покорил, но он не промолвил ни слова — он был благоразумный мужчина.

Крот недавно прорыл длинный подземный ход от своего дома до их, по нему полевая мышь и Дюймовочка могли прогуливаться, когда пожелают. Только пусть не пугаются мертвой птицы, которая там лежит. Это была настоящая птица, с перьями и клювом; наверное, она умерла совсем недавно, с наступлением зимы, и провалилась в землю как раз в том месте, где крот рыл свой ход.

Крот взял в рот гнилушку — она светится в темноте, как огонек, — и пошел впереди, освещая длинный темный ход. Подойдя к тому месту, где лежала мертвая птица, крот пробил своим широким носом в земляном потолке большую дыру, сквозь которую в подземный ход проник дневной свет. На полу лежала мертвая ласточка; ее изящные крылья были плотно прижаты к телу, ножки и голова зарыты в перья. Не-

счастная птица, определенно, погибла от холода. У Дюймовочки сжалось сердце от жалости к ней, она любила всех пичуг, целое лето они так звонко пели и щебетали для нее, но крот пнул ласточку коротенькими ножками и сказал:

— Больше не будешь пищать! Какая жалкая доля — родиться пичугой! Слава Богу, моим детям это не грозит. У такой пичужки ничего нет, она умеет только чирикать, а зимой помирает от голода!

— Вы, как человек рассудительный, все верно говорите, — сказала полевая мышь. — Что получают птицы за свое чириканье, когда приходит зима? Им приходится голодать и замерзать — хороша награда!

Дюймовочка не вымолвила ни слова, но как только крот и мышь повернулись к ласточке спиной, она наклонилась, раздвинула перья на головке птицы и поцеловала ее в закрытые глаза. «Может, именно она так красиво пела для меня летом, — подумала Дюймовочка. — Доставила мне столько радости, милая, прелестная птица!»

Крот вновь заткнул дыру, сквозь которую просачивался дневной свет, и пошел провожать дам до их дома. А Дюймовочке ночью не спалось, она встала с кроватки и сплела из соломы замечательное большое покрывало, после чего отправилась к тому месту, где лежала мертвая ласточка, хорошенько укутала ее в это покрывало, а по бокам — чтобы птице было тепло лежать на мерзлой земле — обложила мягким хлопковым волокном, которое нашла в доме полевой мыши.

— Прощай, прелестная птичка! — сказала она. — Прощай! И спасибо тебе за чудесное пение летом, когда деревья были зелеными и солнце грело нас своими лучами!

Дюймовочка прижалась головой к груди птицы и тут же в страхе отпрянула — внутри что-то стучало. Это стучало сердце птицы. Она не умерла, просто впала в спячку, а теперь согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в теплые страны, а припозднившиеся — замерзают, падают замертво на землю, и их заметает холодным снегом.

Дюймовочка вся дрожала, так она перепугалась — ведь птица намного больше ее, малышки ростом с дюйм, но собралась с духом, поплотнее обложила бедную ласточку хлопковыми волокнами, принесла листок мяты, которым укрывалась сама, и положила его на голову птицы.

Следующей ночью Дюймовочка снова прокралась к птице. Ласточка вполне ожила, но была настолько слаба, что сумела всего на секунду-другую открыть глаза, чтобы посмотреть на стоявшую перед ней малышку, которая держала в руках кусочек гнилушки: больше ей светить было нечем.

— Спасибо тебе, прелестное дитя! — сказала больная ласточка Дюймовочке. — Я хорошо согрелась. Скоро ко мне вернутся силы, и я снова полечу к теплому солнцу!

— Ох, на улице так холодно, идет снег, стоят морозы! — ответила Дюймовочка. — Оставайся лучше в своей теплой постели, а я буду за тобой ухаживать.

Она принесла ласточке воды в цветочном лепестке. Та попила и рассказала, что поранила себе крыло о терновый куст и потому не могла лететь так же быстро, как другие ласточки, и они улетели в далекие теплые края. В конце концов она упала на землю, но больше птица ничего не помнила и не знала, как она попала сюда, к кроту.

Всю зиму провела ласточка под землей, а Дюймовочка, которая ее очень полюбила, за ней ухаживала. Ни крот, ни полевая мышь о том не ведали, им ведь бедная, несчастная ласточка была не по нутру.

Как только наступила весна и солнце прогрело землю, ласточка попрощалась с Дюймовочкой и пробила сделанную кротом в потолке дыру. Под землю проникли яркие солнечные лучи, ласточка спросила, не хочет ли Дюймовочка поле-

теть с ней, надо просто забраться ей на спину, и они улетят в далекие зеленые леса. Но Дюймовочка знала, что старая мышь сильно огорчится, если она покинет ее.

— Нет, я не могу, — сказала Дюймовочка.

— Прощай! Прощай, прелестное, доброе дитя! — крикнула ласточка и выпорхнула наружу, к солнцу. Дюймовочка смотрела ей вслед, и в глазах у нее стояли слезы — ведь она очень любила бедную птицу.

— Тви-твить! Тви-твить! — пропела ласточка и скрылась в зеленом лесу.

Дюймовочка сильно горевала. Ей не разрешали выходить и греться на солнце. Да и зерно, посеянное в поле над жилищем полевой мыши, дружно взошло, превратившись в дремучий лес для бедной малышки, которая была всего с дюйм ростом.

— Этим летом будешь шить себе приданое, — сказала ей полевая мышь, потому что ее сосед, унылый крот в черной бархатной шубе, посватался к малышке. — И шерсти и полотна у тебя должно быть в достатке! А когда ты станешь женой крота, у тебя будет и на чем сидеть, и на чем лежать!

Дюймовочка крутила веретено, а четыре паука, которых мышь наняла для работы, пряли и ткали день и ночь. Каждый вечер приходил с визитом крот и сразу же заводил разговор о том, что, когда лето закончится и солнце перестанет палить землю — а то она уже стала твердой, как камень, — когда, стало быть, лето минует, они с Дюймовочкой сыграют свадьбу. Но девочке это было совсем не по душе, не нравился ей унылый крот. Каждое утро, когда вставало солнце, и каждый вечер, когда оно садилось, она стояла в дверях; порой ветер раздвигал верхушки колосьев, и она видела голубое небо и думала, как светло и красиво там, снаружи, и ей очень хотелось снова увидеть милую ласточку, но та не появлялась, наверное, улетела далеко-далеко, скрылась в прекрасном зеленом лесу.

Наступила осень, и приданое Дюймовочки было готово.

— Через четыре недели у тебя свадьба! — сказала ей полевая мышь. А девочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за унылого крота. — Чушь! — заявила полевая мышь. — И не капризничай, а то я укушу тебя своим белым зубом! У тебя будет замечательный муж. А такой черной шубы нет даже у самой королевы! И его кухня и подвал ломятся от добра. Благодари Бога за такого мужа!

В день свадьбы крот пришел, чтобы забрать Дюймовочку, — ей предстояло жить с ним глубоко под землей, никогда уж ей не придется погреться на солнышке, потому что крот не выносил его. Бедная девочка чуть не плакала от горя, сейчас она навсегда простится с прекрасным солнцем, на которое полевая мышь все-таки разрешила ей взглянуть с порога.

— Прощай, ясное солнышко! — сказала она, протягивая руки к небу, и чуточку отошла от норы полевой мыши. Хлеб уже был убран, на поле остались лишь сухие стебли. — Прощай, прощай! — повторила она, обнимая руками росший тут маленький красный цветок. — Передай привет ласточке, если увидишь ее!

— Тви-твить, тви-твить! — вдруг раздалось у нее над головой.

Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая как раз пролетала мимо. Ласточка очень обрадовалась, узнав Дюймовочку. Та рассказала ей, как противно ей выходить замуж за гадкого крота, что теперь она будет жить глубоко под землей, где никогда не светит солнце. И не могла сдержать слез.

— Наступает холодная зима, — ответила ласточка, — я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Полетишь со мной? Ты сядешь мне на спину, только привяжись покрепче своим пояском, и мы улетим подальше от гадкого крота и его темной норы. Мы полетим через горы в теплые края, где солнце светит ярче, чем здесь, где всегда лето, где растут чудесные цветы. Полетим со мной, милая девочка, ми-

лая Дюймовочка, ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темном подземелье!

— Да, я полечу с тобой, — сказала Дюймовочка, села птице на спину, вытянула ноги на ее крыло и привязала себя к самому крепкому перу. Ласточка взмыла высоко в небо и полетела над лесами и морями, над горами, круглый год покрытыми снегом. Дюймовочке было ужасно холодно, но она зарылась в теплые перья птицы, высунув лишь головку, чтобы видеть всю красоту под ними.

И вот они в теплых краях. Солнце там сияло намного ярче, небо было в два раза выше, а изгороди были увиты изумительным зеленым и черным виноградом. В лесах росли лимоны и апельсины, стоял аромат мирта и мяты, по проселочной дороге бегали прелестные дети и ловили пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и кругом делалось все прекраснее. На берегу синего моря под кронами чудесных зеленых деревьев стоял белый старинный мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а под крышей лепилось множество ласточкиных гнезд. И в одном из них жила ласточка, прилетевшая с Дюймовочкой.

— Вот мой дом, — сказала ласточка. — А ты выбери себе один из тех прекрасных цветов, что растут внизу, я тебя посажу в него, и ты заживешь преотлично.

— Замечательно! — воскликнула девочка, хлопая в ладоши.

На земле лежала большая белая мраморная колонна, которая при падении разбилась на три части, и между ними росли чудеснейшие белые цветы. Ласточка слетела с Дюймовочкой вниз и посадила ее на широкий лепесток. Но как же она удивилась, увидев в чашечке цветка крошечного человечка, белого и прозрачного, словно сделанного из стекла. Голову его украшала изумительная золотая корона, за плечами трепетали прелестные прозрачные крылья, и ростом он

был не выше Дюймовочки. Это был Цветочный эльф. В каждом цветке живет эльф, мужчина или женщина, а тут перед Дюймовочкой предстал сам король эльфов.

— Господи, как же он красив! — прошептала Дюймовочка ласточке.

Маленький король страшно перепугался при виде ласточки, для него, такого крошечного и хрупкого, она была птицей-исполином, но, заметив Дюймовочку, обрадовался — ему еще не доводилось видеть столь прелестных созданий. Он тотчас же снял с головы золотую корону, надел ее на голову девочки и спросил, как ее зовут и не согласится ли она стать его женой и королевой всех цветов!

Да, вот это муж так муж, не то что сын жабы или крот в черной бархатной шубе! Поэтому Дюймовочка ответила согласием прекрасному королю, и изо всех цветков прилетели эльфы, мужчины и женщины, — смотреть на них было одно удовольствие, и каждый поднес Дюймовочке подарок, но больше всего ей понравилась пара чудных крылышек большой белой бабочки. Их прикрепили девочке на спину, и теперь она тоже могла порхать с цветка на цветок. Ах, какая радость царила вокруг! А ласточка сидела в своем гнезде и пела для них, как умела, но ей было грустно — она ведь очень полюбила Дюймовочку, и ей не хотелось расставаться с ней.

— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой, — сказал ей Цветочный эльф, — это противное имя, а ты такая красивая. Мы будем звать тебя Майей!

— Прощай, прощай! — крикнула ласточка и полетела из теплых краев обратно, в далекую Данию. Там у нее было гнездо над окном человека, который умеет рассказывать сказки, ему она пропела свое «тви-твить, тви-твить», и потому мы узнали всю эту историю.

НЕГОДНЫЙ МАЛЬЧИШКА

Жил-был на свете старый поэт, хороший человек и поэт настоящий. Однажды вечером, когда он сидел дома, на улице разыгралась страшная непогода. Дождь лил как из ведра, а старому поэту было тепло и уютно возле изразцовой печи, где пылал огонь и пеклись, шипя, яблоки.

— Те бедняги, которых непогода застала на улице, наверное, промокнут до нитки, — сказал он, потому что был добрым поэтом.

— Ой, откройте мне, я так замерз и весь вымок! — крикнул какой-то ребенок снаружи. Он плакал и колотил в дверь, а дождь не унимался, и ветер бился в окна.

— Бедный малыш! — проговорил поэт и пошел открывать. На пороге стоял маленький мальчик, совсем голенький, вода ручьями стекала с его длинных золотистых волос. Он трясся от холода, если бы его не впустили внутрь, он наверняка бы умер в такую непогоду. — Бедный малыш! — сказал старый поэт, беря мальчика за руку. — Проходи, сейчас я тебя отогрею. Выпьешь вина и поешь печеных яблок, ты такой прелестный ребенок.

И это было чистой правдой. Глаза мальчика напоминали две ясные звезды, а золотистые волосы, несмотря на то что с них стекала вода, вились красивыми кудрями. Он был похож на

ангелочка, только страшно бледного и промерзшего до костей. В руках он держал изящный лук, который, правда, был изрядно попорчен дождем — вода смыла краски со стрел.

Старый поэт уселся перед печью, посадил малыша к себе на колени, выжал его мокрые волосы и подогрел ему сладкого вина. И вскоре мальчик оправился, щеки у него порозовели, он спрыгнул на пол и пустился в пляс вокруг старого поэта.

— Какой ты забавный, — сказал старик. — Как тебя зовут?

— Меня зовут Амур, — ответил мальчик, — ты не узнаешь меня? Вон лежит мой лук, и я из него стреляю, уж поверь! Смотри, ненастье миновало, светит луна!

— Но твой лук испорчен, — сказал старый поэт.

— Досадно! — отозвался мальчик, взял лук и оглядел его. — Да он совсем высох, ничуть не пострадал! Тетива натянута туго, сейчас я его испытаю! — И он натянул тетиву, положил на нее стрелу, прицелился и выстрелил доброму старому поэту прямо в сердце. — Теперь ты видишь, что мой лук нисколечко не пострадал! — воскликнул он, громко рассмеялся и убежал.

Негодный мальчишка! Застрелить старого поэта, который впустил его в дом и был так добр к нему, что угостил вкусным вином и самыми лучшими яблоками.

Добрый поэт лежал на полу и плакал, стрела и впрямь попала ему в сердце, а потом произнес:

— Фу, какой негодный мальчишка этот Амур! Я расскажу обо всем этом милым детям, предупрежу их, чтобы они поостереглись играть с ним, ибо он причинит им вред!

Все милые дети, девочки и мальчики, которым поэт рассказал об Амуре, стали остерегаться скверного Амура, но он все равно их обманывал, он был такой хитрый. Когда студенты возвращаются с лекций, он бежит рядом, с книгой под мышкой, в черном сюртуке. Его и не узнаешь, они берут его под руку, думая, что он тоже студент, и тут он вонзает им

стрелу в грудь. Когда девушки возвращаются от священника или стоят в церкви, он и их преследует. Да, он все время гоняется за людьми. Заберется в большую театральную люстру и горит там ярким пламенем, люди сперва думают, что это лампа, но потом замечают, что это что-то иное. Он бегает и по Королевскому саду, и по крепостному валу. А как-то раз он выстрелил прямо в сердце твоей матери и твоему отцу. Спроси их об этом, услышишь, что они скажут. Да, скверный мальчишка этот Амур, лучше никогда с ним не связывайся! Он гоняется за всеми людьми. Представляешь, однажды пустил стрелу и в твою бабушку, правда, это было давно, рана затянулась, но ей этого не забыть. Фу, скверный Амур! Но теперь тебе известно, какой он негодный мальчишка.

ПОПУТЧИК

Бедный Йоханнес пребывал в большом горе — его отец лежал при смерти. В своей каморке они были вдвоем, лампа на столе догорала, дело шло к ночи.

— Ты был хорошим сыном, Йоханнес, — проговорил больной, — наш Господь не оставит тебя в этой жизни. — Он посмотрел на сына серьезно и ласково, глубоко вздохнул и умер, словно бы заснул. Йоханнес заплакал — теперь у него никого не осталось на свете: ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. Бедный Йоханнес! Он опустился на колени перед кроватью и поцеловал руку покойного, слезы лились, не переставая, но в конце концов глаза его закрылись, и он заснул, положив голову на твердые доски кровати.

И приснился ему удивительный сон. Он увидел, как склонились перед ним солнце и луна, увидел своего отца, снова здорового и бодрого, услышал его смех — он всегда так смеялся, когда чему-нибудь радовался. Прелестная девушка с золотой короной на чудных длинных волосах протянула руку Йоханнесу, и его отец сказал:

— Видишь, какая у тебя невеста? Самая прекрасная в мире.

Тут он проснулся, вся красота испарилась, на кровати лежало мертвое, окоченевшее тело отца. Больше в комнате никого не было. Бедный Йоханнес!

Через неделю покойника похоронили. Йоханнес шел за гробом. Не увидит он больше своего милого отца, который так любил его. Йоханнес слышал, как бросали на гроб землю, вот виден лишь краешек, но еще одна лопата земли — и гроб скрылся полностью. Сердце его разрывалось от боли. Над могилой запели псалмы, от их чудесных звуков у Йоханнеса навернулись слезы на глаза, он заплакал, и ему стало чуть легче. Солнце ласково светило на зеленые деревья, точно хотело сказать ему: «Не горюй так отчаянно, Йоханнес! Посмотри на это прекрасное голубое небо; там теперь находится твой отец, который молит Господа о том, чтобы у тебя все было хорошо!»

— Я хочу быть хорошим человеком, — сказал Йоханнес, — тогда я тоже попаду на небо к отцу — вот будет радость, когда мы встретимся! Я много чего ему порасскажу, а он покажет мне всякие чудеса на этом замечательном небе и станет учить меня, как учил здесь, на земле. Вот будет радость!

Йоханнес так отчетливо все это себе представил, что даже улыбнулся, хотя слезы все еще текли по его щекам. Пташки, сидевшие на каштанах, радостно защебетали, так они были довольны, — они, конечно, присутствовали на похоронах, но теперь-то они знали, что покойник уже на небе, что он обрел крылья, которые больше и красивее, чем их собственные, и он счастлив, потому что был хорошим человеком здесь, на земле. Йоханнес увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и полетели в далекие края, и ему вдруг страшно захотелось полететь с ними. Но сначала ему предстояло вырезать большой деревянный крест, чтобы поставить его на могиле отца. А когда он пришел туда вечером, то обнаружил, что могила посыпана песком и украшена цветами, — это сделали незнакомые люди, которые очень любили его милого отца, ушедшего недавно в мир иной.

Ранним утром следующего дня Йоханнес связал свое добро в маленький узелок, спрятал в кошелек на ремне достав-

шиеся ему в наследство деньги — 50 ригсдалеров и пару серебряных скиллингов, — и приготовился отправиться в путь. Но сперва он пошел на кладбище, прочитал над могилой отца «Отче наш» и сказал:

— Прощай, дорогой отец! Я хочу всегда быть хорошим человеком, а ты помолись доброму Боженьке, чтобы у меня все сложилось благополучно!

В поле, по которому шагал Йоханнес, грелось под лучами солнца множество чудесных цветов, они кивали головками на ветру, словно бы говоря: «Добро пожаловать на лоно природы! Разве здесь не замечательно?»

Йоханнес свернул в сторону, чтобы взглянуть на старинную церковь, в которой его крестили в младенчестве и куда они с отцом ходили каждое воскресенье и пели псалмы. И тут в одном из окошек колокольни он увидел церковного гнома в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслоняя согнутой рукой лицо от солнца. Йоханнес поклонился ему на прощание, а гном помахал в ответ красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал ему много воздушных поцелуев, показывая тем самым, что он желает ему счастливого пути и всего самого доброго.

Йоханнес принялся размышлять о всех тех чудесных вещах, которые он скоро увидит в этом огромном удивительном мире, он удалялся все дальше и дальше от дома, минуя места, где никогда не бывал. Он проходил неизвестные ему города, встречал незнакомых ему людей — он был среди чужих.

Первую ночь он спал в стоге сена на поле, другой постели у него просто не было. Но ему казалось, что здесь было прекрасно, сам король ему бы позавидовал. Бескрайнее поле, ручей, стог сена и голубое небо над головой — лучшей спальни и не придумать. Вместо ковра — зеленая трава с красными и белыми цветами, вместо букетов цветов в вазах — кусты бузины и шиповника, а вместо умывальника в его распоряжении весь ручей с прозрачной, свежей во-

дой, обрамленный тростником, который кланялся ему, Йоханнесу, желая доброй ночи и доброго утра. Высоко под голубым потолком светила луна — настоящий огромный ночник, уж он-то не подожжет штор. Йоханнес мог спать совершенно спокойно, что он и сделал, проснувшись только тогда, когда солнце сияло уже вовсю, а пташки вокруг него щебетали: «Доброе утро! Доброе утро! Ты еще не встал?»

Звонили колокола, созывая народ в церковь — было воскресенье. Люди шли послушать проповедь, Йоханнес тоже пошел за ними, он пропел псалом, выслушал слово Божие и ему показалось, будто он находится в своей старой церкви, где его крестили и где они с отцом пели псалмы.

На церковном кладбище многие могилы заросли высокой травой. И Йоханнес вспомнил о могиле своего отца, которая, наверное, выглядит так же, как эти, поскольку ухаживать за ней некому. Тогда он, присев на корточки, принялся выдергивать сорную траву, поднял упавшие кресты и положил на место венки, сорванные ветром, а в голове его билась одна мысль: «Если бы кто-нибудь сделал то же самое на могиле моего отца».

За воротами кладбища стоял, опираясь на клюку, старик нищий. Йоханнес отдал ему свою серебряную мелочь и со спокойной душой отправился дальше в путь.

К вечеру разыгралась непогода, Йоханнес начал лихорадочно искать крышу над головой, но тут наступила ночь. Йоханнес успел все же добежать до маленькой часовенки, одиноко возвышавшейся на холме. Дверь была приоткрыта, и он проскользнул внутрь. Здесь он переждет непогоду.

— Посижу-ка я тут в уголке, — сказал он, — я так устал, мне надо отдохнуть.

Он сел на пол, сложил руки, прочитал вечернюю молитву и, не успев больше ни о чем подумать, провалился в сон; он спал и видел сны, а снаружи сверкали молнии и грохотал гром.

Йоханнес проснулся посреди ночи. Гроза прошла, в окна светила луна. В центре часовни стоял открытый гроб, а в нем

лежал покойник, которого еще не успели похоронить. Йоханнес не испугался, ведь совесть у него была чиста и он знал, что покойники никого не обижают. Только живые, злые люди причиняют вред другим. Вот как раз два таких скверных человека стояли возле покойника, принесенного в часовню перед погребением. Они хотели навредить усопшему, не позволив ему покоиться в гробу, и собирались выкинуть беднягу из часовни.

— Почему вы так поступаете? — спросил Йоханнес. — Это дурно и гадко, пусть покоится во имя Христа!

— Да что ты мелешь! — ответили злодеи. — Он обманул нас, взял у нас денег в долг и не отдал, а теперь вот мертвее мертвого, так что мы ни скиллинга с него не получим. Вот мы и хотим отомстить ему, пусть валяется на улице, как собака!

— У меня есть всего 50 талеров, все мое наследство, но я с удовольствием вам их отдам, если вы твердо пообещаете оставить беднягу в покое. Я и без денег как-нибудь справлюсь — руки у меня сильные да и Господь поможет!

— Ну, ежели ты рассчитаешься с нами за него, мы его не тронем, будь спокоен!

Они взяли деньги у Йоханнеса и, громко смеясь над его простодушием, отправились восвояси. А Йоханнес уложил покойника как следует в гробу, скрестил ему на груди руки и со спокойной душой вновь пустился в дорогу.

Путь лежал через густой лес, и только лунный свет пробивался между деревьев. Йоханнес видел весело резвившихся прелестных эльфов. Они его не пугались, знали, что он добрый, невинный человек, ведь злым людям не дано видеть эльфов. Некоторые были ростом с мизинец, с длинными золотистыми волосами, скрепленными золотыми гребнями, они качались попарно на крупных каплях росы, покрывавшей листья и высокую траву. Иногда капли скатывались вниз, эльфы тоже падали на землю, в траву — и другие малютки заливались смехом. Ах, как все это было забавно!

Эльфы пели, и Йоханнес узнавал почти все красивые мелодии, он их выучил еще в детстве. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах перекидывали с куста на куст длинные висячие мосты и ткали целые дворцы, которые, когда на них попадала капля росы, в ярком лунном свете сверкали, как хрусталь. И так продолжалось, пока не взошло солнце. Тогда эльфы попрятались в цветочных бутонах, а ветер подхватил мосты и дворцы и понес их по воздуху, словно большую паутину.

Йоханнес только-только вышел из леса, как вдруг услышал за спиной зычный мужской голос:

— Привет, товарищ! Куда путь держишь?

— Брожу по белу свету, — ответил Йоханнес. — Нет у меня ни отца, ни матери, я бедняк, но Господь мне поможет.

— Я тоже хочу побродить по белу свету! — сказал незнакомец. — Будем попутчиками?

— Конечно, — согласился Йоханнес, и они зашагали вместе.

Вскоре они крепко сдружились — оба были отличные парни. Но Йоханнес заметил, что незнакомец намного умнее, он побывал чуть ли не во всех краях и рассказывал о всевозможных вещах.

Солнце стояло уже высоко, когда они уселись под раскидистым деревом, чтобы позавтракать. В ту же минуту появилась древняя старуха. О, она была совсем старая, скрюченная, шла, опираясь на клюку, а на спине несла вязанку хвороста, который насобирала в лесу. Из высоко подоткнутого передника торчало три больших пучка из ивовых веток и папоротника. Как только она поравнялась с друзьями, нога у нее подвернулась, и она упала с пронзительным криком, потому что сломала ногу, — бедная старушка!

Йоханнес сразу же предложил отнести ее домой, но его товарищ открыл свой ранец, вынул оттуда горшочек и сказал, что в нем мазь, которая тотчас же вылечит старухе ногу, и та сама

пойдет домой, будто никогда ничего не ломала. Но за это он просил в подарок те три пучка, что лежало у нее в переднике.

— Разумная плата! — сказала старуха и как-то странно кивнула. Не хотелось ей расставаться со своими пучками, но и лежать тут со сломанной ногой тоже не годилось. Поэтому она отдала незнакомцу пучки, он немедленно натер ее ногу мазью, и старуха встала и пошла бодрее прежнего. Вот так мазь! Такой в аптеке не купишь.

— Зачем тебе эти пучки? — поинтересовался Йоханнес у своего попутчика.

— Три красивых букета! — ответил тот. — Мне они нравятся, я ведь чудак.

Они прошли еще добрый отрезок дороги.

— Смотри, как заволакивает, — сказал Йоханнес, указывая вперед. — Какие ужасные тучи!

— Нет, — отозвался попутчик, — это не тучи, а горы. Прекрасные, высокие горы, на которых ты поднимаешься над облаками и дышишь свежим воздухом! Поверь, это восхитительно! Завтра у нас под ногами окажется весь белый свет.

Но дорога оказалась длиннее, чем они думали. Им пришлось идти целый день, прежде чем они добрались до гор, на которых росли черные высоченные — до неба — леса, а валуны были величиной с целый город; предстоял нелегкий путь наверх, поэтому Йоханнес и его попутчик зашли на постоялый двор, чтобы набраться сил перед завтрашним восхождением.

В просторном трактире на первом этаже собралось много народа, потому что там давали кукольное представление. Кукольник как раз установил свой театрик, вокруг расселись зрители, но самое хорошее место в первом ряду занял старый толстый мясник. Рядом с ним сидел большущий бульдог со свирепым выражением на морде, который таращился на происходящее, как и все остальные.

И вот представление началось, славное представление: там были король и королева в платье с длинным шлейфом;

они сидели в золотых коронах, на великолепном троне — ведь они имели на это средства. У всех входов стояли замечательные деревянные куклы со стеклянными глазами и густыми усами, и эти куклы отворяли и затворяли двери, чтобы проветрить помещение. Славное было представление, совсем не грустное. Но как только королева встала и ступила на пол — одному Богу известно, что взбрело в голову бульдога, и поскольку толстый мясник его не держал, он прыгнул на сцену, схватил королеву зубами за тонкую талию и — крак! Вот был кошмар!

Бедный кукольник, показывавший спектакль, пришел в ужас и страшно расстроился из-за своей королевы — она была самой красивой его куклой, а этот гадкий бульдог откусил ей голову. Но когда народ разошелся, попутчик Йоханнеса, сказал, что сможет помочь делу, и вынул свой горшочек с мазью, которой излечил старуху со сломанной ногой. Стоило ему намазать мазью куклу, как она стала опять целехонькой да к тому же могла теперь самостоятельно двигать ногами и руками, так что больше не нужно было дергать за веревочки. Кукла сделалась прямо как живая, только говорить не умела. Владелец кукольного театра очень обрадовался — теперь ему не надо управлять этой куклой, она танцует сама, другим же куклам это не под силу.

Наступила ночь, на постоялом дворе все улеглись спать, и тут кто-то начал отчаянно вздыхать, и вздыхал так долго, что все постояльцы встали, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. Человек, дававший представление, прошел к своему театрику, потому что именно оттуда раздавались вздохи. Куклы лежали вперемежку: и король, и стражники — вот они-то и вздыхали так жалостно, таращась своими большими стеклянными глазами: им тоже хотелось, чтобы их смазали, как королеву, и они бы смогли двигаться самостоятельно. Королева встала на колени и, протягивая свою золотую корону, попросила:

— Возьми ее, только смажь моего супруга и придворных!

Бедный владелец театра не сумел сдержать слез — уж очень жалко стало ему своих кукол. И он пообещал попутчику Йоханнеса отдать все деньги, которые он соберет завтрашним вечером, если тот смажет четыре или пять самых его красивых кукол. Но попутчик ответил, что ему ничего не надо, кроме большой сабли, висевшей у кукольника на боку. Получив саблю, он смазал шесть кукол, которые тотчас же пустились в пляс, и это было так здорово, что смотревшие на них служанки, настоящие, живые служанки, тоже заплясали. Танцевали кучера и кухарки, слуги и горничные, все постояльцы и даже печные кочерга и щипцы. Но эти двое, сделав первый прыжок, сразу же свалились. Да, презабавная выдалась ночка.

На следующее утро Йоханнес и его попутчик, покинув постоялый двор, зашагали вверх по крутым горным склонам, через густые ельники. Они взобрались так высоко, что колокольни там, внизу, стали похожи на красные ягодки, разбросанные посреди зеленого массива, и странники видели на много-много миль вокруг края, в которых они никогда не бывали! Такой красоты Йоханнесу еще не приходилось видывать: ласково светило солнце с прозрачного голубого неба, с гор доносились звуки охотничьих рожков — как чудесен и благословенен этот мир! И Йоханнес, не сдержав слез радости, воскликнул:

— Господь наш милостивый! Мне бы хотелось расцеловать Тебя за Твою доброту, за то, что Ты подарил нам этот прекрасный мир!

Попутчик тоже нежился под теплыми лучами солнца: скрестив на груди руки, он обозревал леса и города. Тут откуда-то сверху раздались дивные звуки — они подняли головы и увидели большого белого лебедя, парившего в небе. Такого чудесного пения они еще не слышали, но оно становилось все слабее и слабее, лебедь склонил головку и медленно опустился к их ногам — прекрасная птица была мертва.

— Замечательные крылья у этих птиц, — сказал попутчик, — большие и белые, за них никаких денег не жалко, я возьму их с собой! Как хорошо, что у меня есть сабля!

И он одним взмахом отрубил у мертвого лебедя крылья.

Они прошли по горам еще много-много миль, пока не достигли громадного города с сотнями башен, которые переливались на солнце, как серебро. А в центре стоял роскошный мраморный дворец с крышей из червонного золота — здесь жил король.

Йоханнес и его попутчик решили не входить сразу в город, а остановились на постоялом дворе за крепостной стеной, чтобы привести себя в порядок и принарядиться, прежде чем появиться на улицах. Хозяин рассказал им, что король у них — добрейшей души человек, и мухи не обидит, зато дочка у него — не приведи Господи! — злыдня, а не принцесса. В красоте ей не откажешь, в очаровании и изяществе с ней никто не сравнится, но какой в этом толк — она гадкая, злая ведьма, погубившая не одного прекрасного принца. Любому было разрешено свататься к ней: и принцу, и нищему, это не имело значения. Только одно условие она ставила: если он разгадает три загадки, то она выйдет за него замуж и он будет править всем королевством после смерти ее отца. А если не разгадает, она прикажет повесить его или отрубить ему голову — вот какая коварная и злая была эта красавица принцесса. Ее отец, старый король, страшно переживал из-за этого, но урезонить ее не мог, так как однажды наотрез отказался иметь дело с ее женихами, пусть разбирается с ними сама. Женихи сватались один за другим, но никто не сумел разгадать загадки, и все они были казнены. Но ведь предупреждали — могли бы оставить затею жениться. Горе и отчаяние старого короля были настолько велики, что раз в году он целый день стоял на коленях вместе со своими солдатами и молился о том, чтобы принцесса исполнилась доброты, но это не помогало. Старухи, любив-

шие выпить, окрашивали водку в черный цвет — больше им нечем было выразить свою печаль.

— Противная принцесса! — сказал Йоханнес. — Ее следовало бы высечь. Будь я старым королем, она бы у меня узнала, почем фунт лиха!

В эту минуту народ на улице закричал «ура». Мимо проезжала принцесса, и она действительно была так хороша, что люди забыли, какая она злая, вот и закричали «ура». Ее окружали двенадцать прекрасных всадниц на вороных конях, в белых шелковых одеждах и с золотым тюльпаном в руках. Сама принцесса гарцевала на белоснежной лошади, сбрую которой украшали бриллианты и рубины, костюм принцессы был из чистого золота, а в руке она держала хлыст, похожий на солнечный луч. На голове сияла корона, словно сделанная из небесных звезд, накидка на плечах была сшита из тысяч прозрачных крылышек мотыльков. Но все равно сама принцесса была намного красивее всех своих нарядов.

Когда Йоханнес увидел ее, он покраснел, как рак, и потерял дар речи: принцесса была как две капли воды похожа на ту прекрасную девушку в золотой короне, которая приснилась ему в ночь смерти его отца. Она была так хороша, что Йоханнес сразу же в нее влюбился. «Не может она быть той злой ведьмой, — подумал он, — которая приказывает вешать людей или отрубать им головы, если они не отгадывают ее загадок. Каждый имеет право посвататься к ней, даже самый распоследний нищий, вот и я пойду во дворец! Ничто меня не остановит».

Все принялись его отговаривать, потому что с ним наверняка произойдет то же, что произошло с другими. Попутчик Йоханнеса тоже не советовал ему ходить туда, но Йоханнес решил, авось и так все сложится хорошо, почистил башмаки и платье, умылся, расчесал свои красивые белокурые волосы и в одиночестве отправился в город — во дворец.

— Входите! — сказал старый король, когда Йоханнес постучался.

Йоханнес отворил дверь, и его встретил старый король в шлафроке и вышитых туфлях. На голове была золотая корона, в одной руке скипетр, а в другой — держава.

— Минуточку, — проговорил он, беря державу под мышку, чтобы протянуть руку Йоханнесу. Но, услыхав, что перед ним новый жених, расплакался, выронил скипетр и державу и начал вытирать глаза полой шлафрока. Бедный старый король. — Не ходи к ней! — сказал он. — С тобой случится то же, что со всеми остальными. Сейчас сам увидишь!

И король повел Йоханнеса в сад принцессы. Какой ужас! На каждом дереве висело по три-четыре королевича, которые сватались к принцессе, но не отгадали ее загадок. При каждом порыве ветра кости начинали стучать одна о другую, пугая птиц, которые даже не решались залетать в этот сад. К человеческим костям были подвязаны цветы, а из цветочных горшков скалились черепа. Подходящий сад для такой принцессы.

— Вот видишь! — сказал старый король. — И с тобой произойдет то же, что со всеми ними. Оставь свою затею, ты глубоко огорчишь меня, ведь я все это принимаю близко к сердцу.

Но тут во двор въехала сама принцесса в сопровождении своих придворных дам, и король с Йоханнесом подошли, чтобы поздороваться. Она была такая прелестная, протянула Йоханнесу руку, и тот еще крепче полюбил ее — нет, она, определенно, не могла быть гадкой, злой ведьмой, как говорили люди.

Они проследовали в залу, где мальчики-пажи стали обносить их вареньем и маленькими пряниками с орешками, но у старого короля было так тяжело на душе, что он ничего не мог есть, а пряники были ему не по зубам.

Порешили, что Йоханнес придет во дворец на следующее утро, когда соберутся судьи и весь Совет послушать, как Йоханнес будет отгадывать. Если он справится с задачей на первый раз, то явится еще два раза, но пока никому

не удавалось отгадать первую загадку, и женихи платили за это жизнью.

Йоханнеса не слишком заботило, что с ним будет, он был весел и доволен, думал только о прекрасной принцессе и твердо верил, что добрый Господь ему поможет, правда, каким образом Он это сделает, Йоханнес не знал, но и забивать себе этим голову не хотел. Он шел, приплясывая, по дороге, пока не добрался до постоялого двора, где его поджидал попутчик.

Йоханнес без умолку рассказывал о прекрасной принцессе, о том, как ласково она с ним обошлась; он ждет не дождется завтрашнего дня, когда снова пойдет во дворец и попытает счастья.

Но попутчик лишь грустно покачал головой.

— Я так тебя люблю, — сказал он, — мы могли бы еще долго пробыть вместе, и вот я тебя теряю. Мой бедный, дорогой Йоханнес, я готов расплакаться, но не хочется портить тебе радость в наш последний вечер. Давай веселиться, по-настоящему веселиться. Завтра, когда ты уйдешь, я смогу дать волю слезам.

В городе все уже знали, что у принцессы появился новый жених, поэтому там воцарилось глубокое уныние. Театр закрылся, торговки сластями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, король и священники молились, стоя на коленях в церкви, — словом, пришло великое горе, потому что Йоханнеса ждала та же участь, что и всех других женихов.

Вечером попутчик Йоханнеса сварил большую чашу пунша и предложил своему другу как следует повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханнес выпил пару стаканчиков, его стало клонить ко сну, глаза слипались, и он заснул. Попутчик поднял его со стула и уложил в постель. А когда совсем стемнело, он достал крылья, которые отрубил у лебедя, крепко привязал к плечам, сунул в карман самый большой пучок веток, который получил от старухи, сломавшей ногу,

отворил окно и полетел в город, к дворцу. Там он уселся в угол под окном спальни принцессы.

В городе было тихо. Но вот пробило три четверти двенадцатого, окно распахнулось, из него вылетела принцесса в длинном белом плаще и с большими черными крыльями за плечами. Она держала путь к высокой горе. А попутчик Йоханнеса, обернувшись невидимкой, чтобы она его не заметила, полетел следом, до крови хлеща принцессу пучком веток. Ох, как быстро они неслись, ветер раздувал ее плащ, словно парус, и через него просвечивал месяц.

— Какой град, какой град! — восклицала принцесса, получая очередной удар, — так ей и надо!

Добравшись наконец до горы, она постучала. Раздался грохот, похожий на раскат грома, гора расступилась, и принцесса вошла внутрь, а за ней следом попутчик Йоханнеса, его никто не мог увидеть, он ведь был невидимкой. Они пошли по длинному проходу, стены которого странно мерцали, — это сновали вверх и вниз тысячи огненных пауков, горевших, как жар. И вот они вступили в огромный зал, весь из серебра и золота. На стенах сияли красные и голубые цветы величиной с подсолнух; но рвать их было нельзя, потому что стебли у них представляли собой отвратительных ядовитых змей, а сами цветы — языки пламени, вырывавшиеся у них из пасти. Потолок был усеян сверкающими светлячками и небесно-голубыми летучими мышами, которые хлопали своими тонкими крыльями, — удивительное было зрелище. В центре зала стоял трон, опиравшийся на четыре лошадиных скелета. Сбруя у них была сделана из красных огненных пауков, сам трон — из молочно-белого стекла, а подушками служили черные мышки, вцепившиеся друг другу в хвосты. Над троном красовался балдахин из пунцовой паутины, усиженной прелестными зелеными мушками, сверкавшими, словно драгоценные камни. На троне восседал старый тролль с короной на безобразной голове и скипетром в руке. Он по-

целовал принцессу в лоб, усадил ее рядом с собой на роскошный трон, и заиграла музыка. Большие черные кузнечики играли на губных гармошках, а сова била себя по животу — барабана у нее не было. Забавный получился концерт. Крошечные черные гномы с блуждающими огоньками на колпаках плясали по всему залу. Никто не видел попутчика Йоханнеса, он стоял за троном, откуда все слышал и все наблюдал. Тут появились придворные, нарядные и изящные, но тот, у кого были глаза во лбу, заметил бы, что это просто палки с кочанами капусты вместо голов — тролль оживил их и обрядил в расшитые одежды. Впрочем, какая разница — их использовали только для парада.

Но вот танцы закончились, и принцесса поведала троллю, что у нее теперь новый жених, и спросила его, что ей загадать жениху, когда тот утром придет во дворец.

— Слушай, — ответил тролль, — я тебе сейчас кое-что скажу. Загадай что-нибудь совсем простое, что ему и в голову не придет. Задумай собственную туфельку. Он ни за что не отгадает. И ты велишь отрубить ему голову, только не забудь прихватить с собой завтра ночью его глаза, я их съем!

Принцесса сделала глубокий книксен и заверила, что про глаза не забудет. Тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой, а попутчик Йоханнеса летел следом и вновь хлестал ее ветками так, что она охала, жаловалась на сильный град и спешила изо всех сил поскорее добраться до окна своей спальни. А попутчик вернулся на постоялый двор; Йоханнес еще спал; попутчик отвязал крылья и тоже прилег, потому что, по правде говоря, здорово устал.

Рано утром Йоханнес проснулся, встал и его попутчик, который рассказал, что сегодня ночью видел удивительный сон про принцессу и ее туфельку, поэтому он настойчиво посоветовал Йоханнесу спросить принцессу, не думала ли она о своей туфельке! Ведь так все и было, он сам это слышал в горе у тролля, но не хотел ничего говорить об этом Йоханнесу, про-

сто попросил поинтересоваться у принцессы, не думала ли она о своей туфельке.

— Мне все равно, о чем спрашивать, — сказал Йоханнес — может, и правда — твой сон в руку, потому что я по-прежнему верю, что Господь мне поможет! Но давай все-таки попрощаемся, ведь, если я отвечу неверно, нам уже не свидеться!

Они расцеловались, и Йоханнес отправился во дворец. Зал был забит народом. Судьи сидели в креслах, подложив под головы подушки из гагачьего пуха, — им же приходится так много думать! Старый король стоял и вытирал глаза белым носовым платком. Тут вошла принцесса, она была еще красивее, чем вчера, сердечно поздоровалась со всеми, а Йоханнесу протянула руку и сказала: «Доброе утро!»

Теперь Йоханнесу предстояло угадать, какую вещь она загадала. Господи, до чего же ласково она на него смотрела, но стоило ей услышать произнесенное им слово «туфелька», она побелела как мел и задрожала всем телом. Но делать было нечего: Йоханнес угадал!

Вот это да! От радости старый король даже перекувырнулся, все остальные зааплодировали ему и Йоханнесу, который разгадал первую загадку.

Его попутчик тоже обрадовался, узнав, как все прошло. А Йоханнес, сложив руки, поблагодарил милосердного Бога, который наверняка поможет ему и в двух оставшихся попытках. На следующий день Йоханнеса ждала новая загадка.

Вечер прошел, как и накануне. Когда Йоханнес заснул, его попутчик опять полетел вслед за принцессой к горе, хлеща ее еще сильнее, потому что на этот раз он взял два пучка веток. Его никто не видел, а он все слышал. Принцесса задумает свою перчатку — он якобы снова видел сон и пересказал его Йоханнесу. Йоханнес разгадал и вторую загадку. Как же веселился весь дворец! Придворные кувыркались по вчерашнему примеру короля, а принцесса лежала на диване, словно набрав в рот воды. Теперь все зависело от того, разгадает ли Йоханнес последнюю

загадку. Если да, то ему достанется прекрасная принцесса, а после смерти старого короля и все королевство. Если нет, то он лишится жизни, а тролль съест его красивые голубые глаза.

В этот вечер Йоханнес лег рано, прочитал вечернюю молитву и спокойно уснул. А его попутчик привязал на спину крылья, пристегнул сбоку саблю, взял все три пучка веток и полетел во дворец.

Ночь была — хоть глаза выколи, бушевала такая гроза, что черепица слетала с крыш, деревья в саду со скелетами гнулись, как тростинки, от порывов ветра. Молнии сверкали, не переставая, раскаты грома сливались в сплошную канонаду. Но вот распахнулось окно, и из него вылетела принцесса. Бледная как смерть, она только посмеялась над жуткой бурей, словно ей такая непогода была нипочем. Ее белый плащ бился на ветру, точно огромный парус, а попутчик Йоханнеса хлестал ее всеми тремя пучками веток так сильно, что кровь капала на землю. Под конец принцесса едва могла лететь и с трудом добралась до горы.

— Какой ужасный град, ну и буря, — сказала она, — мне еще не доводилось летать в такую непогоду.

— Не все коту масленица! — ответил тролль.

Принцесса рассказала ему, что Йоханнес угадал и во второй раз. Если он отгадает и завтра, то победит и она уже никогда не сможет прилетать к горе и заниматься колдовством, как прежде. Что ее очень печалило.

— Больше он не угадает, — сказал тролль, — я придумаю что-нибудь, о чем он и помыслить не сможет! Или же он колдун почище меня. А пока давай веселиться!

Он взял принцессу за руки, и они закружились по зале вместе со всеми находившимися там гномами и блуждающими огоньками. Красные огненные пауки, похожие на сверкающие искры, весело скакали вверх и вниз по стенам. Сова била в барабан, сверчки свистели, а большие черные кузнечики играли на губных гармониках. Вот это был бал!

Натанцевавшись вдоволь, принцесса засобиралась домой, чтобы ее не хватились во дворце. Тролль пожелал проводить ее, так они смогут еще немного побыть вместе.

Они летели, бушевала буря, а попутчик Йоханнеса изо всех сил хлестал их по спинам своими ветками. Никогда троллю не случалось летать в подобный град. Перед самым дворцом он попрощался с принцессой и шепнул ей, чтобы она загадала его, тролля, голову. Но попутчик расслышал его слова, и как только принцесса проскользнула в свою спальню, а тролль повернул было в сторону дома, он схватил того за длинную черную бороду и саблей срубил его гадкую голову до самых плеч. Тролль и глазом моргнуть не успел. Потом попутчик выбросил тело тролля в озеро на съедение рыбам, а голову окунул в воду и завязал в шелковый платок. С этим узелком он вернулся на постоялый двор и лег спать.

На следующее утро он отдал узелок Йоханнесу, но предупредил, чтобы тот ни в коем случае не раскрывал его, пока принцесса не спросит, что она загадала.

Большой дворцовый зал был набит битком, люди жались друг к другу, точно сельди в бочке. Члены Совета разместились в креслах с пуховыми подушками, а старый король сменил платье; золотая корона и скипетр были начищены до блеска. Только принцесса, бледная как смерть, нарядилась во все черное, словно собралась на похороны.

— Ну, так что я загадала? — спросила она Йоханнеса.

Он тут же развязал узелок и даже сам перепугался, увидев гадкую голову тролля. Люди вздрогнули от ужаса, а принцесса точно окаменела и не могла выговорить ни слова. Наконец она встала и протянула Йоханнесу руку — он дал верный ответ. Не глядя ни на кого, она глубоко вздохнула и сказала:

— Теперь ты мой господин, вечером отпразднуем свадьбу.

— Вот это мне по душе! — воскликнул старый король. — Так мы и сделаем!

Народ закричал «ура!», почетный караул на улицах грянул музыку, зазвонили колокола, а торговки сластями сняли с сахарных поросят траурный креп — теперь повсюду царила радость! В центре площади выставили трех жареных быков, начиненных утками и курами, каждый мог подойти и отрезать себе кусок. В фонтанах било изысканнейшее вино, а в булочных всем, кто покупал крендель за скиллинг, давали в придачу шесть пышных булок с изюмом.

Вечером весь город переливался огнями, солдаты палили из пушек, мальчишки из хлопушек, а во дворце ели и пили, чокались и плясали. Знатные кавалеры и хорошенькие девицы танцевали и громко пели — на улицах была слышна их песня:

Много тут девиц прекрасных,
Любо им плясать и петь!
Так играйте ж плясовую,
Полно девицам сидеть!
Эй, девица, веселее,
Башмачков ты не жалей!*

Но принцесса все еще была ведьмой и Йоханнеса не любила. Попутчик его об этом не забыл. Он дал Йоханнесу три лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел ему поставить рядом с ложем невесты большой чан с водой, бросить туда перья и вылить капли. Когда принцесса соберется ложиться, Йоханнес должен ее слегка толкнуть, чтобы она упала в воду, после чего окунуть ее с головой три раза — тогда принцесса освободится от чар и крепко полюбит его.

Йоханнес сделал все, что велел ему попутчик. Принцесса пронзительно вскрикнула, когда он окунул ее в воду, и забилась у него в руках большим черным лебедем со сверкающи-

* Перевод А. и П. Ганзенов (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев. — прим. перев.*).

ми глазами. Во второй раз она вынырнула из воды белым лебедем с широким черным ободком вокруг шеи. Йоханнес, кротко помолившись Господу, погрузил птицу в воду в третий раз — и в ту же минуту она превратилась в красавицу принцессу. Она была прекраснее прежнего и со слезами в своих чудных глазах поблагодарила Йоханнеса за то, что он освободил ее от колдовских чар.

Утром к ним явился старый король со всей свитой, поздравления длились до середины дня. Последним пришел попутчик Йоханнеса с посохом в руках и ранцем за плечами. Йоханнес расцеловал его много-много раз и попросил остаться, он ведь был обязан своим счастьем именно ему, своему попутчику. Но тот покачал головой и ласково сказал:

— Нет, мое время вышло. Я лишь заплатил долг. Помнишь покойника, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал все, что имел, только чтобы он обрел успокоение. Этот покойник — я!

И он исчез.

Свадебные празднества продолжались целый месяц. Йоханнес и принцесса крепко любили друг друга, старый король прожил много счастливых лет, качая на коленях внучат и давая им забавляться своим скипетром. А Йоханнес правил королевством.

РУСАЛОЧКА

В открытом море вода синяя-пресиняя, как лепестки самых прекрасных васильков, и прозрачная, как хрусталь. Но зато глубоко же там! Ни одному якорю до дна не достать, чтобы добраться со дна морского до поверхности воды, пришлось бы поставить одна на другую множество колоколен. Там обитают морские жители.

Не подумайте, что там нет ничего, кроме белого песка! Вовсе нет! Там растут удивительнейшие деревья и растения, с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Рыбы, маленькие и большие, снуют между ветвей, как у нас здесь птицы в небе. На самом глубоком месте стоит дворец морского царя: стены сделаны из кораллов, высокие стрельчатые окна — из прозрачнейшего янтаря, а крыша из раковин, которые то открываются, то закрываются, в зависимости от приливов и отливов; великолепное зрелище, ибо в середине каждой раковины сверкает жемчужина, которая могла бы украсить корону любой королевы.

Морской царь уже много лет как овдовел, поэтому хозяйство ведет его старая мать — женщина умная и очень гордящаяся своим знатным родом, почему она и носит на хвосте двенадцать устриц, а другим аристократам разрешено носить только по шесть. Но вообще она достойна всяческих похвал,

потому что очень любит внучек, маленьких русалочек. Все шесть принцесс были прелестны, но самой красивой была младшая, с кожей нежной и прозрачной, словно лепесток розы, с синими, словно глубокое море, глазами, но у нее, как у всех остальных, вместо ножек был рыбий хвост.

Днями напролет они резвились во дворце, в большом зале, где из стен росли живые цветы. Когда открывали янтарные окна, к ним вплывали разные рыбы, точно так же, как к нам в распахнутые окна влетают ласточки, рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели у них с рук и позволяли себя гладить.

У стен дворца простирался большой сад с огненно-красными и темно-синими деревьями. Их ветви и листья непрерывно колебались, и плоды сверкали, точно золото, а цветы переливались огнями. Земля представляла собой мельчайший голубоватый, напоминавший серное пламя песок. Вокруг было разлито удивительное голубое сияние, так что можно было вообразить, скорее, будто ты паришь в воздухе и небо у тебя не только над головой, но и под ногами, чем подумать, что ты находишься на дне моря. В штиль сюда проникало солнце, оно смотрелось, словно пурпурный цветок, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы был свой участок в саду, где они могли копать и сажать все, что им вздумается. Одна устроила свой цветник в виде кита, другая предпочла, чтобы цветник был похож на русалочку, а самая младшая придала ему форму солнца, и там росли только ярко-красные, как солнце, цветы. Она была странным ребенком, эта младшенькая: тихая, задумчивая... Ее сестры украшали себя разными вещицами, которые доставали с затонувших кораблей, а она кроме своих ярко-красных, как солнце, цветов любила прелестного мальчика из блестящего белого мрамора, очутившегося на дне морском в результате кораблекрушения. Возле статуи русалочка посадила красную плакучую иву, которая замеча-

тельно разрослась, так что ее свежие ветви, нависая над статуей, клонились на голубой песок и образовывали фиолетовые тени, колебавшиеся в такт с ветвями; казалось, будто верхушка и корни целовали друг друга.

Больше всего русалочка любила слушать рассказы о людях, живших там, наверху. Она заставляла бабушку рассказывать все, что та знала: про корабли и города, про людей и животных. Особенно она удивлялась и радовалась тому, что цветы на земле пахнут — на морском дне такого не бывает, — что леса там зеленые, а рыбки, сидящие на ветвях, умеют чудесно петь. Бабушка называла рыбками птиц, иначе внучка бы не поняла, ей же никогда птиц видеть не приходилось.

— Когда вам исполнится пятнадцать лет, — сказала бабушка, — вам разрешат всплывать на поверхность, сидеть на скалах в лунном свете и смотреть на проплывающие мимо громадные корабли, вы увидите леса и города!

В этом году старшей принцессе исполнялось пятнадцать, другим же — а они были погодками — придется ждать, и дольше всего — целых пять лет — предстояло ждать самой младшей, ждать, когда она сможет всплыть со дна морского и посмотреть, как мы тут живем. Но каждая из принцесс обещала поведать другим о том, что увидела и что ей больше всего понравилось в первый день. Бабушкины рассказы были не настолько подробными, как им хотелось бы, они жаждали узнать побольше.

Никого так не тянуло наверх, как самую младшую, тихую и задумчивую русалочку, ту, которой предстояло ждать дольше всех. Ночами она стояла у открытого окна и вглядывалась в темно-синюю толщь воды, где били плавниками и шевелили хвостами рыбы. Она могла видеть звезды и луну, правда, их свет был не таким ярким, зато сквозь воду они казались больше, чем кажутся нам. Когда их закрывало что-то вроде черного облака, русалочка знала, что это над ней проплывает

или кит, или большой корабль с множеством людей. Они, конечно, и не подозревали, что там, внизу, стоит прелестная русалочка и протягивает к килю корабля свои белые руки.

И вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет и ей позволили всплыть на поверхность.

Она вернулась назад, переполненная впечатлениями. Но самое чудесное, сказала она, было лежать при лунном свете на песчаной отмели спокойного моря и смотреть на большой город, раскинувшийся на берегу: там мерцали, как сотни звезд, огни, играла музыка, до нее доносились звуки человеческих голосов и грохот экипажей, она видела многочисленные церкви и шпили, слышала звон колоколов. Как же ей хотелось попасть туда, но — увы! — этого было сделать нельзя.

О, с какой жадностью слушала рассказ сестры самая младшая русалочка! Вечером, стоя у раскрытого окна и вглядываясь в синеву воды, она думала о большом городе с его шумом и гамом, и ей даже казалось, будто она слышит перезвон колоколов.

На следующий год и вторая сестра получила разрешение подняться на поверхность моря и плыть, куда ей захочется. Она вынырнула как раз во время захода солнца, и это зрелище понравилось ей больше всего. Все небо, рассказывала она, сверкало, словно золото, а описать красоту облаков она просто была не в силах — они проплывали у нее над головой, пурпурные и фиолетовые, правда, гораздо быстрее их над водой, куда садилось солнце, летела стая диких лебедей, похожая на длинную белую вуаль. Русалка поплыла навстречу солнцу, но оно опустилось в море, и вода поглотила розовое сияние.

Еще через год поднялась на поверхность третья сестра, она была храбрее всех, поэтому решилась приплыть к широкой реке, впадавшей в море. Она увидела изумительные зеленые холмы, заросшие виноградниками, среди лесных зарослей виднелись дворцы и усадьбы. Пели птицы, ярко сияло солнце, так что ей приходилось то и дело нырять в воду, чтобы ос-

тудить свое пылающее лицо. В маленькой бухте ей повстречалась группка человеческих детенышей, которые, раздевшись до гола, плескались в воде. Ей захотелось поиграть с ними, но они в страхе разбежались. И тут появился небольшой черный зверь, это была собака, но русалка ведь никогда не видела собак. Она так перепугалась, что сразу же поплыла в открытое море. Но никогда ей не забыть величественных лесов, зеленых холмов и прелестных детей, которые умели плавать, хотя и не имели рыбьих хвостов.

Четвертая сестра не отличалась храбростью и потому осталась в открытом море, и, по ее словам, это было прекраснее всего: она видела на много миль вокруг, небо над головой напоминало огромный стеклянный купол. Вдалеке она разглядела корабли, похожие на морских чаек, вокруг кувыркались забавные дельфины, а огромные киты пускали из ноздрей сотни фонтанов.

Подошла очередь и пятой сестры. Ее день рождения приходился на зиму, поэтому ей довелось увидеть то, чего остальные в первый раз не видели. Море приобрело зеленый оттенок, и вокруг плавали громадные ледяные горы, они были словно жемчужины, рассказывала она, только намного больше, чем церковные башни, построенные людьми. Они имели причудливую форму и сверкали, как брильянты. Она уселась на самый высокий айсберг, ветер развевал ее длинные волосы, и все моряки в испуге отплывали подальше. Но к вечеру небо затянули тучи, засверкали молнии, загромыхал гром, почерневшее море высоко вздымало ледяные глыбы, которые блистали в пунцовом свете молний. На всех кораблях убрали паруса, кругом царили страх и ужас, а русалка спокойно сидела на дрейфующем айсберге, любуясь, как молнии зигзагами прорезают небо и уходят в светящуюся воду.

Впервые всплыв на поверхность моря, сестры были в восторге от красоты и новизны увиденного, но теперь, когда они повзрослели и получили возможность всплывать

наверх в любое время, они потеряли к этому интерес и уже через месяц начали говорить, что дома все-таки лучше.

Нередко по вечерам пять сестер, сплетясь руками, поднимались на поверхность воды. У них были изумительные голоса — у людей таких не бывает, и, заметив, что начинается буря и кораблям грозит опасность, они подплывали к ним, пели о том, как чудесно там, на дне моря, и просили моряков не бояться спуститься вниз. Но моряки не могли разобрать слов, они думали, что это завывает буря, да и красот подводного царства им бы все равно не довелось увидеть, потому что если корабль шел ко дну, то люди тонули и попадали во дворец морского царя уже мертвыми.

А младшая русалочка, в то время как ее сестры, взявшись за руки, поднимались на поверхность моря, оставалась совсем одна и печально глядела им вслед. Она была готова расплакаться, но русалки не умеют плакать, поэтому она страдала еще сильнее.

— Ах, если бы мне было пятнадцать! — говорила она. — Я знаю, что я полюблю этот мир, там, наверху, и людей, которые в нем живут.

Наконец ей исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, и ты стала взрослой, — сказала ее бабушка, старая королева-мать. — Дай-ка я тебя принаряжу, как других сестер!

Она надела на голову русалочке венок из белых лилий — каждый лепесток был половинкой жемчужины. А чтобы отметить высокое происхождение принцессы, прицепила к ее хвосту восемь устриц.

— Мне больно! — воскликнула русалочка.

— Красота требует жертв, — ответила бабушка.

Ах, как хотелось русалочке сбросить с себя всю эту роскошь и снять с головы тяжелый венок! Ее красные морские цветы шли ей намного больше, но она не решилась перечить.

— Прощай! — сказала она и легко, как прозрачный пузырек воды, взмыла вверх.

Солнце уже село, когда ее голова показалась над поверхностью воды, но облака все еще были окрашены в розовато-золотистые тона, а в красноватом небе сияли чудесные вечерние звезды, воздух был мягок и свеж, и море совершенно спокойно. Неподалеку замер большой трехмачтовый корабль, на котором был поднят всего один парус, потому что стоял полный штиль, и повсюду, на вантах и стеньгах, сидели матросы. Слышались звуки музыки и пения, а когда совсем стемнело, повсюду зажглись сотни цветных фонариков — казалось, будто в воздухе трепещут флаги всех наций. Русалочка подплыла к окну каюты, и каждый раз при малейшем движении воды заглядывала в прозрачное стекло. В каюте было много нарядных людей, но прекрасней всех ей показался молодой принц с огромными черными глазами, лет шестнадцати, не больше, — сегодня праздновали его день рождения, потому-то народ так веселился. Матросы плясали на палубе, и когда туда вышел молодой принц, в небо взвились сотни ракет и стало светло, как днем. Русалочка перепугалась и нырнула в воду, но вскоре опять высунула голову, и ей почудилось, что все небесные звезды попадали в море. Никогда не видела она таких огненных чудес: большие солнца крутились колесом, роскошные огненные рыбы взмывали вверх, и все это отражалось в тихой, прозрачной воде. На самом корабле было так светло, что можно было разглядеть любой канат, а уж людей тем более. О, как же хорош молодой принц, он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а в тишине этой удивительной ночи все продолжала играть музыка.

Становилось уже поздно, но русалочка не могла оторвать глаз от корабля и прекрасного принца. Разноцветные фонарики погасили, не взлетали больше в небо ракеты, затихла пушечная канонада, зато из глубины моря донеслись гудение и ворчание. Русалочка качалась на волнах, заглядывая в ок-

но каюты, но тут корабль прибавил ходу, один за другим поднялись паруса, как вдруг море разволновалось, на небе сгустились тучи, вдали засверкали молнии. Надвигалась буря, поэтому матросы поспешили паруса убрать. Огромный корабль страшно качало на бурных волнах, вода вздымалась высоченной черной горой, грозя обрушиться на мачты корабля, но он нырял, словно лебедь, между стенами воды и вновь взлетал на гребень волн. Русалочку буря только забавляла, а вот моряков совсем нет — корабль трещал и скрипел, толстые бревна гнулись от сильнейших ударов, вода заливала палубу, мачта переломилась, как тростинка, корабль лег на бок, и вода хлынула внутрь. Теперь русалочка поняла, какая опасность грозит судну, да ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На мгновение сделалось совсем темно, хоть глаз выколи, тут опять сверкнула молния, и русалочка увидела всех находившихся на корабле — каждый спасался, как мог. Она поискала глазами юного принца и увидела его в тот момент, когда корабль стал разваливаться на куски и опускаться на дно. Сначала она даже обрадовалась — ведь теперь они встретятся, но потом вспомнила, что люди не могут жить под водой и что он попадет во дворец ее отца лишь мертвым. Нет, он не должен умереть! Поэтому русалочка поплыла между бревен и досок, качавшихся на воде, забыв, какую опасность они представляют для нее самой. Она то ныряла на большую глубину, то взлетала на гребне волн на поверхность и наконец добралась до юного принца, который совсем выбился из сил и уже не сопротивлялся разбушевавшейся стихии. Его руки и ноги отказались ему служить, прекрасные глаза были закрыты, он бы наверняка погиб, если бы не русалочка. Держа его голову над водой, она отдалась на волю волн.

К утру буря улеглась. От корабля не осталось и следа. Над водой засияло солнце, и его яркие лучи словно вернули щекам принца их естественный цвет, но глаза его все еще бы-

ли закрыты. Русалочка откинула со лба принца мокрые волосы и поцеловала этот высокий прекрасный лоб. Она подумала, что он похож на мраморную статую в ее подводном садике. Она поцеловала принца еще раз и горячо пожелала, чтобы он остался жив.

Тут она завидела впереди сушу, высокие голубые горы, на вершинах которых белел снег, напоминавший стаю лебедей. На берегу зеленел великолепный лес, а перед ним стояла церковь или монастырь, она не знала точно, что это, но это было какое-то строение. В саду росли лимонные и апельсиновые деревья, а у ворот здания — высоченные пальмы. Море здесь образовывало небольшую бухту, где вода была неподвижна, но очень глубока, как и у скал, к которым вела белая песчаная коса. Туда-то и поплыла русалочка с прекрасным принцем, которого она уложила на песок, позаботившись, чтобы головой он лежал повыше, на самом солнце.

В это время в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпало множество юных девушек. Тогда русалочка отплыла подальше за большие камни, торчавшие из воды, покрыла себе голову и грудь морской пеной, чтобы никто не увидел ее лица, и принялась ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к нему подошла одна из юных девушек, которая сначала перепугалась, но всего на долю секунды, после чего позвала людей, и русалочка увидела, как принц ожил. Он улыбался окружающим, только ей не улыбнулся, но он ведь и не знал, что это она спасла ему жизнь. Русалочке сделалось так горько на душе, что, когда принца увели в высокое здание, она с болью в сердце нырнула в воду и поплыла к отцовскому дворцу.

Русалочка и всегда-то была тихой и задумчивой, а тут совсем замкнулась. Сестры расспрашивали ее о том, что она видела в первый раз там, наверху, но она никому ничего не рассказывала.

Чуть ли не каждый вечер и утро она приплывала к тому месту, где оставила принца. Она видела, как созрели плоды в саду, видела, как собирали урожай, видела, как растаял снег на вершинах гор, а принц все не появлялся. И она возвращалась домой в еще большей печали. Единственным утешением для нее было сидеть в своем садике, обвивая руками прекрасную мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она ухаживать перестала. Они одичали, заполонив все дорожки, а их длинные стебли и листья, переплетясь с ветвями деревьев, почти перестали пропускать свет.

Наконец русалочка не выдержала, рассказала обо всем одной из сестер, за ней тут же об этом узнали и все остальные, а больше никто — разве что еще две-три русалки, которые никому ничего не сказали, никому, кроме своих ближайших подруг. Какой-то из них, как оказалось, принц тоже был знаком, она видела праздник на корабле и даже знала, где находится его королевство.

— Идем, сестричка! — сказали русалочке ее сестры, положили друг другу руки на плечи и, растянувшись длинной цепочкой, поднялись на поверхность моря вблизи того места, где стоял замок принца.

Замок был построен из светло-желтого блестящего камня, с широкими мраморными лестницами, одна из которых спускалась прямо в море. Крышу венчали великолепные позолоченные купола, а между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные изваяния — они были совсем как живые. Сквозь прозрачные стекла высоких окон, обрамленных дорогими шелковыми занавесями, виднелись роскошные залы, полы которых были устланы коврами, а на стенах развешаны огромные, бесподобные по красоте картины. В центре самой большой залы журчал фонтан, его струи били под стеклянный куполообразный потолок, через который солнечные лучи лились на воду и прелестные растения, росшие в обширном бассейне.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и часто приплывала сюда в вечерние и ночные часы. Она подплывала гораздо ближе к земле, чем осмеливались делать ее сестры, и даже вплывала в узкий канал, над которым нависал роскошный мраморный балкон, затенявший воду. Тут она сидела и смотрела на юного принца — а он-то считал, что гуляет в полном одиночестве при ясном свете луны.

Она много раз видела, как он вечерами катается в компании музыкантов на своем замечательном паруснике с развевающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленых камышей, а если кто замечал ее длинную серебристо-белую вуаль, трепетавшую на ветру, то думал, будто это лебедь взмахнул крыльями.

Много раз она слышала, что говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу в море. Они очень хорошо отзывались о нем, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его, едва живого, носило по волнам, и она вспоминала, как покоилась его голова у нее на груди и как горячо она его поцеловала. Он об этом ничего не знал, поэтому она даже во сне не могла ему присниться.

Все больше и больше русалочка начинала любить людей, все сильнее и сильнее ей хотелось оказаться среди них. Их мир представлялся ей намного обширнее, чем ее собственный. Они ведь могли на своих кораблях переплывать море, могли взбираться на высокие горы, под самые облака, а их земли с лесами и пашнями простирались так далеко, что и взглядом было их не окинуть. У нее накопилось множество вопросов, но у сестер не было на них ответов. Поэтому русалочка принялась расспрашивать свою старую бабушку, которая хорошо знала верхний мир, как она верно называла сушу.

— Если люди не тонут, — спросила русалочка, — значит, они живут вечно, не умирают, как мы тут, на морском дне?

— Конечно, умирают, — ответила старуха, — и срок их жизни намного короче нашего. Мы можем прожить до трехсот

лет, зато, когда умираем, становимся морской пеной, у нас нет даже могил наших близких. У нас нет бессмертной души, и мы никогда не воскреснем для новой жизни, мы словно зеленый тростник — срезанный под корень, он не зазеленеет вновь! А у людей есть душа, которая живет вечно, живет и после того, как тело превратится в прах. И она возносится в ясное небо, к сверкающим звездам! Как мы всплываем на поверхность воды и видим землю людей, так и они возносятся в незнакомые прекрасные края, которых нам никогда не увидеть.

— А почему у нас нет бессмертной души? — печально спросила русалочка. — Я бы отдала все свои сотни лет жизни за возможность хоть один день побыть человеком и потом оказаться на небесах!

— Не забивай себе голову такими мыслями! — сказала старуха. — Нам тут живется намного лучше, чем людям там, наверху!

— Значит, я умру, стану морской пеной и больше не буду слышать музыки волн, не буду видеть прекрасные цветы и красное солнце! Неужели ничего нельзя сделать, чтобы обрести бессмертную душу?

— Нельзя, — ответила старуха. — Если только какой-нибудь человек не полюбит тебя крепче, чем отца и мать, если только он не привяжется к тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и не велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу, вот тогда частица его души переселится в твое тело и ты тоже сможешь насладиться человеческим счастьем. Он отдаст тебе частицу своей души, но при этом сохранит свою собственную. Но этого никогда не произойдет! Ведь то, что у нас здесь, в море, считается самым прекрасным, твой рыбий хвост, люди там, на земле, находят безобразным. Они мало что смыслят в красоте, чтобы быть красивыми, им надо иметь две неуклюжие подпорки, которые они называют ногами.

Русалочка вздохнула и с грустью посмотрела на свой рыбий хвост.

— Не будем печалиться, — сказала старуха. — Повеселимся вволю все те триста лет, что нам отведены, — времени предостаточно, тем слаще покажется отдых в нашей могилке. Сегодня вечером у нас при дворе бал!

Такого великолепия на земле не увидишь. Стены и потолок громадной танцевальной залы были сделаны из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами расположились сотни огромных раковин, пурпурных и изумрудно-зеленых, в середине которых горели яркие голубые огни — они освещали всю залу, а через стены — и само море. Было видно, как подплывали к стеклянным стенам бесчисленные рыбы, большие и маленькие, у одних чешуя отливала пурпуром, у других — серебром и золотом.

Посреди залы струился широкий водный поток, и в нем танцевали водяные и русалки, сопровождая танцы чудными песнями. Таких изумительных голосов у людей на земле не бывает. Лучше всех пела русалочка, все ей хлопали, и на какой-то миг у нее стало радостно на сердце от мысли, что ни у кого — ни на земле, ни в море — нет такого чудесного голоса, как у нее! Но вскоре она снова вспомнила о надводном мире, о прекрасном принце и своей тоске по бессмертной душе, которой у нее в отличие от принца не было. Она выскользнула из дворца и, пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике. Вдруг сквозь воду до нее донеслись звуки валторны, и она подумала: «Это он идет под парусами там, наверху, *тот*, кого я люблю больше отца и матери, тот, к кому обращены все мои помыслы, тот, кому я с радостью бы вручила свою судьбу. Я хочу одного —обрести его и бессмертную душу! Пока сестры танцуют во дворце, я, пожалуй, отправлюсь к морской ведьме; я ее всегда боялась, но, быть может, она что-нибудь посоветует мне и поможет!»

И русалочка, покинув свой садик, отправилась к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Этим путем ей еще не доводилось плавать: здесь не было ни цветов, ни мор-

ской травы, только серая песчаная коса тянулась к водоворотам, в которых вода бурлила и шумела, словно мельничные колеса, увлекая на глубину все, что попадалось ей на пути. Между этими бурлящими потоками русалочке и пришлось плыть, чтобы попасть во владения ведьмы. Дорога к ним шла через обширное пространство, покрытое горячим пузырившимся илом, — это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним и находилось ее жилище, окруженное удивительным лесом. Деревья и кусты представляли собой полипы — наполовину животные, наполовину растения, похожие на стоглавых змей, росших прямо из песка. Вместо ветвей у них были длинные осклизлые руки с пальцами, напоминавшими извивающихся червей; их суставы, от корней до самых верхушек, непрерывно шевелились, хватая все что ни попадя и никогда не отпуская обратно. Русалочка в ужасе замерла на месте, сердце ее заколотилось от страха, и она уже готова была вернуться домой, но тут вспомнила о принце и человеческой душе и собралась с духом. Она обвязала свои длинные развевающиеся волосы вокруг головы, чтобы полипы не смогли их схватить, сложила руки на груди и, как рыба, поплыла мимо этих гадких существ, протягивавших к ней свои извивающиеся руки и пальцы. Она видела, какой железной хваткой держали эти сотни пальцев все, что им попадалось. Люди, утонувшие в морской пучине, превращались в руках полипов в белые скелеты. Руки крепко держали корабельные рули и ящики, скелеты земных животных и даже одну русалку, которую полипы поймали и задушили, — это, пожалуй, было самое страшное.

Но вот она очутилась на большой склизкой поляне, где барахтались, показывая свои отвратительные светло-желтые брюшки, жирные водяные ужи. Посреди поляны стоял дом, сделанный из белых человеческих костей, там-то и сидела морская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят

сахаром канарейку. Гадких жирных водяных ужей она называла цыплятками, позволяя им забавляться на своей огромной губчатой груди.

— Знаю, зачем ты явилась! — сказала ведьма. — Очень глупая затея, но я тебе все равно помогу, потому что беды тебе потом не миновать, моя красавица. Ты хочешь избавиться от своего рыбьего хвоста и вместо него получить две подпорки, на которых сможешь ходить, как люди, и все для того, чтобы тебя полюбил юный принц, а ты бы обрела его и бессмертную душу!

И ведьма расхохоталась так громко и пронзительно, что жаба и ужи свалились на землю и остались там лежать.

— Ты пришла вовремя, — проговорила ведьма, — ведь приди ты завтра к восходу солнца, я бы не смогла тебе помочь раньше, чем через год. Я приготовлю тебе питье, ты его возьмешь и выплывешь на берег до восхода солнца, где и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару прекрасных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как если бы тебя пронзили насквозь острым мечом. Все, кто тебя ни увидит, скажут, что подобной красавицы им не приходилось встречать. Ты сохранишь свою летящую походку, в танцах с тобой никто не сравнится, но каждый шаг будет причинять невыносимую боль, словно ты ступаешь по острым ножам и ранишь ноги до крови. Ты готова на такие страдания? Хочешь моей помощи?

— Да! — ответила русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

— Только запомни, — сказала ведьма, — как только ты обретешь человеческий облик, тебе уже больше никогда не быть русалкой! Ты больше не увидишь ни сестер, ни отчего дома. А если принц не полюбит тебя так, что забудет и отца, и мать, не отдастся тебе всеми своими помыслами и не попросит священника соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, то не обрести тебе бессмертной души!

В первое же утро после его свадьбы с другой твое сердце разорвется и ты станешь морской пеной.

— Пусть! — ответила русалочка, побледнев как смерть.

— Но мне ты тоже должна заплатить! — продолжала ведьма. — Я недешево возьму. У тебя чудеснейший голос изо всех обитателей морского дна, им ты собираешься околдовать принца. Вот этот голос ты и отдашь мне. Ты заплатишь самым прекрасным из того, что у тебя есть, за мой драгоценный напиток. Я ведь должна добавить в него собственную кровь, чтобы он стал острым, как обоюдоострый меч!

— Если ты заберешь у меня мой голос, что же у меня останется? — спросила русалочка.

— Твоя красота, твоя летящая походка и твои выразительные глаза — этого хватит, чтобы покорить человеческое сердце. Не падай духом! Ты вытянешь свой язык, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо! — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить зелье.

— Чистота — хорошее дело! — проговорила она, связала в узел ужей и почистила ими котел. Потом расцарапала себе грудь, и черная кровь закапала в котел. Клубы пара принимали такие причудливые формы, что страх брал. Ведьма поминутно добавляла в напиток новые снадобья, и когда зелье закипело, послышался звук, точно лязгнули крокодильи челюсти. Наконец напиток был готов, и смотрелся он прозрачнейшей водой.

— Вот, бери! — сказала ведьма и отрезала русалочке язык; и та онемела — ни говорить, ни петь больше не могла.

— Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь обратно через мой лес, — сказала ведьма, — брызни на них всего каплю этого напитка, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусочков.

Но делать этого русалочке не пришлось, потому что полипы в ужасе отступали при виде напитка, сверкавшего в ее ру-

ках, как яркая звезда. И она быстро миновала лес, болото и бурлящие водовороты.

Вот перед ней и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, наверное, все уже спят, но русалочка не осмелилась зайти и посмотреть — ведь она теперь немая и собирается навсегда покинуть их. Ее сердце чуть не разорвалось от горя. Она проскользнула в сад, сорвала по одному цветку с грядок своих сестер, послала тысячи воздушных поцелуев в сторону дворца и вынырнула на синюю поверхность моря.

Солнце еще не взошло, когда она увидела замок принца и взобралась на ступени великолепной мраморной лестницы. Светила чудная луна. Русалочка выпила обжигающий острый напиток, и точно обоюдоострый меч пронзил все ее тело — она потеряла сознание и упала замертво.

Когда солнце встало над морем, русалочка очнулась, ощущая жгучую боль, но зато перед ней стоял прекрасный юный принц и смотрел на нее черными, как вишни, глазами; она потупилась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее две прелестные белые ножки, маленькие, словно у ребенка, но она была совсем нагая и потому прикрылась своими густыми длинными волосами. Принц спросил, кто она и каким образом сюда попала, а она только смотрела на него синими глазами — говорить-то она не могла. Тогда принц, взяв ее за руку, повел в замок. Как и предупреждала ведьма, при каждом шаге ей казалось, что она наступает на колючие иглы и острые ножи, но она с радостью терпела боль; рука об руку с принцем она шла легко, словно воздушный пузырек, а принц и все окружающие удивлялись ее чудесной, летящей походке.

Русалочку разодели в шелка и муслин, в замке никто не мог сравниться с ней красотой, но она была нема — не говорила и не пела. Перед принцем и его царственными родителями появились прелестные рабыни, одетые в шелка и золото, и начали петь; одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал ей и улыбался. Русалочка взгрустнула: когда-то она

сама пела несравненно лучше. И она подумала: «Ах, если бы принц знал, что я ради него навсегда отдала свой голос!»

Потом рабыни легко закружились в танце под звуки чудесной музыки, и тогда русалочка, подняв свои прелестные белые руки, встала на цыпочки и полетела по зале — она танцевала так, как не танцевал никто. При каждом движении ее красота проявлялась все больше, а ее глаза проникали в сердце глубже, чем пение рабынь.

Собравшиеся были в восхищении, особенно принц, который называл ее своим маленьким найденышем, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, когда ее ноги касались пола, ей казалось, что она ступает на острые ножи. Принц сказал, что она всегда должна быть рядом с ним, и ее уложили спать на бархатные подушки перед дверями его спальни.

Принц велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его в верховых прогулках. Они ездили по благоухающим лесам, где зеленые ветви били ее по плечам, а из свежей листвы доносилось птичье пение. Русалочка взбиралась за принцем на высокие горы, и хотя ее прелестные ножки кровоточили, и все это видели, она лишь смеялась и следовала за ним на самые вершины, откуда они видели плывущие под ними облака, похожие на стаи птиц, улетающих в чужие края.

Во дворце же по ночам, когда все спали, русалочка сходила по широкой мраморной лестнице вниз, опускала свои горящие ступни в холодную морскую воду и думала о тех, кто остался там, на дне.

Однажды ночью приплыли, держась за руки, ее сестры, они пели горестную песню; она помахала им, они ее узнали и рассказали, какое горе она им всем причинила. С тех пор они приплывали каждую ночь, а как-то раз она увидела вдалеке старую бабушку, которая уже много лет не поднималась на поверхность моря, и морского царя с короной на голове; они протягивали к ней руки, но не решились подплыть так близко к земле, как это делали сестры.

С каждым днем принц все больше привязывался к русалочке, он любил ее, как любят дорогое сердцу дитя, но сделать ее королевой ему и в голову не приходило; а между тем ей необходимо было стать его женой, иначе ей не обрести бессмертной души, а если он женится на другой, то наутро после его свадьбы русалочка превратится в морскую пену.

— Разве ты не любишь меня больше всех на свете? — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в прекрасный лоб.

— Да, я люблю тебя больше всех, потому что у тебя самое доброе сердце, ты предана мне, как никто, и похожа на юную девушку, которую я видел однажды и, наверное, никогда уже не встречу. Я плыл на корабле, он разбился, и волны вынесли меня на берег возле священного храма, там служат Богу много молодых девушек. Одна из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза. Она единственная на этом свете, кого я смог бы полюбить. Ты похожа на нее, ты почти вытеснила ее образ из моего сердца. Но она посвятила свою жизнь Богу, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя — мы никогда не расстанемся!

«Ах, он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка. — Это я вынесла его на берег у леса, в котором стоит храм, и, укрывшись за морской пеной, смотрела, не придет ли кто ему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко вздохнула, она ведь не могла плакать. — Девушка, по его словам, посвятила себя храму, она уже не принадлежит этому миру, они никогда не встретятся; а я здесь, рядом с ним, вижу его каждый день. Я хочу заботиться о нем, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот пошли разговоры, что принц собирается жениться на прекрасной дочери соседнего короля и потому с такой роскошью снаряжает свой корабль. Однако было объявлено, что принц едет посмотреть на страну соседнего короля,

хотя на самом деле ему хотелось увидеть королевскую дочь, поэтому он берет с собой многочисленную свиту. Но русалочка в ответ на эти слова лишь качала головой и улыбалась: она ведь лучше других знала мысли принца.

— Я должен ехать! — сказал он ей. — Должен увидеть прекрасную принцессу, этого желают мои родители, но требовать от меня, чтобы я взял ее в жены, они не будут. Я же не смогу полюбить ее: она не похожа на красавицу из храма, как похожа ты, а если мне когда-нибудь и придется выбирать себе невесту, то я скорее выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он поцеловал ее в алые губы и, играя ее длинными волосами, прижался головой к ее сердцу, которое мечтало о человеческом счастье и бессмертной душе.

— Ты же не боишься моря, моя немая крошка! — сказал он, когда они уже стояли на палубе великолепного корабля, который должен был доставить их в страну соседнего короля.

И он принялся рассказывать русалочке о штормах и штилях, об удивительных рыбах, обитающих в глубине моря, о том, что видели там водолазы; а она лишь улыбалась, слушая эти рассказы, — уж ей-то известно намного больше о морском дне, чем кому бы то ни было.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, стоявшего за штурвалом, уже спали, она, сев у самых поручней, стала смотреть в прозрачную воду. И ей почудилось, будто она видит отцовский дворец, на верхней башне которого стоит ее старая бабушка с серебряной короной на голове и глядит сквозь бурное течение на киль корабля. Тут на поверхность воды всплыли ее сестры, они печально глядели на нее, ломая в отчаянии свои белые руки; русалочка кивнула им, улыбнулась и только собралась рассказать, что у нее все хорошо и она счастлива, как к ней подошел корабельный юнга, при виде которого ее сестры нырнули в воду, а юнга, заметив в море что-то белое, решил, что это морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань роскошной столицы соседнего королевства. Зазвонили все церковные колокола, с высоких башен раздались звуки труб, а на площади выстроились солдаты с развевающимися знаменами и блестящими штыками. Каждый день устраивали празднества, балы следовали за балами, но принцесса все не появлялась: она, как было объявлено, жила в далеком священном храме, где училась всем королевским добродетелям. Наконец она прибыла.

Русалочка жадно разглядывала красавицу и была вынуждена признать, что существа прелестней ей не доводилось видеть. Кожа на лице принцессы была нежной, чуть ли не прозрачной, а из-под черных ресниц улыбались синие преданные глаза.

— Это ты! — воскликнул принц. — Та, что спасла меня, когда я, полумертвый, лежал на берегу! — И он заключил свою покрасневшую невесту в объятия. — О, меня переполняет счастье! — сказал он русалочке. — То, о чем я и не смел мечтать, сбылось! Порадуйся же моему счастью, ведь ты любишь меня крепче всех!

И русалочка поцеловала его руку, но ей показалось, что ее сердце вот-вот разорвется: ведь день его свадьбы принесет ей смерть и превратит в морскую пену.

Звонили колокола, герольды разъезжали по городу, оповещая народ о помолвке. Из драгоценных серебряных лампад на всех алтарях курился благоуханный фимиам. Священники замахали кадильницами, жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа.

Русалочка в шелках и золоте держала шлейф невесты, но ее уши не слышали праздничной музыки, ее глаза не видели священного обряда, она думала о своем смертном часе и обо всем том, что теряла на этом свете.

Тем же вечером жених и невеста взошли на борт корабля — палили пушки, развевались флаги, посередине палубы был возведен королевский шатер из золота и пурпура, в нем

устроено роскошное ложе, на котором предстояло провести эту тихую прохладную ночь новобрачным.

Ветер надул паруса, и корабль легко и плавно заскользил по прозрачной воде.

Когда стемнело, зажглись разноцветные фонарики и матросы на палубе пустились в веселый пляс. Русалочка невольно вспомнила, как впервые она вынырнула на поверхность моря и увидела такую же роскошь и такое же веселье. Она закружилась в танце, она летала, как летит ласточка, преследуемая коршуном. Восторгам не было предела — никогда еще она не танцевала так прекрасно. Ее чудные ножки резало, словно ножами, но она этого не чувствовала, сердцу было намного больнее. Она знала, что последний раз в жизни видит его, того, ради кого она бросила своих родных и свой дом, лишилась своего ангельского голоса и ради кого ежедневно терпела бесконечные муки, о которых он и не подозревал. Последнюю ночь ей оставалось дышать с ним одним воздухом, видеть глубокое море и звездное небо. Ее ждала вечная ночь без мыслей и грез, ведь у нее не было души, и обрести ее русалочка не могла. Веселье и танцы на корабле продолжались далеко за полночь, русалочка смеялась и танцевала, а сердце ее терзала мысль о смерти. Принц целовал свою красавицу невесту, она играла его черными кудрями, и, наконец, взявшись за руки, они удалились в свой роскошный шатер.

На палубе все затихло, остался только рулевой за штурвалом. Русалочка, положив белые руки на поручни, устремила взгляд на восток, высматривая утреннюю зарю, первый луч солнца, который ее убьет. И тут она увидела своих сестер, всплывших на поверхность моря, — они были бледны, как и она, и их чудные длинные волосы больше не развевались на ветру, они были отрезаны.

— Мы пожертвовали их ведьме, чтобы она помогла тебе избавиться от смерти этой ночью! Она дала нам вот этот нож. Видишь, какой острый? До восхода солнца ты должна вонзить его прямо в сердце принца, и, когда капли его теплой

крови брызнут тебе на ноги, они срастутся в рыбий хвост и ты снова станешь русалкой, уйдешь к нам под воду и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в безжизненную, соленую морскую пену. Поспеши! Или ты, или он — кто-то из вас скоро умрет, потому что солнце уже всходит. Наша старая бабушка от горя потеряла свои седые волосы, а наши стали жертвой ведьминых ножниц. Убей принца и возвращайся к нам! Поспеши! Видишь красную полоску на небе? Через несколько минут взойдет солнце и ты умрешь!

Они глубоко-глубоко вздохнули и бросились в волны.

Русалочка откинула пурпурный полог шатра и увидела, что голова прелестной невесты покоится на груди у принца. Она склонилась над ним, поцеловала его в прекрасный лоб, бросила взгляд на небо, где уже разгоралась утренняя заря, посмотрела на острый нож и снова устремила взор на принца, который в это время произнес во сне имя своей невесты — лишь она одна была у него в мыслях! — и нож задрожал в руке русалочки. И тогда она забросила его далеко в волны, которые словно окрасились кровью в том месте, куда он упал. Она еще раз полуугасшим взором взглянула на принца, бросилась с корабля в море и почувствовала, как ее тело растекается пеной.

Солнце встало над морем, его нежные, теплые лучи падали на мертвенно-холодную пену, и русалочка не ощущала смерти: она видела яркое солнце, над ней парили сотни чудных прозрачных созданий. Сквозь них она различала белые паруса корабля и розовые облака на небе. Голоса созданий звучали как музыка, небесная музыка, которую ни одно человеческое ухо не могло услышать, и ни один человеческий глаз не мог увидеть их самих. У них не было крыльев, они парили в воздухе — так они были легки. Русалочка обнаружила, что у нее такое же тело, как у них, и что она все выше и выше поднимается из морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, и ее голос прозвенел той же небесной музыкой, что и у других созданий, музыкой, которую нельзя передать земными звуками.

— К дочерям воздуха! — ответили ей эти создания. — У русалок нет души, и они не способны обрести ее, не обретя любовь человека. Их бессмертие зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они способны сами создать ее добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди страдают от зноя и духоты, и навеваем прохладу. Мы насыщаем воздух ароматом цветов и даем людям силы и исцеление. По прошествии же трехсот лет, во время которых мы творим посильное добро, мы обретаем бессмертную душу и вечное блаженство. Ты, бедная русалочка, всем сердцем старалась делать то же самое, что мы, ты страдала и терпела, поднимемся же в мир воздушных созданий, и своими добрыми делами ты через триста лет сможешь сама обрести бессмертную душу.

И русалочка воздела руки к Божьему солнцу и впервые почувствовала на глазах слезы.

На корабле снова все пришло в движение, русалочка заметила, что принц со своей прелестной невестой ищут ее. Они печально смотрели на вспененные волны, словно знали, что она туда бросилась. Невидимая, она поцеловала невесту в лоб, улыбнулась принцу и вместе с остальными детьми воздуха взошла на плывшее в небе розовое облако.

— Стало быть, через триста лет мы попадем в Царство Божие!

— Мы можем попасть туда и раньше! — послышался чей-то шепот. — Мы станем невидимками проникать в людские жилища, где есть дети, и если найдем там доброе дитя, которое радует своих родителей и заслуживает их любовь, Господь сократит нам срок испытаний. Ребенку неведомо, когда мы прилетаем, но если мы ему радостно улыбаемся, срок в триста лет сокращается на год. Если же мы обнаружим злого, непослушного ребенка, то горько плачем, и каждая слезинка добавляет нам к сроку целый день!

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Давным-давно жил на свете король, который так любил новые, красивые наряды, что тратил на них все свои деньги. И смотры войск, и театры, и загородные прогулки занимали его лишь потому, что тогда он мог показаться в новом платье. На каждый час дня у него был отдельный наряд, и как про других королей обычно говорят: «Король в Совете», так про этого говорили: «Король в гардеробной».

В столице королевства развлечений хватало, каждый день приезжало много иностранных гостей, и вот как-то раз туда явились двое обманщиков. Выдав себя за ткачей, они заявили, что могут соткать такую великолепную ткань, равной которой не сыскать: помимо необыкновенных по красоте расцветки и узоров она отличается еще одним чудесным свойством — сшитая из нее одежда остается невидимой для людей, которые не справляются со своим делом или непроходимо глупы.

«Да, какое было бы прекрасное платье, — подумал король. — Надев его, я бы узнал, кто из людей в моем королевстве не справляется со своим делом, я бы отличил умных от дураков! Они просто обязаны немедленно соткать для меня такую ткань!»

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они поскорее приступили к работе.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно трудятся, а на станках не было ни нитки. Они нагло требовали тончайший шелк и самое лучшее золото, прятали все это в свои котомки и продолжали работать на пустых станках с утра до поздней ночи.

«Хорошо бы узнать, как продвигается дело!» — подумал король. Но вспомнил про то, что человек, сидящий не на своем месте или глупый, ничего не увидит, и у него стало неспокойно на сердце. За себя-то ему, разумеется, волноваться нечего, но все же сперва лучше послать кого-нибудь другого. Молва о чудесной ткани облетела весь город, и каждому страшно хотелось поглядеть, насколько непригоден или глуп его ближний.

«Пошлю-ка я к ткачам моего старого честного министра! — решил король. — Уж он-то рассмотрит ткань как следует: он умен и справляется со своей службой как никто другой!»

И вот старый честный министр вошел в зал, где за пустыми станками работали обманщики. «Господи, помилуй! — подумал министр, выпучив глаза. — Я ничего не вижу!» Но вслух ничего не сказал.

Обманщики вежливо попросили его подойти поближе и спросили, показывая на пустые станки, красивы ли, по его мнению, расцветка и узоры. Бедняга министр, как ни таращил глаза, ничего не видел, потому что видеть было нечего. «Господи! — размышлял министр. — Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не предполагал, и этого никто не должен узнать! Или, может, я не гожусь для своей должности? Нет, ни в коем случае нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

— Ну, что же вы ничего не говорите? — спросил один из ткачей.

— О, это прекрасно, превосходно! — проговорил министр, глядя сквозь очки. — Какой узор, какая расцветка! Я доложу королю, что я очень доволен вашей работой!

— Приятно слышать! — сказали обманщики в один голос и начали перечислять, какие краски и редкостные узоры

они использовали. Старый министр внимательно слушал, чтобы потом пересказать все королю, что он и сделал.

Теперь обманщики потребовали еще денег, еще шелка и золота, нужных им для тканья. Но все это шло в их собственные карманы, на станках не появилось ни нитки. А они продолжали, как и прежде, работать за пустыми станками.

Вскоре король послал другого честного сановника поглядеть, как продвигается работа, и узнать, когда ткань будет готова. С ним случилось то же самое, что и с министром: он смотрел и смотрел на пустые станки, но ничего не видел.

— Ну, разве не великолепная ткань! — сказали оба обманщика, описывая причудливые узоры, которых не было.

«Я, точно, не глуп! — думал сановник. — Значит, не справляюсь со своим делом? Весьма странно! Вот только нельзя виду показывать!» И он принялся расхваливать ткань, которой не видел, выражая восхищение замечательным сочетанием красок и изысканным узором.

— Великолепно! — доложил он королю.

Весь город только и говорил что о роскошной ткани.

Теперь король пожелал сам взглянуть на нее, пока ее еще не сняли со станка. В сопровождении целой свиты избранных придворных, в числе которых находились и те двое честных сановников, что побывали здесь раньше, король отправился к двум хитрым обманщикам, без устали ткавшим на пустых станках, без ниток и пряжи.

— Magnifique!* Не правда ли? — воскликнули оба честных сановника. — Посмотрите, Ваше Величество, какой узор, какие краски! — И они указали на пустой станок, где, как они полагали, остальные видели ткань.

«Что же это такое! — подумал король. — Я ничего не вижу! Ужасно! Я что, глуп? Или мне не место на троне? Это было бы хуже всего!»

---

* Великолепно! *(фр.)*

— Очень красиво! — произнес наконец король. — Достойно всяческих похвал!

И он с довольным видом кивнул, разглядывая пустые станки; не признаваться же ему, что он ничего не видит! Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше его самого, тем не менее все повторяли вслед за королем: «Очень красиво!» — и советовали ему сшить из этой роскошной ткани платье для предстоящей торжественной процессии.

— Magnifique! Великолепно! Excellent!* — раздавалось со всех сторон. Все были в восторге.

Король наградил обманщиков рыцарскими крестами, которые носят в петлице, и пожаловал в придворные ткачи.

Всю ночь накануне торжественной процессии обманщики просидели за работой и сожгли больше шестнадцати свечей. Люди могли наблюдать, как они стараются закончить вовремя новый наряд для короля. Они делали вид, будто снимают ткань со станка, кроят ее большими ножницами и шьют иголками без ниток. И наконец объявили:

— Платье готово!

Король, сопровождаемый благородными кавалерами, пришел к ним сам. Обманщики поднимали руки кверху, как будто что-то держа в них, и перечисляли:

— Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! — И так далее. — Все такое легкое, словно паутина, как будто на теле ничего нет, но в этом-то и заключается достоинство ткани.

— Да, — соглашались кавалеры, но они ничего не видели, потому что и увидеть ничего было нельзя.

— А теперь, Ваше Величество, не соблаговолите ли вы раздеться и встать перед этим большим зеркалом, — сказали обманщики, — и мы вас нарядим!

Король разделся, и обманщики сделали вид, что начинают одевать его: протягивали одну за другой вещи из нового наря-

---

* Отлично! *(фр.)*

да, поправляли что-то на талии, что-то пристегивали — это была мантия. А король все время вертелся перед зеркалом.

— Боже, как вам идет! Как чудно сидит! — восклицали кавалеры. — Какой узор, какие краски! Роскошный наряд!

— Балдахин ждет! Его понесут над Вашим Величеством во время процессии! — доложил обер-церемониймейстер.

— Я готов! — сказал король. — Правда, отлично сидит? — И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо же было показать, что он внимательно рассматривает наряд.

Камергеры, которым предстояло нести шлейф королевской мантии, пошарив по полу, притворились, будто поднимают шлейф. Они шли с вытянутыми руками, не смея подать виду, что перед ними ничего нет.

И вот король шествовал по городу под великолепным балдахином, а люди — и те, что стояли на улицах, и те, что выглядывали из окон, — говорили:

— Боже, новый наряд короля бесподобен! Какая мантия! Как сидит платье!

Никто не хотел признаться, что ничего не видит, потому что тогда его сочли бы либо не годным для своего дела, либо глупцом. Ни один из королевских нарядов не вызывал таких восторгов.

— Но он же голый! — раздался вдруг детский голос.

— Господи, послушайте только, что говорит невинный младенец! — сказал его отец.

И все шепотом стали передавать друг другу слова ребенка.

— Он же голый, так говорит ребенок, он голый!

— Он голый! — закричали наконец все вокруг.

И у короля поползли мурашки по спине — ему показалось, что они правы, но потом он решил про себя: «Я должен довести процессию до конца».

И поступь его сделалась еще величественнее, а камергеры продолжали нести шлейф, которого не было.

КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

I. НАЧАЛО

Это случилось в Копенгагене, в одном из домов на улице Эстергаде, недалеко от площади Конгенс Нюторв. Там собралось большое общество, потому что иногда приходится приглашать гостей, вот дело и сделано, а там можно ждать, что в ответ пригласят и тебя. Часть собравшихся уже сидели за карточными столами, а остальные ждали, что придумает хозяйка, которая заявила: «Надо бы и нам чем-нибудь заняться!» А тем временем они просто беседовали о том о сем.

Разговор зашел о Средних веках. Кое-кто считал те времена намного лучше нынешних, особенно рьяно отстаивал это мнение советник юстиции Кнап, и его горячо поддержала хозяйка дома. Оба принялись опровергать статью Эрстеда в альманахе, посвященном старым и новым временам, в которой он оценивал современность намного выше. Советник юстиции Кнап утверждал, что лучшей и счастливейшей эпохой была эпоха короля Ханса.

Под шумок всех этих споров, прерванных лишь на минуту появлением газеты, в которой, однако, не было ничего, заслуживающего внимания, мы перейдем в прихожую, где висело верхнее платье и стояли трости, зонтики и калоши. Здесь сидели две женщины — молодая и пожилая. На первый взгляд можно было подумать, что каждая ожидала свою

госпожу, к примеру, старую барыню или одинокую вдову, но, вглядевшись повнимательнее, всякий вскоре понимал, что это не простые служанки: слишком нежные были у них руки, осанка и жесты — слишком величественные, да и платье отличалось особенным, смелым покроем. Это были две феи, младшая — если и не сама фея Счастья, то по крайней мере горничная одной из ее камер-фрейлин, доставлявшая людям небольшие счастливые дары; пожилая, преисполненная глубокой серьезности, была фея Печали, она всегда исполняет свои обязанности собственноручно, чтобы убедиться, что все сделано как должно.

Они беседовали о том, как прошел день. Та, что служила горничной у камер-фрейлины феи Счастья, рассказала, что ей удалось сегодня выполнить лишь ряд незначительных дел: она спасла одну новую шляпку от ливня, передала поклон одному почтенному человеку от полного, но знатного ничтожества и тому подобное. Зато в запасе у нее осталось кое-что необыкновенное.

— Должна признаться, что сегодня у меня день рождения, и в честь этого дня мне доверено принести в дар человечеству пару калош. Эти калоши обладают свойством мгновенно переносить каждого, кто их наденет, в то место или в то время, какое он пожелает. Любые пожелания насчет места и времени будут моментально исполнены, и человек наконец-то обретет счастье!

— Как бы не так! — ответила фея Печали. — Калоши принесут ему одни беды, и он благословит тот миг, когда от них избавится!

— Что ты такое говоришь! — сказала ее собеседница. — Сейчас я поставлю их у дверей, кто-нибудь перепутает их со своими и станет счастливым!

Такой вот состоялся разговор.

II. ЧТО ПРОИЗОШЛО С СОВЕТНИКОМ ЮСТИЦИИ

Было уже поздно. Советник юстиции Кнап, углубившийся в размышления об эпохе короля Ханса, засобирался домой. И так получилось, что вместо своих калош он надел калоши Счастья и вышел в них на Эстергаде. Но волшебная сила калош перенесла его во времена короля Ханса, поэтому его ноги тут же увязли в непролазной грязи: улицы в те годы еще не мостили.

— Ну и грязища! Ужас! — воскликнул советник юстиции. — Тротуар исчез, и ни один фонарь не горит!

Луна взошла еще не так высоко, стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На ближайшем углу, однако, перед образом святой Девы Марии был зажжен фонарь, но света он почти не давал — советник заметил его, лишь когда оказался прямо под ним, и его взгляд упал на изображение Богоматери и младенца.

«Наверное, тут художественная галерея, — подумал он, — и они забыли убрать на ночь афишу».

Мимо прошли несколько человек, одетых в средневековые костюмы.

«Что это они так вырядились, вероятно, с бала-маскарада возвращаются!»

Тут послышались барабанный бой и звуки труб, ярко горели факелы. Советник юстиции остановился, глядя на удивительную процессию. Впереди шли барабанщики, весьма почтительно обращавшиеся со своими инструментами, за ними следовали воины, вооруженные луками и самострелами. Весь этот эскорт сопровождал какое-то знатное духовное лицо. Пораженный, советник юстиции спросил, что это за шествие и что это за важная особа.

— Епископ Зеландский! — ответили ему.

— Господи, помилуй! Какой еще епископ? — вздохнул советник, качая головой. Нет, это никак не мог быть епископ.

Размышляя об этом и не глядя ни направо, ни налево, советник юстиции миновал Эстергаде и вышел к площади Хойброплас. Моста, который вел к дворцовой площади, не было и в помине, он разглядел лишь канал и наконец увидел двух парней, сидевших в лодке.

— Господину надо на остров? — спросили они.

— На остров? — удивился советник, не ведавший, в каком веке он находится. — Мне надо в гавань, в Кристиансхавн, на Малую Торвегаде!

Парни уставились на него.

— Скажите только, куда делся мост? — сказал советник. — Это просто позор, фонари не горят, а грязь такая, будто по болоту идешь.

Чем дольше он говорил с парнями, тем меньше их понимал.

— Я не понимаю вашего борнхольмского диалекта, — рассердился он под конец и повернулся к ним спиной.

Моста он так и не нашел, балюстрады тоже не было!

— Ну и дела, настоящий скандал! — произнес он. Никогда еще современность не казалась ему такой ужасной, как в тот вечер.

«Похоже, лучше взять извозчика!» — подумал он. Но где извозчики? Ни одного не видно. «Придется вернуться на Конгенс Нюторв, они обычно там стоят. Иначе я никогда не попаду в Кристиансхавн».

Он направился к Эстергаде и прошел улицу почти до конца, когда над его головой всплыла луна.

— Господи, Боже мой! Что это они здесь нагородили? — воскликнул он, увидев Восточные городские ворота, Эстерпорт, которыми в те времена заканчивалась Эстергаде.

Наконец он обнаружил калитку и через нее вышел на теперешнюю Конгенс Нюторв, а в то время на ее месте находился большой луг. Там и сям торчали кусты, а посередине

протекал широкий канал или ручей. На противоположном берегу виднелись жалкие лачуги шкиперов из Халланда, почему и место называлось Халландским мысом.

— Или это, как говорится, фата-моргана, или я пьян! — застонал советник. — Что же это такое? Что же это такое?

Он повернул обратно, твердо убежденный, что заболел. Выйдя на улицу, он повнимательнее посмотрел на дома. Большинство из них представляли собой фахверки и многие были крыты соломой.

— Нет, я положительно нездоров! — вздохнул он. — А ведь я выпил всего один стакан пунша, но для меня и этого много. И вообще что это за нелепость — угощать людей пуншем и отварным лососем? Непременно скажу об этом жене торгового агента! Может, стоит вернуться и рассказать, что со мной приключилось? Нет, неудобно. Да и, очевидно, они уже улеглись!

Он поискал глазами знакомый дом, но его не было.

«Это просто ужасно! Я не узнаю Эстергаде! Ни одного магазина! Только жалкие лачуги, словно я очутился в Роскилле или Рингстеде! Ах, я болен! Нечего тут стесняться! Но где же все-таки дом агента? Или он уже не тот, что прежде? Но вот там еще не спят! Ах, как я болен!»

Он толкнул полуоткрытую дверь, откуда сочился свет. Это была харчевня той эпохи, что-то вроде пивной. В помещении, напоминавшем переднюю в голштинских домах, сидела приличная компания — шкиперы, копенгагенские бюргеры и парочка ученых мужей. Потягивая пиво, они вели серьезную беседу и не обратили внимания на вошедшего.

— Прошу прощения! — сказал советник юстиции подошедшей к нему хозяйке. — Мне очень плохо, не найдете ли вы извозчика, чтобы довезти меня до Кристиансхавна?

Женщина посмотрела на него и покачала головой, потом заговорила по-немецки. Советник, предположив, что она не знает датского, повторил свою просьбу по-немецки. Это об-

стоятельство да еще его платье убедили хозяйку в том, что перед ней иностранец. Она сразу поняла, что он нездоров, и подала ему кружку воды, правда, солоноватой, из источника.

Советник, подперев рукой голову, глубоко вздохнул и погрузился в размышления обо всех окружавших его странностях.

— Это сегодняшний «День»? — спросил он, просто чтобы сказать что-нибудь, когда увидел, что хозяйка откладывает в сторону большой лист бумаги.

Она не поняла, но протянула ему лист. Оказалось, это была копия гравюры, изображавшей небесное явление, виденное в Кельне.

— Какая старина! — воскликнул советник, оживившийся при виде такой древности. — Откуда вы достали этот редкостный лист? Впрочем, это все сказки. Подобные явления объясняются северным сиянием, очевидно, за ними стоит воздействие электричества!

Сидевшие поближе к нему посетители, услышав речи советника, удивленно посмотрели на него, а один из них встал, снял шляпу и серьезно проговорил:

— Вы, очевидно, большой ученый, monsieur!

— О, нет! — ответил советник. — Так, кое о чем поговорить могу, как многие другие!

— Modestia* — прекрасная добродетель! — сказал собеседник. — Что же касается ваших слов, то mihi secus videtur**, хотя я охотно воздержусь высказывать свое Judicium***!

— Осмелюсь ли я спросить, с кем я имею удовольствие разговаривать? — спросил советник.

— Я бакалавр богословия! — ответил собеседник.

Этот ответ вполне удовлетворил советника юстиции: титул соответствовал платью незнакомца. «Наверное, старый сель-

* Скромность (*лат.*).

** Я другого мнения (*лат.*).

*** Суждение (*лат.*).

ский учитель, — подумал советник, — один из тех чудаков, что еще встречаются в Ютландии».

— Здесь, конечно, не locus docendi *, — начал незнакомец, — но я прошу вас продолжить ваши рассуждения! У вас, должно быть, большие познания о древней литературе?

— Ну, как вам сказать! — отозвался советник. — Я с удовольствием читаю старые, полезные для ума сочинения, но и от современных не отказываюсь, кроме разве что «Обыкновенных историй», их и в жизни предостаточно!

— «Обыкновенных историй»? — удивился бакалавр.

— Я имею в виду современные романы, — пояснил советник.

— О, — улыбнулся бакалавр, — они очень остроумны, и их читают при дворе. Королю особенно по душе романы о короле Артуре и рыцарях Круглого стола Ифвене и Гаудиане, он даже изволил шутить по этому поводу со своими приближенными.

— Этого я еще не читал, — сказал советник, — он, вероятно, издан Хейбергом совсем недавно!

— Не Хейбергом, — возразил бакалавр, — а Годтфридом Геменским!

— Так вот кто автор! — сказал советник. — Древнее имя! Это ведь датский первопечатник?

— Да, наш первопечатник, — подтвердил бакалавр.

Пока все шло гладко. Один из добропорядочных бюргеров заговорил о чуме, свирепствовавшей пару лет назад, имея в виду 1484 год, советник же решил, что речь идет о холере, и беседа благополучно продолжилась. Пиратская война 1490 года случилась совсем недавно, и ее нельзя было обойти. Тогда английские пираты, по их словам, захватили датские корабли прямо на рейде. Советник, переживший события 1801 года, охотно вторил нападкам на англичан. Но дальнейший разговор

---

* Место ученых бесед *(лат.)*.

как-то перестал клеиться, и воцарилось прямо похоронное уныние: добрейший бакалавр проявлял чудовищное невежество, и самые простые высказывания советника казались ему слишком дерзкими и фантастичными. Они смотрели друг на друга, а когда дело совсем заходило в тупик, бакалавр начинал говорить по-латыни, думая, что так его лучше поймут, но это не помогало.

— Как вы себя чувствуете? — спросила хозяйка, дергая советника за рукав. Тут он опомнился — ведь в ходе беседы он забыл все, что с ним случилось.

— Господи, где я?! — воскликнул он, и у него закружилась голова при одной мысли об этом.

— Будем пить кларет, мед и бременское пиво! — закричал один из посетителей. — И вы к нам присоединяйтесь!

Вошли две девушки, на одной из них был двухцветный чепчик. Они наливали гостям, после чего низко приседали. У советника по спине побежала дрожь.

— Что же это такое! Что же это такое! — говорил он, но был вынужден пить вместе с остальными. Они от него не отставали, он был в отчаянии, и когда один из собутыльников сказал, что он, советник, совсем пьян, он ничуть не усомнился в верности этих слов, только попросил найти ему извозчика, и они решили, что он из московитов!

Никогда не приходилось советнику юстиции находиться в такой грубой, вульгарной компании. «Можно подумать, что страна вернулась к языческим временам, это самый ужасный момент в моей жизни!» В ту же секунду ему пришла мысль забраться под стол, доползти до двери и выбраться наружу; он уже был почти у выхода, когда остальные заметили его намерение и схватили его за ноги. И тут, на его счастье, калоши свалились с ног, а с ними исчезло и колдовство!

Советник юстиции увидел перед собой ярко горящий фонарь, а за ним большой дом. Он узнал его, узнал и соседние дома, это была Эстергаде, всем нам известная улица. Сам он

лежал на мостовой, упираясь ногами в чьи-то ворота, а рядом сидел и спал ночной сторож.

— Боже мой, я заснул прямо на улице и видел сон! — произнес он. — Да, это Эстергаде! Как же здесь светло и славно! Но просто ужасно, как на меня подействовал один стакан пунша!

Спустя пару минут он уже ехал на извозчике в Кристиансхавн. Он вспоминал пережитые им страхи и испытания, и от всего сердца восхвалял счастливую действительность наших дней — несмотря на все свои недостатки, она все-таки намного лучше той, в которой он недавно побывал. Весьма разумное суждение со стороны советника юстиции!

III. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НОЧНОГО СТОРОЖА

— Да тут калоши лежат! — воскликнул ночной сторож. — Должно быть, того лейтенанта, что живет наверху. У самых ворот бросил!

Честный сторож охотно бы позвонил в дверь и отдал калоши, тем более что там еще горел свет, но ему не хотелось беспокоить других постояльцев, поэтому он отказался от этой мысли.

— Тепло небось в таких штуковинах, — сказал он. — Кожа-то какая мягкая!

Калоши пришлись ему как раз впору.

— Чудно́ все-таки бывает в жизни. Лейтенант вполне бы мог уже спать в своей теплой постели, да вот поди же ты! Ходит взад-вперед по комнате. Счастливый человек! Нет у него ни жены, ни ребятишек! Каждый вечер в гостях! Будь я на его месте, я был бы настоящим счастливцем!

Как только он высказал это желание, калоши сделали свое дело, и сторож превратился в лейтенанта — и душой, и телом. Он стоял посреди комнаты, держа в руках листок розовой бумаги, на котором были написаны стихи, сочиненные

самим господином лейтенантом. Ибо кого хоть раз в жизни не охватывало поэтическое вдохновение? И если записать в этот момент свои мысли, получатся вирши. Вот что было записано на листке:

Будь я богат, я б офицером стал, —
Я мальчуганом часто повторял. —
Надел бы саблю, каску я и шпоры
И привлекал бы все сердца и взоры.
Теперь ношу желанные уборы,
При них по-прежнему карман пустой,
Но ты со мною, Боже мой!

Веселым юношей сидел я раз
С малюткой-девочкой в вечерний час.
Я сказки говорил, она внимала,
Потом меня, обняв, поцеловала.
Дитя богатства вовсе не желало,
Я ж был богат фантазией одной!
Ты знаешь это, Боже мой!

Будь я богат, — вздыхаю я опять,
Дитя девицею успело стать.
И как умна, как хороша собою,
Люблю, люблю ее я всей душою!
Но беден я и страсти не открою,
Молчу, вступить не смея в спор с судьбой;
Ты хочешь так, о Боже мой!

Будь я богат — счастливым бы я стал
И жалоб бы в стихах не изливал.
О, если бы сердечком угадала
Она любовь мою иль прочитала,
Что здесь пишу!.. Нет, лучше, чтоб не знала,

Я не хочу смутить ее покой.
Спаси ж ее, о, Боже мой!*

Да, такие вирши пишут многие влюбленные, но благоразумные люди их не печатают. Лейтенант, любовь и бедность — вот треугольник, или, вернее, половинка разбитой игральной кости Счастья. Так думал и сам лейтенант, поэтому, прислонясь головой к оконной раме, он глубоко вздохнул: «Бедняк сторож там, на улице, намного счастливее меня! Ему не ведомо то, что я называю тоской! У него есть дом, жена и дети, они делят с ним и горе, и радость. Я был бы счастливее, окажись я на его месте!»

В тот же миг сторож опять превратился в сторожа, потому что лейтенантом он стал благодаря калошам Счастья, но, как мы уже рассказали, почувствовал себя еще несчастнее и предпочел быть тем, кем был на самом деле. Итак, ночной сторож снова стал сторожем.

— Какой гадкий сон мне приснился! — сказал он. — Но все же забавный. Мне привиделось, будто я и есть тот самый лейтенант, который живет наверху, но никакой радости от этого я не почувствовал. Я тосковал по женушке и ребятишкам, которые готовы зацеловать меня до смерти!

Сторож опять заклевал носом, но сон все не выходил у него из головы, ведь калоши по-прежнему были у него на ногах. Тут с неба покатилась звезда.

— Полетела! — сказал он. — Да это не важно! Хотелось бы мне, однако, поближе взглянуть на эти штучки, особенно на Луну, она уж из рук не выскочит! По словам студента, на которого стирает моя жена, после смерти мы будем перелетать с одного места на другое. Это враки, но было бы потешно. Вот если бы мне прыгнуть туда сейчас, а тело пусть остается здесь, на ступеньках.

---

* Перевод А. и П.Ганзенов

Видите ли, есть вещи, о которых следует высказываться с большой осторожностью, но еще большую осторожность надо проявлять, если у вас на ногах калоши Счастья. Послушайте-ка, что случилось со сторожем.

Что касается нас, людей, то почти все мы знаем, какую скорость позволяет развивать сила пара, мы ведь ездили по железной дороге или плавали на морских судах. Но эта скорость все равно, что скорость ленивца или улитки по сравнению со скоростью света. Он бежит в девятнадцать миллионов раз быстрее, чем самый лучший бегун, а электричество — еще быстрее. Смерть — это электрический удар током; на крыльях электричества улетает наша освобожденная душа. Солнечный свет за восемь минут с секундами пробегает более двадцати миллионов миль, а нашей душе с помощью электричества понадобится гораздо меньше времени, чтобы преодолеть то же самое расстояние.

Расстояния между небесными телами значат для нашей души не больше, чем для нас расстояния между домами наших друзей, живущих в одном городе, даже если эти дома расположены по соседству. Но такой электрический удар в сердце стоит нам жизни, если у нас нет, как у ночного сторожа, на ногах калош Счастья.

За несколько секунд сторож пролетел пятьдесят две тысячи миль, отделяющих Землю от Луны, а она как известно, состоит из вещества, которое намного легче нашей земной почвы и совсем мягкое, как мы бы сказали, словно свежевыпавший снег. Сторож очутился в одном из многочисленных лунных кратеров, известных нам по большой карте Луны, сделанной доктором Мэдлером, — тебе ведь они тоже знакомы? Кратер круто уходил вниз, в конусообразную котловину, на глубину целой датской мили. Там раскинулся город, по виду напоминавший положенный в воду белок, такой же нежный и воздушный, с прозрачными башнями, куполами и парусообразными балконами, колыхавшимися в разрежен-

ном воздухе. Над головой сторожа плыла большим огненно-красным шаром наша Земля.

Луна была заселена созданиями, которых мы должны были бы назвать людьми, но выглядели они совсем по-другому. И разговаривали они на своем собственном языке — никто не может требовать, чтобы душа сторожа его понимала, тем не менее их язык был ей доступен.

Душа сторожа прекрасно понимала язык жителей Луны. Они обсуждали нашу Землю, сомневаясь в том, что она может быть обитаема — слишком уж плотная у нее атмосфера, в такой не выжить ни одному разумному лунному созданию. Они считали Луну единственной обитаемой планетой, колыбелью древних планетных жителей.

Но вернемся на Эстергаде, посмотрим, что происходит с телом ночного сторожа.

Безжизненное тело по-прежнему сидело на ступеньках, «утренняя звезда» выпала из рук, а взгляд был устремлен на Луну, в поисках бродившей по ней честной души.

— Который час? — спросил ночного сторожа какой-то прохожий. Не получив ответа, он легонько щелкнул его по носу. Тело потеряло равновесие и растянулось во всю длину, сторож был мертв. Тот, кто щелкнул сторожа, перепугался не на шутку, но мертвец оставался мертвецом. Заявили в полицию, и утром тело отвезли в больницу.

Вот была бы потеха, если бы душа вернулась и не нашла тела там, где его оставила, на Эстергаде! Очевидно, она бы сперва побежала в полицию, потом в адресный стол, откуда бы дала объявление в раздел потерянных вещей, и, наконец, в больницу. Но мы можем утешить себя тем, что душа поступает куда умнее, если действует самостоятельно, — глупой ее делает тело.

Как мы уже говорили, тело ночного сторожа привезли в больницу, внесли в обмывочную и, естественно, первым долгом сняли калоши, и душе пришлось вернуться. Она сра-

зу же нашла дорогу в тело, и человек немедленно ожил. Он уверял, что это была ужаснейшая ночь в его жизни, даже за две марки он не согласился бы пережить такое еще раз; но теперь все осталось позади.

В тот же день сторожа выписали, а калоши остались в больнице.

IV. ИСТОРИЯ С ГОЛОВОЙ. ДЕКЛАМАЦИЯ. В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Каждому копенгагенцу известно, как выглядит вход в больницу Фредерика, но поскольку эту историю, возможно, будут читать не только копенгагенцы, нам нужно дать короткое описание.

Больница отделена от улицы довольно высокой решеткой из толстых железных прутьев, расположенных на приличном расстоянии друг от друга, так что, как говорят, особо тощие молодые врачи-практиканты могут запросто протиснуться сквозь них, если захотят отлучиться на сторону. Самое трудное — протиснуть голову, поэтому и тут, как вообще часто случается в жизни, больше всех везло людям с маленькой головой. Для вступления, пожалуй, довольно.

Один из таких практикантов, у которого голова была большая лишь с точки зрения физиологии, дежурил в ту ночь в больнице. На улице лил дождь, но, несмотря на эти два препятствия, ему все же позарез надо было уйти с дежурства, всего на четверть часа, так что не стоило, как он посчитал, беспокоить привратника — ведь можно проскользнуть между прутьями. У выхода стояли калоши, забытые ночным сторожем; стажер ни сном ни духом не ведал, что это калоши Счастья, но они были очень кстати в такую непогоду, и он их надел. Ему оставалось только пролезть между прутьями, чего он еще никогда не делал. И вот он стоит перед решеткой.

— Господи, помоги просунуть голову! — сказал он, и тут же его голова, хоть и была большой по размерам, легко проскользнула между прутьями, калоши постарались. Теперь надо протиснуться самому, но вот с этим вышла заминка. — Ох, я слишком толстый! — проговорил он. — Думал, что труднее всего будет с головой, а оказалось, что не пролезает туловище.

Он попытался немедленно выдернуть голову обратно, но не тут-то было. Он мог сколько угодно вертеть шеей, но и все.

Сначала практикант рассердился, потом совсем упал духом. Калоши Счастья поставили его в нелепейшее положение, и, к сожалению, ему и в голову не приходило пожелать освободиться, нет, он предпринимал попытку за попыткой, но ничего не помогало. Дождь лил как из ведра, на улице не было ни души. До колокольчика у ворот практикант дотянуться не мог — как уж тут выбраться! У него закралось подозрение, что ему придется проторчать вот так до утра, когда можно будет послать за кузнецом, который бы перепилил прутья, но на это потребуется время, успеют проснуться юнги из морского училища, сбегутся все обитатели Новой слободки и увидят его в этом позорном положении. Народу будет еще больше, чем в прошлом году, когда выставляли гигантскую агаву.

— Ох, кровь стучит в висках, я сойду с ума! Я уже схожу с ума! О, если бы мне удалось освободиться, чтобы все осталось позади!

Сказать бы ему это пораньше. Как только он произнес вслух свое желание, голова его освободилась, и практикант опрометью кинулся назад, ошалев от страха, который нагнали на него калоши Счастья.

Не думайте, однако, что этим дело кончилось, нет — еще не то будет.

Прошла ночь, прошел еще один день, а за калошами так никто и не явился.

Вечером давали представление в маленьком театре в переулке Канникестрэдет. Зал был набит до отказа. Среди прочих номеров продекламировали одно новое стихотворение. Послушаем его, оно называлось

ТЕТУШКИНЫ ОЧКИ

У тетушки моей ума — палата!
Таких сжигали на кострах когда-то.
Известно ей на целый год вперед —
И даже на два! — что произойдет.
И даже на три, до «сорокового»,
Ей все известно, но... не говорит ни слова.
Что будет там? Что станется со мной,
С искусством, с государством, со страной?
Я знать хочу. Но тетушка молчит.
Я пристаю. Она в ответ ворчит,
Потом бранит меня. Но я боюсь не очень
Ее ворчания, поскольку, между прочим,
У тетушки в любимчиках хожу.

«Ну, ладно, — говорит, — тебе я покажу
Один разок. Мои очки возьми
И в город выйди. Там между людьми
Немного потолкайся, поброди,
Толпу помноголюднее найди.
Когда отыщешь, сам в сторонку стань,
Чтоб видеть всех, да и в очечки глянь.
Поверь, в очки увидишь не людей,
А россыпь карт гадальных всех мастей —
По ним узнаешь все, что будет впредь!»

Сказал «спасибо» я и побежал смотреть.
Но где же люди? Где народ толпится?

На набережной? Нет. Там можно простудиться!
На Эстергаде грязно — не пролезть.
В театре, может быть? Да, в этом что-то есть,
А заодно и развлекусь немного.
— А вот и я! — представлюсь я с порога. —
Прошу прощения, позвольте мне надеть
Очечки теткины, чтоб лучше разглядеть,
Взаправду ли вы — карты из колоды.
Хотите, я судьбу вам предскажу на годы?
Молчите вы? А ведь молчанье — знак
Согласия. Благодарю. Итак,
Пасьянс разложен, я сейчас начну
Гадать, что ждет меня и всю страну,
И вас, конечно... Начинаю... Ну...
(Надевает очки.)
Ну, так оно и есть! Ах, если б вы себя
Такими видели, какими вижу я,
Вот смеху было бы! Здесь королей парад
И дам червей за рядом вижу ряд.
А эти, черные, должно быть, крести, пики!
Теперь с гаданием не будет закавыки!
Ах, дама пик! Возьму я на замету,
Как льнет она к бубновому валету, —
Вот зрелище! Еще я вижу дом,
В который деньги потекут ручьем,
Прибудет гость заморский... Но сейчас
Совсем не гость интересует вас.
Чины? Посмотрим... Да, чины идут.
Но лучше из газет узнать, чем тут, —
До срока ни к чему вскрывать конверт,
Оставим лакомый кусочек на десерт.
А мода? А театр? О нем я помолчу —
С Дирекцией ругаться не хочу.

А сам я что? Ведь каждый о себе
Желает знать и о своей судьбе.
Все вижу я! Но не скажу, пока
Не сбудется оно наверняка.
А кто из нас счастливейший? О, да,
Наисчастливейший, скажу вам, господа,
Средь нас... А впрочем, он смутится... Нет,
И остальных мне огорчать не след.
Кто всех переживет? На сколько лет?
Узнать об этом — худшая из бед.
О чем же мне сказать? О том?.. О, нет!.. Об этом?
Ни в коем случае! Я затруднюсь ответом —
Любой ответ кому-нибудь в обиду...
Сказать ли вам, о чем, не подавая виду,
Вы думаете? Да, сейчас скажу и выйду!
Вы не хотите? Чем же вам помочь?
Все вам известно, как и мне, точь-в-точь,
И воду в ступе хватит мне толочь —
Прощайте, господа! Я удаляюсь в ночь.
А вы подумайте, коль думать вы не прочь*.

Стихотворение было прочитано превосходно, чтец имел большой успех. Среди публики находился и практикант из больницы, он, похоже, забыл про свои приключения прошлой ночью. Калоши были на нем, поскольку их никто не забрал, а на улице слякотно, и они могли сослужить ему хорошую службу.

Стихотворение практиканту понравилось.

Его смысл пришелся ему по душе: он бы охотно заполучил такие очки; если пользоваться ими должным образом, получаешь возможность заглядывать в людские сердца, а это ку-

* Перевод В.Тихомирова.

да интереснее, чем видеть, что произойдет в следующем году, — это мы и так узнаем, а вот о сердечных тайнах — никогда. «Возьмем, к примеру, господ, сидящих в первом ряду, вот бы заглянуть к ним внутрь, там, наверное, есть вход, ну, как в магазин. Вот бы я насмотрелся! Вон у этой дамы в сердце, думаю, я бы обнаружил большой модный салон! А у той лавка, наверное, пуста, и в ней не мешало бы убраться. Но, конечно же, найдутся и солидные магазины! Ах! — вздохнул он. — Я знаю один такой, в нем все так солидно, но у них уже есть приказчики, это его единственный недостаток! А ведь из многих бы непременно закричали: входите, пожалуйста! Да, хотел бы я туда войти, проникнуть мыслью в эти сердца!»

Калоши только того и ждали: стажер съежился и начал в высшей степени необычное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, в которое он попал, принадлежало даме, но поначалу ему показалось, что он в институте ортопедии — так называется заведение, где доктора удаляют всякие наросты и узлы и возвращают людям стройную осанку. Он находился в комнате, где на стенах были развешаны гипсовые слепки искривленных конечностей. Разница состояла в том, что в институте их делают, когда пациент туда приходит, а в этом сердце их сделали уже после ухода добрых людей. Здесь хранились слепки физических и духовных недостатков ее подруг.

Практикант скоренько перебрался в другое женское сердце и подумал, что очутился в просторном церковном храме. Над главным алтарем парил белый голубь невинности. Практикант охотно бы преклонил колена, но пора было перебираться в следующее сердце. В его ушах еще звучали звуки органа, и ему представилось, что и сам он изменился, стал лучше и теперь достоин войти в новое святилище. Оказалось, что он находится в бедной мансарде, где лежала больная мать. Но в открытое окно лились горячие лучи Божьего

солнца, из деревянного ящика на крыше кивали головками прелестные розы, две небесно-голубые птички пели о детской радости, а больная мать молилась за свою дочь.

На четвереньках он переполз в битком набитую мясную лавку, где повсюду натыкался на одно мясо; это было сердце богатого, уважаемого человека, чье имя даже есть в путеводителе.

Оттуда практикант перебрался в сердце его супруги, представлявшее собой старую, полуразвалившуюся голубятню; портрет мужа служил флюгером, который был привязан к двери, и дверь эта то отворялась, то закрывалась, как только муж шевелился.

Потом практикант оказался в зеркальном кабинете, похожем на тот, что имеется в замке Росенборг, и зеркала в невероятной степени увеличивали пространство. В центре кабинета в позе далай-ламы сидело ничтожное «я» этой особы и благоговейно созерцало свое собственное величие.

Затем ему показалось, что он попал в тесный игольник, наполненный множеством острых иголок. Практикант подумал, что это, наверное, сердце старой девы, и ошибся: это был молодой военный при орденах, слывший за «человека с умом и сердцем».

Совсем ошалевший практикант выбрался из последнего в ряду сердца и долго не мог прийти в себя: он решил, что у него слишком разыгралась фантазия.

— Господи, — вздохнул он, — я, положительно, начинаю сходить с ума! А какая здесь чудовищная жара, кровь прилила к голове! — И тут он вспомнил свое вчерашнее приключение, когда его голова оказалась зажатой между прутьями больничной решетки. — Вот в чем причина! Нужно вовремя принять меры. В таких случаях хорошо помогает русская баня! Хотел бы я уже сейчас лежать на верхней полке!

И он очутился на верхней полке парной, но полностью одетый, в сапогах и калошах. На лицо ему капала с потолка горячая вода.

— Ух, — крикнул он и побежал принимать душ. Банщик тоже громко вскрикнул, увидев в бане одетого человека.

Практикант не растерялся и шепнул ему:

— Это я на пари!

Но первое, что он сделал, вернувшись домой, так это прилепил себе две шпанские мушки, одну на шею, а другую на спину, чтобы выгнать помешательство.

Наутро спина у него была вся в крови — вот и все, что принесли ему калоши Счастья.

V. ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА

Ночной сторож, которого мы, конечно, еще не забыли, тем временем вспомнил о найденных им и оставленных в больнице калошах. Он забрал их, но ни лейтенант, ни кто другой из обитателей улицы не признал их за свои, поэтому калоши отнесли в полицию.

— Точь-в-точь мои! — сказал один из господ переписчиков, рассматривая принесенные калоши, и поставил их рядом со своими. — Даже сам сапожник не отличил бы их друг от друга.

— Господин переписчик! — обратился к нему вошедший с бумагами служащий.

Переписчик обернулся, поговорил с вошедшим, а закончив разговор, посмотрел на калоши и пришел в замешательство — какие же из двух пар его собственные? Те, что слева, или те, что справа?

«Наверное, вот эти, мокрые», — подумал он и ошибся, — то были калоши Счастья. Но разве полицейский не может ошибаться? Переписчик надел их, сунул одни бумаги в карман, другие взял под мышку: дома ему предстояло их прочитать и переписать. Было воскресное утро, погода стояла прекрасная, и он подумал, что неплохо было бы прогуляться по Фредериксбергу. Сказано — сделано.

Пожелаем этому спокойному, трудолюбивому молодому человеку приятной прогулки, после долгого сидения за столом она ему особенно пойдет на пользу.

Сначала он шел, ни о чем не думая, и у калош не было повода проявить свою волшебную силу.

В аллее переписчик встретил знакомого молодого поэта, который поведал ему, что завтра уезжает путешествовать.

— Опять уезжаете! — воскликнул переписчик. — Счастливый вы человек, свободный, как птица! Можете лететь, куда пожелаете, не то что мы, у нас цепи на ногах!

— Зато вам не надо заботиться о хлебе насущном! — ответил поэт. — Не надо думать о завтрашнем дне, а в старости вы будете получать пенсию!

— И все-таки вам живется лучше! — возразил переписчик. — Сидите себе, пишете стихи — это же одно удовольствие! Все вокруг расточают вам похвалы, и вы сами себе господин! А вот попробовали бы вы посидеть в суде да повозиться со всеми этими рутинными делами!

Поэт покачал головой, переписчик тоже, и они разошлись, оставшись каждый при своем мнении.

«Особый народ эти поэты! — размышлял переписчик. — Хотелось бы мне оказаться на их месте, самому стать поэтом. Уж я бы, точно, не писал таких унылых стихов, как пишут иные! Сегодня поистине подходящий весенний день для поэта! Воздух необычайно прозрачен, облака красивы, как никогда, и зелень благоухает! Да, уже много лет я не испытывал таких ощущений, как сейчас!»

Вы уже заметили, что он стал поэтом. Это не бросалось в глаза, потому что нелепо полагать, будто поэты чем-то отличаются от других людей, среди которых встречаются порой гораздо более поэтические натуры, чем среди многих знаменитостей. Разница же заключается в том, что поэт обладает лучшей духовной памятью, позволяющей ему хранить

в душе мысли и чувства до тех пор, пока они точно и ясно не выразятся в словах, — остальным это не под силу. Но сделаться из обыкновенного человека человеком талантливым всегда означает превращение, что и произошло теперь с переписчиком.

«Какой аромат! — думал он. — Он напоминает мне о фиалках тетушки Лоны! Я был тогда совсем ребенком! Господи, сколько же лет я не вспоминал о ней, этой доброй старушке! Она жила там, за биржей! И у нее всегда, даже в самую лютую зиму, стояли в воде веточки или зеленые ростки. Фиалки благоухали, а я прикладывал нагретые медные монетки к замерзшему оконному стеклу, чтобы сквозь оттаявшие кружки смотреть наружу. Любопытное было зрелище. На канале стояли вмерзшие в лед корабли, покинутые своими командами — вместо них там царили каркавшие вороны. Но когда наступала весна, там закипала работа. С песнями и криками «ура» пилили вокруг кораблей лед, их смолили, конопатили, после чего они отплывали в чужие страны. А я оставался здесь и, верно, до конца жизни буду сидеть в полицейском участке и смотреть, как другие выправляют себе заграничные паспорта, такова уж моя участь. Да! — Он глубоко вздохнул, но вдруг оборвал себя: — Господи, да что же это со мной! Никогда прежде меня не посещали подобные мысли и ощущения! Должно быть, все дело в весеннем воздухе! И боязно, и приятно одновременно! — Он вынул из кармана бумаги. — Они заставят меня переключиться на другие мысли. — Он бросил взгляд на первую страницу. — "Фру Сигбрита — оригинальная трагедия в 5 актах", — прочитал он. — Что такое! А почерк ведь мой. Я написал эту трагедию? "Интрига на валу, или День великого праздника. Водевиль". Но откуда все это? Наверное, кто-то сунул мне в карман. Тут еще и письмо». Да, письмо из дирекции театра, составленное не в самых вежливых выражениях, — обе вещи были отвергнуты.

— Гм! Гм! — произнес переписчик и сел на скамейку. Мысли его оживились, сердце размякло. Непроизвольно он сорвал росший поблизости цветок, это была простая ромашка. И она за минуту поведала ему то, на что ботанику понабилось бы много лекций, рассказала миф о своем рождении, о магической силе солнечного света, благодаря которому распускались и благоухали ее нежные лепестки. И переписчик подумал о жизненной борьбе, тоже пробуждающей разные чувства в нашей душе. Воздух и свет — избранники цветка, но свет стоял на первом месте, цветок тянулся к свету, а когда тот угасал, сворачивал свои лепестки и засыпал в объятиях воздуха.

— Это свету я обязан своей красотой! — сказал цветок.

— Зато воздух позволяет тебе дышать, — прошептал поэт.

Неподалеку от него какой-то мальчуган бил палкой по грязной луже.

Брызги воды разлетались по зеленой траве, что навело переписчика на мысль о миллионах невидимых существ, которые, если вспомнить об их размерах, вместе с каплями взлетали в заоблачную, по нашим меркам, высь. Размышляя об этом и о произошедшем с ним превращении, переписчик улыбнулся: «Я сплю и вижу сон. Удивительно все-таки, как можно видеть сны и при этом знать, что это только сон. Хорошо бы вспомнить его завтра поутру. Сейчас у меня необыкновенное расположение духа: я вижу все четко и ясно, у меня светлая голова, но завтра, когда я попытаюсь вспомнить что-нибудь из всего этого, получится лишь несуразица, такое уж не раз бывало! Все те разумные и красивые слова, которые слышишь и сам говоришь во сне, похожи на золото троллей — его великолепие при дневном свете превращается в кучу камней и сухих листьев».

— Ах, — вздохнул он печально, глядя на поющих пташек, радостно перепархивавших с одной ветки на другую. — Им живется куда лучше, чем мне! Способность летать — чудесный

дар, счастлив тот, кто родился с ним! Если бы я и пожелал в кого-нибудь превратиться, так вот в такого маленького жаворонка!

В тот же миг фалды и рукава его сюртука сложились в крылья, платье стало перьями, а калоши — когтями. Он отлично все это заметил и улыбнулся про себя: «Ну вот, теперь я знаю, что сплю, но таких дурацких снов мне еще не приходилось видеть». Он взлетел на зеленую ветку и запел, однако поэзии в его песнях больше не было, потому что он перестал быть поэтом. Калоши, как и всякий, кто относится к делу ответственно, могли исполнять только одно желание зараз: захотел он быть поэтом, он стал им, захотел быть птичкой, стал ею, но при этом прежний дар был утрачен.

«Забавно! — подумал он. — Днем я сижу в полицейском участке и занимаюсь важными бумагами, а ночью мне снится, будто я жаворонок и летаю по Фредериксбергу — неплохой сюжет для народной комедии».

Он слетел на траву и, повертев головкой, принялся клевать гибкие травинки, которые сейчас, учитывая его теперешние размеры, казались ему огромными, как ветви североафриканских пальм.

Вдруг сделалось темно, как ночью. На него набросили какой-то громадный, как ему представилось, предмет — это мальчишка из Новой слободки накрыл его своей фуражкой. Под фуражку просунулась рука и схватила переписчика поперек спинки и крыльев, так что он запищал, а потом от ужаса закричал:

— Ах, ты негодник! Я переписчик из полицейского участка!

Но мальчишка услышал лишь «пип-пип». Он щелкнул птицу по клюву и зашагал с ней своей дорогой.

В аллее ему встретились два школьника из «высшего класса» — то есть по положению в обществе, по школьным же успехам они принадлежали к низшему. Они купили птицу за восемь скиллингов, и, таким образом, переписчик попал в Копенгаген, в семейство, жившее на улице Готерсгаде.

«Хорошо, что это сон, — размышлял переписчик, — а то бы я непременно рассердился! Сначала я был поэтом, теперь вот стал жаворонком! А ведь это моя поэтическая натура переселила меня в тельце этого создания! Однако участь незавидная, особенно когда попадаешь в лапы мальчишек. Все же любопытно, что будет дальше!»

Мальчишки принесли его в изысканно обставленную комнату, где их встретила толстая улыбающаяся дама, которая вовсе не обрадовалась простой полевой птичке, как она назвала жаворонка, но все же позволила посадить его на один день в пустую клетку, стоявшую на окне.

— Может, она позабавит нашего попочку! — сказала она, улыбаясь большому зеленому попугаю, важно качавшемуся на кольце в своей роскошной медной клетке. — Сегодня у попочки день рождения, — добавила она глупо сюсюкающим тоном, — поэтому полевая птичка пришла его поздравить!

Попугай не ответил ни слова, продолжая важно качаться взад и вперед, зато громко запела прелестная канарейка, только прошлым летом привезенная со своей теплой, благоухающей родины.

— Крикунья! — сказала хозяйка, набрасывая на клетку белый носовой платок.

— Пип! Пип! — вздохнула канарейка. — Какая ужасная метель! — И на том умолкла.

Переписчика, или полевую птичку, как его называла хозяйка, посадили в маленькую клетку, стоявшую рядом с клеткой канарейки, недалеко от попугая. Единственно, что попугай мог выговорить на человеческом языке, была фраза, которая иногда звучала очень комично: «Нет, давайте будем людьми!» Все остальное, что он выкрикивал, звучало так же непонятно, как и щебетание канарейки, но только не для переписчика — он теперь сам был птицей и прекрасно понимал своих товарищей.

— Я летала под сенью зеленых пальм и благоухающих миндальных деревьев! — пела канарейка. — Я летала со своими братьями и сестрами над роскошными цветами и над зеркальной гладью моря, и с берега нам кивали разные растения. Я встречала много красивых попугаев, которые рассказывали смешные истории, длиннющие, без числа, без счету.

— Дикие птицы, — отозвался попугай, — непросвещенные. Нет, давайте будем людьми! Почему ты не смеешься? Если уж хозяйка и ее гости смеются, то и ты можешь себе это позволить. Большой недостаток — отсутствие чувства юмора. Нет, давайте будем людьми!

— А помнишь прелестных девушек под натянутым пологом возле цветущих деревьев? Помнишь сладкие фрукты и прохладный сок дикорастущих побегов?

— О, да! — ответил попугай. — Но здесь мне намного лучше. Меня вкусно кормят, со мной деликатно обращаются. Я знаю, что у меня есть голова на плечах, и большего мне не надо. Нет, давайте будем людьми! У тебя, что называется, поэтическая душа, зато я обладаю обширными познаниями и острым умом. В тебе есть гений, но нет рассудительности, ты берешь слишком высокие ноты, поэтому тебя накрывают тряпкой. Со мной такого не проделывают, нет, я им обошелся подороже, чем ты! Я внушаю им уважение своим клювом и остроумием. Нет, давайте будем людьми!

— О, моя теплая, цветущая родина! — пела канарейка. — Мне хочется петь о твоих темно-зеленых деревьях, о тихих морских бухтах, где ветви целуют прозрачную гладь воды, где растут «родники пустыни»*, петь о ликовании моих переливающихся всеми цветами радуги братьев и сестер.

— Прекрати свое нытье! — сказал попугай. — Лучше посмеши нас. Смех — признак высшего духовного развития.

---

* Кактусы. *(Прим. автора).*

Возьми, к примеру, собаку или лошадь — разве они умеют смеяться? Нет, они умеют плакать, а умение смеяться дано лишь человеку. Ха, ха, ха! — захохотал попугай и вновь сострил: — Нет, давайте будем людьми!

— И ты, серенькая датская птичка, попалась в плен! — сказала канарейка. — В твоих лесах, конечно, холодно, но там воля, улетай! Они забыли запереть твою клетку, форточка открыта. Улетай! Улетай!

Переписчик послушался и вылетел из клетки. В ту же самую минуту в полуоткрытую дверь из соседней комнаты проскользнула кошка с зелеными сверкающими глазами и бросилась на него. Канарейка носилась взад и вперед по клетке, попугай захлопал крыльями и закричал:

— Нет, давайте будем людьми!

Переписчик в смертельном страхе вылетел в форточку и стрелой полетел над улицами и домами, пока ему наконец не пришло время передохнуть.

Соседний дом показался ему знакомым, окно было открыто, он влетел в него и очутился у себя дома. Он сел на стол.

— Давайте будем людьми! — сказал он, машинально повторив остроту попугая, и сразу же вновь стал переписчиком, но почему-то он сидел на столе.

— Господи, помилуй! — воскликнул он. — Как это я попал сюда да вдобавок заснул?! Какой страшный сон мне приснился. Какая дурацкая история!

VI. ЛУЧШЕЕ, ЧТО СДЕЛАЛИ КАЛОШИ

На следующий день рано утром, когда переписчик еще лежал в постели, в дверь постучали, и в комнату вошел его сосед по лестничной площадке, студент-богослов.

— Одолжи мне свои калоши, — попросил он, — в саду сыро, а солнце светит так ласково, хочу выкурить трубку на воздухе.

Надев калоши, студент спустился в сад, в котором росли одно сливовое дерево и одно грушевое. Но даже и такой садик в центре Копенгагена считается большой роскошью.

Студент ходил взад и вперед по дорожке; было всего шесть часов утра. С улицы донесся звук почтового рожка.

— О, путешествовать, путешествовать! — воскликнул студент. — Ничего лучше на свете не бывает! Это предел моих желаний! Исполнится оно, исчезнет и одолевающая меня тревога. Но хочу уехать в дальние края! Увидеть прекрасную Швейцарию, поездить по Италии...

Да, хорошо, что калоши сработали мгновенно, а то бы он перечислил слишком много мест и для себя, и для нас с вами. И вот он в пути. Студент ехал по Швейцарии в дилижансе вместе с восемью другими пассажирами. У него болела голова, ломило затылок, затекли и опухли ноги, жали сапоги. Он то задремывал, то опять просыпался. В правом кармане у него лежал аккредитив, в левом — паспорт, а на груди висел кожаный мешочек с зашитыми в нем луидорами. Стоило студенту задремать, ему чудилось, что какое-то из этих сокровищ пропало; он лихорадочно вскакивал, а его рука описывала треугольник — справа налево и на грудь, чтобы убедиться в их целости. В сетке над его головой болтались зонтики, трости и шляпы, изрядно мешая ему любоваться окрестностями. Он смотрел во все глаза, а сердце пело строчки, сложенные в Швейцарии одним небезызвестным поэтом, который до сего дня нигде их не публиковал:

Да, хорошо здесь! И Монблан
Я вижу пред собой, друзья!
Когда б к тому тугой карман,
Вполне счастливым был бы я!*

Суров, величав и хмур был открывавшийся перед ним ландшафт. Ельники на высоких скалах, чьи вершины скрыва-

---

* Перевод А. и П. Ганзенов.

лись в облаках, казались кустами вереска. Пошел снег, поднялся холодный ветер.

— Ах! — вздохнул студент. — Если бы мы были по другую сторону Альп, стояло бы лето, я бы получил деньги по аккредитиву. Из-за страха его потерять я не могу наслаждаться Швейцарией. О, оказаться бы по другую сторону Альп!

И он оказался по другую сторону Альп, в центре Италии, между Флоренцией и Римом. Тразименское озеро горело золотом в лучах заходящего солнца. Здесь, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, мирно цеплялись друг за друга своими зелеными пальчиками виноградные лозы; прелестные полунагие дети пасли под благоухающими лавровыми деревьями у дороги угольно-черных свиней. Если бы изобразить все это красками на полотне, все бы возликовали: «Прекрасная Италия!» Но и богослов, и его попутчики, сидевшие в почтовой карете, молчали.

Внутрь залетали тысячи ядовитых мух и комаров, напрасно путешественники обмахивались ветками мирта — мухи кусали все равно. В карете не было ни одного человека, у кого бы от укусов не распухло все лицо. Несчастные лошади, облепленные роями мух, напоминали падаль. Иногда кучер слезал с козел и сгонял с них насекомых, но это помогало лишь на какую-то минуту. Но вот солнце село, окружающая природа вздрогнула от порыва ледяного ветра, приятного в этом было мало, зато горы и облака окрасились в яркие, сверкающие изумрудные тона — такое лучше видеть своими глазами, чем читать описания! Бесподобное было зрелище! Путешественники тоже его оценили, но желудки ныли от голода, тело просило отдыха, все мечты сводились к ночлегу, а каков он еще будет? Мысли были заняты больше этим вопросом, чем красотами природы.

Дорога шла через оливковую рощу, казалось, будто едешь между родными сучковатыми ивами; наконец добрались до одиноко стоявшего постоялого двора. У входа расположились с десяток нищих калек; самый бодрый из них напоминал

«старшего сына голода, достигшего совершеннолетия»; одни были слепы, у других усохли ноги, и они ползали на руках, у третьих — изуродованные руки без пальцев. Из лохмотьев вопияла нищета. «Ecceellenza, miserabili!» — стонали они, выставляя напоказ изуродованные члены. Гостей встретила сама хозяйка, босая, непричесанная, одетая в грязный балахон. Двери закрывались с помощью куска шпагата, кирпичный пол в комнатах весь в провалах, под потолком гнездились летучие мыши, а уж вонь...

— Накройте нам в конюшне! — сказал один из путников. — Там хоть знаешь, чем дышишь!

Открыли окна, чтобы впустить свежего воздуха, но иссохшие руки и непрерывные жалобные стоны: «Ecceellenza, miserabili!*» — оказались проворнее. Все стены были исписаны, в половине надписей ругали «bella Italia»**.

Подали еду: водянистый суп, приправленный перцем и прогорклым оливковым маслом, салат, политый таким же маслом; протухшие яйца и жареные петушиные гребешки были главными блюдами. Даже вино имело особый привкус — отдавало микстурой.

На ночь двери загородили чемоданами; один из путников стоял на страже, другие спали. Сторожить выпало богослову. О, до чего здесь душно! Жара давила, пищали и кусались комары, miserabili снаружи стонали во сне.

— Да, путешествия — вещь хорошая, — вздохнул студент, — если бы у нас не было тела! Пусть бы оно отдыхало, а душа бы летала. Куда я ни приезжаю, сердце гнетет тоска. Я стремлюсь к чему-то лучшему, чем вот это мгновение, да, к лучшему, самому хорошему, но где оно и в чем? Я в глубине души знаю, чего я хочу, — я хочу достичь заветной цели, самой блаженной цели на свете!

---

* Господин, помогите несчастным *(ит.)*.

** Прекрасная Италия *(ит.)*.

Как только эти слова были сказаны, студент очутился у себя дома. Длинные белые занавеси закрывали окна, посреди комнаты стоял черный гроб, в нем спокойным смертным сном спал богослов; его желание было исполнено — тело отдыхало, душа странствовала. «Никто не может назваться счастливым, пока не сойдет в могилу», — сказал Солон, и его слова вновь подтвердились.

Любой покойник — это сфинкс бессмертия. Но и сфинкс в черном гробу не отвечал нам на вопросы, заданные им, живым, два дня назад:

О, смерть всесильная, немая,
Твой след — могилы без конца!
Увы, ужели жизнь земная
Моя увянет, как трава?
Ужели мысль, что к небу смело
Стремится, сгинет без следа?
Иль купит дух страданьем тела
Себе бессмертия венец?*

В комнате появились два существа, мы знаем обоих: то были фея Печали и посланница Счастья. Они склонились над усопшим.

— Ну что, — спросила Печаль, — много счастья принесли твои калоши человечеству?

— По крайней мере тому, кто здесь спит, они принесли вечное благо! — ответила Радость.

— О нет! — возразила Печаль. — Он ушел сам, его не звали! Его духовная сила была не настолько крепка, чтобы обрести те сокровища, которые ему предназначены! Я окажу ему благодеяние!

И она сняла с его ног калоши. Смертный сон прервался, воскресший встал. Печаль исчезла, а с ней и калоши. Она, верно, посчитала их своей собственностью.

---

* Перевод А. и П. Ганзенов.

РОМАШКА

Вот послушай-ка!

За городом, у самой дороги, стоял летний дом. Тебе он наверняка знаком! Перед ним еще небольшой цветник, обнесенный крашеным забором. Рядом, в ямке, заросшей чудесной зеленой травой, росла крохотная ромашка. Солнце согревало и ласкало ее наравне с большими, роскошными цветами в цветнике, поэтому она росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем; маленькое желтое солнышко в окружении блестящих белых, похожих на лучики лепестков. У нее и в мыслях не было, что ни один человек не замечал ее в траве, простой, скромный цветок. Нет, она с удовольствием поворачивалась головкой к солнцу, смотрела на него и слушала, как поет высоко в небе жаворонок.

Ромашку переполняло счастье, словно сегодня был большой праздник. А на самом деле был понедельник. Дети сидели в школе и чему-то учились, а ромашка сидела на своем зеленом стебельке и тоже училась, училась у теплого солнца и всей природы познавать Божью благодать. И ей казалось, что жаворонок своими прекрасными песнями ясно выражает ее чувства. Поэтому ромашка смотрела на счастливую птичку с некоторым почтением, ведь та умела петь и летать, но ее нисколько не печалило, что сама она этого делать не умеет.

«Я же вижу и слышу! — думала ромашка. — На меня светит солнце, ветер целует меня! О, как мне повезло!»

В цветнике росло много горделивых, благородных цветов. Чем меньше они пахли, тем больше задирали нос. Пионы пыжились, чтобы стать больше розы, да разве в величине дело! Тюльпаны отличались самой великолепной расцветкой, они это знали и старались держаться попрямее, чтобы все могли получше их разглядеть. Они просто не замечали юной ромашки за забором, зато она заглядывалась на них и думала: «Какие они пышные и красивые! К ним обязательно прилетит в гости прекрасная птица! Слава Богу, что я стою близко и могу все видеть!» Стоило ей так подумать, как раздалось «чик-чирик», и прилетел жаворонок, но не к пионам и тюльпанам, нет, он сел на траву рядом со скромной ромашкой. Она так растерялась от радости, что не знала, что и думать.

Птичка танцевала вокруг ромашки и пела: «Ах, какая нежная трава! И какой славный цветочек, с золотым сердечком и в серебряном платье!» Ведь желтая сердцевина ромашки в самом деле выглядела золотой, а лепестки вокруг были ослепительно белыми.

Счастье ромашки не поддается описанию! Птица поцеловала ее своим клювом, спела для нее, а потом вновь взмыла в синее небо. Прошло, наверное, не менее четверти часа, прежде чем ромашка пришла в себя. Чуть застенчиво, но с искренним восторгом она взглянула на цветы в цветнике, они же видели, какая ей выпала честь, какое блаженство, уж они-то должны понимать ее радость. Но тюльпаны по-прежнему стояли по стойке «смирно», лица у них вытянулись и покраснели с досады. Пионы готовы были лопнуть от злости, хорошо, что они не умели говорить, а то бы ромашке от них досталось. Но бедный скромный цветок понял, что они не в духе, и горько об этом пожалел.

Тут к цветнику подошла девушка с большим ножом, острым и блестящим, и принялась срезать тюльпаны, один за

другим. «Ох, — вздохнула ромашка, — какой ужас, теперь им конец!» Срезав тюльпаны, девушка ушла. И ромашка порадовалась, что она, неприметный скромный цветок, растет в траве. Она испытала даже благодарность за это; когда солнце село, она свернула свои лепестки и заснула, и всю ночь ей снились солнце и птичка.

Утром цветок, снова расправив свои белые лепестки и потянувшись ими, словно ручонками, к небу и солнцу, услышал знакомый птичий голос, но пел он грустную песню. У бедного жаворонка были на то веские причины: его поймали и посадили в клетку возле раскрытого окна. Жаворонок пел о том, как хорошо свободно летать по свету, пел о свежих зеленых побегах на полях, о чудесных путешествиях по воздуху, которые он мог совершать с помощью своих крыльев. У бедной птицы было тяжело на душе, плененная, она сидела в клетке.

Ромашке очень хотелось помочь жаворонку, но что она может сделать? Трудно найти ответ. Она и думать забыла об окружавшей ее красоте, о ярком солнце, о своих ослепительно белых лепестках. Ах, у нее из головы не выходила несчастная птица, прийти на помощь которой она не могла!

Вдруг из цветника вышли два мальчика. У одного из них в руках был нож, большой и острый, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Они подошли прямо к тому месту, где росла ромашка, а та просто не понимала, что они собираются делать.

— Здесь мы вырежем замечательный кусок дерна для жаворонка! — сказал один и, глубоко погрузив нож в землю, принялся вырезать четырехугольный кусок дерна вокруг ромашки, так что она оказалась в самой середине его.

— Вырви цветок! — сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха, что ее сорвут, ведь для нее это значило умереть, а ей так хотелось жить, особенно сейчас, когда у нее появился шанс попасть в клетку к пленнику.

— Нет, пусть остается! — возразил первый. — Так будет красивее!

И ромашка оказалась в клетке у жаворонка.

Бедная птица громко плакала об утраченной свободе и била крыльями по железным прутьям клетки. Ромашка не умела говорить, не могла ни одним словечком его утешить, а ей очень этого хотелось. Так прошло все утро.

— Тут нет воды! — жаловался жаворонок. — Они ушли, не оставив мне ни глотка воды! У меня пересохло в горле, оно горит! Меня знобит, и дышать трудно! Ах, я, наверное, умру и больше никогда не увижу яркого солнца, свежей зелени и всего остального, что создал Господь!

Чтобы немного освежиться, он зарылся клювом в прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей, поцеловал ее и сказал:

— Ты тоже завянешь здесь, бедный цветочек! Тебя да кусочек зеленого дерна они мне дали взамен целого мира, которым я обладал! Каждая травинка станет для меня зеленым деревом, каждый твой белый лепесток — благоухающим цветком! Ах, ты только напоминаешь мне о том, чего я лишился!

«О, если бы я могла его утешить!» — подумала ромашка, но ни один ее лепесток не шелохнулся. Только их аромат становился все сильнее, намного сильнее, чем это бывает у этих цветов. Это заметила и птица, которая, мучаясь от жажды, повыщипывала всю траву, а ромашку не тронула.

Наступил вечер, но никто так и не пришел и не напоил несчастную птицу. И тогда она расправила свои прелестные крылья, которые забились в судороге, и издала печальное «пи-ип». Головка ее склонилась к цветку, и сердце разорвалось от тоски и муки. А ромашка была не в силах свернуть свои лепестки, как предыдущим вечером, и заснуть — от боли и горя она склонилась к земле.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидев мертвую птицу, горько расплакались, а потом вырыли для нее аккурат-

ную могилку, которую украсили цветами. Бедную птичку положили в красивую красную коробку — хотели похоронить ее по-королевски! Когда жаворонок жил и пел, они о нем забыли, заставили томиться в клетке, а теперь устраивали ему пышные похороны и проливали слезы.

Дерн с ромашкой выбросили на пыльную дорогу, никто и не подумал о той, которая больше всех любила птицу и от всего сердца хотела ее утешить!

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Жили-были двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев — все они были сыновьями старой оловянной ложки. Ружье на плече, голова прямо, замечательные красно-синие мундиры. Первые слова, которые они услышали, когда с коробки, где они лежали, сняли крышку, были:

— Оловянные солдатики! — воскликнул маленький мальчик и захлопал в ладоши.

Солдатиков он получил в подарок на день рождения и теперь принялся расставлять их на столе. Они ничем не отличались друг от друга, кроме одного, у которого была только одна нога — его отливали последним, и олова немного не хватило. Но стоял он на своей одной ноге так же уверенно, как остальные на двух. Вот он-то и оказался самым замечательным.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всех бросался в глаза великолепный бумажный замок. Через маленькие окошки можно было заглянуть в его покои. Перед замком вокруг зеркальца, изображавшего озеро, росли деревья; по озеру плавали, отражаясь в зеркальной поверхности, восковые лебеди. Все это было прелестно, но еще прелестнее была девушка, стоявшая в распахнутых дверях замка. Она тоже была вырезана из бумаги

и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла голубая лента, сделанная в виде перевязи, в центре которой блестела розетка размером с ее лицо. Девушка стояла, вытянув руки — она была танцовщицей — и подняв одну ногу, и так высоко, что оловянный солдатик ее не видел и решил, что девушка тоже одноногая, как и он сам.

«Вот бы мне ее в жены! — подумал он. — Только она именита, живет в замке, а у меня есть лишь коробка, в которой нас двадцать пять штук, это не место для нее! Но все-таки надо познакомиться!»

И он, вытянувшись во весь рост, прилег за табакеркой, находившейся на столе. Отсюда он отлично видел прелестную девушку, которая все так же стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, а обитатели дома отправились спать. И тогда игрушки начали играть: «в гости», в «войну», в «балы». Оловянные солдатики загремели в своей коробке, им тоже хотелось поразвлечься, но они не могли снять крышку. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал на доске. Такой поднялся шум, что проснулась канарейка и заговорила стихами. Лишь двое не двигались с места — маленькая танцовщица, которая попрежнему стояла на одном носке, вытянув вперед руки, и оловянный солдатик, тоже стойко державшийся на одной ноге и не сводивший с девушки глаз.

Часы пробили двенадцать, и «щелк!» — открылась табакерка. Но в ней был вовсе не табак, нет, а крошечный черный тролль — вот такой фокус.

— Оловянный солдатик! — сказал тролль. — Будь добр, перестань пялиться!

Но оловянный солдатик сделал вид, что ничего не слышит.

— Погоди же до утра! — сказал тролль.

Наступило утро, дети встали и поставили оловянного солдатика на окно. То ли по милости тролля, то ли от порыва ветра,

но окно внезапно распахнулось, и солдатик полетел головой вниз с третьего этажа. Не успел он опомниться, как уже стоял на каске вверх ногой, а его штык застрял между камнями брусчатки.

Служанка и мальчик тотчас выбежали искать его. И хотя несколько раз они чуть не наступали на него, найти не могли. Если бы он крикнул: «Я здесь!» — они бы, конечно, сразу заметили его, но он посчитал неприличным громко кричать, ведь на нем мундир.

Начал накрапывать дождик, потом он стал сильнее, пока не превратился в настоящий ливень. Когда опять прояснилось, на улице появились двое мальчишек.

— Смотри-ка! — сказал один. — Оловянный солдатик! Давай отправим его в плавание!

Они сделали лодочку из газеты, посадили в нее солдатика, и он поплыл вниз по сточной канаве. Мальчишки бежали рядом, хлопая в ладоши. Господи! Ну и волны ходили по этой канаве, и какое было сильное течение — немудрено после такого ливня! Бумажную лодочку бросало то вверх, то вниз, вертело во все стороны так, что у солдатика внутри все задрожало. Но он держался стойко, ни один мускул не дрогнул у него на лице, голова прямо, ружье на плече!

Лодочку понесло под длинную доску, перекинутую через сточную канаву. Стало так темно, точно он попал в свою коробку.

«Куда же меня несет? — подумал он. — Да, да, это все проделки тролля! Ах, если бы рядом сидела та девушка, я был бы не прочь, чтобы сделалось еще темнее!»

В эту минуту из воды высунулась большая водяная крыса, которая жила под доской.

— Паспорт есть? — спросила она. — Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал, только еще крепче сжал ружье. Лодочку понесло дальше, а вдогонку мчалась крыса. Ух, как она лязгала зубами и кричала щепкам и соломинкам:

— Остановите его! Остановите его! Он не уплатил пошлины, у него нет паспорта!

Но течение становилось все стремительнее, впереди, там, где кончалась доска, уже забрезжил дневной свет, и тут солдатик услышал такой шум, от которого бы пришел в ужас любой храбрец. Представьте — там, где кончалась доска, вода из сточной канавы падала в широкий канал. Для солдатика это представляло такую же опасность, как для нас попытка спуститься на лодке с водопада.

Но остановиться уже было невозможно. Лодочка скользнула вниз, бедный солдатик держался стойко, как только мог, даже глазом не моргнул. Лодочку закрутило — раз, другой, третий, она наполнилась до краев водой и начала тонуть. Оловянный солдатик уже был по горло в воде, а лодочка опускалась все глубже и глубже. Бумага почти совсем порвалась, и вода накрыла солдатика с головой. Он вспомнил прелестную танцовщицу, которую ему никогда больше не увидеть, и в ушах у него прозвучало:

Вперед стремись, о, воин!
И смерть спокойно встреть!*

Бумага порвалась окончательно, и оловянный солдатик пошел ко дну — и тут его проглотила огромная рыба.

Ох, какая же темнота внутри, хуже, чем под доской, и ужасно тесно, но оловянный солдатик держался стойко, он лежал, вытянувшись во всю длину, с ружьем на плече.

Рыба описывала круг за кругом, самым ужасающим образом бросалась из стороны в сторону, но наконец затихла — ее как будто пронзило молнией. Блеснул яркий свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, отвезли на рынок и продали; так она попала на кухню, где кухарка большим ножом вспорола ей брюхо. Она взяла солдатика двумя пальцами за талию и понесла его в комнату, куда сбежались все домашние посмотреть на такого замеча-

* Перевод А. и П. Ганзенов.

тельного человечка, который совершил путешествие в брюхе рыбы. Но оловянный солдатик не задрал носа. Они поставили его стол, и — чего не бывает на свете! — он увидел знакомую комнату, тех же детей, те же игрушки и великолепный замок с прелестной танцовщицей. Она все еще стояла на одной ноге, высоко подняв другую. Она тоже была стойкой. Это так растрогало солдатика, что он чуть не заплакал оловом, но вести себя подобным образом не годилось. Он смотрел на нее, она на него, но они не произнесли ни слова.

Вдруг один из мальчиков схватил солдатика и швырнул его в кафельную печь безо всякой на то причины. Наверняка то были козни тролля из табакерки.

Оловянный солдатик стоял, охваченный пламенем, и ощущал нестерпимый жар то ли от огня, то ли от любви — он и сам не знал. Краски с него сошли, но случилось ли это во время путешествия или причиной тому было горе, неизвестно. Он смотрел на танцовщицу, она на него, он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко с ружьем на плече. Тут распахнулась дверь, ветер подхватил танцовщицу, и она, словно сильфида, полетела в печку к оловянному солдатику, разом вспыхнула и исчезла. А оловянный солдатик расплавился. Когда служанка на следующий день выгребала из печи золу, она нашла лишь оловянное сердечко; от танцовщицы же осталась только обгоревшая до черноты розетка.

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

В далеких краях, куда улетают от нас зимой ласточки, жил король, у которого было одиннадцать сыновей и одна дочь — Элиса. Одиннадцать братьев-принцев ходили в школу — со звездой на груди и саблей на боку. Они писали на золотых досках алмазными грифелями и отлично читали как по памяти, так и по книжке. Сразу было понятно, что это читают принцы. Сестра Элиса, сидя на скамеечке из зеркального стекла, рассматривала книжку с картинками стоимостью в полкоролевства.

Да, хорошо жилось этим детям, только недолго это продолжалось!

Их отец, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила детей. Они это заметили уже в первый день. В замке шло праздничное веселье, а ребята затеяли игру «прием гостей». Но вместо пирожных и печеных яблок, которые они могли бы съесть, королева дала им чайную чашку песка и посоветовала сделать вид, будто это и есть угощение.

Через неделю Элису отправили на воспитание в деревню, в крестьянскую семью; вскоре королева и про братьев наговорила королю столько, что он перестал обращать на них внимание.

— Летите отсюда на все четыре стороны и позаботьтесь о себе сами, — сказала королева. — Вы станете большими птицами, не умеющими петь!

Но ей не удалось навредить им еще больше: они превратились в прекрасных диких лебедей. Со странным криком они вылетели из окон замка и направились к лесу.

Как-то ранним утром лебеди прилетели к крестьянскому дому, где обитала Элиса; она еще спала. Они описывали круги над крышей, вытягивали свои длинные шеи, хлопали крыльями, но их никто не слышал и не видел. И тогда они опять взвились к облакам и отправились вдаль, к большому темному лесу, тянувшемуся до самого моря.

Бедняжка Элиса в крестьянском доме играла с зеленым листиком — других игрушек у нее не было. Проделав в нем дырочку, она смотрела сквозь нее на солнце, и ей казалось, что она видит ясные глаза братьев, а стоило теплым лучам солнца коснуться ее щеки, она вспоминала об их поцелуях.

Дни шли за днями, один был похож на другой. Когда ветер шевелил кусты роз возле дома, он шептал им: «Есть ли кто красивее вас?» А розы, качая головками, отвечали: «Элиса красивее!» Когда в воскресный день какая-нибудь старушка сидела возле дома и читала сборник псалмов, ветер переворачивал страницы и спрашивал у книги: «Есть ли кто благочестивее тебя?» И книга отвечала: «Элиса!» И розы, и книга говорили истинную правду.

Но вот Элисе исполнилось пятнадцать лет, и она вернулась домой. Увидев, какой красавицей она стала, королева разгневалась, и в сердце ее поселилась ненависть. Она бы с удовольствием превратила ее в дикого лебедя, как и братьев, но пока этого сделать не могла, потому что король хотел посмотреть на дочку.

Рано утром она вошла в мраморную купальню, убранную мягкими подушками и изысканными коврами, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

— Когда Элиса придет в купальню, ты сядь ей на голову, пусть она станет такой же ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! — сказала королева другой жабе. — Пусть Элиса

сделается такой же безобразной, как ты, и отец ее не узнает! А ты, — прошептала королева третьей жабе, — ляг на ее сердце! Пусть ее душа наполнится злом, которое заставит ее страдать!

Она опустила жаб в прозрачную воду, и вода тотчас позеленела. Потом королева позвала Элису, раздела ее и велела войти в воду. Одна жаба тут же уселась ей на голову, другая — на лоб, а третья — на грудь. Но Элиса этого даже не заметила. Как только она вышла из воды, по поверхности поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они бы превратились в красные розы, но цветками они все же стали, полежав на голове и груди Элисы. Она была так благочестива и невинна, что колдовская сила на нее не действовала.

Поняв это, злая королева натерла ее соком грецких орехов, так что Элиса сделалась темно-коричневой, вымазала ее прекрасное лицо вонючей мазью и спутала ее роскошные волосы. Красавицу Элису было не узнать.

При виде ее король пришел в ужас и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепного пса да ласточек, но что могли поделать бедные животные!

Заплакала Элиса и вспомнила о своих пропавших братьях. С тяжелым сердцем она выскользнула из замка и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиса понятия не имела, куда ей идти, но она так истосковалась по своим братьям, как и она, выгнанным из дома, что решила их искать, пока не найдет.

Она только-только успела зайти в лес, как спустилась ночь. Элиса совсем сбилась с пути. И тогда она легла на мягкий мох, прочитала вечернюю молитву и положила голову на пенек. В лесу стояла тишина, воздух был мягкий и нежный, во мху повсюду зелеными огоньками мерцали сотни светлячков. Когда она дотронулась рукой до ветки дерева, светящиеся насекомые посыпались на нее звездным дождем.

Всю ночь ей снились братья; они развлекались своими детскими забавами, писали алмазными грифелями на золотых досках, разглядывали книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но на досках они выводили не нолики и черточки, как бывало прежде; нет, они описывали свои самые смелые подвиги, все, что видели и пережили. А картинки в книжке ожили, птицы пели, люди сходили со страниц и разговаривали с Элисой и ее братьями, но стоило ей перевернуть страницу, как они тут же опять скрывались внутри, чтобы в картинках не возникло путаницы.

Когда она проснулась, солнце стояло высоко. Элиса, правда, его почти не видела под густыми кронами высоких деревьев, но лучи его пробивались сквозь них, образуя колышущийся золотой флер. Зелень благоухала, птицы готовы были сесть ей на плечи. Она услышала плеск воды: в лесу было много родников, и все они вливались в пруд с замечательным песчаным дном. Его берега заросли густым кустарником, но в одном месте олени проломали широкий проход, и Элиса смогла спуститься к самой воде. Вода в пруду была такая прозрачная, что не пошевели ветер ветви и листья кустарников, она бы решила, будто они нарисованы на песчаном дне, так четко отражался в воде каждый листочек. Пруд был освещен солнцем и в то же время находился в тени.

Увидев свое отражение, Элиса пришла в ужас — такое было у нее чумазое и страшное лицо. Она зачерпнула горсть воды и протерла глаза и лоб. И вновь засияла ее белая кожа. Тогда она сняла с себя всю одежду и вошла в прохладную воду. Прелестнее принцессы в целом свете было не сыскать.

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, Элиса подошла к журчащему роднику, напилась воды и продолжила свой путь по лесу, сама не зная, куда идет. Она думала о братьях и милосердном Боге, который, конечно, ее не покинет. Ведь это Он повелел расти диким яблоням, чтобы накормить их плодами голодных. И Он же указал ей на одну

такую яблоню, ветви которой гнулись под тяжестью плодов. Утолив голод, Элиса подперла ветви палочками и углубилась в лесную чащобу. Здесь было так тихо, что она слышала свои собственные шаги, слышала шуршание сухих листьев, попадавшихся ей под ноги. Сюда не залетали птицы, сквозь сплошные переплетения ветвей не проникали солнечные лучи. Высокие стволы стояли плотными рядами, и когда она смотрела вперед, то ей казалось, что перед ней бревенчатая стена. О, подобного одиночества ей еще не приходилось испытывать!

Ночью стало совсем темно, во мху не светилось ни единого светлячка. С грустью в сердце Элиса улеглась спать. И тут ей почудилось, что ветви над ее головой раздвинулись и на нее взглядом своих добрых очей посмотрел Сам Господь, а из-за Его головы и из-под рук выглядывали ангелочки.

Проснувшись утром, она не могла решить, приснилось ли ей все это или же было на самом деле.

Элиса отправилась дальше и вскоре встретила старушку с корзинкой ягод, которыми та угостила девушку. Элиса спросила ее, не проезжали ли по лесу одиннадцать принцев.

— Нет, — ответила старушка, — но вчера я видела проплывавших по реке неподалеку одиннадцать белых лебедей с золотыми коронами на головах.

И она подвела Элису к обрыву. Внизу извивалась речка. По обоим берегам росли деревья, простиравшие свои длинные, густо усыпанные листьями ветви навстречу друг другу. Те деревья, которым не хватало роста, чтобы сплестись ветвями с собратьями на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что их корни вылезали из земли, но они все же добивались своего.

Элиса попрощалась со старушкой и направилась к устью речки, впадавшей в открытое море.

Перед юной девушкой открылась прекрасная безбрежная морская гладь. Но на ней не было ни единого паруса, ни од-

ной лодки, на которой Элиса могла бы продолжить свой путь. Она смотрела на бесчисленные мелкие камешки, усыпавшие морской берег, вода обточила их так, что они сделались совсем круглыми. Все остальное, что выбросило море: стекло, железо, камни, — тоже носило следы воздействия воды, а ведь она была мягче нежных рук Элисы. «Волны неутомимо катятся одна за другой, шлифуя самые твердые предметы. И я буду неутомимой! Спасибо вам за науку, прозрачные, быстрые волны! Сердце мне говорит, что когда-нибудь вы вынесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем водорослях лежало одиннадцать белых лебединых перьев. Элиса собрала их в пучок; на перьях блестели капли воды: росы или слез, неведомо никому. Пустынно было на берегу, но она этого не чувствовала, потому что море предлагает вечное разнообразие, за несколько часов можно увидеть столько, сколько не увидишь за целый год на пресных озерах. Если небо затягивала большая черная туча, то море словно говорило: я тоже могу почернеть; и тогда поднимался ветер, а волны покрывались белыми бурунами. Но если солнце окрашивало облака в розовый цвет и ветер спал, море становилось похожим на лепесток розы; оно бывало то зеленого оттенка, то белого. Но какой бы штиль ни царил на море, у берега происходило легкое движение: вода слегка поднималась и опускалась, как грудь спящего ребенка.

На закате Элиса увидела, что к берегу летят одиннадцать диких лебедей с золотыми коронами на головах, они летели, вытянувшись в цепочку, напоминавшую длинную белую ленту. Элиса взобралась на край обрыва и спряталась за кустом. Лебеди, хлопая своими большими белыми крыльями, сели неподалеку.

Как только солнце скрылось в воде, лебединое оперение с них вдруг спало, и они вновь стали одиннадцатью красавцами принцами, Элисиными братьями. Она громко вскрикнула: несмотря на то что они сильно изменились, Элиса была

уверена, что это они, сердцем чувствовала. Она бросилась в их объятия, называя каждого по имени; и их радости не было предела, когда они увидели и узнали свою сестру, которая так выросла и превратилась в настоящую красавицу. Они смеялись и плакали, и вскоре из рассказов друг друга поняли, какое зло причинила им всем мачеха.

— Мы, братья, — сказал старший, — бываем дикими лебедями, пока светит солнце. Когда же оно заходит, мы снова обретаем человеческий облик. Поэтому к закату мы должны обязательно иметь твердую почву под ногами. Ибо если во время нашего полета под облаками мы станем людьми, то упадем вниз, в глубины моря. Живем мы не здесь. За морем есть другая страна, такая же прекрасная, как эта. А путь туда долог, нам надо пролететь над этим широким морем, и там нет ни одного острова, где мы могли бы переночевать, только небольшой утес торчит посередине. На нем мы и отдыхаем, тесно прижавшись друг к другу. Если море расходится, вода заливает нас, но мы благодарим Бога и за это. Там мы проводим ночь в человеческом облике, и не будь утеса, нам бы никогда не удалось навестить нашу милую родину. Но и для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в году нам дозволено прилетать в родное отечество и оставаться здесь одиннадцать дней; мы летаем над этим обширным лесом, видим замок, где мы родились и где живет наш отец, видим высокую колокольню церкви, где покоится наша мать. Тут деревья и кустарники нам словно родные, здесь по равнинам скачут дикие лошади, которых мы помним с детства. Здесь угольщики поют старые песни, под которые мы детьми плясали, здесь наша родина, сюда рвется сердце и здесь мы нашли тебя, дорогая сестренка! Нам осталось пробыть здесь всего два дня, а потом мы улетим в прекрасную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки!

— Как бы мне вас спасти? — сказала сестра.

И они проговорили почти всю ночь, поспав всего пару часов.

Элиса проснулась от шума лебединых крыльев. Братья, снова превратившиеся в птиц, описывали в воздухе большие круги, а потом улетели прочь. А один, младший, остался с Элисой. Лебедь положил голову на колени сестры, а она ласково гладила его крылья. Весь день они провели вместе. К вечеру вернулись и остальные, и после захода солнца они обрели свой прежний облик.

— Завтра мы улетаем отсюда и вернемся лишь через год, но тебя мы не можем покинуть! Хватит ли у тебя духа полететь с нами? Моя рука достаточно сильна, чтобы пронести тебя через лес, так неужели у наших крыльев не достанет сил перенести тебя через море?

— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиса.

Всю ночь они плели сеть из гибкой ивовой лозы и упругого тростника, и она получилась вместительной и прочной. На нее и легла Элиса. Когда взошло солнце и братья превратились в лебедей, они подхватили сетку клювами и вместе со своей милой сестрой, которая еще спала, взмыли к облакам. Солнечные лучи светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей летел над ее головой, своими широкими крыльями защищая ее от солнца.

Они уже были далеко от родных мест, когда Элиса проснулась. Она подумала, что все еще видит сон, так странно для нее было лететь высоко в небе над морем. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок спелых кореньев. Их собрал для нее младший брат, и Элиса благодарно ему улыбнулась, поняв, что это именно он летит над ее головой, защищая своими крыльями от солнца.

Они летели так высоко, что первый корабль, который они заметили внизу, показался им плывущей по воде белой чайкой. Сзади них громоздилось огромное, величиной с гору, облако, и на нем Элиса увидела исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Картины прекраснее ей еще не доводилось

видеть. Но по мере того, как солнце поднималось все выше и облака оставались все дальше позади, игра теней исчезала.

Целый день летели лебеди, быстро, как стрела, но все же медленнее, чем обычно: ведь теперь они несли сестру. Начиналось ненастье, день клонился к вечеру. Элиса со страхом наблюдала, как опускается солнце, а одинокого утеса в море еще не видно. Ей показалось, что лебеди стали энергичнее махать крыльями. Ах, это она виновата, что они не могут лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она принялась горячо молиться Господу, но утес все не показывался. На них надвигалась черная туча, резкие порывы ветра предвещали бурю, облака образовали сплошную грозную свинцовую волну, несшуюся по небу. Непрерывно сверкали молнии.

Солнце одним своим краем коснулось воды. Сердце Элисы затрепетало. И тут лебеди с такой скоростью ринулись вниз, что она решила: они падают. Но нет, они продолжали лететь. Солнце уже наполовину скрылось в воде, и тут она заметила под собой утес, который, казалось, величиной был не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Светило быстро угасало, теперь оно стало размером со звезду, но вот ее ноги коснулись твердой земли, солнце погасло, точно последняя искра сгоревшей бумаги. Элиса обнаружила, что окружена братьями, стоявшими рука об руку; они все едва умещались на утесе. Море билось о него и окатывало их с ног до головы. Небо пылало огнем, беспрерывно грохотал гром, но сестра и братья, взявшись за руки, пели псалом, дававший им утешение и мужество.

На заре буря улеглась, воздух был чист и ясен. Как только встало солнце, лебеди с Элисой покинули островок. Море еще волновалось, и с высоты они видели плывущую по темно-зеленой воде, точно миллионы лебедей, белую пену.

Когда солнце поднялось выше, Элиса различила впереди гористую местность, как бы парившую в воздухе; на скалах

сверкали ледяные массы, а между ними на много миль тянулся невероятных размеров замок с дерзко нагроможденными одна на другую колоннадами. Под ними колыхались пальмовый лес и роскошные цветы величиной с мельничные колеса. Она спросила, не в эту ли страну они летят, но лебеди покачали головами, ибо то был прекрасный, вечно меняющий свой облик воздушный замок Фата-Морганы; туда не дозволялось приводить людей. Элиса по-прежнему не отрывала глаз от этого места; и вот горы, леса и замок растворились в воздухе, и вместо них возникли двадцать одинаковых величественных церквей с высокими колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей почудились звуки органа, но это шумело море. Вот церкви уже совсем близко, но тут они превратились в целую флотилию кораблей. Элиса взглянула вниз и поняла, что это всего лишь туман, поднимавшийся над морем. Да, то, что она наблюдала, являло собой символ вечного изменения, а скоро перед ее глазами показалась и настоящая страна, в которую они летели. Там вздымались красивые голубые горы, покрытые кедровыми лесами, города и замки. Задолго до заката Элиса сидела на скале перед большой пещерой, увитой нежными зелеными вьющимися растениями; это было похоже на вышитые ковры.

— Посмотрим, что тебе здесь приснится! — сказал младший из братьев, показывая ей ее спальню.

— Если бы мне приснилось, как освободить вас от чар! — ответила Элиса, и эта мысль крепко засела у нее в голове. Она горячо молила Господа о помощи, даже во сне продолжала молиться.

И ей приснилось, будто летит она на заоблачной высоте к замку Фата-Морганы, и сама фея выходит ей навстречу, такая прекрасная и ослепительная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, что угостила ее ягодами и рассказала о лебедях с золотыми коронами на головах.

— Твоих братьев можно спасти! — сказала фея. — Но хватит ли у тебя мужества и выносливости? Конечно, морская

вода мягче твоих рук, и она обтачивает твердые камни, но она не чувствует той боли, которую почувствуют твои пальцы. У нее нет сердца, и она не страдает от страха и терзаний, которые придется вытерпеть тебе. Видишь у меня в руках крапиву? Такая крапива растет во множестве вокруг пещеры, где ты спишь. Только она да еще та, что растет на кладбище, годится в дело, запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями, потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна нити и сплетешь из них одиннадцать кольчуг с длинными рукавами; набрось их на одиннадцать диких лебедей, и чары рассеются. Только хорошенько запомни: с той минуты, когда ты приступишь к работе, до самого ее завершения, даже если на это потребуются годы, ты не должна произносить ни слова. Первое, сказанное тобой слово пронзит сердца твоих братьев, как кинжал. От твоего языка зависит их жизнь. Помни об этом!

И фея дотронулась крапивой до руки Элисы, и та проснулась, точно от ожога. Был уже светлый день, и рядом с тем местом, где она спала, лежала крапива, такая же, какой она явилась ей во сне. Элиса упала на колени, возблагодарила Господа и вышла из пещеры, чтобы приступить к работе.

Своими нежными руками она рвала злую, жгучую крапиву. Руки ее покрылись большими волдырями, но она с радостью переносила страдания — только бы ей спасти милых братьев. Босыми ногами она размяла крапиву и принялась сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья; они пришли в ужас, узнав, что Элиса онемела. Они решили, что это новое колдовство их злой мачехи, но, увидев руки сестры, поняли, на что она пошла ради них. Младший брат заплакал, и там, куда падали его слезы, утихала боль, исчезали волдыри от ожогов.

Ночь Элиса провела за работой, потому что не будет ей покоя, пока она не освободит милых братьев. Весь следующий день, после того как братья улетели, она просидела

в одиночестве, но еще никогда время не летело так быстро. Одна кольчуга была готова, и она принялась за вторую.

Вдруг с гор послышались звуки охотничьих рожков. Элиса испугалась. Звуки приближались. Услышав лай собак, она в страхе спряталась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пук и села на него.

В ту же минуту из кустарников выскочила большая собака, за ней другая и третья; с громким лаем они побежали обратно, потом опять вернулись. Вскоре у входа в пещеру собрались все охотники, из которых самым привлекательным был король этой страны. Он вошел к Элисе — никогда ему еще не доводилось видеть такую красавицу.

— Как ты попала сюда, прелестное дитя? — спросил король.

Но Элиса в ответ лишь покачала головой, ей нельзя было говорить, от этого зависели жизнь и спасение братьев. И она спрятала руки под передник, чтобы король не увидал, как она страдает.

— Пойдем со мной! — сказал король. — Тебе нельзя оставаться здесь! Если ты так же добра, как и красива, я наряжу тебя в шелка и бархат, надену на твою головку золотую корону, и ты будешь жить в самом роскошном из моих замков!

И он посадил ее на седло впереди себя. Она плакала, ломала руки, но король сказал:

— Я желаю тебе только счастья! Когда-нибудь ты меня за это поблагодаришь!

И повез ее через горы, а охотники скакали следом.

Когда зашло солнце, перед ними показалась великолепная столица короля, с церквями и куполами. Король повел Элису в свой замок, где в высоких мраморных залах журчали большие фонтаны, а стены и потолки были украшены живописью. Но она ни на что не обращала внимания, только плакала и тосковала. Она позволила служанкам обрядить себя в королевские одежды, вплести жемчуга в волосы и надеть тончайшие перчатки на свои обожженные пальцы.

Элиса была так ослепительно хороша в этом роскошном убранстве, что придворные склонились перед ней в еще более глубоком поклоне, а король провозгласил ее своей невестой; и лишь архиепископ, покачивая головой, прошептал, что, мол, эта лесная красавица, несомненно, ведьма, она их всех ослепила и околдовала сердце короля.

Но король не стал его слушать, он дал знак музыкантам играть, велел подавать изысканнейшие блюда, вызвал прелестных танцовщиц, а сам повел Элису через благоухающие сады в роскошные покои. Ни малейшей улыбки не мелькнуло на ее губах или в ее глазах, в них навечно застыла тоска. Но вот король открыл дверь в небольшую комнату по соседству с ее спальней. Она была убрана дорогими зелеными коврами и очень напоминала пещеру, где она жила раньше. На полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элисой кольчуга — все это захватил с собой как некую диковинку один из охотников.

— Здесь ты можешь мечтать о своем прежнем жилище! — сказал король. — А вот и работа, которая тебя так увлекает. Тут ты среди всей окружающей тебя роскоши имеешь возможность вспоминать о прошлом.

Когда Элиса увидела все, что было так дорого ее сердцу, на ее губах мелькнула улыбка и щеки вновь порозовели. С мыслями о спасении братьев она поцеловала руку короля, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать злые слова, но они не проникали в сердце короля, и свадьба состоялась. Архиепископ должен был сам надеть корону на голову Элисы, и со злости он плотно надвинул узкий обруч на ее лоб, чтобы причинить ей боль. Но ее сердце сжимал более тяжелый обруч — тоска по братьям, и она не почувствовала боли. Ее губы были сжаты, ведь всего одно слово лишит жизни ее братьев, но в глазах све-

тилась горячая любовь к доброму, прекрасному королю, который делал все, чтобы ее порадовать. С каждым днем она крепче и крепче привязывалась к королю. О, если бы она могла ему довериться, поведать о своих страданиях! Но она обязана молчать, молчать до тех пор, пока не завершит работу. Поэтому по ночам она проскальзывала в потайную комнату, похожую на пещеру, и плела там одну кольчугу за другой, но когда принялась за седьмую, у нее закончилось волокно.

Она знала, что пригодная для дела крапива росла на кладбище и рвать ее она должна сама, — как же ей найти выход из этого положения?

«Что значит боль в пальцах по сравнению с муками, терзающими мое сердце! — думала она. — Я должна рискнуть! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, словно она готовилась совершить какой-то дурной поступок, когда лунной ночью она пробралась в сад, прошла по длинным аллеям и вышла на пустынные улицы, которые вели к кладбищу. Там, на широких могильных плитах, сидели отвратительные ведьмы; сбросив с себя лохмотья, точно собирались купаться, они своими длинными костлявыми пальцами разрывали свежие могилы, вытаскивали оттуда трупы и пожирали их. Элисе пришлось пройти мимо этих злобно уставившихся на нее ведьм, но она сотворила молитву, нарвала жгучей крапивы и вернулась с ней в замок.

Только один человек не спал в ту ночь и заметил ее — архиепископ. Теперь он убедился в своей правоте: с королевой что-то не так. Она — ведьма, поэтому околдовала короля и весь народ.

В исповедальне он рассказал королю о том, что видел и чего опасался, злобные слова слетали у него с языка, а резные изображения святых качали головами, словно хотели сказать: это неправда, Элиса невиновна! Но архиепископ истолковал это по-своему, утверждая, что даже святые свиде-

тельствуют против нее, качая головами и осуждая за грехи. Две крупные слезы покатились по щекам короля, и он вернулся в свои покои, а сердце его терзало отчаяние. Ночью он притворился, что спит, но сон бежал от него. И он заметил, как Элиса встала и исчезла в потайной комнате; так повторялось ночь за ночью, а он следил за ней.

С каждым днем король все больше мрачнел, Элиса это видела, но не понимала причины. Это ее пугало, а сердце страдало из-за братьев. На королевский бархат и пурпур катились соленые слезы, сверкавшие, как алмазы, а те, кто смотрел на эту роскошь, сами желали стать королевами! Но скоро она закончит работу, недоставало всего одной кольчуги. И опять у нее не хватило волокна, не осталось ни одной ветки крапивы. Еще раз, последний, ей надо сходить на кладбище и нарвать несколько пучков. Она с ужасом думала об одинокой прогулке и о страшных ведьмах, но решимость ее была непоколебима, как и ее вера в Господа.

Элиса отправилась в путь, но король и архиепископ пошли следом, они видели, что она скрылась за кладбищенскими воротами, а подойдя поближе, разглядели сидевших на могильных плитах ведьм; и король повернул обратно, ведь он решил, что среди них находится и та, чья головка еще сегодня вечером покоилась на его груди.

— Пусть ее судит народ! — сказал король.

И народ совершил суд — сжечь ее на костре.

Из великолепных королевских покоев ее перевели в мрачную сырую каморку с решетками на окнах, в которые врывался ветер. Вместо шелков и бархата ей кинули охапку собранной ею крапивы — подложить под голову. Жесткие, жгучие кольчуги, которые она сплела, должны были служить ей матрацем и коврами. Лучшего подарка они не могли ей сделать, и она, молясь Господу, снова взялась за работу. С улицы до Элисы доносились оскорбительные песенки уличных мальчишек; ни одна живая душа не утешила ее добрым словом.

Вечером возле решетки раздалось хлопанье лебединых крыльев — это разыскал сестру самый младший брат. И она разрыдалась от радости, хотя знала, что эта ночь, наверное, последняя в ее жизни. Но и работа подходила к концу, и братья были с ней.

Пришел архиепископ, чтобы провести с Элисой последние часы, — он обещал это королю, но она покачала головой, и взглядом и жестами попросила его уйти. Этой ночью она обязана завершить работу, иначе все было бы напрасно. Все — ее страдания, слезы, бессонные ночи. Архиепископ удалился, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиса знала, что ни в чем не виновата, поэтому продолжала работать.

Мыши, сновавшие по полу, чтобы хоть немного помочь ей, приносили к ее ногам стебли крапивы, а сидевший за зарешеченным окном дрозд всю ночь пел ей веселую песенку, уговаривая не падать духом.

На рассвете, за час до восхода солнца, одиннадцать братьев Элисы появились у ворот замка и потребовали провести их к королю. Им ответили, что это невозможно, еще ночь, король спит, и никто не смеет его будить. Они просили, начали угрожать, явилась стража, а потом и сам король, узнать, в чем дело. Но тут взошло солнце, и никаких братьев больше не было, над замком лишь взмыли в небо одиннадцать белых лебедей.

Из городских ворот валом валил народ, всем хотелось посмотреть, как будут сжигать ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиса. На нее набросили плащ из грубой мешковины, ее чудесные длинные волосы струились по плечам, в лице не было ни кровинки, губы медленно шевелились, а пальцы плели зеленое волокно. Даже на пороге смерти она не прекращала начатой работы. Десять кольчуг лежало у ее ног, одиннадцатую она доплетала. Чернь глумилась над ней.

— Посмотрите на ведьму — как бормочет! В руках-то у нее не сборник псалмов, нет, она возится со своими колдовскими штучками, вырвем-ка их у нее да порвем на клочки!

Народ обступил Элису, собираясь вырвать из рук ее работу, но тут прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг нее по краям телеги и захлопали могучими крыльями. Толпа в страхе отступила.

— Это знамение свыше! Она невиновна! — зашептали многие, но не посмели сказать это.

Палач схватил Элису за руку, она поспешно накинула одиннадцать кольчуг на лебедей, и перед ней возникли одиннадцать прекрасных принцев, только у самого младшего вместо одной руки было лебединое крыло: Элиса не успела докончить кольчугу, в ней недоставало одного рукава.

— Теперь я могу говорить! — воскликнула она. — Я невиновна!

И люди, видевшие, что произошло, преклонили перед ней колена, как перед святой, а она без чувств упала в объятия братьев — вот как подействовали на нее напряжение, боль и страх.

— Да, она невиновна! — сказал старший брат и поведал обо всем, что случилось, и пока он говорил, в воздухе распространился аромат, как от миллиона цветов, потому что каждое полено в костре пустило корни и побеги, которые образовали громадный благоухающий куст красных роз. А на верхушке его сверкал, словно звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элисы, и она пришла в себя, ощущая в сердце покой и блаженство.

Зазвонили сами по себе церковные колокола, слетелись стаями птицы, и к замку потянулось свадебное шествие, какого не доводилось еще видеть ни одному королю.

РАЙСКИЕ КУЩИ

Жил-был принц. Ни у кого не было столько прекрасных книг, как у него. Из них он узнавал обо всем, что произошло в мире и что отображалось в великолепных иллюстрациях. Он мог получить сведения о любом народе, о любой стране, лишь о том, где находятся райские кущи, не было сказано ни слова, а именно это и интересовало его больше всего.

Еще в детстве, когда принцу только предстояло учиться в школе, бабушка рассказывала ему, что в райских кущах каждый цветок — сладкое пирожное, а каждая тычинка наполнена изысканным вином. В одних цветах скрывалась история, в других — география или таблица умножения; стоило съесть такое пирожное — и ты знал свой урок. Чем больше ты их съедал, тем обширнее становились твои познания по истории, географии и арифметике.

В то время принц этому поверил. Но по мере того, как он рос, учился и делался умнее, он стал понимать, что в райских кущах должно быть что-то еще, намного более заманчивое.

— Ах, зачем Ева сорвала яблоко с древа познания! Зачем Адам вкусил запретного плода! Будь я на их месте, такого бы не случилось и грех никогда бы не проник в этот мир!

Так говорил он тогда, так говорил и сейчас, когда ему уже исполнилось семнадцать лет!

Однажды принц отправился в лес совсем один, он любил гулять в одиночестве.

Наступил вечер, сгустились тучи, и полил такой дождь, что, казалось, небо превратилось в огромный шлюз, из которого вырывалась вода. Стало так темно, как бывает лишь ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то падал, спотыкаясь о голые камни, торчавшие из скалистого грунта. Вода стекала с него ручьями, на бедном принце не осталось сухой нитки. Ему приходилось перелезать через громадные валуны, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже валился с ног и вдруг услышал странный шум и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры горел костер, над которым можно было бы изжарить целого оленя; да так оно и было: на вертеле, укрепленном между двумя срубленными елями, медленно вращался великолепный олень с ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, высокая и могучая, точно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим.

— Подходи поближе! — сказала она. — Садись у костра, обсушись!

— Какой ужасный сквозняк! — сказал принц, усаживаясь на пол.

— То ли еще будет, когда вернутся мои сыновья! — ответила женщина. — Ты ведь находишься в пещере ветров; мои сыновья — четыре ветра, понимаешь?

— А где твои сыновья?

— На глупые вопросы отвечать нелегко! — сказала женщина. — Мои сыновья ходят сами по себе, играют в лапту облаками там, в большом доме! — И она указала рукой на небо.

— Вот как! — проговорил принц. — Вы вообще-то резко выражаетесь, не так обходительно, как другие женщины вокруг меня.

— Да у них, верно, других забот нет! Мне приходится быть суровой, чтобы держать в узде сыновей! И я справляюсь, хоть

они у меня большие упрямцы! Видишь четыре мешка, что висят на стене? Они боятся их так же, как ты боялся розог, заткнутых за зеркало. Я, скажу тебе, могу согнуть их в бараний рог и засадить в мешок безо всяких церемоний! Они сидят там и пикнуть не смеют, пока я не разрешу. Ну вот, один явился!

Это был Северный ветер. С ним в пещеру ворвался ледяной холод, по полу запрыгали большущие градины, поднялась метель. Одет он был в штаны и куртку из медвежьей шкуры, шапка из тюленьей шкуры закрывала уши; с бороды свисали длинные сосульки, а с воротника куртки скатывались одна за другой градины.

— Не подходите сразу к огню! — предостерег принц. — А то лицо и руки прихватит морозом!

— Морозом! — громко захохотал Северный ветер. — Для меня лучше мороза ничего нет! Это что еще за слюнтяй? Как попал в пещеру ветров?

— Он мой гость! — сказала старуха. — А если тебе такое объяснение не по вкусу, можешь отправляться в мешок! Ты же меня знаешь!

Угроза подействовала, и Северный ветер рассказал, откуда он прибыл и где провел почти целый месяц.

— Я прямо с Ледовитого океана, — начал он, — был на Медвежьем острове, где русские охотились на моржей. Я спал, сидя на руле, когда они отплывали с Нордкапа! Время от времени я просыпался и видел, как шныряли подо мною буревестники. Забавные птицы! Ударят резко крыльями, а потом распластают их в воздухе и, не шевеля ими, быстро летят вперед!

— Обойдемся без подробностей! — сказала мать. — Итак, ты прилетел на Медвежий остров.

— Там прекрасно! Это пол для танцев, плоский, как тарелка! Подтаявший снег, смешанный с мхом, острые камни и скелеты моржей и белых медведей, похожие на кости великанов, покрытые зеленой плесенью. Можно подумать, что

солнечные лучи никогда на них не падали. Я слегка дунул, чтобы развеять туман над каким-то сараем; оказалось, что это жилье, сооруженное из корабельных обломков и обтянутое моржовыми шкурами мясом наружу, красно-зеленого цвета. На крыше сидел и ворчал белый медведь. Я отправился на берег и увидел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов, которые пищали, разевая рты. Я взял и дунул в эти тысячи глоток, научил их держать рот на замке. У самой воды развалились моржи, похожие на живые кишки или исполинских червей, со свиными головами и аршинными клыками!

— До чего славно ты рассказываешь, сынок! — сказала мать. — У меня аж слюнки текут!

— Ну, а потом охотники начали бить моржей! Всадили гарпун моржу в грудь, да так, что кровь фонтаном брызнула на лед. Тут я надумал повеселиться! Я дунул, и мои корабли — айсберги — сдавили их лодки. Как они заверещали, как заорали, а я верещал еще громче! Пришлось им выкидывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины. Я осыпал их снегом и погнал зажатые льдами суда с уловом к югу, попробовать соленой водички. Теперь они на Медвежий остров не вернутся!

— Выходит, злое дело сотворил! — сказала мать.

— О моих добрых делах пусть другие рассказывают, — ответил он. — А вот и мой братец с запада, я люблю его больше других, у него привкус моря, и он приносит с собой благодатную прохладу!

— Так это малыш зефир? — спросил принц.

— Конечно, зефир, — ответила старуха, — да только он вовсе не малыш. В старые времена он был красивым парнем, а сейчас уже не то!

Западный ветер напоминал дикаря: на голове здоровенная шапка, в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах — ни больше ни меньше!

— Откуда явился? — спросила мать.

— Из девственных лесов, — ответил он, — где колючие лианы преграждают доступ к деревьям, где во влажной траве извиваются огромные змеи, где в человеке, похоже, вовсе нет надобности!

— Что же ты там делал?

— Смотрел, как низвергается со скал глубокая река, как вода, превратившись в пыль, вздымается к облакам, чтобы удержать радугу. Я видел, как переплывал реку дикий буйвол, но течение увлекло его с собой, и он плыл в окружении диких уток; утки перед самым водопадом взлетели, а буйвол ухнул вниз. Мне это понравилось, и я надул бурю, которая повалила вековые деревья, и они поплыли по воде, превращаясь в щепки.

— И это все? — спросила мать.

— Я кувыркался в саваннах, гладил диких лошадей, рвал кокосы! Да, я много чего могу рассказать, но не обо всем, что знаешь, следует говорить. Тебе-то ведь это известно, старушка!

И он так крепко поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь. И вправду дикарь.

Тут явился Южный ветер, в тюрбане и развевающемся бедуинском плаще.

— Ну и холодина у вас здесь! — сказал он, подбрасывая дров в костер. — Сразу понятно, что Северный ветер появился первым!

— Здесь такая жара, что можно белого медведя изжарить! — возразил Северный ветер.

— Сам ты белый медведь! — ответил Южный ветер.

— В мешок захотели? — спросила старуха. — Садись вот сюда, на камень, да расскажи, где был.

— В Африке, матушка! — ответил он. — Охотился с готтентотами на львов на земле кафров! Какая трава растет там на равнинах, зеленая, как оливка! Там танцевали антилопы, а страусы бегали со мной наперегонки, да я побыстрее их на ногу. Я побывал в желтых песках пустыни, похожей на морское дно, и встретил караван! Люди зарезали своего последнего верблю-

да, чтобы добыть воды, но досталось им всего чуть-чуть. Сверху палило солнце, снизу жарил песок. Пустыне не было ни конца ни краю. И тогда я принялся валяться по мелкому мягкому песку, вздымая его столбами в воздух; вот это пляска получилась! Ты бы видела, с каким унылым видом стояли дромадеры, а купцы натянули на головы кафтаны. И попадали передо мной ниц, точно перед своим Аллахом. Теперь они все погребены — под пирамидой из песка. Если я когда-нибудь ее смету, солнце выбелит их кости, и другие путники поймут, что здесь раньше были люди, а то, находясь в пустыне, в это трудно поверить!

— Значит, ты творил одно зло! — сказала мать. — Марш в мешок!

Южный ветер и глазом моргнуть не успел, как она обхватила его за талию и засунула в мешок; он начал кататься в мешке по полу; тогда она села на него, и он сразу утих.

— Лихие у тебя сыновья! — сказал принц.

— Да уж, — ответила женщина, — но я их держу в узде! А вот и четвертый!

Это был Восточный ветер, одетый китайцем.

— Так ты из тех краев! — воскликнула мать. — Я-то думала, ты был в райских кущах.

— Туда я полечу лишь завтра! — ответил Восточный ветер. — Завтра стукнет сто лет, как я там не был! Сейчас я из Китая, где танцевал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели. Внизу на улице пороли чиновников, бамбуковые палки так и ломались об их плечи. Это были мандарины от первой до девятой степени, и они кричали: «Превеликое спасибо, наш отец и благодетель!» Но никакой благодарности и в помине не испытывали. А я в это время звонил в колокольчики и напевал: «Тзинг, тзанг, тзу!»

— Проказник! — сказала старуха. — Хорошо, что ты завтра отправишься в райские кущи, ты всегда там набираешься ума! Попей вволю из источника Мудрости и для меня бутылочку налей!

— Обязательно! — сказал Восточный ветер. — Но почему ты запрятала моего брата с Юга в мешок? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс; принцесса райских кущ непременно расспрашивает меня об этой птице, когда я раз в сто лет наношу ей визит. Развяжи мешок, дорогая мамочка, а я за это подарю тебе два кармана свежего зеленого чая, собранного прямо на плантации!

— Ну, за чай, а еще за то, что ты мой любимчик, я развяжу мешок.

И она так и сделала. Из него вылез Южный ветер, правда, со смущенным видом — ведь чужестранный принц все видел.

— Вот тебе пальмовый лист для принцессы! — сказал Южный ветер. — Он такой единственный в мире, мне дала его старая птица Феникс; на нем она клювом нацарапала всю историю своей вековой жизни. Теперь принцесса сама сможет прочитать ее. Я видел, как птица Феникс подожгла свое гнездо и сгорела в нем, точно вдова индуса. Затрещали сухие ветки, и от них пошли дым и аромат. Наконец все было охвачено пламенем, старая птица Феникс превратилась в пепел, но в огне осталось ее раскаленное яйцо. Оно с громким треском лопнуло, и из него вылетела молодая птица Феникс, единственная в мире, она теперь правитель надо всеми птицами земли. Она проклюнула дырочку в пальмовом листе — это ее привет принцессе!

— Пора подкрепиться! — сказала мать ветров, и все они, усевшись, принялись за жареного оленя. Принц сидел рядом с Восточным ветром, и вскоре они уже были на дружеской ноге.

— Скажи мне, — спросил принц, — что это за принцесса, о которой здесь так много говорилось, и где находятся райские кущи?

— Хо, хо! — воскликнул Восточный ветер. — Хочешь попасть туда, лети завтра со мной! Правда, должен признаться, что со времен Адама и Евы в райские кущи не ступала нога человека! Они, верно, знакомы тебе по Библии!

— Разумеется! — ответил принц.

— Когда их изгнали, райские кущи ушли под землю, но там по-прежнему светит солнце, воздух ласкает кожу, повсюду разлита благодать. Теперь это обитель королевы фей. Там есть остров Блаженства, куда не заглядывает смерть, где так прекрасно. Садись мне завтра на спину, и я отнесу тебя туда. Думаю, получится. А сейчас хватит болтать, спать пора!

И они все заснули.

На заре принц проснулся и в страшном замешательстве обнаружил, что уже летит в заоблачных высях. Он сидел на спине Восточного ветра, и тот добросовестно его держал. Они летели на такой высоте, что леса и пашни, реки и моря казались нарисованными на огромной освещенной географической карте.

— Доброе утро! — сказал Восточный ветер. — Вообще-то ты бы мог еще поспать, пока на этих равнинах под нами смотреть особенно не на что. Если только у тебя не возникнет желания посчитать церкви! Они разбросаны, точно меловые точки на зеленой доске.

Зеленой доской он называл пашни и луга.

— С моей стороны было невежливо не попрощаться с твоими матерью и братьями! — сказал принц.

— Ты спал, и это тебя извиняет! — отозвался Восточный ветер, и они полетели еще быстрее. Это было заметно по тому, как шумели под ними кроны деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко, точно лебеди на воде, ныряли в них корабли.

Под вечер, когда стемнело, было забавно смотреть на большие города; в них то тут, то там вспыхивали огоньки — точь-в-точь искорки, бегущие по зажженной бумаге, что твои ребятишки, которые во всю прыть мчатся из школы домой. Принц захлопал в ладоши, но Восточный ветер велел ему перестать и покрепче держаться, а то еще свалится и повиснет на каком-нибудь церковном шпиле.

Легко и быстро летел орел в черном лесу, но Восточный ветер несся еще легче. По равнине во весь опор скакал на маленькой лошадке казак, но ему было не угнаться за принцем.

— А вот и Гималаи! — сказал Восточный ветер. — Высочайшие горы в Азии. Скоро доберемся до райских кущ!

Они свернули к югу, и вскоре в воздухе разлились ароматы пряностей и цветов. Повсюду росли дикие финиковые пальмы, гранаты и виноград с синими и красными ягодами. Здесь-то они и опустились и растянулись на нежной траве, в которой цветы кивали головками ветру, словно говоря: «С возвращением!»

— Мы уже в райских кущах? — спросил принц.

— Нет, что ты! — ответил Восточный ветер. — Но скоро туда попадем. Видишь ту скалу и в ней большую пещеру, вход в которую завешан, точно зелеными занавесями, виноградной лозой? Ее-то нам надо пройти насквозь. Закутайся поплотнее в плащ: здесь палит солнце, но один шаг — и настанет лютый холод. У птицы, пролетающей мимо, одно крыло ощущает летнее тепло, а другое — зимнюю стужу.

— Значит, это и есть дорога в райские кущи?

Они вошли в пещеру. Ух, какой лютый мороз, но он держался недолго. Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет, как от яркого пламени. Вот это пещера! Над их головами нависали огромные, самых причудливых форм каменные глыбы, с которых капала вода. Временами проход так сужался, что им приходилось пробираться ползком, а потом своды пещеры опять поднимались на недосягаемую высоту и раздавались в ширину, и тогда создавалось впечатление, что ты под открытым небом. Пещера напоминала усыпальницу с немыми органными трубами и окаменевшими знаменами.

— Мы идем в райские кущи дорогой смерти? — спросил принц, но Восточный ветер, не говоря ни слова, указал впе-

ред; навстречу им струился чудный голубой свет; каменные глыбы над ними постепенно стали исчезать в тумане, который под конец сделался прозрачным, как белое облако в лунном свете. Они вышли на воздух — удивительно мягкий и ласковый, свежий, как в горах, и пропитанный ароматами, как в долине роз.

Там протекала река, по прозрачности не уступавшая воздуху, а в ней плавали рыбы, отливавшие серебром и золотом. В воде резвились пурпурно-красные угри, испускавшие при каждом движении голубые искры; широкие листья водяных лилий переливались всеми цветами радуги, а сами цветы горели желто-красным пламенем, питавшимся водой, как огонь в лампе питается маслом! Перекинутый через реку мраморный мост, такой тонкой и искусной работы, словно он был сделан из кружев и бус, вел на остров Блаженства, где раскинулись райские кущи.

Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели красивейшие песни, знакомые принцу с детства, но воспроизвести их изумительное звучание человеческому голосу было не под силу.

А это пальмы или гигантские водяные растения? Таких сочных могучих деревьев принцу еще не приходилось видеть. С них спускались длинные гирлянды удивительных ползучих растений, какие красками и золотом изображают разве что на полях старинных священных книг или в переплетениях виньеток. Тут были редкостные сочетания птиц, цветов и завитушек. На траве невдалеке стояли павлины с распущенными блистающими хвостами! Конечно, павлины! Но нет, потрогав их, принц понял, что это не птицы, а растения: огромные листья щавеля переливались, как хвосты павлинов. Между зелеными изгородями, которые издавали аромат цветов оливы, бегали, словно гибкие кошки, ручные львы и тигры. Дикий лесной голубь, сиявший, словно жемчужина, хлопал львов по гривам, а стоявшая

рядом антилопа, вообще-то робкое по натуре животное, кивала головой, точно давая знать, что она тоже не прочь поиграть.

Но вот вышла фея Рая; ее одежды сияли, точно солнце, а лицо светилось той нежностью, какую источает счастливая мать, не нарадующаяся на своего ребенка. За юной красавицей шествовали прелестные девушки со сверкающими звездами в волосах.

Восточный ветер отдал ей исписанный лист птицы Феникс, и глаза ее заблестели от радости. Фея взяла принца за руку и повела в свой замок, стены которого были окрашены в цвета самых чудных тюльпанов, освещенных солнцем, а потолок и вовсе представлял собой громадный лучистый цветок, и чем дольше ты на него смотрел, тем бездоннее казалась его чашечка.

Принц подошел к окну, посмотрел в одно из стекол и увидел Древо познания, змея на нем и стоявших рядом Адама и Еву.

— Разве их не изгнали? — спросил он.

Фея, улыбнувшись, объяснила, что на каждом стекле время оставило свою печать, картину, но не нарисованную, а живую: листья на деревьях шевелились, люди приходили и уходили, все, как бывает с отражениями в зеркале. Он посмотрел в другое стекло и увидел сон Иакова: уходила в небо лестница, и ангелы с большими крыльями то взмывали вверх, то опускались вниз. Да, все, что произошло когда-то в этом мире, жило и двигалось на оконных стеклах; подобную живопись могло оставить лишь время.

Фея, улыбаясь, провела принца в просторный зал с высоким потолком, его стены напоминали прозрачные картины, изображавшие головки, одна прелестнее другой. Это были миллионы блаженных, они улыбались и пели, и их голоса сливались в гармоничную мелодию. Самые верхние были меньше крохотного бутона розы, если изобразить его на бумаге в виде точки. Посреди зала стояло могучее дерево

с раскидистыми ветвями; в зелени листвы висели золотые, похожие на апельсины яблоки, большие и маленькие. То было Древо познания, чьих плодов отведали Адам и Ева. С каждого листочка капала алая роса — дерево точно плакало кровавыми слезами.

— Давай сядем в лодку! — сказала фея. — И там, на водном просторе, освежимся напитками! Лодка только покачивается, но не двигается с места, а перед нашими глазами проплывут все страны мира.

Удивительно было смотреть, как мимо движется берег. Вот показались исчезавшие в облаках высокие, покрытые снегом Альпы, поросшие черными елями, раздался жалобный звук рога, а из долины донеслось переливчатое пение пастуха. Вот над лодкой нависли длинные ветви банановых пальм, по воде поплыли угольно-черные лебеди, а на берегу появились редкостные животные и цветы: это была Новая Голландия, пятая часть света; она проплыла мимо, открывая взору далекие голубые горы. Вот послышалось пение жрецов, под звуки барабанов и костяных туб плясали дикари. Проплыли мимо уходившие в облака египетские пирамиды, низверженные колонны и наполовину погребенные в песке сфинксы. Надо льдами Севера полыхало северное сияние, подобного фейерверка никому не повторить. Принц был вне себя от счастья, он ведь видел в сто раз больше того, о чем мы тут рассказываем.

— И я могу остаться здесь навсегда? — спросил он.

— Это зависит от тебя самого! — ответила фея. — Если ты не поддашься соблазну совершить нечто запретное, как Адам, можешь оставаться!

— Я не дотронусь до яблок с Древа познания! — ответил принц. — Здесь тысячи других плодов, намного лучше!

— Испытай себя, и если сил тебе не достанет, лети с Восточным ветром, который принес тебя. Он скоро улетает и вернется сюда не раньше, чем через сто лет. Это время здесь про-

мелькнет для тебя, как сто часов, но это долгий срок для того, кому предстоит не поддаться искусу и не впасть в грех. По вечерам, уходя от тебя, я буду звать: «Иди со мной!» — и стану манить рукой. Но ты не трогайся с места, не следуй за мной, ибо с каждым шагом твое желание будет усиливаться. Ты войдешь в зал, где растет Древо познания, — я сплю под его раскидистой благоухающей кроной. Тебе захочется наклониться надо мной, и я улыбнусь, но если ты поцелуешь меня в губы, райские кущи уйдут глубоко под землю и ты утратишь их навсегда. Резкий ветер пустыни будет сбивать тебя с ног, ледяной дождь мочить твои волосы, горе и беды станут твоим уделом.

— Я остаюсь! — воскликнул принц.

Восточный ветер поцеловал его в лоб и сказал:

— Будь сильным, и тогда мы встретимся здесь через сто лет! Прощай! Прощай!

И он расправил свои могучие крылья. Они сияли, словно зарницы осенью или северное сияние холодной зимой. «Прощай! Прощай!» — неслось от цветов и деревьев. Стаи пеликанов и аистов развевающейся лентой полетели проводить его до границ кущ.

— Скоро начнутся танцы, — сказала фея. — Но под конец, на закате солнца, когда я буду танцевать с тобой, ты увидишь, что я маню тебя рукой, услышишь, как я зову тебя: «Иди со мной!» Не слушай меня! Каждый вечер все сто лет будет повторяться то же самое. Но с каждым разом ты будешь становиться сильнее и в конце концов думать об этом забудешь. Сегодня вечером твое первое испытание. Я тебя предупредила!

Фея повела его в просторный зал, сделанный из белых прозрачных лилий, у которых вместо желтых тычинок были маленькие золотые арфы, — звенели струны, звучали флейты. Прелестные девушки, стройные и легкие, одетые в развевающийся флер, не скрывавший их чу́дных рук и ног, порхали в танце и пели о том, как прекрасна жизнь, о своем бессмертии и вечно цветущих райских кущах.

Зашло солнце, небо превратилось в сплошное золото, окрасившее лилии в чистые тона красивейших роз. Принц выпил пенистого вина, которое ему поднесли девушки, и почувствовал такое блаженство, какого никогда прежде не испытывал. Он увидел, как раскрылась задняя стена зала, и перед ним предстало ослепительное Древо познания. Оттуда донеслось пение, нежное и ласковое, как голос его матери, который, казалось, пел: «Дитя мое! Мое любимое дитя!»

И тут фея поманила его рукой и ласково позвала: «Иди ко мне! Иди ко мне!» И принц кинулся к ней, забыв свое обещание, забыв в первый же вечер, а она все манила его и улыбалась. Аромат, пряный аромат, разлитый в воздухе, стал насыщеннее, арфы заиграли еще чудеснее, и создавалось такое впечатление, что миллионы головок в зале, где стояло дерево, кивали и пели: «Все надо познать! Человек — хозяин Земли!»

С листьев Древа познания уже не капали кровавые слезы, а сыпались красные мерцающие звездочки — так казалось принцу. «Иди ко мне! Иди ко мне!» — умолял голос, и с каждым его шагом щеки принца пламенели все больше и все сильнее бурлила в нем кровь.

«А что в том такого! — сказал он себе. — Ведь это же не грех, это не может быть грехом! Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я хочу только посмотреть на нее спящую! Это ведь не запрещено, а целовать я ее не стану, я сильный, у меня твердый характер!»

Фея сбросила с себя сверкающее одеяние, раздвинула ветви и в одно мгновение скрылась под ними.

— Я еще не согрешил! — сказал принц. — И не сделаю этого.

И он раздвинул ветви. Она уже спала, прекрасная, какой может быть только фея райских кущ. Она улыбнулась во сне, принц склонился над ней и увидел слезинки на ее ресницах.

— Ты плачешь из-за меня? — прошептал он. — Не плачь, моя красавица! Только теперь я понимаю, что такое райское блаженство, оно проникло в мою кровь, в мои мыс-

ли, я ощущаю в своем земном теле силу херувима и вечную жизнь. Пусть потом настанет для меня вечная ночь, дороже одной такой минуты нет ничего!

И он поцеловал слезы на ее ресницах, его губы коснулись ее губ.

Тут раздался страшнейший удар грома, какого никто никогда еще не слыхал, и все рухнуло: прекрасная фея и цветущие райские кущи провалились глубоко-глубоко под землю. Принц видел, как они проваливаются в черную ночь, превращаясь в далекую мерцающую звездочку! Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал замертво.

Ледяной дождь поливал его лицо, резкий ветер трепал волосы, и принц очнулся.

— Что я наделал! — вздохнул он. — Согрешил, как Адам согрешил, и теперь райские кущи ушли глубоко под землю!

Он открыл глаза; в небе еще мерцала звезда; так мерцали ушедшие под землю райские кущи, — то была утренняя звезда.

Принц встал; он находился в том же лесу, у пещеры ветров, а рядом с ним сидела их мать. Лицо ее было искажено от гнева, рука поднята.

— В первый же вечер! — произнесла она. — Так я и думала! Будь ты моим сыном, отправился бы в мешок!

— Он еще туда попадет! — сказала Смерть, крепкая старуха с косой в руке и большими черными крыльями. — Его положат в гроб, но не сейчас. Я только поставлю на нем свою метку и дам ему время побродить по свету, искупить свой грех, исправиться! Но когда-нибудь я явлюсь. Когда он меньше всего будет этого ждать, я уложу его в черный гроб, поставлю гроб себе на голову и полечу к звездам. Там тоже цветут райские кущи, и если он окажется добрым и благочестивым, он сможет войти туда; если же его мысли будут преисполнены злом, а сердце — грехом, гроб с ним низвергнется глубже, чем райские кущи, и лишь один раз в тысячу лет я стану приходить за ним, чтобы он либо погрузился еще глубже, либо остался на звезде, на вон той сияющей звезде!

СУНДУК-САМОЛЕТ

Жил-был купец, такой богатый, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу и еще переулок в придачу. Но он этого не делал, он знал, как распорядиться деньгами: платя скиллинг, он наживал далер. Такой уж был купец. И вот он умер.

Все его деньги достались сыну, который зажил на широкую ногу: каждую ночь он ходил на балы-маскарады, сооружал змеев из банкнот, пускал круги по воде, бросая в озеро золотые монеты вместо камешков. В общем, деньги текли у него между пальцев. В конце концов остались у купеческого сына четыре скиллинга, пара тапок и старый халат. Друзья не хотели больше его знать — им было неловко показаться с ним на улице. Но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук и посоветовал паковать вещи. Все бы хорошо, да только купеческому сыну нечего было паковать, поэтому он залез в сундук сам.

А сундук был непростой. Стоило нажать на замо́к, как сундук взмывал в небо. Купеческий сын так и поступил, и сундук, в котором он сидел, вылетел через трубу, взлетел под облака и понес его в дальние края. Дно у сундука потрескивало, нагоняя страх на купеческого сына — не дай бог, сундук развалится, славный прыжок ему бы тогда пришлось совершить! Но вот они прилетели в Турцию. Купеческий сын

спрятал сундук в лесу под кучей сухих листьев и пошел в город. Он вполне мог себе это позволить, ведь все турки, как и он, ходили в халатах и тапках. На улице повстречал он кормилицу с ребенком.

— Скажи-ка, турецкая мамка, — обратился он к ней, — что это за огромный дворец стоит недалеко от города и окна в нем так высоко от земли?

— В нем живет королевская дочь! — ответила кормилица. — Ей нагадали, что она станет несчастной по вине своего суженого, поэтому никому не дозволяется навещать ее в отсутствие короля с королевой!

— Спасибо! — поблагодарил купеческий сын, отправился в лес, сел в сундук, взлетел на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

Она спала на диване и была так прекрасна, что купеческий сын не удержался и поцеловал ее. Она проснулась и страшно перепугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, который прилетел к ней по воздуху, и ей это понравилось.

Они уселись рядышком, и он принялся рассказывать ей разные байки: о ее глазах — это, мол, два изумительных темных озера, в которых мысли плавают, как русалки; о ее лбе — это, мол, снежная гора, в которой находятся роскошные залы и картины; и об аисте, который приносит людям славных детишек.

Замечательные были байки! А потом купеческий сын посватался к принцессе, и она сразу согласилась.

— Но вы должны быть здесь в субботу, — сказала она. — Ко мне на чашку чая придут король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, только постарайтесь рассказать им какую-нибудь историю позатейливей, мои родители такие обожают. Мать предпочитает что-нибудь нравоучительное и изысканное, а отец — что-нибудь веселое, чтобы можно было посмеяться!

— Я не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! — сказал купеческий сын.

На этом они и расстались, правда, принцесса подарила ему саблю, усыпанную золотыми монетами, а ему как раз их-то и недоставало.

Он улетел из дворца, купил себе новый халат и уселся в лесу сочинять историю; она должна была быть готова к субботе, а это все же нелегкое дело.

Но вот он закончил свое сочинение, и наступила суббота.

Король, королева и весь двор собрались у принцессы на чаепитие. Купеческому сыну оказали самый радушный прием.

— Не расскажете ли вы нам какую-нибудь историю? — попросила королева. — Серьезную и поучительную.

— Но чтобы в ней было бы над чем посмеяться! — сказал король.

— Разумеется! — ответил купеческий сын и начал рассказывать.

Слушайте внимательно.

«Жил-был коробок серных спичек, которые страшно гордились своим высоким происхождением — их родословное древо, то есть высокая сосна, из которой и сделали эти маленькие палочки, было самым могучим, самым древним деревом в лесу. Спички лежали теперь на полке между огнивом и старым железным котелком, им-то спички и рассказывали о своей юности.

— Да, нам жилось отменно, когда мы были зелеными ветвями! — сказали спички. — По утрам и вечерам алмазный чай — это роса, в солнечную погоду на нас светило солнце, а все пташки рассказывали нам сказки. И мы хорошо понимали, что богаты, потому что лиственные деревья одеты только летом, а наша семья располагала средствами на зеленые одежды и летом, и зимой. Но вот явились дровосеки, произошла великая революция, и нашу семью разбросало

по всему миру. Глава семьи — ствол — получил место грот-мачты на роскошном корабле, который мог бы проплыть вокруг света, если бы захотел; ветви попали кто куда, а нам выпало на долю светить черни. Потому-то мы, такие знатные господа, и очутились на кухне.

— А у меня иной удел! — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. — С тех пор как я появился на свет, меня все время чистят и ставят на огонь. Я забочусь о насущном и, собственно говоря, занимаю первое место в доме. Моя единственная радость — стоять после обеда чистым и блестящим на полке и вести приятную беседу с товарищами. Вообще же все мы, если не считать ведра, которое иногда бывает во дворе, домоседы. Новости нам приносит только корзинка, но она слишком резко отзывается о правительстве и народе. Да, недавно вот старый горшок от ее слов со страху свалился с полки и разбился вдребезги! Слишком свободный взгляд на вещи у этой особы, скажу я вам!

— Больно ты разболтался! — произнесло огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. — Может, проведем вечер повеселее?

— Да, давайте поговорим о том, кто из нас знатнее! — сказали спички.

— Нет, я не люблю говорить о себе, — отозвалась глиняная миска. — Давайте развлечемся! Я начну и расскажу о том, что каждый из вас испытал. Это будет всем понятно и приятно: “На берегу родного моря, под сенью буковых дерев...”

— Ах, какое замечательное начало! — воскликнули тарелки. — Это получится настоящая история, мы уверены!

— Да, там в одной тихой семье провела я свою юность. Мебель полированная, пол чисто вымыт, каждые две недели меняли занавески!

— Как интересно вы рассказываете! — сказала метелка. — Сразу становится понятно, что рассказывает женщина. Чувствуется особая чистоплотность!

— И правда, чувствуется! — воскликнуло ведро и подпрыгнуло от радости, плеснув воды на пол.

Миска продолжила рассказ, и конец вышел не хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зеленую петрушку и увенчала ею миску. Она знала, что это разозлит остальных, но подумала: «Сегодня я увенчаю ее, а завтра она меня».

— Мы хотим танцевать! — сказали угольные щипцы и пустились в пляс. Господи, помилуй, как высоко они задирали то одну ногу, то другую! Старая обивка на стуле, который стоял в углу, лопнула от такого зрелища!

— А нас увенчают? — спросили щипцы. И их увенчали.

"Все они лишь чернь!" — подумали серные спички.

Пришла очередь самовара, ему предложили спеть. Но он отказался, уверяя, что простужен и петь может, только когда кипит. Но он просто важничал, потому что хотел петь лишь на столе у хозяев.

На подоконнике стояла чернильница, а в ней — старое гусиное перо, которым обычно писала служанка; ничем особенным оно не отличалось, кроме того, что слишком глубоко было погружено в чернильницу, но именно этим перо и гордилось.

— Самовар не желает петь! — сказало оно. — Ну и не надо! За окном в клетке сидит соловей, пусть он споет! Правда, он неуч, но сегодня вечером мы о плохом не говорим!

— Я считаю в высшей степени неуместным слушать какую-то чужеземную птицу, — возразил чайник, кухонный певун и сводный брат самовара. — Разве это патриотично? Пусть нас корзинка рассудит!

— Я вне себя, — отозвалась корзинка, — поверьте, я просто вне себя! Неужели можно вот таким образом проводить вечера? Лучше перевернуть все вверх дном! Тогда бы каждый занял свое место, а я бы всем руководила! Было бы совсем другое дело!

— Да, давайте устроим шурум-бурум! — закричали все.

Но тут дверь отворилась, и вошла служанка. Все присмирели и прикусили язычки. Каждый горшок знал, на что он способен и какой он знатный. “Если бы я захотел, — думали они про себя, — у нас бы получился веселый вечерок!”

Служанка взяла спички и развела огонь. Господи, помилуй, как они зашипели и заполыхали.

“Теперь каждому ясно, что мы здесь первые! — подумали они. — Какой от нас блеск, какой свет!” И они сгорели».

— Чудесная сказка! — сказала королева. — Я словно сама побывала на кухне со спичками! Ты достоин руки нашей дочери.

— Безусловно! — подтвердил король. — Свадьбу сыграем в понедельник!

Теперь они обращались к купеческому сыну на «ты», ведь он будет членом семьи.

День свадьбы был объявлен, и накануне вечером весь город украсили иллюминацией. В толпу летели булочки и крендели, уличные мальчишки, стоя на цыпочках, кричали «ура!» и свистели в два пальца. Все было великолепно.

«Надо бы и мне что-нибудь придумать!» — решил про себя купеческий сын. Он накупил разных ракет, хлопушек и всего, что только требовалось для фейерверка, сложил все это в сундук и взмыл в небо.

Ух, какой пошел треск, какое шипение!

Турки прыгали так, что их тапки падали им на головы, подобного зрелища они никогда не видели. Теперь все поверили, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Как только купеческий сын вернулся в свой лес, он подумал: «Пойду-ка в город, послушаю, что там говорят обо мне!» Вполне резонное желание.

Сколько было разговоров! Кого бы он ни спрашивал, каждый рассказывал об увиденном по-своему, но все в один голос говорили, что зрелище было незабываемое.

— Я видел самого турецкого бога, — сказал один, — глаза его сверкали, как звезды, а борода была — точно морская пена!

— Он летел в огненном плаще, — сказал другой, — а из складок выглядывали прелестные ангелочки!

Да, про множество чудесных вещей наслышался купеческий сын, а на другой день должна была состояться его свадьба.

Он отправился обратно в лес, чтобы сесть в сундук. Но где же он? Сундук сгорел. В него попала искра от фейерверка, сундук загорелся, и от него осталась лишь зола. Купеческий сын больше не мог летать, не мог явиться к своей невесте.

Она целый день простояла на крыше, ожидая его, и до сих пор там стоит. А он бродит по белу свету и рассказывает сказки, только они выходят у него не такие веселые, как сказка про спички.

АИСТЫ

На крыше дома, стоявшего на самой окраине в одном маленьком городе, свили себе гнездо аисты. В нем сидела мама-аист с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои головки с черными клювиками, — они еще не успели покраснеть. Неподалеку на коньке крыши вытянулся в струнку папа-аист и поджимал под себя одну ногу, чтобы хоть чем-нибудь заняться, стоя на часах. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, настолько он был неподвижен.

«Как благородно это, должно быть, выглядит — у гнезда моей жены стоит часовой! — размышлял он. — Никто же не знает, что я ее муж, все, наверное, думают, что мне приказали стоять тут в карауле. Вот здорово!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играла ватага ребятишек. Увидев аиста, самый храбрый из мальчишек затянул старинную песенку об аистах, как он ее помнил, а потом подхватили и остальные:

Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?

Попусту хлопочешь,
Мы изловим их!
Одного повесим,
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого
На костер мы бросим
И тебя не спросим!*

— Слышишь, что поют мальчишки! — сказали птенцы. — Они говорят, что нас повесят и сожгут!

— Не обращайте внимания! — ответила их мать. — Не слушайте их, ничего не случится!

Но мальчишки продолжали петь, показывая на аистов пальцами. Только один мальчик, которого звали Петер, сказал, что грешно дразнить птиц и что он не хочет в этом участвовать. Мама-аист утешала птенцов:

— Не обращайте внимания! Посмотрите лучше, как спокойно стоит ваш отец, да еще на одной ноге!

— Нам страшно! — сказали птенцы, пряча головы в гнездо.

На следующий день ребятишки снова вышли на улицу поиграть и, увидев аистов, опять затянули свою песенку:

Одного повесим,
В пруд швырнем другого...

— Так нас повесят и утопят? — спросили птенцы.

— Да нет же! — ответила мать. — Я научу вас летать, мы будем упражняться! А потом мы полетим на луг, в гости к лягушкам, они будут приседать перед нами в воде и петь: «Ква-ква!» А мы съедим их — это настоящее развлечение!

— А потом? — спросили птенцы.

---

* Перевод А. и П. Ганзенов.

— Потом аисты со всей страны соберутся на осенние маневры, и тут уж надо уметь летать как следует, это очень важно. Того, кто не умеет летать, генерал проткнет насквозь своим клювом. Поэтому, когда начнется обучение, старайтесь изо всех сил!

— Значит, нас все-таки заколют, как сказали мальчишки! Слышишь, они опять поют!

— Слушайте меня, а не их! — сказала мать. — После больших маневров мы полетим в теплые края, далеко-далеко отсюда, за горы, за леса. Полетим в Египет, где есть треугольные дома, вершины которых скрываются в облаках. Они называются пирамидами и построены так давно, что ни один аист не может себе представить. Там протекает река, и, когда она разливается, берега покрываются илом. Ходишь по илу и ешь лягушек.

— О! — воскликнули птенцы.

— Да! Там прекрасно! Целый день только и знаешь, что ешь. А в то время, когда нам будет так хорошо, в этой стране на деревьях не останется и листочка, наступят такие холода, что облака смерзнутся в куски и станут падать на землю белыми лоскутиками!

Она имела в виду снег, но не сумела выразиться яснее.

— А эти противные мальчишки тоже смерзнутся в куски? — спросили птенцы.

— Нет, в куски они не смерзнутся, но померзнуть и поскучать в темных комнатах им придется! А вы будете летать по чужой стране, где цветут цветы и греет солнце!

Прошло какое-то время, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и осматривать окрестности. Папа-аист каждый день приносил им вкусных лягушек, маленьких ужей и другие аистиные лакомства, какие только он находил. А какие смешные фокусы он им показывал: клал голову на хвост, щелкал клювом, так что казалось, будто там у него трещотка, и еще рассказывал им разные болотные истории.

— Ну, пора вам учиться летать! — сказала однажды мама-аист, и всем четырем птенцам пришлось выбраться на конек крыши. Как же они шатались, стараясь удержать равновесие с помощью крыльев, чуть не падали!

— Смотрите на меня! — сказала мать. — Вот как надо держать голову! Вот как надо ставить ноги! Раз-два! Раз-два! Только это позволит вам пробиться в жизни!

Она взмахнула крыльями и описала небольшой круг. Птенцы неуклюже подпрыгнули — шмяк! Они еще были тяжелы на подъем.

— Не желаю летать! — заявил один из птенцов и залез обратно в гнездо. — Не нужны мне теплые края!

— Хочешь замерзнуть здесь насмерть, когда придет зима? Хочешь, чтобы мальчишки тебя повесили, сожгли и изжарили? Сейчас я их позову!

— Нет, нет! — воскликнул птенец и вспрыгнул на конек крыши к остальным.

На третий день они уже с грехом пополам летали и даже вообразили, будто могут парить в воздухе. Но как только попробовали — шмяк! — свалились вниз. Пришлось опять работать крыльями.

На улице появились мальчишки, которые опять затянули:

Аист, аист белый...

— Давайте слетим и выклюем им глаза! — предложили птенцы.

— Нет, ни в коем случае! — сказала мать. — Слушайте лишь меня, это для вас намного важнее! Раз, два, три! Летим направо! Раз, два, три! Теперь налево, вокруг трубы! Прекрасно! Последний взмах крыльями был настолько хорош, что завтра вы полетите со мной на болото! Туда прилетят несколько славных семейств аистов с детьми, мне хочется, чтобы все увидели, что вы самые красивые, и держи́те голову повыше, это производит впечатление и внушает уважение!

— Но неужели мы не отомстим гадким мальчишкам? — спросили птенцы.

— Пусть кричат, сколько им влезет! Вы же полетите к облакам, в страну пирамид, а они останутся здесь мерзнуть, и не будет у них ни зеленого листика, ни сладкого яблока!

— Мы отомстим! — шепнули друг другу птенцы и продолжили занятия.

Из мальчишек громче всех горланил издевательскую песенку тот, кто ее первым и затянул, — совсем малыш, лет шести. Птенцы, правда, думали, что ему лет сто, потому что он был намного больше их матери и отца, да и откуда им что-то знать о возрасте детей и взрослых людей. Месть птенцов должна была обрушиться именно на этого мальчишку, ведь это он начал первым и никак не желал угомониться. Они страшно на него злились, и чем взрослее становились, тем меньше желали сносить обиду. В конце концов матери пришлось пообещать им, что они получат возможность отомстить, но только в последний день их пребывания в этой стране.

— Посмотрим сначала, как вы проявите себя на больших маневрах! Если вы не справитесь, генерал проткнет вам грудь клювом, и тогда окажется, что мальчишки правы во всем! Посмотрим!

— Сама увидишь! — заверили птенцы и принялись усердно упражняться.

Они упражнялись каждый день и наконец стали летать так легко и красиво, что просто загляденье.

Наступила осень. Аисты начали готовиться к отлету в теплые края. Вот это были маневры! Аисты должны были летать над лесами и городами, чтобы проверить свои силы перед предстоящим длинным путешествием. Птенцы великолепно справились с заданием и получили «отлично», а вдобавок лягушек и ужей. Выше оценки и не бывает, к тому же лягушек и ужей можно съесть, что они и сделали.

— Теперь мы отомстим! — сказали они.

— Разумеется! — ответила мать. — Я тут кое-что придумала, это будет справедливо! Я знаю, где находится пруд, в котором спят человеческие детки, пока за ними не прилетит аист и не отнесет их к родителям. Славные крохи видят сны, каких им больше никогда не увидеть. Все родители хотят иметь ребеночка, а все дети хотят иметь сестричку или братика. Давайте слетаем к этому пруду и принесем по малютке в дом к тем мальчикам, которые не пели злой песенки и не дразнили аистов, а остальные останутся с пустыми руками!

— А с тем, который все начал, — воскликнули птенцы, — с тем злым, гадким мальчишкой что мы сделаем?

— В пруду есть один мертвый младенец, он заспался до смерти. Его-то мы и отнесем гадкому мальчишке. Пусть поплачет, увидев, что мы принесли ему мертвого братика. А тому доброму мальчику — вы ведь не забыли его, он сказал, что грешно дразнить животных, — мы принесем и братика, и сестричку. А раз его зовут Петером, все вы тоже будете зваться Петерами!

Так и произошло, как она сказала, и всех аистов стали звать Петерами и до сих пор так зовут.

БРОНЗОВЫЙ ВЕПРЬ

(ИСТОРИЯ)

Во Флоренции, недалеко от площади Грандука, есть переулок, который, если я не ошибаюсь, называется Порта Росса. В переулке перед небольшим овощным рынком стоит искусно выполненный бронзовый вепрь, из пасти которого бежит чистая, свежая вода. Само животное почернело и позеленело от времени, только морда блестит, как начищенная: ее отполировали дети и взрослые, которые, упираясь в нее руками, подставляли свои рты под струю воды. Просто загляденье смотреть, как какой-нибудь прелестный полуголый мальчуган обнимает статное животное, прижимаясь губами к его морде.

Всякий, кто попадет во Флоренцию, легко найдет это место — стоит лишь спросить первого встречного нищего о бронзовом вепре.

Был поздний зимний вечер, горы лежали в снегу, но в небе сияла луна. А луна в Италии освещает все вокруг так, как если бы это был день, темный зимний день у нас на Севере, — да нет, намного лучше, потому что здесь светится сам воздух и небо кажется выше, а на Севере холодная свинцовая крыша придавливает нас к земле, сырой, ледяной земле, и когда-нибудь придавит крышку нашего гроба.

В герцогском саду, где тысячи роз цветут даже зимой, под кроной пинии целый день просидел маленький оборвыш,

мальчуган, который мог бы послужить живым символом Италии — такое прелестное, улыбающееся и такое страдающее у него лицо. Его мучили голод и жажда, но сегодня ему никто не подал ни одной монетки, а когда стемнело и пришла пора закрывать сад, привратник его выгнал. Мальчуган долго стоял на мосту через Арно, мечтательно глядя на звезды, мерцавшие в воде, отделявшей его от роскошного мраморного моста Тринита.

Оборвыш направился к бронзовому вепрю, нагнулся, обхватил рукой его шею и, прильнув ртом к блестящей морде, начал жадно пить чистую воду. Рядом валялись несколько салатных листьев и пара каштанов — они пошли ему на ужин. На улице — ни души, мальчуган был совсем один; он уселся на спину бронзового вепря, положил свою курчавую головенку на голову животного и мигом заснул.

В полночь вепрь зашевелился, и мальчик явственно услышал, как тот сказал: «Держись крепче, малыш, сейчас я побегу!» И вепрь побежал. Скачка вышла отменная!

Сперва они прискакали на площадь Грандука, и бронзовый конь под статуей герцога громко заржал. Пестрые гербы на старой ратуше сделались прозрачными и засветились, а Давид работы Микеланджело замахал своей пращой; удивительная жизнь царила вокруг! Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» точно ожили: их предсмертные крики разносились по великолепной пустынной площади.

Бронзовый вепрь остановился у Палаццо дельи Уффици, под аркой, где во время карнавала собирается знать.

— Держись крепче! — сказал вепрь. — Держись крепче! Мы начинаем подниматься по лестнице!

Мальчик до сих пор не проронил ни слова, трепеща от страха и от счастья. Они вошли в длинную галерею, хорошо ему известную — он бывал здесь и раньше. На стенах красовались живописные полотна, повсюду стояли статуи и бю-

сты, освещенные бесподобным светом, словно бы сейчас был день, но все померкло по сравнению с тем, что предстало перед глазами мальчика, когда отворилась дверь в один из соседних залов. Всю эту роскошь он хорошо помнил, но этой ночью она явилась ему во всем своем блеске.

Перед ним стояла удивительной красоты обнаженная женщина — само совершенство, которое способны создать только природа и великий художник, ваяющий в мраморе. Ее изумительное тело двигалось, у ее ног резвились дельфины, а в глазах светилось бессмертие. Люди зовут ее Венерой Медицейской. По обеим сторонам богини располагались прекрасные юноши, один из которых точил меч; его называют Точильщиком. На другом постаменте вели схватку борцы. Меч точился ради богини красоты, ради нее же сражались борцы.

Мальчик был просто ослеплен всем этим блеском: стены переливались красками, вокруг — жизнь и движение. Вдвое больше было изображение другой Венеры, земной Венеры, роскошной, полной огня женщины, какой видел ее в своем сердце Тициан. Необыкновенное зрелище — эти две красавицы. Прекрасное, ни чем не прикрытое тело покоилось на мягком ложе, грудь ее вздымалась, голова чуть шевелилась, так, что густые локоны падали на округлые плечи, а темные глаза горели страстью. Но ни одна из картин, однако, не осмеливалась выступить из рамы. Богиня красоты, борцы и точильщик тоже оставались на своих местах, ибо их сковывало сияние, лившееся от Мадонны, Иисуса и Иоанна. Святые перестали быть образами и воплотились в людей!

Бронзовый вепрь шаг за шагом обходил залы, и мальчик увидел всю их роскошь и весь блеск, красоту и великолепие. Одно впечатление вытеснялось другим, и лишь одна картина врезалась мальчику в память: на ней были изображены радостные и счастливые дети, когда-то, при дневном свете, мальчик даже кивнул им.

Многие бы, наверное, не обратили внимания на эту картину, а между тем это поэтическое сокровище. На картине изображен Христос, спускающийся в преисподнюю, но его окружают не грешные страдальцы, а язычники. Ее написал флорентийский художник Анджело Бронзино. Самое примечательное в картине — выраженная на лицах детей уверенность в том, что они попадут на небеса. Двое малышей уже обнимаются, один протягивает руку другому, стоящему пониже, и указывает на себя, словно говоря: «Я иду на небо!» На лицах взрослых сомнение и надежда, некоторые склонились в смиренной мольбе к Иисусу.

На эту картину мальчик смотрел дольше всего, вепрь терпеливо ждал. И вдруг послышался вздох. Из картины или из груди животного? Мальчик потянулся рукой к смеющимся детям, но вепрь торопливо побежал обратно, через открытый зал.

— Спасибо тебе, славное животное! — сказал мальчик и погладил вепря, который уже сбегал — бум, бум! — вниз по лестнице.

— И тебе спасибо! — ответил вепрь. — Я помог тебе, а ты помог мне, потому что, только если на моей спине сидит невинный ребенок, у меня появляются силы бегать. Тогда я могу даже проходить под светом, льющимся из лампады перед образом Мадонны! Я способен отнести тебя куда угодно, но только не в церковь. Хотя заглянуть в открытые двери — с тобой на спине — мне дозволено. Не слезай с меня, если ты это сделаешь, я умру и стану таким, каким ты видишь меня днем в Порта Росса.

— Я не покину тебя, мой милый вепрь! — сказал мальчик, и они вихрем понеслись по улицам Флоренции к площади перед собором Санта-Кроче.

Огромные двери раскрылись; на алтаре горели свечи, освещая церковь и безлюдную площадь. С надгробного памятника в левом приделе струился какой-то необыкновенный свет, образуя что-то вроде нимба из тысяч движущихся звезд. На плите кра-

совался герб — красная, словно пылающая в огне лестница на голубом фоне. Это была гробница Галилея; монумент незамысловатый, но герб — красная лестница на голубом фоне — полон глубокого смысла. Он мог бы служить символом самого искусства, ибо оно всегда ведет по пылающей лестнице наверх, к небесам. Все пророки духа попадают на небеса, как пророк Илия.

Изображения на роскошных саркофагах в правом приделе церкви, казалось, ожили. Тут стоял Микеланджело, там — Данте с лавровым венком на челе, Альфиери, Макиавелли; бок о бок покоятся здесь эти великие мужи, гордость Италии*. Эта церковь великолепна, намного красивее, хотя и меньше по размерам, чем Флорентийский собор.

Складки мраморных одеяний словно шевелились, казалось, будто великие мужи поднимают головы, вглядываясь в ночь, а потом устремляют взоры на цветной сияющий алтарь, где пели и кадили позолоченными кадилами мальчики в белоснежных одеждах. На площади распространялся запах благовоний, исходивший из церкви.

Мальчик протянул руку к светлому сиянию, но в тот же миг бронзовый вепрь помчался прочь. Наезднику пришлось покрепче прижаться к животному, ветер свистел в ушах мальчика, он услышал, как с лязгом закрылись церковные двери; тут сознание оставило ребенка, его охватило ледяным холодом — и он открыл глаза.

Было уже утро; мальчик почти совсем соскользнул с бронзового вепря, который, как всегда, стоял в переулке Порта Росса.

---

* Неподалеку от гробницы Галилея находится гробница Микеланджело, на ней — его бюст и три аллегорические фигуры: Скульптура, Живопись и Архитектура; рядом гробница Данте (тело его покоится в Равенне). На ней изображена Италия, указывающая на колоссальную статую Данте; Поэзия оплакивает утрату. В двух шагах надгробный памятник Альфиери, украшенный лавром, лирой и масками; над гробом плачет Италия. Гробница Макиавелли заканчивает этот ряд памятников великих мужей Италии. *(Прим. автора)*.

Страх и отчаяние переполнили мальчика при мысли о той, кого он называл матерью. Она вчера послала его раздобыть денег, а он ничегошеньки не насобирал; как же мучили его голод и жажда! Он еще раз обнял вепря за шею, поцеловал в морду, кивнул ему головой и направился на одну из самых узких улиц, где едва мог пройти навьюченный осел. Он вошел в полуотворенную, окованную железом дверь, поднялся по грязной, кирпичной лестнице со скользкой веревкой вместо перил и вошел в открытую галерею, увешанную лохмотьями. Отсюда другая лестница спускалась во двор; там находился колодец, из которого ко всем этажам дома были протянуты толстые железные канаты, а по ним беспрерывно скользили ведра с водой; скрипел ворот, ведра танцевали в воздухе, и из них во двор выплескивалась вода. По полуразвалившейся кирпичной лестнице мальчик стал подниматься еще выше. Навстречу ему сбегали двое русских матросов, которые чуть не сбили его с ног. Они возвращались с ночной пирушки. За ними спускалась немолодая пышнотелая женщина с черными волосами.

— Сколько принес? — спросила она мальчика.

— Не сердись! — взмолился он. — Ничего! Совсем ничего! — И он вцепился в подол материного платья, точно желая поцеловать его. Они вошли в комнату, описывать ее мы не станем! Достаточно сказать, что там стоял кувшин с горячими углями, marito, как его называют, который женщина взяла в руки и, погрев ладони, пихнула мальчика локтем.

— Ясное дело, у тебя есть деньги! — сказала она.

Мальчик заплакал; она пнула его ногой, он громко завизжал.

— Замолчи, а не то разобью твою орущую башку!

И она замахнулась на него кувшином, который держала в руках; мальчик с криком бросился на пол.

В дверях появилась соседка, тоже с marito в руках.

— Феличита! Что ты делаешь с ребенком?

— Ребенок мой! — ответила Феличита. — Захочу — убью его и тебя в придачу, Джианнина!

И она замахнулась кувшином с углями; соседка подставила под удар свой, кувшины столкнулись, и по комнате разлетелись черепки, угли и пепел. А мальчик тут же выскочил из двери, промчался по двору и оказался на улице. Бедный ребенок бежал, пока у него не перехватило дыхание. Он остановился у церкви Санта-Кроче, той самой, врата которой открылись перед ним сегодня ночью, и вошел в нее. Вокруг все сияло; мальчик преклонил колена перед первой гробницей справа — это была гробница Микеланджело — и в голос зарыдал. Народ приходил и уходил, отслужили мессу, на мальчика никто не обращал внимания. Лишь один пожилой господин остановился, посмотрел на него, а потом тоже ушел, как и все остальные.

Мальчик совсем обессилел от голода и жажды; он забился в угол между стеной и мраморной гробницей и заснул. Уже наступил вечер, когда он проснулся — кто-то растолкал его, он вскочил и увидел перед собой того самого старика.

— Ты заболел? Где ты живешь? Ты провел здесь целый день? — засыпал его вопросами старик.

Мальчик ответил на них, и старик повел его в маленький домик, стоявший в одном из переулков поблизости. Они вошли в перчаточную мастерскую. Хозяйка прилежно шила, а на столе прыгала белая болонка, остриженная так коротко, что сквозь шерсть просвечивала розовая кожа. Собачка кинулась к мальчику.

— Невинные души узнают друг друга, — сказала женщина и погладила собачку и мальчика.

Добрые люди накормили и напоили мальчика и разрешили ему переночевать у них. Назавтра дядюшка Джузеппе собирался поговорить с его матерью. Мальчика уложили в бедняцкую кроватку, которая ему показалась королевским ложем — обычно он спал на жестком каменном полу. Он сладко заснул и видел во сне роскошные картины и бронзового вепря.

Утром дядюшка Джузеппе ушел, а несчастный мальчик приуныл: он знал, что его отведут к матери. Плача, он целовал шуструю собачку, а хозяйка кивала им головой.

И какое же известие принес дядюшка Джузеппе? Он долго говорил с женой, а она кивала и гладила мальчика по голове.

— Славный ребенок! — сказала она. — Станет прекрасным перчаточником, не хуже тебя. И пальцы у него тонкие и гибкие. Мадонна предначертала ему быть перчаточником!

И мальчик остался у них. Хозяйка учила его шить, его вкусно кормили, он отлично спал, повеселел и даже начал поддразнивать собачку Беллиссиму. Как-то раз хозяйка в ответ погрозила ему пальцем и сердито отругала, что очень огорчило мальчика; задумавшись, он сидел в своей каморке, где сушились кожи; окна, выходившие на улицу, были забраны толстыми железными решетками; ему не спалось, из головы не выходил бронзовый вепрь, и вдруг мальчик услышал: бумс, бумс! Наверняка это он! Мальчик подбежал к окну, но поздно: на улице никого не было.

— Помоги-ка синьору, возьми его ящик с красками! — как-то утром сказала хозяйка мальчику, увидев, как их молодой сосед, художник, тащит ящик и большой скатанный холст.

Мальчик взял ящик и пошел за художником. Они вошли в галерею и поднялись по лестнице, запомнившейся ему с той самой ночи, когда он скакал верхом на бронзовом вепре. Он узнал статуи и картины, прекрасную мраморную Венеру и Венер, изображенных красками, вновь увидел Богоматерь, Иисуса и Иоанна.

Мальчик с художником остановились у картины Бронзино, на которой Христос спускается в преисподнюю, а его окружают дети, улыбающиеся в сладостном предвкушении небесного блаженства; бедный мальчик тоже заулыбался, и он тоже почувствовал себя на небесах.

— Ну, теперь возвращайся домой, — сказал ему художник, уже успевший установить свой мольберт.

— А можно мне посмотреть, как вы будете рисовать? — спросил мальчик. — Можно посмотреть, как вы будете переносить эту картину на белое полотно?

— Сегодня я еще красками писать не буду, — ответил художник, беря угольный карандаш.

Рука его быстро задвигалась, он измерял картину на глаз, и, несмотря на то что наносил на холст лишь тонкие штрихи, там возник тот же парящий Христос, что и на картине, писанной маслом.

— Ну, ступай же! — сказал художник, и мальчик тихо побрел домой, сел за стол и стал учиться — шить перчатки.

Весь день он мысленно бродил по картинной галерее, поэтому то и дело колол себе пальцы иголкой, был рассеян, но и Беллиссиму не дразнил.

Вечером мальчик вышел в незапертую дверь на улицу; было холодно, на небе мерцали яркие звезды. Он пошел по уже безлюдным улицам и вскоре оказался перед бронзовым вепрем; он наклонился к нему, поцеловал его блестящую морду и сел ему на спину.

— Как же я соскучился по тебе, славное животное! — сказал мальчик. — Давай поездим сегодня ночью!

Вепрь не шелохнулся, из пасти била струя чистой воды. Мальчик сидел на вепре, как всадник на коне, и тут кто-то потянул его за край одежды; он оглянулся и увидел Беллиссиму, остриженную почти наголо крошку Беллиссиму. Собачка шмыгнула в дверь вслед за мальчиком и увязалась за ним, а он этого и не заметил. Беллиссима затявкала, словно хотела сказать: «Видишь, и я тут! Чего это ты здесь сидишь?»

Никакой огнедышащий дракон не привел бы мальчика в больший ужас, чем эта собачка здесь. Беллиссима на улице и «не одета», как выражалась хозяйка. Что же теперь будет?

Собачку никогда не выпускали зимой на улицу без сшитой специально для нее овчинной попонки. Попонка, украшенная бантиками и бубенчиками, привязывалась красными лентами к шее и под брюхом. Когда она в этом наряде зимой семенила рядом с синьорой, то напоминала козленка. Беллиссима на улице и не одета, что же теперь будет? Все мечты мальчика разбились; поцеловав бронзового вепря, он подхватил дрожавшую от холода Беллиссиму на руки и что было мочи припустил домой.

— Эй, куда бежишь и что это у тебя в руках? — закричали два шедших навстречу жандарма. Собачка залаяла. — У кого украл такую милую собачку? — спросили они и отобрали у мальчика животное.

— Ой, отдайте мне ее! — захныкал он.

— Если ты ее не украл, то скажи дома, чтобы забрали ее в караульне!

И они ушли с Беллиссимой.

Вот горе-то! Мальчик не знал, что делать: то ли броситься в Арно, то ли вернуться домой и покаяться. «Они, наверное, прибьют меня, — подумал он. — А я хочу, чтобы меня прибили, тогда я попаду к Иисусу и Мадонне!» И он отправился домой, главным образом, для того, чтобы его прибили.

Дверь была закрыта, до дверного молотка он не доставал, на улице ни души, но тут мальчик обнаружил булыжник и принялся им колотить в дверь.

— Кто там? — крикнули изнутри.

— Это я! — ответил он. — Беллиссимы нет! Откройте и прибейте меня!

Поднялась суматоха, особенно перепугалась за бедную Беллиссиму хозяйка. Она взглянула на стену, где обычно висела попонка, она была на месте.

— Беллиссима в караульне! — закричала она. — Негодный мальчишка! Как ты ее выманил на улицу! Она замерзнет! Мое нежное создание в руках грубых солдат!

Дядюшку срочно послали за собачкой. Хозяйка охала и стонала, мальчик плакал. Собрались все соседи, в том числе и молодой художник. Он притянул к себе мальчика и стал его расспрашивать; из обрывочных фраз и разрозненных слов ему удалось воссоздать всю историю целиком — и о бронзовом вепре, и о картинной галерее. Хотя рассказ мальчика понять было нелегко.

Художник утешал его, заступался за него перед старухой, но та не успокоилась до тех пор, пока не вернулся домой дядюшка с Беллиссимой, побывавшей у солдат. Вот была радость! Художник приласкал бедного мальчика и подарил ему целую стопку рисунков.

Замечательные рисунки получились, забавные! Но лучше всех удался бронзовый вепрь — совсем как живой. Что может быть чудеснее! Всего пара штрихов, и на бумаге возник вепрь, и даже дом, стоящий позади него.

«Вот бы уметь так рисовать и писать красками! Можно было бы завоевать весь мир!»

На следующий день, улучив момент, когда рядом никого не было, мальчик взял карандаш и на обратной стороне одного из рисунков попытался срисовать бронзового вепря. Получилось! Пусть вышло немного коряво и неровно, одна нога у вепря оказалась толще другой, но было понятно, что изображено. Мальчик ликовал! Карандаш, правда, не совсем его слушался — это он понимал, но назавтра рядом с этим вепрем появился еще один — в сто раз лучше. Третий же вышел просто отлично, всякий бы понял, кто это.

А вот с шитьем перчаток дело шло плоховато, и разные поручения, с которыми его посылали в город, мальчик исполнял медленно и неохотно. Бронзовый вепрь научил его, что на бумагу можно перенести любую картину и Флоренция — настоящий альбом, только перелистывай. На площади Тринита стоит изящная колонна, на ее вершине — Богиня пра-

восудия с завязанными глазами и с весами в руках. Скоро и она попала на бумагу, и перенес ее туда подмастерье перчаточника. Коллекция рисунков росла, но все это были изображения неодушевленных предметов. Однажды, посмотрев на резвившуюся Беллиссиму, он сказал ей:

— Стой смирно! И на моем рисунке ты выйдешь красавицей!

Беллиссима, однако, не желала стоять смирно, поэтому пришлось ее привязать, за шею и за хвост, но собачка, тявкая, продолжала прыгать, так что мальчик был вынужден затянуть шнурок потуже. И тут вошла синьора.

— Безбожник! Бедное животное! — вот все, что она смогла вымолвить. Она оттолкнула мальчика, пинком выгнала неблагодарного наглеца и безбожника из дома и, рыдая, осыпала свою любимую полузадохшуюся Беллиссиму поцелуями.

В это время по лестнице поднимался художник... Тут наша история делает крутой поворот.

В 1834 году во Флорентийской Академии художеств состоялась выставка. Две картины, висевшие рядом, привлекли особое внимание зрителей. На картине поменьше был изображен веселый мальчик, который сидел и рисовал; моделью ему служила маленькая, белая, очень коротко стриженная собачка. Но животное не желало стоять смирно, поэтому его и привязали за шею и хвост. Жизненность и достоверность картины всем пришлись по душе. Она, как говорили, принадлежала кисти молодого флорентийца, которого ребенком подобрал на улице и воспитал старик перчаточник и который самостоятельно выучился рисовать. Один, знаменитый теперь художник открыл его талант, когда мальчика выгнали из дома за то, что он связал любимою хозяйкину собачку, намереваясь нарисовать ее.

Подмастерье перчаточника стал великим художником! Об этом свидетельствовала и эта картина, а особенно та, боль-

шая, что висела рядом. На ней была всего одна фигура: прелестный мальчик в лохмотьях крепко спал, сидя верхом на бронзовом вепре в переулке Порта Росса*. Всем зрителям было хорошо знакомо это место. Руки ребенка покоились на голове животного; мальчик спал безмятежным сном, а на его бледное красивое лицо эффектно падал яркий свет от лампады, висевшей перед образом Мадонны. Прекрасная картина! На углу большой позолоченной рамы висел лавровый венок, но между зелеными листьями вилась черная лента и свисал длинный траурный креп.

Молодой художник умер как раз в те дни.

---

* *Бронзовый вепрь* — копия; оригинал же — мраморный, античных времен, стоит у входа в галерею Палаццо дельи Уффици. *(Прим. автора).*

ПОБРАТИМСТВО

Все дальше и дальше от датской земли
Летим мы на самый край света,
Вот Греции берег, здесь море вдали
Почти василькового цвета.

Здесь россыпь плодов ярко-желтых горит
На ветках деревьев лимонных,
Репейник пророс между мраморных плит,
А плиты — в рельефах исконных.

На камне пастух, и собака у ног,
И вместе с собакой пастушьей
О древнем обычае слушай, сынок,
О побратимстве послушай.*

Наш дом был слеплен из глины, а дверными косяками в нем служили рифленые мраморные колонны, обнаруженные на месте постройки. Крыша лежала чуть ли не на земле, сейчас она почернела, стала страшной, но клали ее из цветущих олеандров и свежих лавровых ветвей, привезенных из-за гор. Наш дом теснился между отвесных сизых скал, на вершинах которых нередко

* Перевод В.Тихомирова.

покоились облака, похожие на белых живых существ. Никогда я не слышал здесь птичьего пения, никогда не видел людей, танцующих под звуки волынки, тем не менее место считалось священным с древних времен, само название об этом говорит — Дельфы! Мрачные, угрюмые горы покрыты снегом, самая высокая из них, блиставшая дольше всего под красными лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Вода, струившаяся с него, превращалась в ручей у подножия нашего дома; он когда-то тоже считался священным, а теперь его мутит своими ногами осел; но поток стремителен, и вода вскоре снова становится чистой. Как хорошо я помню каждый уголок этих мест и его священную, глубокую уединенность! Посреди хижины разводили огонь, и в горячей золе, остававшейся от костра, пекли хлеб. Когда хижину почти совсем заносило снегом, моя мать веселела, обхватывала мою голову ладонями, целовала меня в лоб и пела песни, которые в другое время петь не смела, потому что турки, наши властители, их на дух не переносили. А пела она так: «На вершине Олимпа, в низком еловом лесу, плакал старый олень; плакал красными, зелеными и голубыми слезами, а мимо шел самец косули: "Что плачешь, олень, что роняешь красные, зеленые и голубые слезы?" Турки в наш город пришли, собак для охоты привели, целую свору. "Я погоню их с островов! — сказал молодой самец. — Погоню их с островов прямо в глубокое море!" Но к вечеру убили самца косули и оленя загнали».

И при этих словах глаза ее увлажнялись и на длинной реснице повисала слеза, но она, смахнув ее, поворачивала в золе черный хлеб. А я, сжимая кулак, говорил: «Мы убьем турок!» А мать снова напевала: «"Погоню их с островов прямо в глубокое море!" Но к вечеру убили самца косули и оленя загнали».

Много дней и ночей мы проводили одни, но вот возвращался отец. Я знал, что он принесет мне раковин из бухты Лепанто, а может, даже нож — острый и блестящий. Но однажды он принес с собой ребенка, маленькую голенькую де-

вочку, завернутую в шкуру; отец прятал ее под своим овчинным тулупом. Когда ее развернули и положили на колени моей матери, оказалось, что в ее черные волосы были вплетены три серебряные монеты. Отец рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и много чего другого, так что все это снилось мне потом целую ночь. Отца и самого ранили; мать перевязала ему плечо, рана был глубокая, толстая овчина пропиталась кровью, застывшей на морозе. Девчушка станет моей сестрой, она была такой прелестной, вся прямо светилась, ее глаза излучали ту же кротость, что и глаза моей матери. Анастасия — так ее звали — станет моей сестрой, потому что наши отцы побратались; они побратались еще в юности в соответствии с древним обычаем, сохраняющимся у нас и по сей день. Я много слышал об этом прекрасном обычае: братание всегда совершает самая красивая и добродетельная девушка в округе.

И вот малышка стала моей сестрой. Она сидела у меня на коленях, я приносил ей цветы и птичьи перья, мы вместе пили воду, струившуюся с Парнаса, мы спали голова к голове под лавровой крышей нашей хижины, и много зим подряд моя мать пела песню о красных, зеленых и голубых слезах. Но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражаются неисчислимые беды моего народа.

Однажды к нам явились трое иноземцев, одетых не так, как мы. Они привезли с собой на лошадях постели и палатки, их сопровождали не менее двадцати турок, с саблями и ружьями, потому что иноземцы были друзьями паши и имели письмо от него. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, взобраться на заснеженный, уходивший в облака Парнас и полюбоваться на отвесные скалы редкостного черного цвета, обступавшие нашу хижину. Поместиться в ней они не могли и, кроме того, не переносили дыма, поднимавшегося к потолку и выходившего потом через низкую дверь. Поэтому они раскинули палатки на уз-

кой площадке перед нашей хижиной и принялись жарить барана и дичь и разливать крепкое сладкое вино, каковое туркам пить не дозволялось.

Когда они уезжали, я их немного проводил, а сестричку Анастасию нес за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземцев поставил меня к скале и нарисовал нас; мы вышли как живые и казались одним существом. Мне это никогда не приходило в голову, но ведь действительно мы с Анастасией были как бы одним существом: она либо сидела у меня на коленях, либо висела за спиной, и во сне я видел только ее.

Через две ночи в нашей хижине появились другие люди, вооруженные ножами и ружьями. Это были албанцы — храбрый народ, как сказала моя мать. Они пробыли у нас недолго; моя сестренка Анастасия даже сидела у одного из них на коленях, а когда он ушел, у нее в волосах осталось две серебряные монеты вместо трех. Они крутили самокрутки и курили. Самый старший никак не мог решить, по какой дороге им лучше пойти.

— Плюну вверх, — говорил он, — попаду себе в лицо, плюну вниз — попаду себе на бороду!

Но дорогу-то все же надо было выбирать.

Они ушли, мой отец отправился с ними. Вскоре раздались выстрелы, потом еще. К нам в хижину вошли солдаты и забрали мою мать, меня и Анастасию с собой. Мы дали приют разбойникам, сказали солдаты, мой отец пошел с ними, поэтому нам тоже здесь не место. Я видел трупы разбойников, видел труп отца и плакал, пока не заснул. Проснулся я уже в тюрьме, но помещение там было не хуже, чем в нашей хижине. Мне дали лука и налили из бурдюка вина, отдававшего смолой, не сильно отличавшегося от нашего домашнего.

Сколько времени мы просидели в тюрьме, не помню, знаю лишь, что прошло много дней и ночей. Когда нас вы-

пустили, был праздник святой Пасхи. Я нес на спине Анастасию, потому что мать хворала и еле передвигала ноги. До моря, до бухты Лепанто, мы добрались нескоро. Мы вошли в церковь, сиявшую от ликов, написанных на золотом фоне, — это были прекрасные ангелы, но я подумал, что моя Анастасия столь же прекрасна. Посередине церкви стоял гроб, наполненный розами, эти чудесные цветы — Господь наш Иисус Христос, сказала мне мать. Священник провозгласил: «Христос Воскресе!» Все стали целовать друг друга, держа в руках зажженную свечку; дали свечки и нам с Анастасией. Загудели волынки, люди, взявшись за руки, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных ягнят, нас тоже пригласили к огню. Сидевший рядом парень, он был постарше, обнял меня за шею, поцеловал и произнес: «Христос Воскресе!» Так мы познакомились с Афтанидесом.

Мать моя умела плести рыболовные сети, здесь это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу моря — чудесного моря, соленого, как слезы, игрой красок напоминавшего слезы оленя: то оно делалось красным, то зеленым, а потом опять становилось синим.

Афтанидес хорошо греб, и мы с моей маленькой Анастасией частенько садились к нему в лодку, которая скользила по воде, как скользят по небу облака. Когда солнце садилось, горы окрашивались в темно-синий цвет, одна горная гряда выглядывала из-за другой, а вдали был виден Парнас в своей снежной шапке. В лучах вечернего солнца его вершина пламенела, точно раскаленное железо, и создавалось впечатление, что свет исходит изнутри горы, потому что она продолжала светиться в голубом сияющем небе еще долго после того, как скрывалось солнце. Белые чайки били крыльями по водному зеркалу, а вообще стояла такая тишина, какая бывает в Дельфах между черных скал. Я лежал на спине в лодке, Анастасия сидела у меня на груди, и звезды над нами бле-

стели ярче лампад в нашей церкви. Это были те же самые звезды, и располагались они там же, где обычно, когда я смотрел на них в Дельфах, возле нашей хижины. Под конец мне пригрезилось, что я все еще там! Тут раздался всплеск, лодку сильно качнуло; я громко вскрикнул — это упала в воду Анастасия. Но Афтанидес не растерялся, и вскоре он уже протягивал ее мне. Мы сняли с нее мокрую одежду, хорошенько выжали и снова надели на малышку. То же сделал и Афтанидес, и мы оставались в море, пока одежда не высохла, поэтому никто не узнал, какого страху мы натерпелись из-за приемной сестрички, в жизни которой Афтанидес теперь тоже принимал участие.

А вот и лето наступило! Солнце пекло так, что на деревьях пожухла листва. Я вспоминал наши прохладные горы и живительную воду. Мать тоже тосковала, и однажды вечером мы пустились в обратный путь. Какая тишина стояла вокруг! Мы шли по зарослям высокого тимьяна, который все еще благоухал, хотя солнце высушило его листву. Мы не встретили ни одного пастуха, не миновали ни одной хижины; кругом было безлюдно и тихо, и лишь падающие звезды напоминали о том, что там, на небе, есть жизнь. Не знаю, светился ли сам голубой прозрачный воздух или свечение исходило от звезд, но мы хорошо различали очертания гор. Мать развела огонь и пожарила луковицы, которые захватила с собой, и мы с сестренкой заснули в тимьяне, не страшась ни гадкого Смидраки*, из пасти которого вырывается пламя, ни волков, ни шакалов. Мать моя с нами, для меня этого было достаточно.

Наконец мы добрались до дома, но от хижины осталась только груда мусора, нужно было сооружать новую. Несколько женщин пришли матери на помощь, и за какие-то

* По поверью греков, это чудище рождается из неразрезанных и выброшенных на землю желудков забитых овец. *(Прим. автора)*.

считанные дни стены были подведены под олеандровую крышу. Мать начала плести из кожи и коры оплетки для бутылок, а я взялся пасти небольшое стадо священника*. Моими товарищами были Анастасия да черепашки.

Однажды нас навестил наш милый Афтанидес, по его словам, он очень соскучился, вот и пришел нас повидать. Он оставался у нас целых два дня.

Через месяц он появился снова и сообщил, что отплывает на корабле на Патрас и Корфу и поэтому пришел попрощаться. Моей матери он принес большую рыбину. Афтанидес много чего знал и рассказывал нам не только о рыбах в бухте Лепанто, но и о героях и королях, которые когда-то правили Грецией, как сейчас турки.

Я наблюдал, как на розовом кусте наливается бутон и как он через несколько дней или недель распускается в цветок, но никогда не размышлял о том, насколько бутон велик, красив и красен. Так получилось и с Анастасией. Она выросла, превратилась в настоящую красавицу; я был здоровым, сильным парнем. Волчьи шкуры на постелях моей матери и Анастасии я сам содрал со зверей, павших от моей пули. Годы шли.

Как-то вечером пришел Афтанидес, стройный, крепкий, загорелый. Перецеловав нас всех, он принялся рассказывать о великих морях, укреплениях на Мальте, удивительных погребениях в Египте. Его поразительные рассказы напоминали легенды, которые мы слышали от священников. Я смотрел на него со своего рода почтением.

— Как много ты всего знаешь! — воскликнул я. — Как умеешь рассказывать!

— Ты однажды поведал мне кое-что получше! — ответил он. — То, что не идет у меня из головы. Ты рассказал

* Грамотный крестьянин часто становится священником, и простолюдины его называют «святейшим отцом» и при встрече с ним падают ниц. *(Прим. автора)*.

о прекрасном старинном обычае побратимства. И этому обычаю я хочу последовать! Давай же станем побратимами, как это сделали твой отец и отец Анастасии. Пойдем в церковь, и самая прекрасная и невинная девушка, сестра Анастасия, скрепит наши узы! Ни у кого нет таких замечательных обычаев, как у нас, греков!

Анастасия зарделась, как лепесток розы, а моя мать поцеловала Афтанидеса.

В часе ходьбы от нашей хижины, там, где горы покрыты черноземом, под сенью нескольких деревьев стояла церквушка. Перед алтарем висела серебряная лампада.

Я надел свой лучший наряд: с бедер пышными складками спадала белая фустанелла, красная куртка плотно облегала грудь, на феске красовалась серебряная кисточка, а за поясом торчали нож и пистолеты. На Афтанидесе была голубая форма греческих моряков, на груди висел серебряный образок Божьей Матери, талию охватывал дорогой кушак, какой могут себе позволить лишь богатые господа. Каждому было понятно, что нам предстоит торжественный обряд. Мы вошли в уединенную церквушку, залитую лучами вечернего солнца, проникавшими через открытые двери и игравшими на горящей лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колена на ступенях алтаря, Анастасия встала перед нами. Длинное белое платье легко и свободно облегало ее стройный стан. Белую шею и грудь украшало похожее на широкий воротник монисто из старых и новых монет, черные волосы уложены в пучок, стянутый убором из золотых и серебряных монет, найденных в старых храмах. Ни одна гречанка не носила таких великолепных украшений. Лицо ее светилось, глаза сияли, как звезды.

Мы, все трое, сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:

— Хотите ли вы быть друзьями и в жизни, и в смерти?

— Да! — ответили мы.

— Будет ли каждый из вас, что бы с ним ни случилось, помнить, что твой брат — это часть тебя самого; твоя тайна — это его тайна, твое счастье — это его счастье; и ты будешь жертвовать собой, стоять за него, как за самого себя?

И мы повторили: «Да!»

Она соединила наши руки, поцеловала каждого в лоб, и мы еще раз помолились. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а за алтарной стеной раздалось пение «священных отцов». Вечный братский союз был заключен. Когда мы поднялись с колен, я увидел в дверях свою мать, плакавшую от счастья.

Какое веселье царило в нашей хижине и у дельфийского источника! Вечером накануне того дня, когда Афтанидесу предстояло покинуть нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мою талию, моя рука — его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на которых она могла положиться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И тут я схватил его за руку.

— И еще одно ты должен узнать, то, о чем до этой минуты знали лишь Господь и я! Мое сердце сгорает от любви! И эта любовь сильнее, чем любовь к матери и к тебе!

— И кого ты любишь? — спросил Афтанидес и густо покраснел.

— Анастасию! — ответил я.

Его рука задрожала в моей, а лицо покрылось смертельной бледностью. Я все заметил и все понял. Моя рука, кажется, тоже задрожала, я наклонился к нему, поцеловал в лоб и прошептал:

— Я еще не говорил ей этого, может быть, она меня не любит! Брат, вспомни, я видел ее ежедневно, она выросла у меня на глазах, вросла мне в душу!

— И она должна стать твоей! — сказал он. — Твоей! Я не могу и не хочу лгать тебе! Я тоже ее люблю! Но завтра я уезжаю. Мы увидимся через год, когда вы уже будете

мужем и женой, так ведь? У меня есть немного денег, они — твои! Ты можешь их взять, ты возьмешь их!

Мы молча поднялись по перевалу; уже вечерело, когда мы подошли к хижине моей матери.

Анастасия посветила нам при входе, матери дома не было. Анастасия с какой-то удивительной печалью посмотрела на Афтанидеса и сказала:

— Завтра ты покинешь нас! Как меня это огорчает!

— Огорчает... — повторил он, и мне послышалась в его голосе боль, сравнимая с моей собственной. Я не мог вымолвить ни слова, а он взял ее за руку и сказал: — Наш брат любит тебя, а ты его любишь? В его молчании — его любовь!

Анастасия затрепетала и разрыдалась. Я видел только ее, думал только о ней. Я обнял ее и проговорил:

— Да, я люблю тебя!

Она прижалась своими губами к моим, руки ее обвились вокруг моей шеи, но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарился такой же мрак, как в сердце милого бедного Афтанидеса.

Утром он поцеловал нас на прощание и ушел. Все свои деньги, предназначенные для нас, он отдал моей матери. Анастасия стала моей невестой, а через несколько дней и женой.

РОЗА С МОГИЛЫ ГОМЕРА

Во всех песнях Востока поется о любви соловья к розе. В тихие звездные ночи несется к благоухающему цветку серенада крылатого певца.

Недалеко от Смирны, у дороги, окаймленной высокими платанами, по которой купцы водят своих навьюченных верблюдов, гордо вытягивающих длинные шеи и неуклюже ступающих по священной земле, видел я цветущий розовый куст. В кронах платанов гнездятся дикие голуби, и в лучах солнца их крылья отливают перламутром.

На этом розовом кусте один цветок был особенно хорош, и ему-то изливал свою любовную боль соловей, а роза молчала; ни капли росы не блестело на ее лепестках слезой сострадания. Она вместе с ветвями клонилась к нескольким большим камням, лежавшим на земле.

— Здесь покоится величайший певец Земли, — говорила роза. — Над ней хочу я благоухать, на нее буду ронять свои лепестки, оборванные ветром! Прах певца «Илиады» смешался с землей, и из этой земли выросла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья!

А соловей пел, пока не умер.

Мимо проходил караван навьюченных верблюдов, за которым шли черные рабы. Маленький сын погонщика верб-

людов нашел мертвую птичку и похоронил крошечного певца в могиле великого Гомера, а роза все качалась на ветру.

Наступил вечер, и роза, поплотнее свернув лепестки, заснула. И приснился ей чудный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришли множество чужеземцев, среди которых был певец с Севера, из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил в книгу и увез с собой на другой конец света, на свою далекую родину. И роза завяла от горя, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

— Это роза с могилы Гомера!

Вот что снилось розе, а когда она проснулась, то затрепетала от порыва холодного ветра. Капля росы скатилась с ее лепестков на могилу певца, но вот встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего; день был жарким, ведь дело происходило в теплой Азии. Послышался шум шагов, появились чужеземцы, которых роза видела во сне, и среди них поэт с Севера. Он сорвал розу и, поцеловав ее, увез с собой в страну туманов и северного сияния.

Словно мумия, покоится теперь цветок в его «Илиаде», точно во сне слышит, как, открывая книгу, он говорит:

— Это роза с могилы Гомера!

ОЛЕ ЛУКОЙЕ

Никто на свете не знает столько историй, сколько знает их Оле Лукойе! Он настоящий рассказчик! Вечером, когда дети сидят за столом или на своих скамеечках, приходит Оле Лукойе; он неслышно поднимается по лестнице — ведь на ногах у него только чулки, — медленно приоткрывает дверь и — псс! — брызгает детям в глаза молоком, тоненькой-тоненькой струйкой, но все же так, чтобы дети не могли открыть глаза и увидеть его. Потом подкрадывается к ним сзади и легонько дует им в затылки — голова у них тяжелеет, но это не причиняет боли, потому что Оле Лукойе не желает детям зла, он хочет лишь, чтобы они угомонились, а лучше всего — заснули, только тогда он, Оле Лукойе, сможет рассказывать им разные истории.

Когда же дети заснут, он садится к ним на кровать; одет он отлично: на нем шелковый камзол, правда, трудно сказать, какого цвета — он отливает то зеленым, то красным, то голубым, в зависимости от того, куда он поворачивается. Под мышками у него два зонтика: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, чтобы они всю ночь смотрели прекраснейшие сны, а другой — простой, без картинок, его он раскрывает над непослушными детьми, и они спят как убитые, а проснувшись утром, говорят, что им не снилось ровным счетом ничего.

Давайте же послушаем, как Оле Лукойе целую неделю каждый вечер приходил к маленькому мальчику по имени Яльмар и рассказывал ему истории! Получится целых семь историй, потому что в неделе семь дней.

Понедельник

— Знаешь что, — сказал Оле Лукойе, уложив Яльмара в постель, — сейчас я наведу тут красоту!

И все комнатные цветы превратились в большие деревья; их длинные ветви протянулись вдоль стен к самому потолку, так что комната стала похожа на роскошную беседку. Ветви были усыпаны цветами, по красоте не уступавшими розам; они испускали чудный аромат, а на вкус, если бы вам вздумалось их попробовать, были слаще варенья. Плоды сверкали, как золотые, а еще там висели булочки, чуть не лопавшиеся от набитого в них изюма, просто бесподобно!

Вдруг из ящика стола, где лежали школьные принадлежности Яльмара, раздались ужасающие стоны.

— Это еще что такое! — удивился Оле Лукойе, подошел к столу и выдвинул ящик. Оказалось, это горевала и сокрушалась грифельная доска: в записанные на ней вычисления вкралась ошибка, и они готовы были рассыпаться. Грифель скакал и прыгал на своей бечевке, словно собачонка: ему очень хотелось помочь вычислениям, да он не мог! Стонала и тетрадь Яльмара, страшно было слушать! В начале каждой страницы сверху вниз стояли большие буквы, а рядом с ними маленькие — это была пропись. А возле них располагались буквы, которые думали, будто они держатся так же твердо. Их написал Яльмар, и казалось, что они падают на линейки, на которых должны были стоять.

— Смотрите, как надо держаться! — сказала пропись. — С наклоном, размашисто!

— Мы бы рады, — ответили буквы Яльмара, — да вот занедужили!

— Тогда вам надо дать детского порошка! — сказал Оле Лукойе.

— Нет, нет! — закричали буквы и выпрямились, любо-дорого смотреть.

— Так, теперь нам не до историй! — сказал Оле Лукойе. — Будем упражняться — раз, два! Раз, два!

И он упражнялся с буквами до тех пор, пока они не встали ровно и красиво, как в любой прописи. Но когда Оле Лукойе ушел и Яльмар увидел их утром, они выглядели так же жалко, как и прежде.

Вторник

Как только Яльмар улегся, Оле Лукойе брызнул из своей волшебной спринцовки на комнатную мебель, и все предметы начали болтать, все они говорили о себе, кроме плевательницы — она молча злилась на их тщеславие: они говорили только о себе, думали только о себе и совсем не вспоминали про ту, что скромно стоит в углу и позволяет плевать в себя.

Над комодом висела большая картина в позолоченной раме; на ней был изображен пейзаж: высокие старые деревья, цветы в траве, широкая река, несшая свои воды мимо множества замков за лес, в открытое море.

Оле Лукойе брызнул на картину из волшебной спринцовки, и нарисованные на ней птицы запели, кроны деревьев заколыхались, по небу побежали облака, отбрасывая тени.

Оле Лукойе поднес маленького Яльмара к раме, тот сунул ноги в картину — и вот он уже стоит в высокой траве, а сквозь ветви деревьев на него светит солнце. Он подбежал к реке и сел в качавшуюся на воде лодку. Она была выкрашена в красно-белые цвета, а паруса блестели серебром; шесть лебедей, увенчанных золотыми коронами с сияющей голубой звездой, повлекли лодку мимо зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных эльфах и о том, что они услышали от мотыльков.

За лодкой плыли изумительной красоты рыбы с чешуей, отливавшей золотом и серебром, то и дело с громким плеском выпрыгивая из воды; за Яльмаром двумя длинными вереницами летели птицы — красные и голубые, большие и маленькие; танцевали комары, жужжали майские жуки. Все хотели сопровождать Яльмара, и у каждого была приготовлена для него история.

Вот это получилось плавание! Леса то густели и темнели, то становились похожими на прекрасные, освещенные солнцем сады, полные цветов. По берегам возвышались большие хрустальные и мраморные замки; на их балконах стояли принцессы — знакомые Яльмару девочки, с которыми он когда-то играл. Они протягивали ему руки, и у каждой на ладони лежал сахарный поросенок, самый лучший из всех, что можно найти у торговок сластями. И, проплывая мимо, Яльмар хватался за один край поросенка, а принцесса крепко держалась за другой, таким образом, каждому доставалось по кусочку — принцессе поменьше, а Яльмару побольше! У всех замков несли караул маленькие принцы, они приветствовали Яльмара взмахом золотых сабель и осыпали его дождем из изюма и оловянных солдатиков — настоящие принцы!

Яльмар то плыл через леса, то словно через огромные залы или даже через города; проплыл он и через город, где жила его няня, которая нянчила его, когда он был совсем маленьким, и которая очень любила его. Она кивнула ему, помахала рукой и спела песенку — няня сама ее сочинила и прислала Яльмару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидать вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить

И в щечки, и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить!
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!
Да будет вовеки Господь Бог с тобой!*

И птицы подпевали ей, цветы танцевали на своих стеблях, а старые деревья кивали головами, как будто Оле Лукойе и им рассказывал истории.

Среда

Ой, какой ливень лил на улице! Яльмар слышал его шум даже во сне, а когда Оле Лукойе отворил окно, оказалось, что вода поднялась до самого наличника; там образовалось целое озеро, зато к дому причалил роскошный корабль.

— Хочешь отправиться в плавание? — спросил Оле Лукойе. — Ночью побываешь в дальних странах, а утром вернешься домой!

И вот Яльмар, одетый по-праздничному, уже стоит на палубе красавца корабля. Погода сразу же установилась отличная, и они поплыли по улицам мимо церкви — кругом было сплошное море. Они уплыли так далеко, что земля скрылась из глаз. В небе показалась стая аистов, которые тоже улетали из дома в теплые края. Они были в пути уже много-много дней, и один аист — он летел позади всех — почти лишился сил, крылья совсем отказывались ему служить, и вот он еще больше отстал и начал опускаться все ниже и ниже; еще несколько раз он взмахнул крыльями, но это не помогло. Он задел ногами за мачту, скользнул вниз по парусу — бух! — и приземлился на палубу.

Юнга схватил аиста и посадил в птичник, к курам, уткам и индюшкам. Бедняга стоял, уныло опустив голову.

— Хорош гусь! — сказали куры.

---

* Перевод А. и П. Ганзенов.

Индюк надулся, как только мог, и спросил, кто он такой, а утки попятились и закрякали, суетливо пихая друг друга.

Аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и страусах, которые носятся по пустыне, как дикие лошади; но утки ничего не поняли, они снова принялись пихаться.

— Ну, разве он не глуп?

— Конечно, глуп! — сказал индюк и громко закулдыкал.

Аист замолчал и погрузился в воспоминания о своей Африке.

— Какие у вас замечательные тонкие ноги! — проговорил индюк. — По чем аршин?

— Кряк, кряк, кряк! — засмеялись утки, но аист сделал вид, что ничего не слышал.

— Могли бы тоже посмеяться! — обратился к нему индюк. — Ведь остроумно было сказано! Но он, наверное, до подобного опуститься не может, ах, ах! Он слишком прост! Давайте развлекаться сами!

И куры закудахтали, а утки закрякали, ужас как это их рассмешило.

Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул на палубу. Успевшая отдохнуть птица, словно поклонившись Яльмару в знак благодарности, расправила крылья и полетела в теплые края. Куры продолжали кудахтать, утки крякать, а у индюка гребешок налился кровью.

— Завтра мы из вас суп сварим! — сказал Яльмар и проснулся — он снова лежал в своей кровати. Удивительное путешествие позволил ему совершить Оле Лукойе этой ночью!

Четверг

— Знаешь, что? — сказал Оле Лукойе. — Только не пугайся! Сейчас я покажу тебе мышку! — И он протянул к нему свою руку, в которой сидел прехорошенький зверек. — Она пришла пригласить тебя на свадьбу. Две мышки хотят этой ночью сочетаться законным браком. Они живут под полом кладовой твоей матери, прекрасное, говорят, жилье!

— Но как же я пролезу в мышиную норку? — спросил Яльмар.

— Положись на меня! — ответил Оле Лукойе. — Я тебя сделаю маленьким!

И он брызнул из своей волшебной спринцовки на Яльмара, который сразу начал уменьшаться в размерах, пока не стал величиной с палец.

— Теперь ты можешь одолжить мундир у оловянного солдатика, думаю, это вполне подходящий наряд, в гостях хорошо иметь бравый вид.

— Ладно! — согласился Яльмар и в мгновение ока был одет, как новенький оловянный солдатик.

— Не угодно ли будет вам сесть в наперсток вашей матушки, — сказала мышь, — и я буду иметь честь отвезти вас.

— Господи, стоит ли фрёкен так утруждать себя, — сказал Яльмар, и они отправились на мышиную свадьбу.

Сначала под полом они попали в освещенный гнилушками длинный проход с таким низким потолком, что только в наперстке и можно было по нему проехать.

— Правда, чудный аромат? — спросила мышка, что везла его. — Весь проход смазан салом! Нет ничего прекраснее!

Они вошли в свадебный зал; справа стояли мышки-дамы — они перешептывались и словно бы насмехались друг над другом, а слева, поглаживая лапками усы, — мышки-кавалеры. В центре же, в выгрызенной корке сыра, находились жених и невеста, которые безостановочно целовались на глазах у всех, потому что они были обручены и сегодня сыграют свадьбу.

Гости все прибывали и прибывали, мыши чуть не давили друг друга насмерть, поэтому жених с невестой стали в дверях, чтобы никто не мог ни войти, ни выйти. Весь зал, как и проход, был смазан салом — вот и все угощение, но на десерт присутствующим продемонстрировали горошину, на которой одна из младших родственниц новобрачных выгрызла их имена, то есть только две первые буквы. Просто чудо!

Все мыши объявили, что свадьба удалась на славу и они провели время в приятных разговорах.

Яльмар отправился домой. Он побывал в благородном обществе, для чего ему, правда, пришлось порядком съежиться, стать совсем крошечным и облечься в мундир оловянного солдатика.

Пятница

— Просто невероятно, скольким старым людям хотелось бы, чтобы я к ним пришел! — сказал Оле Лукойе. — Особенно тем, кто совершил какие-нибудь дурные поступки. «Милый, добрый Оле! — говорят он мне. — Мы не можем сомкнуть глаз, ночь напролет лежим без сна и глядим на все наши дурные дела. Они, словно противные маленькие тролли, сидят на краю кровати и брызгают на нас кипятком. Пожалуйста, приди и прогони их, чтобы мы могли поспать! — А потом тяжело вздыхают. — Мы с удовольствием тебе заплатим — спокойной ночи, Оле, деньги на окне!» Но я за деньги к людям не прихожу.

— Что у нас будет сегодня ночью? — спросил Яльмар.

— Не знаю, захочешь ли ты снова побывать на свадьбе? Другого рода, не такого, как вчера. Большая кукла твоей сестры, она одета в мужское платье и носит имя Герман, женится на кукле Берте; к тому же сегодня день рождения куклы, и будет много подарков!

— Да уж знаю! — сказал Яльмар. — Когда куклам бывают нужны новые наряды, сестра празднует их день рождения или справляет свадьбу! Такое уж сто раз бывало!

— А сегодня будет в сто первый; а сто первый раз — последний, поэтому и готовится что-то невиданное. Взгляни-ка!

Яльмар посмотрел на стол: там стоял картонный домик, окна в нем были освещены, а снаружи выстроились все оловянные солдатики, держа ружья на караул. Жених и невеста сидели на полу, прислонившись к ножке стола и пребывая в большой задумчивости — на то у них были все основания.

Оле Лукойе, одетый в бабушкину черную юбку, венчал их. После завершения церемонии вся комнатная мебель запела в ритме побудки песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружней,
Как ветер пусть несется!
Хотя чета наша, ей-ей,
Ничем не отзовется.
Из лайки оба и торчат
На палках без движенья.
Зато роскошен их наряд —
Глазам на загляденье!
Итак, прославим песней их:
Ура! Невеста и жених!*

Молодым вручили подарки, а от еды они отказались — были сыты своей любовью.

— Поживем за городом или поедем за границу? — спросил молодожен.

За советом обратились к ласточке, много путешествовавшей, и к старой курице, высидевшей пять выводков цыплят. Ласточка рассказала о замечательных теплых странах, где зреют крупные, тяжелые виноградные гроздья, где воздух ласков и нежен, а горы окрашены в краски, о которых здесь и понятия не имеют.

— Зато у них нет кудрявой капусты! — сказала курица. — Я с моими цыплятами одно лето провела за городом, там был карьер, в котором мы могли копаться, а еще мы ходили в огород с капустой! Она была такая зеленая! По-моему, ничего красивее не бывает.

— Но ведь один кочан ничем не отличается от другого, — ответила ласточка. — И к тому же здесь временами стоит ужасная погода!

---

* Перевод А. и П. Ганзенов.

— Мы к этому привыкли! — сказала курица.

— Но здесь так холодно, страшные морозы!

— Для капусты это хорошо! — сказала курица. — И потом у нас тоже бывает тепло! Четыре года назад лето у нас продолжалось пять недель! Стояла такая жара, что нечем было дышать! Кроме того, у нас нет всех этих ядовитых гадов, как у них там! И разбойников нет! Тот, кто не считает нашу страну самой прекрасной, просто дрянь! Он недостоин жить в ней! — И курица заплакала. — Я тоже путешествовала! Проехала в кадке больше двенадцати миль! Удовольствия мало!

— Да, курица — особа разумная! — сказала кукла Берта. — Мне тоже не нравится путешествовать по горам — сперва вверх, а потом вниз! Нет, мы отправимся за город, к карьеру, и будем гулять по огороду с капустой.

Так и случилось.

Суббота

— Ну, а теперь рассказывай истории! — сказал Яльмар, когда Оле Лукойе уложил его в постель.

— Сегодня у нас на это нет времени! — ответил Оле, раскрывая над ним свой зонтик. — Посмотри-ка на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и стрельчатыми мостиками, на которых стояли, кивая головами, маленькие китайцы.

— Нам надо к завтрашнему дню провести уборку во всем мире! — сказал Оле. — Завтра — святой день, воскресенье. Я должен отправиться на колокольню, проверить, отчистили ли церковные гномы колокола, чтобы они звучали красиво, потом на поля — посмотреть, сдул ли ветер пыль с травы и листьев. Но самая трудная работа, которая мне предстоит, — снять с неба все звезды и протереть их! Я собираю их в свой передник, но сначала каждую нужно пронумеровать, и дырки, в которых они сидят, тоже приходится нумеровать,

чтобы звезды попали на свои места, иначе они не удержатся и у нас начнутся звездопады, один за другим!

— Послушайте, господин Лукойе! — сказал старый портрет, висевший на стене над кроватью Яльмара. — Я — прадедушка Яльмара, и я благодарен вам, что вы рассказываете мальчику всякие истории, но не вводите его в заблуждение. Звезды нельзя снять с неба и протереть! Звезды — такие же небесные тела, как наша Земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо, прадедушка! — ответил Оле Лукойе. — Спасибо! Ты — старший в роду и всему голова. Но я постарше тебя. Я — старый язычник, римляне и греки называли меня Богом сновидений! Я имел и до сих пор имею доступ в самые знатные дома! И умею общаться и с детьми, и со взрослыми! Теперь сам рассказывай!

И Оле Лукойе ушел, прихватив зонтик.

— Теперь уж и мнения своего высказать нельзя! — отозвался старый портрет.

И тут Яльмар проснулся.

Воскресенье

— Добрый вечер! — сказал Оле Лукойе.

Яльмар кивнул ему, вскочил и перевернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы тот больше не вмешивался в разговор, как вчера.

— А теперь расскажи мне истории про «пять зеленых горошин, которые жили в одном стручке», про «петушиную ногу, которая увивалась за куриной ногой», и про «штопальную иглу, которая была такой тонкой, что вообразила себя швейной иголкой».

— Хорошенького понемножку! — ответил Оле Лукойе. — Знаешь, я лучше покажу тебе кое-что! Я покажу тебе моего брата, его тоже зовут Оле Лукойе, но он никогда ни к кому не приходит больше одного раза. Но того, к кому приходит, сажает на свою лошадь и рассказывает ему исто-

рии. Он знает всего две — одна так бесподобно прекрасна, что и представить себе невозможно, а другая так ужасна и чудовищна, что... словами не описать!

И Оле Лукойе поднес маленького Яльмара к окну и сказал:

— Смотри, вот мой брат, второй Оле Лукойе! Люди зовут его также Смертью. Видишь, он совсем не такой отвратительный, каким его рисуют на картинках, в виде скелета! Нет, его одеяние расшито серебром, как самый красивый гусарский мундир, а за плечами развевается черный бархатный плащ! Смотри, как он галопирует!

И Яльмар увидел, как второй Оле Лукойе на всем скаку подхватывал и сажал на лошадь и старых, и малых, одних он сажал впереди себя, а других — позади. Но прежде неизменно спрашивал:

— А какие оценки у тебя по поведению?

И все отвечали:

— Хорошие!

— Мне надо самому посмотреть! — говорил он.

И они протягивали ему дневники с оценками. Тех, у кого стояло «очень хорошо» или «отлично», он сажал впереди и рассказывал им чудесную историю, а тем, у кого стояло «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», приходилось садиться позади, и им он рассказывал ужасную историю. Они дрожали от страха и плакали, пытались спрыгнуть с лошади, но не тут-то было, потому что они сразу к ней прирастали.

— Но ведь Смерть — это прекрасный Оле Лукойе! — сказал Яльмар. — Я его нисколько не боюсь!

— И правильно делаешь! — ответил Оле Лукойе. — Только следи, чтобы у тебя всегда были хорошие оценки по поведению!

— Вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет. — Полезно все-таки иногда высказать свое мнение! — Он был доволен.

Вот и вся история про Оле Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе что-нибудь еще!

ЭЛЬФ РОЗЫ

В одном саду рос розовый куст, весь усыпанный цветами, и в одном цветке, самом красивом, жил эльф, такой крошечный, что человеческим глазом его не разглядеть. За каждым лепестком розы он устроил себе по спальне. А сам был так великолепно сложен, так прекрасен, как может быть прекрасен только ребенок; крылья за его плечами спускались до самых ступней. Ах, какой аромат стоял в его покоях с нарядными прозрачными стенами! Это ведь были нежные лепестки розы.

Целый день эльф резвился на теплом солнце, порхал с цветка на цветок, танцевал на крыльях летающего мотылька, прикидывал, сколько шагов ему надо сделать, чтобы обежать все дороги и тропинки на одном липовом листе. То, что он считал дорогами и тропинками, мы называем прожилками; но для него они и впрямь были бесконечными дорогами. Солнце зашло прежде, чем он успел завершить дело. Правда, и начал он его поздновато.

Похолодало, пала роса, подул ветер — пожалуй, пора возвращаться домой. Эльф спешил изо всех сил, но цветок уже закрылся, он не смог попасть внутрь. Все остальные розы тоже были закрыты. Эльф испугался не на шутку: никогда прежде ему не приходилось проводить ночь под открытым

небом, он привык спать между теплыми розовыми лепестками. О, не миновать ему смерти!

В другом конце сада, вспомнил он, есть зеленая беседка, увитая каприфолиями, в одном из этих ярких цветов, похожих на большие рога, он и поспит до утра.

Эльф полетел к беседке. Но — тсс! Внутри находились двое — красивый юноша и прелестная девушка. Они сидели рядышком, горя желанием никогда не расставаться: они крепко любили друг друга, крепче, чем самый любящий на свете ребенок может любить мать и отца.

— Увы, нам все же придется расстаться! — сказал юноша. — Твой брат не хочет нашего счастья, поэтому он отправляет меня по делам далеко-далеко, за горы и моря! Прощай, моя милая невеста, ведь ты мне невеста, несмотря ни на что!

Они поцеловались, девушка заплакала и протянула ему розу, но сначала запечатлела на ней такой горячий и страстный поцелуй, что цветок раскрылся. Эльф влетел в него и прижался головой к нежным благоухающим стенкам.

Но он отлично слышал, как было сказано последнее «прощай!», и почувствовал, что роза заняла место на груди юноши. Ах, как же стучало его сердце! Эльф просто не мог уснуть от этого стука.

Недолго роза покоилась на груди юноши: он вынул ее и, идя через темный лес, стал целовать; он целовал цветок так часто и крепко, что чуть не раздавил эльфа. А тот ощущал сквозь лепестки, как горели губы юноши, и роза раскрылась совсем, словно под лучами полуденного солнца.

Но тут в лесу появился другой человек, мрачный и злобный, — злой брат юной красавицы. Он вытащил большой острый нож и убил юношу, продолжавшего целовать розу, отрезал ему голову и зарыл вместе с телом в мягкую землю под липой.

«Теперь его больше нет, — подумал брат-злодей, — он никогда не вернется. Ему предстоял далекий путь, за горы

и моря, и в таком пути можно запросто лишиться жизни, что и произошло. Он больше не появится, а меня сестра спрашивать о нем не посмеет».

И он ногой нашвырял сухих листьев на могилу и отправился в ночной тьме домой. Но шел он не один, как считал, — с ним был эльф. Эльф сидел в сухом, свернувшемся в трубочку липовом листке, который упал на голову злодею, когда тот рыл могилу. Сейчас на его голове была надета шляпа, как же под ней темно, эльф весь дрожал от ужаса и негодования из-за совершенного злодейства.

На заре злодей пришел домой. Сняв шляпу, он вошел в спальню сестры. Юная цветущая красавица спала и видела во сне того, кого так любила и кто, как она думала, уехал далеко, за горы и леса. Злой брат наклонился над ней и рассмеялся отвратительным, дьявольским смехом. Сухой листок упал с его головы на одеяло, но злодей этого не заметил и пошел к себе поспать до утра. Эльф выбрался из листка, залез в ухо спящей девушке и рассказал ей, как будто во сне, о чудовищном убийстве, о месте, где оно произошло, о цветущей липе, под которой ее брат зарыл тело, и добавил: «А чтобы ты не приняла мой рассказ всего лишь за сон, я оставлю на твоей постели сухой листок!» И она обнаружила этот листок, когда проснулась.

О, какими горькими слезами плакала девушка! И никому не смела она рассказать о своей беде. Окно было распахнуто целый день, и эльф с легкостью мог бы выпорхнуть в сад, к розам и другим цветам, но он не решился покинуть убитую горем девушку. На окне стоял горшок с розовым кустом, и эльф забрался в один из цветков, откуда неотрывно смотрел на бедняжку. Несколько раз в комнату заходил ее брат со злорадной ухмылкой на лице, а она даже помыслить себе не могла хоть словом обмолвиться о страданиях, терзавших ее сердце.

Как только наступила ночь, она выскользнула из дома и пошла в лес, к тому месту, где росла липа. Она разгребла

листья, разрыла землю и сразу обнаружила убитого. О, как же она плакала и молила Господа послать и ей скорую смерть!

Ей страшно хотелось забрать тело домой, но этого сделать было нельзя. Тогда она взяла голову с закрытыми глазами, поцеловала ее в ледяные губы и стряхнула землю с прекрасных волос. «Ее я оставлю себе!» — решила девушка, забросала землей и листьями мертвое тело, а голову принесла домой вместе с веточкой жасмина, который рос в лесу на месте убийства.

Дома она отыскала самый большой цветочный горшок, уложила в него голову покойника, засыпала ее землей и посадила в землю жасминовую веточку.

— Прощай! Прощай! — прошептал эльф.

У него не было больше сил смотреть на это горе, и он улетел в сад, к своей розе, но она уже отцвела, лишь вокруг зеленой сердцевины держалось несколько бледных лепестков.

— Ах, как скоро приходит конец всему доброму и прекрасному! — вздохнул эльф.

В конце концов он нашел себе новую розу, ставшую ему домом; между ее прозрачными благоухающими лепестками он и обустроился.

Но каждое утро он летал к окну несчастной девушки и всегда заставал ее в слезах у цветочного горшка. Соленые слезы лились на жасминовую ветку, и по мере того как сама девушка становилась все бледнее и бледнее, ветка росла и зеленела, пуская один росток за другим. Вскоре появились маленькие белые бутоны, которые девушка целовала, а ее злодей брат ругался и спрашивал, не помешалась ли она. Он не понимал — и это его раздражало, — почему она проливает слезы над цветочным горшком. Он же не знал, чьи закрытые глаза и алые губы смешались с землей в этом горшке. Как-то раз эльф увидел, что она, склонившись головой к горшку, задремала. И он влетел ей в ухо и начал рассказывать о свидании в беседке, об аромате роз, о любви эльфов. Девушке

снились чу́дные сны, и во сне отлетела от нее жизнь. Она умерла безмятежной смертью и соединилась на небе с тем, кого любила. А бутоны жасмина распустились в крупные белые колокольчики, которые издавали удивительный сладостный аромат, — оплакать покойную по-другому они не умели.

Брат-злодей, увидев такой прекрасный цветущий куст, забрал его — как наследник — к себе и поставил в спальню, рядом с кроватью, чтобы любоваться его красотой и вдыхать чудный, сладостный аромат. Эльф последовал за ним и стал летать от цветка к цветку — в каждом жил маленький дух, и эльф рассказал им об убитом юноше, голова которого смешалась с землей, о злодее брате и несчастной сестре.

— Мы знаем! — отвечал каждый цветочный дух. — Знаем! Мы же выросли из глаз и губ убитого! Мы знаем! Знаем! — И как-то странно кивал головой.

Эльф розы не мог понять, почему его рассказ их не трогает, поэтому он полетел к пчелам, собиравшим мед, и поведал им историю о брате-злодее. Пчелы все передали своей королеве, и та приказала на следующее утро казнить убийцу.

Но ночью — это была первая ночь после смерти сестры, — когда брат спал рядом с благоухающим жасминовым кустом, его цветки раскрылись и оттуда вылетели невидимые цветочные ду́хи, вооруженные ядовитыми копьями. Сначала они, устроившись возле его уха, нашептали ему дурные сны, а потом подлетели к губам и воткнули ядовитые копья ему в язык.

— Теперь мы отомстили за убитого! — сказали они и вновь скрылись в белых колокольчиках жасмина.

Утром окно в спальне резко распахнулось и в комнату влетели эльф, королева пчел и весь пчелиный рой с намерением убить злодея.

А он был уже мертв. Стоявшие вокруг кровати люди говорили:

— Его убил запах жасмина.

Сообразив, что то была месть цветов, эльф роз сообщил об этом королеве, и всем роем пчелы принялись с жужжанием летать вокруг цветочного горшка. Пчел было не отогнать, поэтому один из собравшихся решил унести горшок, но тут его в руку ужалила пчела, он уронил горшок, и тот разбился.

Все увидели череп и поняли, что покойник в постели и есть убийца.

А королева пчел, с шумом разрезая воздух, пела о мести цветов, об эльфе роз и о том, что за каждым, даже самым крошечным лепестком живет тот, кто может поведать о злодеянии и отомстить за него!

СВИНОПАС

Жил-был бедный принц, и было у него королевство, совсем маленькое, но его вполне хватало, чтобы жениться. А жениться ему хотелось. Конечно, довольно дерзко с его стороны обратиться к дочери императора с вопросом: «Пойдешь за меня?» Но он, пожалуй, мог позволить себе такую дерзость, потому что носил знаменитое имя и сотни принцесс с радостью бы ответили согласием, но вот согласится ли дочь императора?

Послушаем же.

На могиле отца принца рос розовый куст несказанной красоты. Он цвел только раз в пять лет, и на нем распускалась всего лишь одна-единственная роза, но этот цветок издавал такой сладостный аромат, что человек, понюхав ее, забывал о своих горестях и заботах. А еще у принца был соловей, который пел так, словно у него в горле переливались все самые прекрасные мелодии. И розу, и соловья принц собирался преподнести принцессе. Их положили в серебряные ларцы и отослали ей.

Император велел внести ларцы в большую залу, где принцесса с фрейлинами играли «в гости» — ничем другим они не занимались. Увидев ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

— Ах, если бы там была кошечка! — воскликнула она, но там оказалась прекрасная роза.

— О, как изящно сделано! — сказали фрейлины.

— Изящно — не то слово! — ответил император. — Она великолепна!

Но принцесса потрогала розу и чуть не разрыдалась.

— Фи, папа! — сказала она. — Роза не искусственная, а *настоящая*!

— Фи! — воскликнули фрейлины. — Настоящая!

— Прежде чем гневаться, давайте посмотрим, что у нас во втором ларце! — распорядился император.

Появился соловей и запел; он пел так изумительно, что никто не мог сказать о нем ни одного дурного слова.

— Superbe! Charmante!* — прощебетали фрейлины, ибо все они говорили по-французски, одна хуже другой.

— Как эта птичка напоминает мне музыкальную шкатулку покойной императрицы! — сказал один старый придворный. — Ах, те же звуки, та же манера!

— Верно! — согласился император и заплакал, как ребенок.

— Не думаю, что она настоящая! — сказала принцесса.

— Настоящая! — заверили ее те, кто доставил подарки.

— Так пусть улетает, — сказала принцесса и велела передать принцу, что не хочет его видеть.

Но принц не пришел в уныние, — он вымазал себе лицо черно-бурой краской, надел шапку и постучался.

— Добрый день, император! — сказал принц. — Не найдется ли у вас в замке какой-нибудь работы для меня?

— Сюда многие хотят попасть! — ответил император. — Так, дай подумать! Мне нужен человек, который бы пас свиней, у нас их очень много!

И принца определили в придворные свинопасы. Ему отвели жалкую каморку рядом со свинарником, где ему и предстояло

---

* Великолепно! Очаровательно! *(фр.)*

жить. Целый день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудный горшочек, весь увешанный бубенцами. Когда в нем что-нибудь варили, бубенцы красиво вызванивали старую песенку:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

Самое же замечательное было то, что, держа ладонь над поднимавшимся из горшочка паром, человек узнавал, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да, это уж вам не какая-то там роза.

Принцесса с фрейлинами, выйдя на прогулку, услышала мелодию, остановилась и просияла: она тоже умела играть «Ах, мой милый Августин», только эту мелодию и умела играть, правда, одним пальцем.

— Я знаю эту песенку! — сказала она. — А свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пойдите и спросите у него, сколько стоит этот инструмент.

Пришлось одной из фрейлин пойти к свинопасу, надев деревянные башмаки.

— Сколько ты просишь за этот горшок? — спросила фрейлина.

— Десять поцелуев принцессы! — ответил свинопас.

— Боже упаси! — воскликнула фрейлина.

— На меньшее я не согласен! — сказал свинопас.

— Ну, что он сказал? — спросила принцесса.

— Язык не поворачивается говорить! — ответила фрейлина. — Просто ужас!

— А ты шепни мне на ухо!

Что фрейлина и сделала.

— Какой грубиян! — сказала принцесса и пошла было прочь, но тут мелодично зазвенели бубенцы:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

— Послушайте, спросите его, не согласится ли он на десять поцелуев моих фрейлин!

— Нет, благодарю! — ответил свинопас. — Десять поцелуев принцессы, или горшок останется у меня.

— Какая досада! — воскликнула принцесса. — Только встаньте вокруг меня, чтобы никто не увидел.

Фрейлины обступили ее, растянув в стороны юбки, и свинопас получил десять поцелуев, а принцесса — горшок.

Вот это было развлечение! Весь вечер и весь следующий день горшочек не снимали с огня. В городе не осталось ни одной печки, о которой бы они не узнали, что в ней варили, — от печки камергера до печки сапожника. Фрейлины пританцовывали и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня кисель и блинчики! Мы знаем, у кого сегодня каша и свиные отбивные! Как интересно!

— В высшей степени интересно! — согласилась обер-гофмейстерина.

— Только держите язык за зубами, ведь я дочь императора!

— Упаси боже! — сказали все.

Свинопас же, то есть принц — но они-то принимали его за настоящего свинопаса, — не сидел без дела и смастерил трещотку: когда ею вертели в воздухе, звучали мелодии всех вальсов, галопов и полек, какие только известны со времен сотворения мира.

— Это superbe! — воскликнула принцесса, проходя мимо. — Я никогда не слышала такие прекрасные композиции! Слушайте, пойдите и спросите его, сколько стоит этот инструмент. Но целоваться я не стану!

— Он хочет сто поцелуев принцессы! — сообщила фрейлина, переговорив со свинопасом.

— По-моему, он сошел с ума! — ответила принцесса и повернулась уходить. Но, пройдя несколько шагов, остановилась. — Надо поощрять искусство! — сказала она. — Ведь я дочь императора! Скажите ему, что он по-

лучит десять поцелуев, как вчера, а остальные ему дадут мои фрейлины!

— Но нам это не по вкусу! — возразили фрейлины.

— Чепуха! — ответила принцесса. — Если я могу целовать его, то и вы сможете! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу жалованье!

И пришлось фрейлине снова идти к свинопасу.

— Сто поцелуев принцессы! — сказал он. — Или каждый остается при своих!

— Становитесь вокруг! — приказала принцесса, фрейлины обступили ее, и свинопас начал ее целовать.

— Что это за сборище у свинарника? — удивился император, выйдя на балкон. Он протер глаза и надел очки. — Это же фрейлины! Что они там затеяли? Надо пойти взглянуть!

И он расправил задки своих туфель — старых, стоптанных башмаков. Ух, как он засеменил!

Подойдя к свинарнику, он замедлил шаг; фрейлины же, слишком занятые подсчетом поцелуев — они следили, чтобы все было честно, чтобы свинопас получил не больше, но и не меньше, чем ему следовало, — не заметили императора. Он привстал на цыпочки.

— Это что еще такое! — закричал он, увидев целующихся, и хлопнул их по головам туфлей в тот момент, когда свинопас получал восемьдесят шестой поцелуй. — Вон отсюда!

И разгневанный император выгнал и принцессу, и свинопаса из своей империи.

Принцесса стояла и плакала, свинопас ругался, а сверху их поливал дождь.

— Ах, бедная я, бедная! — причитала принцесса. — Надо было бы мне выйти за красавца принца! Ах, я несчастная!

Свинопас зашел за дерево, стер с лица черно-бурую краску, сбросил с себя жалкую одежонку и предстал перед ней в своем королевском одеянии, и так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс.

— Я презираю тебя, — сказал он. — Ты не захотела выйти за настоящего принца! Ты не оценила розу и соловья, а свинопаса целовала за игрушки. Поделом же тебе!

И он вернулся в свое королевство, закрыл за собой дверь и запер ее на засов, так что ей оставалось только стоять снаружи и петь:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

ГРЕЧИХА

Нередко после грозы, когда идешь мимо гречишного поля, видишь, что гречиха вся почернела, словно ее обожгло огнем; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему так происходит?

Я вам расскажу, что я слышал от воробья, которому об этом поведала старая ива, до сих пор растущая возле гречишного поля. Это почтенное, большое дерево, старое и корявое, треснувшее посередине. Из трещины растут трава и ежевика. Ветви склоненного дерева свешиваются до самой земли, словно длинные зеленые волосы.

Все поля вокруг были засеяны рожью, ячменем и овсом, замечательным овсом — когда он созревает, то создается впечатление, будто это ветки, усеянные крошечными желтыми канарейками. Хлеба удались на славу, и чем больше наливалось зерно, тем ниже они склонялись к земле в благочестивом смирении.

Тут же, возле старой ивы, было и гречишное поле, но гречиха не склонялась к земле, она держалась прямо и гордо.

— Я ничуть не беднее хлебных колосьев, — говорила она, — к тому же намного красивее. Мои цветки так же прекрасны, как цветы яблони. На меня и мою родню любо-дорого смотреть. Знаешь ли ты, старая ива, кого-нибудь краше меня?

Ива кивала головой, точно хотела сказать: «Знаю, конечно!» Но гречиха, которую так и распирало от высокомерия, продолжала:

— Глупое дерево, у него от старости из живота трава растет!

Как-то разыгралась страшная непогода. Все полевые цветы свернули лепестки или склонили свои прелестные головки, пока над ними бушевала буря. Лишь гречиха по-прежнему гордо задирала нос.

— Склони голову, как мы! — сказали ей цветы.

— Мне это ни к чему! — ответила гречиха.

— Склони голову, как мы! — крикнули ей хлебные злаки. — Сейчас прилетит ангел бури! У него крылья от облаков до самой земли, он разрубит тебя пополам прежде, чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

— А я не склонюсь! — сказала гречиха.

— Закрой цветки и сверни лепестки! — сказала старая ива. — Не смотри на молнию, когда она распорет тучи; даже люди не осмеливаются на это, потому что сквозь молнию можно заглянуть в небеса Господни, но от этого зрелища люди слепнут. Что же произойдет с нами, земными растениями, если мы отважимся на такое, ведь мы по сравнению с ними такие ничтожные?!

— Ничтожные? — переспросила гречиха. — А я вот загляну в небеса Господни!

И в своем гордом высокомерии она так и сделала.

От молний, казалось, заполыхал весь мир.

Когда буря улеглась, цветы и злаки, освеженные дождем, стояли, как прежде, а гречиху молния сожгла дотла, она была теперь на земле мертвым, бесполезным растением.

Старая ива шевелила на ветру своими ветвями, и с зеленых листьев падали крупные капли, казалось, дерево плачет. И воробьи спросили:

— Почему ты плачешь? Здесь так чудесно: посмотри, как светит солнце, как бегут облака, а какой аромат испускают цветы и кусты! Почему же ты плачешь, старая ива?

И ива рассказала им о гордыни и высокомерии гречихи и о том наказании, какое она понесла, ибо кары за это не избежать. Я услышал эту историю от воробьев — они прочирикали мне ее как-то вечером, когда я попросил их рассказать мне сказку.

АНГЕЛ

«Каждый раз, когда умирает доброе дитя, с неба на землю спускается Божий ангел, берет его на руки, расправляет свои большие белые крылья и облетает все те места, что были дороги ребенку. Ангел собирает целый букет цветов, который относит Богу, а там они цветут еще пышнее, чем здесь, на земле. Всеблагой Господь прижимает цветы к своему сердцу, а цветок, понравившийся ему больше всех, целует, и тот обретает голос и способность воспевать великое блаженство».

Все это Божий ангел рассказывал умершему ребенку, неся его на небо, а ребенок слышал его, как во сне. Они летели над теми местами, где малыш когда-то играл, над садами, полными чудных цветов.

— Какие же нам с собой взять на небо, чтобы посадить там? — спросил ангел.

В саду рос статный, прекрасный розовый куст, но чья-то злая рука сломала его, и ветки, усыпанные большими полураскрытыми бутонами, печально обвисли.

— Бедный куст! — сказал ребенок. — Возьми его, чтобы он расцвел там, у Господа!

Ангел взял куст и поцеловал ребенка, и тот приоткрыл глаза. Они набрали роскошных цветов, но прихватили и презираемые всеми ноготки, и дикорастущие анютины глазки.

— Теперь у нас довольно цветов! — сказал ребенок.

Ангел кивнул, но они еще не были на пути к Господу.

Ночь стояла тихая, они летели над одной из самых узких улочек большого города. Мостовая была завалена соломой, золой и всяческим хламом: осколками тарелок, кусками алебастра, тряпками, тульями от шляп — словом, всем, что потеряло свой вид. Накануне был день переезда.

Ангел указал на валявшийся в этом хламе разбитый цветочный горшок и выпавший из него ком земли, оплетенный корнями большого увядшего полевого цветка, ни на что больше не годного, вот его и выбросили на улицу.

— Мы возьмем его с собой! — сказал он. — Я тебе расскажу про него, пока мы летим.

И ангел начал свой рассказ:

— На этой узкой улочке в полуподвале жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он был прикован к постели, когда он чувствовал себя получше, то мог на костылях раза два пройти по каморке взад и вперед — и все. Иногда летом в низенькое оконце полуподвала на полчаса заглядывало солнце и мальчик сидел, греясь в его теплых лучах, и, держа свои тонкие пальцы перед глазами, смотрел на просвечивавшую сквозь кожу алую кровь. И он представлял себе, что сегодня был на прогулке. О весенней зелени леса он знал только потому, что сын соседа обычно приносил ему первую распустившуюся веточку бука; мальчик держал ее над головой и мысленно переносился под сень буков, где светило солнце и пели птицы. Однажды весной соседский сын принес ему букетик полевых цветов, среди которых случайно оказался цветок с корешком. И мальчик посадил его в цветочный горшок, а горшок поставил на окно рядом с кроватью. Легкая рука посадила цветок: он рос, пускал побеги и каждый год цвел. Он стал для больного мальчика его собственным прекраснейшим садом, его самой большой ценностью на этой земле. Мальчик поливал его, ухаживал за ним

и заботился о том, чтобы ни один солнечный луч, проникавший сквозь низкое окошко, не миновал его. Цветок врос ему в душу — только для мальчика он цвел, благоухал, только ему радовал глаз. К цветку обратился мальчик и в смертный час, когда Господь призвал его к себе. Вот уже год, как он у Господа, весь этот срок простоял цветок на окне, всеми забытый, он завял, засох, и его выбросили с прочим хламом на улицу. Но именно этот бедный засохший цветок мы и взяли в наш букет, потому что он доставил куда больше радости, чем самый роскошный цветок из сада королевы.

— Но откуда ты все это знаешь? — спросил ребенок, с которым ангел летел на небо.

— Я-то знаю! — ответил ангел. — Это ведь я был тем мальчиком, что ходил на костылях. Мне ли не узнать свой цветок.

Ребенок широко раскрыл глаза и посмотрел на прекрасное, счастливое лицо ангела, и в ту же минуту они оказались на небесах, у Господа, где царят радость и блаженство. Господь прижал мертвого ребенка к сердцу, и у того тоже выросли крылья, и оба ангела, взявшись за руки, полетели. Господь прижал к сердцу все цветы, а скромный, засохший полевой цветок поцеловал, и он обрел голос и запел вместе с остальными ангелами, парившими вокруг Господа: одни парили совсем близко от Него, другие описывали широкие круги подальше, третьи — еще дальше, и так до бесконечности, но все они были блаженны. И все они пели — и малые, и большие, и доброе, благословенное дитя, и скромный полевой цветок, засохший и выброшенный на узкую темную улочку вместе с прочим хламом в день, когда люди перебирались на другую квартиру.

СОЛОВЕЙ

В Китае император, как ты, наверное, знаешь, китаец, и все, кто его окружает, тоже китайцы. Дело было давно, много лет назад, но именно поэтому стоит послушать эту историю, пока мы ее не забыли! Во всем мире не нашлось бы дворца роскошнее императорского: он весь был из тончайшего, ценнейшего фарфора, такого хрупкого, что страшно дотронуться, поэтому следовало быть начеку. В саду росли удивительные цветы, к самым роскошным из них привязывали серебряные колокольчики, чтобы их звон привлекал внимание тех, кто проходил мимо. Да, в императорском саду все было продумано до мелочей, а тянулся он так далеко, что сам садовник не знал, где сад кончается. А если бы кто-нибудь решился его пройти, то попал бы в чудный лес с высокими деревьями и глубокими озерами. Лес простирался до самого моря, синего и бездонного. Большие корабли проплывали под ветвями деревьев, а в них жил соловей; он пел так бесподобно, что даже бедный, удрученный заботами рыбак, пришедший ночью вытащить невод, замер на месте, слушая соловьиные трели. «Господи, как прекрасно!» — вырвалось у него, но потом он вернулся к своим делам и забыл про птицу. Однако на следующую ночь, когда рыбак вновь пришел на берег и услышал соловья, он снова воскликнул: «Господи, как прекрасно!»

Со всех концов света съезжались в столицу императора путешественники. Они восхищались городом, дворцом и садом, но когда слышали соловья, говорили: «Это лучше всего!»

Вернувшись домой, путешественники рассказывали обо всем, что видели; и ученые написали множество книг о городе, дворце и саде, но и про соловья не забыли — его они ставили превыше всего. Поэты слагали замечательные стихи в честь соловья, который жил в лесу у бездонного моря.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли до императора. Он сидел на золотом троне и, читая, поминутно кивал головой: так нравились ему восторженные описания города, дворца и сада. «Но соловей лучше всего!»

— Как же так! — воскликнул император. — Соловей! Ничего про него не знаю! В моей империи, в моем собственном саду живет такая птица, а я ее никогда не слышал! Только в книгах о ней читаешь!

И он вызвал к себе первого вельможу, такого надутого от важности, что, если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или спросить о чем-то, он произносил лишь «пф», а это ведь ничего не означает.

— Оказывается, у нас здесь есть весьма примечательная птица, которая называется соловей! — сказал король. — Ее считают самой лучшей в моем великом государстве! Почему никто ни разу мне о ней не рассказывал?

— Никогда не слыхал о ней! — ответил первый вельможа. — Ее не представляли ко двору!

— Я желаю, чтобы ее доставили мне сегодня вечером, пусть споет для меня! — приказал император. — Всему миру известно, что у меня есть, а я этого не знаю!

— Я никогда не слышал о такой птице! — повторил первый вельможа. — Но я разыщу ее!

А где ее искать? Первый вельможа бегал вниз и вверх по всем лестницам, по всем залам и коридорам, но никто из тех, кого он встречал по пути, ничего не слышал о соловье.

Первый вельможа бегом вернулся к императору и доложил, что соловья, наверное, выдумали сочинители книг.

— Ваше императорское Величество не должны верить всему, что пишут в книгах! Это выдумки и то, что называют черной магией!

— Книга, в которой я это прочел, прислана мне могущественным императором Японии, в ней не может быть неправды! Я желаю услышать соловья! Он должен вечером быть здесь! Я беру его под свое высочайшее покровительство! А если его здесь не будет, всем придворным после ужина надают палками по животу!

— Тцинг-пе! — сказал первый вельможа и снова принялся бегать вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам; с ним бегали и добрая половина придворных — никому не хотелось отведать палок по животу. И они всех спрашивали об удивительном соловье, которого знает весь мир, а при дворе никто.

Наконец на кухне нашли маленькую бедную девочку. Она сказала:

— О Господи! Как не знать соловья! Как он поет! Каждый вечер мне позволено относить объедки с императорского стола моей бедной больной матери, она живет у самого моря. И когда я возвращаюсь обратно и сажусь передохнуть в лесу, то слышу пение соловья! И мои глаза наполняются слезами, мне кажется, что это моя мать целует меня.

— Послушай, кухарочка! — сказал первый вельможа. — Ты будешь принята на постоянную работу на кухне, и я получу для тебя разрешение смотреть, как трапезничает император, если ты отведешь нас к соловью. Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И все, в том числе половина придворных, отправились в лес, где обычно пел соловей. Шли они, шли, и тут замычала корова.

— О! — воскликнул молодой придворный. — Какая, однако, сила в таком маленьком создании! Но я, точно, слышал его раньше!

— Нет, это мычит корова! — сказала девочка. — Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

— Прелестно! — сказал китайский священник. — Теперь я его слышу! Точно маленькие церковные колокола!

— Нет, это лягушки! — сказала девочка. — Но думаю, мы скоро и соловья услышим.

И тут запел соловей.

— Вот он! — воскликнула девочка. — Слушайте, слушайте! Вон он сидит! — И она указала на серенькую птичку в ветвях.

— Возможно ли это? — удивился первый вельможа. — Вот уж не думал, что он такой! Совсем невзрачный! Наверное, растерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

— Соловушка! — громко крикнула девочка. — Наш милостивый император хочет, чтобы ты для него спел!

— С большим удовольствием! — ответил соловей и запел так, что наслаждение было слушать.

— Точно хрустальные колокольчики звенят! — сказал первый вельможа. — Посмотрите, как работает его горлышко! Странно, что мы никогда раньше его не слышали! Он будет иметь огромный успех при дворе!

— Спеть мне императору еще? — спросил соловей; он думал, что здесь был и сам император.

— Мой изумительный соловушка! — сказал первый вельможа. — Я имею счастье пригласить вас сегодня вечером на придворное торжество, на котором вы непременно очаруете его императорское величество своим превосходным пением!

— Его лучше слушать в зеленом лесу! — сказал соловей, но охотно согласился на предложение, услышав, что таково желание императора.

Дворец разубрали лучше некуда. Фарфоровые стены и пол сверкали при свете тысяч золотых ламп, в коридорах стояли красивейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни и сквозняка звенели так, что заглушали человеческие голоса.

Посреди громадного зала, где восседал император, установили золотой шест, предназначенный для соловья. Собрался весь двор, маленькой кухарке тоже позволили стоять в дверях — она же получила теперь звание настоящей поварихи. Разодетые в пух и прах придворные не сводили глаз с маленькой серой птички, которой император кивнул головой.

И соловей запел так прекрасно, что у императора на глазах выступили слезы и потекли по щекам. Тогда соловей залился еще более изумительными трелями, проникавшими в самое сердце. Император был в восторге и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю — носить на шее. Но соловей поблагодарил и отказался — он и без этого награжден в полной мере.

— Я видел слезы на глазах императора, это для меня величайшая награда! Слезы императора обладают удивительной силой! Видит Бог, я награжден сполна!

И снова зазвучали его сладостные, восхитительные трели.

— Очень милая манера пококетничать! — сказали дамы и начали набирать в рот воды, чтобы она булькала и у них в горле, когда кто-нибудь с ними заговорит. Они считали, что таким образом сами запоют соловьями.

Лакеи и горничные объявили, что они тоже весьма довольны, а это дорогого стоит, потому что им угодить труднее всего. Да, соловей имел большой успех.

Он остался при дворе, ему выделили собственную клетку, разрешили прогулки — два раза днем и один раз ночью. К нему приставили двенадцать лакеев, каждый из которых крепко держал в руках шелковую ленту, привязанную к его ножке. Немного удовольствия от подобной прогулки.

Весь город говорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое, то один произносил «соло», а другой подхватывал «вей», и оба понимающе вздыхали. В честь колбасника назвали одиннадцать сыновей, но ни у одного из них не было голоса.

Однажды императору доставили большую посылку с надписью: «Соловей».

— Вот еще одна книга о нашей знаменитой птице! — сказал король.

То была не книга, а небольшое произведение искусства — в ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь усыпанный брильянтами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу, как она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, отливавшим серебром и золотом. На шее у нее висела ленточка, на которой было написано: «Соловей японского императора жалок по сравнению с соловьем китайского императора».

— Какая красота! — воскликнули все, а тому, кто доставил птицу, немедленно присвоили титул «главного императорского поставщика соловьев».

— Теперь они должны петь вместе, вот будет дуэт!

Но петь вместе у них не получилось: настоящий соловей пел на свой лад, а искусственный звучал, как шарманка.

— Это не его вина! — сказал капельмейстер. — Он отлично держит такт и поет по моей методе!

И искусственному соловью предоставили петь одному. Он имел такой же успех, как и настоящий, зато смотреть на него было намного приятнее — он сверкал, как браслеты и броши.

Тридцать три раза пропел он одно и то же и ничуть не устал. Собравшиеся охотно послушали бы его еще, но император посчитал, что надо дать возможность и настоящему соловью попеть немножко. Но где же он? Никто и не заметил, как он выпорхнул в открытое окно и полетел к себе в зеленый лес.

— Что же это такое?! — воскликнул император, и все придворные начали ругать соловья, называя его в высшей степени неблагодарной тварью.

— Зато у нас осталась самая лучшая птица! — сказали они, и искусственному соловью пришлось в тридцать чет-

вертый раз пропеть ту же мелодию. Но выучить ее как следует пока никто не сумел — такая она была трудная. Капельмейстер всячески расхваливал птицу, заверяя всех, что она превосходит настоящего соловья не только внешним видом и многочисленными брильянтами, но и внутренними достоинствами.

— Видите ли, господа, и в первую очередь мой император! Когда речь идет о настоящем соловье, то вы не можете знать, что ему взбредет в голову, у искусственной же птицы все известно заранее! Она будет петь именно так, а не иначе! За нее можно отвечать, ее можно даже разобрать и продемонстрировать плоды человеческого ума: как расположены валики, каким образом и в какой последовательности они действуют!

— Мы такого же мнения! — согласились присутствующие, и капельмейстеру в следующее воскресенье разрешили показать птицу народу.

— И пусть послушают, как она поет! — распорядился император.

Люди послушали и остались весьма довольны, развеселились так, словно напились чаю, ведь это же очень по-китайски. Все восклицали «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедный рыбак, слышавший настоящего соловья, сказал:

— Звучит довольно красиво и похоже, но чего-то не хватает, сам не знаю чего!

А настоящего соловья изгнали из пределов государства.

Искусственная птица заняла свое место на шелковой подушке рядом с императорским ложем. Вокруг были разложены пожалованные ей золото и драгоценные камни. Ее возвели в ранг «императорского певца ночного столика первой степени с левой стороны», потому что император считал главной ту сторону, на какой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора.

Капельмейстер написал двадцать пять томов книг об искусственной птице — ученых и длинных, и полных самых мудреных китайских слов. Но придворные уверяли, что прочитали их и все поняли, иначе бы их сочли глупцами и отколотили бы палками по животу.

Так прошел год. Император, двор и все остальные китайцы знали наизусть каждый перелив в песне искусственной птицы, но именно это им нравилось больше всего: они теперь сами могли ей подпевать, что и делали. Уличные мальчишки распевали: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» И император напевал то же самое! Как мило!

Но как-то вечером, когда император лежал в постели и слушал пение искусственной птицы, в ней что-то лопнуло, зажужжало, все колесики завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил с постели и велел позвать лейб-медика, да чем тот мог помочь! Послали за часовщиком и тот после долгих разговоров и тщательных осмотров кое-как починил птицу, но предупредил, что с ней надо обращаться очень бережно: зубчики поизносились, а заменить их на новые, чтобы они точно воспроизводили мелодии, нельзя. Вот какая случилась беда! Строго-настрого запретили заводить птицу чаще, чем раз в год. Но капельмейстер произнес краткую речь, полную мудреных слов, в которой доказал, что птица ничуть не стала хуже, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет, и страну постигло огромное горе: все любили императора, а он заболел и находился, как говорили, при смерти. Уже провозгласили имя нового императора, но народ толпился на улице, желая узнать у первого вельможи, как обстоит дело со старым.

— Пф! — отвечал он, качая головой.

Бледный, похолодевший, лежал император на своем роскошном ложе. Придворные, думая, что он уже умер, спешили поклониться новому императору. Лакеи выбегали из покоев, чтобы поболтать о новостях, а горничные собирались за

чашкой кофе. Все залы и коридоры были устланы коврами, заглушавшими шум шагов, поэтому кругом царила тишина.

Но император еще не умер. Недвижимый и бледный, лежал он на своем роскошном ложе под бархатным балдахином с золотыми кистями. Под самым потолком было распахнуто окно, сквозь которое на императора и искусственную птицу светила луна.

Бедный император едва дышал, казалось, кто-то сидит у него на груди. Он открыл глаза и увидел, что это смерть, — она надела его золотую корону, в одной руке держала его золотую саблю, а в другой — великолепный штандарт.

Из складок бархатного балдахина выглядывали странные головы: одни гадкие, другие милые и добрые. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него в то время, как смерть сидела у него на груди.

— Это помнишь? — шептали головы одна за другой. — Помнишь это? — и рассказывали ему столько всякого, что у него на лбу выступил пот.

— Я ничего об этом не знал! — сказал император. — Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! — закричал он. — Чтобы я не слышал, что они говорят!

Но головы продолжали шептать, а смерть, словно китаец, кивала в ответ на их речи.

— Музыку! Музыку! — крикнул император. — Милая, золотая птичка! Пой хоть ты, пой! Я тебя одарил золотом и драгоценностями, я сам повесил тебе на шею золотую туфлю! Пой же, пой!

Но птица молчала: некому было ее завести, а без этого она петь не могла. Смерть же по-прежнему не сводила с императора своих огромных пустых глазниц. И в покоях царила тишина, жуткая тишина.

И тут за окном зазвучала изумительная песня — на ветке дерева сидел живой соловушка. Услыхав о болезни императора, он прилетел, чтобы своим пением утешить и обнадежить его.

Он пел, и призраки стали бледнеть, и кровь быстрее побежала по жилам ослабевшего тела императора. Сама смерть заслушалась соловья и все повторяла:

— Пой еще, соловушка, пой еще!

— Тогда отдай мне золотую саблю! Отдай мне драгоценный штандарт! Отдай мне императорскую корону!

И смерть отдавала ему за каждую песню одно сокровище за другим, а соловей продолжал петь. Он пел о тихом кладбище, где растут белые розы, о том, как благоухает бузина и как свежая трава орошается слезами живых людей. И смерть затосковала по своему саду и, свившись в холодный белый туман, вылетела в окно.

— Спасибо, спасибо тебе, божественная птичка! — сказал император. — Я узнал тебя! Это тебя я изгнал из моего государства! А ты своим пением отогнала от моей постели злые видения, согнала с моей груди смерть! Чем я могу отблагодарить тебя?

— Ты уже отблагодарил меня! — ответил соловей. — На твоих глазах были слезы, когда я пел для тебя в первый раз, — я этого никогда не забуду! Эти драгоценные слезы греют сердце певца! А сейчас поспи и просыпайся здоровым и сильным! Я буду петь для тебя!

Соловей запел, и император погрузился в сладкий сон, благодатный, освежающий сон.

Когда он проснулся, бодрый и здоровый, в окно уже светило солнце. Никто из слуг к нему еще не явился, все думали, что император умер, и только соловей продолжал петь.

— Останешься у меня навсегда! — сказал император. — Будешь петь, когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги.

— Не делай этого, — сказал соловей. — Она старалась, как могла. Пусть она по-прежнему будет у тебя! Мне же невозможно жить во дворце. Но позволь мне прилетать, когда захочется, и по вечерам садиться на ветку за окном и петь для

тебя. Мое пение принесет тебе радость и заставит задуматься! Я буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, что неведомо для тебя творятся вокруг! Певчая птичка летает повсюду, залетает под крышу и бедного рыбака, и крестьянина, к каждому, кто находится далеко от тебя и твоего дворца! Я люблю твое сердце больше, чем твою корону, хотя корона несет в себе определенный ореол святости! Я буду прилетать и петь для тебя! Но обещай мне одно!

— Все, что хочешь! — ответил император, стоя в своем императорском одеянии, в которое он облачился самостоятельно, и прижимая к сердцу тяжелую золотую саблю.

— Прошу тебя, не говори никому, что у тебя есть птичка, которая рассказывает тебе обо всем! Так будет лучше!

И соловей улетел.

Вошли слуги поглядеть на покойного императора и застыли на пороге. А император произнес:

— Доброе утро!

ВЛЮБЛЕННАЯ ПАРОЧКА

Молодчик кубарь и барышня мячик лежали рядом в ящике с игрушками, и кубарь сказал мячику:

— Может, поженимся, раз мы лежим в одном ящике?

Но мячик, сшитый из сафьяна и воображавший себя благородной девушкой, не удостоил его ответом.

На другой день пришел мальчик, хозяин игрушек, и выкрасил кубарь в красный и желтый цвет, а в самую серединку вбил медный гвоздик. Любо-дорого было смотреть, как закрутился кубарь.

— Поглядите-ка на меня, — сказал он мячику. — Что теперь скажете? Давайте поженимся, мы очень подходим друг другу — вы прыгаете, а я танцую! Счастливей нас пары не найти!

— Вы так думаете? — сказал мячик. — Вы, верно, не знаете, что моими родителями были сафьяновые туфли, а внутри у меня пробка!

— А я сделан из красного дерева! — ответил кубарь. — Меня выточил сам помощник королевского фогта. У него есть собственный токарный станок, и он занимался мной с большим удовольствием.

— Это правда? — усомнился мячик.

— Пусть меня больше никогда не будут стегать кнутиком, если я лгу! — ответил кубарь.

— Вы красноречивы! — сказал мячик. — Но я все равно не могу. Я уже почти наполовину помолвлена со стрижом! Каждый раз, когда я взлетаю в воздух, стриж высовывается из гнезда и спрашивает: «Хотите? Хотите?» И мысленно я всегда отвечаю: «Да!» Это практически означает половину помолвки. Но я обещаю, что никогда не забуду вас!

— Какое облегчение! — фыркнул кубарь, и больше они друг с другом не разговаривали.

На следующий день мячик вытащили из ящика. Кубарь видел, как он, словно птица, взвивался в воздух, пока не исчезал из виду, потом возвращался обратно и высоко подпрыгивал, коснувшись земли, — то ли потому, что его влекло туда, то ли потому, что у него внутри была пробка. На девятый раз мячик взлетел и не вернулся. Мальчик искал его повсюду, но напрасно.

— Я-то знаю, где эта барышня! — вздохнул кубарь. — В гнезде стрижа, вышла за него замуж!

Чем больше кубарь думал о мячике, тем сильнее влюблялся. Любовь его крепла именно потому, что он не мог жениться на возлюбленной. Надо же, она предпочла ему другого!

Кубарь танцевал и крутился, но не переставал думать о мячике, который ему казался все прекраснее и прекраснее.

Так прошло много лет, и любовь состарилась.

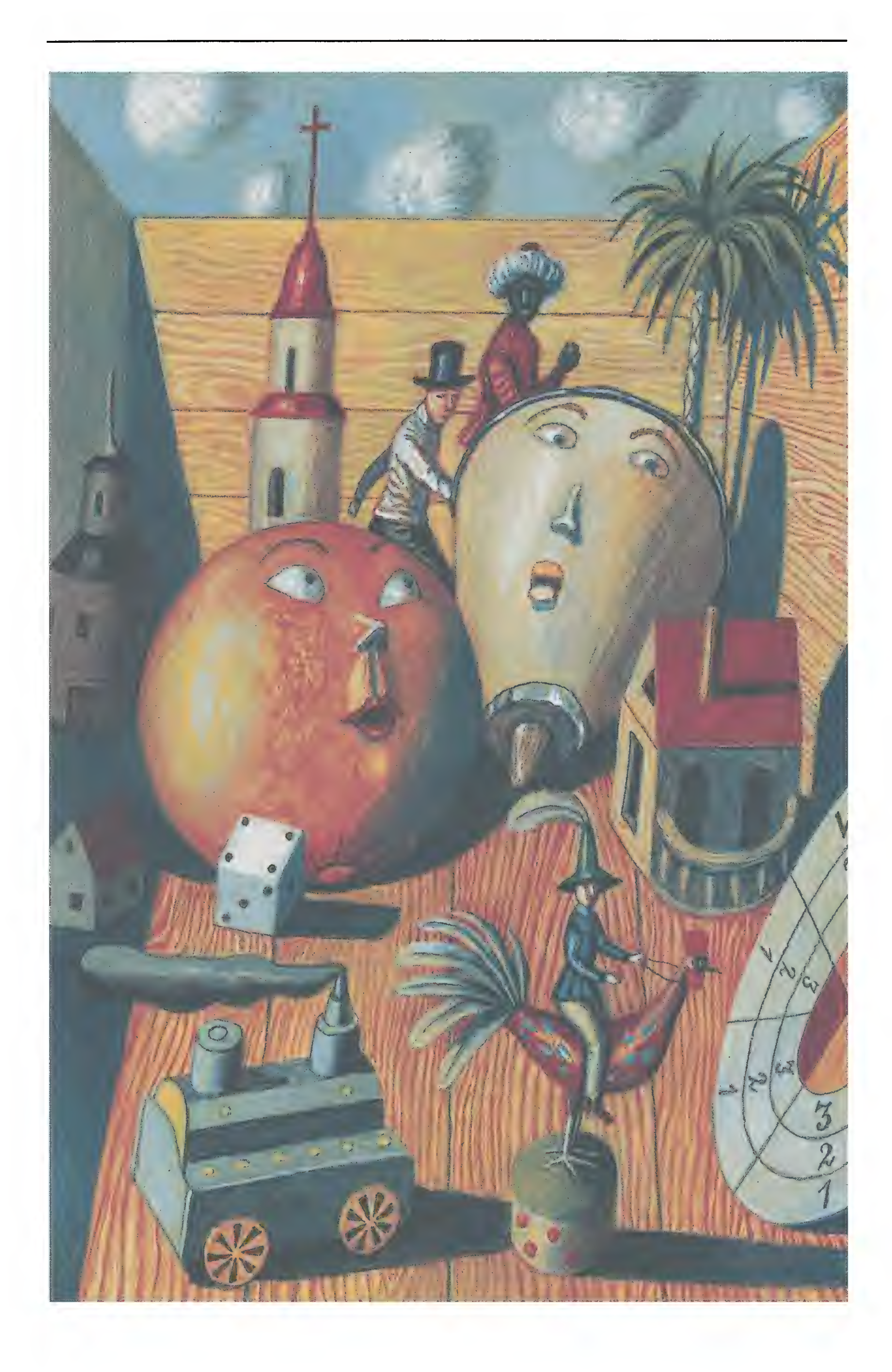
Да и кубарь был уже немолод. Но вот однажды его позолотили — целиком. Никогда раньше он не выглядел столь великолепно. Теперь он сделался золотым кубарем; он прыгал и вертелся лучше прежнего. Просто загляденье! Но както раз он подпрыгнул слишком высоко и — пропал!

Его искали повсюду, даже в погребе, но не нашли.

Где же он?

Он попал в мусорное ведро! Оно стояло под водосточным желобом, и оттуда в него чего только не нападало: кочерыжки, мусор, песок.

— Ничего себе угодил! Тут скоро вся позолота сойдет! А это что еще за дрянь?



И кубарь покосился на длинную обгрызенную кочерыжку и на странный круглый предмет, похожий на сморщенное яблоко. Но это было не яблоко, а старый мячик, много лет пролежавший в водосточном желобе и потому совсем сгнивший.

— Слава Богу, хоть кто-то из нашего круга, с кем можно поговорить! — сказал мячик, посмотрев на позолоченного кубаря. — Я вообще-то из сафьяна, меня сшили девичьи руки, а внутри у меня пробка! А разве кто-нибудь скажет это, глядя на меня? Я должна была выйти замуж за стрижа, но упала в водосточный желоб, где лежала и гнила целых пять лет! Для девушки это долгий срок, поверь мне!

Но кубарь ничего не ответил, он вспоминал свою возлюбленную, и чем больше ее слушал, тем тверже убеждался, что это она.

Пришла служанка, чтобы опорожнить ведро.

— А, вот и наш золотой кубарь! — воскликнула она.

И кубарь снова вернулся в дом и был в чести, а о мячике и не упоминали. Кубарь больше не заикался о своей прежней любви. Любовь проходит, если возлюбленная сгниет, пролежав пять лет в водосточном желобе. Ее уже не узнаешь, увидев в мусорном ведре.

ГАДКИЙ УТЕНОК

Хорошо было за городом! Стояло лето, золотилась рожь, зеленел овес, сено было сметано в стога на зеленых лугах, где расхаживал на своих длинных красных ногах аист и болтал по-египетски — этому языку его научила мать. Вокруг полей и лугов тянулись густые леса, в которых скрывались глубокие озера. Да, хорошо было за городом! Солнце светило прямо на старую усадьбу, окруженную глубокими рвами с водой. От ее стен до самой воды рос громадный щавель, такой высокий, что маленькие ребятишки могли стоять во весь рост под самыми большими листами. В зарослях щавеля было глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка, высиживала утят. Ей это уже порядком надоело, потому что сидела она давно, а в гости редко кто приходил: другие утки предпочитали плавать во рвах, а не сидеть под лопухами и болтать с ней.

Наконец яйца затрещали, одно за другим.

— Пи! Пи! — послышалось из них, яичные желтки ожили и высунули головки из скорлупы.

— Живо, живо! — сказала утка, и утята заторопились изо всех сил. Выбравшись, они начали озираться вокруг под зеленым щавелем, и мать им не мешала, потому что зеленый цвет полезен для глаз.

— Как велик мир! — запищали утята; и действительно, здесь им было куда просторнее, чем в скорлупе.

— А вы думаете, это весь мир? — спросила мать. — Нет, он простирается далеко за пределы сада, доходит до земель священника! Но там я никогда не бывала! Ну, кажется, вы все тут! — И она встала. — Нет, не все! Нет, не все! Осталось еще самое большое яйцо! Сколько же это будет продолжаться! Мне уже надоело!

И она снова уселась.

— Ну, как дела? — спросила старая утка, которая пришла ее навестить.

— Да вот с одним яйцом что-то ужасно долго получается! Никак не треснет! Но посмотри на остальных! Красивее утят я не видела! И все похожи на отца, а он, негодник, ни разу не навестил меня.

— Дай-ка мне взглянуть на это яйцо! — сказала старая утка. — А вдруг оно индюшачье! Меня тоже однажды обманули. Ох, и намучилась я тогда с этими птенцами! Они ведь боятся воды, должна тебе сказать! Я не могла заставить их войти туда! Я и крякала, и толкала их, все бесполезно! Дай-ка взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшачье! Оставь его, иди лучше да поучи других детей плавать!

— Нет, посижу еще! — ответила утка. — Столько вытерпела, можно и еще чуток посидеть!

— Сиди на здоровье! — сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещало и самое большое яйцо.

— Пип, пип! — запищал птенец, вываливаясь из скорлупы, — большой, гадкий птенец.

— Какой огромный утенок! — сказала утка, глядя на него. — Совершенно не похож на остальных! Неужто и впрямь индюшонок? Но это мы скоро узнаем! Он у меня в воду полезет, даже если мне придется его столкнуть!

На следующий день погода стояла отличная, зеленый щавель был залит солнцем. Утка со всем семейством отправилась ко рву. Плюх! — и утка бултыхнулась в воду.

— Живо, живо! — позвала она, и утята, один за другим, тоже бултыхнулись в ров. Вода накрыла их с головой, но они

тут же вынырнули и поплыли, и как замечательно поплыли! Лапки работали вовсю, гадкий серый утенок не отставал.

— Нет, это не индюшонок! — сказала утка-мать. — Глядите, как красиво работает лапками, как прямо держится! Это мой собственный сын! В сущности, он весьма пригожий, если приглядеться повнимательнее! Живо, живо, за мной! Я введу вас в общество, представлю на птичьем дворе! Только держитесь поближе ко мне, чтобы на вас никто не наступил, и берегитесь кошки!

И вот они добрались до птичьего двора. Ну и шум тут стоял! Два семейства дрались из-за головки угря, которая досталась кошке.

— Да, вот так бывает на этом свете! — сказала утка-мать и облизнулась — ей тоже хотелось угриной головки. — Шевелите лапками! Поскорее поклонитесь вот той старой утке! Она здесь самая знатная! Испанских кровей! Поэтому такая жирная! Видите, у нее на ноге красный лоскут? Необыкновенно красиво! Это высший знак отличия, какого только может удостоиться утка! Так делается, чтобы она не потерялась и чтобы ее узнавали и люди, и животные! Ну, поторопитесь! И не держите лапки вместе! Хорошо воспитанный утенок держит лапки врозь, как папа с мамой! Ну, поклонитесь и крякните!

Так они и сделали, но другие утки вокруг посмотрели на них и закричали:

— Нет, еще один выводок! Как будто нас тут мало! Фу, какой вид у одного из них! Его мы не потерпим!

И одна утка тотчас же подлетела к нему и клюнула в шею.

— Оставьте его в покое! — сказала утка-мать. — Он ведь никому ничего не сделал!

— Да, но он такой большой и странный! — ответила забияка. — Его надо проучить!

— Прелестные у тебя детки! — сказала старая утка с красным лоскутом на ноге. — Все красивые, кроме одного! С ним у тебя не получилось. Хорошо бы его переделать!

— Невозможно, Ваша милость! — ответила уткамать. — Пусть он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он прекрасно, не хуже других, а может, осмелюсь сказать, и чуть получше! Думаю, он вырастет красавцем или со временем станет поменьше! Он залежался в яйце, поэтому не совсем удался! — И утка ущипнула его за шею и пригладила перья. — Кроме того, он селезень, а для них красота не так важна! Я уверена, что ему хватит сил пробить себе дорогу!

— Остальные утята очень милы! — сказала старая утка. — Ну, чувствуйте себя как дома, а если найдете головку угря, то можете принести ее мне.

И они почувствовали себя как дома.

Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был таким безобразным, клевали, пихали и осыпали насмешками и утки, и куры.

— Он слишком большой! — говорили все.

А индюк, родившийся со шпорами и потому воображавший себя императором, надулся, словно паруса на корабле, подбежал к утенку и залопотал, а гребешок у него при этом налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, он был в отчаянии от своего уродства, от того, что над ним издевается весь птичий двор.

Так прошел первый день, а дальше пошло еще хуже. Бедного утенка гнали отовсюду, даже его братья и сестры злились на него и говорили: «Хоть бы кошка утащила тебя, урода!» А мать прибавляла: «Шел бы ты куда подальше!»

Утки клевали его, куры щипали, и служанка, дававшая птицам корм, пинала ногой.

И тогда утенок перебежал двор и перелетел через изгородь. Птички испуганно вспорхнули из кустов. «Это потому, что я такой гадкий», — подумал утенок и закрыл глаза, но все же побежал дальше, пока не прибежал к большому болоту, где жили дикие утки. Здесь он и провел ночь, измотанный и печальный.

Утром дикие утки взлетели в небо и увидели нового товарища.

— Ты кто такой? — спросили они, а утенок, вертясь во все стороны, здоровался с ними, как умел.

— Ты поразительно безобразен! — сказали дикие утки. — Но нам до этого дела нет, лишь бы ты не вздумал жениться и войти в нашу семью!

Бедняга! Воистину он не думал о женитьбе, только бы ему разрешили полежать в камышах и попить болотной водички.

Два дня провел он там, а потом появились два диких гуся, вернее, гусака; они недавно вылупились из яиц и страшно этим гордились.

— Слушай, парень! — сказали они. — Ты такой гадкий, что нам это даже нравится! Хочешь составить нам компанию и стать перелетной птицей? Здесь рядом есть другое болото, там живут несколько прелестных диких гусей, все гусыни. Они умеют говорить: «Га-га-га!» Ты, как бы уродлив ты ни был, пожалуй, найдешь свое счастье!

«Пиф, паф!» — прогремело в ту же минуту над болотом, и оба гусака замертво свалились в камыши, а вода окрасилась кровью. «Пиф, паф!» — прогремело вновь, и из камышей взметнулись в небо стаи диких гусей. И вновь зазвучали выстрелы. Это была большая охота. Охотники окружили болото, некоторые сидели в нависших над камышами ветвях деревьев. Голубой дым, как облака, пробирался сквозь гущу ветвей и стлался над водой. По болоту забегали охотничьи собаки — шлеп, шлеп! Камыш раскачивался во все стороны. Бедный утенок от ужаса хотел было спрятать голову под крыло, как вдруг перед ним оказалась огромная собака с длинным высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила пасть к утенку, оскалила острые зубы, и — шлеп! — побежала дальше, не тронув его.

— Слава тебе, Господи! — перевел дух утенок. — Я такой гадкий, что даже собаке противно меня трогать!

И он затаился в камышах, а вокруг свистели дробинки и грохотали выстрелы.

К середине дня все стихло, но бедный птенец никак не решался высунуться; он подождал еще несколько часов, потом огляделся и побежал, напрягая все силы, прочь от болота, он бежал по полям и лугам, борясь с сильным встречным ветром.

К вечеру он добрался до бедной избушки, такой ветхой, что она сама не знала, на какой бок ей упасть, потому и стояла. Ветер, крепчавший с каждой минутой, норовил оторвать утенка от земли, и ему приходилось упираться хвостом. И тут он заметил, что дверь соскочила с одной петли и висит так криво, что через образовавшуюся щель можно было проскользнуть в избушку. Что утенок и сделал.

Там жила старушка с котом и курицей. Кот, которого она называла Сынком, умел выгибать спину и мурлыкать, а еще от него летели искры, когда его гладили против шерсти. У курицы были совсем коротенькие ножки, поэтому ее прозвали Коротконожкой. Она исправно несла яйца, и старушка любила ее, как собственную дочку.

Утром незнакомца, конечно, заметили; кот замурлыкал, а курица заклохтала.

— Что такое? — сказала старушка, оглядываясь. Но она плохо видела и приняла утенка за жирную заплутавшую утку. — Вот это улов! — воскликнула она. — Теперь у меня будут и утиные яйца, если только это не селезень! Но это мы проверим!

И утенка оставили на три недели — проверять, но яйца так и не появлялись. Кот был в доме хозяином, а курица — хозяйкой, и оба говорили «Мы и остальной мир!», потому что считали себя половиной мира, причем лучшей. Утенку казалось, что на этот счет может существовать и другое мнение, но курица этого не потерпела.

— Ты умеешь нести яйца? — спросила она.

— Нет!

— Ну, тогда захлопни рот!

А кот спросил:

— Ты умеешь выгибать спину, мурлыкать и испускать искры?

— Нет!

— Так и не суйся со своим мнением, когда умные люди говорят!

Утенок сидел в углу в самом дурном расположении духа. Но тут вспомнились ему свежий воздух и солнце, и ему вдруг страшно захотелось поплавать. Наконец он не выдержал и рассказал об этом курице.

— Что это с тобой? — поинтересовалась она. — Тебе от безделья всякая дурь в голову лезет! Неси яйца или мурлычь, дурь и пройдет.

— Но плавать так прекрасно! — ответил утенок. — Такое наслаждение нырять вглубь с головой!

— Да уж, огромное наслаждение! — сказала курица. — Ты просто с ума сошел! Спроси кота, он умнее всех, кого я знаю, любит ли он плавать или нырять! Про себя и не говорю. Спроси нашу старую госпожу, умнее ее на свете никого нет! Как думаешь, ей хочется плавать и нырять с головой?

— Вы меня не понимаете! — сказал утенок.

— Если мы тебя не понимаем, то кто поймет? Тебе ведь никогда не стать умнее кота и старушки, не говоря уж обо мне! Не дури, малыш! И поблагодари Создателя за все, что для тебя сделали. Разве тебя не пустили в теплый дом, в общество, у которого ты можешь чему-нибудь научиться? Но ты — пустомеля, и общаться с тобой удовольствия не доставляет! Поверь мне! Я хочу тебе добра, я говорю тебе неприятные вещи, но только так и познаются истинные друзья! Постарайся теперь начать нести яйца или научись мурлыкать и испускать искры!

— По-моему, мне лучше уйти отсюда на все четыре стороны! — сказал утенок.

— И пожалуйста! — отозвалась курица.

И утенок ушел; он плавал, нырял, но из живности никто не хотел иметь с ним дела из-за того, что он был такой гадкий.

Наступила осень, листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал их и кружил в танце, с неба повеяло холодом. Тучи набухли градом и снегом, а на изгороди сидел ворон и каркал от стужи. От одной мысли об этом замерзнуть можно. Бедному утенку приходилось несладко.

Как-то вечером при чудном свете заходящего солнца из кустов поднялась стая прекрасных больших птиц — утенок никогда не видел таких красавцев: ослепительно белых, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Испустив какой-то странный крик, они расправили свои великолепные длинные крылья и полетели из холодных просторов в теплые края, к открытому морю! Они поднялись высоко-высоко, а у маленького гадкого утенка стало удивительно хорошо на душе. Он волчком завертелся на воде, вытянул шею вслед за ними и испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. О, он не мог забыть этих прекрасных, счастливых птиц и, как только перестал их видеть, нырнул в глубину, а когда вынырнул, сделался точно сам не свой. Утенок не знал, как зовут этих птиц, не знал, куда они полетели, но он полюбил их так, как еще никого не любил. Он не завидовал им, ему и в голову не приходило пожелать себе подобной красоты; он был бы рад, если бы хоть утки не отталкивали его от себя. Бедный гадкий утенок!

Зима выдалась суровой. Утенку приходилось плавать без устали, чтобы не дать замерзнуть воде совсем. Но с каждой ночью полынья, в которой он плавал, становилась все меньше и меньше. От стужи трещала ледяная корка. Утенок изо всех сил работал лапками, чтобы не дать полынье закрыться, но в конце концов изнемог, затих и вмерз в лед.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидел птицу, разбил своим деревянным башмаком лед и отнес ее домой, к жене. Утенка отогрели.

Ребятишки вздумали поиграть с ним, а он вообразил, что они собираются сделать что-то нехорошее, и от страха метнулся прямо в подойник с молоком, так что молоко расплескалось по всей комнате. Хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утенок влетел в кадку с маслом, а оттуда — в бочонок с мукой. На кого же он был похож, когда выбрался оттуда! Хозяйка вопила и гонялась за ним с угольными щипцами, дети с хохотом и визгом носились, сшибая друг друга с ног. Хорошо, дверь была открыта — утенок выбежал, кинулся в кусты, на свежевыпавший снег и долго лежал там, словно в забытьи.

Но слишком печально описывать все злоключения и беды утенка, которые ему пришлось испытать той суровой зимой. Когда солнце начало пригревать, он вновь лежал на болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла чудесная весенняя пора.

Утенок взмахнул крыльями, которые теперь стали намного сильнее и шумели громче, чем прежде. И не успел он опомниться, как оказался в обширном саду. Там цвели яблони, там благоухала сирень, склоняя свои длинные зеленые ветви к извилистым рвам! Ах, как тут было хорошо, как пахло весной! Вдруг из зарослей выплыли три прекрасных белых лебедя. Взъерошив перья, они легко скользили по воде. Утенок узнал чудесных птиц, и его охватила какая-то удивительная грусть.

«Я полечу к ним, к этим королевским птицам! Они заклюют меня до смерти за то, что я, такой гадкий, посмел приблизиться к ним! Ну и пусть! Лучше умереть от их клювов, чем сносить щипки уток и клевки кур, пинки птичницы и страдать зимой!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

— Убейте меня, — сказал бедный утенок, опуская голову в ожидании смерти, но что же он увидел в прозрачной воде? Он

увидел свое собственное отражение: он уже не был неуклюжим темно-серым птенцом, гадким и безобразным, он стал лебедем!

Не страшно появиться на свет на птичьем дворе, если вылупился из лебединого яйца!

Он был рад, что перенес столько горя и страданий, — теперь он мог лучше оценить свое счастье и всю окружавшую его красоту. А большие лебеди плавали вокруг него и гладили его клювами.

В сад прибежали ребятишки, которые стали бросать в воду хлебные крошки и зерна, и самый маленький закричал:

— Новый!

И все остальные дети восторженно подхватили:

— Да, новый! — и захлопали в ладоши, приплясывая от радости; потом побежали за отцом и матерью и снова принялись бросать в воду хлеб и печенье.

И все сказали:

— Новый — красивее всех! Такой юный, такой прекрасный!

И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был счастлив, но совсем не возгордился, ибо в добром сердце гордыня не живет! Он вспомнил то время, когда его отовсюду гнали, когда над ним издевались. А теперь все говорят, что он прекраснейший среди самых прекрасных птиц! Сирень склоняла к нему свои ветви, и солнце освещало его теплыми лучами. И тогда крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, и из груди вырвался ликующий крик:

— Я и не мечтал о таком счастье, когда был гадким утенком!

ЕЛЬ

Росла в лесу прелестная елочка. Место у нее было хорошее — солнечное, воздуха достаточно, а окружали ее товарищи постарше — и ели, и сосны. Но елочке страшно хотелось побыстрее вырасти, и она не думала ни о теплом солнце, ни о свежем воздухе, не обращала внимания на деревенских ребятишек, которые, болтая, собирали в лесу землянику или малину. Иногда они, набрав целый кувшин земляники или нанизав ягоды на соломинку, усаживались возле елочки и говорили: «Какая прелестная маленькая елочка!» Деревце подобных речей просто не желало слышать.

Прошел год, и на елочке появился новый поясок веточек, прошел второй — она стала еще выше. По числу таких вот поясков и определяют возраст елей.

— Ах, если бы я была таким большим деревом, как все остальные! — вздыхала елочка. — Я бы широко раскинула свои ветви, а моя верхушка увидела бы весь мир! Птицы свили бы гнезда в моих ветвях, и при ветре я бы так же гордо кивала головой, как другие!

Елочке не доставляли никакого удовольствия ни солнце, ни птицы, ни розовые облака, утром и вечером проплывавшие над ней.

Зимой землю устлал сверкающий белый снег; порой прибегал заяц и перепрыгивал через елочку — вот досада! Но прошло еще

две зимы, а на третью деревце выросло настолько, что зайцу приходилось его обегать. «О, расти, расти, стать высокой и старой! Что может быть прекраснее на этом свете!» — думалось елочке.

Осенью в лесу появлялись дровосеки и срубали несколько самых больших деревьев. Так бывало каждый год, и юная ель, которая уже прилично подросла, дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском роскошных деревьев. Елям обрубали ветви, и они лежали совсем голые, длинные и тонкие, так что и не узнать. Потом их укладывали на телеги, и лошади увозили их из леса.

Куда их везли? Что с ними будет?

Весной, когда прилетели ласточки и аисты, ель спросила их:

— Вы не знаете, куда повезли те деревья? Вы их не встречали?

Ласточки ничего не знали, зато аист, задумчиво кивнув головой, сказал:

— Пожалуй, я знаю! По пути из Египта я видел много новых кораблей, на них стояли великолепные мачты! Осмелюсь предположить, что это они, — от них пахло елью! Передаю от них привет, они так горделиво возвышаются над палубой.

— О, если бы мне вырасти такой большой, чтобы попасть на море! А какое оно, это море? На что похоже?

— Ну, это долго объяснять, — ответил аист и удалился.

— Радуйся своей юности! — говорили солнечные лучи. — Радуйся своей свежести и молодой жизненной силе!

И ветер целовал дерево, роса орошала его слезами, но ель этого не ценила.

Перед Рождеством срубили и несколько молодых деревьев, меньше и моложе той ели, которая не знала покоя от желания покинуть лес. У этих молоденьких деревьев, самых красивых, ветви срубать не стали, их просто уложили на дровни и на лошадях увезли из леса.

— Куда же? — спросила ель. — Они не выше меня, одна даже намного ниже. Почему им сохранили ветви? Куда их повезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали воробьи. — Мы в городе заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! О, они попали в такой блеск, такую роскошь, какие только можно себе представить! Заглянув в окна, мы увидели, что их поставили посередине теплой комнаты и украсили чудеснейшими вещами — золочеными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и сотнями свечей!

— И что? — спросила ель. — И что? Что будет потом?

— Больше мы ничего не видели! Это было бесподобно!

— Может, и мне уготована столь блестящая судьба? — ликовала ель. — Это еще лучше, чем плавать по морю! Как я изнываю от тоски! Хоть бы наступило Рождество! Теперь я такая же высокая и пышная, как те, что увезли отсюда в прошлом году! О, если бы я лежала сейчас на дровнях, если бы стояла в теплой комнате во всем блеске и великолепии! А потом? Потом будет еще лучше, еще прекраснее, иначе зачем бы им наряжать меня! Но что именно? О, я страдаю, я тоскую! Сама не знаю, что со мной!

— Радуйся нам! — сказали воздух и солнечный свет. — Радуйся своей свежей юности на вольной природе!

Но ель не радовалась! Она росла и росла, и зимой, и летом стояла в своем зеленом уборе — темно-зеленом. И люди, которые ее видели, говорили: «Какое красивое дерево!»

Перед Рождеством ее срубили первой. Топор глубоко вонзился в сердцевину, дерево со вздохом упало на землю. Ель почувствовала боль, совсем обессилела и уже не могла думать о будущем счастье; ей было грустно расставаться с родным лесом, с тем местом, где она выросла. Она знала, что больше никогда не увидит старых, дорогих сердцу друзей, кустиков и цветов, окружавших ее, даже, наверное, и птиц! Отъезд не принес радости.

Ель пришла в себя только во дворе, куда ее доставили вместе с другими деревьями, когда услышала, как кто-то сказал:

— Превосходная елка! Как раз то, что нужно!

Явились двое разряженных слуг, взяли елку и внесли ее в громадный нарядный зал. На стенах висели портреты, а на большой кафельной печи стояли китайские вазы со львами на крышках. Повсюду — кресла-качалки, обитые шелком диваны, столы, заваленные книжками с картинками и игрушками на тысячи далеров, — так по крайней мере говорили дети.

Елку установили в кадке с песком, стоявшей на широком пестром ковре, причем никто не видел, что это кадка, потому что ее завесили зеленой тканью. О, как трепетало дерево! Что же теперь будет? Слуги и служанки принялись наряжать его. Они повесили на елку вырезанные из цветной бумаги сеточки, полные сластей; золоченые яблоки и грецкие орехи, казалось, приросли к ветвям, к которым прикрепили сотни красных, синих и белых свечек. Среди зелени качались куколки, точь-в-точь живые человечки, — таких елка никогда раньше не видела, а на самую верхушку водрузили большую звезду из сусального золота. Получилось великолепно, просто изумительно!

— Вечером, — сказали присутствующие, — вечером она засияет!

«Хоть бы поскорее наступил вечер! — подумала елка. — Поскорее бы зажгли свечи! А что же будет потом? Может, сюда явятся деревья из леса, чтобы полюбоваться на меня? Или к окнам прилетят воробьи? А может, я пущу корни и буду стоять нарядной и летом, и зимой?»

Да, обширные у нее были познания. Но от ожидания у нее разболелась кора, для дерева это так же мучительно, как головная боль для нас, людей.

Наконец зажгли свечи. Вот это блеск, вот это роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна свечка подпалила зеленую хвою, и елка обожглась.

— Господи, помилуй! — закричали девушки и поспешно затушили огонь.

Больше елка не осмеливалась дрожать. О, какой ужас! Страшно было потерять одно из украшений, она просто растеря-

лась от всего этого блеска. Но вот отворились двери, и в зал ворвалось множество детей, они точно собирались свалить дерево. За ними степенно вошли взрослые. Дети затихли, но лишь на минуту — поднялся такой шум и гам, что в ушах звенело. Они плясали вокруг елки и срывали с нее один за другим подарки.

«Что это они делают? — думала елка. — Что будет дальше?»

Свечи догорели почти до самой хвои, поэтому их погасили, и детям разрешили снять с нее украшения. О, как они набросились на дерево — аж ветки затрещали! Если бы елку верхушкой с золотой звездой не привязали к потолку, они бы повалили ее.

Дети плясали по залу, не выпуская из рук своих замечательных игрушек, никто больше не смотрел на дерево, кроме старой няни, которая, раздвигая ветви, лишь высматривала, не осталось ли там финика или яблока.

— Сказку! Сказку! — закричали дети, подталкивая к елке маленького толстого господина.

Он уселся под деревом.

— Ну вот мы и в лесу! — сказал он. — И елке будет весьма интересно послушать! Но я расскажу только одну историю. Какую вы хотите — про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который свалился с лестницы, но все-таки сел на трон и женился на принцессе?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — закричали другие.

Поднялись шум и гам, и только елка стояла молча и думала: «А разве я ни при чем? Разве мне делать нечего?»

Она была ни при чем, она уже сделала свое дело.

И господин рассказал историю про Клумпе-Думпе, который свалился с лестницы, но все-таки сел на трон и женился на принцессе. Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще! Еще!» Они хотели послушать про Иведе-Аведе, но им пришлось довольствоваться только историей про Клумпе-Думпе.

Елка стояла тихо и задумчиво, — лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалил-

ся с лестницы, но все-таки женился на принцессе! Да, вот как бывает на этом свете! — размышляла елка, веря, что все это произошло на самом деле, потому что рассказал историю такой милый господин. — Да, кто знает! Может, и я когда-нибудь свалюсь с лестницы и женюсь на принцессе!» И она с радостью подумала о завтрашнем дне, когда ее снова украсят свечами, игрушками, золотом и фруктами.

«Завтра я уж не задрожу! — думала она. — Буду сполна наслаждаться своим великолепием. Завтра я опять услышу историю про Клумпе-Думпе, а возможно, и про Иведе-Аведе». И дерево провело всю ночь в тихой задумчивости.

Утром в зал вошли слуга и горничная.

«Сейчас начнут наряжать!» — решила елка. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли вверх по лестнице и поставили на чердак, в самый темный угол, куда не проникал дневной свет. «Что это должно означать? — размышляла елка. — Что мне здесь делать? Что я здесь могу услышать?» И, прислонясь к стене, она стояла и все думала и думала. Времени у нее на это было предостаточно; проходили дни и ночи, а на чердак никто не заглядывал. А когда наконец кто-то появился, так только для того, чтобы поставить в угол несколько больших ящиков. Дерево было совсем скрыто от глаз, казалось, о нем просто забыли.

«Сейчас там, на дворе, зима! — думала елка. — Земля промерзла и покрыта снегом, посадить в нее меня люди не могут. Вот и простою я под крышей до весны! Как хорошо все продумано! Какие люди, однако, добрые! Не будь только здесь так темно и ужасно одиноко! Даже зайчика нет! Как все-таки приятно было в лесу, когда ложился снег и мимо пробегал заяц. Пусть он и перепрыгнул через меня в тот раз, что мне не понравилось. Здесь же ужасно одиноко!»

— Пи, пи! — пискнул вдруг мышонок, выскакивая из норки. За ним появился еще один. Обнюхав елку, они принялись шмыгать между ее ветвями.

— Здесь страшно холодно! — сказали мышата. — А так жить тут замечательно! Правда, старая елка?

— И вовсе я не старая, — ответила елка. — Есть много деревьев значительно старше меня!

— Откуда ты? — спросили мышата. — Что ты знаешь?

Они сгорали от любопытства.

— Скажи нам, какое самое лучшее место на земле? Ты бывала там? Ты была в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, где можно плясать на сальных свечках? Туда входишь тощим, а выходишь жирным!

— Нет, такого места я не знаю, — ответило дерево. — Зато я знаю лес, где светит солнце и поют птицы!

И она рассказала им о своей юности — мышата ни о чем подобном и не слыхивали. Выслушав елку, они воскликнули:

— Ой, как ты много всего видела! Как тебе повезло!

— Повезло! — сказала елка, обдумывая свой рассказ. — Да, в общем, то были славные времена! — И поведала им о Рождестве, когда ее украсили пряниками и свечами.

— О, как же тебе повезло, старая елка! — сказали мышата.

— Я вовсе не старая! — возразила елка. — Меня только этой зимой привезли из леса. Я в полном расцвете сил! Только вошла в рост!

— Как здорово ты рассказываешь! — воскликнули мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, чтобы они тоже послушали рассказы елки.

И чем больше елка рассказывала, тем яснее вспоминала всю свою историю. «Да, то были все же славные времена! — представлялось ей теперь. — Но они вернутся, вернутся! Клумпе-Думпе свалился с лестницы, но все-таки женился на принцессе! Может, и я женюсь на принцессе!» И дерево вспомнило о прелестной березке, которая росла в лесу, для него она была настоящей красавицей принцессой.

— Кто такой Клумпе-Думпе? — спросили мышата.

И елка пересказала им всю историю, она помнила каждое слово. Мышата от восторга готовы были подпрыгнуть чуть ли не до самой верхушки дерева. На следующую ночь пришло еще больше мышат, а в воскресенье явились две крысы. Но им история не понравилась, что мышат огорчило, теперь и им показалось, что она уж и не такая замечательная.

— А вы знаете только одну историю? — спросили крысы.

— Только одну! — ответила елка. — Я услышала ее в свой самый счастливый вечер, но тогда я и не думала о том, как я счастлива!

— В высшей степени дрянная история! Вы не знаете что-нибудь про шпик и сальные свечи? Что-нибудь про кладовую?

— Не знаю! — ответило дерево.

— И на том спасибо! — сказали крысы и ушли.

В конце концов мышата тоже разбежались, и ель вздохнула: «Как мило было, когда эти шустрые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец! Но я уж повеселюсь, как только меня отсюда вытащат!»

Но когда же это произойдет?

Как-то ранним утром на чердак явились люди и стали прибирать. Ящики передвинули, дерево вытащили. Его грубо бросили на пол, но работник тут же поволок его по лестнице вниз, к свету.

«Начинается новая жизнь!» — подумала ель.

Повеяло свежим воздухом, блеснул солнечный луч — и елка оказалась во дворе. Все произошло так быстро, и столько было вокруг всего, что елка забыла осмотреть себя. Двор примыкал к саду, там все стояло в цвету. Через низкую изгородь свешивались свежие, благоухающие розы, цвели липы, летали и щебетали ласточки:

— Фьють-фьють, мой муж вернулся!

Но они имели в виду не елку.

«Теперь я заживу!» — возликовала она и расправила свои ветви. Ах, как они пожухли и пожелтели! Дерево лежа-

ло в углу двора среди сорняков и крапивы. На верхушке в лучах солнца все еще сияла звезда из золотой бумаги.

Во дворе резвились ребятишки, те самые, что на Рождество плясали и веселились вокруг елки. Один из самых младших подбежал к дереву и сорвал звезду.

— Смотрите, что осталось на этой противной рождественской елке! — крикнул он и наступил на ветви, так что они затрещали под его ботинками.

А ель посмотрела на свежую, цветущую роскошь в саду, потом взглянула на себя, и ей захотелось вновь очутиться в темном углу на чердаке. Она вспоминала свою молодость в лесу, веселый сочельник и мышат, которые с таким удовольствием слушали историю про Клумпе-Думпе.

— Все в прошлом, в прошлом! — сказало бедное дерево. — Если бы я радовалась жизни, когда это было возможно! Все в прошлом, в прошлом!

Подошел работник и изрубил елку на мелкие куски — вышла целая связка дров. Славно запылали они под большим котлом. Дерево глубоко вздыхало, и каждый вздох напоминал слабый выстрел. Прибежали игравшие во дворе дети, уселись перед огнем и при каждом выстреле кричали: «Пиф! Паф!» А выстрелы эти были глубокими вздохами — ель вспоминала летние дни и звездные ночи в лесу, сочельник и Клумпе-Думпе, единственную историю, которую она слышала и умела рассказывать; так она и сгорела.

Мальчишки опять играли во дворе, и у младшего на груди красовалась золотая звезда, та самая, что украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он остался в прошлом, пришел конец и дереву, и нашей истории. Конец, конец, как и бывает со всеми историями!

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

СКАЗКА В СЕМИ ИСТОРИЯХ

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ, КОТОРАЯ РАССКАЗЫВАЕТ О ЗЕРКАЛЕ И ОСКОЛКАХ

Итак, начинаем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем знаем теперь.

Жил-был злющий тролль, самый злющий на свете — настоящий «дьявол». Однажды он находился в особо прекрасном расположении духа, потому что смастерил зеркало, которое отличалось тем, что все доброе и красивое, отражавшееся в нем, съеживалось и почти исчезало, а безобразное и злое проявлялось ярче и становилось еще хуже. Красивейшие ландшафты в нем напоминали вареный шпинат, а замечательнейшие из людей превращались в уродов или стояли на головах и не имели животов. Лица искажались до неузнаваемости, а если у кого была веснушка, она превращалась в родимое пятно на пол-лица. «Дьявола» это страшно потешало. Если человека посещала добрая, благочестивая мысль, в зеркале появлялась гримаса, так что тролль не мог удержаться от хохота, радуясь своему изобретению. Все, кто посещал школу тролля — у него была своя школа, — говорили, что произошло чудо. Только теперь, говорили они, можно увидеть мир и людей в их истинном виде. Они носились повсюду с этим зеркалом, и под конец не осталось ни одной страны, ни одного человека, которых бы оно не исказило. И тут им вздумалось подняться в небеса, чтобы поиздеваться над ангелами и самим Господом. Чем выше они

поднимались, тем сильнее гримасничало зеркало — они еле удерживали его. Все выше и выше летели они, все ближе к Богу и ангелам. И вдруг зеркало перекосилось в ужасной гримасе, вырвалось у них из рук, устремилось к земле, где и разбилось на миллионы, триллионы и еще несколько осколков, которые наделали гораздо больше бед, чем прежде. Ибо некоторые из них были размером с песчинку, и они разлетелись по всему миру. Если они попадали человеку в глаза, где и оставались навсегда, он начинал видеть все шиворот-навыворот или замечал лишь дурное в любой вещи, потому что каждый крошечный осколочек сохранял то же свойство, что и само зеркало. Какие-то осколки попадали людям в сердце, и это было ужасно, так как сердце превращалось в кусок льда. Некоторые же были настолько большими, что их вставляли в оконные рамы, но смотреть сквозь них на своих друзей не стоило. Кое-какие осколки использовали для очков, и когда человек надевал такие очки, чтобы лучше видеть и вернее судить, происходило нечто скверное. Злодей хохотал до колик в животе и испытывал приятную щекотку. А по свету летало еще много осколков. Послушаем!

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

В одном большом городе, где так много домов и людей, что не всем удается найти место, чтобы разбить собственный садик, и поэтому большинству приходится довольствоваться цветами в горшках, жили двое бедных детей, у которых был садик чуть побольше цветочного горшка. Они любили друг друга, как брат и сестра, хотя в родстве не состояли. Родители их жили в мансардах двух смежных домов. Кровли домов почти соприкасались, а под выступами кровель, на уровне окошек мансард, шел водосточный желоб. Стоило только перешагнуть через желоб, и ты оказывался у соседского окошка.

У обоих семейств снаружи имелось по большому деревянному ящику; в них росли зелень и небольшие кусты роз — в каждом ящике по одному, — усыпанные чудесными цветами. Родителям пришло в голову поставить ящики поперек желоба, так что они тянулись от одного окошка к другому, как две цветочные грядки. Из ящиков спускалась гороховая ботва, а розовые кусты, сплетясь своими длинными ветками, обвивали окна: получилось что-то вроде триумфальной арки из зелени и цветов. Ящики были очень высокими, и дети знали, что забираться на них нельзя, но им частенько позволяли ходить друг к другу в гости; они садились на скамеечки, стоявшие под розами, и славно играли.

Зимой этому удовольствию приходил конец: окна зачастую покрывались ледяными узорами, но дети, нагрев медные монеты на кафельной печи, прикладывали их к замерзшим стеклам, и тотчас на них оттаивали замечательные кружки, круглые-прекруглые. В них из обоих окошек глядели ласковые глаза — мальчик и девочка смотрели друг на друга. Мальчика звали Кай, а девочку — Герда. Летом они могли одним прыжком очутиться в гостях друг у друга, а зимой приходилось преодолевать множество ступеней — сначала вниз, а потом вверх. На улице мела поземка.

— Это роятся белые пчелы! — сказала бабушка.

— А у них тоже есть королева? — спросил мальчик. Он знал, что у настоящих пчел королева есть.

— Есть! — ответила бабушка. — Она летает там, где снежинки роятся плотнее всего. Она больше их всех, и ей не сидится на земле, она все время взмывает вверх на черном облаке. Часто зимними ночами она летает по городским улицам и заглядывает в окна, поэтому и появляются на них удивительные морозные узоры, похожие на цветы.

— Мы видели! — воскликнули дети и твердо поверили, что так оно и есть.

— А Снежная королева сюда может войти? — спросила девочка.

— Пусть попробует! — ответил мальчик. — Я посажу ее на горячую печь, и она растает.

Но бабушка погладила его по голове и принялась рассказывать другие истории.

Вечером, когда Кай был уже дома и почти разделся, он забрался на стул у окна и поглядел в оттаявший на стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них, самая крупная, упала на край цветочного ящика и начала расти; она росла и росла, пока не превратилась в женщину, укутанную в изумительный белый флер, словно сотканный из миллионов снежных звездочек. Она была прекрасна и нежна, вся изо льда, ослепительного, сверкающего льда, и все же живая. Глаза ее сияли, как яркие звезды, но в них не было ни кротости, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай перепугался и спрыгнул со стула, и ему показалось, что за окном пролетела большая птица.

Назавтра стоял ясный морозный день, потом началась оттепель, и пришла весна. Светило солнце, кругом все зазеленело, ласточки вили гнезда, в домах распахнули окна, и детям снова можно было сидеть в их садике на крыше.

Розы в то лето цвели как никогда. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах. Она пела его мальчику, думая о своих собственных розах, а он подпевал:

Уж розы в долинах цветут,
Младенец-Христос с нами тут!*

Дети, держась за руки, целовали розы, смотрели на ясное Божье солнце и разговаривали с ним, словно то был младенец Христос. Они говорили о том, как прекрасно лето, как чудесно сидеть под кустами свежих роз, которые, казалось, будут цвести вечно!

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками — там были изображены звери и птицы; на больших башенных часах пробило пять.

---

* Перевод А. и П. Ганзенов.

— Ой! — воскликнул вдруг Кай. — Меня что-то кольнуло в сердце! А теперь что-то попало в глаз!

Девочка обняла его за шею, он моргал, но ни в одном глазу ничего не было.

— Наверное, выскочило! — сказал он.

Нет, не выскочило. В глаз ему попал один из осколков зеркала, ужасного зеркала тролля, в котором, мы же помним, все великое и доброе превращалось в мелкое и отвратительное, а злое и скверное проявлялось еще сильнее и в любой вещи отмечались лишь ее изъяны. Бедный Кай, ему и в сердце попал осколок, скоро оно станет куском льда. Боль прошла, а осколок остался.

— Чего плачешь? — спросил он. — Какая же ты уродина! Я ничего не чувствую! — После чего сразу же закричал: — Фу! Эту розу объел червяк! А та, смотри, совсем скособочилась! И вообще какие гадкие розы! Похожи на ящики, в которых растут! — Он грубо пнул ногой ящики и вырвал обе розы.

— Кай, что ты делаешь! — воскликнула девочка.

А он, видя ее ужас, вырвал еще одну розу и убежал от милой Герды к себе в окно.

Когда она потом приходила к нему и приносила книжку с картинками, он говорил, что это книга для грудничков; когда бабушка начинала что-нибудь рассказывать, он всегда возражал; а если удавалось, ходил за ней по пятам и, надев очки, передразнивал ее. Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро он научился передразнивать походку и манеру говорить всех соседей по улице. Кай умел выставить напоказ все их странности и недостатки, и люди говорили:

— Прекрасная голова у этого мальчишки!

Но причина крылась в осколках, попавших ему в глаз и сердце, потому-то он задирал даже маленькую Герду, которая любила его всем сердцем.

Теперь и развлечения его изменились, стали такими серьезными. Как-то зимой, когда кружила поземка, он принес с собой большую лупу и подставил под снег полу своей синей куртки.

— Посмотри в лупу, Герда! — сказал он.

Снежинки под лупой словно увеличились в размерах и были похожи на роскошные цветы или десятиконечные звезды. Просто загляденье!

— Видишь, как искусно сделаны! — сказал Кай. — Намного интереснее настоящих цветов! И ни единого изъяна, ни единой неточности! Если бы они только не таяли!

Вскоре после этого Кай появился в больших рукавицах и с санками за спиной и крикнул Герде в самое ухо:

— Мне разрешили покататься на большой площади с другими ребятами! — и убежал.

На площади самые отважные мальчишки привязывали свои санки к крестьянским дрогам и таким образом катились довольно далеко. Было весело. В самый разгар потехи появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то, укутанный в белую пушистую шубу и в белой пушистой шапке на голове. Сани два раза объехали площадь, Кай проворно привязал к ним свои санки и покатил. Сани неслись все быстрее и быстрее и выехали на улицу. Возница повернулся и приветливо кивнул Каю, словно бы они были знакомы. Каждый раз, когда Кай намеревался отвязать свои санки, человек снова кивал ему, и Кай продолжал ехать. Они выехали за городские ворота. И тут повалил такой снег, что мальчик перестал видеть собственные руки. Он поспешно отпустил веревку, чтобы отцепиться от больших саней, но это не помогло — его саночки точно приросли к ним и неслись со скоростью ветра. Тогда он громко закричал, но его никто не слышал — снег валил, санки мчались, то и дело подпрыгивая, точно перелетали через канавы и изгороди. Кай перепугался до смерти, он хотел прочитать «Отче наш», но сумел вспомнить лишь таблицу умножения.

Снежные хлопья все росли и росли и под конец стали похожи на больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и человек, правивший ими,

встал. Это была женщина, высокая и стройная, ослепительной белизны, в шубе и шапке из снега, — Снежная королева.

— Ну, вот и добрались, — сказала она. — Да ты совсем замерз! Залезай в мою медвежью шубу!

И она усадила Кая к себе в сани и укутала его в шубу; ему показалось, что он провалился в снежный сугроб.

— Все еще мерзнешь? — спросила она и поцеловала мальчика в лоб.

Ух, поцелуй был холоднее льда, он проник ему в самое сердце, которое и так уже наполовину превратилось в ледышку. Он подумал, что сейчас умрет, но это длилось всего лишь секунду, потом ему стало хорошо, и холода он больше не ощущал.

— Мои санки! Не забудь мои санки! — спохватился он только сейчас.

И санки привязали на спину одной из белых кур, которая полетела с ними вслед за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он забыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

— Больше не буду целовать тебя! — сказала она. — Иначе зацелую до смерти!

Кай посмотрел на нее — как она была хороша! Более умного, прекрасного лица он и представить себе не мог. Теперь она не казалась ему сотворенной изо льда, как в тот раз, когда стояла за окном и манила рукой, она в его глазах была самим совершенством. Кай совсем ее не боялся, он рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько квадратных миль в разных странах и сколько в них жителей, а она только улыбалась. И тогда ему показалось, что его знания недостаточно обширны, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. А она взмыла с ним ввысь, устремилась к черному облаку, и буря выла и стонала, точно распевала старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и материка-

ми; под ними свистел холодный ветер, выли волки, сверкал снег, с карканьем носились черные вороны, а над ними сияла огромная ясная луна. На нее Кай любовался длинными зимними ночами, а днем он спал у ног Снежной королевы.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
ЦВЕТНИК ЖЕНЩИНЫ, УМЕВШЕЙ КОЛДОВАТЬ

А что же случилось с Гердой после того, как Кай не вернулся? Где он? Никто не знал, никто не ведал. Мальчики рассказали, что он привязал свои санки к большим роскошным саням, они свернули на улицу и выехали из городских ворот. Никто не знал, где он; много было пролито слез. Герда плакала горько и долго. Потом пришли к мнению, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Бесконечно тянулись темные зимние дни.

Но вот пришла весна, засияло теплое солнце.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда.

— Не думаю! — ответил солнечный луч.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда ласточкам.

— Не думаем! — ответили они.

Под конец и сама Герда перестала так думать.

— Я надену свои новые красные туфли, — сказала она както утром, — Кай их еще не видел, пойду к реке и спрошу ее!

Было еще очень рано; она поцеловала спящую бабушку, надела красные туфли и пошла совсем одна за ворота, к реке.

— Это правда, что ты забрала моего названого братца? Я подарю тебе свои красные туфельки, если ты отдашь мне его обратно!

И ей показалось, что волны словно бы кивнули. Тогда Герда сняла свои красные туфельки — самое дорогое, что у нее было, и бросила их в реку. Но они упали у кромки воды, и слабые волны тотчас вынесли их на сушу, как будто река не хоте-

ла отбирать у нее самую дорогую для нее вещь, поскольку не могла вернуть ей Кая. Герда же решила, что бросила туфли недостаточно далеко, поэтому она забралась в лодку, качавшуюся в камышах, подошла к краю кормы и бросила туфли в реку. Лодка была не привязана и при этом движении девочки соскользнула в воду. Заметив это, Герда поспешила обратно, но пока она шла, лодка успела отойти от берега больше чем на аршин и теперь быстро поплыла по течению.

Маленькая Герда страшно перепугалась и залилась слезами, но ее никто не слышал, кроме воробьев, которые не имели возможности перенести ее на сушу — они лишь летели вдоль берега и щебетали, точно желая ее утешить: «Мы здесь! Мы здесь!»

Лодку несло по течению. Герда тихо сидела в одних чулках, а ее красные туфельки плыли следом, но догнать лодку не могли — та плыла быстрее.

Берега реки были красивы — повсюду цветы, старые деревья и склоны, на которых паслись овцы и коровы, но ни единого человека.

«Может, река меня несет к Каю?» — подумала Герда, повеселела, встала и долго, много часов, любовалась прекрасными зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с удивительными красными и синими стеклами в окнах и соломенной крышей; снаружи стояли два деревянных солдата с ружьями на караул — так они приветствовали всех, кто проплывал мимо.

Герда, приняв их за живых, закричала им, но они, разумеется, не ответили. Лодка подплыла еще ближе, река почти вынесла ее на берег.

Герда закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая женщина в большой соломенной шляпе, расписанной чудными цветами.

— Бедная крошка! — сказала старуха. — Как же ты попала на эту широкую быструю реку и заплыла так далеко?

Старушка зашла в воду, зацепила клюкой лодку, вытащила ее на берег и высадила Герду.

Герда была рада оказаться на земле, хотя и побаивалась незнакомую старуху.

— Пойдем, расскажешь мне, кто ты и как сюда попала! — сказала старушка.

И Герда рассказала ей все. Старуха все это время покачивала головой и повторяла: «Гм! гм!» А когда Герда, закончив рассказ, спросила ее, не видела ли она Кая, старуха ответила, что тот еще не появлялся, но наверняка появится, поэтому Герде не стоит горевать, пусть лучше попробует вишен да полюбуется на цветы: они прекраснее любых нарисованных в книжке с картинками, и все умеют рассказывать разные истории! И она взяла Герду за руку, увела в домик и заперла дверь.

Окна располагались высоко от пола и были застеклены красными, синими и желтыми стеклами. Свет, проникавший сквозь них, удивительно переливался всеми цветами радуги. На столе стояли замечательные вишни, и Герда могла их есть сколько угодно, что она и сделала. А пока она ела, старуха расчесывала ей волосы золотым гребнем, и волосы завивались кудрями, окружая круглое, приветливое, похожее на розу личико золотым сиянием.

— Я давно мечтала о такой славной девчушке, — сказала старуха. — Вот увидишь, как нам будет хорошо вдвоем!

И она продолжала расчесывать волосы Герды, и чем дольше она их расчесывала, тем больше Герда забывала своего названого братца Кая. Потому что старуха умела колдовать, но она не была злой колдуньей, она колдовала лишь изредка, для собственного удовольствия. Сейчас ей очень хотелось оставить у себя Герду, поэтому она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и они, стоявшие в полном цвету, ушли в черную землю, и нельзя было даже догадаться, где они росли. Старуха бо-

ялась, что Герда, увидев розы, вспомнит о своих собственных, вспомнит Кая и убежит от нее.

Потом она повела Герду в цветник. О, какое благоухание, какая красота! Здесь пышным цветом цвели все мыслимые и немыслимые цветы, для любого времени года. Ни одна книжка с картинками не могла сравниться по пестроте и великолепию с этим цветником! Герда прыгала от радости и резвилась среди кустов, пока солнце не скрылось за высокими вишнями. Ее уложили в прелестную кроватку с красными перинами, набитыми синими фиалками, она заснула, и ей снились чудесные сны, какие видит разве что королева в ночь своей свадьбы.

На следующий день Герда снова резвилась среди цветов на теплом солнце. Так прошло много дней. Герда знала каждый цветок в цветнике, но как ни много их там было, ей все же казалось, что какого-то не хватает, только какого? Как-то раз она сидела и рассматривала старухину шляпу, расписанную цветами, и самым прекрасным из них была роза. Старуха забыла ее стереть — вот что значит рассеянность!

— Как! — воскликнула Герда. — Неужели здесь нет роз?

И она побежала искать их по всему цветнику, искала-искала, но так и не нашла. Тогда она села и заплакала, и ее горячие слезы упали на то место, где один из розовых кустов ушел в землю. Когда горячие слезы оросили почву, из нее мгновенно вырос розовый куст, такой же цветущий, как прежде. Герда обняла его, поцеловала цветы и вспомнила о прекрасных розах, которые цвели у нее дома, вспомнила и о Кае.

— Как же я задержалась! — проговорила девочка. — Мне ведь надо найти Кая! Вы не знаете, где он? — спросила она у роз. — Думаете, он умер и больше не вернется?

— Он не умер! — ответили розы. — Мы были под землей, где покоятся все умершие, но Кая среди них нет!

— Спасибо вам большое! — сказала Герда и пошла к другим цветам. Она заглядывала в их чашечки и спрашивала: — Вы не знаете, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнце и размышлял о своей собственной сказке или истории. Герда их наслушалась великое множество, но никто ничего не знал о Кае.

Что рассказала огненная лилия?

— Слышишь барабанную дробь? Бум, бум! Всего два звука — бум, бум! Послушай горестное пение женщин! Послушай крики жрецов! В длинном красном одеянии стоит на костре индианка, пламя лижет ее тело и тело ее покойного мужа, но она думает о другом, живом, о том, чьи взоры жгли сильнее огня, чей жар опалил ее сердце сильнее, чем пламя, которое сейчас испепелит ее тело. Разве может пламя сердца погаснуть в пламени костра?

— Я ничего не поняла! — сказала Герда.

— Такова моя сказка! — ответила огненная лилия.

Что рассказал вьюнок?

— В конце узкой горной тропинки высится старинный рыцарский замок. Старые кирпичные стены густо, листок к листку, увиты плющом — до самого балкона. А на балконе стоит юная красавица. Перегнувшись через перила, она смотрит на тропинку. Девушка свежее любой розы, воздушнее цветка яблони, срываемого ветром с дерева. Как шелестит шелк ее платья! «Неужели он не придет?»

— Ты имеешь в виду Кая? — спросила Герда.

— Я лишь рассказываю свою сказку, свои грезы! — ответил вьюнок.

Что рассказал вьюнок полевой?

— Между деревьями на веревках висит доска — это качели. На них качаются две прелестные девчушки — на них белоснежные платья, на шляпах развеваются длинные зеленые шелковые ленты. Их брат, он постарше, стоит на доске, зажав веревки согнутыми в локтях руками; в одной руке он

держит чашечку, а в другой — глиняную трубку. Он пускает мыльные пузыри. Качели качаются, пузыри, переливаясь всеми цветами радуги, разлетаются по воздуху. Последний, повиснув на конце трубки, колышется на ветру. Качели качаются. Черная собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапы, желая залезть на доску. Та взлетает, собачонка падает и сердито тявкает. Ее поддразнивают, пузыри лопаются. Качающаяся доска, разлетающаяся пена — вот моя песня!

— Может, она и хороша, но ты рассказываешь ее таким печальным тоном, и ни слова о Кае!

Что рассказали гиацинты?

— Жили-были три красавицы сестры, нежные, воздушные. На одной — красное платье, на другой — голубое, на третьей — белое. Взявшись за руки, они танцевали при ясном лунном свете на берегу тихого озера. То были не эльфы, а настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Аромат стал сильнее. Из чащи леса в озеро скользнули три гроба, в которых лежали три красавицы. Вокруг них пляшущими огоньками порхали светлячки. Спали ли танцевавшие девушки или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

— Вы меня расстроили, — сказала Герда. — У вас такой сильный аромат. Я не могу выбросить из головы мертвых девушек! Ах, неужели и Кай умер? Но розы были под землей и говорят, что его там нет!

— Динг-донг! — зазвонили колокольчики гиацинтов. — Мы звоним не по Каю, потому что не знаем его! Мы лишь поем свою песню, единственную известную нам!

И Герда пошла к лютику, сиявшему среди блестящих зеленых листочков.

— Ясное солнышко! — сказала Герда. — Не знаешь ли ты, где мне найти моего названого братца?

И лютик засиял еще ярче и снова взглянул на Герду. Какую песенку он спел ей? В ней тоже не было ни слова о Кае.

— В первый весенний день в небольшом дворике ласково светит Божье солнце. Его лучи скользят по белой стене соседского дома, возле которой появились первые желтые цветы, отливающие золотом в теплых солнечных лучах. Во двор вышла посидеть старая бабушка, ее внучка, бедная красивая служанка, только что вернулась из гостей. Она целует бабушку. В этом поцелуе пряталось золото, золото сердца. Золото на губах, золото в душе, золото на небе утренней порою. Вот и вся моя история! — сказал лютик.

— Моя бедная старая бабушка! — вздохнула Герда. — Как она, наверное, тоскует обо мне, как горюет — вот так же она горевала о Кае. Но я скоро вернусь домой и приведу его с собой. Бесполезно расспрашивать цветы, они знают только свои собственные песни, ничего мне сообщить не могут!

И она подвязала повыше юбку, чтобы удобнее было бежать, но когда перепрыгивала через нарцисс, тот хлестнул ее по ногам. Она остановилась, посмотрела на высокий желтый цветок и спросила:

— Может, ты что-нибудь знаешь?

И наклонилась к нему.

И что же он ей сказал?

— Я вижу себя! Я вижу себя! — сказал нарцисс. — О, как я благоухаю! Наверху, в чердачной каморке, стоит полуодетая танцовщица. Она стоит то на одной ноге, то на обеих и попирает ими весь свет, она лишь обман зрения. Вот она льет воду из чайника на кусок белой материи, который держит в руках, — это корсаж. Чистота — дело хорошее! На крючке висит белое платье, тоже выстиранное водой из чайника и высушенное на крыше. Она надевает его, на шею повязывает ярко-желтый платок, чтобы оттенить белизну платья. Одна нога взлетает в воздух! Смот-

ри, как прямо, точно стебель, она стоит на другой! Я вижу себя! Я вижу себя!

— А мне нет до этого дела! — сказала Герда. — О чем тут рассказывать! — И она побежала к выходу из сада.

Калитка была заперта, но девочка дернула за ржавый крюк, он выскочил, и калитка распахнулась. И Герда босиком понеслась на волю. Три раза она оглядывалась, но за ней никто не гнался. Наконец она устала, присела на камень и осмотрелась; оказалось, что лето прошло, стояла поздняя осень, чего просто нельзя было заметить в прекрасном цветнике, где всегда светило солнце и росли цветы всех времен года.

— Господи, до чего же я задержалась! — сказала Герда. — Ведь уже наступила осень! Нет времени отдыхать!

И она снова пустилась в путь.

О, как болели ее усталые ножки! Как холодно и сыро было вокруг! Узкие листья ивы совсем пожелтели, оседавший на них туман стекал на землю крупными каплями, листья опадали один за другим. Только терновник стоял, весь покрытый терпкими, вяжущими ягодами. О, до чего серым и мрачным был этот мир!

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА

Герда была вынуждена снова сесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго на нее смотрел, покачивая головой, а потом сказал:

— Кар! Кар! Здрррравствуй!

Лучше произнести это слово он не мог, но явно желал девочке добра и спросил, куда она держит путь совсем одна. Слова «совсем одна» Герда поняла очень хорошо и прочувствовала их важность. Рассказав ворону обо всех событиях своей жизни, она поинтересовалась, не видел ли он Кая.

Ворон задумчиво кивнул и сказал:

— Может быть! Может быть!

— Неужели это правда?! — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

— Поосторожнее! Поосторожнее! — сказал ворон. — Думаю, это может быть Кай! Но сейчас он уже наверняка забыл тебя с принцессой!

— Он живет у принцессы? — спросила Герда.

— Вот послушай, — ответил ворон. — Только мне ужасно трудно говорить на твоем языке. Если бы ты понимала вороний язык, я бы сумел рассказать обо всем намного лучше!

— Нет, этому меня не учили! — ответила Герда. — Вот моя бабушка этот язык знает, она говорит и на тайном детском. Ах, если бы я его выучила!

— Ничего страшного! — сказал ворон. — Расскажу как смогу, пусть и неважно получится!

И ворон рассказал то, что знал.

— В королевстве, в котором мы сейчас находимся, живет принцесса, страшно умная, она прочитала все газеты на свете и успела их позабыть, такая она умная! Как-то недавно сидит она на троне — не самое веселое занятие, как говорят, — и начинает напевать песенку, в которой есть такие слова: «...почему бы мне не выйти замуж». «В этом что-то есть!» — говорит она, и ей захотелось замуж, но только за такого человека, который отвечал бы, когда с ним заговаривали, а не такого, который умеет лишь изображать из себя важную персону, — это так скучно! Она велела созвать всех придворных дам, и те, услышав о желании принцессы, пришли в восторг. «Это нам по душе, — сказали они, — мы и сами недавно об этом думали!» Все, что я тебе говорю, истинная правда! — добавил ворон. — У меня есть невеста, она ручная и свободно разгуливает по замку, она мне все это и рассказала!

Невестой его была, разумеется, ворона, потому что ворона всегда ищет себе мужа-ворона.

— Газеты на следующий день вышли, обрамленные сердцами и вензелями принцессы. В них было напечатано, что любой молодой человек приятной наружности может прийти в замок и побеседовать с принцессой, и того, кто будет держаться раскованно и окажется красноречивее всех, принцесса возьмет в мужья! Да, да! — прибавил ворон. — Это так же верно, как и то, что я сижу здесь: народ повалил валом, были давка и толкотня, но толку из этого не вышло ни в первый, ни во второй день. На улице все претенденты говорили прекрасно, но стоило им войти в ворота замка и увидеть гвардейцев в серебре, на лестницах лакеев в золоте, вступить в огромные освещенные залы, как они теряли дар речи. Они стояли перед троном, на котором сидела принцесса, и только повторяли последние, сказанные ею слова, а зачем принцессе их слушать! Такое было впечатление, что их опоили дурманом, отчего они впали в оцепенение. Но как только они выходили на улицу, дар речи снова к ним возвращался. От городских ворот до замка тянулась длинная очередь женихов. Я сам это видел! — сказал ворон. — Они были голодны и страдали от жажды, но из замка им не вынесли даже стакана воды! Самые смышленые прихватывали с собой бутерброды, но с соседями не делились, считая, что человека с изголодавшимся видом принцесса не выберет.

— А Кай? — спросила Герда. — Когда пришел Кай? Он тоже стоял в очереди?

— Погоди, погоди! Мы как раз добрались до него! На третий день появился небольшого роста человек, ни в карете, ни верхом, и отважно направился прямо к замку. Глаза его сияли, как твои, у него были красивые длинные волосы, а одет бедновато!

— Это Кай! — возликовала Герда. — Я нашла его! — Она захлопала в ладоши.

— За спиной у него была котомка! — добавил ворон.

— Нет, это его санки! — возразила Герда. — Ведь пропал-то он на санках!

— Вполне возможно! — согласился ворон. — Я не разглядел как следует. Но от моей невесты знаю, что, когда он вошел в ворота замка и увидел гвардейцев в серебре и на лестницах лакеев в золоте, ничуть не смутился, кивнул им и сказал: «Наверное, скучно стоять на лестнице, я лучше войду внутрь!» Все залы были залиты светом. Тайные советники и их превосходительства расхаживали босиком, разнося золотые блюда, — торжественнее не бывает! А его сапоги ужасно громко скрипели, но он нисколько не струсил!

— Это, точно, Кай! — воскликнула Герда. — Я знаю, что у него были новые сапоги, я слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке!

— Да уж, скрипели они порядком! — сказал ворон. — Он отважно подошел к принцессе, сидевшей на жемчужине величиной с колесо прялки, а вокруг стояли придворные дамы с камеристками и горничными камеристок и кавалеры с камердинерами, слугами камердинеров и прислужниками камердинерских слуг. И чем ближе к дверям они стояли, тем надменнее выглядели. На прислужника камердинерского слуги, который всегда ходит в туфлях, и взглянуть-то было страшно — такой надменный он стоял в самых дверях!

— Вот ужас-то! — сказала Герда. — И Кай все-таки женился на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы и сам на ней женился, несмотря на то что помолвлен. Он говорил так же хорошо, как я, когда говорю на вороньем языке, — это я слышал от своей невесты. Он держался смело и раскованно, заявил, что пришел не свататься, а лишь послушать умные речи принцессы, и она ему понравилась, и он ей тоже!

— Ну, конечно, это Кай! — воскликнула Герда. — Он такой умный, он знает все четыре действия арифметики и дроби! — О, пожалуйста, отведи меня в замок!

— Легко сказать! — ответил ворон. — А как сделать? Я поговорю со своей невестой, она нам что-нибудь посоветует. Но должен тебя предупредить — таких маленьких девочек, как ты, в замок не пускают!

— Меня пустят! — сказала Герда. — Когда Кай услышит, что я здесь, он сейчас же за мной придет!

— Подожди меня вон на тех ступеньках! — сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он только темным вечером.

— Кар! Кар! — каркнул он. — Моя невеста шлет тебе множество поклонов! И вот тебе кусочек хлеба, она стащила его на кухне, там его полно, а ты, наверное, проголодалась! В замок тебе пройти невозможно, ты же босая. Гвардейцы в серебре и лакеи в золоте тебя не пропустят. Но не плачь, ты все-таки туда попадешь. Моя невеста знает, как пройти в спальню принцессы по черной лестнице, и знает, где достать ключ!

В саду они пошли по широкой аллее, где с деревьев безостановочно облетали листья, и когда в замке погасли все огни — один за другим, — ворон привел Герду к полуоткрытой двери черного хода.

О, как билось сердце Герды от страха и нетерпения! Как будто она собиралась совершить что-то дурное, а ведь она всего лишь хотела узнать, действительно ли это Кай. Да, наверняка это он. Она живо представила себе его умные глаза, его длинные волосы. Она ясно видела, как он улыбался, когда они сидели там, дома, под розами. Он, конечно, страшно обрадуется, увидев ее и услышав, какой длинный путь она проделала ради него, узнает, как горевали все домашние, когда он не вернулся. Да, страх в ней перемешался с радостью.

Но вот они на лестничной площадке; на шкафу горела маленькая лампа, а на полу сидела ручная ворона и вертела во все стороны головой, разглядывая Герду. Девочка присела, как учила ее бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас много хорошего, барышня! — сказала ручная ворона. — И ваша Vita*, как это принято называть, тоже весьма трогательна! Будьте добры, возьмите лампу, а я пойду впереди. Мы пойдем прямо, тут мы никого не встретим!

— Мне кажется, за нами кто-то идет! — сказала Герда, и мимо нее что-то просвистело, точно тени отделились от стены: лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, всадники и всадницы.

— Это сны! — объяснила ворона. — Они уносят мысли высоких особ на охоту. Прекрасно, так вы лучше рассмотрите спящих. Надеюсь только, что, обретя высокое положение, вы проявите и благородство сердца!

— Тут и говорить не о чем! — воскликнул лесной ворон.

Они вошли в первую залу, обтянутую розовым атласом, затканным затейливыми цветами. Опять мимо просвистели сны, но так быстро, что Герда не успела разглядеть высоких особ. Одна зала была роскошнее другой — было от чего прийти в смятение. И вот они в спальне. Потолок напоминал большую пальму с листьями из хрусталя, драгоценного хрусталя, а в центре комнаты на толстом золотом стебле было подвешено две кровати в виде лилий: одна белая, в ней спала принцесса, другая — красная, в ней Герда надеялась обнаружить Кая. Она отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Герда громко позвала его по имени и поднесла лампу поближе. Сны просвистели верхом на лошадях обратно в дом. Принц проснулся, повернул голову — это был не Кай.

Принц был юн и красив, но походил на Кая только с затылка. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда, расплакавшись, рассказала всю свою историю, не забыв упомянуть и о том, что для нее сделали вороны.

---

* Жизнь *(лат.)*

— Бедняжка! — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, заявили, что нисколько не сердятся на них, только вот поступать так впредь не следует. Тем не менее им полагается вознаграждение.

— Хотите стать вольными птицами? — спросила принцесса. — Или предпочитаете получить должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?

Вороны, поклонившись, попросили предоставить им должность при дворе — они подумали о своей старости — и сказали:

— Старикам неплохо иметь верный кусок хлеба. — Так они выразились.

Принц встал и уступил свою кровать Герде, ничего больше он для нее сделать не смог. Сложив ладошки, она подумала: «Как же добры все-таки люди и животные!» — потом закрыла глаза и заснула сладким сном. Сны снова прилетели в спальню, но теперь они напоминали Божьих ангелов; они везли санки, на которых сидел Кай и кивал головой. Но это был всего лишь сон, и он исчез, когда Герда проснулась.

На следующий день ее с ног до головы одели в шелка и бархат и предложили оставаться в замке, сколько она пожелает. Но она лишь попросила, чтобы ей дали возок с лошадью и пару сапожек, потому что собиралась опять отправиться в путь разыскивать Кая.

Герде дали сапожки, и муфту, и нарядное платье; к воротам подкатила новая карета из чистого золота со сверкавшими, словно звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев и форейторов — имелись и форейторы — на головах красовались золотые короны. Принц и принцесса сами помогли ей сесть в карету и пожелали всего самого хорошего. Лесной ворон, уже женатый, провожал ее первые три мили — он сидел рядом с Гердой, поскольку терпеть не мог ездить задом наперед. Ручная ворона стояла в воротах и хлопала крыльями, она не поехала с ними, ибо страдала головными болями с тех пор, как получила должность и начала слишком много есть.

Карета была набита сахарными кренделями, а сидения завалены фруктами и пряниками.

— Прощай, прощай! — крикнули принц и принцесса.

Герда заплакала, заплакал и ворон. Так пролетели первые мили. Тут простился с ней и ворон — это было самое тяжелое расставание. Ворон взлетел на дерево и хлопал своими черными крыльями, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ
МАЛЕНЬКАЯ РАЗБОЙНИЦА

Они ехали через темный лес, но карета сияла, словно испускала пламя, и разбойники, у которых от этого света появилась резь в глазах, стерпеть такого не могли.

— Золото! Золото! — закричали они, бросились к ней, схватили лошадей, убили маленьких форейтеров, кучера и лакеев и вытащили из кареты Герду.

— Жирненькая, славненькая, орехами откормлена! — сказала старуха разбойница с длинной колючей бородой и нависшими над глазами бровями. — Точь-в-точь жирный барашек! Ну, а какова на вкус?

И она вытащила блестящий нож, сверкавший так, что страшно делалось.

— Ай! — вдруг завопила она, потому что в этот момент ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее на спине и была неукротимо дикая и своенравная.

— Дрянная девчонка! — крикнула мать, но убить Герду не успела.

— Она будет играть со мной! — сказала маленькая разбойница. — Она отдаст мне свою муфту, красивое платье и будет спать со мной в одной постели!

И она еще раз укусила мать так, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте, а разбойники захохотали:

— Смотри, как пляшет со своей девчонкой!

— Хочу сесть в карету! — сказала маленькая разбойница и таки настояла на своем, потому как была ужасно избалована и упряма.

Они с Гердой сели в карету и понеслись по пням и кочкам в глубь леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но шире в плечах и смуглее, а в ее черных глазах светилась чуть ли не печаль. Она обняла Герду за талию и сказала:

— Они не убьют тебя, пока я на тебя не рассержусь! Ты небось принцесса?

— Нет! — воскликнула Герда и рассказала обо всем, что ей пришлось пережить, и о том, как она любит Кая.

Разбойница серьезно поглядела на нее и слегка кивнула головой.

— Они не убьют тебя, даже если я на тебя рассержусь, лучше я сама это сделаю!

И она вытерла слезы на глазах Герды и сунула руки в красивую муфту, мягкую и теплую.

Карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь — сверху донизу — в трещинах, из зияющих дыр вылетало воронье, вокруг прыгали бульдоги, которые, судя по их виду, вполне могли бы съесть человека, но они не лаяли, так как это было запрещено.

Посреди огромного ветхого закопченного зала с каменным полом пылал огонь. Дым поднимался к потолку и сам должен был искать себе выход. В большом котле кипел суп, на вертелах жарились зайцы и кролики.

— Ты сегодня будешь спать со мной вот тут, рядом с моими зверушками! — сказала разбойница.

Девочек накормили и напоили, и они ушли в угол, где лежала солома, накрытая коврами. Повыше на жердочках сидела почти сотня голубей, казалось, они спали, но когда девочки подошли, чуть зашевелились.

— Они все мои! — сказала маленькая разбойница, проворно схватила одного из ближайших к ней и так встряхнула, что тот забил крыльями. — Поцелуй его! — крикнула она, поднеся голубя к лицу Герде. — А там сидят лесные мошенники! — продолжала она, указывая на зарешеченное углубление в стене под самым потолком. — Эти двое — лесные мошенники! Если их не запереть хорошенько, тут же улетят. А вот мой милый старый бяшка! — И она потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. — Его тоже надо держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу ему шею моим острым ножом, он этого страсть как боится.

И разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Несчастное животное взбрыкнуло, а разбойница, расхохотавшись, потащила Герду в постель.

— Ты спишь с ножом? — спросила Герда, с некоторым страхом поглядывая на него.

— Всегда! — ответила маленькая разбойница. — Никогда не знаешь, что может случиться. Но расскажи мне еще раз о Кае и о том, зачем ты пустилась странствовать по белу свету.

И Герда повторила свой рассказ. Лесные голуби ворковали за решеткой, а остальные уже спали. Маленькая разбойница, обняв одной рукой Герду за шею — в другой у нее был нож, — захрапела, а Герда не могла сомкнуть глаз, раздумывая о том, убьют ее или оставят в живых. Разбойники, сидя вокруг огня, пели и пили, а старуха разбойница делала кульбиты. О, как страшно было девочке смотреть на все это.

И тут лесные голуби проворковали:

— Курр! Курр! Мы видели твоего Кая! Белая курица несла его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они низко пролетели над лесом, когда мы еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, птенцов, и все умерли, кроме нас двоих. Курр! Курр!

— Что вы там, наверху, говорите! — воскликнула Герда. — Куда полетела Снежная королева? Вам что-нибудь об этом известно?

— Наверное, в Лапландию! Ведь там вечные снега и льды! Спроси лучше у северного оленя, что стоит на привязи.

— Снега и льды, замечательно! — сказал северный олень. — Там привольно скачешь по обширным, блистающим равнинам! Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а ее постоянные чертоги у Северного полюса, на острове, который называет Шпицберген!

— О Кай, милый Кай! — вздохнула Герда.

— Лежи тихо, — сказала маленькая разбойница, — не то пырну в живот ножом.

Утром Герда рассказала ей все, что услышала от лесных голубей. Маленькая разбойница посерьезнела, потом кивнула головой и сказала:

— Ну, ладно! Ладно! А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она северного оленя.

— Кому же знать, как не мне! — ответил олень, и глаза его заблестели. — Там я родился и вырос, там скакал по снежным равнинам!

— Слушай! — сказала разбойница Герде. — Как ты видишь, все наши мужчины ушли, дома одна мать, но с утра она хлебнет из большой бутыли, после чего задремлет, тогда я кое-что для тебя сделаю!

Она вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и проговорила:

— Ты мой милый козлик! Доброе утро!

А мать щелкнула девочку по носу так, что он стал красно-синим, но все это делалось от любви.

Когда мать глотнула из бутыли и задремала, разбойница подошла к северному оленю и сказала:

— Я могла бы еще долго развлекаться, щекоча тебя острым ножом, уж больно это потешно, — ну, да ладно! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Беги в Лапландию, только мчись быстро и доставь вот эту девочку в замок Снежной королевы — там

ее названый братец. Ты наверняка слышал ее рассказ, она говорила довольно громко, а ты горазд подслушивать!

Северный олень высоко подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду и на всякий случай крепко ее привязала, предварительно подсунув под нее подушечку.

— Ну, ладно! — сказала она. — Бери назад свои меховые сапожки, ведь там холодно, а муфту я оставлю себе, уж больно она хороша! Но мерзнуть ты не будешь. Вот материны рукавицы, они такие здоровые, что ты засунешь в них руки по самый локоть! Давай же! Теперь у тебя руки, как у моей гадкой матери!

Герда заплакала от счастья.

— Терпеть не могу, когда распускают нюни! — сказала маленькая разбойница. — Ты должна радоваться! А вот тебе два хлеба и окорок, чтобы не голодала.

И то, и другое привязали на спину оленю. Маленькая разбойница открыла дверь, заманила псов в дом, перерезала ножом привязь и сказала оленю:

— Беги! Только девочку оберегай!

Герда протянула руки в громадных рукавицах к разбойнице и попрощалась с ней. И северный олень помчался что было сил по кустам и пням, по лесам, болотам и степям. Выли волки, каркали вороны. «Уф, уф!» — раздалось вдруг с неба, и оно словно выплюнуло столб огня.

— Мое старое доброе северное сияние! — сказал северный олень. — Смотри, как полыхает!

И он помчался дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлеб был съеден, окорок тоже, и вот они наконец в Лапландии.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ
ЛАПЛАНДКА И ФИНКА

Они остановились у жалкой лачуги. Домишко ушел в землю почти под самую крышу, а дверь была такая низкая, что жившему там семейству приходилось проползать в нее чуть

ли не по-пластунски. Дома никого не было, кроме старухи лапландки, жарившей рыбу при свете жировой лампы. И северный олень рассказал ей историю Герды, но сначала свою собственную — она казалась ему намного важнее. А Герда так окоченела, что и говорить не могла.

— Ах вы, бедняжки! — сказала лапландка. — Долго же вам еще бежать! Придется сделать больше ста миль, прежде чем вы доберетесь до Финмаркена, где расположен летний дворец Снежной королевы и где она каждый вечер зажигает бенгальские огни. Я черкну пару слов на вяленой треске — бумаги у меня нет, а вы передадите ее финке, что живет в тех местах, она сумеет помочь вам лучше, чем я.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала пару слов на вяленой треске и велела Герде хорошенько беречь ее. Потом усадила ее на спину оленя, крепко привязала, и он снова помчался. «Уф! Уф!» — доносилось с неба, и всю ночь полыхало изумительное голубое северное сияние. Так добрались они до Финмаркена и постучали в дымовую трубу финки — у нее даже двери не было.

Внутри стояла такая жара, что сама финка, низенькая, грязная женщина, ходила полуголой. Она тут же раздела Герду, сняла с нее рукавицы и сапожки, положила кусок льда на голову оленю и прочитала послание, написанное на вяленой треске. Прочитав его три раза и выучив наизусть, она сунула рыбу в котел с едой — ведь она вполне годилась в пищу, а у финки ничего не пропадало.

Северный олень рассказал ей сперва свою историю, потом историю Герды. Финка щурила умные глаза, но ничего не говорила.

— Ты такая мудрая, — сказал северный олень. — Я знаю, что ты можешь связать все четыре ветра одной ниткой. Когда шкипер развязывает один узел, дует попутный ветер; развязывает другой — начинается непогода, а развязывает третий и четвертый — разыгрывается буря, которая валит де-

ревья. Не можешь ли ты изготовить для девочки напиток, который бы дал ей силу двенадцати богатырей, чтобы она одолела Снежную королеву?

— Силу двенадцати богатырей! — ответила финка. — Разве этого достаточно?!

Она подошла к полке, взяла большой кожаный свиток и развернула его. Кожа была испещрена странными письменами; финка принялась их читать с таким усердием, что ее прошиб пот.

Олень снова начал просить за Герду, а Герда смотрела на финку умоляющими, полными слез глазами, и та опять прищурилась, отвела оленя в угол и, меняя ему на голове лед, прошептала:

— Кай действительно у Снежной королевы, но ему там все по душе, он считает, что это лучшее место на земле. А все потому, что у него в сердце и глазу сидят осколки зеркала. Их надо вытащить, иначе не быть ему больше человеком, а Снежная королева сохранит над ним свою власть и силу!

— А ты не можешь что-нибудь дать Герде, чтобы власть и силу обрела она?

— Сильнее, чем она есть, я ее сделать не могу! Разве ты не видишь, как велика ее сила? Разве не видишь, как служат ей люди и животные? Она босиком обошла почти весь мир! Не у нас брать ей силу, сила кроется в ее сердце, сердце прелестного невинного ребенка. Если она сама не сумеет проникнуть в покои Снежной королевы и извлечь осколки, то мы ей никак не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, посади у стоящего в снегу большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно!

Финка посадила Герду на спину оленя, и тот помчался во весь опор.

— Ой, я забыла сапожки! Я забыла рукавицы! — закричала Герда, оказавшись на жгучем морозе.

Но олень не осмелился остановиться, пока не добежал до большого куста с красными ягодами. Тут он ссадил ее, поцеловал в губы, и из его глаз покатились крупные блестящие слезы. После чего стрелой понесся обратно. А бедная Герда осталась одна, без башмаков, без рукавиц, посреди жуткого, ледяного Финмаркена.

Она помчалась вперед что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было ясное, освещенное северным сиянием. Снежные хлопья неслись по земле, и чем ближе она подходила, тем крупнее становились. Герда вспомнила, какими большими и изысканными казались снежинки под лупой, но эти огромные, ужасные, живые хлопья — форпосты Снежной королевы — представали перед ней в самом странном виде: одни были похожи на здоровенных безобразных ежей, другие — на клубки змей, третьи напоминали толстых медвежат со взъерошенной шерстью. Но все сверкали белизной, все были живыми хлопьями.

Герда принялась читать «Отче наш», и от холода ее дыхание превращалось в туманное облако — словно изо рта шел настоящий дым. Туман все сгущался и сгущался, и из него стали образовываться прозрачные ангелочки, которые, коснувшись земли, начинали расти. На головах у них были шлемы, а в руках — копья и щиты. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, ее окружал целый легион ангелов. Они стали копьями крушить отвратительные снежные хлопья, те рассыпались на мелкие кусочки, и Герда смело и уверенно продолжила свой путь. Ангелы гладили ей руки и ноги, так что она меньше ощущала холод и быстро добралась до дворца Снежной королевы.

Но посмотрим сначала, как обстояли дела у Кая. Он, конечно, и не думал о Герде, тем более не думал о том, что она стоит у ворот дворца.

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ
ЧТО ПРОИЗОШЛО ВО ДВОРЦЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ

Стены дворца были сотворены из метелей, окна и двери проделаны колючими ветрами. Больше сотни огромных залов, наметенных метелью — самый большой из них тянулся на многие мили, — освещало яркое северное сияние. До чего пустынно и пронзительно холодно было в этих сверкающих покоях! Никогда не заглядывало сюда веселье, ни разу здесь не устроили медвежьего бала, на котором белые медведи под завывание бури могли бы показать свое умение ходить на задних лапах и продемонстрировать хорошие манеры. Никогда не собиралась здесь компания игроков в карты, с ссорами и драками, и не развлекались за чашкой кофе юные песцы; нет, в громадных залах Снежной королевы было пустынно и холодно. Северное сияние вспыхивало точно по минутам, и поэтому вы знаете заранее, когда оно разгорится в полную силу, а когда ослабеет. Посреди пустынного бесконечного снежного зала раскинулось замерзшее озеро. Лед на нем растрескался на тысячи кусочков, ровных и одинаковых, — настоящее произведение искусства. Снежная королева, когда бывала дома, восседала в центре озера, и она говорила, что сидит на зеркале разума, единственном и лучшем зеркале в мире.

Кай совсем посинел от холода, почти почернел, но он этого не замечал — от поцелуев королевы он утратил чувствительность к холоду, а его сердце почти совсем превратилось в кусок льда. Он возился с несколькими плоскими льдинками с острыми краями, укладывая их самыми разнообразными способами. У нас есть игра, цель которой сложить разные фигуры из деревянных дощечек, она называется китайской головоломкой. Кай тоже складывал удивительно затейливые фигуры, но из льдинок, и это называлось ледяной игрой ра-

зума. По его мнению, эти фигуры являли собой образец совершенства и имели первостепенное значение, а все потому, что в глазу у него сидел осколок зеркала. Кай складывал и целые слова, но ему никак не удавалось сложить то слово, которое ему особенно хотелось: слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сумеешь сложить это слово, то станешь сам себе господином, и я подарю тебе весь мир и пару новых коньков». Но у Кая не получалось.

— Теперь я полечу в теплые края, — сказала Снежная королева. — Загляну в черные котлы!

Так она называла огнедышащие горы Этну и Везувий.

— Побелю их слегка! Это полезно для лимонных деревьев и винограда!

И она улетела, а Кай, оставшись один в громадном, тянувшемся на многие мили пустынном зале, смотрел на льдинки и все размышлял и размышлял, так что у него в голове трещало. Он сидел прямо и неподвижно, можно было подумать, что он замерз насмерть.

А Герда вошла в огромные ворота дворца, проделанные колючими ветрами. Но она прочитала вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно им захотелось спать. Она вошла в огромный пустынный холодный зал и увидела Кая. Она сразу его узнала, бросилась ему на шею, крепко обняла и воскликнула:

— Кай! Милый Кай! Я нашла тебя!

Но он не пошевелился, сидел такой же прямой и холодный. И Герда заплакала; ее жгучие слезы упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили лед и расплавили осколок. Кай посмотрел на Герду, а она запела псалом:

Уж розы в долинах цветут,
Младенец Христос с нами тут!

Тут и Кай залился слезами и рыдал так, что осколок зеркала выпал из глаза; Кай узнал Герду и ликующе закричал:

— Герда, милая Герда! Где же ты была так долго? И где я был? — Он огляделся. — Как здесь холодно! Как пустынно!

И он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от счастья. От радости даже льдинки вокруг пустились в пляс, а когда устали и улеглись на место, составили то самое слово, которое велела Каю сложить Снежная королева; после чего он становился сам себе господином да еще получал от нее в подарок весь мир и пару новых коньков.

Герда поцеловала его в щеки, и они заалели; она поцеловала его глаза, и они засияли, как ее собственные; она поцеловала его руки и ноги, и к нему вернулись здоровье и бодрость. Пусть Снежная королева возвращается хоть сейчас: его охранная грамота лежит тут, написанная блестящими льдинками.

Взявшись за руки, Герда и Кай покинули громадный дворец. Они говорили о бабушке и о розах на крыше. И там, где они шли, стихали ветры и выглядывало солнце. А добравшись до куста с красными ягодами, они увидели поджидавшего их северного оленя. Он привел с собой молодую олениху, у которой вымя было полно теплого молока; она напоила им детей и поцеловала их прямо в губы. И они отвезли Кая и Герду сначала к финке, у которой дети отогрелись в жаркой избе и узнали, как им вернуться домой, а потом к лапландке, которая сшила им новое платье и починила свои сани.

Северный олень и молодая олениха бежали рядом, провожая детей до самой границы, где уже пробивалась первая зелень. Кай и Герда попрощались с оленями и лапландкой. «Прощайте!» — сказали все хором.

Щебетали птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу детям верхом на великолепной лошади, которую Герда сразу узнала (она была когда-то впряжена в золотую карету), выехала молодая девушка в огненно-красной шапке на голове и с пистолетами за поясом. Это была маленькая разбойница — ей наскучило дома и захотелось

побывать на Севере, а если там не понравится, то и в других краях. Она тоже узнала Герду, и каким же радостным было это взаимное узнавание!

— Хорош бродяга! — сказала она Каю. — Интересно, стоишь ли того, чтобы бежать за тобой на край света!

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

— Они уехали в чужие края! — ответила разбойница.

— А ворон с вороной?

— Ворон умер, ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстяной ниткой на лапе и жалуется на судьбу. Да это ерунда! Расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его!

И Герда и Кай все ей рассказали.

— Снип-снап-снурре-басселуре! — воскликнула разбойница, пожала им обоим руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город.

И отправилась верхом путешествовать по белу свету. А Кай и Герда, взявшись за руки, зашагали в сторону дома. Пока они шли, весна вступала в свои права, зеленела трава и расцветали цветы. Вот зазвонили церковные колокола, и Кай с Гердой увидели знакомые колокольни и большой город, в котором они жили. Они направились прямо к двери бабушкиного дома, поднялись по лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: тикали часы, двигалась стрелка. Но, входя в дверь, они заметили, что повзрослели. Розы с крыши заглядывали в распахнутое окно. Тут же стояли их детские стульчики. Кай и Герда сели каждый на свой и взялись за руки. Холодное, пустынное великолепие дворца Снежной королевы было забыто, как тяжелый сон. Бабушка сидела, греясь в лучах Божьего солнца, и читала вслух Евангелие: «...если... не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное!»

Кай и Герда переглянулись — теперь они поняли смысл старинного псалма:

Уж розы в долинах цветут,
Младенец Христос с нами тут!

Так и сидели рядышком двое взрослых людей, которые все равно были детьми, детьми сердцем и душой, а на дворе стояло лето, теплое, благодатное лето.

БУЗИННАЯ МАТУШКА

Жил-был маленький мальчик, который однажды простудился — он промочил ноги. Но никто понять не мог, как он это умудрился сделать, потому что погода стояла сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести самовар, чтобы заварить бузинного чая — замечательно согревает! И тут в комнату вошел веселый старик, живший на верхнем этаже того же дома. Он жил один, у него не было ни жены, ни детей, а детей он очень любил и умел рассказывать множество любопытных сказок и историй.

— Пей чай, — сказала мать мальчику, — а потом, может быть, услышишь сказку.

— Если бы я знал что-нибудь новенькое! — отозвался старик, приветливо кивая головой. — Но где же мальчуган промочил ноги? — спросил он.

— Вот именно, где! — ответила мать. — Никто понять не может.

— А сказка будет? — спросил мальчик.

— Сперва ты мне должен сказать, насколько глубока водосточная канава на той улочке, где стоит твоя школа.

— Точно до середины голенища, — ответил мальчик, — но это в самом глубоком месте.

— Вот откуда у нас мокрые ноги! — воскликнул старик. — Сейчас мне бы в самый раз рассказать тебе сказку, но я не знаю ни одной новой!

— А вы сочините! — сказал мальчик. — Мама говорит, что стоит вам взглянуть на что-нибудь, у вас получается сказка, а стоит до чего-нибудь дотронуться, выходит история!

— Да, но такие сказки и истории никуда не годятся! Настоящие приходят сами. Постучат по лбу и говорят: «А вот и я!»

— А скоро они постучат? — спросил мальчик.

Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и налила кипятку.

— Рассказывайте же! Рассказывайте!

— Если бы сказка пришла сама по себе! Но они такие все из себя гордые, что приходят, лишь когда сами захотят! Стоп! — вдруг воскликнул старик. — Вот она! Гляди на чайник!

Мальчик посмотрел на чайник. Его крышка приподнималась все больше и больше, из-под нее появились свежие белые цветы бузины, потом выросли длинные ветви; они росли и росли — во все стороны, даже из носика чайника, — пока не образовался целый куст, замечательный куст бузины. Ветви, перегнувшись через постель, раздвинули занавески. О, как же благоухала цветущая бузина! А в глубине куста сидела добродушная старушка в удивительном платье: таком же зеленом, что и листья, и усыпанном крупными белыми цветами. Сразу и не разберешь, была ли то ткань или настоящие зелень и цветы.

— А как зовут старушку? — спросил мальчик.

— Римляне и греки звали ее Дриадой, — ответил старик, — но нам это было непонятно. В Новой слободке ей дали имя получше — Бузинная матушка. Вот с нее-то ты и не спускай глаз; смотри на прекрасный бузинный куст да слушай мой рассказ:

«Такой же большой цветущий куст рос в углу маленького, бедного двора. Как-то после полудня под ним уселись по-

греться на солнце два старика, старый-престарый моряк и его старая-престарая жена. Они были уже прадедом и прабабкой, и скоро им предстояло отпраздновать свою золотую свадьбу, да только они не помнили точно, когда. А в кусте сидела с довольным видом Бузинная матушка, вот как эта. И она сказала: «Я-то уж знаю день вашей золотой свадьбы!» Но старики, увлеченные воспоминаниями о прошлом, ее не услышали.

— А помнишь, — проговорил старый моряк, — как мы детьми бегали и играли в этом самом дворе, где сидим теперь? Втыкали в землю прутики и разводили сад?

— Очень хорошо помню! — ответила старуха. — И мы поливали эти прутики. Один из них оказался веточкой бузины, она пустила корни и зеленые ростки и теперь разрослась в большой куст, под которым мы, старики, отдыхаем.

— Верно! — подтвердил старик. — Вон там, в углу, стоял чан с водой. В нем плавал мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как здорово он плавал! А вскоре я и сам пустился в плавание!

— Но до этого мы ходили в школу, набирались знаний! — возразила жена. — И вот нас конфирмовали — у нас обоих глаза были на мокром месте. А вечером мы, взявшись за руки, пошли к Круглой башне, взобрались на нее и оттуда любовались видом Копенгагена и моря. А потом отправились во Фредериксберг, где смотрели, как катаются по каналам на своей роскошной лодке король с королевой.

— А я действительно скоро ушел в дальнее плавание на много лет!

— Я пролила из-за тебя немало слез! — сказала старуха. — Думала, ты умер, покоишься на дне морском и никогда не вернешься! Сколько ночей я вставала, чтобы посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер вертелся, а ты все не появлялся! Ясно помню, как однажды дождь лил как из ведра, к нам во двор приехал мусорщик. Я жила там в прислугах

и спустилась вниз с мусорным ведром да так и остановилась в дверях, погода была хуже некуда! В это время ко мне подошел почтальон и передал мне письмо — от тебя! Да, погуляло же оно по белу свету! Я схватила его и принялась читать. Я смеялась и плакала одновременно, я была так счастлива! Ты писал, что побывал в теплых краях, где растет кофе, — благословенная, должно быть, страна! Ты много о чем рассказывал, и я все это словно видела своими глазами. Дождь все лил, а я по-прежнему стояла в дверях с мусорным ведром. И тут кто-то обнял меня за талию!..

— А ты закатила ему оплеуху, так что в ухе зазвенело!

— Но я же не знала, что это ты! Ты догнал свое письмо! А какой ты был красивый! Да ты и до сих пор такой же. Из кармашка у тебя торчал желтый шелковый платок, а на голове красовалась блестящая шляпа. Настоящий щеголь! Господи, ну и погодка тогда стояла и на что была похожа наша улица!

— А потом мы поженились! — сказал старик. — Помнишь? И пошли у нас дети: наш малыш — первенец, а за ним Мария, Нильс, Петер и Ханс Кристиан!

— Теперь они уже выросли, стали благородными людьми, которых все любят!

— И у их детей родились маленькие! — сказал старый матрос. — А потом и у тех появились детки — наши правнуки, они собенно удались. Думается мне, что мы сыграли свадьбу как раз в это время года!

— Сегодня и есть день вашей золотой свадьбы! — проговорила Бузинная матушка и просунула голову между стариками, но те решили, что это им кивает соседка.

Они сидели, держась за руки, и смотрели друг на друга. Немного погодя подошли дети и внуки, они-то прекрасно знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и утром их поздравили, но те уже успели забыть об этом, хотя отлично помнили все, что случилось много лет тому назад. Благоухала бузина, заходящее солнце светило старикам прямо в лицо и ру-

мянило щеки. Младший из внуков плясал вокруг бабушки и дедушки, восторженно крича, что сегодня у них будет настоящий пир, — подадут горячую картошку. И Бузинная матушка кивала из куста головой и вместе со всеми кричала "ура"!»

— Но это же вовсе не сказка! — сказал мальчик, выслушав рассказ.

— Это ты так считаешь! — возразил рассказчик. — Давай спросим Бузинную матушку!

— Это не сказка! — ответила Бузинная матушка. — Но сказка сейчас начнется! Самые причудливые сказки вырастают из действительности. Иначе мой прекрасный бузинный куст не появился бы из чайника.

Она взяла мальчика на руки, прижала к груди, и усыпанные цветами ветви бузины сомкнулись над ними. Они оказались в тесной беседке, которая поднялась в воздух и полетела, — это было восхитительно! Бузинная матушка тотчас превратилась в прелестную девочку, но платье на ней осталось то же — из зеленой, усеянной белыми цветами ткани. На груди у нее красовался настоящий цветок бузины, а на золотистых кудрявых волосах — венок из этих же цветов. Как она была хороша со своими огромными голубыми глазами! Мальчик и девочка поцеловались и, словно губы в поцелуе, слились их жизни и мечты.

Взявшись за руки, они вышли из беседки и очутились в своем красивом, родном саду. На зеленой лужайке стояла прислоненная к штакетнику отцовская трость. Для детей трость была живой: как только они ее оседлали, блестящий набалдашник превратился в великолепную лошадиную голову с длинной черной развевающейся гривой, тут же выросли и четыре стройные крепкие ноги. И сильное, крупное животное помчало детей по лужайке — ух ты!

— Теперь мы поскачем далеко отсюда! — сказал мальчик. — В усадьбу, в которой были в прошлом году!

И они все скакали и скакали вокруг лужайки, а девочка, которая, как мы знаем, была самой Бузинной матушкой, восклицала:

— Мы уже за городом! Видишь крестьянские дома с большущими печами, выступающими из стен, словно громадные яйца? Над ними раскинула свои ветви бузина! А вон бродит петух, выискивая что-нибудь для кур, гляди, до чего горделиво выступает! Теперь мы у церкви, стоящей на вершине холма между развесистыми дубами, — у одного корни наполовину вылезли из земли! Вот мы у кузни, где пылает огонь, и полуголые мужчины так работают своими молотами, что кругом разлетаются искры. Но дальше, дальше, в роскошную усадьбу!

И все, на что указывала девочка, сидевшая на трости позади мальчика, проплывало у них перед глазами. Мальчик все это видел, а между тем они всего лишь описывали круги по лужайке. Потом они отправились играть в боковую аллею, где стали сажать садик. Девочка вынула из своего венка один цветок бузины и посадила его в землю. И он вырос, в точности как это произошло у стариков из Новой слободки, когда те еще были детьми, о чем мы уже рассказывали. И, взявшись за руки — как старики в ту пору, когда были детьми, — девочка и мальчик тоже пошли гулять, но не на Круглую башню и не в сад Фредериксберга — нет, девочка обняла мальчика за талию, и они полетели по всей Дании. Весна сменялась летом, лето — осенью, осень — зимой. Тысячи картин запечатлевалось в глазах и сердце мальчика, а девочка все ему напевала: «Ты этого никогда не забудешь!»

Во время всего полета бузина сладостно благоухала; и хотя мальчик чувствовал и аромат роз, и свежий запах буков, удивительное благоухание бузины забивало все, потому что ее цветок украшал девочкину грудь, к которой мальчик так часто прижимался.

— Как прекрасно здесь весной! — сказала девочка.

Они стояли в недавно распустившемся буковом лесу, где у их ног от зеленого ясминника исходил чу́дный аромат, а из травы выглядывали изящные бледно-розовые анемоны.

— О, если бы в благоухающих датских лесах вечно царила весна!

— Как прекрасно здесь летом! — воскликнула она, когда они пролетали мимо старинной рыцарской усадьбы, красные стены и ажурные фронтоны которой отражались в каналах, где плавали лебеди, заглядывавшие в старые прохладные аллеи. На полях колыхались, точно море, хлеба, в канавах пестрели красные и желтые цветы, изгороди были увиты диким хмелем и цветущим вьюнком. А вечером всплыла большая круглая луна, с лугов сладко запахло сеном. — Такое не забудется никогда!

— Как прекрасно здесь осенью! — снова воскликнула девочка. Небосвод сделался вдвое выше и синее, а лес окрасился в изумительные красные, желтые и зеленые тона. Мчались охотничьи собаки, стаи диких птиц с клекотом носились над курганами, старинные камни которых обросли ежевикой. На черно-синем море белели паруса, в ригах старухи, девушки и дети щипали хмель, бросая его в большой чан. Молодые пели песни, а старики рассказывали сказки про домовых и троллей. — Лучше и быть не может!

— Как прекрасно здесь зимой! — воскликнула девочка, и деревья покрылись инеем, став похожими на белые кораллы. Под ногами хрустел снег, точно все ходили только в новых сапогах, и с неба одна за другой падали звезды. В домах зажгли елки, дарили подарки, повсюду царило веселье. В крестьянских избах звучали скрипки, в толпу летели пончики. И даже самые бедные дети говорили: «Все-таки как прекрасно здесь зимой!»

Да, было прекрасно! Все это девочка показывала мальчику, и всегда благоухала бузина, всегда развевался красный флаг с белым крестом, флаг, под которым плавал старый моряк из Новой слободки! И вот мальчик стал юношей, и ему предстояло повидать мир, отправиться в далекие теплые края, где растет кофе. На прощание девочка подарила ему

цветок бузины со своей груди и велела спрятать, и он положил цветок в сборник псалмов. И в чужих странах, когда он открывал книгу, то всегда на том месте, где лежал памятный цветок; и чем дольше юноша смотрел на него, тем свежее тот становился. Юноша словно ощущал аромат датских лесов, а между цветочными лепестками отчетливо видел ясные голубые глаза девочки, которая шептала ему: «Как прекрасно здесь весной, летом, осенью и зимой!» И сотни картин проносились в его памяти.

Прошло много лет, он состарился и теперь сидел со своей старенькой женой под цветущим кустом. Они держались за руки, совсем как прадед с прабабкой из Новой слободки, говорили о прошлом и о своей золотой свадьбе. Девочка с голубыми глазами и цветами бузины в волосах, кивнув им из ветвей бузины, сказала: «День вашей золотой свадьбы сегодня!» И она вынула два цветка из своего венка, поцеловала их — они засияли сначала серебром, а потом золотом — и положила на головы стариков. И цветы превратились в золотые короны. Старики словно король с королевой сидели под благоухающим кустом, который, уж точно, был кустом бузины. И он рассказал жене историю про Бузинную матушку, так, как сам слышал ее в детстве. И оба решили, что в этой истории много похожего на их собственную жизнь, и именно то, что было похоже, понравилось им больше всего.

— Да, вот так-то! — сказала девочка из куста. — Кто-то называет меня Бузинной матушкой, кто-то Дриадой, а на самом деле меня зовут Памятью. Я сижу в кусте, который растет и растет, все помню и умею об этом рассказывать! Покажи-ка, цел ли твой цветок!

Старик открыл сборник псалмов, и там лежал бузинный цветок, такой свежий, точно его только что туда вложили; Память кивнула. Старики в золотых коронах сидели, освещенные пурпурным вечерним солнцем. Вот они закрыли глаза — и сказка кончилась!

Мальчик лежал в постели, не зная, привиделось ему все это во сне или он слышал чей-то рассказ. Чайник стоял на столе, но никакого бузинного куста из него не росло. Старик рассказчик собрался уходить, что он и сделал.

— Как это было замечательно! — сказал мальчик. — Мама, я побывал в теплых краях!

— Само собой! — ответила мать. — После двух полных чашек бузинного чая непременно попадешь в теплые края! — И она хорошенько укутала его, чтобы он еще больше не разболелся. — Ты славно поспал, пока мы со стариком сидели и спорили, быль это или сказка!

— А где Бузинная матушка? — спросил мальчик.

— В чайнике! — ответила мать. — И пусть там и остается!

ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА

Жила-была на свете штопальная игла, и мнила она себя до того тонкой штучкой, что вообразила, будто она иголка швейная.

— Осторожно! Смотрите, за что взялись! — сказала она пальцам, которые вынули ее из игольницы. — Не уроните меня! Вот упаду на пол — и поминай как звали, нипочем не найдете, такая я тонкая!

— Ну-ну, не преувеличивай! — отозвались пальцы и крепко ухватили ее за талию.

— Гляньте, у меня и свита есть! — вскричала штопальная игла, таща за собой длинную нитку, правда, без узелка.

А пальцы ткнули иглой прямиком в кухаркин башмак: верх у него порвался и надо было зашить прореху.

— Это же черная работа! Я для нее не гожусь, я сломаюсь, сломаюсь!

И она в самом деле сломалась.

— Ну, что я говорила? Я слишком тонка!

— Н-да, проку от нее теперь никакого, — сказали пальцы, однако хватки не ослабили, а кухарка капнула на кончик иглы сургуча и воткнула ее в косынку на груди.

— Смотрите, теперь я брошка! — воскликнула штопальная игла. — Я ведь знала, что войду в честь. Если чего-то стоишь, непременно добьешься высокого положения!

И она рассмеялась — про себя, вслух-то штопальные иглы смеяться не умеют — и горделиво огляделась по сторонам, словно сидела в роскошной карете.

— Позвольте узнать, почтеннейшая, вы из золота? — спросила она соседку-булавку. — Вы такая красавица, и головка у вас есть, правда маленькая. Не мешало бы ее подрастить, хотя сургуч-то не на всякого капают!

И штопальная игла так гордо вытянулась, что выпала из косынки и угодила прямиком в раковину, которую кухарка как раз промывала водой.

— Пожалуй, пора в дорогу! — сказала штопальная игла. — Только бы не потеряться!

Но, увы, она потерялась.

— Этот мир не для меня, я слишком тонка! — воскликнула она, очутившись в сточной канаве. — Но пока что я в здравом уме и твердой памяти, а это всегда хоть немножко утешает.

Штопальная игла гордо выпрямилась, не потеряв доброго расположения духа.

А над нею чего только не проплывало — и щепки, и соломинки, и клочки старых газет.

— Ишь, как плывут, — сказала штопальная игла. — Даже и не догадываются, что под ними кое-что есть. А ведь это я! Я тут сижу. Гляньте-ка вон на ту щепку, у нее все мысли только об одном на свете — о щепке, то бишь о самой себе. Или взять хотя бы эту соломину, ишь, как изгибается, как кружится! Зря важничаешь, этак и о булыжники удариться недолго!.. А вот газета плывет! Написанное в ней уже забыто, и все равно она выставляет себя напоказ!.. Я же сижу спокойно, терпеливо, потому что знаю, чего сто́ю, и никто у меня этого не отнимет!

Однажды штопальная игла заприметила поблизости красивый блеск и решила, что там не иначе как бриллиант, а был это просто осколок бутылки, но поскольку он так сверкал, штопальная игла заговорила с ним и представилась брошкой.

— Вы ведь бриллиант, верно?

— Да, вроде того.

Уверившись, что каждый из них — подлинная драгоценность, они завели разговор о том, как заносчив мир.

— Я жила в шкатулке у одной барышни, — сообщила штопальная игла. — Она служила кухаркой, на каждой руке у нее было пять пальцев, и ничего заносчивее этих пальцев я в жизни не видывала, а ведь предназначены они были только для того, чтобы держать меня, вынимать из шкатулки и класть в шкатулку!

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? Нет, важничали! — воскликнула штопальная игла. — Их было пятеро братьев, все урожденные Пальцы, они гордо стояли в одну шеренгу, хотя и различались ростом. Крайний, по прозванию Большой, а по виду толстый коротышка, держался чуть в стороне от других и, не в пример братьям, спину мог согнуть только в одном месте, но твердил: коли его отрубят, человек станет негоден для военной службы. Второй палец, Лакомка, совался то в кислое, то в сладкое, показывал на солнце и луну, а еще делал нажим, когда они писали. Средний, Долговязый, глядел на остальных сверху вниз. Четвертый, Золотень, ходил в золотой опояске, ну а пятый, Мизинчик, вообще ничегошеньки не делал и тем гордился. Сплошная похвальба, так она похвальбою и осталась, оттого-то я и угодила в раковину.

— А теперь мы сидим тут и знай себе блестим! — сказал стеклянный осколок.

Сей же час воды в сточной канаве прибавилось, она захлестнула берега и умчала осколок прочь.

— Ну вот, продвинулся он! — сказала штопальная игла. — Я же останусь тут, потому что слишком тонка и тем горжусь, а такая гордость достойна всяческого уважения.

Она изо всех сил выпрямилась и погрузилась в раздумья.

— Право слово, уж не от солнечного ли луча я родилась, при моей-то тонкости? Ведь солнце словно бы ищет меня под

водой. Ах, какая же я тонкая, если родной батюшка не может меня отыскать! Не останься я без глазка, наверняка бы расплакалась. Хотя нет, вряд ли — тонкой штучке плакать негоже.

В один прекрасный день прибежали уличные мальчишки и ну копаться в сточной канаве, а там чего только не нашлось — и старые гвозди, и монетки, и всякие другие штуковины. Перемазались, конечно, как поросята, однако ж радости-то сколько.

— Ой! — вскрикнул один, уколовшись о штопальную иглу. — Колючка!

— Я не колючка, я барышня! — возразила штопальная игла, но никто ее не услышал.

Сургуч от нее отвалился, она почернела, но черное стройнит, и она решила, что стала еще тоньше прежнего.

— Глядите, яичная скорлупка плывет! — закричали мальчишки и крепко воткнули штопальную иглу в эту самую скорлупку.

— Вокруг все белое, а я черная! — сказала штопальная игла. — Очень красиво! Теперь меня непременно заметят. Лишь бы морская болезнь не одолела, а то ведь сломаюсь!

Однако обошлось без морской болезни, и она не сломалась.

— Никакая морская болезнь не страшна, если имеешь стальной желудок и никогда не забываешь, что ты не чета людишкам! Так что морская болезнь меня миновала. Чем ты тоньше, тем больше способен выдержать.

Крак! — хрустнула яичная скорлупка: ее переехала ломовая телега.

— Ох, как давит, как жмет! — воскликнула штопальная игла. — Мне дурно! Я сломаюсь! Сломаюсь!

Однако она не сломалась, хоть и угодила под ломовую телегу, просто лежала врастяжку на мостовой — и пусть там и остается.

КОЛОКОЛ

Вечерами в узких улочках большого города, когда солнце клонилось к закату и облака золотом сияли меж печными трубами, частенько то одному, то другому случалось услыхать странный звук, точно гул церковного колокола, но слышно его было лишь мгновение, ведь кругом громыхали экипажи и телеги, кричал народ, а это мешает сосредоточиться.

— Вечерний колокол звонит! — говорили горожане. — Солнце заходит.

Тем, кто выходил за городские ворота, где дома стояли дальше один от другого, разделенные садами и небольшими пашнями, вечернее небо виделось еще краше и колокол слышался куда отчетливее — звуки словно долетали из церкви, спрятанной в глубине тихого благоуханного леса, и народ глядел в ту сторону с видом торжественным и серьезным...

Шли годы, и вот один горожанин сказал другому:

— Может, в лесу, и правда, есть церковь? Звук-то у колокола чудо какой красивый, надо бы нам пойти да поглядеть на него поближе.

Сказано — сделано. Богачи ехали в экипажах, бедняки шли пешком, но дорога оказалась на удивление долгой, и, добравшись до ивовой рощи у опушки леса, путники сели отдохнуть и, любуясь длинными плакучими ветвями, думали,

что вправду очутились на лоне природы. Из города приехал кондитер, раскинул свою палатку, потом приехал другой, тоже раскинул палатку и прямо над нею повесил колокол, просмоленный, чтоб дождя не боялся, и к тому же без языка. Под вечер, когда люди потянулись домой, они говорили, что все было необычайно романтично, куда лучше какого-нибудь городского чаепития. Трое уверяли, что прошли лес насквозь, из конца в конец, и все время слышали удивительный колокол, только звук доносился вроде как из города; один даже песню об этом сложил и сказал, что колокол звучал словно голос матери, которая беседует с милым, умным ребенком, и не было мелодии прекрасней, чем звон этого колокола.

Тамошний король тоже заинтересовался и обещал тому, кто сумеет установить источник звука, титул Вселенского Звонаря, пусть даже это окажется вовсе не колокол.

Многие тогда хаживали в лес ради этой награды, но только один воротился домой с каким-никаким объяснением. В самую глушь никто, и он в том числе, не забирался, однако он все ж таки сказал, что колокольный звук производит огромная сова, что живет в дуплистом дереве, этакая вот премудрая птица, она-то частенько и билась головою об дерево, правда, сказать точно, шел ли звук от ее головы или от дуплистого ствола, он пока не мог, однако титул Вселенского Звонаря все равно получил и каждый год писал о сове небольшой трактат. Но знаний про колокол от этого ничуть не прибавилось.

И вот как-то раз была в церкви конфирмация. Священник произнес красивую, проникновенную речь. Конфирманты необычайно растрогались, для них этот день имел огромное значение, из детей они разом становились взрослыми людьми, детская душа как бы переливалась в более разумную личность. Погода стояла чудесная, сияло солнце, конфирманты вышли за городскую черту, а из леса на удивление громко донесся звон неведомого большого колокола. И тотчас им очень

захотелось отправиться туда, всем, кроме троих. Одна спешила домой примерить бальное платье, потому что шили это платье для сегодняшнего бала, который устраивали в честь конфирмантов, а стало быть, и в честь ее, иначе-то она никогда бы на бал не попала! Второй — бедный паренек — позаимствовал выходной костюм и сапоги у сына домохозяина и должен был вернуть их к определенному часу. Третий сказал, что никогда не ходил в незнакомые места без родителей, что отроду был послушным и таким останется, даже после конфирмации, и насмехаться тут негоже! Но другие все-таки посмеялись.

Словом, трое в лес не пошли; остальные же пустились в дорогу. Сияло солнце, щебетали птицы, конфирманты тоже пели и держались за руки, ведь обязанностей они пока не имели, были конфирмантами перед Господом Богом.

Вскоре, однако, двое самых младших устали и повернули обратно в город; еще две девочки сели на лужайке, принялись плести венки и тоже дальше не пошли, а остальные добрались-таки до ивовой рощи, где жил кондитер, и сказали друг другу:

— Смотрите-ка, вот он, лес, а колокола слыхом не слыхать, его не иначе как просто выдумали!

И в тот же миг в лесной глуши снова запел колокол, да так сладостно и торжественно, что четверо-пятеро решили непременно зайти поглубже в лес. А был он густой, дремучий, идти трудненько, смолки и анемоны тянулись на диво высоко, цветущие побеги вьюна и ежевики длинными гирляндами висели меж деревьями, в листве которых пели соловьи и играли солнечные зайчики. Сущая благодать! Только вот девочкам путь заказан — оглянуться не успеешь, как платье разорвешь. Кругом высились огромные скалы, поросшие многоцветными мхами, прохладные родники пробивались среди камней, и в журчании их словно бы отдавалось: «Бум-бум! Бом-бом!»

— Ну, это вряд ли колокол! — сказал один из конфирмантов, лег наземь и прислушался. — Пожалуй, надо вникнуть как следует!

Он остался на этом месте, другие же пошли дальше.

Через некоторое время они увидали впереди дом из коры и веток, пышная дикая яблоня, отягощенная плодами, склонялась над ним, словно желая осыпать кровлю всей своею благодатью; длинные цветущие побеги роз обвивали щипец, а на нем висел небольшой колокол. Его-то они, верно, и слышали. Да, на сей счет все были единодушны, только один юноша возразил: этот, мол, колокол слишком мал и слаб, чтобы голос его разносился на такое расстояние, на каком они его услыхали, и звучал он совсем иначе, за сердце брал. Говоривший был королевичем, а потому другие сказали:

— Этакому, как он, вечно надо умника из себя строить.

Дальше он пошел один, и с каждым шагом грудь его все больше полнилась лесною уединенностью. Пока он еще слышал маленький колокол, которому так радовались остальные, а порой, когда ветер задувал от кондитерской, слышал и песни, которые там пели за чаем. Однако ж и рокочущие удары чудесного колокола звучали громче, в скором времени ему показалось, будто вступил и орган, звук долетал слева, с той стороны, где сердце.

Тут в кустах зашуршало, и перед королевичем появился мальчуган в деревянных башмаках и в курточке, из которой давным-давно вырос — рукава даже до запястий не доставали. Королевич знал этого мальчугана, ведь был он тот самый, которому пришлось остаться дома, чтобы вернуть хозяйскому сынку костюм и сапоги. Исполнив уговор, он надел деревянные башмаки и старое, бедное платье и в одиночку отправился в лес, потому что колокол звучал так мощно, так проникновенно, что он не мог усидеть дома.

— Ну что ж, пойдем вместе! — сказал королевич.

Но бедный конфирмант в деревянных башмаках, вконец оробев, потеребил короткие рукава своей курточки, а потом

сказал, что навряд ли сможет идти быстро, вдобавок он считал, что колокол надо искать по правую руку, ведь именно там помещается все великое и прекрасное.

— Значит, мы уже не встретимся! — сказал королевич, кивнув на прощание бедному мальчугану.

Тот исчез в самой чащобе темного леса, шипы и колючки рвали его бедную одежду, до крови царапали руки и ноги. Королевич тоже изрядно поцарапался, но дорогу ему все ж таки освещало солнце, и мы последуем за ним, как-никак он был бравый парень.

— Я хочу отыскать колокол и непременно отыщу! — повторял он. — До самого края света дойду, но отыщу!

Отвратительные мартышки сидели высоко на деревьях и ухмылялись, щеря зубы.

— Давайте его побьем! — верещали они. — Зададим ему трепку! Он же королевский сын!

Но он без устали шел все глубже в лес, где росли диковинные цветы — белые лилии с красными как кровь тычинками, лазоревые тюльпаны, шелестящие на ветру, — и яблони, чьи плоды выглядели точь-в-точь как большие блестящие мыльные пузыри. Только представьте себе, как эти деревья сверкали на солнце! На прелестных зеленых лужайках резвились олени и лани, а вокруг высились пышные дубы и буки, кора у иных потрескалась, и в трещинах зеленели трава и длинные побеги ползучих растений. Были здесь и большие пространства густого леса, среди которых порой попадались тихие озера, где то спокойно плавали, то хлопали крыльями белые лебеди. Королевич частенько останавливался и напрягал слух, порой ему чудилось, будто колокол звучит в глубине одного из этих бездонных озер, но тотчас же он понимал, что колокольный звон шел не оттуда, а из гущи лесных дебрей.

Солнце садилось, небо алело, словно охваченное пламенем, в лесу стало тихо-тихо, и путник преклонил колени, пропел вечерний псалом и воскликнул:

— Никогда не найти мне то, что я ищу! Солнце заходит, близится ночь, темная ночь, но еще-то разок я все ж таки, верно, могу увидеть круглое алое солнце, пока оно не скрылось за горизонтом. Влезу-ка я вон на те скалы, они поднимаются вровень с самыми высокими деревьями.

Цепляясь за побеги и корни растений, он полез вверх по сырым камням, ужи и жабы так и порскали от него врассыпную. До вершины он впрямь добрался прежде, чем солнце успело скрыться за горизонтом, и с этой высоты увидел море: огромное, прекрасное — глаз не отвесть! — раскинулось оно перед ним, длинными волнами набегая на берег, а солнце, точно гигантский алтарь, блистало там, где встречались море и небо, все сливалось в пламенных красках, лес пел, и море пело, и сердце юноши пело вместе с ними. Вся природа казалась огромным величественным храмом, цветы и трава — ткаными бархатными покровами, а само небо — беспредельным куполом. Солнце село, и алые краски погасли, зато вспыхнули мириады звезд, мириады алмазных светильников засияли на небосводе. Королевич простер руки к небу, морю и лесу, и в тот же миг из правого придела вышел бедный конфирмант, мальчуган в куртке с непомерно короткими рукавами и в деревянных башмаках. Добрался он сюда уже давно, своей дорогой. Молодые люди поспешили друг другу навстречу, взявшись за руки, стояли они в огромном храме природы и поэзии, а над ними торжественно звучал незримый колокол, и блаженные духи в танце вились вокруг него под ликующее «Аллилуйя»!

БАБУШКА

Бабушка так стара, у нее так много морщин, волосы совсем белые, но глаза блестят, как звезды, да что там — они куда краше, потому что светятся теплом и добротой. Вдобавок она знает великое множество чудесных историй, а платье у нее сплошь в большущих цветах и сшито из какого-то плотного, шуршащего шелка. Бабушка так много всего знает, потому что она старше папы и мамы и живет на свете очень-очень давно, это уж точно. У бабушки есть сборник псалмов, с солидными серебряными застежками, и она часто ее читает; между страницами там лежит роза, совсем плоская, сухая, она не такая красивая, как те, что стоят в вазе, и все же бабушка каждый раз ласково ей улыбается, порою даже со слезами на глазах. Почему бабушка этак вот смотрит на увядшую розу в старинной книге? Ты знаешь? Стоит бабушкиным слезинкам упасть на лепестки, цвет их свежеет, роза оживает, комната наполняется благоуханием, стены тают, будто они из тумана, и кругом только лес, зеленый, прекрасный лес, где солнце играет в листве, и бабушка — совсем юная, прехорошенькая девушка с золотыми кудрями, румяными круглыми щечками, изящная и очаровательная, свежее любой розы, только глаза, доб-

рые и теплые глаза, все те же, бабушкины. Рядом с нею сидит юноша, сильный, красивый, он протягивает ей руку, и она улыбается — совершенно не так, как бабушка! — да нет, именно так. И вот его нет, мелькают, уносятся прочь мысли и образы, красивого юноши нет как нет, роза лежит в книге, и бабушка, опять совсем старая, смотрит на увядший цветок.

И вот бабушка умерла... Она сидела в кресле, рассказывала длинную-предлинную интересную историю.

— Ну, вот и все, — молвила она, — а я что-то притомилась, посплю, пожалуй, немного!

Она откинулась на спинку кресла, вздохнула и задремала. В комнате становилось все тише, и лицо бабушки было преисполнено такого безмятежного счастья, словно бы лучилось солнечным светом, а потом сказали, что она умерла.

Ее положили в черный гроб, и она лежала там, закутанная в белый саван, такая красивая, только глаза были закрыты, но все морщинки исчезли, губы улыбались, а седины серебрились прямо-таки царственно, и никто не боялся смотреть на умершую, ведь это была милая, добрая бабушка. Старинную книгу положили ей под голову, как она и велела, и роза осталась меж страниц. Ну а потом бабушку похоронили.

На могиле, возле кладбищенской стены, посадили розовый куст, и летом он стоял весь в цвету, и соловей пел над ним свои песни, а в церкви орган играл прекраснейшие псалмы из той книги, что лежала под головою усопшей. И луна светила на могилу, но покойница там не являлась; любой ребенок мог спокойно прийти туда ночью и сорвать розу с куста у кладбищенской стены. Мертвым ведомо куда больше, чем всем нам, живущим, мертвые знают, как мы страшимся непостижных загадок вроде встреч с ними; они лучше нас и потому не приходят. Над гробом земля, и внутри его тоже земля. Псалмы и их страницы — прах, и роза со всеми сво-

ими воспоминаниями обернулась прахом, однако ж наверху, над ними, цветут новые розы, поет соловей, играет орган, а живые помнят старую бабушку с ее ласковыми, вечно юными глазами. Взгляд умереть не может! — однажды мы вновь увидим ее, молодую, красивую, как в те давние времена, когда она впервые поцеловала свежую, алую розу, что стала теперь могильным прахом.

ВОЛШЕБНЫЙ ХОЛМ

В трещинах старого дерева проворно сновали ящерки, перекликались и отлично друг дружку понимали, потому что говорили на своем, ящеричном, языке.

— Надо же, какой шум и гам стоят в старом Волшебном холме! — сказала одна ящерка. — От этого громыхания я уже две ночи глаз не смыкала, словно от зубной боли, от которой тоже не заснешь!

— Там что-то готовится! — заметила другая. — До первых петухов весь холм у них вверх дном стоит, открытый настежь, на четырех огненных столбах, комнаты прилежно проветривают, а девушки-эльфы разучили новые танцы, с притопами. Что-то там готовится!

— Верно! Я говорила со знакомым дождевым червем, — вмешалась третья ящерка, — он как раз приполз с холма, день и ночь копался там в земле и много чего слыхал, видеть-то бедняжка не видит, зато умеет ловко двигаться на ощупь да и слышит превосходно. В Волшебном холме ждут гостей, знатных гостей, но кого именно, дождевой червь то ли сказать не захотел, то ли не знал. Всем болотным духам-огонькам велено прийти и устроить этакое факельное шествие, а серебро и золото, которого в холме предостаточно, начищают до блеска и выставляют на лунный свет!

— Кто ж такие эти гости? — Ящерки просто терялись в догадках. — И что там творится? Слышите, какой шум да гам?!

В этот миг Волшебный холм раскрылся и наружу мелкими шажками вышла старуха из эльфов, хоть и без спины, но одетая вполне достойно; она состояла со старым королем эльфов в дальнем родстве, служила у него домоправительницей и носила на лбу янтарное сердечко. Ноги ее шагали проворно — топ-топ! топ-топ! Любо-дорого смотреть, как ходко она направилась прямиком в болото, к Козодою.

— Нынешней ночью вас просят пожаловать в Волшебный холм! — молвила она ему. — Но не окажете ли нам прежде большую услугу, не возьметесь ли передать приглашения? Сделайте доброе дело, вам ведь нет нужды заниматься хозяйством! Мы-то ждем очень знатных гостей — троллей, тут не до шуток, вот старый король эльфов и хочет себя показать!

— Кого же надобно пригласить? — спросил Козодой.

— На большой бал может прийти кто угодно, даже люди, коли умеют они разговаривать во сне или делать хоть чуточку из того, на что способно наше племя. Однако на первое пиршество допустят не всякого, тут без строгого отбора не обойтись, за столом мы соберем лишь самых что ни на есть знатных. Я повздорила с королем эльфов, так как, по моему мнению, даже призракам на этом пиру не место. Перво-наперво нужно позвать Морского Хозяина с дочерьми, им, конечно, не больно-то нравится выходить на сушу, но уж мы снабдим их мокрыми камнями для сидения или чем получше, и я думаю, на сей раз они не откажутся. Всех старых хвостатых леших первого разряда, Речного Хозяина и гномов пригласим, а еще, по-моему, никак нельзя обойти Могильную Свинью, Адского Коня да Церковное Страшило. Они, конечно, связаны с духовенством не нашего роду-племени, но такова уж их должность, а нам они близкие родичи и всегда заходят в гости!

— Хорошо! — сказал Козодой и полетел разносить приглашения.

Девушки-эльфы уже танцевали на Волшебном холме — танцевали с длинными шарфами, сотканными из тумана и лунного света, залюбуешься, коли тебе по нраву такое. Большой зал в Волшебном холме тщательно прибрали и вычистили; полы вымыли лунным светом, а стены натерли чародейским жиром, и они блестели на свету, будто лепестки тюльпанов. На кухне было полным-полно лягушек на вертеле, да ужовых шкурок, фаршированных детскими пальчиками, да салатов из молодых поганок, мокрых мышиных носов и цикуты, да пива, сваренного болотной ведьмой-кикиморой, да сверкающего селитряного вина из гробового подвала — все чин-чином, как полагается; не забыли и такие лакомства, как ржавые гвозди и стекло из церковных окон.

Старый король эльфов велел отполировать свою корону толченым грифелем, каким пишут первые ученики, а ведь заполучить этакий грифель королю эльфов очень непросто! В опочивальне повесили занавеси, прошитые ужовником. Да, суматоха и впрямь была несусветная.

— Вот покурим здесь конским волосом да поросячьей щетиной, и можно считать, я свое дело сделала! — молвила старая королевская домоправительница.

— Милый папенька! Нельзя ли узнать, кто же эти знатные гости? — спросила младшая дочь.

— Ладно! — отвечал отец. — Теперь, пожалуй, можно и сказать. Двум моим дочерям пора готовиться к свадьбе. Двух-то мы, уж точно, выдадим замуж. А в гости мы ждем норвежского тролля, Доврского Деда, что живет в горах и владеет множеством каменных замков да золотым промыслом, который куда получше, чем думают, и приедет наш гость не один, а с двумя сыновьями, чтобы они выбрали себе жен; старый тролль — настоящей, честной норвежской породы, веселый, открытый, я знаю его по давним временам, когда

пил с ним на брудершафт, он приезжал сюда за женой, дочкой короля Полевых Васильков с острова Мён, в долг ее взял, как говорится, правда, теперь она уж померла. Ох, до чего ж я стосковался по старому Доврскому Деду! Сыновья у него, сказывают, необузданные, дерзкие юнцы, но, может быть, это вовсе даже неправда, и они остепенятся, когда повзрослеют. Надеюсь, вы их усмирите!

— А когда они приедут? — полюбопытствовала одна из дочерей.

— Тут все зависит от ветра и погоды! — отвечал король эльфов. — Они путешествуют экономно. Морем сюда пожалуют, с оказией. Я-то хотел, чтобы они ехали через Швецию, но старика по сей день никак туда не заманишь. Не поспевает он за временем, и я этого не одобряю!

В этот миг подбежали вприпрыжку два болотных духа, один оказался проворней другого и потому пришел первым.

— Едут! Едут! — закричали они наперебой.

— Подайте-ка мне корону, я стану в лунном свете! — сказал король эльфов.

Дочери его подхватили свои длинные шарфы и низко поклонились.

У порога стоял Доврский Дед, старый тролль в короне из нетающих ледяных сосулек и полированых еловых шишек, в медвежьей шубе и теплых сапогах; сыновья же его были в рубахах с открытым воротом и без подтяжек — им, богатырям, все нипочем.

— Это гора? — воскликнул младший, показывая на Волшебный холм. — У нас в Норвегии это называют дырой!

— Мальчики! — сказал старик. — Дырой называют выемку, а горой — возвышенность. У вас что, глаз нету?

Удивило их здесь одно-единственное — то, что они с легкостью понимали местное наречие.

— Не умничайте! — прицыкнул Доврский Дед. — Можно подумать, вы еще совсем желторотые!

Засим они вошли в Волшебный холм, где впрямь собралось изысканное общество, да так быстро, словно их ветром принесло, а внутри все было устроено красиво и удобно для каждого. Морской народ сидел у стола в больших лоханях с водой и знай твердил, что чувствует себя прямо как дома. Все гости держались за трапезой достойно, чин-чином, кроме младших норвежских троллей, которые водрузили ноги на стол, ведь они думали, им теперь все прилично.

— Ноги прочь! — приказал старый тролль, и сыновья послушались, хоть и не сразу.

Оба щекотали свою соседку еловыми шишками, что были припасены в карманах, а сапоги свои сняли удобства ради, и отдали ей: пусть, мол, присматривает. Однако ж отец, Доврский Дед, был не им чета, он так замечательно рассказывал о величавых норвежских горах, о водопадах, в белой пене низвергающихся с круч, грохочущих, будто гром и органные басы. Рассказывал о лососях, которые выскакивают навстречу низвергающимся струям, когда Водяной играет на золотой арфе. Рассказывал о сверкающих зимних ночах, когда под звон санных бубенцов юноши с горящими факелами в руках бегут по гладкому льду, до того прозрачному, что видать, как перепуганные рыбы кидаются врассыпную у них под ногами. Да, старый тролль был мастер рассказывать — всяк будто наяву видел и слышал все, о чем он вел речь: шумели водяные мельницы, работали лесопилки, парни и девушки распевали песни и отплясывали халлинг! Опля! Старый тролль вдруг расцеловал королевскую домоправительницу, крепко расцеловал, словно родную, а ведь они вовсе не состояли в родстве.

Пришла пора девушкам-эльфам станцевать — и простые танцы, и с притопом, и очень им это шло, а затем настал черед танца художественного, или, как принято говорить, «самозабвенного», любо-дорого было смотреть, как ловко они вытягивали ножки, не понять, где начало, а где конец, где ру-

ки, а где ноги; шарфы так и завивались меж плясуньями, словно стружка, а те вихрем кружили по залу, и в конце концов Адскому Коню стало дурно и пришлось выйти из-за стола.

— Ого! — воскликнул Доврский Дед. — Ноги-то ишь как весело да бойко пляшут! А кроме как танцевать, вскидывать ноги да кружиться вихрем, дочки твои еще что-нибудь умеют?

— Скоро узнаешь! — отвечал король эльфов и тотчас подозвал к себе младшую, тоненькую и светлую, словно лунный луч, самую красивую из всех сестер.

Она взяла в рот белую щепочку и вмиг исчезла — таково было ее искусство.

Доврский Дед, однако, объявил, что терпеть не мог, когда его жена проделывала этот фокус, и сыновьям такое, поди, тоже не по нраву.

Вторая дочка умела ходить подле себя самой, как бы тенью, которой у волшебного народа вообще-то нет.

Третья была совсем на них не похожа, она училась в пивоварне болотной ведьмы-кикиморы и умела начинять кочки светляками.

— Она станет хорошей хозяйкой! — воскликнул старый тролль и заморгал глазами, потому что не хотел пить слишком много.

Настал черед четвертой королевской дочки — эта играла на большой золотой арфе и едва лишь тронула первую струну, как все подняли левую ногу, ведь волшебный народ поголовно левши, потом она тронула вторую струну, третью — и все поневоле исполняли то, что ей заблагорассудится.

— Опасная барышня! — сказал Доврский Дед, а сыновья его вышли из холма, потому что им стало скучно.

— Ну а следующая дочка что умеет? — осведомился старый тролль.

— Я выучилась ценить норвежцев! — отвечала та. — И замуж пойду, только если смогу уехать в Норвегию.

Младшая из сестер, однако ж, шепнула старому троллю:

— Тут все дело в одной норвежской песне, из которой она узнала, что, когда наступит конец света, норвежские скалы уцелеют, станут надгробными камнями, потому ей и охота попасть туда, очень уж она боится умереть.

— Хо-хо! — вздохнул Доврский Дед. — Вот, значит, как. А что умеет седьмая, последняя?

— Прежде идет шестая, — поправил его король эльфов, ведь он умел считать, но шестая дочка вовсе не стремилась показывать свое искусство.

— Я умею всего-навсего говорить людям правду. Никто не обращает на меня внимания, только и остается, что шить себе саван!

Наконец пришел черед седьмой, последней дочки, и что же она умела? А вот что: она умела рассказывать сказки, сколько угодно и о чем угодно.

— Гляди, вот мои пять пальцев, — молвил Доврский Дед. — Ну-ка, расскажи мне про каждый!

Девушка-эльф взяла его за руку, а он засмеялся так, что даже в утробе забулькало, и когда она дошла до безымянного пальца — тот был опоясан золотым кольцом, будто знал, что дело идет к помолвке, — сказал:

— Держи крепко, рука твоя! Я сам на тебе женюсь!

А девушка заметила, что надо еще рассказать о безымянном пальце и о малыше-мизинце.

— Про них мы послушаем зимой! — воскликнул старый тролль. — И про ель послушаем, и про березу, и про дары волшебниц-хульдр, и про трескучий мороз! Ты непременно обо всем расскажешь, у нас-то дома никто этого толком не умеет. Сядем в каменной горнице у очага, где горят сосновые щепки, и будем пить мед из золотых рогов давних норвежских королей, которые я получил в подарок от Водяного. И пока мы этак сидим, в гости к нам заглянет сосед — Домовой и споет тебе все песни горных хуторянок. То-то пове-

селимся! Лосось запляшет в водопаде, забьется о каменную стену, только внутрь ему не войти. Да, ты уж поверь, в доброй старой Норвегии жизнь хоть куда! Но где же мальчики?

И правда, где же мальчики? Они гонялись по полю за болотными духами, которые чин-чином явились устраивать факельное шествие, и задували им огоньки.

— Вольно вам шастать по округе! — сказал старый тролль. — Я выбрал для вас мать, теперь можете каждый взять по тетушке.

Но сыновья объявили, что лучше скажут речь да выпьют с девицами на брудершафт, а жениться им неохота.

Так они и сделали: держали речи, пили на брудершафт, а чарки надевали на палец, показывая, что выпили до дна; потом оба разделись и прямо на столе улеглись спать без всякого стеснения. Доврский же Дед отплясывал в зале со своей юной невестой, поменявшись с нею обувкой, — это ведь куда изысканней, чем меняться кольцами.

— Вот и петух запел! — молвила старая королевская домоправительница. — Пора закрывать ставни, чтобы солнце нас не спалило.

И холм закрылся.

А ящерки все сновали вверх-вниз по трещинам древесного ствола, и одна сказала другой:

— Ах, как же мне понравился Доврский Дед!

— Ну а мне больше по нраву его сыновья! — заметил дождевой червь, но он, бедняга, был слепой и ничего не видел.

КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ

Жила на свете девочка, нежная да пригожая, только вот летом она всегда ходила босая, потому что была бедна, а зимой носила большие деревянные башмаки, которые ужас как натирали ноги. В этой же деревне жила старуха, мать башмачника, она-то и сшила, как могла, из красных лоскутков от старых платьев пару башмачков, довольно неказистых, зато сработанных с добрыми помыслами и предназначенных для девочки, которую, кстати сказать, звали Карен.

Как раз в тот день, когда хоронили ее мать, девочка получила красные башмачки и впервые их надела. Не очень-то они годились для такого печального случая, но других у нее не было, вот и надела она их на босу ногу и так шла за бедным гробом.

В это время по дороге проезжала большая старинная карета, а в ней сидела высокая старая женщина. Пожалела она девочку и сказала священнику:

— Послушайте, отдайте девочку мне, ей будет у меня хорошо!

Карен решила, все дело тут в красных башмачках, но женщина сказала, что они просто ужасные, и их сожгли, саму же Карен одели в хорошее, опрятное платье, стала она учиться читать да шить, и в народе говорили: «Пригожая девоч-

ка!» А зеркало говорило другое: «Ты не просто пригожая, ты — красавица!»

Как-то раз королева, путешествуя вместе со своей дочкой-принцессой по стране, заехала и в тот город. Весь народ собрался возле дворца, Карен тоже не усидела дома. Маленькая принцесса в прелестном белом платьице стояла в окне на виду у всех, не было у нее ни шлейфа, ни золотой короны, только красивые красные сафьяновые башмачки, впрямь куда краше тех, что когда-то сшила для Карен старуха башмачница. Да, с красными башмачками ничто на свете не сравнится!

Карен подросла, настала пора конфирмации, ради такого случая было куплено новое платье, понадобились и новые башмачки. Настоящий городской башмачник снял мерку с ее ножки, и сделал он это у себя в мастерской, где стояли большущие стеклянные шкафы с изящными башмачками и блестящими сапогами. Любо-дорого смотреть, но старая женщина видела плохо и никакого удовольствия от этой красоты не получала, а ведь среди великого множества башмачков нашлись и красные, точь-в-точь как у принцессы, — сущее загляденье! К тому же башмачник сказал, что шил их для одного из графских детей, только они оказались не впору.

— Кожа-то лакированная! — сказала старая женщина. — Ишь как блестят!

— Да, правда, блестят! — воскликнула Карен.

Башмачки пришлись ей впору и были куплены, только вот старая женщина знать не знала, что они красные, она никогда бы не разрешила Карен пойти к конфирмации в красных башмачках, а ведь та именно так и поступила.

Все прихожане в церкви смотрели на ноги Карен, и, когда она шла к царским вратам, ей чудилось, будто старинные изображения на могильных плитах, портреты священников и их жен в стоячих воротничках и длинных черных одеж-

дах — и те глаз не сводят с ее красных башмачков, и думала она только о башмачках, а ведь священник, возложив руку ей на голову, говорил о святом Крещении, о завете Господнем и о том, что отныне она взрослая христианка! Торжественно заиграл орган, запели прекрасные детские голоса, запел старый регент, но Карен думала только о красных башмачках.

Ближе к вечеру старая женщина тоже узнала про красные башмачки — прихожане сообщили — и сказала, что это дурно, что этак не годится и что теперь Карен всегда будет надевать в церковь черные башмачки, хотя бы и старые.

В следующее воскресенье была служба с причастием. Карен глянула на черные башмачки, потом на красные, призадумалась, снова глянула на красные — и надела их.

День выдался погожий, солнечный. Карен и ее благодетельница шли по тропинке через хлебное поле, и башмачки у них слегка запылились.

У церковных дверей стоял старый солдат с костылем и на удивление длинной бородой, рыжей с проседью. Он поклонился до земли и спросил старую даму, не обтереть ли ей башмачки. Карен тоже подставила свою ножку.

— Ишь, какие красивые башмачки, аккурат для танцев! — воскликнул солдат. — Станете танцевать — сидите крепко! — С этими словами он хлопнул ладонью по подметкам.

Старая женщина дала солдату монетку и вместе с Карен вошла в церковь.

Вновь все прихожане смотрели на красные башмачки Карен, и все портреты смотрели на них, и, когда Карен, преклонив колени у алтаря, поднесла к губам золотой кубок, думала она только о красных башмачках, и чудилось ей, будто они плавают в кубке перед нею, — и она забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш».

Наконец все вышли из церкви, и старая женщина села в свою карету. Карен подняла ногу, собираясь последовать

за нею, а старый солдат, стоявший поблизости, опять возьми да и скажи:

— Ишь, какие красивые башмачки, аккурат для танцев!

Карен, понятно, не удержалась — надо же показать, как она танцует! — и сделала несколько танцевальных шагов, но стоило ей начать, ноги сами собой продолжили танец, словно башмачки забрали их под свою власть. Не в силах остановиться, Карен, танцуя, скрылась за углом церкви, пришлось кучеру догнать девочку, схватить в охапку и усадить в карету, однако ж ноги не унимались и больно пинали добрую женщину. В конце концов башмачки кое-как удалось снять, и ноги успокоились.

Дома башмачки спрятали в шкаф, но Карен все равно частенько ими любовалась.

Немного спустя старая женщина захворала и слегла, люди говорили, что она, знать, больше не встанет, присмотр и уход — вот в чем она нуждается, и кому, как не Карен, взять на себя эти заботы. Но в городе был назначен большой бал, и Карен тоже получила приглашение. Глянула она на старую женщину, которая так и так больше не встанет, глянула на красные башмачки и решила, что никакого греха тут нет, а потому надела красные башмачки — остановить-то ее никто не мог, — поспешила на бал и принялась танцевать.

Только вот беда: ей хочется направо, а башмачки тянут налево, хочется вперед по залу, а башмачки танцуют назад, к двери, и вниз по лестнице, и вдоль по улице, и за городские ворота. Но и там Карен поневоле продолжала танцевать, и несли ее башмачки прямиком в глубь темного леса.

Меж стволами деревьев виднелось светлое пятно, и Карен подумала, что это луна, пятно-то было круглое, а потом разглядела: это же старый рыжебородый солдат, сидит себе, кивает да приговаривает:

— Ишь, какие красивые башмачки, аккурат для танцев!

Испугалась Карен, хотела сбросить красные башмачки, но не тут-то было, они сидели крепко! Попробовала снять их вместе с чулками — увы! Башмачки приросли к ногам, так и пришлось ей танцевать дальше, по лугам и полям, под дождем и под солнцем, ночью и днем. А ночью было страшней всего.

Однажды ноги, все так же танцуя, привели ее на кладбище. Правда, тамошние покойники не танцевали, им хватало других дел, поважнее, чем танцы. Карен хотела присесть на могилу какого-то бедняка, поросшую горькой пижмой, но нет, не было ей ни роздыху, ни покою, а когда она очутилась у открытого церковного притвора, явился перед нею ангел в длинных белых одеждах, с крыльями, ниспадающими от плеч до земли, с ликом строгим и суровым, и в руках он сжимал меч, широкий и блестящий.

— Ты будешь танцевать! — молвил ангел. — Будешь танцевать в красных своих башмачках, пока не станешь бледной и холодной! Пока кожа твоя не усохнет, как у скелета! Ты будешь танцевать от дома к дому и стучать в двери там, где живут заносчивые, тщеславные дети, — чтобы они слышали тебя и боялись! Ты будешь танцевать!..

— Смилуйся! — взмолилась Карен, но не услышала, что ответил ангел, башмачки успели вынести ее за калитку и, не переставая танцевать, повлекли по полям, дорогам и тропинкам.

Как-то в утренний час танец привел ее к знакомой двери. В доме пели псалмы, потом вынесли убранный цветами гроб — так узнала Карен, что старая женщина умерла, и подумалось ей, что теперь она всеми покинута да еще и проклята ангелом Божиим.

Хочешь не хочешь, а она все танцевала — и белым днем, и темной ночью. Башмачки несли ее, не разбирая дороги, по колючкам и корягам, она поранилась до крови и вот, танцуя через

пустошь, очутилась возле уединенного домика. Знала горемыка, что здесь живет палач, постучала пальцем по стеклу и окликнула:

— Выйди ко мне, выйди! Я войти не могу, потому что танцую!

— Ты разве не знаешь, кто я такой? — отозвался палач. — Я рублю головы злодеям, и, как погляжу, секира моя просится мне в руки!

— Не руби мне голову! — сказала Карен. — Иначе не искуплю я своего греха. Отруби мне ноги вместе с красными башмачками!

Исповедалась она во всех своих грехах, и палач отрубил ей ноги с красными башмачками, однако ж башмачки и тут не остановились, унесли отрубленные ноги в лесную глушь.

Палач выстругал для Карен деревянные ноги и костыли, научил ее псалму, который всегда поют грешники, а она поцеловала руку, что орудовала секирой, и заковыляла через пустошь.

— Я вдоволь настрадалась из-за красных башмачков, — сказала она. — Пойду-ка теперь в церковь, чтобы все меня увидели!

Сказано — сделано, она бодро направилась к церковному притвору — глядь, а впереди пляшут-танцуют красные башмачки! Испугалась Карен и повернула обратно.

Целую неделю она горевала и плакала горючими слезами, а когда настало воскресенье, сказала себе:

«Ну что ж, теперь-то я вдоволь натерпелась-настрадалась! По-моему, я ничуть не хуже многих из тех, что сидят в церкви да задирают нос!»

И Карен храбро пошла к церкви, но едва добралась до калитки, как снова увидала перед собою пляшущие красные башмачки, испугалась и повернула обратно, от всего сердца раскаиваясь в своем грехе.

Побрела она к дому священника, попросилась там в услужение: она, мол, будет очень стараться, все сделает, что в ее

силах, и за платой не гонится — была бы крыша над головой да люди хорошие рядом. Жена священника пожалела Карен и взяла ее на службу. Работала бедняжка прилежно, с душой. Вечерами сидела себе тихонько и слушала, как священник читает вслух из Священного Писания. Дети очень ее полюбили, но, когда они принимались рассуждать о нарядах да побрякушках да о том, как бы сделаться по-королевски красивыми, она только головою качала.

В следующее воскресенье все собрались в церковь и спросили у Карен, не пойдет ли она с ними, однако ж она лишь печально, со слезами на глазах посмотрела на свои костыли. В конце концов остальные ушли слушать слово Божие, а Карен уединилась в своей чердачной комнатке, где всего-то и помещалось, что кровать да стул. Села она, взяла в руки сборник псалмов и стала читать — читала с чистой душою, а ветер меж тем принес к ней из церкви звуки органа, и она в слезах подняла голову и молвила:

— О Господи, помоги мне!

Тут солнце засияло ярче прежнего, и явился перед нею ангел Божий в белых одеждах, тот самый, которого она видела тогда в церковном притворе, только теперь в руках у него был не острый меч, а прекрасная зеленая ветвь, усыпанная розами. Этой ветвью он коснулся потолка, и тот поднялся высоко-высоко, а в том месте, которого он коснулся, вспыхнула золотая звезда, потом он коснулся стен, и они расступились. Карен увидала орган, изливающий дивные звуки, увидала старинные плиты с изображениями священников и их жен, паства сидела на резных скамьях и пела псалмы. То ли сама церковь пришла к горемычной девушке в крохотную, тесную комнатку, то ли сама девушка очутилась в церкви, сидела на скамье подле семьи священника. Они допели псалом, подняли глаза, кивнули и сказали:

— Ты правильно сделала, что пришла, Карен!

— Это милость Господня! — отвечала она.

Играл орган, и детские голоса на хорах звучали так нежно и сладостно! Ясный солнечный свет мягко струился в окно на алтарь, на скамью, где сидела Карен. И сердце ее, до краев переполненное светом, покоем и радостью, разорвалось, на солнечных лучах вознеслась ее душа к Богу, и никто более не спрашивал о красных башмачках.

ПРЫГУНЫ

Надумали однажды блоха, кузнечик и скакунок померяться силами: кто из них прыгнет выше? И созвали они весь свет и вообще всякого, кому охота полюбоваться этаким зрелищем. В назначенный час все трое — удальцы хоть куда! — явились в королевские покои.

— Я отдам свою дочку в жены тому, кто прыгнет выше всех! — объявил король. — Негоже этаким молодцам прыгать даром.

Первой представилась блоха, манеры у нее были прекрасные, она кланялась во все стороны — сразу видно, персона людских кровей, привыкла общаться с людьми, а это дорогого стоит.

Затем настал черед кузнечика. Он, понятное дело, был изрядно потяжелее, но держался куда как браво и носил зеленый мундир, прямо так, в мундире, и родился на свет. Вдобавок он сообщил, что происходит из древнего египетского рода и в здешних краях его очень уважают, недаром подняли с земли да посадили в карточный домик о трех этажах, сплошь из старших, вельможных карт, повернутых рубашкой наружу, с дверьми и окнами, вырезанными аккурат в груди дамы червей.

— По части песен я большой мастер, — сказал кузнечик, — не зря шестнадцать урожденных сверчков, что сызмала упражнялись в музыке и все ж таки не сподобились кар-

точного домика, — не зря эти сверчки, слыша меня, от досады вконец отощали!

Стало быть, блоха и кузнечик в точности доложили, кто они такие, и решили, что вполне достойны жениться на принцессе.

Скакунок не проронил ни слова, однако ж про него говорили, он, мол, горазд размышлять, а придворный пес понюхал его и тотчас поклялся, что скакунок из хорошей семьи. Старый советник, удостоившийся трех орденов за умение помалкивать, уверял, что, как ему доподлинно известно, скакунок наделен даром предсказания: по его спинке сразу видать, какая будет зима — мягкая или суровая, а ведь такого и по спине составителя календаря никак не увидишь, сколько ни смотри.

— Ну, я пока ничего говорить не стану! — сказал старый король. — Посижу подумаю, как всегда.

Пришла пора прыгать. Блоха скакнула так высоко, что никто не смог за ней уследить, поэтому все твердили, что она вовсе и не прыгала, — вот ведь обида!

Кузнечик прыгнул вполовину ниже, однако ж угодил королю прямо в лицо, и тот сказал:

— Фу, гадость!

Скакунок долго медлил в задумчивости, все уж было решили, что он вообще прыгать не умеет.

— Лишь бы в обморок не упал! — вскричал придворный пес и опять обнюхал его.

Скок! Скакунок совершил маленький прыжок наискось, прямиком на колени принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамеечке.

А король сказал:

— Прыгнуть выше всех — значит прыгнуть на колени к моей дочери, в том-то и тонкость, но, чтоб смекнуть, надо иметь голову на плечах, и скакунок доказал, что голова у него есть. Прыгнул с умом.

Вот так скакунок и получил принцессу в жены.

— Выше-то всех прыгнула я! — сказала блоха. — Ну и ладно! Пускай скакунок забирает ее со всеми потрохами. Выше всех прыгнула я, только на этом свете надобно иметь тело поболе, иначе не заметят!

И блоха отправилась на военную службу в чужие края, где, говорят, и сложила голову.

Кузнечик же, сидя в канавке, размышлял о том, как оно устроено на свете, и тоже сказал:

— Надобно тело! Надобно тело! — И он запел печальную песенку, из нее-то мы и узнали эту историю, которая, возможно, от начала и до конца выдумка, хоть ее и напечатали.

ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ

Ты видел когда-нибудь настоящий старинный шкаф, потемневший от времени, изукрашенный резными завитушками да листьями? Точно такой шкаф стоял в одной гостиной, он достался хозяевам по наследству от прабабушки и был сплошь, снизу доверху, в резных розах, и тюльпанах, и затейливых завитушках, а меж ними выглядывали оленьи головки с ветвистыми рогами; посредине же был во весь рост вырезан человек самой что ни на есть смехотворной наружности — с козлиными ногами, рожками на лбу и длинной бородой; вдобавок он ухмылялся, да-да, ухмылялся, улыбкой-то этакую гримасу никак не назовешь. Дети, которые играли в комнате, прозвали его обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног — выговорить трудновато, и звания этого мало кто удостаивается, но ведь вырезать его тоже было непросто. Так или иначе, теперь он находился здесь! И глаз не сводил со столика под зеркалом, потому что там стояла прелестная фарфоровая Пастушка, маленькая, в золоченых башмачках, в платье, перехваченном пояском с алой розой, в золотой шляпке и с пастушьим посохом в руке, — чудо как хороша! Рядышком с нею стоял маленький Трубочист, черный как уголь, но тоже фарфоровый. Был он опрятный, красивый, не хуже всякого другого, а трубочиста всего лишь изобра-

жал — фарфоровых дел мастер спокойно мог бы и принцем его сделать, если б захотел.

Прелесть как он был хорош: лестница на плече, личико белое, румяное, словно у девушки, хотя тут мастер, пожалуй, допустил оплошность, ведь немного сажи на щеках пришлось бы очень кстати. Стоял Трубочист бок о бок с Пастушкой — так их обоих поставили, и раз уж оказались поставлены рядышком, они обручились, ведь были вполне под пару друг другу: молодые, из одинакового фарфора и одинаково хрупкие.

Подле них стояла еще одна фигурка, тоже фарфоровая, только втрое больше, — Старый Китаец, который умел кивать головой. Он говорил, что доводится маленькой Пастушке дедом, но доказать этого ничем не мог, однако уверял, что держит ее в своей власти, и оттого кивал обер-унтер-генерал-командор-сержанту Козлоногу, который сватался к Пастушке.

— Заполучишь мужа на славу, — твердил Старый Китаец, — мужа, который, очень может быть, вырезан из настоящего красного дерева! Шутка ли, станешь женой самого обер-унтер-генерал-командор-сержанта Козлонога! У него в шкафу полным-полно серебра, не говоря уж о том, что припрятано в секретных тайниках!

— Я не хочу в темный шкаф! — отвечала Пастушка. — Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен.

— Значит, ты можешь стать двенадцатой! — произнес Китаец. — Вот нынче же ночью, как только старый шкаф заскрипит, свадьбу и сыграем, не будь я китаец! — Он опять кивнул головой и задремал.

А Пастушка расплакалась и посмотрела на своего возлюбленного, на фарфорового Трубочиста.

— У меня к тебе просьба, — сказала она, — давай убежим отсюда в широкий мир, здесь нам оставаться нельзя!

— Я с радостью сделаю все, что пожелаешь! — отвечал маленький Трубочист. — Прямо сейчас и отправимся. Думаю, я сумею прокормить тебя своим ремеслом.

— Лишь бы нам благополучно спуститься на пол! Я не успокоюсь, пока мы не выберемся отсюда в широкий мир.

Трубочист утешал ее и показывал, куда становиться, спускаясь по резным выступам и золоченым листьям на ножке стола, временами и лестницу свою подставлял, так что в конце концов они очутились на полу, а когда глянули на старинный шкаф, увидали, какой там поднялся переполох — резные олени еще больше высунулись из листвы, вскинули рога и завертели головами; обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног высоко подпрыгивал и кричал старому Китайцу:

— Они сбежали! Сбежали!

Беглецы слегка оробели и поспешили схорониться в приставном ящике*, что стоял под окном.

Там лежали не то три, не то четыре карточные колоды, правда, неполные, и кукольный театрик, с грехом пополам установленный для спектакля. На сцене как раз представляли комедию, и все дамы — бубновые и червонные, пиковые и трефовые — сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами, а за спиной у них выстроились валеты, показывая, что они парни с головой — и вверху, и внизу, как положено игральным картам. Комедия повествовала о влюбленных, которым не суждено было соединиться, и Пастушка плакала, ведь их история так походила на ее собственную.

— Нет, я не выдержу! — воскликнула она. — Мне нужно выбраться отсюда!

Когда же они снова очутились на полу и посмотрели на столик, Старый Китаец уже не спал и раскачивался всем телом, пытаясь сдвинуться с места, снизу-то он был литой, тяжелый.

— Ой, догонит нас Старый Китаец! — испугалась Пастушка и в отчаянии пала на свои фарфоровые колени.

---

* Окна в старинных датских домах расположены высоко, поэтому, чтобы выглянуть на улицу, становились на такой ящик.

— Я кое-что придумал! — сказал Трубочист. — Давай спрячемся в той большой вазе с ажурной крышкой, что стоит в углу; устроимся там на розах и лаванде, а когда он подойдет, бросим ему в глаза душистой соли.

— Это нам не поможет! — отвечала Пастушка. — Вдобавок я знаю, Старый Китаец и Ваза были помолвлены, а если двое когда-то состояли в близких отношениях, между ними всегда сохраняется толика приязни. Нет, нам остается лишь одно — бежать в широкий мир!

— Вправду ли у тебя хватит смелости отправиться со мной в широкий мир? — спросил Трубочист. — Ты подумала о том, что он очень велик и что мы никогда больше не сможем сюда вернуться?

— Конечно, подумала! — ответила Пастушка.

А Трубочист твердо посмотрел на нее и сказал:

— Мой путь ведет через печную трубу! Коли у тебя вправду хватит смелости пробраться со мною по всей печи, через топку и дымоход, то мы попадем в трубу, а уж там я свое дело знаю! Мы поднимемся высоко-высоко, они нас не достанут, а на самом верху есть отверстие — выход в широкий мир.

С этими словами он подвел ее к печной дверце и ступил внутрь.

— Ой, как же там черно! — испугалась Пастушка, но все-таки прошла с ним и через топку, и через дымоход, где царил кромешный мрак.

— Ну, вот мы и в трубе! — молвил Трубочист. — Смотри-ка! Смотри! Какая красивая звездочка сияет в вышине!

И правда, высоко в небе виднелась звездочка, сияла им навстречу, словно желая указать дорогу. А они все карабкались да ползли выше и выше. Дорога была ужасная, но Трубочист помогал Пастушке, поднимал ее, поддерживал, показывал, куда ей лучше ступать маленькими фарфоровыми ножками, и в конце концов они вылезли на край трубы и сели там, потому что совершенно выбились из сил, — и было отчего.

Над ними раскинулось усыпанное звездами небо, внизу же темнели городские крыши, видно было далеко окрест, и они могли заглянуть далеко в широкий мир. Бедная Пастушка никак не думала, что он окажется именно таков, она припала головкой к Трубочисту и расплакалась, да так, что даже позолота с пояска посыпалась.

— Это уж чересчур! — всхлипывала она. — Я не выдержу! Мир чересчур велик! Ах, если б мне вернуться на столик под зеркалом! Я не успокоюсь, пока снова не буду там. Я пошла за тобой в широкий мир, а теперь ты, будь добр, вернись со мною домой, если хоть чуточку меня любишь!

Трубочист успокаивал ее, вразумлял, говорил о Старом Китайце и об обер-унтер-генерал-командор-сержанте Козлоноге, но Пастушка, плача навзрыд, целовала своего Трубочиста, вот и пришлось ему подчиниться, хоть и было это опрометчиво.

С превеликим трудом беглецы вновь слезли в трубу, спустились в дымоход и проползли по нему — занятие, конечно, не из приятных, но в конце концов они очутились в темной топке и притаились за дверцей, чтобы выяснить, как обстоит дело в комнате. Там было тихо, они выглянули — ах! Старый Китаец лежал на полу. Он хотел броситься за ними вдогонку, упал со столика и раскололся на три куска: спина отвалилась целиком, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног стоял на своем обычном месте и размышлял о случившемся.

— Какой ужас! — вскричала Пастушка, ломая руки. — Старый дедушка разбился, и виноваты во всем мы! Я этого не переживу!

— Его можно починить, — отвечал Трубочист. — Можно, и даже очень легко. Не надо так убиваться! Если хорошенько приклеить спину да вставить в шею сзади крепкую заклепку, он опять будет почти как новенький и еще наговорит нам много обидных слов.

— Ты так думаешь? — спросила Пастушка.

Потом они взобрались на столик, где стояли раньше.

— Ну вот, от чего ушли, к тому и пришли, — сказал Трубочист. — Столько сил потратили, и совершенно понапрасну.

— Лишь бы старого дедушку починили! — воскликнула Пастушка. — Как, по-твоему, это очень дорого?

Китайца вправду починили; хозяева приклеили ему спину, вставили в затылок крепкую заклепку, и стал он почти как новенький, только головой кивать больше не мог.

— А вы заважничали с тех пор, как разбились на куски! — сказал обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног. — Все же, мне кажется, у вас нет причин этак грозно смотреть! Получу я ее в жены или нет?

Трубочист и Пастушка с мольбой посмотрели на Старого Китайца — очень они боялись, как бы он не кивнул, но кивать он не мог, а сказать постороннему, что в затылке у него вставлена заклепка, стыдился. И фарфоровая парочка осталась неразлучной, они благословляли дедову заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

ХОЛЬГЕР ДАТЧАНИН

Есть в Дании старинный замок под названием Кронборг, стоит он у пролива Эресунн, и каждый день мимо плывут сотни кораблей — и английских, и российских, и прусских; корабельные пушки салютуют: «Бум!» А пушки из замка отвечают: «Бум!» Так они говорят друг другу «добрый день!» и «большое спасибо!». Зимой корабли не ходят, море до самого шведского берега сковано льдом, но пролив все равно похож на большой тракт, там реют датский флаг и шведский, а датский и шведский народы говорят друг другу «добрый день!» и «большое спасибо!», только не пушками, нет, дружеским рукопожатием, и заходят друг к другу за пшеничным хлебом да кренделями — чужая-то еда вкуснее! Но, что ни говори, краше всего здесь старинный Кронборг, и вот там-то, в глубоком темном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер Датчанин — одетый в железо и сталь, он подпирает голову сильными руками, длинная борода ниспадает на мраморный стол и срослась с ним воедино, он спит и грезит, а во сне видит все, что происходит наверху, в Дании. Каждый год ангел Господень в Сочельник приходит к нему и говорит, что во сне он видел все как надо и может спокойно спать дальше, ведь покуда никакая серьезная опасность Дании не грозит! Но случись что, старый Хольгер Датчанин мигом встанет, и стол

развалится на куски, когда он потянет к себе бороду, потом он выйдет из подземелья и ударит так, что слышно будет на всем свете.

Про Хольгера Датчанина маленькому внуку рассказывал старый дедушка, и мальчик знал: все, что дедушка говорит, чистая правда. Рассказывая, старик работал, резал большую деревянную фигуру — Хольгера Датчанина, которого установят на носу корабля, ведь старый дедушка был резчиком, так называют мастера, что делает для кораблей носовые фигуры, которые и дают кораблям имена. Сейчас он сделал Хольгера Датчанина, статного, гордого, длиннобородого, одной рукой он сжимает широкий боевой меч, а другою опирается на щит с датским гербом.

Дедушка столько всего рассказывал о замечательных сынах и дочерях Дании, что маленький внук в конце концов уверился, будто знает не меньше самого Хольгера Датчанина, ведь тот лишь видел сны. И вечером, лежа в постели, мальчик так упорно думал об этом, что крепко-накрепко прижался подбородком к перине, воображая, будто у него длинная борода, приросшая к ней.

А старый дедушка тем временем еще работал, завершал последнюю часть — датский герб. Но вот он закончил и окинул взором свое творение, думая обо всем, что читал, слышал и нынче вечером рассказывал внуку, потом кивнул, протер очки, снова надел их и проговорил:

— Н-да, на моем веку Хольгер Датчанин вряд ли придет! А вот мальчуган, что спит сейчас наверху, может, еще и увидит его и, если надо, станет с ним плечом к плечу!

Дедушка опять кивнул, и чем дольше он смотрел на своего Хольгера Датчанина, тем яснее видел, что фигура получилась превосходная, прямо как живая, доспехи блистали, словно железо и сталь, сердца на датском гербе наливались червенью, львы в золотых коронах готовились к прыжку.

— На всем свете не сыскать герба краше! — воскликнул старик. — Львы — это сила, а сердца — милость и любовь!

Глянул он на верхнего льва и подумал о короле Кнуде, соединившем великую Англию с датским престолом, глянул на второго льва и подумал о Вальдемаре, собиравшем Данию и покорившем вендские земли, глянул на третьего льва и подумал о Маргрете, объединившей Данию, Швецию и Норвегию, а глядя на червленые сердца, заметил, что они стали еще ярче прежнего, обернулись подвижными огнями, и мысли его поспешили за ними вдогонку.

Первый огонек привел его в низкий, тесный застенок, где сидела узница, дочь Кристиана Четвертого — красавица Леонора Ульфельдт. Будто роза, огонек опустился ей на грудь и расцвел вместе с сердцем этой благороднейшей и лучшей из всех датских жен.

— Да, вот каково одно из сердец датского герба! — воскликнул дедушка.

Затем он мысленно отправился за другим огнем, и тот привел его в море, где грохотали пушки и пороховой дым окутывал корабли, — и огонь орденской лентой прикрепился к груди Витфельдта, когда тот, спасая флот, взорвал себя и свой корабль.

Третий огонек привел его в убогие гренландские жилища, где священник Ханс Эгеде словом и делом дарил свою любовь, и огонек звездою сиял у него на груди — еще одно сердце в датском гербе.

Мысли старика опередили очередной трепетный огонек, ибо знали, куда он направляется. В горнице бедной крестьянки стоял Фредерик VI и мелом писал на балке свое имя. Огонь трепетал у него на груди, трепетал в его сердце. В крестьянской горнице сердце его стало сердцем датского герба. И дедушка смахнул набежавшую слезу, ведь всю свою жизнь он питал искренние, добрые чувства к королю Фредерику, убеленному сединами, с честными голубыми глазами. Сло-

жив ладони, старый резчик молча глядел в пространство. Тут вошла невестка, сказала, что время уже позднее, пора отдохнуть и ужин ждет на столе.

— Какую же красоту ты сотворил, дедушка! — воскликнула она. — Хольгер Датчанин и наш древний герб!.. А лицо это я вроде как раньше видала!

— Нет, не могла ты его видеть! — возразил дедушка. — Я-то видел его и постарался вырезать из дерева таким, каким запомнил. Случилось это, когда англичане стояли на рейде, а памятный день второго апреля — мы тогда показали, что не посрамим чести предков! Я находился на борту «Дании», в эскадре Стена Билле, и рядом со мною был один служивый — пули словно боялись его! Он весело распевал старинные песни, стрелял и дрался так, будто он больше чем человек. По сей день помню его лицо, но откуда он взялся и куда пропал — не знаю, да и никто не знает. Я часто думаю, что был это не иначе как сам Хольгер Датчанин, который вплавь добрался до нас из Кронборга и в тяжкую годину пришел на подмогу. Вот так я думал — и ты видишь его портрет.

Большая тень изваяния падала на стену и частью на потолок, и казалось, в комнате стоит живой Хольгер Датчанин, ведь тень шевелилась, хотя, скорей всего, дело было в том, что огонек свечи слегка трепетал. Невестка поцеловала старика, повела к столу, усадила в большое кресло, и все трое — она, ее муж, то бишь сын старика и отец мальчугана, который уже лег спать, да сам старик — стали ужинать, и дедушка рассуждал о датских львах и датских сердцах, о силе и милости, причем вполне решительно заявил, что существует и другая сила, помимо той, что заключена в мече, и кивнул на полку с книгами, где лежали комедии Хольберга, читанные не счесть сколько раз, очень уж они смешные, так и кажется, будто все их герои издавна тебе знакомы.

— К примеру, он вот тоже умел сражаться! — сказал дедушка. — Всю жизнь, пока хватало сил, бился с людской

гнусностью и скверной! — Он кивнул на зеркало, где стоял календарь с Круглой башней, и добавил: — И Тихо Браге брался за меч, но не затем, чтобы рубить кости да плоть, а чтобы пробить прямую дорогу к небесным звездам! И тот, чей отец был моим собратом по ремеслу, сын старого резчика, тот, кого мы видели седовласым богатырем, знаменитым на весь мир, — да, он умел ваять из камня, а я могу только резать из дерева! Что ж, Хольгер Датчанин способен являться в разных обличьях — лишь бы во все концы света разнеслась весть о мощи Дании! Так давайте же выпьем за Бертеля!

А мальчуган, лежа в постели, воочию видел древний Кронборг, и Эресунн, и самого Хольгера Датчанина, сидящего в глубоком подземелье, с бородой, что приросла к мраморному столу, и грезящего обо всем, что происходит наверху; Хольгер Датчанин видел в своих грезах и бедную комнатку, где сидел старый резчик, и, слыша все, что там было сказано, кивал во сне и говорил:

— Да, помни обо мне, датский народ! Не забывай меня в своих помыслах! В годину бедствий я непременно приду!

А над Кронборгом сиял ясный день, и ветер приносил из соседней страны наигрыш охотничьего рожка, и корабли, проплывая мимо замка, салютовали: «Бум! бум!» Но сколько ни палили, Хольгер Датчанин не просыпался, ведь они просто говорили «добрый день» да «большое спасибо». Разбудит богатыря совсем другая пальба, и тогда Хольгер Датчанин, попрежнему могучий и отважный, непременно проснется!

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году — канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка, с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать — вот какие они были большие, — и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела, голодная и продрогшая, и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем — ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечка.

Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, — и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в Сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Ты-

сячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.

«Кто-то умер», — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: «Когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к Богу».

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.

— Бабушка, — воскликнула девочка, — возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, — вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, — они вознеслись к Богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах — улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

— Девочка хотела погреться, — говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

С КРЕПОСТНОГО ВАЛА

Осень. Стоя на крепостном валу, мы глядим на морской простор с множеством кораблей, на высокий шведский берег, озаренный солнцем; позади вал круто обрывается вниз, он обсажен пышными деревьями, роняющими золотую листву, а под обрывом виднеются мрачные постройки, обнесенные частоколом, и ходят часовые. Как тесно, как сумрачно за этим частоколом! Но еще темнее внутри, за маленькими зарешеченными окошками, — там сидят арестанты, самые жестокие преступники.

Закатное солнце заглядывает в голую камеру. Ведь оно светит и злым, и добрым! Угрюмый, безжалостный узник с ненавистью смотрит на холодный солнечный луч. Птичка садится на оконную решетку. Она тоже поет всем — и злым, и добрым. Звонко щебечет «кви-вит!», но не улетает, встряхивает крылышками, расправляет перышки, прихорашивается, а злодей в кандалах смотрит на нее. Ожесточенное лицо меняет выражение, становится мягче, какая-то мысль, неясная, безотчетная, возникает в его душе, она сродни солнечному лучу, проникшему сквозь решетку, сродни благоуханию фиалок, которые в изобилии цветут весной на валу. Внезапно доносится напев охотничьих рожков, громкий, мелодичный. Птичка вспархивает с решетки, улетает, солнечный луч гаснет, в камере снова темно, темно и в душе злодея, но все же там, пусть недолго, светило солнце и пела птичка.

О, не умолкайте, милые звуки охотничьего рожка! Вечер так мягок, море тихое, гладкое, как зеркало!

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА «ВАРТОУ»

Неподалеку от зеленого вала, что опоясывает Копенгаген, расположен большой красный дом с множеством окон, уставленных горшками с бальзамином и полынью. Убранство в доме скудное, а живут там старые бедные люди. Это и есть «Вартоу».

Смотрите! Старая дева, наклоняясь к подоконнику, обрывает с бальзамина увядшие листья и глядит на зеленый вал, где весело резвятся ребятишки, — о чем она думает?

Эти малыши, эти бедняцкие дети, как беззаботно они играют! Щечки горят румянцем, глаза сверкают блаженством, а ноги босые — ни башмаков, ни чулок. И пляшут они на зеленом валу, где, сказывают, много лет назад, когда земля там то и дело проваливалась, невинного малыша игрушками и цветами заманили в такой вот провал да и замуровали, пока он играл и кушал. С тех пор вал сделался крепким, прочным и вскоре зарос красивой травой. Ребятишки про это ведать не ведали, не то бы услыхали, как ребенок посейчас плачет под землею, и роса на траве показалась бы им горючими слезами. Не знают они и истории о датском короле, который, когда враг стоял у ворот, проскакал здесь на коне и поклялся, что умрет в отчем гнезде. Тогда горожане — и женщины, и мужчины — вышли на вал и стали лить кипяток на закутанных в белое врагов, что карабкались вверх по заснеженному валу.

Весело, беззаботно играют бедные ребятишки.

Играй, малышка! Скоро ты подрастешь, придешь в возраст — чудесный, благословенный возраст: рука об руку с другими ты пойдешь к конфирмации, в белом платье, за которое, хоть оно и сшито из большого старого платья, матушка твоя заплатила много денег. На плечах у тебя наброшена красная шаль, она спадает чуть не до полу, зато всем видно, какая она большая, прямо-таки огромная! Ты думаешь о своем наряде и о милостивом Господе. Какое удовольствие — прогуляться по валу! А годы идут, в них много хмурых дней, но они полны юных чувств, нежданно-негаданно у тебя появляется друг! Вы встречаетесь, гуляете ранней весной по валу, когда на четвертую пятницу после Пасхи звонят все церковные колокола. Фиалки еще не расцвели, однако ж напротив Росенборга стоит дерево с первыми зелеными почками, там вы останавливаетесь. Каждый год это дерево дает новые зеленые побеги, не то что сердце в груди человека. В сердце собираются темные тучи, их больше, чем на севере. Бедное дитя, вместо брачной постели ждет твоего жениха гроб, и остаешься ты старой девой. Из «Вартоу», обрывая листья бальзамина, ты смотришь на играющих ребятишек и видишь: твоя история повторяется.

Вот какая жизненная драма проходит перед глазами старой девы, меж тем как она глядит на вал, где светит солнце, резвятся детишки с румяными щечками, но босые, без башмаков и чулок, — резвятся, ликуют, как птицы небесные.

СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ

Ты слышал историю о старом уличном фонаре? Она, конечно, не очень-то веселая, но один разок можно и послушать.

Был на свете славный старый уличный фонарь, долгие годы он исправно нес службу, и вот пришла пора уйти на покой. Последний вечер сидел он на столбе, освещая улицу, и чувствовал себя, как старая балетная танцовщица, которая последний раз вышла на сцену, зная, что завтра вечером будет сидеть в чердачной каморке. Фонарь ужасно боялся завтрашнего дня, потому что завтра он впервые попадет в ратушу и тридцать шесть городских советников подвергнут его осмотру и решат, годен он или не годен. Может быть, его отправят на какой-нибудь мост, чтобы светить там, или за город, на фабрику, или, чего доброго, прямиком к литейщику, на переплавку, а ведь тогда он может превратиться во что угодно. Но в первую очередь фонарь огорчался оттого, что не знал, сохранит ли он в таком случае память о том, как был уличным фонарем.

Впрочем, как дело ни обернись, его ждет разлука с ночным сторожем и его женой, которых он привык считать своим семейством. Фонарь стал фонарем, аккурат когда сторож стал сторожем. Жена в ту пору много о себе мнила, только вечерами мимоходом смотрела на фонарь, днем же совершенно его не замечала. Теперь, в последние годы, когда все трое — сторож, жена

и фонарь — состарились, она тоже ухаживала за ним, чистила стекло, заправляла ворванью. Супруги были люди честные, ни единой капли не присвоили. Последний вечер на улице, а завтра быть ему в ратуше — вот о чем с грустью думал фонарь, так что сами понимаете, как он горел. Мелькали у него, правда, и другие мысли, ведь он так много всего освещал, так много повидал — уж наверно, не меньше, чем тридцать шесть городских советников, — но этого он не говорил, потому что был славным старым фонарем и не хотел никого обижать, тем паче начальство. Он так много помнил, и, меж тем как внутри разгорался огонь, что-то словно бы говорило ему: «Да, и меня тоже наверняка вспоминают! К примеру, тот красивый юноша — ах, сколько же лет минуло с тех пор! — в руке у него было письмо, листок розовой бумаги, тонкой, дорогой, с золотой каемкою, исписанный изящным женским почерком. Он дважды перечитал письмо, поцеловал, посмотрел на меня, и глаза его сказали мне: «Я самый счастливый человек на свете!» Н-да, только он да я знали, что было написано в первом письме от любимой.

Помню я и другие глаза — странно, как скачут мысли! По улице тянулась пышная похоронная процессия, на затянутом бархатом катафалке лежала в гробу молодая красавица, кругом цветы, венки, множество горящих факелов, они прямотаки затмили меня. Людей за гробом шло не счесть сколько, весь тротуар заполонили, а когда факелы скрылись из виду и я огляделся, возле столба стоял мужчина и плакал, вовек не забыть горестных глаз, что заглянули мне прямо в душу!»

Вот так текли мысли старого уличного фонаря, что светил нынешним вечером в последний раз. Часовой, отстоявший вахту, хотя бы знает своего сменщика и может перекинуться с ним словечком-другим, фонарь же своего не знал, а ведь вполне мог бы порассказать про дождь и слякоть, про то, докуда на тротуаре достигает лунный свет и с какой стороны дует ветер.

На краю сточной канавы собрались меж тем трое претендентов, готовых принять у фонаря полномочия, они ведь думали, он

сам выберет себе преемника. Во-первых, это была селедочная голова, она светится в темноте, вот и решила, что, если водворится на столбе, будет способствовать большой экономии ворвани. Во-вторых, гнилушка, которая тоже светится, причем поярче какой-нибудь там селедки, так она сама говорила, а к тому же она последний кусочек дерева, слывшего некогда красою и гордостью леса. В-третьих, светлячок — откуда он взялся, фонарь понятия не имел, — но так или иначе светлячок был здесь и светился. Правда, гнилушка и селедочная голова клялись, что светится он только временами и оттого принимать его в расчет никак нельзя.

Старый фонарь сказал им, что света у них маловато и на его место они не годятся, но они не поверили, а когда услыхали, что фонарь не вправе распоряжаться своей должностью, объявили, что это весьма отрадно, ведь на старости лет он и выбрать-то правильно не сумеет.

Тут из-за угла налетел ветер, ворвался под крышку старого фонаря и зашумел:

— Что я слышу? Неужто завтра тебя уже здесь не будет и нынче мы видимся в последний раз? Коли так, получай подарок! Сейчас я хорошенько проветрю тебе мозги, и ты будешь ясно и четко помнить все, что видел и слышал, мало того, еще и сумеешь, как наяву, представить себе все, о чем в твоем присутствии расскажут или прочтут, — вот какую ясность мыслей я тебе подарю!

— О, это замечательно щедрый подарок! — воскликнул старый уличный фонарь. — Большое спасибо. Лишь бы меня не переплавили!

— Пока до этого дело не дошло, — отозвался ветер. — Ну а теперь я продую тебе память! Коли получишь еще подарки вроде моего, старость у тебя будет вполне приятная!

— Лишь бы меня не переплавили! — вздохнул фонарь. — Или ты и тогда сумеешь уберечь мою память?

— Ну-ну, старина, не теряй присутствия духа! — сказал ветер и принялся дуть.

В этот миг выглянул месяц, и ветер спросил у него:

— А ты что подаришь?

— Ничего! Я на убыли, да и фонари мне никогда не светили, наоборот, я светил за них. — С этими словами месяц опять скрылся в тучах, не желая докучливых разговоров.

Тут на крышку фонаря упала капля — росинка, что ли? Но капля сказала, что послана тучами как подарок, может статься самый лучший.

— Я проникну в твое нутро и наделю тебя особой способностью: в любое время, когда пожелаешь, ты сможешь обернуться ржавчиной и рассыпаться в прах.

Фонарю, однако, подарок не понравился, и ветру тоже.

— А получше ничего не нашлось? — во всю мочь засвистел ветер, и вдруг, оставляя за собою длинный сверкающий след, с неба скатилась падучая звездочка.

— Что это было?! — воскликнула селедочная голова. — Никак звездочка упала? И по-моему, угодила прямиком в фонарь. Да уж, раз на эту должность метят столь высокопоставленные особы, нам пора восвояси! — И она ушла вместе с остальными.

А старый фонарь вспыхнул на диво ярко и знай твердил:

— Ах, право слово, чудесный подарок! Ясные звезды всегда были мне отрадой и светили так чудесно, как сам я никогда светить не мог, хоть и старался, не жалея сил, — ясные звезды обратили взоры ко мне, бедному старому фонарю, и прислали свою падучую подружку с подарком, да каким! Отныне всем, что я помню и вижу по-настоящему отчетливо, смогут полюбоваться и те, кого я люблю! Вот подлинная отрада, ведь если нельзя поделиться с другими, удовольствие выходит куцее, половинное!

— Весьма мудрая мысль! — похвалил ветер. — Только ты, поди, не знаешь, что для этого непременно нужны восковые свечи. Пока не зажжется в тебе восковая свеча, никто из других ничегошеньки не увидит. Тут звезды кой-чего не учли,

они-то думают, все, что здесь светится, имеет внутри по меньшей мере восковую свечу. Уф-ф, притомился я что-то! — вздохнул ветер. — Пойду прилягу. — Так он и сделал.

На следующий день... впрочем, следующий день можно пропустить, а на следующий вечер фонарь лежал в кресле, и где же? У старого ночного сторожа. В награду за долгую верную службу сторож выпросил себе у тридцати шести советников старый фонарь. Советники посмеялись над его просьбой, но отказывать не стали, и теперь фонарь лежал в кресле возле теплой печки, он словно бы даже изрядно вырос в размерах — занимал почти все сиденье. Старики, сидя за ужином, ласково поглядывали на старый фонарь, они бы с радостью и за стол его усадили. Жили они в подвале, на два локтя в земле. Чтобы попасть в горницу, надо было миновать мощеный коридор, но внутри царили тепло и уют, потому что дверной проем обили сукном, кругом чистота и порядок, кровать укрыта за занавеской, на окошках тоже занавески, а на подоконниках — два диковинных цветочных горшка. Матрос Кристиан привез их не то из Ост-, не то из Вест-Индии — глиняные слоны с широким отверстием в спине. Горшки были наполнены землей, и в одном рос замечательный лук-резанец, а в другом цветущая герань — тут тебе у стариков и огород, и сад. Стену украшала большая яркая картинка, изображавшая «Венский конгресс», разом всех королей да императоров. Напольные часы с тяжелыми свинцовыми гирями отстукивали свое «тик-так!» размеренно, хотя и слишком поспешно, но старики считали, лучше пускай спешат, чем отстают. Они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, стало быть, в кресле возле теплой печки, и казалось ему, будто весь мир перевернулся.

Однако ж когда старый сторож поглядел на него и заговорил о том, сколько они пережили сообща, в дождь и ненастье, в ясные короткие летние ночи и зимнюю вьюгу, от которой так хорошо укрыться в подвальной комнатке, старому

фонарю вновь полегчало, мир пришел в порядок, и все, о чем говорил сторож, виделось ему как наяву — ветер и впрямь здорово прочистил его память.

Старики были люди на редкость прилежные да работящие, ни минуты попусту не тратили. По воскресеньям доставали под вечер ту или иную книгу — больше всего они любили записки о путешествиях, — и старик читал вслух про Африку, про огромные леса и диких слонов, что жили там на воле, а его жена слушала и украдкой косилась на глиняных слонов, то бишь на цветочные горшки.

— Кажется, еще немного — и я увижу все это как наяву! — твердила она.

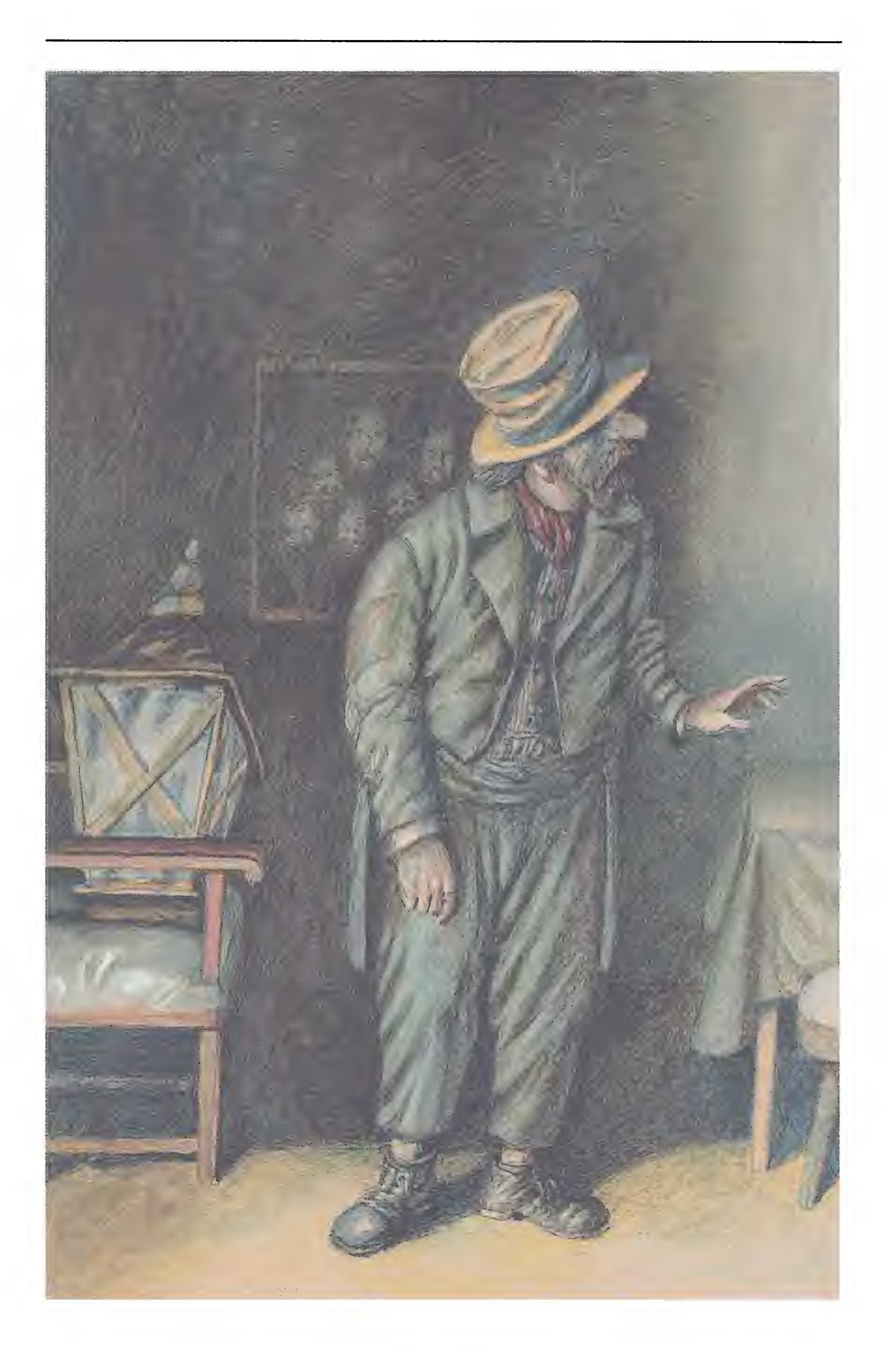
А фонарь горячо мечтал об одном: чтобы зажгли свечу и поставили в него, тогда бы старушка впрямь увидела вместе с ним высокие деревья, густое сплетение пышных ветвей, нагих чернокожих людей верхом на лошадях и целые стада слонов, топчущих широкими ступнями тростник и кустарник.

— Что проку от всех моих талантов, коли нет свечи! — вздыхал фонарь. — У них тут лишь ворвань да сальные плошки, а этого никак не достаточно.

Однажды в подвале появилась-таки целая куча свечных огарков. Те, что побольше, приспособили для освещения, а теми, что помельче, старушка вощила нитку, когда шила. Свечки-то были, да старики не догадались вставить в фонарь хоть маленький огарок.

— Вот тебе и редкие способности! — сетовал фонарь. — У меня внутри так много всего, а поделиться с ними не могу! Не ведают они, что я сумею превратить белые стены в дивной красоты шпалеры, в густые леса, во все, что ни пожелай! Они-то знать об этом не знают!

В общем, фонарь, до блеска начищенный, стоял себе в углу, где неизменно бросался в глаза. По правде говоря, другие люди считали его никчемной развалиной, но старики их не слушали, они любили свой фонарь.



Однажды в день рождения старого сторожа жена его подошла к фонарю, легонько улыбнулась и сказала:

— Устрою-ка я для него иллюминацию!

Фонарь от радости даже крышкой скрипнул, ведь он подумал: «Ну, наконец-то их осенило!» Увы, про свечку и речи не было, в него залили ворвань, и он горел целый вечер, понимая теперь, что дар, каким наделили его звезды, самый лучший, в этой жизни так и останется бесполезным кладом. И привиделся ему сон — когда обладаешь такими способностями, конечно же, и сны видишь, — что старики умерли, а сам он очутился у литейщика, и ждал переплавки, и было ему страшно, точь-в-точь как в тот раз, когда предстояло попасть в ратушу на суд тридцати шести советников, но, хоть фонарь и мог в одно мгновение по собственной воле обернуться ржавчиной и рассыпаться в прах, он этого не сделал, попал в плавильную печь и стал подсвечником, причем на редкость красивым, в виде ангела с букетом цветов. В середину букета поместили свечу, поставили подсвечник на зеленый письменный стол в уютной комнате, с множеством книг и превосходных картин. В этой комнате жил поэт, и все, о чем он думал и писал, воочию являлось перед ним: комната превращалась то в темные лесные дебри, то в солнечные лужайки, где важно разгуливал аист, то в палубу корабля высоко над морскими волнами...

— Нет, все же способности у меня замечательные! — сказал старый фонарь, проснувшись. — Прямо-таки хочется поскорей очутиться в плавильной печи! Впрочем, пока старики живы, об этом и думать нечего. Они меня любят просто за то, что я существую, и заботятся обо мне, как о родном сыне. Чистят, и холят, и ворванью наполняют. Живу я ничуть не хуже «Конгресса», а он-то куда благородней!

С той поры старый славный уличный фонарь успокоился, и он вполне это заслужил.

СОСЕДИ

Впору подумать, на придорожном пруду стряслось невесть что — такая там разгорелась суматоха, но, по правде, ничего особенного не произошло. Просто все утки, которые вот сию минуту спокойно отдыхали на воде, а не то стояли на голове — благо владели этим искусством, — вдруг разом ринулись на берег, на влажной глине осталось множество следов, а громкий галдеж разносился далеко окрест. Вода в пруду порядком взбудоражилась, хотя только что была гладкой как зеркало, отражала каждое дерево на берегу, и каждый куст, и старый крестьянский дом с двускатной крышей, слуховыми окнами и ласточкиным гнездом, а в первую очередь большой розовый куст, весь усыпанный цветами, его ветви свешивались через каменную ограду к самой воде, — прелестная картина, что на берегу, что в пруду — только в пруду наоборот. Когда же утки растревожили воду, все перемешалось, картина пропала. Лишь два перышка, потерянные в суматохе, плясали на волнах — вверх-вниз, вверх-вниз, то вдруг устремлялись вперед, словно от ветра, хотя никакого ветра не было, то замирали. В конце концов все успокоилось, и вода вновь стала гладкой как зеркало, вновь отчетливо отразила и крышу с ласточкиным гнездом, и розовый куст. Розы смотрелись в зеркало вод и были чудо как

хороши, но сами они даже не подозревали об этом, потому что никто им не говорил. Солнце заглядывало в глубь нежных лепестков, источающих аромат, и каждую розу переполняло блаженство, как порой оно переполняет нас, кружит нам голову.

— Хорошо жить на свете! — говорили розы. — Право слово, можно ли еще чего-то желать? Ну, разве только расцеловать солнышко, ведь оно такое теплое, яркое... И розы, что вон там, в воде, тоже хочется расцеловать. Они ведь совсем как мы, точь-в-точь! И милых птенчиков внизу, в гнезде, и тех, что над нами! Они высовывают головки и тоненько пищат, а перышками, как у отца с матерью, пока не обзавелись. Прекрасные у нас соседи, что наверху, что внизу. Ах, хорошо жить на свете!

Птенчики наверху и внизу — те, что внизу, просто отражались в воде — были воробьи, и отец с матерью тоже были воробьи. Они заняли прошлогоднее гнездо ласточек, отложили яйца и зажили своим домом.

— Кто это там плавает? Утята? — спросили птенцы, углядев на воде утиные перышки.

— Задавайте разумные вопросы, если уж спрашиваете! — сказала мать. — Неужто не видите, это перья, живая одежка, какую ношу я и заполучите вы, только наша будет покрасивее. Их бы сюда, в гнездо, для тепла. Хотелось бы мне знать, что этак напугало уток! Не иначе как в воде что-то стряслось, я-то наверняка ни при чем, хотя в самом деле довольно громко сказала вам «чив»! Глупые розы, конечно, могли бы доведаться, что случилось, однако ж им это без надобности, они только собой любуются да пахнут. Право, от таких соседей одни неудобства!

— Слышите милых пташек там наверху?! — воскликнули розы. — Им хочется петь! Не умеют пока, но выучатся в свое время. Вот, наверно, удовольствие так удовольствие! Очень занятно иметь таких веселых соседей!

Тут к пруду галопом примчались две лошади на водопой. Крестьянский парнишка сидел верхом на одной из них, он скинул с себя всю одежду, кроме черной шляпы, большой, широкополой. Насвистывая, словно пташка, мальчуган заехал на самое глубокое место пруда, а потом, когда очутился возле розового куста, сорвал розу, прикрепил к шляпе — наряд хоть куда! — и поскакал прочь. Остальные розы глядели вслед своей сестре и спрашивали друг дружку:

— Куда же она отправилась? — Но этого никто не знал.

— Вот бы и мне отправиться в широкий мир! — говорила одна роза другой. — Впрочем, дома, в родной листве, тоже хорошо! Днем пригревает солнышко, а ночью небо еще краше, так и сияет сквозь дырочки, которых на нем видимо-невидимо!

Розы имели в виду звезды, они ведь не знали, что ошибаются.

— Мы живем на самом верху! — сказала воробьиха-мать. — Ласточкины гнезда приносят счастье, говорят люди, оттого и радуются, что мы тут! Однако ж соседи, вроде этого розового куста у ограды, разводят сырость, по-моему, без них было бы куда лучше, там могли бы, к примеру, вырасти колоски. Что проку в розах? Смотри да нюхай, и только, ну, разве еще к шляпе прикрепить можно. Каждый год — так рассказывала моя мама — цветы опадают, крестьянка пересыпает лепестки солью, они получают французское имя, которое выговорить невозможно, да и ни к чему мне это... а потом их кладут в огонь, для приятного запаха. Вот таков их жизненный путь, и хороши они лишь для глаз и для носа. Так и знайте!

Когда настал вечер и в теплом воздухе заплясала мошкара, а облака налились багрянцем, прилетел соловей и стал петь розам свои песни — о том, что красота в этом мире как солнечный свет и живет она вечно. Но розы решили, что соловей поет о себе, ведь в самом деле можно было и так подумать.

Им даже в голову не пришло, что соловей пел для них, хотя песня их радовала и они размышляли о том, что все воробьиные птенчики, может статься, тоже вырастут соловьями.

— Мы отлично поняли, о чем пела эта птица! — чирикнули птенцы. — Там было только одно непонятное слово. Что значит «красота»?

— Да ничего! — ответила воробьиха. — Это всего лишь наружность, всего лишь видимость. В господской усадьбе, где голуби живут своим домом и каждый день им сыплют во дворе горох и зерно — я тоже с ними клевала, да и вам, глядишь, доведется! Скажи мне, с кем водишь компанию, и я скажу тебе, кто ты! — так вот, в господской усадьбе есть две птицы с зелеными перышками на шее и хохолком на голове, а хвост у них разворачивается, словно большущее колесо, притом разноцветное, аж глазам больно. Зовут этих птиц павлинами, их наружность и есть красота, но стоит немножко их общипать, и они будут выглядеть не лучше нас, всех остальных. Я бы поколотила их, не будь они такими огромными!

— Я поколочу! — объявил младший птенец, совсем еще голенький, без единого перышка.

В крестьянском доме жила молодая пара. Они крепко любили друг друга, работали прилежно, споро, и в комнатах у них было уютно и красиво. Воскресным утром молодая жена вышла из дома, сорвала несколько самых красивых роз и поставила на комод в стакан с водой.

— Сразу видно — нынче воскресенье! — воскликнул муж, расцеловав свою милую женушку. Они сели рядышком и, держась за руки, прочли псалом, а солнце светило в окна, озаряло свежие розы и молодую чету.

— Не на что смотреть! — чирикнула воробьиха, заглянув из гнезда в комнату, и улетела.

Точно так же она поступила и в следующее воскресенье, потому что каждое воскресенье в стакане появлялись свежие

розы, а розовый куст по-прежнему пышно цвел. Птенцы уже оперились и просились полетать с мамашей, но та сказала им остаться, и они остались.

Воробьиха полетела прочь, однако ж улетела недалеко — нежданно-негаданно попала в силок из конского волоса, устроенный мальчишками. Волосяная петля туго стянула лапку — того гляди, перережет! Так больно, так страшно! Подбежали мальчишки, схватили птичку, грубо, бесцеремонно.

— Это не утка, а всего-навсего воробей! — разочарованно сказали они, но не отпустили ее, понесли домой и всякий раз, как она кричала, щелкали по клюву.

Во дворе крестьянской усадьбы им встретился старик мыловар, он делал мыло для бритья и для мытья рук, мыло в шариках и в кусках. Увидав у мальчишек воробья и услышав, что птица им совершенно без надобности, этот веселый старый бродяга возьми да и скажи:

— Давайте-ка наведем на нее красоту!

Воробьиха задрожала от страха, а старик открыл свой ящик, где лежали всевозможные краски, достал несколько листочков сверкающего сусального золота и велел мальчишкам раздобыть яйцо, потом вымазал воробьиху белком, облепил сусальным золотом, и стала она вся золотая, но даже не думала об этаком великолепии, только дрожмя дрожала. В довершение всего мыловар оторвал от старой своей куртки клочок красной подкладки, соорудил из него петушиный гребешок и приклеил воробьихе на голову.

— Ну, глядите, как полетит наша золотая птица! — С этими словами старик отпустил воробьиху, и та в паническом ужасе метнулась прочь на яркий солнечный свет. Ах, как она сверкала! Все воробьи и даже большая ворона, причем далеко не молоденькая, здорово перепугались, но все же полетели вдогонку, ведь им хотелось разузнать, что это за важная птица.

— Откуда пришла? Откуда пришла? — кричала ворона.

— Постой! Ты чья? Чья? — наперебой чирикали воробьи.

Но воробьиха останавливаться не собиралась, в страхе и ужасе летела домой. Она очень устала — кажется, вот-вот упадет наземь, а птиц все прибывало, и маленьких, и больших. Некоторые, подлетев поближе, еще и клюнуть ее норовили, да побольнее.

— Ишь, какая! Ишь, какая! — галдели они все.

— Ишь, какая! Ишь, какая! — запищали птенцы, когда она подлетела к гнезду. — Это же наверняка павлиний птенец! Сверкает-то как, аж глаза слепит, не зря мама говорила: чив! Вот красота!

И они принялись клевать воробьиху, не пуская ее в гнездо, а она была до того напугана, что даже чирикнуть не могла, не то что сказать: «Я ваша мама». Меж тем и остальные птицы набросились на бедняжку, только пух да перья полетели, и в конце концов воробьиха, вся в крови, упала в розовый куст.

— Бедная птичка! — сказали розы. — Не бойся, мы спрячем тебя! Подними к нам головку!

Воробьиха из последних сил вновь расправила крылышки, потом крепко прижала их к себе и умерла — в окружении своих соседок, свежих, прекрасных роз.

— Чив! Чив! — пищали птенцы в гнезде. — Где же мама? Непонятно! Вряд ли она вздумала этак схитрить, чтоб мы сами о себе заботились. Гнездо она оставила нам в наследство, но кто из нас займет его, когда мы обзаведемся семьями?

— Да уж, я, как только заведу жену и детей, никого тут терпеть не стану, — объявил самый младший.

— У меня-то жен и детей поболе будет, чем у тебя! — сказал другой.

— А я самый старший! — воскликнул третий.

Птенцы затеяли ссору, принялись бить друг друга крылышками да клювом и — бух! — один за другим выпали из гнезда. Лежали на земле, очень сердитые, головой все пове-

нулись в одну сторону и моргали глазом, глядя вверх, — дулись друг на друга, стало быть.

Летать они уже немножко умели, поупражнялись еще и отправились в широкий мир, однако напоследок условились, как им узнать друг друга при встрече: надо сказать «чив!» и трижды шаркнуть левой ножкой.

Птенец, который остался в гнезде, расположился как барин, ведь теперь он был там хозяином, да только продолжалось так недолго. Ночью окна осветились красным огнем, из-под крыши вырвалось пламя, сухая солома вмиг вспыхнула, весь дом сгорел дотла, вместе с птенцом, молодые же хозяева успели спастись.

Утром, когда взошло солнце и все вокруг казалось посвежевшим, как после сладкого ночного сна, на месте крестьянского дома чернели обугленные балки, протянувшиеся к печной трубе, которая одиноко торчала среди пожарища. От развалин поднимался густой дым, и только розовый куст у ограды, свежий, живой, невредимый, по-прежнему стоял в цвету, отражаясь всеми своими веточками и бутонами в зеркале вод.

— Нет, до чего красиво — розы на фоне сгоревшего дома! — воскликнул путник, случайно проходивший по дороге. — Прелестная картина! Нужно сделать набросок!

Путник достал из кармана книжицу с чистыми страницами и карандаш — ведь он был художником — и зарисовал дымящееся пепелище, обугленные балки, что тянулись к покосившейся трубе (она все больше заваливалась набок), а на самом переднем плане большой цветущий розовый куст, вправду прекрасный, недаром же ради него художник взялся за карандаш.

Позднее в тот день мимо пролетали два воробья, которые здесь родились.

— Где дом? — защебетали они. — Где гнездо? Чив! Все сгорело, и наш силач братишка тоже! Поделом ему, нечего

было гнездо захватывать. А розы-то уцелели, по-прежнему свежи и румяны. У соседа беда, а им хоть бы что! Не станем мы с ними разговаривать, и вообще здесь так гадко, нам это не по душе!

И воробьи улетели прочь.

Однажды осенью выдался прелестный солнечный день — впору подумать, будто лето еще в разгаре. Во дворе у парадной лестницы господского дома было сухо и чисто, там важно расхаживали голуби, и черные, и белые, и сизые, так и блестели на солнце. Старые голубки распускали перышки и покрикивали на молодежь:

— Держитесь вместе! Держитесь вместе! — Ведь вместе они смотрелись куда лучше.

— Что это за серая мелюзга снует среди нас? — спросила старая голубка, у которой глаза отливали то красным, то зеленым. — Серая мелюзга! Серая мелюзга!

— Это воробьи! Порядочный народец! Мы всегда славились кротостью, давайте им позволим поклевать с нами. В разговоры они не встревают и ножкой вон как мило шаркают!

Они и впрямь шаркнули ножкой, три раза, а вдобавок сказали «чив!» и узнали друг друга — три воробышка из сгоревшего дома.

— Еды тут хоть отбавляй! — порадовались они.

А голуби обхаживали друг друга, важничали и втайне судачили о собратьях.

— Глянь-ка на эту задаваку! — говорил один другому. — Вишь, как уписывает горошины? Не многовато ли? Да еще и лучшие выбирает! Гурр-гурр! Смотри, у нее плешь на голове! Видишь это милое, сварливое создание? Кнурре-кнурре! — И глаза у всех у них наливались кровью от злости. — Держитесь вместе, держитесь вместе! Серая мелюзга! Серая мелюзга! Кнурре-кнурре-гурр! — Нескончаемые пересуды, которым и через тысячу лет конца не будет.

Воробьи кушали с аппетитом и слушали внимательно, даже рядком построились, но им это не шло. Они вдоволь наелись, ушли подальше от голубей и сообщили друг дружке, что о них думают, а затем упрыгали к садовой ограде. Дверь комнаты, выходящей в сад, была открыта, и один из воробышков, расхрабрившись от сытости, вспорхнул на порог и пискнул:

— Чив! Ну не храбрец ли я — вон куда забрался!

Второй не отстал:

— Чив! А я еще храбрее! — И он скакнул в комнату.

Там никого не было, и третий воробышек, заметив это, тоже осмелел, влетел внутрь и решительно чирикнул:

— В дом так в дом! Или сиди снаружи! Это же всего-навсего чудное человечье гнездо! Ой, что тут? Что тут?

Прямо перед воробьями цвели розы, отражались в пруду, и обугленные балки словно бы подпирали покосившуюся печную трубу! Что ж это такое? Как оно попало в господские комнаты?

Все три воробья устремились было к розам и трубе, но наткнулись на ровную стену, ведь перед ними была картина, большая прекрасная картина, для которой художник в свое время сделал маленький набросок.

— Чив! Чив! — зачирикали воробьи. — Тут ничего нет! Одна только видимость! Чив! Одна только красота! Вы что-нибудь понимаете? Я нет! — И они вылетели вон, потому что в комнату вошли люди.

Шло время, голуби невесть сколько ворковали, если не сказать — ворчали, склочники этакие! Воробьи зимой мерзли, а летом жили припеваючи; все они были обручены или состояли в браке, уж и не знаю, как это у них называется. И птенцов они успели завести, конечно, самых красивых и самых умных, летали кто куда, а при встрече всегда узнавали друг друга, потому что восклицали «чив!» и трижды шар-

кали левой ножкой. Старшая из них уже достигла почтенного возраста, но ни гнездом, ни птенцами не обзавелась, и очень ей хотелось побывать в большом городе — вот она и полетела в Копенгаген...

Там, неподалеку от дворца и канала, по которому плыли баржи с яблоками и глиняной посудой, стоял большой красивый дом. Окна в этом доме были внизу шире, чем наверху, и, когда воробьи заглядывали в них, им чудилось, будто смотрят они в чашечку тюльпана, в многоцветье красок и завитков, а посредине тюльпана виднелись белые человеческие фигуры — одни из мрамора, другие из гипса, но для воробьиных-то глаз разницы никакой. Венчала дом бронзовая колесница, запряженная бронзовыми конями, а правила ими богиня Победы, тоже бронзовая. Это был музей Торвальдсена.

— Как блестит! Как сверкает! — воскликнула барышня воробьиха. — Вот она, красота! Чив! Поболе какого-нибудь павлина! — Она ведь сызмала помнила, что для матери не было большей красоты, чем павлин.

Затем она спорхнула во внутренний двор, тоже на редкость красивый. Все стены там были разрисованы пальмами и зелеными ветвями, а посредине рос большой розовый куст, сплошь в цветах. Его свежие цветущие побеги склонялись над могилой. Воробьиха слетела во двор, потому что увидела там других воробьев, сказала «чив!» и трижды шаркнула левой ножкой. За минувший год она не раз так делала, но, увы, никто ее знаков не понимал, ведь те, что разлучились, встречаются не каждый день, и здоровалась она так просто по привычке, но на сей раз два старых воробья и один молодой ответили, сказали «чив!» и шаркнули левой ножкой.

— О-о, добрый день! Добрый день! — поздоровались трое воробьев из давнего выводка и молоденький,

из того же семейства. — Надо же, где довелось встретиться! Место порядочное, только вот еды маловато. Сущая красота! Чив!

Тут из боковых комнат, где стояли великолепные мраморные фигуры, вышло множество людей, все они направились к могиле, где покоится великий мастер, создавший мраморные изваяния, и с просветленными лицами обступили могилу Торвальдсена, кое-кто подобрал опавшие лепестки роз и спрятал. Люди приехали сюда издалека — из Англии, из Германии, из Франции, а самая красивая дама сорвала розу и приколола себе на грудь. Воробьи тотчас подумали, что здесь верховодят розы, что весь дом ради них и построен, и решили, что это, право же, немного чересчур, но, поскольку поголовно все выказывали розам уважение, они тоже решили не отставать. Сказали «чив!», подмели хвостиками пол, искоса одним глазом поглядывая на розы, и очень скоро уверились, что это их давние соседки, да так оно и было. Художник, который зарисовал розы у сгоревшего дома, еще в тот же год испросил разрешения выкопать куст и подарил его здешнему архитектору, ведь краше этих роз нигде не сыскать, а архитектор посадил их на могиле Торвальдсена, и они воплощением красоты цвели, даря на память пришельцам из дальних краев свои алые благоуханные лепестки.

— Вы что же, на должность поступили здесь, в городе? — полюбопытствовали воробьи.

И розы кивнули, они узнали своих серыньких соседей и очень им обрадовались.

— Как чудесно жить и цвести, видеть давних друзей и день за днем смотреть в растроганные лица. Здесь каждый день — словно великий праздник!

— Чив! — чирикнули воробьи. — Это и впрямь наши старые соседки! Мы-то помним, раньше вы жили у придо-

рожного пруда. Чив! А нынче вон в каком почете! Да, иным все достается играючи, без труда. И чем уж так примечательны эти красные комья, нам неведомо... Зато мы отлично видим увядший листок!

Они потеребили листок, он оторвался, и куст стал еще свежее и зеленее, солнце озаряло могилу Торвальдсена, розы благоухали, и красота их сливалась с бессмертным именем мастера.

МАЛЕНЬКИЙ ТУК

Ну так вот, жил на свете маленький Тук — вообще-то у него было другое имя, но в ту пору, когда не умел еще толком говорить, он называл себя Туком, хотел сказать Карл, а получалось Тук, это доподлинно известно. Ему приходилось смотреть за сестренкой Густавой, которая была намного меньше его, и вдобавок учить уроки, но делать два дела сразу никак не удавалось. Бедный мальчуган сидел, держа на коленях сестренку, и пел песни, все, какие знал, а заодно украдкой посматривал в учебник географии, лежавший рядом, — к завтрашнему дню нужно было наизусть запомнить все зеландские города и знать о них все, что можно.

Тут пришла домой мама, она куда-то отлучалась, и забрала у него Густаву. Тук побежал к окну и засел за уроки, чуть что не ослеп, ведь день клонился к вечеру и все больше темнело, но у матери не было средств купить свечи.

— Вон старая прачка идет! — сказала мать, выглянув в окно. — Бедняжка еле ноги передвигает да еще и ношу тащит, ведерко с водой. Беги к ней, маленький Тук, будь хорошим мальчиком, помоги старушке!

И Тук сей же час поспешил на подмогу, а когда воротился домой, было уже темным-темно, время ложиться спать. Кроватью ему служила старая откидная скамья, и, лежа там, он

думал о своем задании по географии — о Зеландии и обо всем, что рассказывал учитель. Конечно, урок полагалось выучить, но, увы, не было у него такой возможности. Учебник географии Тук положил под подушку, ведь он слыхал, что это очень помогает запомнить урок, хотя особенно надеяться все же не стоит.

Долго мальчуган лежал так и думал, как вдруг почудилось ему, словно кто-то поцеловал его в глаза и губы, он спал и не спал и будто видел перед собою ласковые глаза старой прачки и слышал ее голос: «Очень было бы грешно, если б ты не выучил урок! Ты пособил мне, а теперь я помогу тебе, и Господь никогда в помощи не откажет!»

В тот же миг книга под подушкой маленького Тука зашуршала-зашевелилась.

— Ко-ко-ко! — Это оказалась курица, уроженка города Кёге. — Я — кёгеская курица! — И она рассказала ему, сколько там жителей, рассказала о битве, в которой город выстоял, а больше говорить было не о чем.

Крибле-крабле-бумс! Что-то упало с глухим стуком, и была это деревянная птица, попугай, служивший мишенью стрелкам из Престё. Он сообщил, что жителей там столько же, сколько в нем дробинок, и с гордостью добавил:

— Сам Торвальдсен жил на углу по соседству со мною. Бумс! У меня прекрасное местоположение!

А маленький Тук вдруг очутился верхом на коне. И конь скакал галопом. Рыцарь в великолепных доспехах, в сверкающем шлеме с развевающимся плюмажем усадил его перед собою, и они скакали через лес к старинному городу Вордингборгу, большому, оживленному. Высокие башни венчали королевскую крепость, окна сияли яркими огнями, в залах пели и танцевали — король Вальдемар и нарядные фрейлины исполняли танец... Наступило утро, и с первыми лучами солнца город, и королевский замок, и башни начали разваливаться, в конце концов на холме, где был замок, осталась одна-един-

ственная башня, а город стал маленьким, бедным. Школяры с книгами под мышкой, шагая по улице, говорили: «Две тысячи жителей!» — но лукавили, жителей было куда меньше.

Маленький Тук лежал в своей постели и не мог взять в толк, во сне ли он видит все это, наяву ли, а между тем рядом появился кто-то еще.

— Маленький Тук! Маленький Тук! — услыхал он.

Оказалось — морячок, небольшого роста, с виду вроде кадета, однако не кадет.

— Горячий привет из Корсёра, из города, который растет и развивается! Он полон жизни, там есть пароходы и почтовые кареты. Когда-то его называли неприглядным, впрочем, было это давным-давно. «Я лежу возле моря, — говорит Корсёр, — есть у меня и большой тракт, и парки, я — родина веселого поэта, да-да, веселого, а таких не очень-то много. Еще я хотел послать корабль в кругосветное плавание, но не послал, хотя вполне мог бы это сделать, вдобавок я чудесно пахну, ведь прямо у моих ворот цветут прекрасные розы!»

Маленький Тук увидал их, в глазах у него зарябило алое и зеленое, когда же краски успокоились, перед ним открылся крутой лесистый берег прозрачного фьорда, а на самом верху обрыва стояла величавая старинная церковь с двумя высокими остроконечными башнями. Шумные многоводные источники низвергались с кручи, а совсем рядом сидел старый король в золотом венце на длинных волосах. Был это король Роар, а располагались источники возле города, который ныне зовется Роскилле. По обрыву шествовали к старинной церкви датские короли об руку с королевами, все в золотых венцах, под звуки органа и плеск источников. Маленький Тук смотрел и слушал.

— Не забудь о сословиях! — молвил король Роар.

И вдруг все опять исчезло — пропало без следа, будто страницу в книге перевернули. Теперь мальчуган увидел старуху полольщицу из Сорё, где на рыночной площади растет

трава. Полотняный серый платок, наброшенный на голову и спускавшийся на спину, насквозь промок — должно быть, она попала под дождь.

— Верно, я попала под дождь! — кивнула полольщица, а затем рассказала кое-что забавное о комедиях Хольберга, о короле Вальдемаре и епископе Абсалоне, потом вдруг покачала головой, съежилась, вся подобралась, словно перед прыжком, и воскликнула: — Ква! Мокро, мокро, покойно, точно в могиле, — вот как хорошо в Сорё! — Она разом обернулась лягушкой. — Ква! — И опять стала старухой полольщицей. — Надобно одеваться по погоде! Мокро, мокро! Мой город — словно бутылка, вход и выход через горлышко. На дне бутылки у меня были сомы, а теперь — здоровые румяные парни, там они учатся всяким премудростям. И греческому, и древнееврейскому! Ква!

Ни дать ни взять лягушки поют или сапоги чавкают, шагая по болоту. Однообразные звуки, такие нудные, унылые, до того унылые, что маленький Тук погрузился в крепкий сон, в котором очень нуждался.

Но и тут его посетило вроде как сновидение: сестренка Густава, голубоглазая малышка с золотыми локонами, явилась ему взрослой красивой девушкой, которая умела летать, хотя крыльев не имела, и оба они полетели над Зеландией, над зелеными лесами и голубыми водами.

— Слышишь, маленький Тук? Петух кукарекает! Куры взлетают в Кёге! Ты заведешь птичник, большой-пребольшой, и не придется тебе терпеть голод и нужду. Удача всегда будет с тобой, ты станешь богатым и счастливым. Выстроишь себе дом, высокий, словно башня короля Вальдемара, украшенный великолепными мраморными статуями, как дворец в Престё. Ты ведь понимаешь, о чем я. Имя твое прославится, облетит весь мир — как тот корабль, что должен был отплыть из Корсёра, а в городе Роскилле... «Не забудь о сословиях!» — молвил король Роар... В Роскилле ты, малень-

кий Тук, будешь держать умные, добрые речи, а когда в урочный час сойдешь в могилу, уснешь покойно...

— ...точно в Сорё! — закончил маленький Тук и проснулся.

Было ясное утро, и он ничегошеньки из своих снов не помнил, да оно и к лучшему, кто знает, куда это может завести.

Маленький Тук вскочил с постели, открыл учебник и мигом запомнил весь урок. А старая прачка заглянула в дверь, кивнула ему и сказала:

— Спасибо тебе за вчерашнее, милый мальчик! Пусть волею Господа твой лучший сон сбудется!

Маленький Тук знать не знал, что ему снилось, однако ж Господу все было ведомо!

ТЕНЬ

В жарких странах солнце вправду жгучее! Люди там сплошь коричневые, а в самых жарких странах и того темнее — совсем негры. Однако именно в жаркие страны приехал из холодных краев некий ученый, он думал, что сможет бродить день-деньской, как на родине, но очень скоро распростился с этой привычкой. Люди здравомыслящие, и он в том числе, поневоле сидели в четырех стенах, а ставни на окнах и двери весь день держали закрытыми, отчего дома казались не то спящими, не то пустыми. Узкая улочка с высокими зданиями, на которой он поселился, с утра до вечера была залита солнцем — от зноя впору с ума сойти! Ученый из холодных краев, человек молодой, умный, чувствовал себя так, будто угодил в раскаленную печь. Он совершенно обессилел, исхудал, даже тень его съежилась, стала куда меньше, чем в родной стране, солнце и ее измучило. Оживали оба только вечером, когда солнце садилось.

Поистине отрадное зрелище: едва лишь в комнату приносили свечу, тень вытягивалась во весь рост, скользила вверх по стене, удлинялась так, что даже потолок занимала, расправляла члены, а все затем, чтобы набраться сил. Ученый выходил на балкон, расправлял члены и, когда в дивно прозрачном воздухе проступали звезды, вновь чувствовал себя полным жиз-

ни. На всех балконах в переулке — а в жарких странах у каждого окна есть балкон, — были люди, без воздуха-то никому не обойтись, даже тем, у кого кожа темная, словно красное дерево! Повсюду закипала жизнь. Сапожники, портные и вообще весь народ высыпал на улицу, со столами, и стульями, и свечами, да-да, их тут горело не меньше тысячи. Люди беседовали между собой, пели песни, прогуливались, кареты катили по мостовой, шагали ослики, позванивая колокольцами: динь-динь, динь-динь! Там под звуки псалмов хоронили усопших, здесь уличные мальчишки запускали шутихи, со всех сторон слышался перезвон церковных колоколов — словом, город шумел жизнью. Лишь в одном доме, как раз напротив квартиры ученого чужеземца, было совсем тихо, хотя в нем, без сомнения, кто-то жил, ведь на балконе цвели чудесные цветы, а они бы нипочем не смогли расти на таком жгучем солнце, если б их не поливали, — значит, дом все же обитаем. И дверь на балкон вечерами открывалась, но внутри было темно, по крайней мере в ближней комнате, однако откуда-то из глубины долетала музыка. Ученому чужеземцу эта музыка казалась бесподобной, хотя, возможно, думал он так просто оттого, что все в жарких странах находил бесподобным — кроме палящего солнца. Квартирный хозяин сказал ему, что знать не знает, кто живет в доме напротив, ведь людей там не видно, а что до музыки, то, на его вкус, она ужас какая унылая.

— Кто-то словно разучивает пьесу, слишком для него трудную, повторяет ее снова и снова и небось твердит себе: «Еще немного — и непременно получится!» — но ничего не выходит, сколько бы он ни упражнялся.

Однажды ночью ученый проснулся. Дверь балкона была открыта, штора колыхалась на ветру, и ему привиделось, будто от балкона напротив идет чу́дный свет, все цветы сияли дивными огненными красками, а средь цветов стояла прелестная стройная девушка и тоже словно лучилась светом, да так, что

глазам вправду стало больно, открыл-то он их широко-широко и вдобавок едва успел пробудиться от крепкого сна. Ученый тотчас вскочил с постели, тихонько подкрался к балкону и выглянул из-за шторы, но девушка пропала, и свет пропал, и цветы угасли, хоть и сохранили прежнюю красу; дверь была приоткрыта, и из комнат долетала музыка, такая нежная и дивно прекрасная, что под звуки ее впору предаться сладостным мечтам. Сущее волшебство! Но кто же там живет? И как туда войти? В нижнем этаже сплошные торговые лавки, жильцам наверняка несподручно все время ходить через них.

Как-то вечером ученый сидел у себя на балконе, в комнате за спиною горел свет, поэтому неудивительно, что тень его перебралась на стену дома напротив, да-да, сидела там на балконе среди цветов и, когда ученый двигался, двигалась тоже, таков у нее обычай.

— Кажется, кроме моей тени, там нет ничего живого! — воскликнул ученый. — Вон как уютно ей сидится среди цветов! Дверь приоткрыта, и тень легко могла бы зайти внутрь, осмотреться, а потом рассказать обо всем, что видела. Право слово, не мешало бы тебе сделать доброе дело, — пошутил он. — Будь так любезна, зайди в комнаты. Ну как? Согласна? — И он кивнул своей тени, а та кивнула в ответ. — Тогда иди и непременно возвращайся!

Ученый встал, и тень его на балконе напротив тоже встала. Ученый отвернулся — тень тоже. Случись кому наблюдать эту сцену, он бы воочию увидел, как тень шагнула в приоткрытую дверь балкона напротив — в тот самый миг, когда ученый шагнул в свою комнату и опустил за собою длинную штору.

Наутро ученый вышел из дома — выпить кофе и почитать газеты.

— Что за притча?! — воскликнул он, едва оказался на солнце. — У меня нет тени! Значит, вчера вечером тень вправду ушла и не вернулась. Вот неприятность!

Огорчился ученый не столько оттого, что тень пропала, сколько оттого, что знал: есть одна история про человека без тени, известная в холодных краях всем и каждому, а стало быть, вернись он домой и расскажи о случившемся, народ примется твердить, что он просто обезьянничает, ну а подобные разговоры ему без надобности. Оттого-то он решил помалкивать — и рассудил вполне здраво.

Вечером ученый вышел на балкон и свечу у себя за спиной поставил, как положено, ведь он знал, что тени непременно нужен хозяин, но выманить ее не сумел: и в комочек сжимался, и во весь рост вытягивался, и хмыкал, и покашливал — нет тени, и все тут.

Досадно, конечно, однако в жарких странах все растет очень быстро, и дней через восемь ученый, к огромному своему удовольствию, заметил, что, когда выходит на солнце, из-под ног у него пробивается новая тень, то есть корень, как видно, уцелел. Спустя три недели тень достигла вполне сносных размеров, а когда ученый отправился домой, в северные края, она по пути все подрастала и в конце концов сделалась такой большой и длинной, что и половины ее было бы достаточно.

По возвращении ученый принялся писать книги о том, что на свете истинно, и благо, и прекрасно, — так шли дни и годы, много лет миновало.

И вот однажды вечером, когда ученый сидел у себя в кабинете, в дверь тихо постучали.

— Входите! — сказал он, но никто не вошел.

Тогда он сам отворил дверь и несказанно удивился, увидев перед собою до крайности худого господина, правда, изысканно одетого и, должно быть, состоятельного.

— С кем имею честь? — осведомился ученый.

— Н-да, так я и думал! — сказал пришелец. — Вы не узнаете меня! Я теперь куда материальнее, и плоть у меня имеется, и одежда. Вы-то навряд ли ожидали увидеть меня

в этаком процветании. Не узнаете свою старую тень? Поди, и не ожидали, что я вернусь. После нашей разлуки дела мои шли отменно, я преуспел во всех отношениях. Могу откупиться от службы, коли надо!

И господин позвенел целой связкой драгоценных печаток, прицепленной к часам, и взялся рукой за массивную золотую цепочку, которую носил на шее, — брильянтовые перстни у него на пальцах так и засверкали! Да-да, чистая правда.

— Ничего не понимаю! — вскричал ученый. — Что это означает?

— Согласен, дело необычное, — сказала тень. — Но ведь и вы сами человек незаурядный, а я, как вам известно, с детства шел по вашим стопам. Когда вы сочли, что для меня настала пора в одиночку отправиться в широкий мир, я пошел своей дорогой и нахожусь теперь в превосходнейших обстоятельствах. Однако ж мне захотелось снова повидать вас, пока вы не умерли, ведь умереть-то вам придется! Захотелось и повидать еще разок здешние края, как-никак это моя родина, и я питаю к ней привязанность... Насколько мне известно, вы обзавелись новой тенью, так я, верно, в долгу перед вами или перед нею? Только скажите, будьте добры.

— Неужели это и вправду ты?! — воскликнул ученый. — Поразительно! Вот уж не думал не гадал, что старая тень может воротиться в облике человека!

— Говорите, сколько надобно заплатить, — продолжала тень, — я не люблю быть в долгу.

— Как ты только можешь говорить такое! — сказал ученый. — Что еще за долг! Ты свободен, как всякий другой! И я от души рад твоему счастью. Сядь, старый дружище, и расскажи хоть немного о том, что с тобою было и что ты увидел у соседей напротив там, в жарких странах!

— Что ж, расскажу, — отвечала тень, усаживаясь. — Но прежде обещайте, что, встретив меня в этом городе, никогда и ни-

кому не обмолвитесь, что я был вашей тенью! Ведь я намерен обручиться, мне прокормить семью проще простого, даже не одну.

— Будь спокоен, — сказал ученый, — от меня никто не доведается, кто ты на самом деле. Вот моя рука! Обещаю! У честного человека слово с делом не расходится!

— И у тени тоже! — подхватила тень, что было вполне ей под стать.

Вправду удивительно, до какой степени она стала человеком. Вся в черном, притом одежда из самого отменного черного сукна, лаковые сапоги и высокая шляпа, которая складывалась в плоский круг — донышко да поля. А уж о тех вещицах, что упоминались прежде, вообще говорить нечего: тут и печатки, и цепочка золотая, и бриллиантовые перстни. Да, одета тень была куда как хорошо, оттого и выглядела вполне человеком.

— Ну ладно, слушайте!

Со всей силы топнув лаковыми сапогами, тень поставила ноги на новую тень ученого, которая верным пуделем свернулась на полу. Может, она топнула от чванства, а может, просто хотела припечатать ее к полу, и новая тень совсем притихла и обратилась в слух, ведь ей очень хотелось узнать, каким таким способом можно освободиться и стать себе хозяйкой.

— Знаете, кто жил в доме напротив? — спросила тень. — Прекраснейшая из всех, сама Поэзия! Я пробыл там три недели, а словно бы прожил три тысячи лет и прочел все, что за это время сочинили и написали, да-да, так оно и есть. Я все видел и все знаю!

— Поэзия! — воскликнул ученый. — Верно, в больших городах она часто живет затворницей. Поэзия! Я видел ее лишь краткий миг, глазами, отуманенными сном. Она стояла на балконе и лучилась светом, точно полярные сполохи. Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и...

— Очутился в передней! — сказала тень. — Вы все время смотрели в переднюю. Света там не зажигали, и в сумра-

ке виднелась открытая дверь, а за нею еще одна и еще — длинная вереница комнат и залов. Дальше покои были ярко освещены, от меня бы и следа не осталось, если б я отправился прямиком к прекрасной деве. Но я соблюдал осторожность, решил не торопиться, а это всегда полезно.

— Ну так что же ты видел? — спросил ученый.

— Я все видел и все вам расскажу, но — поверьте, дело тут отнюдь не в гордыне! — как человек свободный и просвещенный, к тому же занимающий солидное положение и весьма состоятельный, я бы предпочел, чтобы вы обращались ко мне на «вы».

— Простите великодушно! — сказал ученый. — Старая привычка — штука въедливая. Вы совершенно правы, и я постараюсь об этом не забывать. Ну а теперь вы расскажете мне все, что вам довелось увидеть?

— Конечно, — отвечала тень, — ведь я все видел и все знаю.

— Как же выглядели внутренние залы? — спросил ученый. — Как прохладный, свежий лес? Как божественный храм? Или эти залы походили на ясное звездное небо высоко в горах?

— Там было все! — сказала тень. — В глубь-то я не заходил, остался в сумраке передней комнаты, однако стоял там очень удобно, все видел и все знаю. Я побывал при дворе Поэзии, в передней.

— Но что же вы видели в огромных залах? Там расхаживали все божества древности? Единоборствовали давние герои? Играли и рассказывали свои грезы прелестные дети?

— Говорю вам, я там был и видел все, что можно увидеть. Попади вы туда, вы бы человеком не стали, а вот я стал! Вдобавок я познал свое глубинное естество, то, что заложено во мне от природы и роднит меня с Поэзией. Находясь при вас, я об этом не задумывался, однако вам ли не знать, что на восходе солнца и на закате я изрядно вырас-

тал в размерах, а в лунном свете выглядел едва ли не отчетливее вас. Тогда я еще не разумел своей натуры, она открылась мне лишь в передней, и я стал человеком!.. Возмужалый вышел я оттуда, но вы уже оставили жаркие страны. Как человеку мне было совестно ходить в прежнем моем виде; требовались сапоги, и одежда, и весь наружный лоск, по которому распознают человека... И вот — вам я скажу, вы же не запишете это в книгу — я схоронился под юбкой пирожницы, которая даже не догадывалась, что́ она прячет. Выбирался я оттуда только вечером, бегал по улице в лунном свете, вытягивался вверх по стене, ведь это так приятно щекочет спину! Взбегал вверх и спускался вниз, заглядывал в окна на самой верхотуре, в зал и на крышу, заглядывал туда, куда никто заглянуть не мог, и видел то, чего никто не видел и не увидит. В сущности, мир так гнусен! Я бы нипочем не захотел быть человеком, если б не считалось, что это кое-что значит! Я видел такое, что и помыслить невозможно, — сказала тень, — у женщин, у мужчин, у родителей и у милых, очаровательных детей, видел такое, чего людям знать никак нельзя, но ужасно хочется знать, — соседскую пакость. Выпускай я газету, ее бы все поголовно читали, однако ж я писал непосредственно этим самым лицам, и всеми городами, где я появлялся, овладевал ужас. Люди страшно меня боялись и чертовски уважали. Профессора присваивали мне профессорское звание, портные дарили новую одежду, я прекрасно экипирован! Монетчики чеканили для меня монету, а жены их твердили, что я очень мил! В результате я стал таким, каков я сейчас! Засим позвольте откланяться, вот моя карточка, я живу на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома! — С этими словами тень удалилась.

— Н-да, удивительная история! — сказал ученый.

Минуло много лет, и тень снова пришла к нему.

— Как дела? — осведомилась она.

— Ах, — вздохнул ученый, — я пишу об истине, и благе, и красоте, но никто и слушать не желает, я просто в отчаянии, потому что болею об этом душой.

— А я нет! — сказала тень. — Я тучнею, а как раз к этому и до́лжно стремиться. Вы совершенно не разумеете, что к чему в этом мире. Того гляди захвораете. Надо бы вам куда-нибудь съездить. Летом я намерен отправиться в путешествие, хотите составить мне компанию? Спутник мне бы не помешал! Хотите сопровождать меня — как тень? Я буду очень рад иметь вас рядом и оплачу путешествие!

— Это уж слишком! — воскликнул ученый.

— Как посмотреть, — сказала тень. — Путешествие, безусловно, пойдет вам на пользу. А согласитесь стать моею тенью, так все в дороге будете получать даром!

— Безрассудная затея! — воскликнул ученый.

— Но ведь и мир безрассуден, — возразила тень, — и таким останется.

Засим она ушла.

Ученому жилось и впрямь плоховато, печали и заботы неотступно преследовали его, а все, что он говорил об истине, о благе, о красоте, для большинства было что розы для свиньи. И в конце концов он совершенно расхворался.

— Посмотришь на вас — форменная тень! — говорили ему люди, а он испуганно вздрагивал, потому что кое о чем вспоминал.

— Вам надобно съездить на воды! — сказала тень, зайдя навестить его. — Ничего другого не остается. Возьму вас с собой по старому знакомству. Я оплачу поездку, а вы обо всем напишете да и развлечете меня немножко в дороге. Мне тоже надобно на воды, борода растет не так, как следует, это опять-таки недуг, а без бороды никак нельзя! Будьте же благоразумны, примите мое предложение, ведь, в конце концов, мы поедем как товарищи!

И они отправились в путь — тень хозяином, а ее хозяин тенью. Вместе они ездили в экипаже и верхом, вместе гуляли — бок о бок или друг за другом, смотря где стояло солнце. Тень всегда занимала хозяйское место, ученый же об этом не слишком задумывался, он был человек добросердечный, необыкновенно мягкий и приветливый, и вот как-то раз он сказал тени:

— Коль скоро мы заделались попутчиками, а вдобавок выросли вместе, не выпить ли нам на брудершафт? Перейдем на «ты», как подобает добрым друзьям!

— Что вы такое говорите! — воскликнула тень, которая и была теперь подлинным хозяином. — Сказано, конечно, искренне и с благими намерениями, и я отвечу тоже искренне и благожелательно. Вам ли, ученому, не знать, сколько в природе удивительного. Одни люди не выносят прикосновения к серой бумаге, от этого им становится дурно. Такое же ощущение испытываю и я, когда вы говорите мне «ты». Меня словно прижимает к земле, на прежнее мое место подле вас. Как видите, дело в ощущении, а не в гордыне. Я не могу разрешить вам обращаться ко мне на «ты», однако охотно стану называть на «ты» вас и так хотя бы отчасти выполню ваше пожелание.

И тень стала звать своего давнего хозяина на «ты».

«Вот так так! — думал ученый. — Я должен говорить “вы”, а он со мной на “ты”!» Однако, хочешь не хочешь, терпел.

Наконец они прибыли на воды, где собралось многочисленное общество, в том числе некая красавица принцесса, страдавшая чересчур острым зрением — ужасный недуг, право слово.

Она тотчас заметила, что вновь прибывший отличается от всех остальных.

— Он приехал сюда якобы затем, чтоб борода лучше росла, но я-то вижу подлинную причину: он не отбрасывает тени.

В ней проснулось любопытство, и на прогулке она не замедлила вступить с незнакомцем в разговор. Принцессам нет нужды соблюдать церемонии, вот она и сказала напрямик:

— Ваш недуг в том, что вы не отбрасываете тени.

— Ваше королевское Высочество, безусловно, на пути к выздоровлению! — отвечала тень. — Мне известно, что вы страдаете чересчур острым зрением, но все уже позади, вы излечились! Дело в том, что тень у меня весьма необычная. Видите эту персону, которая неотлучно меня сопровождает? У других людей тень самая обыкновенная, мне же обыкновенное не по вкусу. Слугам нередко шьют ливреи из лучшего сукна, нежели хозяйское платье, а я вот нарядил свою тень человеком! Как видите, даже тенью ее снабдил. Это стоило больших денег, но мне нравится быть оригинальным!

«Неужели? — подумала принцесса. — Неужели я вправду излечилась? Этот курорт действительно лучший из всех! Воды в наше время обладают поистине чудодейственной силой. Но домой я не поеду, ведь самое интересное только начинается, вдобавок незнакомец очень мне по душе. Лишь бы борода у него не отросла, а то ведь уедет!»

Вечером принцесса и тень танцевали в большом бальном зале. Девушка порхала, как перышко, а тень была и того легче, танцевать с таким кавалером ей никогда не случалось. Она рассказала, откуда родом, и кавалер сообщил, что эта страна ему знакома, он там был, однако ее дома не застал, она куда-то уезжала. Поскольку же он заглядывал там в окна, и в верхние, и в нижние, то кое-что подсмотрел и мог поддержать беседу, подпустить намек, а принцесса диву давалась: человека мудрее его, поди, на всем свете не сыщешь! Его познания произвели на нее огромное впечатление, и во время следующего танца она уже влюбилась, и тень тотчас это заметила, потому что принцесса мечтательно глядела как бы сквозь нее. Когда они танцевали в третий раз, принцесса

едва ему не призналась, но была осмотрительна, подумала о родной стране, о королевстве и о многих людях, которыми ей предстоит властвовать.

«Он человек умный, — сказала она себе, — это хорошо! И танцует превосходно, это тоже хорошо! Но не менее важна глубина познаний. Надо его проэкзаменовать».

И она принялась задавать ему самые что ни на есть трудные вопросы, на которые не знала ответа. Тень посмотрела на нее со странным выражением.

— Вы не в состоянии ответить! — воскликнула принцесса.

— Я все это знаю с детских лет и думаю, даже моя тень там, у двери, может дать ответ!

— Ваша тень? Весьма удивительно.

— Ну, конечно, утверждать со всею определенностью я не могу, но вполне допускаю, ведь она столько лет сопровождала меня и многому научилась, так что вполне возможно! Однако, Ваше королевское Высочество, позвольте сказать вам, она очень гордится, когда ее принимают за человека, а чтобы привести ее в надлежащее настроение — только тогда она даст хороший ответ, — с нею нужно обращаться в точности как с человеком.

— Мне это по душе! — воскликнула принцесса.

И она подошла к ученому, стоявшему у двери, и заговорила с ним о солнце, и луне, и о людях, каковы они внутри и снаружи, и на все он отвечал умно и хорошо.

«Если его тень так мудра, то каков же он сам! — думала принцесса. — Для народа и державы будет сущим благословением, если я выберу его в мужья, а именно так я и сделаю!»

Вскоре они обо всем договорились, принцесса и тень, но решили сохранить свой уговор в тайне, пока принцесса не вернется в родную страну.

— Никому ни слова, даже моей тени! — предупредила тень, и на то у нее были причины.

Наконец они приехали в страну, где правила принцесса, когда бывала дома.

— Послушай, мой добрый друг! — сказала тень ученому. — Я достиг такого счастья и могущества, какое только возможно, и для тебя тоже хочу сделать кое-что особенное! Ты будешь всегда жить у меня во дворце, ездить со мною в моей королевской карете и получать в год сто тысяч ригсдалеров. Но за это ты должен позволить всем и каждому называть тебя тенью и не вправе никому говорить, что когда-то был человеком, а раз в году, когда я буду сидеть перед народом на солнечном балконе, тебе придется лежать у моих ног, как и подобает тени. Знай же, я женюсь на принцессе, и нынче вечером состоится бракосочетание.

— Нет, это и впрямь уже слишком! — воскликнул ученый. — Я не желаю! И не стану этого делать! Ведь это значит — обманывать и всю страну, и принцессу! Я все расскажу — и что я человек, и что ты тень, всего-навсего переодетая человеком!

— Никто тебе не поверит! — сказала тень. — Будь благоразумен или я кликну стражу!

— Я сейчас же иду к принцессе! — сказал ученый.

— Первым к ней пойду я, а ты отправишься под арест!

Так и вышло, ведь стража повиновалась тени, зная, что такова воля принцессы.

— Ты дрожишь! — сказала принцесса, когда тень вошла в ее покои. — Что-то случилось? Сегодня вечером тебе никак нельзя хворать, ведь у нас свадьба.

— Я испытал самое ужасное, что только может быть! — воскликнула тень. — Представь себе... да, бедняжка тень и впрямь слаба на голову... представь себе, моя тень сошла с ума, думает, что она человек, а я — ты только представь себе! — я ее тень!

— Какой ужас! — вскричала принцесса. — Надеюсь, ее посадили под замок?

— Разумеется! Боюсь, она никогда не поправится.

— Бедняжка тень! — вздохнула принцесса. — Какая горькая доля выпала ей. Было бы поистине благодеянием избавить ее от той малой толики жизни, какой она обладает. Если хорошенько подумать, то, мне кажется, просто необходимо втихомолку отправить ее на тот свет!

— Н-да, тяжкая задача! Она была верным слугою! — сказала тень и тоже словно бы вздохнула.

— Вы такая благородная натура! — воскликнула принцесса.

Вечером весь город сиял огнями, пушки палили: бум! — а солдаты брали ружья «на караул». Вот уж была свадьба так свадьба! Принцесса и тень вышли на балкон показаться народу и еще раз услышать громкое «ура».

Но ученый ничего этого не слышал, ведь его лишили жизни.

СТАРЫЙ ДОМ

Вон там, на той улице, стоял старый-престарый дом, стоял уже без малого три сотни лет, об этом говорила дата, вырезанная на карнизе среди резных же тюльпанов и побегов хмеля. Еще там были целые стихотворные строчки, выведенные старинными буквами, и над каждым окном красовались резные гримасничающие физиономии. Второй этаж далеко выступал над первым, а под самой крышей проходил водосточный желоб с драконьей головой — дождю полагалось стекать из пасти, но, поскольку желоб прохудился, вода текла у дракона из брюха.

Все остальные дома на улице были новенькие, красивые, с большими окнами и гладкими стенами, всяк видел, что со старым домом они не желали иметь ничего общего и, скорей всего, думали: «Доколе же это чудовище будет торчать на нашей улице? Эркер у него вон как выпирает, из наших окон и не разглядишь, что в той стороне происходит! Лестница широченная, ровно во дворце, и высокая, как церковная башня. Перила чугунные, словно у дверей могильного склепа, да еще и с латунными шишками. Безвкусица!»

Дома через дорогу тоже были новые, красивые и думали в точности как все прочие, но у окошка напротив сидел маленький мальчик с румяными свежими щечками и ясными блестящими глазами. Ему-то старый дом, кстати сказать,

очень нравился что при солнце, что при луне. А разглядывая стену с облупленной штукатуркой, он воображал себе преудивительные картины, прямо воочию видел, как улица выглядела раньше — с лестницами, эркерами и островерхими фронтонами; видел солдат с алебардами и сточные желоба, похожие на драконов и змеев... Да, на этот дом стоило посмотреть! А жил в нем старый господин, который носил бархатные штаны, фрак с большими ясными пуговицами и парик — самый что ни на есть настоящий парик. Каждое утро его навещал старый слуга, наводил в доме порядок и ходил за покупками; в другое же время старый господин в бархатных штанах оставался в старом доме совершенно один. Порой он подходил к окну, смотрел наружу, и маленький мальчик кивал ему, а старый господин кивал в ответ — так они познакомились и подружились, хотя ни разу друг с другом не разговаривали, но разве это имеет значение?

Однажды мальчик услыхал, как родители говорили:

— Старому господину из дома напротив живется нехудо, только вот он ужасно одинок!

В следующее воскресенье мальчуган завернул в бумагу какую-то вещицу, спустился на крыльцо и, когда старый слуга, возвращаясь с покупками, проходил мимо, сказал ему:

— Послушай, ты не мог бы передать от меня старому господину вот это? У меня два оловянных солдатика, и одного я посылаю ему — для компании, ведь он ужасно одинок.

Старый слуга растроганно кивнул, взял солдатика и отнес хозяину. В свою очередь, тот велел спросить, нет ли у мальчугана охоты зайти к нему в гости. Родители возражать не стали, и мальчуган отправился в старый дом.

Латунные шишки на лестничных перилах блестели куда ярче обычного, можно подумать, их надраили специально ради гостя, а резные трубачи, что выглядывали из резных тюльпанов на двери, трубили что есть мочи, отчаянно надувая щеки: «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!»

И вот дверь отворилась. Вся передняя была увешана старинными портретами — сплошь рыцари в латах и дамы в шелках, латы брящают, шелка шуршат! Потом мальчуган поднялся по длинной лестнице наверх, а по другой, коротенькой лестнице спустился чуточку вниз и попал на балкон, надо сказать, весьма шаткий и обветшалый, в больших дырах и широких щелях, но из них изо всех пробивались трава и листья, потому что и сам балкон, и двор, и стены утопали в пышной зелени — с виду точь-в-точь сад, а на деле просто балкон. Кругом стояли старинные горшки в форме голов с ослиными ушами, и цветы в них росли, как хотели. Один горшок густо заполонила гвоздика, то бишь не цветы, а зеленые побеги, которые словно бы говорили: «Ветерок обвевал нас, солнышко целовало и сулило, что в воскресенье распустится цветочек, да-да, непременно распустится!»

Потом слуга провел мальчугана в комнату, стены которой были обиты свиной кожей, расписанной золотыми цветами.

— Золотой узор сотрется, свиная кожа остается! — твердили стены.

Здесь стояли кресла с высокими спинками, изукрашенные резьбой, с подлокотниками по обе стороны.

— Садись! Садись! — говорили они. — Ух, как же все во мне скрипит! Должно быть, ревматизм, как у старого шкафа! Ломота в спинке, ох-хо-хо!

И вот наконец мальчуган очутился в комнате с эркером, там-то и поджидал его старый господин.

— Спасибо тебе, дружок, за оловянного солдатика! — сказал он. — И спасибо, что пришел меня проведать!

— Так-так! Крак-крак! — заскрипела старая мебель, которой тут было так много, что она теснила друг дружку, стараясь рассмотреть гостя.

На стене, на самой середине, висела картина — портрет очень красивой дамы, юной, жизнерадостной, но одетой по

стародавней моде, с напудренными волосами, в платье, которое стояло коробом. Она не сказала ни «так-так», ни «крак-крак», просто ласково смотрела на мальчугана, а он тотчас спросил у старого господина:

— Где ты ее взял?

— У старьевщика, — отвечал тот. — У него в лавке много портретов, никого они не интересуют, никому нет до них дела, ведь изображенные на них люди давным-давно умерли. Но с этой дамой я был когда-то знаком, хотя ее вот уж полвека нет в живых.

Под картиной висел за стеклом букет увядших цветов — казалось, они тоже сорваны полвека назад. А маятник больших часов качался туда-сюда, и стрелки двигались по кругу, и все вещи в комнате незаметно для себя становились еще старше.

— У нас дома говорят, — сказал мальчуган, — что ты ужасно одинок!

— О, меня навещают давние воспоминания и многое приводят с собою, а нынче вот ты заглянул! У меня все прекрасно!

Потом старый господин достал из шкафа книгу с картинками, изображавшими длинные процессии, диковинные кареты, каких в наши дни не увидишь, солдат, одетых словно трефовые валеты, горожан с развевающимися флагами. У портных на флаге были два льва, которые держали ножницы, а у башмачников — не сапог, а орел, причем двуглавый, ведь им по душе, когда все и вся составляет пару... Да, чудо что за книга!

Потом старый господин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами — в старом доме и впрямь было чудесно.

— Я не выдержу! — воскликнул оловянный солдатик, стоявший на комоде. — Здесь так одиноко и так грустно! Нет, тот, кто жил в семье, никогда к этому не привыкнет... Я не выдержу! День тянется без конца, а вечер и того дольше! Не как у тебя дома — твои родители весело разговаривали, а ты сам и остальные милые ребятишки так замечательно

шумели. А здесь у старого господина так одиноко! Думаешь, его кто-нибудь целует? Думаешь, на него смотрят с лаской и любовью, дарят ему елку? Как бы не так! Если ему что и достанется, то одни лишь похороны! Я не выдержу!

— Не грусти! — сказал мальчуган. — По-моему, тут замечательно, вдобавок сюда приходят погостить воспоминания и многое с собой приводят!

— Я их не вижу и знать не знаю! — вскричал оловянный солдатик. — Я не выдержу!

— Придется выдержать! — возразил мальчуган.

А когда старый господин, очень довольный, вернулся с вкуснейшим вареньем, яблоками и орехами, мальчуган думать забыл про оловянного солдатика.

Счастливый и веселый, мальчуган воротился домой. Дни шли за днями, недели за неделями, оба приветливо кивали друг другу из окна, а потом мальчик снова отправился в старый дом.

Резные трубачи снова затрубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!» — а рыцари на портретах забряцали мечами и латами, дамы зашуршали шелками, шпалеры свиной кожи принялись твердить свой стишок, а старые кресла закряхтели от ревматизма — словом, все было точь-в-точь как в первый раз, потому что здесь дни и часы ничем друг от друга не отличались.

— Мне не выдержать! — сказал оловянный солдатик. — Я проливал оловянные слезы! Здесь так грустно! Лучше уж пойти на войну и потерять руки-ноги! Какое-никакое, а разнообразие. Я не выдержу!.. Теперь-то я знаю, как оно бывает, когда в гости приходят давние воспоминания и многое приводят с собою. Они навещали меня, и поверь, это совсем не весело, под конец я едва не прыгнул очертя голову с комода. Все вы виделись мне как наяву — в то воскресное утро, ну, ты знаешь! Вы, дети, стояли у стола и, благоговейно сложив ладони, пели псалом, который поете каждое утро, и родители ваши тоже были очень торжествен-

ны, потом дверь отворилась, и в комнату — хоть и было не велено — впустили Марию, младшенькую, ей еще и двух годков не сравнялось... Слыша музыку или песню, все равно какую, она всегда танцует и тогда тоже начала танцевать, но никак не могла попасть в такт, ведь песня была очень протяжная. Она постояла сперва на одной ножке, вытянув головку далеко вперед, потом переступила на другую ножку, все так же вытянув головку, однако ж ничего не получалось. Вы все сохраняли серьезность, что наверняка было очень нелегко, а я в душе хохотал, потому-то и свалился со стола и набил шишку, которая до сих пор не прошла, ведь смеяться было грешно. И вот все это вновь оживает во мне, как и многое другое, — это и есть давние воспоминания и то, что они приводят с собою!.. Вы и теперь поете по воскресеньям, да? Расскажи немножко про маленькую Марию! И про моего товарища, второго оловянного солдатика! Вот уж кому повезло так повезло! А я не выдержу!

— Ты подарен, — сказал мальчуган. — И должен остаться здесь. Неужели не понятно?

Старый господин принес шкатулку, полную всевозможных вещиц. Были там и коробочки с мелками, и жестяночки с благовониями, и старинные игральные карты, большие, разрисованные золотом, нынче таких не увидишь. Потом выдвинули множество других ящиков, открыли клавикорды, крышка которых изнутри была расписана пейзажами, а звук у клавикордов, когда старый господин заиграл, оказался хриплым, надтреснутым, но он все равно спел какую-то песенку.

— Н-да, эту песенку пела она! — Старый господин кивнул портрету, купленному у старьевщика, и глаза его ярко блеснули.

— Хочу на войну! Хочу на войну! — во все горло выкрикнул оловянный солдатик и кинулся с комода на пол.

Куда же он подевался? Старый господин искал, и мальчуган искал — нет солдатика, и все тут.

— Уж я его разыщу! — сказал старик, но так и не нашел. Полы обветшали, рассохлись, оловянный солдатик угодил в щель и лежал там, словно в открытой могиле.

День прошел, и мальчуган вернулся домой. Миновала неделя, другая, третья. Окна затянуло морозными узорами. Чтобы увидеть дом напротив, мальчугану приходилось дыханием протаивать глазок. Во все резные завитушки и надписи намело снегу, лестница и та скрылась под сугробом, будто в доме никто не жил, и там вправду никого не было, старый господин умер.

Вечером подле дома остановилась карета, из дверей вынесли гроб, чтобы отвезти покойного за город и там похоронить. Карета тронулась, но провожающих не было, ведь все его друзья давно умерли. Только маленький мальчик послал вдогонку воздушный поцелуй.

Через несколько дней в старом доме состоялся аукцион, и мальчик видел из своего окна, как уносили в разные стороны старых рыцарей и старых дам, ушастые цветочные горшки, старинные кресла и старинные шкафы. Женский портрет, некогда найденный у старьевщика, вернулся туда же, к старьевщику, да так там и остался, потому что никто эту даму не знал, никто ее портретом не интересовался.

Весной пришла пора снести старый дом — туда ему и дорога, этому чудовищу, говорил народ. Прямо с улицы можно было заглянуть в комнату со шпалерами свиной кожи, от которых остались обрывки да лохмотья; зеленые побеги, оплетавшие балкон, спутанными ворохами висели на рухнувших балках… Потом все это увезли прочь.

— Вот и замечательно! — сказали соседние дома.

*

На этом месте выстроили красивый дом с большими окнами и гладкими белыми стенами, а перед ним — как раз там, где, собственно говоря, и стоял старый дом, — разбили садик,

и плети дикого винограда вновь потянулись к соседним постройкам. Сад обнесли высокой кованой решеткой с кованой же калиткой — красота, да и только! Народ останавливался поглядеть. Воробьи стаями слетались на виноградные лозы, трещали наперебой, но не о старом доме, его они помнить не могли, ведь прошли годы, маленький мальчик успел вырасти, стал взрослым дельным мужчиной, на радость своим родителям. Он только что женился и вместе с женой въехал в этот самый дом с садом. Сейчас он стоял рядом с женой, а она сажала полевой цветок, который очень ей приглянулся. Маленькая рука посадила цветок в ямку и примяла землю пальцами. Ой, что это? Она укололась. Из почвы торчало что-то острое.

Что бы вы думали? Это оказался оловянный солдатик, который давным-давно потерялся у старого господина, потом валялся-кувыркался среди обломков старого дома и в конце концов много лет пролежал в земле.

Молодая женщина почистила солдатика — сперва зеленым листочком, затем своим изящным носовым платком, от которого так чудесно пахло! И оловянный солдатик словно бы очнулся от глубокого сна.

— Дай-ка посмотреть! — сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой. — Нет, вряд ли солдатик тот самый, но он напомнил мне историю с оловянным солдатиком, который был у меня в детстве!

И он рассказал жене о старом доме, о старом господине и о солдатике, которого подарил ему, чтобы скрасить его одиночество, и рассказал все в точности так, как было, а молодая жена до того растрогалась, что не могла сдержать слез.

— Может, все-таки солдатик тот самый?! — воскликнула она. — Я его сохраню в память обо всем, что ты рассказал. Но ты должен показать мне могилу старого господина.

— Я не знаю, где она, и никто не знает! Друзья его давно умерли, могила осталась без присмотра, а я был совсем маленький.

— Наверно, он был ужасно одинок! — вздохнула молодая жена.

— Ужасно одинок! — сказал оловянный солдатик. — Но как хорошо, когда тебя не забывают!

— Хорошо! — послышалось поблизости, но никто, кроме солдатика, не увидел, что был это клочок свиной кожи от шпалер. От золотого узора и следа не осталось, с виду точь-в-точь комок сырой земли, однако ж он имел свое суждение и не замедлил его высказать:

Золотой узор сотрется,
Свиная кожа остается!

Но оловянный солдатик думал иначе.

КАПЛЯ ВОДЫ

Тебе, конечно, знакомо увеличительное стекло, такая круглая линза, которая все делает в сотню раз больше, чем на самом деле? Если поднести ее к глазам и посмотреть на каплю воды из пруда, можно увидеть тысячи диковинных существ, обычно их в воде не видно, хотя они там вправду есть. Будто глядишь в тарелку с креветками: они мечутся как попало и ужас до чего прожорливы, так и рвут друг дружку на части почем зря, но все равно на свой лад веселы и довольны.

Жил некогда на свете старик, которого народ звал Крибле-Крабле, такое у него было имя. Из любой вещи ему всегда хотелось извлечь как можно больше пользы, а если не выходило, он прибегал к колдовству.

И вот однажды, вооружившись увеличительным стеклом, он стал рассматривать каплю воды, взятую из лужи в подсохшей сточной канаве. Ну и кутерьма! Тысячи крохотных существ метались, скакали, теребили друг дружку и поедали.

— Какой ужас! Глаза бы мои не глядели! — воскликнул Крибле-Крабле. — Неужто нельзя сделать так, чтобы они жили в мире и спокойствии и чтобы каждый занимался своим делом?

Он призадумался, но ничего не выходило, придется колдовать.

— Пожалуй, надо их окрасить, тогда они станут заметнее, — сказал он и добавил в каплю воды чуточку чего-то похожего на красное вино, только было это не вино, а ведьмина кровь, причем наилучшего сорта, по два скиллинга. И тотчас все диковинные существа окрасились в пунцовый цвет — с виду ни дать ни взять целый город голых дикарей.

— Что это у тебя? — полюбопытствовал другой старый колдун, именем он не обзавелся, и в этом состоял особый изыск.

— А ты догадайся, — отвечал Крибле-Крабле, — и получишь это от меня в подарок! Но коли не знаешь, угадать ох как трудно.

Безымянный колдун посмотрел в увеличительное стекло. Действительно, вроде как город, чьи обитатели поголовно все бегают нагишом! Ужасное зрелище, но вовсе страшно было видеть, как один пинает и толкает другого, как они щиплют друг друга и теребят, кусают и рвут. Нижние лезли наверх, верхние — вниз. «Глядите, глядите! У него нога длиннее моей! Бумс! Ну-ка, долой ее! А вон у того за ухом прыщик, махонький безобидный прыщик, но ему больно, и пусть будет еще больней!» И они накинулись на беднягу, принялись терзать и в конце концов сожрали — из-за махонького прыщика. Одно из существ сидело себе тихонько, как примерная барышня, и мечтало лишь о мире и спокойствии, но не тут-то было! Подступили и к барышне, выволокли, растерзали и слопали!

— Очень забавно! — сказал безымянный колдун.

— И как по-твоему, что это такое? — спросил Крибле-Крабле. — Ты сумел угадать?

— Еще бы! Сразу видно, это Копенгаген или другой большой город, они все одинаковы. В общем, большой город!

— Не угадал, это вода из сточной канавы! — отвечал Крибле-Крабле.

СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО

Во всей Дании самые большие листья, конечно, у белокопытника. Если приложишь такой лист к животику, выйдет настоящий фартук, а нацепишь на голову, то в дождь послужит не хуже зонтика — вот какой он огромный. В одиночку белокопытник не растет, нет, где один, там целая уйма, с виду очень красиво, но вся эта красота — корм для улиток. Для больших белых улиток, из которых в старину готовили фрикасе, а господа кушали да нахваливали: «Ах, объедение!» — потому что впрямь считали их отменными на вкус. Эти улитки питались листьями белокопытника, и потому белокопытник специально разводили.

В одной старой барской усадьбе давно уже не пробовали улиток, они все вымерли, а вот белокопытник не вымер, наоборот, разросся, все дорожки и грядки заполонил, никакого сладу нет, куда ни глянь — сплошь белокопытник. Если бы не стояли там и сям яблони да сливы, нипочем бы не догадаться, что это сад, — кругом белокопытник. И жили там две последние, престарелые улитки.

Они и сами не знали, сколько лет прожили на свете, но хорошо помнили, что было их тут много, что семья их вела свой род из чужедальних краев и что здешние заросли посажены для них. Хотя они никогда не покидали этот свой лес, им все же было известно, что в мире есть еще и барская усадьба, где

их бросают в кипяток и, когда они почернеют, выкладывают на серебряное блюдо, а вот что происходит дальше, они знать не знали. Впрочем, каково это — очутиться в кипятке, а потом на серебряном блюде, они тоже толком не могли себе представить, однако не сомневались, что это замечательно и весьма аристократично. Кого они только не спрашивали — и майского жука, и жабу, и дождевого червя, — никто не дал им вразумительного ответа, потому что в кипятке не бывал и на серебряном блюде не леживал.

Старые белые улитки знали про свою родовитость, ведь и лес тут рос для них, и барская усадьба существовала затем, чтобы они могли попасть сперва в кипяток, а после — на серебряное блюдо.

Жили они очень уединенно и счастливо, своих детей не имели, но взяли на воспитание приемыша из обычных улиток, только вот он никак не хотел расти — такая уж порода! Однако ж старикам, в особенности улитке-матери, казалось, что он подрастает, и она упрашивала улитку-отца пощупать сынишкин домик — раз уж он глазами не видит! И улитка-отец, исполнив ее просьбу, соглашался: разумеется, она права.

Как-то раз, когда весь день лил дождь, улитка-отец сказал:

— Нет, ты послушай, как дождь барабанит по листьям!

— Добро бы только барабанил, тут еще и каплет! — отозвалась улитка-мать. — По́ стеблю-то прямо струей течет! Оглянуться не успеешь, как все вокруг затопит. Я так рада, что у нас у каждого есть хороший дом, и у малыша тоже. В самом деле, нам дано куда больше, чем всем другим существам, сразу видно — мы в мире хозяева! У нас от рождения есть дом, и белокопытник тут растет для нас — хотела бы я знать, как далеко он простирается и что находится дальше.

— Да нету там ничего! — сказал улитка-отец. — Лучше, чем у нас, нигде и быть не может! От добра добра не ищут.

— Почему же? — возразила улитка-мать. — Мне бы вот хотелось попасть в барскую усадьбу, побывать в кипятке

и очутиться на серебряном блюде, как, бывало, все наши предки, и поверь, это нечто исключительное!

— Барская усадьба небось давно развалилась, — сказал улитка-отец. — Или белокопытник ее заполонил, так что люди не сумели оттуда выйти. И вообще спешить незачем, а ты все время порешь горячку, и сынок с тебя пример берет, за три дня по стеблю вверх вскарабкался, у меня голова кругом идет — вон как высоко залез!

— Не серчай понапрасну, — сказала улитка-мать, — ползает он очень осмотрительно. Помяни мое слово, еще порадует нас, а нам, старикам, больше ничего и не надо! Кстати, ты думал о том, где найти для него жену? По-твоему, в здешнем лесу найдется еще улитка нашего роду-племени?

— Ну, черных улиток без домика, то бишь слизней, там наверняка хватает, — отвечал старик, — но это совсем уж вульгарно, вдобавок они большие задаваки. Однако можно дать поручение муравьям, они такие шустрые, бегают туда-сюда, им ли не знать, где найти невесту нашему сынку!

— Вообще-то мы знаем одну раскрасавицу, — сказали муравьи, — только вряд ли что выйдет, она ведь царица!

— Ну и что? — отвечали старики. — Дом-то у нее есть?

— Не дом, а дворец! Чудесный дворец-муравейник с семью сотнями коридоров.

— Большое спасибо! — фыркнула улитка-мать. — Нашему сынку в муравьиной куче делать нечего. Коли вы ничего толкового предложить не можете, мы обратимся к мошкам, уж они-то летают далеко окрест, и в дождь, и при солнце, и заросли наши вдоль и поперек изучили!

— Есть у нас невеста для вашего сынка! — сообщили мошки. — В сотне человечьих шагов отсюда живет на крыжовенном кусте маленькая улитка с домиком, одна-одинешенька, и ей как раз пора замуж. Всего лишь в сотне человечьих шагов!

— Пускай перебирается сюда, к жениху! — решили старики. — У него тут целый лес белокопытника, а у нее — единственный куст.

И они послали за барышней-улиткой. Восемь дней минуло, пока она приползла, но то-то и замечательно, всякому сразу понятно: она той же породы.

А потом сыграли свадьбу. Шестеро светлячков светили изо всех сил, в остальном все прошло тихо-мирно, ведь старые улитки терпеть не могли шумных пирушек и буйного веселья. Правда, улитка-мать произнесла великолепную речь, отец-то не смог, слишком растрогался. Потом они передали в наследство молодым все заросли белокопытника и, как всегда, сказали, что ничего лучше на всем свете не сыщешь, и если будут они жить чинно-благородно да размножаться, то когда-нибудь попадут со своими детьми в барскую усадьбу, сварятся дочерна в кипятке и окажутся на серебряном блюде.

После этой речи старики заползли в свои домики и больше оттуда не выходили — уснули. Молодая же пара правила-распоряжалась в своем лесу, и детей да внуков было у них не счесть, но в кипяток и на серебряное блюдо никому из них попасть не довелось. Потому-то они решили, что барская усадьба развалилась и все на свете люди вымерли, а поскольку никто им не возражал, значит, так оно и было. И дождь стучал по листьям белокопытника, устраивая для них барабанную музыку, и солнце светило, чтобы белокопытник ярко зеленел для них, и были они очень счастливы, все семейство было счастливо, правда-правда.

ИСТОРИЯ МАТЕРИ

Мать сидела у постели своего ребенка, и как же она горевала, как боялась, что он умрет. Малыш был ужасно бледный, глаз не открывал, дышал едва слышно, только иногда глубоко втягивал воздух, будто всхлипывал, и мать смотрела на бедняжку еще тревожнее.

Тут в дверь постучали, и вошла убогая старуха, закутанная во что-то вроде большой попоны, для тепла, а она нуждалась в тепле, ведь стояла холодная зима, повсюду снег и лед, резкий ветер обжигал лицо.

Старуха изрядно продрогла, а поскольку ребенок ненадолго уснул, мать плеснула в горшок немного пива и поставила в печку согреть. Старуха сидела, легонько покачиваясь, мать села рядом, глядя на больного ребенка, который всхлипнул и шевельнул ручкой.

— Как ты думаешь, он останется со мной? — сказала она. — Милостивый Господь не отнимет его у меня?!

И старуха — это была сама Смерть — кивнула как-то по-особенному, то ли «да» хотела сказать, то ли «нет». Мать потупила взор, и слезы покатились по ее щекам, голова отяжелела, ведь уже три дня и три ночи бедняжка не смыкала глаз, а тут вдруг задремала, но мгновение спустя проснулась, дрожа от холода.

— Что такое?! — воскликнула она, озираясь по сторонам.

Старуха исчезла, и ребенок тоже исчез, старуха забрала его с собой. Только старинные часы в углу громко тикали, потом тяжелая свинцовая гиря ударилась об пол — бум! — и часы тоже остановились.

А бедная мать выбежала из дома, стала звать свое дитя.

В снежном сугробе на улице сидела женщина в длинных черных одеждах, и сказала она матери:

— Смерть побывала в твоем доме, я видела, как она спешила прочь с твоим ребенком, она быстрее ветра и никогда не возвращает то, что забрала!

— Скажи мне, скажи, куда она пошла! — взмолилась мать. — Скажи, куда, и уж я ее разыщу!

— Я знаю дорогу, — отвечала женщина в черном. — И ты узнаешь, только прежде споешь мне все песни, какие пела своему ребенку! Мне так нравится их слушать! Я, Ночь, слушала, как ты поешь, и видела твои слезы.

— Конечно же, я спою тебе все-все песни! Но молю тебя, не задерживай меня сейчас, ведь иначе не догнать мне ее, на найти мое дитя!

Ночь застыла в молчании, и мать, ломая руки и обливаясь слезами, запела — песен было много, а слез еще больше. Потом Ночь молвила:

— Ступай направо, вон в тот густой еловый лес. Туда Смерть унесла твоего ребенка, я видела.

Мать бросилась в лес, но в самой чаще дорожки пересеклись, она не знала, какую выбрать, и тут увидела терновый куст, без листьев, без цветов, ветки покрыты коркою льда, зима-то была студеная.

— Ты не видал здесь Смерть с моим ребенком?

— Видал, — ответил терновый куст, — но скажу тебе, какой дорогой она пошла, только если ты согреешь меня у своего сердца! Мне так холодно, вот-вот вконец окоченею!

И мать прижала терновый куст к своей груди, чтобы согреть его, шипы вонзились глубоко в ее плоть, кровь потекла ручьем, а терновник средь холодной зимней ночи выпустил свежие зеленые листочки и цветы — так тепло стало ему на груди безутешной матери. И он указал ей дорогу.

Дорога эта привела ее к большому озеру, но как через него перебраться? Ни корабля нет, ни лодки. Лед слишком тонкий, не выдержит ее, провалится, и вброд не пройти — лед не пустит, да и глубоко чересчур. А ей необходимо попасть на тот берег, иначе ребенка не отыскать! И тогда безутешная мать припала к воде, решила выпить озеро, хоть это и выше человеческих сил. Однако она надеялась, что случится чудо.

— Нет, так негоже! — сказало озеро. — Не лучше ли нам сговориться? Я люблю собирать жемчужины, а твои глаза — самые прекрасные, самые чистые жемчужины, какие мне доводилось видеть. Коли ты выплачешь их для меня, я доставлю тебя к большой теплице, где живет Смерть, присматривая за цветами и деревьями, и каждое растение там — человеческая жизнь.

— Ах, я все отдам, лишь бы отыскать моего ребенка! — воскликнула мать сквозь слезы и заплакала пуще прежнего. Глаза ее упали на дно и обернулись бесценными жемчужинами, а волны озера всколыхнулись, подхватили ее и вмиг перенесли на другой берег.

Там стоял огромный дом в несколько миль шириною, не поймешь — то ли гора с лесом и пещерами, то ли постройка, но бедная мать не могла его увидеть, ведь она выплакала свои глаза.

— Где же отыскать мне Смерть, унесшую моего ребенка?! — воскликнула она.

— Не воротилась она еще! — молвила старуха, что присматривала за большой теплицей Смерти. — Как ты сюда попала, кто тебе помогал?

— Мне помогал Господь! — отвечала мать. — Он милосерд, да и ты, наверно, сжалишься надо мною! Где отыскать мое дитя?

— Не знаю, — сказала старуха. — Вдобавок ты слепая... Нынешней ночью увяло много цветов и деревьев, скоро Смерть вернется и пересадит их. Ты, поди, знаешь, что у каждого человека, смотря как он устроен, есть свой цветок или дерево жизни. С виду растения как растения, но дотронься — и почувствуешь биение сердца. Детское сердце тоже бьется! Слушай этот стук — быть может, ты узнаешь свое дитя. Я скажу тебе, и как быть дальше, но что я получу взамен?

— Ничего у меня не осталось, чтобы дать тебе взамен, — отвечала безутешная мать. — Хочешь — дойду вместо тебя до края света?

— Ну, мне там делать нечего! — воскликнула старуха. — Отдай-ка ты мне свои длинные черные волосы, ведь ты сама знаешь, какие они красивые, и мне они очень нравятся. А я отдам тебе мои седые, все ж таки кое-что!

— Коли больше ты ничего не требуешь, я согласна, и с радостью! — И мать отдала старухе свои прекрасные волосы, а та отдала ей свои седые.

Потом они вошли в огрбмную теплицу Смерти, где странным образом переплетались цветы и деревья. Там росли под стеклянными колпаками дивные гиацинты, и пионы, мощные, похожие на деревья, и водяные растения, одни свежие, другие полунемощные, вокруг них обвивались водяные змеи, черные раки цеплялись за стебли. А сколько прекрасных пальм, дубов и платанов, петрушки и цветущего тимьяна! У всякого дерева, у всякого цветка было имя, ведь все они — человеческие жизни. Эти люди еще жили — в Китае, в Гренландии, всюду на свете. Иные большущие деревья помещались в маленьких горшках, а оттого развивались плохо и едва не разламывали горшки. Частенько же, наоборот, мелкие, невзрачные растения сидели в плодородной почве, окружен-

ные мхом, обласканные, ухоженные. Безутешная мать склонялась к самым маленьким растеньицам, слушала биение сердца и среди миллионов узнала свое дитя.

— Я нашла его! — воскликнула она, простирая руку над маленьким синим крокусом, болезненно поникшим набок.

— Не прикасайся к цветку! — сказала старуха. — Стой здесь и, когда придет Смерть — а я знаю, она придет с минуты на минуту, — не позволяй ей вырвать его, пригрози, что поступишь так же с другими растениями, и она испугается! Ведь ей до́лжно держать ответ перед Господом Богом, без Его дозволения ни один цветок вырвать нельзя.

Внезапно вокруг повеяло ледяным холодом, и слепая мать поняла: пришла Смерть.

— Как ты сумела найти сюда дорогу? — спросила Смерть. — Как сумела опередить меня?

— Я — мать! — отвечала она.

Смерть протянула свою длинную руку к маленькому нежному цветку, но мать прикрыла его ладонями решительно и все-таки бережно, ведь она помнила, что не должна касаться лепестков. Тогда Смерть дохнула ей на руки, и от этого дыхания, что было холоднее ледяного ветра, руки ее бессильно упали.

— Ты со мною не совладаешь! — сказала Смерть.

— Зато Господь совладает! — воскликнула мать.

— Я только исполняю Его волю! — отвечала Смерть. — Я — Его садовница. Мне доверено пересаживать Его цветы и деревья в великий райский сад в неведомом краю, но как они там растут и как там обстоит, я рассказывать не вправе!

— Верни мне мое дитя! — со слезами взмолилась мать и, обхватив ладонями два прелестных соседних цветка, крикнула Смерти: — Я вырву все твои цветы, я в отчаянии!

— Не прикасайся к ним! — воскликнула Смерть. — Ты говоришь, что несчастна, а сама хочешь обездолить другую мать!

— Другую мать?! — повторила бедняжка и тотчас выпустила цветы из рук.

— Вот, возьми! — сказала Смерть. — Это твои глаза, я выловила их из озера, они так ярко сияли. Я не знала, что они твои. Возьми их, они стали чище прежнего, и загляни в этот глубокий колодец. Я назову имена цветов, которые ты хотела вырвать, и ты увидишь их будущее, всю их человеческую жизнь, все то, что хотела разрушить и уничтожить!

Мать заглянула в колодец и с радостью увидела, что один стал поистине благословением для всего мира — столько счастья и радости было вокруг него. А еще она увидела жизнь второго — горе и нищету, страх и убожество.

— На то и другое воля Господня! — сказала Смерть.

— Который же из двух — цветок злосчастья, а который благословен? — спросила мать.

— Этого я тебе не открою, — отвечала Смерть. — Знай только, что один из цветков был цветком твоего ребенка и видела ты его судьбу, его будущее!

В ужасе мать вскричала:

— Который из них — мое дитя? Скажи! Спаси невинного! Спаси мое дитя от горькой участи! Лучше забери его! Отнеси в царство Божие! Забудь мои слезы, забудь мои мольбы и все, что я говорила и делала!

— Не пойму я тебя, — сказала Смерть. — Чего ты хочешь: чтобы я вернула твое дитя или чтобы унесла его в неведомый край?

Ломая руки, мать пала на колени и взмолилась Господу:

— Не слушай меня, коли молитва моя противна Твоей воле, ибо Твоя воля благая! Не слушай меня! Не слушай!

И она поникла головой.

А Смерть ушла с ее ребенком в неведомый край.

ВОРОТНИЧОК

Жил-был изящный кавалер, все имущество которого составляли «денщик»* и гребенка, зато у него был чудеснейший на свете воротничок, про него-то мы и послушаем. Воротничок был уже на возрасте и надумал жениться, и вот случилось так, что он попал в стирку вместе с подвязкой.

— Надо же! — воскликнул воротничок. — Никогда я не видел столь гибкой и грациозной, столь нежной и прелестной особы! Нельзя ли мне узнать ваше имя?

— Не скажу! — ответила подвязка.

— Где же вы пребываете? — спросил воротничок.

Но подвязка была до того стыдлива, что и не подумала отвечать на такой нескромный вопрос.

— Вы, наверно, тесемка! И опоясываете талию! — сказал воротничок. — Как я погляжу, милая барышня, вы не только пригожи, но и приносите пользу!

— Не смейте со мной разговаривать! — отвечала подвязка. — Я, кажется, вовсе не давала к этому повода!

— Ну как же, раз вы такая очаровательная! — сказал воротничок. — Разве это не повод?

* Подставочка для стягивания сапог.

— Держитесь-ка от меня подальше! — сказала подвязка. — У вас прямо-таки мужские повадки!

— На то я и кавалер! — ответил воротничок. — У меня есть «денщик» и гребенка! — Что было неправдой, это у его хозяина были «денщик» и гребенка, просто воротничок хвастался.

— Не приближайтесь ко мне! — сказала подвязка. — Я к этому не привыкла!

— Недотрога! — сказал воротничок, и тут его вынули из корыта!

Его накрахмалили и повесили на стул сушиться на солнце, а потом положили на гладильную доску; тут появился горячий утюг.

— Мадам! — сказал воротничок утюжной плитке. — Милая вдовушка! Я весь пылаю! Я сам не свой, я как на раскаленных углях, вы меня прожигаете! Ух!.. Предлагаю вам руку и сердце!

— Ветошшшь! — сказала утюжная плитка и гордо проехалась по воротничку; она воображала себя паровиком, который тащит по железным рельсам вагоны. — Ветошшшь! — повторила она.

Воротничок пообтрепался по краям, и вот явились длинные ножницы, чтобы состричь бахрому.

— О! — воскликнул воротничок. — Вы, наверно, первая танцовщица! Как вы вскидываете ноги! Ничего обворожительнее я не видел! Куда до вас людям! Вы несравненны!

— Знаем! — сказали ножницы.

— Вы заслуживаете того, чтобы стать графиней! — продолжал воротничок. — Все, чем я обладаю, это — изящный кавалер, «денщик» и гребенка!.. Но будь у меня графство!..

— Никак он сватается! — сказали ножницы и в сердцах откромсали от него изрядный кусок, после чего он стал ни на что не годен.

— Посватаюсь-ка я к гребенке! И как же это вам удалось сохранить все свои зубки, милая барышня? — тараторил воротничок. — Вы никогда не подумывали о том, чтобы обручиться?

— А как же, — сказала гребенка. — К вашему сведению, я обручена с «денщиком»!

— Обручены?! — сказал воротничок; ну а больше свататься было не к кому, и тогда он решил этим пренебречь.

Прошло немало времени, и воротничок попал на бумажную мельницу, где размалывалось тряпье; там в ящике собралось целое тряпичное общество, тонкие лоскутья лежали сами по себе, а грубые — сами по себе, как оно и следовало. У всех у них нашлось что порассказать, особенно у воротничка, он был ужасный хвастун.

— У меня было жуть как много невест! — объявил воротничок. — Мне прямо не давали проходу! Так ведь, накрахмаленный, я был кавалер хоть куда! У меня даже были «денщик» и гребенка, только я ими никогда не пользовался!.. Видели бы вы меня в те поры, видели бы, как я полеживал на боку! Никогда не забуду первую мою невесту, тесемку, — такая грациозная, такая нежная и прелестная, она бросилась из-за меня в корыто с водой!.. А еще была одна вдова, которая ко мне воспылала, но я был к ней холоден, и с горя она почернела! Была и первая танцовщица, это она меня так резанула, до того была ненасытная! Моя собственная гребенка и та влюбилась в меня, и растеряла от сердечной тоски все свои зубы! И таких приключений у меня было множество!.. Но больше всего мне жалко подвязку, то бишь тесемку, которая утопилась. У меня много чего на совести, мне позарез нужно стать белой бумагою!

Так оно и вышло, все тряпки стали белой бумагою, а из воротничка получился вот этот вот самый лист, на котором его история напечатана, а все потому, что он так ужасно хвастался тем, чего и в помине не было; и это нам назидание, чтобы мы не уподоблялись воротничку, ведь кто его знает, может, и мы в один прекрасный день угодим в ящик с тряпьем и станем белой бумагою, на которой напечатают всю нашу историю, даже самое сокровенное, и придется нам, как воротничку, самим же и разносить ее по свету!

ЛЕН

Лен стоял в цвету. У него такие чудесные голубые цветочки, нежные, как крылышки моли, даже еще нежнее.

Солнце согревало его, дождевые тучи поливали, и это было ему на пользу, совсем как маленьким детям, когда их выкупают, ну а потом мать возьмет их и поцелует, они же от этого хорошеют. Вот так хорошел и лен.

— Говорят, что я уродился на славу, — сказал лен, — и что я вытянусь еще больше, и из меня выйдет превосходный кусок холста! До чего же я счастлив! Я определенно счастливее всех! Тут просто благодать, к тому же из меня что-то получится! Солнце меня подбадривает, дождь сладко поит и освежает! Я бесконечно счастлив, я счастливее всех на свете!

— Да ладно тебе! — отозвались колья изгороди. — Ты еще не знаешь жизни, а вот мы знаем, оттого и корявые!

И они преуныло заскрипели:

Разлетелся удалец,
Тут и песенке конец!

— Ничего подобного! — сказал лен. — Завтра засияет солнце, прольется дождь, я слышу, как я расту, чувствую, что цвету! Я счастливее всех на свете.

Но в один прекрасный день пришли люди, ухватили лен за макушку и вырвали с комлем, это было пребольно; потом его окунули в воду, словно задумали утопить, а после держали над огнем, словно хотели изжарить, это было ужасно.

— Всегда хорошо не бывает! — сказал лен. — Ничего не попробуешь — ничему не научишься!

Но только ему и досталось! Его и мяли, и тискали, трепали и чесали, бог знает что делали; тут он попал на прялку — жж-ж! — мысли у него так и разбежались.

«Каким же я был счастливцем! — думал лен, претерпевая все эти муки. — Надо радоваться всему, что было хорошего! Радоваться, радоваться, ох!..» Он твердил это, даже когда попал на ткацкий станок... И вот из него вышел большущий чудесный холст. Весь лен, до единого стебля, стал цельным куском холста!

— Но это же бесподобно! Вот уж бы никогда не поверил! Нет, ну до чего мне везет! А колья-то изгороди, много они понимали со своим:

Разлетелся удалец!

Песенке вовсе не конец! Она только и начинается! Это бесподобно! Да, мне пришлось пострадать, зато из меня коечто получилось; я счастливее всех!.. Какой же я крепкий и мягкий, белый и длинный! Это совсем не то, что быть просто растением, пускай даже и с цветами! В поле о тебе не заботятся и напиться можно лишь в дождь. А теперь за мной ухаживают! Каждое утро служанка переворачивает меня, каждый вечер меня поливают водой из лейки. Сама пасторша держала надо мной речь и сказала, что лучше холста нету во всем приходе. Это ли не высшее счастье!

И вот холст принесли в дом, он попал под ножницы. И как же его резали, и кроили, и кололи иголками — правда-правда! Удовольствия тут было мало. Зато из холста вышло двенадцать пар белья, о которых не принято говорить

вслух, но которые необходимы всем людям, — целых двенадцать пар!

— Надо же, это только теперь из меня что-то да получилось! Вот оно, мое назначение! Так это же прекрасно! Теперь я приношу миру пользу, как оно и следует, и это истинное удовольствие! Нас вышло двенадцать пар, но все мы — единое целое, мы — дюжина! Вот счастье-то!

Прошли годы... Они совсем износились.

— Всему когда-нибудь да приходит конец! — сказала каждая пара в отдельности. — Я бы и рада продержаться подольше, но нельзя же требовать невозможного!

И их порвали на клочья и лоскутья, они уж было решили, что им и вправду пришел конец — ведь их рубили, мололи, варили, бог знает что делали! — но они превратились в чудесную тонкую белую бумагу!

— Вот так неожиданность! Да еще приятная неожиданность! — сказала бумага. — Я стала тоньше и благородней, чем прежде, и теперь на мне будут писать! Чего только на мне не напишут! Какое невероятное счастье!

И на ней написали чудеснейшие истории, и люди их слушали, они были написаны до того дельно и хорошо, что люди от этого становились умнее и лучше; то было истинное благословение, излившееся в словах на листы бумаги.

— Это превосходит все, о чем я мечтала, когда цвела в поле голубыми цветочками! Могла ли я думать, что мне доведется нести людям радость и знания? Я до сих пор не могу опомниться! Но так оно на самом деле и есть! Господу ведомо, сама я для этого ровно ничего не сделала, разве что старалась по мере возможности жить! А Он возносит меня от одной радости и почести к другой; всякий раз, как я подумаю: «песенке конец», — мне именно что и открывается нечто высшее и лучшее; теперь я, верно, отправлюсь в кругосветное путешествие, дабы меня могли прочитать все люди! А как же иначе! Прежде у меня были голубые цветы, теперь

на каждый цветок у меня по чудесной мысли! Я счастливее всех на свете!

Однако ни в какое путешествие бумага не отправилась, а попала к печатнику, и все, что на ней было написано, тиснули в книгу, да что там — в сотни и сотни книг, ведь они могли принести пользу и радость бесконечно большему числу людей, чем одна-единственная рукопись — странствуя по свету, она успела бы истрепаться на полпути.

«Да, так оно разумнее всего! — подумала исписанная бумага. — Мне это даже не приходило в голову! Я останусь дома, и меня будут почитать, будто старую бабушку! Ведь это же на мне писано, слова лились с пера прямо на меня! Я останусь, а книги пускай странствуют по свету! Так выйдет больше проку! Нет, ну до чего же я рада и счастлива!»

Тут бумагу собрали в кипу и положили на полку.

— Оно неплохо и отдохнуть от своих трудов! — сказала бумага. — Это очень важно — сосредоточиться и разобраться в самой себе. Только теперь я вполне поняла, что на мне написано! А познать самое себя, собственно, и есть шаг вперед. Что-то меня ждет впереди? Пожалуй, я продвинусь еще дальше, до сих пор так оно и было!

В один прекрасный день бумагу взяли и положили на очаг: раз ее нельзя было продать лавочнику, чтоб заворачивать масло и коричневый сахар, то решено было ее сжечь. Очаг обступили хозяйские ребятишки, им хотелось поглядеть, как она будет гореть, хотелось поглядеть, как из пепла будут выскакивать, одна за другою, и гаснуть красные искры, быстро-пребыстро, — это дети, что выбегают из школы, а самая последняя искра — учитель; частенько думаешь, он ушел уже, а он возьми вдруг и появись.

И вот вся кипа очутилась на огне. Ух ты, как она вспыхнула!

— Пых! — сказала бумага и тут же превратилась в целое пламя; оно взметнулось так высоко, как льну и не снилось поднять свои голубые цветочки, и засияло так ослепительно,

как никогда бы не засиял белый холст; все буквы, написанные на ней, сделались на мгновенье огненно-красными, и все слова и мысли объяло пламя.

— Теперь я полечу к самому солнцу! — послышалось из пламени, где тысяча голосов, казалось, слились в один, и пламя вырвалось из дымохода наружу... И, нежнее пламени, невидимые простому глазу, в воздухе запорхали крошечные существа, их было столько же, сколько у льна цветочков. Они были еще легче пламени, которое их родило, и, когда оно погасло, а от бумаги остался лишь черный пепел, они все еще вились над ним и, касаясь его, рассыпали свои следы, красные искры. «Дети вышли из школы, и учитель — последним!» — смотреть на это было одно удовольствие, и ребятишки стояли и пели над мертвым пеплом:

Разлетелся удалец,
Тут и песенке конец!

Но невидимые крошечные существа сказали, каждое за себя:

— Песенка никогда не кончается! Вот что самое чудесное! Я знаю это, потому-то я и счастливее всех на свете!

Только ребятишкам этого было не услышать — и не понять, да оно и ни к чему, ведь детям все знать не положено.

ПТИЦА ФЕНИКС

В райском саду, под древом познания, стоял розовый куст; в первой же розе, что на нем распустилась, родилась птица, полет ее был стремителен, как луч света, оперенье — дивно, песнь — чудесна. Но когда Ева вкусила от плодов этого древа и ее с Адамом изгнали из райского сада, с пламенного меча карающего ангела в гнездо птицы упала искра, и оно загорелось. Птица погибла в огне, но из раскаленного яйца вылетела новая, единственная, навсегда единственная птица Феникс. Легенда гласит, что она обитает в Аравии и каждые сто лет сжигает себя в своем гнезде и что из раскаленного яйца вылетает новый, единственный в мире Феникс.

Эта птица кружит около нас, быстрая, как свет, в дивном оперенье, с чудесной песнью. Когда мать сидит у колыбели ребенка, птица слетает к его изголовью, и от взмаха крыл ее над детскою головкою появляется ореол. Стоит ей залететь в скромное жилище, и оно озаряется солнцем, а убогий сундук благоухает фиалками.

Но Феникс не только аравийская птица, она реет в зареве северного сияния над ледяными равнинами Лапландии и прыгает среди желтых цветов коротким гренландским летом. В медных копях Фалуна, в угольных шахтах Англии вьется она припудренной молью над молитвенником в руках

благочестивого горняка. На листе лотоса плывет она по священным водам Ганга, и при виде ее глаза юной индианки светятся радостью.

Птица Феникс! Ужели ты ее не знаешь, эту райскую птицу, священную лебедь песнопений? На повозке Феспида сидела она, подобно болтливому ворону, хлопая черными, выпачканными в подонках крыльями; красный лебединый клюв звонко перебирал струны исландской скальдической арфы; она восседала на плече у Шекспира, точно ворон Одина, и шептала ему на ухо: «Бессмертие!»; а на состязании певцов в Вартбурге пролетала через рыцарский зал.

Птица Феникс! Ужели ты ее не знаешь? Она спела тебе «Марсельезу», и ты поцеловал перо, выпавшее из ее крыла; она явилась в райском блеске, а ты, быть может, отвернулся, польстившись на воробья, крылья которого были покрыты сусальною позолотою.

Райская птица, что возрождается каждое столетие, рожденная в пламени, погибшая в пламени! Твое изображение висит, заключенное в золотую раму, в залах у богачей, сама же ты нередко скитаешься одинокая — всего лишь навсего легенда: птица Феникс в Аравии.

...В райском саду, когда ты родилась под древом познания, в самой первой на свете розе, Господь поцеловал тебя и нарек тебе истинное твое имя — Поэзия.

ОДНА ИСТОРИЯ

В саду распустились все яблони, они поспешили зацвести, прежде чем одеться листвою; по двору разгуливали утята, там же грелся на солнышке кот, и умывался лапкою, и слизывал с нее солнечные лучи; а в поле вовсю зеленели хлеба, и маленькие пташки расчирикались и расщебетались, словно наступил большой праздник, да так оно, кстати сказать, и было, ведь пришло воскресенье. Звонили колокола, люди, надев свое лучшее платье, направлялись в церковь, и вид у них был довольный и радостный; да, радость разливалась повсюду; день выдался до того погожий и благословенный, что и впрямь можно было сказать: «Воистину Господь нам, людям, благоволит!»

Однако же в церкви, взошедши на кафедру, пастор обрушился на прихожан с громкой и гневной речью; он говорил о том, какие люди безбожники, и что Бог за это их покарает, и когда они умрут, то нечестивые сойдут в ад, где будут гореть в вечном огне, а еще он сказал, что червь их не умрет, а огонь не угаснет; никогда им не обрести мир и покой. Прямо жуть брала, притом говорил он с таким убеждением; он описывал им ад как зловонную дыру, куда стекаются скверны мира, там ни ветерка, лишь палящее серное пламя, и нету дна, они проваливаются и проваливаются в вечном безмол-

вии. Даже слушать об этом — и то было жутко, пастор же говорил с чувством, и люди в церкви были ужасно напуганы. А на улице так весело распевали пташки, и так ласково пригревало солнце, и каждый цветочек словно бы говорил: «Воистину Господь всем нам благоволит!» Да, на улице было совсем не так, как проповедовал пастор.

Вечером, собираясь ложиться спать, пастор увидел, что жена его сидит в задумчивости.

— Что с тобою? — спросил он ее.

— Что со мною? — отозвалась она. — Со мною то, что я не могу толком собраться с мыслями, не могу толком уяснить сказанное тобой: что на свете так много безбожников и что они будут гореть в вечном огне; вечном — о, как это долго!.. Я всего лишь грешная женщина, но мне непереносима мысль, что даже самый закоренелый грешник обречен гореть вечно, да и как Господь может попустить это, Он, Кто бесконечно добр и Кому ведомо, как зачинается зло внутри и как оно проникает извне. Нет, я не могу себе такого представить, хоть ты и уверяешь, что это так.

*

Стояла осень, с деревьев опадала листва, мрачный, суровый пастор сидел у постели умирающей, и вот праведница закрыла свои глаза — это была пасторша.

— Если кто и обретет покой в могиле и милость Божию, то это ты, — произнес пастор, и сложил ей руки, и прочел над усопшей псалом.

И ее проводили на кладбище; по щекам у мрачного пастора скатились две тяжелые слезы; в пасторской усадьбе сделалось тихо и пусто, там погас солнечный свет, *ее* не стало.

Была ночь, над головою пастора повеял холодный ветер, он открыл глаза, ему почудилось, что в комнату светит месяц, но то был не месяц, свет исходил от фигуры, стоявшей подле его постели; он увидел тень своей покойной жены, она смот-

рела на него с невыразимой печалью и словно хотела что-то ему сказать.

Муж приподнялся и простер к ней руки.

— Ужели и тебе не даровано вечное упокоение? Ты страдаешь? Ты, что лучше всех, смиреннее всех?!

И умершая склонила в знак согласия голову и приложила руку к груди.

— Могу ли я сделать так, чтобы ты обрела в могиле покой?

— Да! — услыхал он в ответ.

— Но как же?

— Дай мне волос, один-единственный волос с головы грешника, чей огонь не угаснет, того грешника, кого Бог низвергнет во ад в муку вечную!

— Тогда мне ничего не стоит освободить тебя, чистую, праведную!

— Следуй же за мной! — сказала умершая. — Нам это позволено. Вместе со мною ты воспаришь туда, куда унесут тебя твои мысли; невидимые людям, мы проникнем в самые потаенные уголки их душ, и ты укажешь твердой рукой на того, кто подлежит вечной муке, он должен быть найден, прежде нежели пропоет петух!

И тотчас, будто бы перенесенные мыслью, очутились они в большом городе; на стенах его домов горели огненными буквами названия смертных грехов: гордыня, скупость, пьянство, сладострастие — словом, вся семицветная радуга грехов человеческих.

— Да, так я и предполагал, я знал это, — сказал пастор, — тут обитают те, что подлежат вечному огню.

И они остановились перед роскошно освещенным порталом; убранная коврами и цветами широкая лестница вела в праздничные покои, откуда доносилась бальная музыка. У входа стоял одетый в шелк и бархат швейцар, у которого была большая булава с серебряным набалдашником.

— Наш бал не уступит и королевскому, — сказал он и поворотился к уличной толпе. Всем своим видом он будто показывал: «Голодранцы, заглядывающие с улицы, против меня — шваль и шушера!»

— Гордыня! — сказала умершая. — Ты видишь его?

— Его? — повторил пастор. — Да, но он же глупец, просто-напросто шут, он не будет осужден на вечный огонь и муку!

— Шут! — пронеслось по всему обиталищу гордыни; таковы были все, кто там пребывал.

Они перенеслись в голые стены скупости, где худой, как щепка, старик, лязгавший зубами от холода, голодный, томимый жаждою, цеплялся всеми своими помыслами за свое золото; они видели, как он, точно в горячке, вскочил со своего убогого ложа и вытащил из стены кирпич, там лежали у него в чулке золотые; потными, дрожащими пальцами ощупывал он свой драный сюртук, куда были зашиты золотые монеты.

— Он болен, это безумие, тоскливое безумие, его объемлет страх и мучат дурные сны.

И они поспешили его покинуть и очутились перед стоявшими в длинный ряд нарами, на которых спали бок о бок преступники. Один из них вскинулся спросонья, как дикий зверь, издав жуткий крик; острыми локтями он растолкал своего соседа, тот сонно повернулся к нему.

— Заткнись, скотина, и спи! И этак каждую ночь!..

— Каждую ночь! — повторил кричавший. — Он каждую ночь и приходит, воет и душит меня. Я много чего натворил под горячую руку, у меня от рожденья вспыльчивый нрав, оттого-то я опять и попал сюда; но пусть я сделал черное дело — я ж за это несу наказание. Я не признался в одном только. Когда в прошлый раз я отсюда вышел и проходил мимо двора моего хозяина, у меня прямо заклокотало, я и шаркни о стену спичкой, прямо под застрехою, — все вспыхнуло, как, бывает, вспыхиваю я сам. Я пособлял выводить скотину и вы-

носить пожитки. Из живых тварей сгорели лишь голуби — они залетели в пламя всей стаей — да цепной пес. Про него-то я и забыл. Мы слышали, как он воет, — этот вой и по сю пору стоит у меня в ушах, когда засыпаю, а усну, является и сам пес, огромный, косматый; навалится на меня с воем и давай придавливать и душить... Да слушай же, что я тебе рассказываю, ты-то дрыхнешь всю ночь, а мне не соснуть и четверть часа!

Тут глаза у гневливца налились кровью, он с кулаками бросился на соседа и стал бить его по лицу.

— Злой Мадс опять не в себе! — разнеслось по камере, и сотоварищи схватили его и принялись усмирять: согнули так, что голова у него оказалась промеж колен, и связали до того крепко, что из глаз и всех пор у него чуть не брызнула кровь.

— Да вы его, несчастного, убьете! — закричал пастор и, желая им помешать, простер руку над грешником, который уже и на этом свете страдал так тяжко, и в тот же миг сцена переменилась; они пролетали через богатые залы и через бедные комнаты, перед ними чередой проходили сладострастие, зависть — все смертные грехи; ангел на Суде зачитывал прегрешенья людей и то, что могло послужить в их оправдание, а это было такой малостью, но Господь читает в сердцах, Ему ведомо все, Он знает, как зачинается зло внутри и как оно проникает извне, Он, Кто есть милосердие и всеобъемлющая любовь. Рука у пастора трепетала — и не подымалась сорвать волос с головы грешника. И из глаз его хлынули слезы, подобно водам милосердия и любви, гасящим вечный огонь преисподней.

Тут запел петух.

— Милосердный Господи! Дай ей обрести в могиле покой, которого я не сумел ей доставить!

— Я его уже обрела, — сказала умершая. — Меня привели к тебе твои жестокие слова, твои мрачные представления о Боге и о его созданиях! Познай же людей, ибо даже

в закоренелых грешниках сохраняется образ Божий, что восторжествует и погасит адский огонь.

*

И на губах пастора был запечатлен поцелуй, и все вокруг озарилось светом; ясное солнце Божие светило в комнату, где жена его, живая, ласковая и любящая, пробудила его ото сна, что ниспослал Господь.

НЕМАЯ КНИГА

У проселочной дороги, в лесу, стоял одинокий крестьянский хутор; мы прошли прямо во двор; сияло солнце, все окна были отворены, в доме кипела жизнь, во дворе же под сенью цветущих сиреней стоял открытый гроб; умершего вынесли сюда, этим утром его должны были хоронить; рядом никого не было, никто не смотрел на него с печалью, никто его не оплакивал, лицо его закрывал белый плат, а под головою лежала большая толстая книга; страницы серой бумаги, в формат писчего листа, все до единой были заложены сухими цветами, сокрытыми и забытыми, — целый гербарий, собранный по разным местам; его тоже должны были опустить в могилу, так потребовал умерший. С каждым цветком была связана глава его жизни.

— Кто умер? — спросили мы, и услышали в ответ:

— Бывший студент из Упсалы! Когда-то он, видать, был способным малым, знал древние языки, хорошо пел да и сам, говорят, складывал песни; да вот споткнулся на чем-то и начал топить свои мысли в водке, и спился, ну а растерявши здоровье, попал сюда, а за стол и кров его было плачено. Так-то он был смирен, как дитя, но вот когда находило на него помрачение, с ним было не сладить, он вырывался и бегал по лесу, будто загнанный зверь; но если нам удавалось привести его домой и дать ему в руки книгу с сухими травами, он мог просидеть над ней день-день-

№2

ской, разглядывая то одну траву, то другую, и по щекам у него частенько катились слезы; Бог ведает, о чем он при этом думал! но только книгу эту он просил положить к нему в гроб, вот она здесь и лежит, через малое время гроб заколотят, и он почиет в могиле.

Саван приподняли; лицо умершего хранило мирное выражение, на него упал солнечный луч, под лиственную сень стрелой залетела ласточка и повернулась на лету, щебеча над головою умершего.

До чего же странно — это ощущение, верно, знакомо каждому — доставать старые письма времен нашей юности и их перечитывать; перед нами словно бы встает вся наша жизнь со всеми ее упованиями, всеми печалями. Сколько же людей, с которыми в прошлом нас связывали столь тесные узы, словно бы для нас умерли, и однако же они живы, просто мы долгое время не вспоминали о них, а когда-то верилось, что мы всегда будем друг за друга держаться, делить пополам и горе, и радость.

Сухой дубовый лист в этой книге — память о друге, друге школьных дней, друге на всю жизнь: он прикрепил его к студенческой фуражке в зеленом лесу, когда они заключили между собою союз навеки... Где-то он сейчас?.. Лист спрятан, дружба забыта!.. А вот тепличное растение из чужих краев, слишком нежное для садов севера, — его листья как будто бы еще хранят аромат. Его дала ему *она*, барышня из благородного вертограда. Вот белая кувшинка, он сам ее сорвал и оросил солеными слезами, кувшинка из пресных вод. А это крапива, о чем же рассказывает ее листок? О чем думал он сам, срывая его и закладывая в книгу? Вот ландыш из лесной глуши; вот жимолость из цветочного горшка, стоявшего на окне в трактире, а вот — голые, колючие былинки!..

Цветущая сирень склоняет над головою умершего свежие душистые гроздья... со своим «кви-вить! кви-вить!» вновь пролетает ласточка... Пришли люди с гвоздями и молотком, на гроб с умершим, голова которого покоится на немой книге, опускают крышку. Сокрыто — забыто!

«РАЗНИЦА, И БОЛЬШАЯ!»

Стоял май месяц, все еще дул холодный ветер; но весна уже тут, говорили кусты и деревья, поле и луг; все было покрыто цветами, вплоть до живой изгороди, а рядом с нею весна и вовсе вступила в свои права, разубрав маленькую яблоньку, на которой особенно выделялась одна ветка, такая свежая и цветущая, унизанная розовыми бутонами, готовыми вот-вот распуститься; ветка и сама сознавала, до чего она хороша, ведь это было у нее в крови, вернее, в соку, и потому она нисколько не удивилась, когда перед нею остановилась проезжавшая по дороге коляска и молодая графиня сказала, что очаровательнее этой яблоневой ветки она ничего не видела, то сама весна явила им свой дивный-предивный лик. И ветку отломили, и графиня взяла ее своей нежной рукою и заслонила от солнца шелковым зонтиком — и они покатили к замку, в котором были высокие залы и нарядные комнаты; по обеим сторонам распахнутых окон трепетали тончайшие белые занавеси, а в сверкающих прозрачных вазах стояли чудесные цветы; в одну из этих ваз — ее словно вырезали из свежевыпавшего снега — и поставили яблоневую ветку между нежно-зелеными ветвями бука, — загляденье, и только!

Вот ветка и возгордилась, и по-человечески это вполне понятно!

Через комнаты проходили разного рода люди, которые — а это зависело от того, кто кем был, — осмеливались выразить свое восхищение; иные вовсе ничего не говорили, иные же говорили слишком много, из чего яблоневая ветка поняла, что между людьми, как и между растениями, есть разница. «Одни — для украшения, другие — для пользы, а есть и такие, без которых вполне можно и обойтись!» — заключила яблоневая ветка, а поскольку ее поставили прямо у открытого окна, откуда ей были видны и сад под окнами, и поле позади сада, то она могла вволю разглядывать цветы с травами и о них размышлять! Там росли всякие: и пышные, и простые, некоторые уж очень простые.

— Бедные отверженные растения! — сказала яблоневая ветка. — Как же они с нами разнятся! И какими несчастными, наверно, они себя чувствуют, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные; да уж, между нами есть разница, и большая! Но так и должно быть, иначе бы все были ровнею!

И яблоневая ветка взирала на них не без некоего сострадания, в особенности же на желтые цветы, что в изобилии росли в поле и по канавам; никто не собирал их в букеты, уж слишком они были обыкновенные, их можно было увидеть даже среди булыжника, они пробивались как злостный сорняк и носили к тому же премерзкое название: чертовы подойники*.

— Бедное презренное растение! — сказала яблоневая ветка. — Ты не виновато, что таким выросло, что ты такое обыкновенное и что у тебя такое безобразное имя! Но с растениями обстоит так же, как и с людьми, — между ними должна быть разница!

— Разница! — отозвался солнечный луч и поцеловал цветущую яблоневую ветку, но он поцеловал и желтые черто-

* Одуванчики (*ср.* со старинным русским названием «подойники»).

вы подойники в поле, и братья солнечного луча тоже целовали цветы, простые наравне с пышными.

Яблоневая ветка никогда не задумывалась о безграничной любви Господа ко всему, что живет и движется Им, она никогда не задумывалась о том, сколько прекрасного и доброго может быть сокрыто, но не забыто, что, впрочем, по-человечески тоже вполне понятно!

Солнечный луч, луч света, понимал куда больше.

— Ты близорука, и тебе застит глаза! Что это за отверженное растение, о котором ты так сожалеешь?

— Чертовы подойники! — ответила яблоневая ветка. — Их никогда не собирают в букет, их топчут ногами, их слишком много, а когда они отцветают, семена их носятся над дорогой, как стриженые шерстинки, и пристают к одежде прохожих. Сорняк, он сорняк и есть! Но ведь ему тоже должно быть место!.. До чего же я благодарна судьбе за то, что не принадлежу к их числу!

А на поле пришла гурьба ребятишек: самый младший был до того крошечный, что его несли на руках; когда же его посадили в траву среди желтых цветов, он от радости громко рассмеялся и задрыгал ножками, он валялся по траве, рвал одни лишь желтые цветы и целовал их в сладкой своей невинности. Дети постарше обрывали цветочные головки и, согнув полую ножку, втыкали один конец в другой; звено за звеном, и выходила целая цепочка; первая — на шею, вторая — на плечи, а еще на пояс, и грудь, и голову, и какой же из этих зеленых цепочек и ожерелий получался великолепный убор; ну а самые старшие осторожно брали отцветшее растение за стебель, увенчанный короною из пушистых семян, и, поднеся ко рту этот легчайший, воздушный шерстяной шарик, это маленькое чудо, не то из тончайших перышек, не то из ворсинок или пушинок, старались дунуть так, чтобы весь шарик разлетелся с одного разу; тот, кому это удастся, еще до конца года получит новое платье, так говорила бабушка.

Тут уж презренный цветок был ни больше ни меньше как прорицателем.

— Видишь! — сказал солнечный луч. — Ты видишь его красоту и власть!

— Так то для детей! — отвечала яблоневая ветка.

На поле пришла старая женщина и затупленным, без рукоятки, ножом подкопала у цветка корень и выдернула; несколько корешков она хотела оставить себе, чтоб варить из них кофей, а другие собиралась снести аптекарю для целительства и выручить за них деньги.

— Все же красота — нечто высшее! — сказала яблоневая ветка. — В царство прекрасного входят лишь избранные! Так же, как есть разница между людьми, есть она и между растениями!

Тогда солнечный луч заговорил о безграничной любви Господа, являющей себя во всем, что Он создал и наделил жизнью, и о том, что во времени и в вечности Он всех оделяет поровну!

— Ну, это только вы так считаете! — сказала яблоневая ветка.

Тут в комнату вошли люди, а с ними — молодая графиня, та самая, что так красиво поставила яблоневую ветку в прозрачную вазу, где сверкали солнечные лучи; она несла не то цветок, не то еще что-то, прикрытое, словно фунтиком, тремя или четырьмя широкими листьями, чтобы ему не повредил сквозняк или же внезапное дуновение ветра; его держали так бережно, как не держали даже нежную яблоневую ветку. Большие листья были с величайшими предосторожностями отняты, и глазам присутствующих предстала изящно опушенная корона презренного чертова подойника. Это его графиня сорвала так осторожно и несла так бережно, опасаясь, как бы не сдуло ни одну из тонко оперенных стрел, что образуют это призрачное облачко и едва-едва держатся. Она донесла его в целости и сохранности и полном великолепии и любовалась теперь его красивою формой, воздушностью

и прозрачностью, его своеобразным строением, всей этой красой, что вот-вот развеется на ветру.

— Вы только посмотрите, каким невыразимо прекрасным создал его Господь! — сказала она. — Я нарисую его вместе с яблоневой веткой; она бесконечно радует глаз, и все ею любуются, но этот скромный цветок Господь оделил не меньше, хотя и по-своему! Они так между собою разнятся и вместе с тем оба — дети в царстве прекрасного!

И солнечный луч поцеловал скромный цветок, поцеловал он и цветущую яблоневую ветку, и лепестки у нее, похоже, зарделись.

СТАРЫЙ НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ

В маленьком провинциальном городке, в доме человека, у которого была своя собственная усадьба, все семейство сидело вечером, собравшись в кружок; было это той порою, когда говорят «нынче рано темнеет»; погода стояла еще мягкая и теплая; горела лампа; окна, уставленные цветочными горшками, были завешены длинными занавесями, а за окнами светил ясный месяц; но разговор сейчас шел не о нем, а о большом старом камне, лежащем во дворе, возле кухонной двери, на который служанки обыкновенно выставляли сохнуть на солнце вычищенную медную утварь и на котором любили играть ребятишки, — на самом же деле это был старый надгробный камень.

— По-моему, — сказал хозяин дома, — он из старой монастырской церкви. Перед тем как ее снести, распродавали все: и церковную кафедру, и доски с эпитафиями, и надгробные камни! Мой покойный отец купил несколько штук, их разбили на куски, чтоб замостить улицу, ну а этот оказался лишним, с тех пор он тут и лежит.

— Сразу видно, что это надгробный камень, — сказал старший из детей. — На нем еще можно разглядеть песочные часы и очертания ангела, а вот надпись почти вся стерлась, кроме имени «Пребен», за которым сразу же идет заглавное «С», а чуть пониже — «Марта»; ну а больше не

разобрать, хотя и это проступает только после дождя или когда его вымоешь.

— Боже правый, да это ж могильный камень Пребена Сване и его жены! — отозвался глубокий старик, который вполне годился в деды всем собравшимся в комнате. — Да, они одни из последних, кого схоронили на старом монастырском кладбище! Старые уважаемые люди, я помню их сыздетства! Их знали все, и все их любили, это была у нас старейшая супружеская чета — король с королевою! Поговаривали, будто золота у них непочатый угол, однако одежду они носили простую, сермяжную, зато льняные сорочки на них были ослепительной белизны! Чудесные они были старики, Пребен с Мартой!.. Сидят, бывало, на скамеечке, на высоком каменном крыльце, под раскидистой липою, и кивают прохожим, приветливо, ласково, посмотришь на них — прямо душа радуется! А уж сколько добра они сделали беднякам, и сказать нельзя! Кормили их и поили, одевали и обували, и все это по-умному и воистину по-христиански. Сперва умерла жена! Я этот день очень хорошо помню! Я был мальчонкой, мы с отцом как раз сидели у старого Пребена, когда она опочила; старик был в таком волнении, плакал, как дитя... Усопшая все еще лежала в спальне, совсем рядом с нами... Он говорил моему отцу и еще двум-трем соседям о том, как одиноко ему будет, каким благословением она для него была, сколько лет они вместе прожили и как оно вышло, что они познакомились и полюбили друг дружку; я уже сказал, я был тогда мальчонка, я стоял слушал, мне было и любопытно, и чудно́ слушать старика и видеть, как он все более и более оживляется и, разрумянившись, рассказывает о той поре, когда они женихались, о том, какой прелестной она была, о множестве маленьких невинных уловок, к которым он прибегал, чтобы с нею встретиться, а еще он рассказывал об их свадьбе, с сияющими глазами, он словно бы перенесся в то счастливое время, между тем как она лежала в соседней ком-

нате мертвая, старуха, а он, старик, говорил о поре надежд!.. Да, вот так оно и бывает! Я был тогда ребенком и вот состарился, стал таким же старым, как Пребен Сване. Время идет, все меняется!.. Я хорошо помню день ее похорон, старый Пребен шел первый за ее гробом. Года за два до этого они позаботились о том, чтоб им обтесали надгробный камень и выбили на нем надпись и имена — все, кроме года смерти; вечером камень привезли и поставили на могилу... а год спустя его отвалили, и старый Пребен упокоился рядом со своею женой... Никаких таких богатств они после себя не оставили, ну а то, что оставили, отошло их дальней родне, о которой прежде никто и не слыхивал. Их фахверковый дом, со скамеечкой на высоком каменном крыльце под липою, снесли по решению магистрата: уж очень он обветшал и оставлять его так было нельзя. А потом, когда та же участь постигла и монастырь и кладбище закрыли, то надгробный камень с могилы Пребена и Марты, как и все прочее, продали желающим, и так вышло, что камень этот не был разбит на куски и пущен в дело, а остался лежать во дворе, и детишки на нем играются, а служанки сушат вычищенную посуду... Над могилой старого Пребена и его жены проходит нынче мощеная улица; никто уж их и не помнит!

И старик, рассказавши все это, грустно покачал головой.

— Забывается! — сказал он. — Все забывается!

Разговор в гостиной перекинулся на другое; но младшенький мальчик, ребенок с большими серьезными глазами, отодвинув занавеси, вскарабкался на стул у окна и посмотрел вниз во двор, на освещенный месяцем камень, что прежде казался ему самым обыкновенным, а теперь лежал, словно большущая страница из книжки с историями. Он хранил в себе все, что мальчик услышал сейчас про Пребена и его жену; поглядев на него, мальчик перевел взгляд на ясный, светлый месяц в чистом, высоком небе, и ему почудилось, будто это Божий лик, сияющий над землей.

— Забывается!.. Все забывается! — донеслось из глубины комнаты, и в это же мгновенье незримый ангел поцеловал мальчика в грудь и в лоб и тихо прошептал:

— Хорошенько береги полученное зернышко, береги его, пока оно не созреет!.. Через тебя, дитя, стертая надпись на крошащемся камне светлыми, золотыми письменами дойдет до будущих поколений! Старая супружеская чета вновь рука об руку прошествует по этим старинным улочкам; улыбаясь, свежие, румяные, усядутся они на крыльце под липою и будут ласково кивать и бедному, и богатому. С этого часа зернышко будет расти и через годы взойдет благоуханной поэзией. Доброе и прекрасное не забывается, но продолжает жить в преданиях и песнях.

ПРЕКРАСНЕЙШАЯ ИЗ РОЗ

Жила-была могущественная королева, в саду у которой росли чудеснейшие цветы всех времен года и со всего света, в особенности же она любила розы, и потому у нее их было великое множество, причем самых разных, начиная от дикой изгороди с зеленой листвой, отдающей яблоками, и кончая красивейшими розами Прованса, и они поднимались по стенам замка, обвивали колонны и подоконники, проникали по переходам в залы, устремляясь к самому потолку; и у каждой был свой запах, форма и цвет.

Но в замке этом поселились скорбь и печаль: королева слегла и врачи объявили, что она при смерти.

— Однако ее можно еще спасти! — сказал мудрейший из них. — Принесите ей прекраснейшую в мире розу, ту, что является воплощением самой возвышенной и чистой любви; если королева увидит эту розу прежде, нежели ее взор угаснет, то она не умрет.

И вот стар и млад понесли туда самые что ни есть чудесные, взращенные в садах розы, но только они были не те. Цветок должно было принесть из вертограда любви, но *какой* же из них есть выражение любви самой высокой и чистой?

И поэты воспевали прекраснейшую из роз, каждый — свою. И по всей стране кликнули клич, он обращен был к каждому любящему сердцу, к богатым и бедным, старым и малым.

— Никто еще не назвал эту розу! — сказал мудрец. — Никто не указал того места, где она расцвела во всем своем великолепии! То не розы с гробницы Ромео и Джульетты или могилы Вальборг, хотя они будут вечно благоухать в преданиях и песнях. И не те розы, что распустились на концах копий, пронзивших грудь Винкельрида, из священной крови, обагрившей героя, павшего за отчизну, хотя нету смерти слаще, и нету розы алее, чем пролитая за отечество кровь. То и не чудо-цветок, который человек холит целую вечность, не смыкая глаз по ночам, затворившись у себя в комнате, и которому он посвящает лучшие годы жизни, — волшебная роза науки!

— Мне ведомо, где она цветет! — сказала счастливая мать, которая с младенцем на руках приблизилась к королевскому ложу. — Мне ведомо, где прекраснейшая из роз! Та роза, что является воплощением самой высокой и чистой любви! Она цветет на румяных щечках моего милого мальчика, когда, выспавшись, он открывает глаза и с любовью мне улыбается!

— Эта роза прекрасна, но есть та, что еще прекраснее! — отвечал мудрец.

— Да, она много красивее! — сказала одна из женщин. — Я ее видела, и более благородного священного цветка не найти, но она была бледная, как лепестки чайной розы; я видела ее на щеках королевы, когда та сложила с себя корону и, всех удалив, провела длинную печальную ночь у кроватки своего больного ребенка, она рыдала над ним, целовала его и молила Бога о том, о чем молит в страхе любая мать.

— Белая роза печали священна и власть ее удивительна, и все же то не она!

— Нет, ибо прекраснейшую из роз я лицезрел пред Божиим алтарем, — сказал благочестивый старый епископ. — От нее исходило сияние, мне словно бы явился ангельский лик. К причастию подошли юные девушки, они обновили завет, в который вступили еще при крещении; на нежных щеках пламенели розы и бледнели розы. Была среди них одна

девушка, она устремилась к своему Господу всей своей непорочною и любящею душой; то было воплощение самой возвышенной и чистой любви!

— Да будет любовь эта благословенна! — сказал мудрец. — И все же никто из вас не назвал еще прекраснейшую из роз!

Тут в опочивальню вошел заплаканный ребенок, сынок королевы; в руках у него была большая открытая книга в бархатном переплете, с тяжелыми серебряными застежками.

— Матушка! — сказал мальчик. — Ты только послушай, что я прочел!

И, усевшись рядом, ребенок начал читать — о Нем, Кто предал себя крестной смерти ради спасения людей, даже тех, что еще не родились.

— Вот она, величайшая любовь!

И тут у королевы порозовели щеки, а глаза широко раскрылись и стали ясными-ясными, ибо она увидела, как со страниц книги поднимается прекраснейшая в мире роза, подобная той, что распустилась из крови Христовой, окропившей крестное древо.

— Я вижу ее! — промолвила королева. — Тот никогда не умрет, кто узрел эту прекраснейшую из роз на земле!

ИСТОРИЯ ГОДА

Дело было в конце января; мела страшная метель; снег вихрем крутил по улицам и переулкам; окна были залеплены снежными хлопьями, снег сугробами обрушивался с крыш, немудрено, что люди спасались бегством, они мчались и неслись и, угодив друг дружке в объятья, мгновенье стояли, ухватясь один за другого, и только так и удерживались на ногах. Кареты с лошадьми были словно припорошены пудрою, лакеи на запятках ехали задом наперед, поворотясь спиною к карете и ветру, пешеход же неизменно подвигался под прикрытием экипажа, который еле-еле полз, увязая в снегу; ну а когда метель наконец улеглась и вдоль домов были прочищены узкие тропки, люди, встретившись, останавливались; никому не хотелось сделать первый шаг и сойти с тропки в глубокий снег, уступая дорогу. Так они и стояли, не говоря ни слова, до тех пор пока оба вдруг, будто по молчаливому соглашению, не решались пожертвовать одною ногою, коей и ступали в сугроб.

К вечеру настало полное затишье, небо точно вымели, сделали выше и прозрачнее, звезды, казалось, были как с иголочки, новенькие, некоторые до того голубые и ясные! Ударил трескучий мороз. На поверхности снега образовался такой крепкий наст, что поутру он уже держал воробьев; они перепрыгивали с места на место, то на сугроб, то на проко-

панную тропинку, но особенно поживиться им было нечем, вдобавок они порядком закоченели.

— Чирик! — сказал один воробей другому. — И это называется Новый год! Да он еще хуже старого! Уж лучше б мы оставили все как есть! Я недоволен и имею на то причину!

— А вот люди бегали по улицам и пускали в честь Нового года шутихи! — сказал продрогший воробышек. — Они били горшки о двери* и были вне себя от радости, потому что старый год кончился! И я тоже радовался, ведь я ожидал, что теперь у нас наступит тепло, да какое там! Морозит еще пуще прежнего; люди ошиблись временем!

— Это уж точно! — сказал третий воробей, старый, с седою макушкою. — У них есть такая штука, которая называется календарь, это их собственное изобретение, и все должно выходить по этому календарю, да только не выходит. Как придет весна, год и начнется, таков закон природы, его-то я и придерживаюсь!

— А когда придет весна? — спросили остальные.

— Она придет, когда прилетит аист, но с ним все так неопределенно, к тому же здесь, в городе, об этом никто ничего не знает, не то что в деревне; что, если мы полетим туда поджидать весну? Все будем к ней поближе!

— Оно, может, и хорошо бы, — заметила воробьиха, которая все расхаживала да чирикала, но высказываться не высказывалась, — только здесь, в городе, у меня есть удобства, каковых, я боюсь, мне в деревне будет недоставать. Тут за углом в одном дворе живет человеческая семья, которой не откажешь в сообразительности: они догадались прибить к стене три или четыре цветочных горшка, большим отверстием внутрь, а дном наружу, и проделали в нем большую дырку, чтобы я могла влетать и вылетать; там у нас с мужем

---

* Старинный обычай: под Новый год люди швыряли о входные двери глиняные горшки с золой, чтобы отогнать нечисть.

гнездо, оттуда повылетали все наши птенцы. Разумеется, человеческая семья устроила все это для собственного удовольствия, чтобы глядеть на нас, иначе они этого делать не стали бы. Они бросают нам хлебные крошки, опять же для собственного удовольствия, зато у нас есть корм! Стало быть, мы обеспечены!.. Я думаю, что я останусь и муж мой тоже останется! Хотя мы очень недовольны... мы остаемся!

— А мы полетим в деревню, посмотреть, не идет ли весна!

И они улетели.

А в деревне стояла самая настоящая зима, и было там на несколько градусов студеней, чем в городе. Над заснеженными полями дул резкий ветер. Крестьянин, в больших рукавицах, сидел в санях и похлопывал себя, чтоб не застыть; кнут лежал у него на коленях, тощие лошаденки бежали так, что от них валил пар, снег хрустел, воробьи прыгали по санному следу и зябли.

— Чирик! Когда же придет весна! Зима длится так долго!

— Так долго! — раздалось над полями с самого высокого холма, занесенного снегом; может, то было эхо, а может, это отозвался диковинного вида старик, восседавший на сугробе, на самом ветру; он был белый-пребелый, в зипуне из крестьянского белого сукна, с длинными белыми волосами и белою бородой, с бледным-пребледным лицом и большими ясными глазами.

— Что это за старик? — спросили воробьи.

— Я знаю, кто это! — сказал старый ворон, который сидел на калитке; памятуя, что все мы лишь малые птахи пред Господом, он снизошел до того, что вступил с воробьями в разговор и принялся объяснять: — Я знаю, кто этот старик. Это Зима, старик из прошедшего года, он не умер, как утверждает календарь, нет, ведь он же опекун маленького принца Весны, который в пути! Да, теперь всем заправляет Зима. Ух! Что, мелюзга, небось мороз так и пробирает!

— Вот и я говорю то же самое! — сказал самый маленький воробышек. — Календарь просто-напросто — придумка людей, он не сообразован с природой! Уж лучше бы они предоставили это нам, как более совершенным созданиям!

Прошло без малого две недели; лес чернел, замерзшее озеро лежало до того неподвижно, что напоминало застывший свинец; над землею висели и не облака даже, а сырые, леденящие туманы; большие черные вороны летали беззвучными стаями, все будто спало... Но вот по озеру скользнул солнечный луч, и оно блеснуло расплавленным оловом; снег, покрывавший поля и вершину холма, уже не искрился, как прежде, однако же белый старик, Зима, по-прежнему сидел там, обратив взор к югу; он не замечал, что снег оседает, что там и сям зеленеют проталинки, на которых так и кишат воробьи.

— Чирик-чирик! Это уже весна?

— Весна! — пронеслось над полями и лугами, и через леса, где на черно-коричневых древесных стволах свежо поблескивал зеленый мох; и в воздухе показались два аиста, что первыми прилетели с юга; каждый нес на спине прелестного маленького ребенка, то были мальчик и девочка; в знак приветствия они поцеловали землю, и там, куда они ступали, из-под снега вырастали белые цветы; взявшись за руки, они подошли к ледяному старику Зиме, чтобы поприветствовать и его, и прильнули к его груди, и в тот же самый миг все трое скрылись из виду, и окрестность тоже — все заволокло плотным сырым туманом, до того густым и тяжелым!.. Чуть погодя задуло... Налетел ветер и сильными порывами разогнал туман, начало пригревать солнце; Зима исчезла, а на троне года восседали чудесные дети Весны.

— Вот это мы понимаем, вот это и есть Новый год! — сказали воробьи. — Теперь нас, наверно, восстановят в правах и выплатят возмещение за суровую зиму!

И куда бы дети ни повернулись, там на кустах и деревьях набухали почки, поднималась трава, роскошнее зеленела пашня. И маленькая девочка повсюду разбрасывала цветы,

которых у нее был полный подол, но сколько она ни старалась и ни кидала, их как будто не убавлялось; заторопившись, она разом осыпала яблоневые и персиковые деревья снежно-белым цветом, и вот они уже стояли во всей красе, не успев еще толком одеться зелеными листьями.

Девочка захлопала в ладоши, и мальчик тоже, и тут слетелись птицы невесть откуда, и все они щебетали и пели:

— Пришла весна!

Любо-дорого посмотреть! И не одна старенькая бабушка выходила, трясясь, за порог, на солнце, и глядела на луг, усеянный желтыми цветами, ну точь-в-точь как во дни ее молодости; мир снова помолодел, и она говорила:

— Какая сегодня на дворе благодать!

Лес был еще коричневато-зеленый, весь в почках, но уже распустился ясменник, до того пахучий и нежный, во множестве цвели фиалки, а еще анемоны и примулы, да что там, каждая травинка была налита соком, то был поистине пышный ковер, на нем-то и сидела, держась за руки, юная пара: дети Весны распевали песни, и улыбались, и продолжали расти.

С неба на них брызнул теплый дождь, они его не заметили, капли дождя слились со слезами радости. Невеста и жених поцеловались, и в тот же миг в лесу распустились деревья... Когда взошло солнце, леса уже зеленели!

Рука об руку молодые вступили под низкий свод дерев, одетых свежей листвою, где солнечные лучи и резкие тени одни лишь и выхватывали переливы зеленых красок. От нежных древесных листов веяло девственной чистотой и освежающим запахом! Меж бархатисто-зеленых камышей и по пестрым камням струились с веселым журчаньем прозрачные ручьи и речки. «Да пребудет обилие отныне и навеки!» — говорила природа. И звонко куковала кукушка, и пускал трели жаворонок — стояла дивная весна! Правда, ивы понадевали на свои цветы шерстяные варежки, они были до ужаса осмотрительные, а это так скучно!

Шли дни и недели, землю обдавал жар; волнуемая горячим ветром, все больше желтела нива. Белый лотос Севера в лесных озерах раскинул на водной глади свои широкие зеленые листья, и в тени их держались рыбы; а на опушке леса, в заветрии, там, где солнце пекло стену крестьянского дома и прожаривало распустившиеся розы, а вишенные деревья были густо покрыты сочными, черными, чуть ли не калеными ягодами, сидела прекрасная жена Лета, та, которую мы видели девочкой и невестою; она смотрела, как собираются тучи, как они, клубясь, вздымаются, наподобие гор, все выше и выше, исчерна-синие и тяжелые; они надвинулись с трех сторон, напоминая опрокинутое окаменевшее море, все ниже и ниже нависали они над лесом, где все, словно по волшебству, стихло: ни ветерка, ни щебета — вся природа посерьезнела, застыла в ожидании; лишь по дорогам и тропинкам, в повозках, верхом и пешком поспешали люди, чтоб успеть выбраться из лесу прежде, чем их захватит ненастье. Вдруг все озарилось светом, как будто сквозь тучи пробилось солнце, сверкающее, слепящее, всеопаляющее, — и вновь потонуло во тьме при громовом раскате; на землю хлынули потоки воды; наступала то ночь, то день, то опускалась тишина, то раздавался грохот. Высокий молодой тростник с коричневыми метелками ходил на болоте волнами, древесных ветвей в лесу было не видно за водяной завесою, тьма сменялась светом, тишина — грохотом. Травы и хлеба прибило к земле, затопило, казалось, они никогда не подымутся... Внезапно дождь поредел, засияло солнце, на каждой былинке и каждом листке, как перлы, сверкали капли, пели птицы, выскакивали из ручья рыбы, кружились мошки, а поодаль, на камне, поднимающемся из соленых вспененных морских вод, сидело само Лето, крепкий, дородный мужчина, с волос которого струями стекала вода, — он сидел на солнечном припеке, освеженный купанием, омоложенный. И природа вокруг тоже омолодилась, все пошло в рост, стало пышнее, крепче, красивее; стояло лето, теплое, чудесное лето.

И упоителен, и сладок был запах, доносившийся с поля, где буйно разросся клевер, пчелы жужжали там про древнее вече; ежевичный стебель оплетал жертвенный камень, омытый дождем и блестевший на солнце; к нему-то и полетела пчелиная матка со своим роем, они принесли туда воск и мед. Никто этого не видел, кроме Лета и его крепкой и сильной подруги; это для них был поставлен жертвенник, на который природа возлагала свои дары.

И вечернее небо золотилось жарче любого церковного купола, а от вечерней зари до утренней светил месяц. То была летняя пора.

Шли недели и дни... На хлебных полях засверкали серпы и светлые косы, яблоневые ветви гнулись под тяжестью красных и желтых плодов; душистый хмель был увешан большими шишками, а под орешником, на котором тяжелыми гранками сидели орехи, отдыхали муж с женою, Лето со своею задумчивою подругой.

— Какое изобилие! — сказала она. — Все кругом благословенно, мило сердцу и хорошо, и, однако же, сама не знаю отчего, мне хочется... отдохновенья... покоя!.. Даже не подберу слова!.. Вот они опять распахивают поле! Людям все мало, и так всегда!.. Гляди, как слетаются аисты и на расстоянии ходят следом за плугом, — египетские птицы, что перенесли нас по воздуху! Помнишь, как мы детьми прилетели сюда, на Север?.. Мы принесли с собою цветы, чудесный солнечный цвет и зеленый убор для леса, а теперь его треплет ветер, деревья буреют, темнеют, в точности как на юге, только на них нету золотистых плодов!

— Ты хочешь их видеть? — сказало Лето. — Так смотри же и радуйся!

И по мановению его руки листья в лесу окрасились багрянцем и золотом и все леса расцветились яркими красками; кусты шиповника пламенели красными шиповинами, ветви бузины покрылись крупными, тяжелыми черно-коричневы-

ми ягодами, спелые дикие каштаны выпадали из темно-зеленых створок, а в лесной чаще вновь зацвели фиалки.

Но царица года становилась все молчаливее и молчаливее, и бледнее.

— Свежеет! — сказала она. — Ночью стоят сырые туманы!.. Я тоскую... по стране нашего детства!

И она увидела, как улетают аисты, все до единого! И простерла вослед им руки. А потом окинула взглядом опустевшие аистиные гнезда, в одном вырос василек на длинном стебле, в другом желтела полевая редька, словно гнездо было свито для того лишь, чтоб служить ей защитой и оградой; туда же вселились и воробьи.

— Чирик! А куда ж подевались хозяева? Им, верно, не по нраву холодное обращение, вот они и подались в чужие края! Скатертью дорога!

А деревья в лесу все больше и больше желтели, листья осыпались один за другим, зашумели осенние бури — стояла поздняя осень.

На ковре из желтой листвы возлежала царица года, устремив нежный взор на мерцающую звезду, а супруг ее стоял подле. Налетел ветер и закрутил листья — и вновь опустил на землю, но царица уже исчезла, лишь бабочка, последняя в этом году, промелькнула в холодном воздухе.

И наползли сырые туманы, задул леденящий ветер, наступили темные, длинные-предлинные ночи. Повелитель года стоял с распущенными по плечам белоснежными волосами, ему было и невдомек, что он поседел, он думал, его убелили падающие с неба снежинки; зеленое поле покрылось тонкой пеленой снега.

Зазвонили церковные колокола, возвещая приближение Рождества.

— Звонят рождественские колокола! — сказал повелитель года. — Скоро появится на свет новая царственная чета; а я последую за *нею* и обрету покой! Покой на мерцающей звезде!

А в душистом зеленом еловом лесу, где навалило снегу, стоял рождественский ангел и освящал молодые деревца, которым предстояло попасть на праздник.

— Радость в доме и под зелеными лапами! — сказал старый повелитель года, за несколько недель он превратился в белого как лунь старика. — Мне пора на покой, корона и скипетр перейдут теперь к юной чете.

— Но власть все еще у тебя! — сказал рождественский ангел. — Власть, а не покой! Укутай же снегом молодые всходы! Учись сносить, что чествуют другого, хотя правишь ты, учись сносить забвение и жить дальше! Час твоего освобожденья наступит с приходом весны!

— А когда придет весна? — спросила Зима.

— Она придет, когда прилетит аист!

С белыми кудрями, с белою, как снег, бородою, студеная, старая и согбенная, но сильная, как снежная буря и хватка льда, Зима восседала на сугробе на вершине холма, обратив взор к югу, подобно предыдущей Зиме. Лед поскрипывал, снег похрустывал, на сверкающей глади озер скользили конькобежцы, во́роны с воронами хорошо смотрелись на белом, стояло полное затишье. В этом безветрии Зима сжала кулаки, и проливы между странами сковал саженный лед.

И из города снова прилетели воробьи и спросили:

— Что это за старик?

И ворон, сидевший на том же месте, а может, и его сын, что, впрочем, не важно, отвечал:

— Это Зима! Старик из прошедшего года! Он не умер, как утверждает календарь, он опекун Весны, что в пути!

— Вот когда придет весна, — сказали воробьи, — настанут лучшие времена и другие порядки! Старый режим никуда не годен.

А Зима, погрузившись в тихие думы, кивала безлистому черному лесу, где каждое дерево выставляло напоказ красивые очертанья и изгибы ветвей, потом она задремала, и на

землю опустились ледяные туманы... Повелитель года грезил о поре своей юности и возмужалости, и на рассвете весь лес серебрился инеем, то была зимняя греза о лете; солнечные же лучи смахнули иней с ветвей.

— Когда же придет весна? — спросили воробьи.

— Весна! — откликнулись эхом заснеженные холмы. А солнце пригревало все больше и больше, снег таял, птицы щебетали:

— Весна идет!

И высоко в небе показался первый аист, а за ним и второй; на спине у каждого сидел прелестный ребенок, и, опустившись посреди поля, дети поцеловали землю, поцеловали и притихшего старика, и, как Моисей на горе, тот скрылся в туманном облаке.

История года окончилась.

— Все это очень правильно! — сказали воробьи. — И очень красиво! Но не по календарю, а стало быть, неверно!

В НАИПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Самый священный день среди дней нашей жизни — это тот, в который мы умираем; это наипоследний день, священный день великого преображения. Ты когда-нибудь задумывался по-настоящему, всерьез об этом неотвратимом, заведомо последнем часе нашем здесь, на земле?

Жил человек, что называется, строгой веры, поборник буквы, которая была ему законом, ревностный слуга Бога Ревнителя.

И вот у его постели встала Смерть. Смерть со строгим небесным ликом.

— Время исполнилось, ты отправишься со мной! — сказала Смерть и коснулась своими ледяными пальцами его ног, и ноги оледенели; она прикоснулась к его лбу, потом к сердцу, отчего сердце разорвалось, и душа последовала за Ангелом Смерти.

Но в считанные перед тем секунды, при запечатлении ног, лба и сердца, на умирающего, словно тяжелые морские валы, нахлынуло все, что принесла и пробудила жизнь. Так, кидая взгляд на головокружительную бездну, человек молниеносно охватывает мыслью неизмеримый путь; так человек обнимает взглядом неисчислимое множество звезд, узнавая светила и миры в далеком пространстве.

В такой миг трепещет объятый ужасом грешник и не видит, куда ему приклониться, он словно бы проваливается в бесконечную пустоту! Праведник же приклоняет голову к Богу и предает себя, как дитя, Божьей воле.

Но умирающий был душой не дитя, он чувствовал себя мужем; он не трепетал, подобно грешнику, ибо почитал себя праведником. Религиозные обряды соблюдал он во всей их строгости; миллионы, знал он, пойдут широким путем к осуждению; он предал бы их тела огню и мечу — души их уже загублены, и навеки!.. Его же путь вел теперь на небо, где врата ему отворит милосердие, обещанное милосердие.

И душа отправилась с Ангелом Смерти, в последний раз посмотрев на ложе, где в белом саване лежала бренная оболочка, чуждый отпечаток ее «я». И они летели и шли — словно бы через огромную залу и вместе лес; природа была подстрижена, выпрямлена и подвязана, сделана регулярной, искусственной, наподобие старинных французских садов; тут был маскарад.

— Се жизнь человеческая! — сказал Ангел Смерти.

Все здесь были целиком или отчасти переодетыми, и те, кто щеголял в бархате и золоте, совсем необязательно были самыми знатными и могущественными, а те, кто ходил в простом платье, — бедными и худородными. Странный то был маскарад, и, что всего удивительнее, под своею одеждой они друг от друга что-то тщательно прятали; при этом один дергал другого за платье, отпахивая полу, чтоб скрытое стало явным, и тогда наружу высовывалась звериная образина, у кого это была ухмыляющаяся обезьяна, у кого — уродливый козел, скользкая змея или же рыба с тусклою чешуей.

То был зверь, что сидит во всех нас, зверь, сросшийся с человеком, и он подпрыгивал и подскакивал и рвался наружу, и каждый удерживал его под полою, в то время как другие отдергивали ее и кричали: «Видишь?! Смотри же! Это он! Это она!» — и всякий старался обнажить убожество остальных.

— А что был за зверь у меня? — спросила странствующая душа.

И Ангел Смерти указал прямо перед собою на мужскую фигуру с гордой осанкой, голову ее окружал нимб, переливающийся разными красками, но у сердца этого человека прятались птичьи ноги, павлиньи ноги; нимб был всего лишь пестрым павлиньим хвостом.

И на всем их пути большие птицы мерзко кричали с деревьев; внятными человеческими голосами кричали они: «Эй, странник в долине смерти! Ты помнишь меня?» — то были все злые помыслы и желания дней его жизни, которые теперь кричали ему: «Помнишь меня?»

И душа было задрожала, ибо она узнала эти голоса, эти злые помыслы и желания, что против нее свидетельствовали.

— Во плоти нашей, в злой природе нашей нет места добру! — сказала душа. — Но мысли мои не стали делами, я не оставила по себе злых плодов!

И она убыстрила шаг, желая поскорей удалиться от мерзких криков, но большие черные птицы кружили над нею и не переставая кричали, словно хотели, чтоб их услыхал весь мир; и она помчалась, словно гонимая лань, беспрестанно натыкаясь на острые кремни, которые резали ей ступни и причиняли боль.

— Откуда здесь эти острые камни? Они покрывают землю подобно палой листве!

— Это каждое неосторожное слово, которое ты обронил и которое ранило сердце твоего ближнего куда глубже, чем эти камни сейчас ранят твои ступни.

— Мне это было невдомек! — сказала душа.

— Не судите, да не судимы будете! — раздалось в воздухе.

— Все мы грешили! — сказала душа, ободрясь. — Я соблюдала Закон и Евангелие, я делала что могла не в пример иным!

И вот они очутились у небесных врат, и стоящий на страже у входа ангел спросил:

— Кто ты? Скажи мне, какой ты веры, и покажи ее из дел твоих.

— Я строго исполняла все заповеди! Я выказывала смирение перед всем миром, и я ненавидела и преследовала грех и грешников, тех, кто идет широким путем к вечному осуждению, будь это в моих силах, я бы хоть сейчас предала их огню и мечу!

— Выходит, ты из тех, кто верует в Магомета! — промолвил ангел.

— Я?! Никогда!

— Взявший меч от меча и погибнет, говорит Сын Божий! Ты не Его веры. Быть может, ты сын Израиля, который повторяет за Моисеем: «Око за око, зуб за зуб!»? Сын Израиля, чей Бог Ревнитель есть лишь Бог твоего народа!

— Я — христианин!

— По вере твоей и делам твоим я того не вижу. Учение Христа есть примирение, любовь и милосердие!

— Помилуй! — раздалось в бесконечном пространстве, и небесные врата отворились, и душа воспарила к открывшемуся ей великолепию.

Но оттуда исходил столь ослепительный, столь пронзительный свет, что душа отпрянула, словно над нею занесли меч; и лилось столь нежное и берущее за сердце пение, его не описать никакими земными словами, и душа затрепетала и низко-пренизко склонилась, но небесный свет пронизал ее, и она почувствовала и ощутила то, чего никогда прежде не ощущала, — бремя своей гордыни, своего жестокосердия и греха... Она прозрела.

— Все то доброе, что я делала на земле, я делала по необходимости, а вот злое... по своей воле!

И, ослепленная чистым небесным светом, душа бессильно поникла, скорчилась чуть ли не в три погибели; удрученная, не готовая войти в Царство Небесное, думая о суровом праведном Боге, она не осмеливалась вымолвить: «Помилуй!..»

И тут милосердие было явлено, нежданное милосердие.

Все бесконечное пространство было — Царство Божие, где струилась неисчерпаемым источником любовь Божия.

— Да будешь ты святою, прекрасною, любящею и вечною, человеческая душа! — пели звонкие голоса.

Так и мы, все мы, в наипоследний день земной нашей жизни, подобно этой душе, отпрянем назад, трепеща перед блеском и великолепием Царства Небесного, низко склонимся и, смиренно падая ниц, поддерживаемые Его любовью, Его милосердием, все же подымемся и воспарим в новые сферы, и, сделавшись чище, лучше и благороднее, приблизимся наконец к сияющему великолепию, и, укрепленные Им, сумеем войти в вечный свет.

СУЩАЯ ПРАВДА!

— Ужасная история! — сказала курица, причем жила она совсем на другом конце города, а не там, где эта история приключилась. — Ужасное происшествие в курятнике! Я сегодня ночью ни за что бы не уснула одна! Хорошо, нас много на насесте!
И она принялась рассказывать, да так, что у остальных кур повставали дыбом перья, а у петуха отвис гребень. И это сущая правда!

Но начнем-ка с самого начала, а началось все в курятнике на другом конце города. Солнце опустилось, а куры повзлетали на насест; одна из них — она была белого пера и коротконогая, откладывала положенное число яиц и как курица была во всех отношениях благопристойной особою — так вот: взобравшись на насест, она принялась ощипываться и обронила при этом перышко.

— Бог с ним, — проговорила она, — чем больше я буду ощипываться, тем, может, стану краше!

Это было сказано в шутку, недаром она отличалась от прочих куриц веселым нравом, а вообще, как мы уже говорили, она была весьма благопристойной особой; засим она уснула.

Кругом была темень, курицы сидели рядком, и та, что сидела к ней всего ближе, не спала еще и слушала одним ухом, как оно в этой жизни и следует поступать, если тебе дорог

покой; но с другою своей соседкой она просто должна была поделиться:

— Ты слыхала, что сейчас было сказано? Не буду называть имен, но тут есть одна курица, которая собирается себя ощипать, чтобы получше выглядеть! Будь я петухом, я б на нее и не посмотрела!

А прямо над курами сидела сова со своим мужем и детками; слух у этого семейства преострый, они уловили каждое слово курицы-соседки и закатили глаза, а мамаша-сова принялась обмахивать себя крыльями.

— Не вздумайте слушать! Да только вы наверняка все слышали! Я слышала это собственными ушами, а я много чего могу выслушать, хоть уши и вянут. Одна из здешних кур забылась до такой степени, что сидит и ощипывает себя догола на глазах у петуха!

— Prenez garde aux enfants!* — сказал отец. — Это не для детских ушей!

— Расскажу-ка я об этом сове, что живет напротив! Уж очень с ней приятно общаться!

И мамаша-сова улетела.

— Уху! Ту-ху! — заухали обе совы прямо над голубятней, в которой сидели голуби. — Вы слыхали? Слыхали? У-уху! Одна курица выщипала у себя все перья, чтоб понравиться петуху! Она замерзнет насмерть, если уже не замерзла. У-ху!

— Гур-гур, а где? Где? — заворковали голуби.

— Во дворе напротив! Я, считай что, видела это своими глазами! Неловко даже и рассказывать! Но это сущая правда!

— Верим, верим каждому слову! — проворковали голуби и сообщили обитателям птичника, что находился под голубятней: — Одна курица, а кое-кто уверяет, что две, повыщипали у себя перья, чтоб выделиться среди прочих и обратить на себя внимание петуха! Рискованная затея, этак недолго

---

* Осторожнее, тут дети! *(фр.)*

заполучить и простуду и умереть от горячки, вот они обе и умерли!

— Проснитесь! Проснитесь! — закукарекал петух и взлетел на забор, глаза у него все еще слипались, но он знай себе кукарекал: — Три курицы умерли от несчастной любви к петуху! Они повыщипали у себя перья! Отвратительная история! Я не собираюсь о ней умалчивать, пусть она обойдет всех!

— Пусть! — запищали летучие мыши и закудахтали куры и закукарекали петухи. — Пусть обойдет всех! Пусть!

И вот эта история стала передаваться из курятника в курятник, пока, наконец, не вернулась туда, откуда, собственно, она и вышла.

— Пятеро куриц, — рассказывалось в ней, — все до одной повыщипывали у себя перья, чтоб показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху, после чего они исклевали друг дружку до крови и испустили дух, покрыв позором и срамом свою семью и причинив немалый ущерб своему хозяину!

Курица, что обронила перышко, разумеется, не признала свою собственную историю и, будучи благопристойной особой, сказала:

— Я этих кур презираю! Но таких, как они, много! Подобные вещи нельзя замалчивать, и я постараюсь, чтобы эта история попала в газету и обошла всю страну! Ничего лучшего эти куры не заслуживают, как, впрочем, и их родичи!

И это попало-таки в газету, и было напечатано, и это сущая правда: одно перышко легко может превратиться в пятерых кур!

ЛЕБЕДИНОЕ ГНЕЗДО

Меж Балтийским и Северным морями лежит старое лебединое гнездо, и называется оно Данией; в нем рождались и рождаются лебеди, чьи имена никогда не умрут.

В древние времена отсюда снялась лебединая стая и полетела через Альпы к зеленым равнинам благодатной майской страны; лебеди эти звались лангобардами.

Другая стая, со сверкающим опереньем и преданными глазами, устремилась в Византию: сев вкруг императорского трона, они распростерли, подобно щитам, свои широкие белые крылья, чтобы его прикрыть. Их прозвали варягами.

С берегов Франции донесся крик ужаса: туда нагрянули с Севера кровавые лебеди, меча из-под крыл огонь, и люди молили: «Боже, избави нас от диких норманнов!»

На муравчатом английском лугу, на открытом бреге, стоял датский лебедь, увенчанный тройною королевской короною, простирая надо всею страною золотой скипетр.

По берегам Померании преклонили колена язычники: к ним явились датские лебеди с крестом на стяге и мечом наголо.

«Так то было в старину!» — скажешь ты.

Но и ближе к нашему времени из этого гнезда вылетали могучие лебеди.

В воздухе прояснело, над странами света прояснело, сильными взмахами крыл лебедь разогнал сумеречный туман, и звездное небо сделалось зримее, словно бы приблизясь к земле; тот лебедь был Тихо Браге.

«Так когда это было! — скажешь ты. — Ну а в наши дни?»

И в наши дни мы видели череду лебедей в дивном полете. Один тронул своим крылом струны золотой арфы, и звуки ее огласили Север; озаренные солнечным сиянием древности, еще выше поднялись горы Норвегии, зашумели березы и ели, а из мрака лесной чащи показались северные боги, герои и благородные женщины.

Мы видели, как лебедь ударил крылом по мраморной горе, и она треснула, и заключенные в камень лики прекрасного вышли на Божий свет, и в сопредельных странах люди закинули головы, чтоб разглядеть эти величественные лики.

Мы видели, как третий лебедь свил нить мысли, которую протягивают теперь от страны к стране, вокруг всей земли, и слово облетает землю с быстротой молнии.

Господь возлюбил старое лебединое гнездо меж Балтийским и Северным морями. Пусть могучие недруги только попробуют налететь и разорить его: «Этому не бывать!» Даже неопушившиеся птенцы выстроятся по краю гнезда — мы такое уже видали — и подставят под удар юную свою грудь, и прольют кровь, отбиваясь что есть сил клювом и когтями.

Пройдет еще не одно столетие, из гнезда по-прежнему будут вылетать лебеди, которых увидит и услышит весь мир, пока настанет время, когда, положа руку на сердце, можно будет сказать: «Вот последний лебедь, вот последняя песнь, сложенная в лебедином гнезде!»

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

От моего батюшки я унаследовал самое что ни на есть лучшее, а именно — хорошее настроение. Кем был мой батюшка? Ну, к настроению это касательства не имеет! Он был живого нрава, цветущий, толстый и круглый, его внешность и характер совсем не вязались с родом его занятий. Но а каков был род его занятий и положение в обществе? Ну, если это написать и тиснуть в самом начале книги, не исключено, что многие отложат ее в сторону и скажут: «Меня прямо жуть берет, нет уж, увольте!» Хотя батюшка мой был никаким не живодером и не палачом, напротив, исполняя свою должность, он частенько оказывался во главе наипочтеннейших в городе лиц, и имел на то полное право, и был совершенно на своем месте; ему полагалось быть впереди всех, впереди епископа, впереди принцев крови... он и был впереди... он ездил кучером на похоронных дрогах!

Ну, вот оно и сказано! А еще я скажу вам, что, глядя, как мой батюшка восседает на козлах, в передке омнибуса смерти, облаченный в свой длинный и широкий черный плащ, с обшитой черною бахромою треуголкой на голове, а тем паче глядя на его лицо — точь-в-точь как срисованное солнце, круглое и смеющееся, — невозможно было предаваться скорбным мыслям о смерти; лицо его говорило: «Это ничего не значит, все устроится гораздо лучше, чем вы полагаете!»

Вот от него-то, видите ли, у меня хорошее настроение и привычка почасту бывать на кладбище — это очень приятное времяпрепровождение, ежели только идешь туда в хорошем расположении духа... А еще я так же, как и он, выписываю «Адресную газету».

Я далеко не молод, у меня нету ни жены, ни детей, ни библиотеки, но, как уже было сказано, я выписываю «Адресную газету», мне ее вполне хватает, я почитаю ее лучшей газетой так же, как и мой батюшка; она приносит несомненную пользу и содержит все, что человеку необходимо знать: кто проповедует в церквах, а кто проповедует в новых книгах! Где приискать жилье, нанять прислугу, купить одежду и продовольствие, кто распродает все до последнего, а кто сам отправляется в последний путь, а еще там много чего про благотворительность и множество невинных стихов, от которых ровно никакого вреда! Законный брак, в который ищут вступить, свидания, на которые решаются или же не решаются; и все это до того просто и натурально! Право же, выписывая «Адресную газету», можно счастливо прожить до гробовой доски — причем к тому времени ее накопится изрядная кипа, которая может послужить мягкой подстилкою, ежели кто не любит лежать на стружках.

«Адресная газета» и кладбище были и остаются двумя самыми моими душецелительными прогулочными маршрутами, двумя самыми благотворными для моего настроения городскими банями.

В «Адресную газету» может заглянуть каждый; а вот пойдемте-ка со мною на кладбище, давайте-ка отправимся туда, когда светит солнце и зеленеют деревья, и пройдемся среди могил! Каждая из них словно закрытая книга, корешком кверху, вы можете прочесть заглавие, которое говорит о ее содержании и вместе с тем не говорит ничего; но я-то знаю, что в ней, знаю от своего батюшки, а кое-что разузнал сам. Все это занесено в мою Могильную книгу, это книга, кото-

рую я самолично составил, пользы и удовольствия ради; в ней они все и значатся и кое-кто еще!

Ну вот мы и на кладбище.

Здесь, за выкрашенными белою краской колышками ограды, где рос когда-то розовый куст, — его уж нет, и барвинок с соседней могилы просунул сюда свои зеленые пальчики, чтобы хоть как-то эту могилу скрасить, — здесь покоится разнесчастный человек, хотя при жизни он, что называется, катался как сыр в масле, имел хороший доход и кое-что сверх того, вот только он все принимал слишком уж близко к сердцу, точнее сказать, искусство. Сидя вечером в театре он, вместо того чтобы от души наслаждаться, прямо-таки рвал и метал, а все потому, что или машинист чересчур ярко осветил луну с обоих боков, или же софит висел перед кулисою, в то время как ему следовало висеть сзади, или же на Амагере красовалась пальма, а в Тироле — кактус, а на севере Норвегии — буки! Ну не все ли равно! Да кто ж об этом задумывается! Это же комедия, и от нее надобно получать удовольствие... Или вот еще: то публика хлопала слишком бурно, то слишком вяло. «Дрова сыроваты! — говорил он, бывало. — Сегодня их не разжечь!» И оглядывался по сторонам, чтобы рассмотреть публику, и обнаруживал, что люди смеются невпопад, вовсе не тогда, когда нужно бы, и из-за этого он злился и мучился и был несчастным человеком, а теперь вот он почиет в могиле.

Ну а тут покоится счастливец, то есть высокопоставленный господин знатного роду, в этом-то его счастье и заключалось, иначе бы из него никогда ничего не вышло, да только в природе все устроено до того премудро, что думать об этом одно удовольствие. Он был расшит спереди и сзади и помещался в парадной комнате, подобно тому как на видном месте помещают дорогую сонетку, расшитую бисером, но приводится-то она в действие крепким и толстым шнурком, который, собственно, и несет службу; вот и у этого господина тоже имелся такой шнурок — заместитель, который

нес службу да и посейчас несет, приводя в действие новую сонетку, расшитую бисером. Все устроено донельзя премудро, как же тут не быть в хорошем настроении!

Здесь покоится... вот уж действительно печальная история!.. Здесь покоится человек, который в течение шестидесяти семи лет тщился блеснуть остроумием; он жил единственно надеждой, что его посетит остроумная мысль, и она его посетила, так по крайней мере считал он сам, и он до того обрадовался, что умер, умер на радостях, и проку от этого не было никому, остроты-то никто не услышал. Сдается мне, он и в могиле не знает покоя, ведь если эту остроту, допустим, надо было приурочить к обеду — чтобы она возымела действие, а покойник, по общему мнению, может явиться только лишь в полночь, значит, острота эта будет некстати и никого не рассмешит, и он опять сойдет с ней в могилу. Да, эта могила наводит печаль.

А здесь покоится ужасная скупердяйка; при жизни она вставала по ночам и мяукала, чтоб соседи подумали, будто она держит кошку, — такой была скупердяйкой!

Тут покоится барышня из хорошего семейства! Бывая в обществе, она непременно должна была что-нибудь спеть, вот она и пела вместе с другими: «Mi manca la voce»*, это было единственное правдивое высказывание за всю ее жизнь!

Здесь покоится девица другого рода! Когда канарейка сердца принимается верещать, рассудок затыкает уши. Девица-красавица венца не дождалась и с честью девичьей распрощалась!.. Обыкновенная история! Мягко выражаясь. Ну да пусть мертвые почиют в мире!

Тут покоится вдова, голос у нее был соловьиный, а сердце змеиное. Она рыскала по знакомым и выискивала недостатки у ближних, совсем как «Друг полицейского», который во

* *Буквально*: «У меня нет голоса» *(итал.)*, на самом же деле: «У меня нету слов» — квартет из оперы Россини «Моисей в Египте».

время оно выискивал уголки в городе, где через сточную канаву не удосужились перекинуть мостки.

А эта могила — фамильная; все члены этого семейства держались заодно и стояли друг за друга горою. И если весь свет и газета утверждали: дескать, это так, а сыночек, придя из школы домой, говорил: «Я слыхал другое!», то слова его были единственно правильными, ведь он же их отпрыск! И уж будьте уверены, если их дворовому петуху случалось закукарекать в полночь, то для них наступало утро, что бы там ни возвещали сторож и все городские часы.

Великий Гете заканчивает своего «Фауста» словами: «...может иметь продолжение». Так и наша прогулка по этому кладбищу, она может продолжиться — я частенько сюда наведываюсь! Ежели кто из моих друзей или недругов очень уж мне досадит, я прихожу сюда, приискиваю ту или иную лужайку и посвящаю ее тому или той, кого желаю похоронить, и не мешкая хороню, так они и лежат тут, мертвые, и ничего не могут поделать, пока не вернутся назад новыми и лучшими людьми. Их житие и деяния — увиденные мною со стороны, — я записываю в мою Могильную книгу; хорошо бы, так поступали все: не злились, ежели кто устроит им пакость, а не мешкая хоронили своих обидчиков и сохраняли хорошее расположение духа и подписку на «Адресную газету», газету, которую сочиняет сама публика, хотя рукой ее частенько водят другие.

А придет время, что и меня вместе с моим жизнеописанием переплетут в могилу, сделайте тогда на ее корешке надпись:

«Хорошее настроение!»

Такова моя история.

СЕРДЕЧНОЕ ГОРЕ

История, которую мы хотим рассказать, состоит, собственно, из двух частей: первую можно было бы вполне опустить, однако в ней содержатся предварительные сведения, и небесполезные! Мы гостили в удаленном от моря имении, и случилось так, что хозяева на день уехали. В их отсутствие из ближайшего городка явилась некая барыня со своим мопсом, а явилась она, по ее собственным словам, для того, чтоб предложить хозяевам приобрести «акции» ее кожевни. Бумаги были при ней, и мы посоветовали вложить их в конверт и надписать: «Его превосходительству, генерал-провиантмейстеру, рыцарю ордена... и прочая».

Она выслушала нас, взялась за перо — и остановилась, и попросила повторить надпись, но только медленно. Мы повторили, и она принялась писать, но на середине генеральского чина запнулась и сказала со вздохом:

— Я всего только женщина!

Мопса она перед тем спустила на пол, и он ворчал; ведь его вывезли ради его же собственного удовольствия и самочувствия, а раз так, то нечего спускать его на пол! Приплюснутый нос и складчатый жирный загривок — вот его обличье.

— Он не кусается! — сказала барыня. — У него нет зубов. Он все равно что член семьи, преданный и сварливый,

но это оттого, что ему достается от моих внуков; когда они играют в свадьбу, им хочется, чтоб он был подружкой невесты, а это ему, бедняге, уже не под силу!

Она передала нам свои бумаги и взяла мопса на руки. Это первая часть — без которой можно было и обойтись!

А вторая — «Мопс умер!»

Дело было неделю спустя; мы приехали в городок и остановились в гостинице. Окна наши выходили во двор, разделенный дощатым забором надвое; в одной половине висели шкуры и кожи, выделанные и сыромятные; здесь были всевозможные дубильные припасы — все это принадлежало той самой вдове... Мопс умер утром этого дня и был похоронен здесь же, во дворе; внуки вдовы — то есть вдовы кожевенника, ведь мопс-то был не женат — насыпали над могилкой холмик и умяли его ладошками, получилась прелесть что за могилка, лежать там, наверное, было одно удовольствие.

Ее огородили черепками, посыпали песком, а посередке воткнули половинку пивной бутылки горлышком вверх, и в том не было ровно никакой аллегории.

Дети заплясали вокруг могилки, и тут старший из мальчиков, практичный семилетний юнец, предложил выставить мопсину могилку на обозрение — для всех соседских детей, а за вход брать пуговицу от помочей, они есть у любого мальчика, и пусть мальчики платят за девочек; и это предложение было единодушно принято.

И вот все дети, что жили на этой улочке и ее задворках, пришли и отдали по пуговице; в тот день у многих штаны держались на одной помочи, зато каждый повидал мопсину могилку, а оно того стоило.

А за забором кожевни, прямо у калитки, стояла маленькая девочка в отрепьях, прелестно сложенная, с чудеснейшими локонами и такими ясными голубыми глазами, что залюбуешься. Она стояла не говоря ни слова и даже не плакала, но всякий раз, когда калитка распахивалась, силилась загля-

нуть вовнутрь. У нее не было ни единой пуговицы, она это понимала, и потому печально стояла за калиткою и оставалась там до тех пор, пока все не перебывали на могилке и не разошлись по домам. Тогда она села наземь, закрыла лицо загорелыми ручонками и расплакалась; она одна не видала мопсину могилку. Это было сердечное горе, и превеликое, какое нередко бывает у взрослых.

Мы все это видели свысока, а когда смотришь свысока, то такое горе да и многие из наших собственных и чужих горестей кажутся... ну да, смехотворными!

Вот и вся история, а тот, кто ее не понял, может приобрести акции у вдовы кожевенника.

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО!

С тех пор прошло уж более ста лет!

За лесом, у большого озера, стояла старая помещичья усадьба, со всех сторон ее окружали глубокие рвы, поросшие рогозом, камышами и тростником. У моста, ведущего ко въездным воротам, росла, склонившись над тростниками, старая ива.

Из оврага заслышались охотничьи роги и конский топот, поэтому маленькая гусятница поспешила согнать гусей с моста прежде, чем пронесется галопом охотничья кавалькада; они скакали во весь опор, и ей пришлось живо вспрыгнуть на один из лежавших у моста валунов, иначе бы ее сшибли с ног. Она была совсем еще ребенком, тоненькая и худенькая, но с таким приветливым выраженьем лица и парою добрых, ясных глаз; только помещик ничего этого не видел; налетев вихрем, он перевернул в руке хлыст и потехи ради ткнул ее черенком прямо в грудь, отчего она опрокинулась навзничь.

— Всяк знай свое место! — выкрикнул он. — Ступай-ка в грязь! — И захохотал, будто это было невесть как смешно, а вслед за ним расхохотались и остальные; всадники подняли гвалт и гик, охотничьи собаки заливались, вот уж поистине

«Птица богатая с шумом летит!»,

хотя бог его знает, так ли он был богат.

Падая, бедная гусятница сумела уцепиться за одну из плакучих ивовых ветвей; держась за нее, висела она над трясиною и, как только господа с собаками скрылись в воротах, принялась выкарабкиваться, и тут ветка обломилась у самого основания, и гусятница снова плюхнулась в тростники, но в этот же самый миг ее подхватила чья-то сильная рука. Это оказался коробейник с чулками, который видел все издали и поспешил ей теперь на помощь.

— Всяк знай свое место! — пошутил он, передразнивая помещика, и вытащил ее на сухое; сломанную же ветку он попробовал приставить обратно, на «свое место», только это не всегда получается! Тогда он воткнул ее в рыхлую землю. — Попробуй-ка вырасти, и пусть из тебя вырежут дудку, под которую они там, в усадьбе, попляшут! — Он от души желал, чтобы она сыграла помещику и его друзьям-приятелям настоящий шпицрутен-марш; засим он направился в усадьбу, но пошел не наверх, в парадную залу — для этого он был слишком мелкою сошкой! — а к слугам, в людскую, и те принялись разглядывать его товары и торговаться; а наверху, за пиршественным столом, гости орали и горланили песни, ну да что с них возьмешь! Там звучали смех и собачий вой, там шел пир горой, шла гульба; в стаканах и кружках пенились вино и крепкое пиво, тут же обжирались и любимые собаки; юнкера целовали ту или иную псину, обтерев ей сперва вислым ухом морду. Коробейника с его товарами призвали наверх, но только для того лишь, чтобы над ним потешиться. Вино ударило господам в голову и отшибло разум. Они налили ему в чулок пива, чтобы он выпил с ними, да поживее! Ловко придумано, обхохочешься! Целые стада, крестьяне и крестьянские дворы ставились на карту — и проигрывались.

— Всякому свое место! — сказал коробейник, выбравшись за пределы содома и гоморры, как он назвал усадьбу. — Большая дорога — вот оно, мое место, а в барских покоях мне было прямо не по себе!

И маленькая гусятница, стоявшая у околицы, покивала ему головою.

Шли дни, шли недели, и оказалось, что сломанная ивовая ветвь, которую коробейник воткнул в землю около рва с водою, по-прежнему свежо зеленеет, она даже выбросила побеги; маленькая гусятница поняла, что ветка укоренилась, и радовалась этому от всей души, теперь у нее было свое дерево.

Да, с этим все обстояло как нельзя лучше, а вообще же дела в усадьбе были из рук вон плохи: гульба и карты — это такие катки, на которых далеко не уедешь.

Не прошло и шести лет, как помещик пошел по миру, с сумой да клюкой, а усадьбу его купил богатый торговец чулками, и был это не кто иной, как тот самый коробейник, над которым здесь насмехались и зубоскалили и которому поднесли в чулке пиво, ведь честность и предприимчивость, они приносят удачу, и вот коробейник сделался в усадьбе хозяином; но с той поры карточной игре был положен конец.

— Это скверное занятие, — сказал он, — а все началось с того, что дьявол, увидевши в первый раз Библию, решил собезьянничать, вот он и выдумал карточную игру!

Новый помещик женился, и кого же он взял себе в жены? Маленькую гусятницу, которая всегда была добронравной, богобоязненной и мягкосердечной; ну а в новых нарядах она выглядела такой раскрасавицей, как будто уродилась благородной девицею. Как все это произошло? Слишком долго рассказывать в наше торопливое время, важно, что это произошло, главное же — впереди.

В старой усадьбе зажили на славу, жена распоряжалась домом, а муж — хозяйством; и на все словно бы изливалось Божье благословение, а где есть достаток, там он приумножается. Старый дом отделали и покрасили, вычистили рвы, насадили фруктовых деревьев; в похорошевшей усадьбе все дышало радушием, ну а пол в комнатах блестел, как доска,

на которой нарезают свиное сало. Зимними вечерами хозяйка сидела в большой зале со всеми своими служанками и пряла с ними шерсть и лен; а каждое воскресенье там читали вслух Библию, и читал ее собственнолично советник юстиции, он же сделался советником юстиции, этот самый коробейник, правда, уже в преклонные годы. Дети подрастали — ведь у них появились дети, — и все они были отменно выучены, да только не все они вышли умом, такое бывает в каждой семье.

А из ивовой ветви возле моста выросло целое дерево, и замечательное, оно стояло привольно, никто его не подрезал. «Это наше родословное дерево! — говорили старики. — И его надобно почитать!» — говорили они своим детям, даже тем, которые не вышли умом.

И вот миновало сто лет.

Это было уже в наше время; озеро превратилось в болото, а старая усадьба словно бы исчезла с лица земли; сбоку длинной стоячей лужи торчало несколько булыжников, то были остатки глубокого рва, возле которого все еще стояло замечательное старое дерево с плакучими ветвями, родословное дерево, оно наглядно свидетельствовало о том, какой прекрасной может быть ива, если ее предоставить самой себе... Правда, посреди ствола проходила трещина, от самого основания до макушки, и бури ее несколько покривили, но она стояла, и изо всех щелей и расщелин, куда ветром занесло чернозему, росли трава и цветы! Особенно наверху, где она разветвлялась, там образовался целый висячий садик с малиной и пташьей мятою; там даже проросла крохотная рябинка — тоненькая, нежная, красовалась она на верхушке ивы, которая отражалась в черной воде, когда ветер отгонял ряску к самому краю лужи. А рядом была протоптана тропинка на барщину.

На вершине холма, около леса, откуда открывался чудесный вид, высилась новая усадьба, большая, великолепная,

с окнами из такого прозрачного стекла, что его как будто и не было. Парадная лестница перед входом походила на беседку из роз и широколистых растений. Лужайка была зелехонькой, словно за каждой травинкой ухаживали с утра и до вечера. В зале висели дорогие картины и стояли обитые шелком и бархатом стулья и кушетки на ножках, которые, казалось, вот-вот зашагают сами собой, и столы с полированными мраморными столешницами, и книги в сафьянном переплете и с золотым обрезом... так ведь и люди тут жили богатые, знатные, тут жил барон со своим семейством.

Одно здесь сочеталось с другим. Это семейство тоже говорило: «Всему свое место!», почему все картины, некогда служившие украшением и составлявшие гордость старой усадьбы, очутились в коридоре, куда выходила каморка для батраков; это был всего-навсего хлам, в особенности два старинных портрета, один из которых изображал мужчину в красном одеянии и в парике, другой — даму с высоко взбитыми пудреными волосами и с розою в руке, и оба они были окружены одинаковыми большими венками из ветвей ивы. Портреты эти сплошь были в круглых дырочках, оттого что баронские отпрыски вечно обстреливали старую пару из своих игрушечных луков. То были советник юстиции и советница, от которых и происходил весь их род.

— Они нам не настоящие родственники! — сказал один из отпрысков. — Он был коробейник, а она — девчонка-гусятница. Они не такие, как папа и мама!

Портреты были объявлены мазнею и хламом, ну а поскольку «Всему свое место!», то прадедушку с прабабушкой и сослали в помянутый коридор.

Домашним учителем в усадьбе был сын пастора; однажды он прогуливался с баронскими отпрысками и их старшею сестрой, которая только-только конфирмовалась, они спускались по тропинке, что вела к старой иве; по до-

роге девочка собирала полевые цветы. «Всему свое место!», и какой же у нее получился красивый букет! При этом она не упускала ни слова из того, о чем говорилось, и с преогромным удовольствием слушала, как сын пастора рассказывал о силах природы, а еще о мужчинах и женщинах, сыгравших великую роль в истории; она была здоровой, одаренной натурою, с благородной душою и помыслами, и сердцем, готовым обнять все сотворенное Господом.

У старой ивы они остановились; младший отпрыск захотел, чтоб ему вырезали дудочку, ему такие вырезали и прежде, из других ив, и сын пастора отломил ветку.

— О, не делайте этого! — сказала юная баронесса, но было уже поздно. — Ведь это наше старое достославное дерево! Я его так люблю! Из-за этого меня дома и высмеивают, ну да пусть! О дереве этом сохранилось предание!..

И тут она рассказала все, что мы уже слышали, про дерево, про старую усадьбу, про гусятницу и коробейника, которые повстречались здесь и стали родоначальниками знатной фамилии — и юной баронессы.

— Они отказались от дворянства, эти честные старики! — сказала она. — У них была поговорка «Всяк знай свое место!», и они посчитали, что будут не на своем месте, если их возвысят за деньги. Бароном сделался их сын, а мой дедушка, говорят, он был необыкновенно ученый, пользовался большим уважением и любовью среди принцев и принцесс, и был зван на все их празднества. Его у нас дома любят более всех, ну а меня, сама не знаю почему, привлекает старая пара, душа моя к ним так и тянется! Как, должно быть, уютно и патриархально жилось в старой усадьбе, где хозяйка сидела и пряла вместе со своими служанками, а старый хозяин читал вслух Библию!

— Это были замечательные люди, благоразумные люди! — отозвался сын пастора; и тут они завели разговор

о дворянстве и мещанстве, и, судя по тому, как сын пастора рассуждал о том, что значит быть дворянином, впору было подумать, что сам он не из мещан. — Это счастье — принадлежать к роду, который имеет заслуги! Кровь, что течет в твоих жилах, словно бы пришпоривает тебя, побуждает совершенствоваться! Чудесно носить фамилию, которая открывает тебе доступ в высшее общество. Дворянство означает благородство, это золотая монета, на которой отчеканено, чего она стоит... Нынче стало модным утверждать — чем многие поэты и занимаются, — что у дворян все скверно и глупо, зато у бедняков, чем ниже их положение, тем больше там глянцу. Я же так не считаю, ибо это совершенно неверное, совершенно ложное утверждение. В представителях высших сословий есть немало поистине прекрасных черт; моя мать привела мне один пример, а сам я могу привести еще несколько. Она была в городе, в гостях у знатных людей — по-моему, мать ее, а моя бабка была кормилицей ее милости. Моя мать стояла в гостиной с его милостью, старым господином; он увидел в окно, как через двор тащится на костылях старуха: она приходила каждое воскресенье и ей подавали несколько скиллингов. «Вот несчастная, — сказал господин, — до чего же ей трудно передвигаться!» — и, прежде чем моя мать поняла, в чем дело, он уже был за дверью и спускался по лестнице; его превосходительство, семидесятилетний старик, сам спустился вниз к бедной женщине, чтобы избавить ее от труда взбираться наверх за милостыней. Это всего лишь мелкая черточка, но она, подобно «лепте вдовицы», — отклик из глубины сердца, отклик самой человеческой природы; вот на что должен поэт указывать, вот что должно ему воспевать, тем более в наше время, это приносит пользу, умягчает и примиряет! Если же некая персона — только потому, что она породиста и имеет родослов-

ную, как арабские лошади, — на улице встает на дыбы и ржет, а в гостиной говорит: «Здесь был кто-то с улицы!», если там побывал мещанин, — тут дворянство пришло к разложению, превратилось в маску, наподобие тех, которые придумал Феспид, и над таким персонажем смеются и отдают его сатире во власть.

Вот какую речь произнес сын пастора, она была несколько длинновата, зато он успел вырезать дудку.

В усадьбе собралось большое общество, гости понаехали со всей округи и из столицы. Дамы, одетые со вкусом и без оного. Парадная зала набита битком. Окрестные пасторы почтительно сбились в углу; поглядеть со стороны — все это походило на похороны, но это было развлечение, только оно еще не началось.

Предстоял большой концерт, поэтому баронский отпрыск захватил с собой ивовую дудку, однако он не смог извлечь из нее ни звука, и его папа тоже не смог, стало быть, она никуда не годилась.

Там звучали музыка и песни того рода, что более всего тешат самих исполнителей. Впрочем, премилые!

— А вы ведь тоже виртуоз! — сказал один кавалер, благородный сын благородных родителей. — Вы играете на дудке, которую сами же и вырезали. Вот гений, которому подвластно... который сидит одесную... Я, слава богу, иду в ногу со временем, так оно и следует! Не правда ли, вы доставите нам неизъяснимое наслаждение, сыграв на этом маленьком инструменте? — И он протянул сыну пастора дудку, вырезанную из ивы, что росла возле лужи, и громогласно объявил, что домашний учитель исполнит для них соло на дудке.

Его хотели высмеять, это было понять нетрудно, поэтому домашний учитель отказался дудеть, хотя и умел, но они стали на него наседать и понуждать, и тогда он взял дудку и приложил к губам.

Это была удивительная дудка! Она издала пронзительный звук, подобный гудку паровоза, даже еще громче; он разнесся по всей усадьбе, саду и лесу, по всей округе, и вместе с этим звуком налетел ураганный ветер, который заревел: «Всяк знай свое место!» — и тут папу словно бы подхватило ветром и унесло из усадьбы, прямехонько в скотную избу, а скотник перенесся — нет, не в гостиную, туда он попасть не мог, — а в лакейскую, к комнатной прислуге, щеголявшей в шелковых чулках, и заносчивые лакеи прямо остолбенели при виде того, как такое ничтожество осмелилось усесться за один с ними стол.

А в парадной зале юная баронесса очутилась по воле ветра во главе стола — она была этого достойна, а рядом с нею оказался сын пастора, и они восседали там, словно жених с невестою. Старый граф из древнейшего в стране рода не сдвинулся со своего почетного места, ибо дудка была справедлива, так оно и должно быть. Остроумный кавалер, по чьей вине она заиграла, тот самый благородный сын благородных родителей, полетел вверх тормашкой в курятник, причем не один.

Дудку было слышно за целую милю, и в округе прошел слух о небывалых событиях. Богатое семейство оптового торговца, ехавшее на четверне, выдуло из кареты, им не нашлось места даже на запятках; два богатых крестьянина, которые неожиданно разбогатели уже в наше время, угодили в тинистую канаву; это была опасная дудка; к счастью, она треснула при первом же звуке, что было благом, и ее положили обратно в карман: «Всему свое место!»

На другой день о происшедшем не поминали: подудели, и хватит! Все вернулось на круги своя и пошло по-старому, вот только два старинных портрета, «Коробейник» с «Гусятницей», так и остались на стене в парадной зале, куда их перенесло ветром; а поскольку один из истинных знато-

ков искусства сказал, что они писаны кистью мастера, то их и не тронули, и даже привели в надлежащий вид, ведь никто же не знал, что картины сто́ящие, да и откуда им было знать? Ну а теперь они заняли почетное место. «Всему свое место!» — и это сбывается! Вечность — длинная, длиннее, чем эта история!

ДОМОВОЙ У ЛАВОЧНИКА

Жил-был заправский студент, он ютился на чердаке и не имел за душой ни гроша; жил-был заправский лавочник, он занимал весь низ, благо дом этот был его собственным, его-то домовой и держался, ведь каждый Сочельник он получал здесь миску каши с большим куском масла! Лавочник угощал, и домовой оставался в лавке — и учился уму-разуму.

Как-то вечером туда спустился по черному ходу студент, купить себе свечек и сыру; ему некого было посылать за покупками, вот он и пришел сам; он получил все, что требовалось, расплатился, хозяева ему на прощанье кивнули, дескать, «доброго вечера», хотя лавочница умела не только кивать, у этой женщины был ловко привешен язык! Студент тоже кивнул им, но уходить мешкал: он заинтересовался бумагой, в которую ему завернули сыр. Это была страница, вырванная из старой книги, которую никак не следовало раздирать, из старой книги, полной поэзии.

— У меня этого добра много! — сказал лавочник. — Я выменял книжку у одной старухи на горстку кофейных зерен. Дадите мне восемь скиллингов, можете забирать остатки.

— Спасибо, — ответил студент, — дайте-ка мне ее вместо сыра! Я обойдусь и хлебом! Рвать такую книгу на клоч-

ки просто грех. Вы замечательный человек, практический человек, но в поэзии разбираетесь не больше вот этой мусорной бочки!

Что было очень невежливо, особенно по отношению к бочке, но лавочник рассмеялся, а за ним и студент, ведь это было сказано так, в шутку! Домового же разобрала досада: как это студент позволяет себе разговаривать с лавочником, ведь он же — хозяин дома и продает отменное масло!

Когда настала ночь и лавку закрыли, и все, кроме студента, улеглись спать, домовой пошел и одолжил хозяйкин язык — во сне он был ей без надобности. Стоило домовому привесить его к той или иной вещи, как она обретала дар речи и выражала свои мысли и чувства не хуже лавочницы, но пользоваться им они могли только по одному, и слава богу, иначе бы они говорили наперебой.

И вот домовой привесил язык к мусорной бочке, в которой лежали старые газеты.

— Неужто это правда? — спросил он. — Вы не знаете, что такое поэзия?

— Ну как же не знаю, — сказала бочка. — Это то, что помещают в газетных подвалах и вырезают! Уж наверное во мне ее побольше, чем в студенте, даром что я всего лишь простая бочка по сравнению с лавочником!

Тогда домовой привесил язык к кофейной мельнице — та как пошла молоть! Потом он привесил его к бочонку с маслом и к выдвижному ящику с деньгами; все были того же мнения, что и бочка, а если большинство на чем-то сходится, его мнение следует уважать.

— Ну, сейчас студент у меня получит! — И домовой тихонечко поднялся по черной лестнице на чердак, где ютился студент. Там горел свет, и, заглянув в замочную скважину, домовой увидел, что студент читает растрепанную книгу, принесенную снизу. Но до чего же в каморке у него было светло! Из книги исходил яркий луч, который превращался

в ствол, в огромное дерево, что подымалось высоко-высоко и раскидывало свои ветви над головою студента. Каждый лист был до того свежий, а каждый цветок являл собой прелестную девичью головку, у одних глаза были темные и блестящие, у других — голубые и удивительно ясные. Каждый плод на этом дереве был сияющею звездой, а еще оно звонко и дивно пело!

Надо же! Крошка домовой не только не видывал и не слыхивал, но и представить себе не мог такой лепоты! Он стоял на цыпочках и все глядел и глядел, до тех пор, пока в каморке не погас свет; студент, верно, задул свою лампу и лег в постель; а крошка домовой так и стоял под дверью, ибо песня еще звенела, нежная, дивная, словно улегшегося на покой студента убаюкивали чудесною колыбельной.

— Здесь бесподобно! — сказал крошка домовой. — *Такого* я вовсе не ожидал! Пожалуй, останусь-ка я у студента! — Тут он задумался... и, поразмыслив, вздохнул. — У студента нет каши! — И ушел... Ну да, спустился обратно к лавочнику, и хорошо сделал, потому что бочка основательно пообтрепала хозяйкин язык, выкладывая все, что ее переполняло; она успела уже высказаться с одной стороны и собралась было повернуться, чтоб изложить то же самое с другой стороны, но тут пришел домовой и отнял язык и возвратил хозяйке; но только с того времени вся лавка, начиная от ящика с деньгами и кончая растопкой, глядела в рот бочке, и до такой степени уважала ее, и настолько доверяла ее суждениям, что, когда лавочник читал вслух отзывы театральных и прочих критиков в вечерних «Ведомостях», все думали, будто это исходит от бочки.

Но крошка домовой уже не мог усидеть внизу и внимать всем этим мудрым и здравым речам, нет, как только в каморке на чердаке загорался свет, яркие лучи притягивали его, точно крепкие якорные канаты, и он покидал лавку,

и подымался наверх и заглядывал в замочную скважину, и его охватывал трепет — так потрясает нас величие волнующегося моря, когда Господь проходит по нему бурею, — и он ударялся в слезы, он и сам не знал, отчего он плачет, но в слезах этих было нечто благословенное!.. Какое, должно быть, невыразимое наслаждение сидеть вместе со студентом под раскидистым деревом, но то была несбыточная мечта!.. И он довольствовался замочной скважиной. И стоял под дверью в стылом коридоре, даже когда в слуховое окно задул осенний ветер, там был такой холод, ну такой холод! Но крошка домовой чувствовал его не прежде, чем в каморке под крышею гаснул свет и дивные звуки замирали, уступая завываниям ветра. Ух! Тут его пробирала дрожь, и он снова забирался в свой теплый угол; там было покойно и славно!.. Ну а когда подоспела рождественская каша с большим куском масла, тут уж ясно было, кто его хозяин: лавочник!

Однажды посреди ночи домовой проснулся от страшного грохота, это колотили им в ставни добрые люди; сторож свистел: разгорелось пожарище; занялась вся улица. Где же горит, у них или у соседей? Где?! Вот ужас-то! Лавочница до того растерялась, что вынула из ушей золотые серьги и сунула их в карман — пусть хоть что-то да уцелеет! Лавочник побежал за своими облигациями, а служанка — за шелковою мантильей, она была щеголихою; каждый хотел спасти то, что всего дороже, так и крошка домовой, он в несколько прыжков одолел лестницу и очутился в каморке у студента, который преспокойно стоял у распахнутого окна и смотрел на пожар во дворе напротив. Крошка домовой схватил со стола чудесную книгу, запихнул ее в свой красный колпачок и прижал к груди — самое большое в доме сокровище спасено! Выскочив вон, он вылез на крышу, взобрался на печную трубу и сидел там, озаренный пламенем,

что вырывалось из соседнего дома, и крепко прижимал к себе красный колпачок, в котором лежало сокровище. Он знал теперь, куда влечет его сердце, знал, кому оно на самом деле принадлежит; но вот когда пожар затушили, и он опомнился... Н-да!

— Придется мне жить на два дома! — сказал он. — Не могу же я бросить лавочника, а каша-то!

И это было так по-людски! Мы ведь тоже ходим к лавочнику — за кашей!

СПУСТЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Да, спустя тысячелетия они перелетят на крыльях пара по воздуху через океан! Юные обитатели Америки прибудут в старую Европу. Они приедут осматривать памятники древности и оседающие города точно так же, как мы сегодня отправляемся к ветшающим примечательностям Южной Азии.

Спустя тысячелетия они будут здесь!

Темза, Дунай и Рейн все еще текут; Монблан стоит, белея снежной вершиной, над северными странами светит северное сияние, но не одно поколение уже превратилось в прах, череда калифов на час позабыта, как и те, что почиют ныне в кургане, на котором зажиточный мучник, в чьих владениях этот курган находится, сколотил себе скамейку, чтоб, сидючи на ней, озирать плоское волнистое поле.

— В Европу! — возглашает юное поколение Америки. — В страну наших отцов, в чудесную страну воспоминаний и фантазии, в Европу!

Воздушный корабль приближается; он битком набит пассажирами, ибо скоростью превосходит морское судно; электрический провод, протянутый по дну океана, протелеграфировал, какова численность этого воздушного каравана. Вот уже показалась Европа, это виднеются берега Ирландии, но пассажиры спят еще; они просили разбудить их

только над Англией; там они ступят на европейскую землю в стране Шекспира, как именуют ее сыны духа; прочие же называют ее страной политики и страной машин.

Путешественники проводят здесь целый день — ровно столько времени занятое поколение может уделить великой Англии и Шотландии.

Через туннель под Каналом путь ведет во Францию, страну Карла Великого и Наполеона. Вспоминают Мольера, эрудиты толкуют о классической и романтической школах далекой древности и восторгаются героями, бардами и учеными, которых наше время еще не знает, но которые должны народиться в кратере Европы — Париже.

Воздушный пароход пролетает над страной, откуда вышел Колумб, где родился Кортес, где Кальдерон слагал плавными строфами свои драмы; ее цветущие долины по-прежнему населяют прекрасные черноокие женщины, а в старинных песнях поминаются Сид и Альгамбра.

По воздуху, над морем — в Италию, туда, где стоял древний, вечный Рим; он исчез с лица земли, Кампанья превратилась в пустыню; от собора Петра остался лишь одинокий обломок стены, который и показывают путешественникам, однако подлинность его вызывает сомнения.

В Грецию, чтобы переночевать в роскошном отеле на вершине Олимпа, — итак, побывали и в Греции! Путь ведет к Босфору, здесь дается несколько часов на отдых и осмотр того места, где лежал Византий; бедные рыбаки закидывают свои сети там, где, по преданию, во времена турок находился гаремный сад.

Воздушный караван оставляет позади развалины больших городов на могучем Дунае, которых в наше время и не было, но кое-где — в городах, богатых воспоминаниями, тех, что еще возникнут, тех, что породит время, — кое-где он приземляется и поднимается вновь.

Внизу лежит Германия, некогда охваченная густейшей сетью железных дорог и каналов, — зе́мли, где держал ре-

чи Лютер, слагал песни Гете, где в свое время повелевал звуками Моцарт! В науке и искусстве сияют великие имена, имена, которых мы сегодня еще не знаем. На Германию отводится один день, и один — на страны Севера, родину Эрстеда, родину Линнея и Норвегию, страну древних героев и молодых норвежцев. Исландию прихватывают на обратном пути; гейзеры более не кипят, Гекла потухла, но в бушующем море, словно увековеченная сагою каменная доска, незыблемо стоит Скала Остров!

— В Европе есть что посмотреть! — скажет юный американец. — Мы все осмотрели за восемь дней, и это вполне возможно, великий путешественник, — тут он называет имя своего современника, — так и написал в своей знаменитой книге «Европа, увиденная за восемь дней».

ПОД ИВОЮ

Местность под Кёге довольно голая; город, правда, лежит на морском берегу, что всегда красиво, однако же могло быть и покрасивее, а то ведь что: кругом — плоские поля и далековато до леса; но на родной стороне непременно да отыщется что-то красивое, то, чего тебе потом будет недоставать в самом чудесном уголку земли! Вот так и на окраине Кёге, где несколько чахлых садиков спускаются к речке, впадающей в море, летней порою бывало прелесть как хорошо, в особенности же тут было раздолье двум детишкам, Кнуду и Йоханне, что жили по соседству и вместе играли и пробирались друг к дружке ползком под крыжовенными кустами. У одного в саду росла бузина, у другого — старая ива, под ней-то детям и полюбилось играть, и им это дозволялось, хотя дерево стояло у самой речки и они могли запросто упасть в воду, хорошо, Всевышний приглядывает за малышами, иначе бы не миновать беды; только дети и сами остерегались, а мальчик, тот до того боялся воды, что летом, на заливе, где так любили плескаться прочие ребятишки, его невозможно было туда заманить; понятное дело, его обзывали трусом, и он вынужден был это терпеть; но вот соседской Йоханночке привиделся сон, будто она плыла по Кёгескому заливу в лодке, а Кнуд взял да и пошел прямо к ней, вода была сперва ему по шею,

а потом накрыла с головой; и с той минуты, как Кнуд услышал про этот сон, он уже не позволял, чтобы его обзывали трусом, и тотчас ссылался на сон Йоханны; это была его гордость; но в воду он так и не заходил.

Их бедняки родители частенько друг к другу наведывались, и Кнуд с Йоханной играли в садах и на проезжей дороге, по обочинам которой в два ряда росли ивы, они были некрасивые, с обрубленными верхушками, так ведь они и стояли здесь не для красоты, а чтобы приносить пользу; старая ива в саду была гораздо пригляднее, и под нею-то они, как говорится, многажды сиживали.

В центре Кёге есть большая площадь, и во время ярмарки там выстраивались целые улицы из палаток, где торговали шелковыми лентами, сапогами и всякою всячиной; там была давка, по обыкновенью шел дождь и от крестьянских кафтанов пованивало волглым сукном, а еще дивно пахло медовыми коврижками, их там была целая лавка, и что самое замечательное: человек, который их продавал, на время ярмарки всегда останавливался у родителей маленького Кнуда, и тому, разумеется, перепадала коврижечка, и кусочек от нее доставался Йоханне, но, пожалуй, замечательнее всего было то, что продавец коврижек умел рассказывать истории, чуть ли не обо всем на свете, даже о своих медовых коврижках; и вот про них-то он как-то вечером рассказал историю, которая произвела на обоих детей такое глубокое впечатление, что они запомнили ее на всю жизнь, поэтому, наверно, будет лучше всего, если мы тоже ее послушаем, тем более что она короткая.

— На прилавке, — сказал он, — лежали две медовые коврижки, одна изображала кавалера в шляпе, а другая — барышню без шляпы, но с пятнышком сусального золота на голове; лицо у них было только с той стороны, что обращена кверху, так на них и следовало смотреть, но никак не с изнанки, с изнанки вообще лучше никого не рассматривать. У кавалера была слева воткнута горькая миндалина, вместо сердца,

ну а барышня была просто медовой коврижкою. Они лежали на прилавке как образчики и долежались до того, что полюбили друг дружку, однако ни один из них в этом не признавался, а это необходимо, ежели ты хочешь чего-то добиться.

«Он мужчина, он должен объясниться первый», — думала она, впрочем, с нее было бы довольно сознания, что на ее любовь отвечают взаимностью.

Он же имел на нее кровожадный умысел, так уж мужчины устроены; он воображал себя живым уличным мальчишкой, у которого есть целых четыре скиллинга, и вот он купил барышню-коврижку — и слопал.

Так день за днем, неделя за неделей лежали они на прилавке и сохли, и мысли ее становились все более утонченными и женственными: «Мне достаточно и того, что я лежу рядом с ним на прилавке!» — подумала она — и треснула пополам.

«Знай она о моей любви, то наверняка бы продержалась подольше!» — подумал он.

— Вот и вся история, а вот они сами! — сказал продавец коврижек. — Они примечательны своей жизнью и немой любовью, которая никогда ни к чему не ведет. Забирайте-ка их! — И он дал Йоханне целехонького кавалера, Кнуду же досталась треснувшая барышня; только история до того захватила их, что они не решились скушать влюбленных.

На другой день они отправились с ними на городское кладбище, где церковная стена увита чудеснейшим зеленым плющом, что зимой и летом свисает оттуда, как богатый ковер; они поставили коврижки стоймя средь зеленых листьев, на солнце и рассказали столпившимся вокруг ребятишкам историю про немую любовь, которая никуда не годится, то есть любовь, сама-то история-то чу́дная, это признали все, но, когда они перевели взгляд на медовую парочку... оказалось, что один большой мальчик взял — причем со зла — да и съел треснувшую барышню, дети по ней заплакали, а потом — верно, для того, чтоб несчастный кавалер

не оставался на свете один-одинешенек, — съели и его, однако же историю эту не позабыли.

И всегда-то Кнуд с Йоханною были вместе возле бузинного куста и под ивою, и маленькая девочка распевала прелестные песни голоском, похожим на серебряный колокольчик; у Кнуда же совсем не было слуха, но он знал слова, а это уже кое-что. Жители Кёге останавливались и слушали, как пела Йоханна, даже супруга торговца скобяными изделиями. «Славный у нее голосок, у этой малютки!» — говаривала она.

То были благословенные дни, но им не суждено было длиться вечно. Соседи расстались; у маленькой девочки умерла мать, отец собирался жениться в Копенгагене и подыскал себе там занятие; он устроился в одно место посыльным, это считалось очень доходной должностью. Соседи расстались со слезами на глазах, особенно плакали дети; однако старики обещались писать друг другу по меньшей мере раз в год. Кнуда отдали учиться сапожному ремеслу, ведь нельзя же, чтобы этакий долговязый парень и дальше шатался без дела! А там его и конфирмовали!

О, до чего же ему хотелось в этот торжественный день отправиться в Копенгаген и повидать Йоханночку, но он туда не отправился, он вообще там никогда не был, хотя это всего в пяти милях от Кёге; он видел лишь в ясную погоду башни на той стороне залива, а в день конфирмации явственно разглядел, как на соборе Богоматери сияет золотой крест.

Ах, как он скучал по Йоханне! Помнит ли она его? Ну а как же! Под Рождество родители Кнуда получили письмо от ее отца, в Копенгагене им жилось припеваючи, а Йоханну с ее красивым голосом ожидало большое будущее; ее взяли в «Комедию», ту, где поют, и она заработала уже толику денег, из них она посылает дорогим соседям в Кёге целый ригсдалер, чтобы они побаловали себя рождественским вечером; пускай выпьют за ее здоровье, приписала она собст-

венноручно в конце письма, а еще там было: «Дружеский поклон Кнуду!»

Все плакали, хотя то были такие приятные вести, ну да это они на радостях. Каждый божий день думал он о Йоханне, а теперь убедился, что и она о нем тоже думала, и по мере того, как приближался тот день, когда он должен был сделаться подмастерьем, ему все яснее становилось, что Йоханну он любит крепко и что она должна стать его женушкой; и на губах у него играла улыбка, и он еще проворнее продергивал дратву, в то время как нога его натягивала ремень; он проткнул себе шилом палец, но даже не обратил на это внимания. Он вовсе не собирается молчать, как те медовые коврижки, эту историю он намотал на ус.

И вот он стал подмастерьем и затянул котомку. Наконец-то он впервые в жизни попадет в Копенгаген, он уже сговорился там с одним мастером. То-то удивится и обрадуется Йоханна! Ей теперь семнадцать, а ему девятнадцать.

Он хотел было купить ей в Кёге золотое кольцо, но сообразил, что в Копенгагене кольца наверняка покрасивее; и вот он простился со стариками родителями и бодро пустился в путь, пешком, в осеннюю непогодь; с деревьев падали листья; промокнув до костей, добрался он до большого Копенгагена и до своего мастера.

В первое же воскресенье он решил навестить отца Йоханны. Были надеты новое платье и купленная в Кёге новая шляпа, она была Кнуду очень к лицу — до этого он неизменно ходил в фуражке. И он нашел тот дом, который искал, и поднялся наверх по длинной-предлинной лестнице; у него прямо голова пошла кругом — и как это люди помещаются друг над дружкою в этом непроходимом городе.

В гостиной все обличало достаток, и отец Йоханны встретил его приветливо; для жены его Кнуд был человек посторонний, однако же она подала ему руку — и кофе.

— Йоханна тебе обрадуется! — сказал отец. — Вон каким ты стал молодцом!.. Сейчас ты ее увидишь! Да, эта девочка меня радует, и даст Бог, и впредь будет радовать! У нее своя комната, и она нам за нее платит!

И отец очень вежливо, как будто чужой, постучал в ее дверь, и они вошли — о, до чего же там было очаровательно! Можно было поручиться, что во всем Кёге не сыщется такой комнаты! У королевы, и то не могло быть прелестнее! Там были ковер, занавеси до самого полу, настоящий бархатный стул, а кругом — цветы и картины, и зеркало, на которое он едва не налетел, оно было величиною с дверь. Кнуд увидел все это разом и вместе с тем он видел одну Йоханну, она стала взрослой девушкой; совсем другая, чем Кнуд ее себе представлял, и куда краше! Ни одна девица в Кёге не могла с ней сравниться, и как же она была изящно одета! Но до чего же отчужденно взглянула она на Кнуда, правда, длилось это всего мгновенье, а потом она бросилась к нему, словно хотела поцеловать, она этого не сделала, но ведь — чуть-чуть не поцеловала! Да, она и вправду обрадовалась своему другу детства! Разве в глазах у нее не стояли слезы? А еще ей хотелось о стольком его расспросить и поговорить, начиная от родителей Кнуда и кончая бузиною и ивою, она называла их Бузина-матушка и Ива-батюшка, будто бы они тоже были людьми, впрочем, они вполне могли сойти за людей, так же как и медовые коврижки; о них она тоже заговорила, об их немой любви, о том, как они лежали на прилавке и треснули, тут она от всей души рассмеялась — у Кнуда же запылали щеки и сердце забилось сильнее обыкновенного! — нет, она нисколечко не зазналась!.. От него не укрылось, что ради нее родители попросили его остаться у них на весь вечер, и она разливала чай, и сама подала ему чашку, а потом взяла книгу и принялась читать им вслух, и Кнуду показалось, то, что она читает, — именно про его любовь,

так это подходило ко всем его мыслям; а потом она запела простую песню, но песня эта стала у нее целой историей, она словно бы изливала в ней свою душу. Да, она определенно любила Кнуда. По щекам у него побежали слезы, он не мог их сдержать, и он не мог вымолвить ни единого слова, самому ему казалось, что он сидит дурак дураком, однако же она сжала ему руку и сказала:

— У тебя доброе сердце, Кнуд! Оставайся таким всегда!

Это был бесподобный вечер, разве после него уснешь, вот Кнуд и не сомкнул глаз. На прощанье отец Йоханны сказал:

— Ты уж теперь нас не забывай! А то, чего доброго, так зима и пройдет, прежде чем ты к нам наведаешься!

Значит, ему можно прийти в воскресенье! Так он и сделает! Но каждый вечер, закончив работу, а работали они при свечах, Кнуд шел бродить по городу; он сворачивал на улицу, где жила Йоханна, смотрел на ее окно, в котором почти всегда горел свет, однажды он отчетливо увидел на занавеси тень от ее лица; то был чудесный вечер! Жене мастера не нравилось, что по вечерам он вечно, как она выражалась, норовит из дому, и она покачивала головой, на что мастер, посмеиваясь, отвечал: «Дело молодое!»

«В воскресенье мы увидимся, и я скажу ей, что только о ней и думаю и что она должна стать моей женушкой! Конечно, я всего лишь бедный подмастерье сапожника, но я могу стать мастером, на худой конец, вольным мастером, я буду трудиться изо всех сил!.. Да, так я ей и скажу, немая любовь ни к чему не ведет, я научился этому у медовых коврижек!»

Пришло воскресенье, пришел и Кнуд, но вот незадача: они собирались уходить, всей семьей, и вынуждены были ему это сказать. Йоханна пожала ему руку и спросила:

— Ты был в «Комедии»? Ты должен там побывать! Я пою в среду, если ты свободен, я пришлю тебе билет; мой отец знает, где живет твой мастер!

Как это было мило с ее стороны! И точно, в среду в полдень пришла запечатанная бумага, без единого слова, но внутри лежал билет, и вечером Кнуд впервые в жизни отправился в театр, и что же он там увидел? Он увидел Йоханну, такую прелестную, такую очаровательную; правда, она вышла замуж за другого, так то же была комедия, они это представляли, Кнуд это знал, иначе бы она ни за что не послала ему билет на такое зрелище; и все люди хлопали и громко кричали, и Кнуд тоже кричал «ура!».

Сам король улыбался Йоханне, похоже, и он ей радовался. Господи, каким же ничтожным почувствовал себя Кнуд, но он так искренне любил ее, и она ведь тоже его любила, а мужчина должен объясниться первый, так полагала барышня-коврижка; эта история была просто кладезем.

Как только настало воскресенье, Кнуд пошел к Йоханне; он был настроен на торжественный лад, словно перед причастием. Йоханна была дома одна и приняла его, все складывалась как нельзя удачнее.

— Хорошо, что ты пришел! — сказала она. — Я уже собралась было послать за тобой отца, но у меня появилось предчувствие, что сегодня вечером ты придешь; я должна сказать тебе, что в пятницу я уезжаю во Францию, это необходимо, если я хочу действительно чего-то достичь!..

Комната поплыла у Кнуда перед глазами, сердце его готово было разорваться, но глаза оставались сухи, хотя нельзя было не заметить, как он расстроился; глядя на него, Йоханна чуть не заплакала.

— Честная, преданная душа! — промолвила она.

И тут у Кнуда развязался язык, и он сказал ей, как искренне он ее любит и что она должна стать его женушкой; и пока он объяснялся, он увидел, что Йоханна побледнела как смерть, она выпустила его руку и серьезно и печально сказала:

— Кнуд, не сделай себя и меня несчастными! Я всегда буду для тебя доброй сестрою, можешь на меня положиться! Но не более того! — И она провела своей мягкой рукой по его горячему лбу. — Бог дает нам силы выдержать многое, надо только захотеть!

В эту самую минуту вошла ее мачеха.

— Кнуд прямо вне себя оттого, что я уезжаю! — сказала Йоханна. — Будь же мужчиной! — И она похлопала его по плечу, как будто они говорили лишь о ее поездке и ни о чем больше. — Дитя! — сказала она. — Давай же будь умником, как под ивою, когда мы были детьми!

А у Кнуда было такое чувство, словно бы мир дал трещину, мысль его стала подобна нити, безвольно кружащейся на ветру. Он остался, он не сознавал, просили его о том или нет, но они были с ним приветливы и добры, и Йоханна напоила его спитым чаем, а потом спела, голос ее звучал иначе, чем раньше, но все равно на диво прекрасно, сердце от него так и разрывалось на части, а после они расстались; Кнуд не протянул ей руки, тогда она сама взяла его руку в свою и сказала:

— Подай же на прощанье руку своей сестре, мой старый товарищ детства и брат! — И, улыбнувшись сквозь слезы, что текли у нее по щекам, повторила: — Брат!

Как будто ему от этого было легче!.. Так они распрощались.

Она уплыла во Францию, Кнуд же бродил по слякотным копенгагенским улицам. Другие подмастерья спрашивали его, над чем это он всё размышляет; лучше бы пошел с ними поразвлекся, он же молодой парень!

И они все вместе пошли на танцы; там было много красивых девушек, только они и в подметки не годились Йоханне, и вот тут-то, когда он думал ее забыть, она как живая встала у него перед глазами. «Бог дает нам силы выдержать многое, надо только захотеть!» — сказала она на прощанье; и душа его исполнилась благоговения, и он молитвенно сложил руки...

а скрипки играли, и вокруг отплясывали девицы; он страшно перепугался, ему показалось, это такое место, куда не пристало водить Йоханну, ведь она была с ним, в его сердце, — и он вышел на улицу, и пустился бежать, и миновал дом, в котором она жила, там было темно, кругом было темно, пусто и одиноко; жизнь двигалась своим ходом, а Кнуд — своим.

Наступила зима, и воды сковало льдом, все живое словно бы приготовилось к похоронам.

Но когда пришла весна и отплыл первый пароход, его неудержимо потянуло прочь, в чужие края, но только подальше от Франции.

И вот он завязал свою котомку и отправился странствовать по Германии, от города к городу, не зная ни дня, ни отдыха; и лишь дойдя до старинного, чудесного города Нюрнберга, он почувствовал, что зуд бродяжить у него стих и он в силах остановиться.

Это удивительный старинный город, словно бы вырезанный из летописи с картинками. Улицы лежат, как им заблагорассудится, дома не желают выстраиваться в ряд; эркеры с башенками, завитушками и статуями выдаются на тротуар, а с высоких причудливых кровель сбегают, нависая над улицей, желобы в виде драконов и собак с длинным туловом.

С котомкою за спиной Кнуд стоял на городской площади; он стоял у одного из старинных фонтанов, где среди бьющих струй красуются библейские и исторические бронзовые фигуры. Пригожая служанка, что набирала воду, дала Кнуду напиться; а еще она дала ему розу, благо у нее их был целый букет, и он посчитал это хорошей приметою.

Из прилегавшей церкви грянули раскаты органа, он звучал совсем как дома, в кёгеской церкви, и Кнуд вошел внутрь. В большом соборе сквозь расписные окна пробивались солнечные лучи и падали меж высоких стройных колонн; и мысли его устремились к Богу, и в душу сошел покой.

Он отыскал в Нюрнберге хорошего мастера, и остался у него, и выучил язык.

На месте старых рвов, что окружали город, теперь разбиты маленькие огородцы, но высокие стены с тяжелыми башнями стоят до сих пор; на бревенчатой галерее, идущей по всей крепостной стене и глядящей на город, вытягивают свои канаты канатчики, и изо всех расщелин и отверстий здесь растет бузина, свешивая свои ветви над стоящими внизу низкими домиками; в одном из таких домиков и проживал мастер, у которого работал Кнуд; склоняясь к маленькому чердачному окошку, бузина заглядывала к Кнуду в каморку, где он спал.

Он прожил здесь лето и зиму, но, когда пришла весна, ему стало невмоготу, бузина цвела, и цветы издавали такой родной запах, как будто он находился в саду под Кёге, — и тогда Кнуд покинул своего мастера и перебрался к другому, поближе к центру города, где не было ни одного бузинного деревца.

Мастерская находилась возле одного из старых каменных мостов, над низкой водяной мельницей, шумевшей и день и ночь; за окном была лишь быстрая река, зажатая с обеих сторон домами, которые все были увешаны старыми ветхими балконами, казалось, они вот-вот постряхивают их в воду. Здесь не росло ни единого бузинного куста, не было даже ни одного цветочного горшка с зеленым растеньицем, зато прямо напротив стояла большая старая ива, которая словно бы крепко держалась за дом, чтобы ее не снесло течением; она простирала над водой свои ветви, точь-в-точь как ива в саду у кёгеской речки.

Вот уж действительно, уйдя от Бузины-матушки, он угодил к Иве-батюшке; в этом дереве, особенно в лунные ночи, было нечто такое, отчего он чувствовал себя

...столь датским душою
Под ясной луною!

Только луна тут совсем ни при чем, нет, дело было в дереве.

Он не мог этого вынести, а почему? Спросите иву, спросите цветущую бузину!.. И он простился со своим мастером и с Нюрнбергом и отправился дальше.

Про Йоханну он никому не рассказывал; горе свое хранил про себя, а в истории о медовых коврижках стал усматривать особенный смысл; теперь он понимал, почему у кавалера была слева горькая миндалина, у него у самого в сердце осталась горечь, а Йоханна, всегда такая ласковая и улыбчивая, она оказалась всего-навсего медовой коврижкою. У него было такое чувство, что ремень котомки перетягивает ему грудь и не дает дышать, он ослабил его, но легче ему не стало. Мир окружал его только наполовину, другую половину он нес в себе, вот в чем беда!

Лишь когда он завидел высокие горы, мир перед ним распахнулся, мысли его обратились вовне, на глаза навернулись слезы. Альпы походили на сложенные крылья земли; что, если она подымет их, расправит большущие перья с пестрым узором из черных лесов, пенистых вод, облаков и снегов! «В Судный день земля расправит свои большущие крылья, взлетит к Господу и лопнет, как мыльный пузырь, в лучах Его славы! О, хоть бы уже наступил Судный день!» — И он вздохнул.

Тихо брел он по стране, которая напоминала ему травянистый фруктовый сад; с деревянных балконов домов ему кивали девушки, плетущие кружева, вершины гор пламенели в лучах красного вечернего солнца, а когда он завидел средь темных деревьев зеленые озера, ему вспомнился берег Кёгеского залива; сердце его стеснила грусть, но не боль.

Там, где Рейн одною долгой волною мчится и свергается вниз и, разбиваясь, превращается в белоснежные прозрачные облачные клубы, как если бы то было сотворение облак, а радуга вьется над ними оборванной лентою, там ему вспомнилась мельница под Кёге, где кипела и разбивалась с шумом вода.

Он охотно остался бы в тихом прирейнском городке, но здесь было столько бузины и так много ив! И он двинулся дальше; через высокие, могучие горы, через каменоломни, по дорогам, что, как ласточкины гнезда, лепились к отвесным скалам. На дне пропастей бурлила вода, под ним были облака; он шел средь блестящих чертополохов и альпийских роз и снегов под теплыми лучами летнего солнца... и вот он простился с северными странами, спустился под каштаны и очутился среди виноградников и маисовых полей. Горы встали стеною между ним и всеми воспоминаниями, так и должно было быть...

Перед ним лежал большой великолепный город, он назывался Миланом, здесь Кнуд нашел немецкого мастера, который принял его к себе; Кнуд попал в дом к старой добропорядочной чете. Им пришелся по сердцу тихий подмастерье, который мало говорил, зато много работал, был богобоязлив и набожен. И Господь точно снял у него с души тяжкое бремя.

Самым любимым его удовольствием было подниматься иногда на кровлю огромной мраморной церкви, ему казалось, что вся она, с изображениями, остроконечными башнями и изукрашенными цветами просторными залами, вылеплена из снегов его родины; из каждого угла, с каждого шпиля, из-под каждой арки ему улыбались белые статуи. Над головой у него было синее небо, под ногами — город, за которым раскинулась зеленая Ломбардская равнина, а севернее высились горы, покрытые вечным снегом... и ему вспоминалась кёгеская церковь с увитыми плющом красными стенами, но его не тянуло назад; он хотел, чтобы его схоронили здесь, по эту сторону гор.

Он прожил тут год, а с тех пор как он покинул родные края, прошло уж три года; и вот мастер повел его в город, но не в манеж поглядеть на цирковых наездников, нет, а в большую оперу, это был зал, который тоже стоило посмотреть. Во всех семи ярусах там висели шелковые занавеси,

а от пола до головокружительно высокого потолка сидели преизящные дамы с букетами в руках, точно они собрались на бал, а господа были в полном параде, многие — в серебре и золоте. Там было светло, как ярким-преярким днем, а потом грянула чудесная музыка, это было куда великолепнее, чем «Комедия» в Копенгагене, но зато там была Йоханна, а здесь... О, это произошло словно по волшебству! Занавесь раздвинулась, и здесь тоже стояла Йоханна, в золоте и шелке, с золотою короною на голове; она пела так, как может петь лишь ангел Господень; она выступила вперед, насколько это было возможно, она улыбалась так, как могла улыбаться только Йоханна; она смотрела прямо на Кнуда.

Бедный Кнуд схватил мастера за руку и громко крикнул: «Йоханна!», но его было не расслышать, музыканты наяривали вовсю; мастер же ответно кивнул: «Верно, ее звать Йоханна!», после чего развернул печатный листок и показал ему, там стояло ее имя, полное имя.

Нет, это был никакой не сон! И все восторженно ее приветствовали и бросали ей цветы и венки, и каждый раз, когда она уходила, вызывали ее опять, и она уходила и выходила снова и снова.

На улице вокруг ее кареты теснились люди, впрягшись, они повезли ее, и Кнуд был впереди всех и радостней всех, а когда они добрались до ее роскошно освещенного дома, Кнуд оказался у самой дверцы кареты, дверца распахнулась, и Йоханна вышла, свет падал прямо на ее родное лицо, она улыбалась, и благодарила так ласково, и была так растрогана; и Кнуд посмотрел ей прямо в глаза, и она тоже посмотрела Кнуду в глаза, но она его не узнала. Какой-то господин со звездой на груди подал ей руку — они обручены, раздалось в толпе.

Тогда Кнуд пошел домой и затянул котомку; он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине и иве... о, только бы очутиться под ивою! За один час можно прожить целую жизнь!

Его уговаривали остаться; никакие уговоры на него не действовали; ему говорили, что дело идет к зиме, что в горах уже выпал снег; ну так он пойдет по колее, оставленной медленно едущею почтовой каретою — для нее же будет проложен путь! — пойдет с котомкою за спиной, опираясь на свою палку...

И он двинулся в сторону гор, и он взбирался на них, и спускался с них; он уже выбился из сил, но все еще не видел ни города, ни жилья; он шагал на север. Над ним зажглись звезды, ноги у него подкашивались, голова кружилась; далеко внизу, в долине, тоже позажигались звезды, небо, казалось, раскинулось и под ним. Он чувствовал, что ему неможется. Звезд внизу все прибывало, они становились все ясней и ясней, они перемещались туда и сюда. То был маленький городок, в котором мерцали огни, и, поняв это, Кнуд напряг последние свои силы и дотащился до убогого постоялого двора.

Он провел здесь целые сутки, ибо его тело нуждалось в отдыхе и уходе. В долине была оттепель и шел мокрый снег. На другое утро сюда явился шарманщик, он заиграл родную датскую мелодию, и дольше Кнуду было не вытерпеть — он шел день за днем, много дней, да так шибко, словно торопился попасть домой прежде, чем они все там поумирают. Но он никому не рассказывал, что его снедает тоска, никто бы и не подумал, что у него сердечное горе, самое глубокое, какое только бывает, его не откроешь миру, оно нешуточное, его не откроешь даже друзьям, а у него их и не было! Чужак, он шел чужой стороною домой, на север. В единственном письме из дому, что давным-давно послали ему родители, говорилось: «Ты не настоящий датчанин, не то что мы! Все мы тут датчане до мозга костей! А тебе по сердцу лишь чужие края!» Вот что написали родители — да, уж они-то его знали!

Был вечер, он шел по ровной проезжей дороге, начало подмораживать; местность становилась все более и более плоской, потянулись поля и луга; у дороги стояла большая

ива; все выглядело таким родным, таким датским; он присел под ивою, его одолела усталость, голова его поникла, глаза смежились, однако он чувствовал и ощущал, как ива склонила к нему свои ветви, словно это было не дерево, а могучий старик, то был сам Ива-батюшка, что взял его, усталого сына, на руки и понес домой, на датскую сторону, на голый бледный морской берег, в город Кёге, в сад его детства. Да, это была та самая ива из Кёге, она отправилась искать его по белу свету и вот нашла и принесла домой, в садик у речки, а там стояла Йоханна, во всей красе, с золотою короною, такая, какой он ее видел в последний раз, и она вскричала: «Добро пожаловать!»

А прямо перед ними стояли две удивительные фигуры, только сейчас они куда больше походили на людей, чем во времена их с Йоханной детства, ну да они тоже изменились; это были две медовые коврижки, кавалер с девицею; они стояли к ним лицевой стороной и выглядели на славу.

— Спасибо! — сказали оба они Кнуду. — Ты развязал нам язык! Ты научил нас бесстрашно высказывать свои мысли, ведь иначе ничего не добьешься! А вот теперь мы кое-чего добились — мы обручились!

И рука об руку они пошли по кёгеским улочкам и выглядели с изнанки весьма пристойно, тут надо воздать им должное! Они направились прямехонько к кёгеской церкви, а Кнуд с Йоханной — следом за ними; они тоже шли рука об руку; а красные стены церкви по-прежнему увивал чудесный зеленый плющ, и большие двери ее распахнулись настежь, и грянул орган, и кавалер с девицею прошествовали к алтарю. «Сперва — господа! — сказали они. — Сперва наши жених с невестою!» И они отступили в сторону, и Кнуд с Йоханной опустились на колени пред алтарем, и Йоханна склонила голову к его лицу, и из глаз ее покатились холодные, как лед, слезы — это его сильная любовь растопила лед, что сковы-

вал ее сердце, — и они упали на его пылающие щеки, и... тут он очнулся, он сидел под старою ивою в чужом краю, зимним холодным вечером; с неба падали и хлестали ему в лицо ледяные градины.

— Это был самый прекрасный час в моей жизни! — сказал он. — Но это был сон!.. Господи, дай же мне снова его увидеть! — И он закрыл глаза, и уснул, и увидел сон.

Утром пошел снег, ему стало заметать ноги, а он все спал. Деревенский люд потянулся в церковь; у дороги сидел подмастерье, он был мертв, он замерз — под ивою.

ПЯТЕРО ИЗ ОДНОГО СТРУЧКА

В стручке сидело пять горошин, они были зеленые, и стручок был зеленый, вот они и решили, что и весь мир зеленый, и были совершенно правы! Стручок рос, росли и горошины; они приладились к своему жилью и сидели ровным рядком... Снаружи сияло солнце и согревало стручок, дождь умывал его; там было тепло и уютно, днем — светло, а ночью — темно, как и полагается, и горошины все росли и, сидючи в стручке, начали призадумываться — чем-то же им надо было заняться!

— Ну сколько же нам тут сидеть! — говорили они. — Как бы мы от долгого сиденья не высохли! Сдается нам, снаружи что-то есть, такое у нас предчувствие!

Шли недели; горошины стали желтые, и стручок стал желтый. «Весь мир желтеет!» — заключили они, и имели на то полное основание.

Но вот они почувствовали, как стручок встряхнуло; его сорвали, он попал в человеческие руки, и его опустили в карман куртки, набитый такими же сухими стручками.

— Теперь-то уж нас скоро отсюда выпустят! — сказали горошины и принялись ждать.

— Хотела бы я знать, кто из нас пойдет дальше всех! — сказала самая маленькая горошина. — Ну да скоро это выяснится.

— Будь что будет! — отозвалась самая большая.

Хрусть! — стручок лопнул, и все пятеро выкатились на яркий солнечный свет; они лежали на детской ладони, их держал маленький мальчик, вот, сказал он, подходящие горошины для моей бузинной трубки; и одна из них тотчас же угодила в трубку, и ею выстрелили.

— Я лечу на край света! Попробуй меня поймай! — И была такова.

— А я, — заявила вторая, — полечу прямо на солнце, вот это стручок так стручок, как раз для меня!

И исчезла.

— А нам все едино, — сказали две другие горошины, — но уж вперед-то мы, наверно, покатимся! — И покатились — на пол, и только потом уже попали в бузинную трубку, но ведь попали же. — Мы пойдем дальше всех!

— Будь что будет! — сказала последняя горошина, и тут ею выстрелили, и она взлетела к чердачному окошку и упала на старый дощатый подоконник, прямо в щель, где были мох и рыхлая земля; и мох сомкнулся над нею; так она там и осталась, сокрытая, но не забытая Господом. — Будь что будет! — повторила она.

А на чердаке в маленькой каморке жила бедная женщина, которая ходила днем по чужим людям и чистила печи, и даже пилила дрова, и выполняла всякую черную работу; сил у нее хватало и усердия тоже, и все равно она терпела нужду; а дома, в маленькой каморке, лежала ее единственная дочка-подросточка, до того тоненькая и тщедушная; она уже год как слегла, и умирать не умирала, и жить не жила.

«Она отправится вслед за своей сестренкой! — говорила женщина. — У меня же их двое было, но двоих прокормить непросто, вот Господь и разделил мою ношу и прибрал меньшую; хоть бы эта со мной осталась, но Он, видать, не хочет, чтоб они разлучались, стало быть, она отправится на небо, к своей сестренке!»

Но больная девочка все не умирала; день-деньской она тихо лежала в постели и терпеливо дожидалась матери, которая зарабатывала им на хлеб.

Дело было весною, ранним утром — мать как раз собиралась выходить из дому. Солнце ярко светило в маленькое окошко, отбрасывая блики на пол, и больная девочка устремила взгляд на нижнее стекло.

— Что это там за окном зеленеет? И качается на ветру?

Мать пошла приотворила окно.

— Ба! Да это ж пробился гороховый стебелек с зелеными листьями! И как это он попал в эту щель? Ну вот, можешь теперь смотреть на свой маленький садик!

И кровать больной пододвинули поближе к окну, откуда ей был виден росточек, и мать ушла на работу.

— Матушка, по-моему, я поправлюсь! — сказала вечером девочка. — Солнышко меня сегодня так пригревало! Горошек растет, ему хорошо здесь! Скоро и мне будет хорошо, и я начну вставать и выйду на солнышко!

— Дай-то Бог, — сказала мать, хотя она в это не верила.

Все ж таки она подперла зеленый росток маленькой палочкой, чтоб он не сломался от ветра, ведь он же порадовал и приободрил ребенка; потом взяла бечевку и натянула ее между подоконником и верхом оконной рамы, чтобы гороховому стебельку было обо что опереться и вокруг чего виться, когда он поползет вверх, — он и пополз, он рос на глазах и каждый день подымался все выше.

— Надо же, у него будет цветок! — сказала женщина однажды утром, и у нее тоже появилась надежда и вера в то, что ее больная дочка поправится; в последнее время, подумалось ей, девочка стала живей разговаривать, а по утрам она сама садилась в постели и смотрела сияющими глазами на свой маленький гороховой садик из одного-единственного ростка. Неделю спустя больная впервые встала. Больше часу просидела она, блаженствуя, на солнышке; окошко было отворено,

за ним покачивался распустившийся уже бело-красный горошек. Девочка наклонила голову и тихонько поцеловала нежные лепестки. Этот день для нее стал праздником.

— Его посадил и взрастил сам Господь, чтоб ободрить тебя и утешить, мое дорогое дитятко, да и меня тоже! — сказала обрадованная мать и улыбнулась цветку, словно благому ангелу, посланному с небес.

А теперь про остальные горошины!.. Та, что улетела на край света — попробуй ее поймай! — угодила в кровельный желоб и попала в зоб голубю, и залегла там, словно Иона во чреве кита. Две ленивицы ушли не дальше, их тоже склевали голуби, стало быть, они принесли немалую пользу; ну а четвертая, та, что собиралась лететь на солнце, упала в сточную канаву и, пролежав не одну неделю в тухлой воде, порядком разбухла.

— Я так раздобрела, что любо-дорого посмотреть! — сказала горошина. — Я скоро лопну, а так далеко, по-моему, не заходила еще и не зайдет ни одна горошина! Я самая замечательная из всех пятерых в стручке!

И сточная канава целиком ее поддержала.

А у чердачного окошка стояла юная девушка, глаза ее лучились, на щеках играл здоровый румянец; сложив над горошком свои тонкие руки, она благодарила за него Господа.

— Все равно моя горошина лучше! — сказала сточная канава.

ЛИСТОК ИЗ РАЯ

Высоко-высоко, в ясном, прозрачном воздухе, пролетал ангел с цветком из райского сада, он запечатлел на нем поцелуй, и тут от цветка оторвался крохотный листик, который упал в болотинку посреди леса и тотчас же пустил корень и выбросил побег в соседстве с прочими цветами и травами.

— Ну и чудной же вид у этого черенка! — сказали они, и никто не хотел с ним знаться — ни чертополох, ни крапива.

— Не иначе это какое-то садовое растение! — сказали они с издевкой, и в качестве такового он был выставлен на посмешище; однако он рос и рос, и обогнал всех, и далеко раскинул свои длинные плети.

— Куда это ты лезешь! — сказал высокий чертополох, у которого каждый лист утыкан колючками. — Ты что, сдурел? На что это похоже! Взять на нас и повиснуть!

Пришла зима, растение замело снегом, но снежный покров на нем блистал так, будто его пронизывали изнутри солнечные лучи. А весною растение стояло в цвету, и прекраснее его в лесу не было.

И вот туда явился профессор ботаники, у которого имелось свидетельство, что он тот, за кого себя выдает; он взглянул на это растение, попробовал его на язык, однако в его на-

уке о растительном мире оно не значилось, и он был не в состоянии определить, к какому виду оно относится.

— Это разновидность! — сказал он. — Мне она неизвестна, она в систему не включена!

— Не включена! — подхватили чертополох с крапивой.

Стоящие вокруг большие деревья все это слышали, они и сами видели, дерево это не их породы; однако же сказать ничего не сказали, ни худого, ни доброго, а это всегда самое безопасное, коли ты не вышел умом.

По лесу проходила бедная невинная девушка; у нее были чистое сердце и светлый ум, питаемый горячею верой, все ее достояние заключалось в старой Библии, зато со страниц Библии с нею говорил Глас Божий: «Буде люди тебя обидят, вспомни историю про Иосифа: они умышляли зло, но Бог обратил это в добро. Если с тобой поступают несправедливо, если тебя ни во что не ставят и осыпают насмешками, вспомни Его, Кто чище и лучше всех, Кого люди предали на поношение и пригвоздили к кресту, на котором Он молил: “Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят!”»

Она остановилась перед чудесным растением, зеленая листва его источала сладостный и живительный аромат, а цветы, озаренные ярким солнцем, являли собою целый фейерверк красок, и каждый цветок напевал свое, словно то был глубокий колодец с мелодиями, который не вычерпать и за тысячелетия. С благоговением взирала она на это божественное великолепие; потом нагнула одну из ветвей, чтобы разглядеть цветок поближе и вдохнуть его аромат, и на душе у нее просветлело, и на сердце сделалось до того отрадно! Ей так хотелось взять и сорвать хоть один цветок, но она не решилась, ведь он бы у нее быстро завял; и она взяла себе лишь зеленый листок, принесла его домой и вложила в Библию, где он и пребывал, свежий, вечно зеленый, неувядаемый.

Он лежал, спрятанный меж страницами Библии; и вместе с Библией был положен юной девушке под голову, когда спу-

стя несколько недель ее положили в гроб. Кроткое лицо ее приняло в смерти торжественно-строгое выражение, словно на бренных останках отпечатлелось: она предстала сейчас перед своим Создателем.

А чудесное растение в лесу все цвело; с виду оно уже походило на дерево, и все перелетные птицы навещали его и поклонялись ему, чаще всего — ласточка с аистом.

— Заграничное кривлянье! — сказали чертополох и репейник. — У нас здесь так себя не ведут!

И черные лесные улитки это дерево оплевали.

Потом пришел свинопас и принялся вырывать чертополох и цветущие плети, чтоб пережечь в золу; и чудесное дерево, выдернутое прямо с корнями, целиком попало в его вязанку.

— Пускай и от него будет польза! — сказал свинопас и пустил его в дело.

А король той страны страдал черной меланхолией, и давно уже; он пробовал усердно работать — не помогало; ему читали и глубокомысленные сочинения, и книги самого что ни есть легкого содержания — не помогало... Но вот прибыло послание от мудрейшего человека на свете; к нему обратились за помощью, и он поведал, что есть верное средство облегчить и исцелить больного. «В его собственном королевстве произрастает в лесу растение райского происхождения, оно выглядит так-то и так-то, ошибиться нельзя! — Здесь же прилагался рисунок, по которому растение можно было легко узнать. — Оно зеленеет и зимою, и летом; поэтому срывайте всякий вечер по свежему листку и прикладывайте ко лбу короля, тогда его отпустят мрачные мысли, а приятное сновидение придаст ему сил и бодрости на весь следующий день!»

Послание было достаточно ясным, и все доктора вместе с профессором ботаники отправились в лес... Да, но где же растение?

— Похоже, оно попало в мою вязанку! — сказал свинопас. — Оно давным-давно уж превратилось в золу, так ведь я ж ничего не знал!

— Не знал! — сказали они в один голос. — Невежество! Невежество! Сколь же ты велико!

Эти слова, по их разумению, свинопас должен был зарубить себе на носу, он — и никто другой.

Хоть бы уцелел один-единственный листик! Он и уцелел, и лежал в гробу умершей, но о том было никому не ведомо.

Объятый унынием, король сам пошел в лес на то место, где росло это дерево.

— Здесь оно стояло! — сказал он. — Это место священное!

И землю в этом месте огородили золотою решеткой и поставили стражу, чтоб охраняла его день и ночь.

Профессор ботаники написал о райском растении диссертацию, и его за это озолотили, к великому его удовольствию; и золотая оправа была очень к лицу и ему, и его семейству, и это самое отрадное во всей этой истории, ибо растение сгинуло, а король пребывал в унынии и печали.

— Дак ведь он и раньше был такой! — говорила стража.

«ПРОПАЩАЯ»

Городской судья стоял у распахнутого окна; на нем была рубашка с манжетами и жабо, в котором красовалась булавка, и он был отменнейше выбрит — своя работа; он, правда, слегка порезался, ну да он залепил это место клочком газеты.

— Эй, мальчуган! — крикнул он.

А мальчуган был не кто иной, как прачкин сынишка, который как раз проходил мимо и почтительно снял фуражку; козырек у нее был сломан, чтоб сподручнее было совать в карман. В бедном, но чистом и тщательно залатанном платье, обутый в тяжелые деревянные башмаки, мальчик стоял перед ним с почтительным видом, словно перед самим королем.

— Ты хороший мальчик, — сказал судья. — Ты вежливый мальчик! Твоя мать, верно, на реке, полощет белье; туда ты и направляешься, и несешь кое-что в кармане. Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя тут?

— Шкалик, — вполголоса испуганно отвечал мальчик.

— А утром ты ей отнес столько же, — продолжал тот.

— Нет, то было вчера! — сказал мальчик.

— А два шкалика — это полштофа!.. Пропащая она женщина! С этим простонародьем одна беда!.. Постыдилась бы твоя мать, так ей и передай! Да смотри, сам не сделайся

пьяницей, но, скорей всего, так оно и будет!.. Несчастный ребенок!.. Ну уж, ступай!

И мальчик пошел дальше; он не стал надевать фуражку, и ветер трепал его длинные светлые волосы. Он свернул за угол и спустился проулком к реке, где его мать стояла в воде перед табуреткой и колотила вальком по тяжелой льняной простыне; течение было сильное, ведь мельничные шлюзы были подняты, простыню сносило, табуретка грозила вот-вот опрокинуться; прачка с трудом удерживала ее.

— Я, того и гляди, уплыву! — сказала она. — Хорошо, что пришел, мне пора уже чуток подкрепиться! Вода студеная; я простояла здесь шесть часов. Ты мне чего принес?

Мальчик достал бутылку, мать поднесла ее ко рту и отхлебнула глоток.

— До чего же славно! Враз согревает! Не хуже горячих харчей, вдобавок дешевле! Хлебни, мой мальчик! Ты такой бледный и весь дрожишь! Да и то, платьишко на тебе легкое, а на дворе осень. Ух! Вода студеная, только б не захворать! Да я не захвораю! Дай-ка мне еще глотнуть и хлебни сам, но только капелюшечку, тебе не след к этому привыкать, бедное мое нищее дитятко!

Она обошла мостки, где стоял мальчик, и выбралась на берег; с циновки, которой у нее был обвязан пояс, ручьем стекала вода и ручьем лила с юбки.

— Я работаю не покладая рук, скоро у меня кровь из-под ногтей брызнет! Ну да это все равно, лишь бы я честным путем вывела тебя, мой миленький, в люди!

В это время к ним подошла пожилая женщина, бедно одетая, изможденная, хромая на одну ногу, и с большущим накладным локоном, спущенным на один глаз с целью его прикрыть, отчего изъян был еще заметнее. Это была прачкина товарка, Марен-Хромуша с Локоном, как прозывали ее соседи.

— Бедняжка! Работаешь не покладая рук, да еще стоя в холодной воде! Тебе и впрямь не мешает маленько хлеб-

нуть и согреться! А тебя этой каплею попрекают! — И Марен не замедлила передать прачке слова, с которыми судья обратился к мальчику; она же все слышала, и ее это рассердило: как он может говорить так с ребенком про его мать и поминать ту малость, что она выпивает, когда сам устраивает званый обед, на котором вина — море разливанное! — Доброго вина, крепкого вина! Тут не один хватит лишку! Но это у них не называется выпивать! Они — порядочные, а ты — пропащая!

— Так вот как он говорил с тобою, сынок! — сказала прачка, и губы у нее задергались. — Мать у тебя — пропащая! Может, он и прав! Только ему не след говорить такое ребенку! И сколько ж мне от этого семейства еще терпеть!

— Верно, вы же у них служили, у его родителей, когда они были еще в живых. Сколько уж лет прошло! А пудов соли съедено! Оно и немудрено, что охота пить! — И Марен рассмеялась. — У судьи сегодня званый обед, его бы надобно отменить, ан поздно, да и еда сготовлена. Я узнала это от ихнего дворника. С час назад пришло письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене.

— Умер! — воскликнула прачка и побледнела как смерть.

— Эва! — сказала Марен. — И чего так переживать! А-а, вы знавали его в те поры, когда были у них в доме служанкою.

— Так он умер! Лучше его и добрее я человека не знала! У Бога таких наберется немного! — И по щекам у нее побежали слезы. — Господи, как у меня кружится голова! Это оттого, что я выпила всю бутылку! А этого мне было нельзя! Как мне неможется!

И она привалилась к дощатому забору.

— Боже правый, да вы, матушка, совсем плохи! — сказала Марен. — Погодите, может, оно пройдет!.. Нет, вы и впрямь больны! Лучше-ка я сведу вас домой!

— А как же белье?

— Я о нем позабочусь! Берите-ка меня под руку! Мальчик пусть побудет здесь и постережет, а я приду достираю; тут и осталось-то всего ничего!

Ноги у прачки подкашивались.

— Уж очень я долго стояла в студеной воде! И во рту с утра маковой росинки не было! Меня всю ломает! Господи Исусе! Помоги мне дойти до дому! Бедное мое дитятко!

И она разрыдалась.

Мальчик заплакал, вскоре он сидел у реки один, присматривая за мокрым бельем. Женщины шли медленно, прачку пошатывало, из проулка они свернули на улицу; когда они поравнялись с домом судьи, прачка повалилась на булыжную мостовую. Вокруг собрался народ.

Марен-Хромуша побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна.

— Это прачка! — сказал он. — Хватила лишнего! Пропащая женщина! Жаль только ее красивого мальчика. Я к нему действительно расположен. А мать — пропащая!

Прачку привели в чувство, проводили до ее бедного жилища и уложили в постель. Добрая Марен приготовила ей чашку подогретого пива с маслом и сахаром, это было, по ее разумению, наилучшим лекарством, после чего отправилась на реку; белье она выполоскала из рук вон плохо, зато с душою; собственно, она просто-напросто вытащила мокрое белье на берег и покидала в корзину.

Под вечер она сидела у прачки в ее убогой каморке. Кухарка судьи дала ей для больной несколько картошек, обжаренных в жженом сахаре, и чудесный жирный кусок ветчины. Все это уплели мальчик с Марен; больная же лакомилась запахом, он до того питательный, сказала она.

Потом мальчик улегся на ту же самую постель, где лежала и его мать, только спал он у нее в ногах, поперек, и укрывался старым половиком, сшитым из синих и красных лоскутьев.

Прачке чуточку полегчало; ее подкрепило горячее пиво, и подбодрил запах вкусной еды.

— Спасибо тебе, добрая ты душа! — сказала она Марен. — Так и быть, я все тебе расскажу, когда мальчик уснет! По-моему, он уже спит! Глазки закрыты, ну до чего же он мил! Он и не знает, каково приходится его матери! Не дай бог ему когда-нибудь такое изведать!.. Я служила в доме у коллежского советника и советницы, родителей судьи, и вот случись так, что младший из сыновей, студент, приехал домой на побывку; в ту пору я была молодая да шалая — но честная, это я говорю как перед Господом Богом! — сказала прачка. — Студент был ну такой веселый и улыбчивый, такой славный! А уж добрый и порядочный до мозга костей! Лучше его человека на земле не было. Он — хозяйский сын, а я — простая служанка, но мы полюбили друг дружку и обручились, все честь по чести. Ведь поцеловаться разок не грех, коли взаправду друг друга любишь. И он рассказал о том своей матери; он почитал ее все равно что Господа Бога! Она была до того умная, сердечная и душевная!.. Он уехал, а перед тем надел мне на палец свое золотое кольцо. Он был уже далеко, и тут меня призвала к себе хозяйка; вид у нее был строгий и вместе мягкий, и ее устами как будто говорил Господь Бог; она разъяснила мне, какая нас с ним разделяет пропасть. «Он глядит сейчас на твое пригожее личико, но красота пройдет! Ты не образованна, как он, вы не будете равными в царстве духа, в этом-то вся и беда. Я уважаю бедных, — сказала она, — у Господа они, быть может, поставлены будут выше, чем многие из богатых, но здесь, на земле, негоже сворачивать с накатанной колеи, раз едешь вперед, не то повозка перевернется, так оно будет и с вами! Я знаю, что к тебе сватался один честный, хороший человек, у которого есть ремесло, — Эрик-перчаточник, — он вдовец, бездетный, живет в достатке, подумай над этим!» Каждое ее слово было мне — нож в сердце, но ведь она была права! И так это меня удручило и сокрушило! Я поцеловала ей руку

и горько заплакала, а еще горше плакала, когда вернулась к себе в каморку и бросилась на постель. Тяжкую я провела ночь, одному Господу ведомо, как я мучилась и боролась сама с собою. Ну а в воскресенье я пошла к причастию, чтобы Господь просветил мою душу. И мне словно бы явилось знамение: когда я выходила из церкви, мне повстречался Эрик-перчаточник. Тут уж я больше не сомневалась, мы были ровнею, вдобавок он человек зажиточный, и тогда я подошла к нему, взяла за руку и сказала: «Ты меня все еще любишь?» — «Да, — говорит, — и буду любить по гроб!» — «Возьмешь ли за себя девушку, которая тебя уважает и почитает, но не любит, но это, может статься, придет!» — «Это придет!» — сказал он, и мы пожали друг другу руки. Я отправилась домой к хозяйке; золотое кольцо, что мне дал ее сын, я носила у себя на груди, я не смела надевать его днем на палец, а надевала лишь вечером, когда ложилась в постель. Я поцеловала кольцо, да так крепко, что из губ у меня пошла кровь, а потом отдала его хозяйке и говорю: на той неделе меня с перчаточником огласят в церкви. Тут хозяйка обняла меня и поцеловала... она вот не говорила, что я пропащая, только в ту пору я, может, и впрямь была лучше, но и то, на меня еще не свалилось столько невзгод. Свадьбу мы справляли на Сретенье; и первый год прожили хорошо, мы держали подмастерья и мальчика, а еще у нас служила ты, Марен.

— И славной же вы были хозяйкой! — сказала Марен. — Век буду помнить, какие вы с мужем были ласковые и добрые!

— Так ты и жила с нами в хорошие времена!.. Детей у нас тогда не было... Студента я больше так и не видела!.. Нет, видела, это он меня не видел; он приезжал на материны похороны. Он стоял у ее могилы, белый как мел и до того печальный, но это он горевал по матери. А когда умер его отец, он был в чужих краях и сюда не приехал да и после ни разу здесь не бывал. Он так и не женился, это я знаю... По-мое-

му, он стал присяжным поверенным!.. Куда ему меня помнить; а если б он меня даже и увидал, то уж наверняка не признал бы, такая я стала уродина. Да так оно и к лучшему!

И она принялась рассказывать про тяжкие дни испытаний, когда на них одно за другим стали обрушиваться несчастья. У них было пятьсот ригсдалеров, а в их улице продавался дом за двести — была прямая выгода сломать его и поставить новый, вот они этот дом и купили. Каменщик с плотником составили смету, постройка должна была обойтись в тысячу двадцать ригсдалеров. Кредит у Эрика был, его ссудили деньгами из Копенгагена, но шкипер, который должен был их привезти, пошел ко дну, вместе со всеми деньгами.

— А я как раз родила моего милого мальчика, что здесь спит... Отца нашего одолела тяжелая, затяжная болезнь; девять месяцев я его и раздевала, и одевала. Дела у нас покатились под гору, мы все занимали да занимали; остались голые-босые и потеряли отца!.. Ради ребенка я работала не покладая рук, не разгибая спины, мыла лестницы, стирала белье, и грубое, и тонкое, но Господу, видать, не угодно, чтобы я выкарабкалась; ну да он меня развяжет и порадеет о мальчике.

И она заснула.

Поздним утром она почувствовала себя бодрее и решила, что у нее достанет сил пойти на реку. Но едва она зашла в холодную воду, как ее охватила дрожь, она начала обмирать; судорожно хватая рукою воздух, она шагнула к берегу — и упала. Голова ее оказалась на земле, а ноги — в воде, деревянные башмаки — в каждый был вложен пучок соломы — поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

Судья посылал к ней домой человека передать, чтобы она тотчас же шла к нему, у него к ней дело. Слишком поздно! Привели цирюльника, чтоб отворил ей кровь, но прачка уже скончалась.

— Ее погубило пьянство! — сказал судья.

В письме с извещением о смерти младшего брата передано было и содержание завещания, где говорилось, что вдове перчаточника, служившей когда-то у родителей покойного, отказано шестьсот ригсдалеров. Деньги эти должны выдаваться вдове и ее сыну частями, большими или меньшими, — как сочтут лучшим.

— Никак у моего брата с ней были шашни! — сказал судья. — Хорошо, что она убралась на тот свет; теперь все получит мальчик, я пристрою его в порядочную семью, из него может выйти хороший ремесленник!

И в последние его слова Господь вложил Свое благословение.

И судья призвал к себе мальчика, и пообещал о нем позаботиться, и сказал ему, хорошо, что его мать умерла, она же была пропащая!

Ее снесли на кладбище, кладбище для бедных; Марен посадила на могиле розовый кустик, мальчик стоял с ней рядом.

— Милая моя матушка! — сказал он, заливаясь слезами. — Она что, правда, была пропащая?

— Неправда! — ответила старая девушка, подняв глаза к небу. — Я знала ее много лет, а еще лучше узнала в последнюю ночь. Говорю тебе, она была достойная женщина! И Господь в Царствии Небесном тоже так скажет, а люди пускай себе называют ее пропащею!

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЛ

То был богатый дом, счастливый дом; все в нем: и господа, и прислуга, с друзьями вкупе, блаженствовали и радовались — там родился на свет наследник, сын; и мать, и дитя пребывали в добром здравии. Лампа в уютной спальне была полуприкрыта; тяжелые, дорогого шелка занавеси на окнах плотно задернуты. Пол устилал толстый, мягкий, как мох, ковер, все располагало к дремоте, ко сну, к отдохновению, вот сиделка и заснула, но ей это не возбранялось; все здесь было благополучно и благословенно. Гений дома стоял в изголовье кровати; над ребенком, лежащим у материнской груди, как будто бы раскинулась сеть искрящихся звезд, до того ярких! То были перлы счастья. Добрые феи жизни все до одной принесли свои дары новорожденному: здесь искрились здоровье, богатство, счастье, любовь — словом, все, что только люди могут пожелать себе на земле.

— Он наделен всем! — сказал гений.

— Нет! — прозвучал голос рядом, то заговорил ангел-хранитель ребенка. — Одна фея не принесла еще своего дара, но она принесет его, принесет рано или поздно, пусть даже пройдут года. Здесь недостает последнего перла!

— Как недостает? Это никуда не годится! Если оно действительно так, давай отыщем эту могущественную фею, идем же к ней!

— Она явится, явится рано или поздно! Без ее перла не соединить концы ожерелья!

— Где ж она обитает? Где ее дом? Скажи мне, и я пойду и добуду сей перл!

— Ну раз ты этого хочешь! — сказал ангел-хранитель. — Я отведу тебя к ней, туда, где ее можно застать! Она нигде не задерживается подолгу, она заглядывает во дворец императора и к самому нищему из крестьян, она не минует ни одного человека и всем приносит свой дар, будь то целый мир или же бирюльки. Наведается она и к этому ребенку. Ты, верно, думаешь, мы теряем драгоценное время, что ж, пойдем добудем сей перл, последний перл в этой сокровищнице даров!

И рука об руку полетели они туда, где в тот час пребывала фея.

То был большой дом с темными коридорами, пустыми комнатами и удивительно тихий; ряд окон был отворен, и с улицы тянуло сыростью; длинные, до полу, белые занавеси колыхались на сквозняке.

Посреди комнаты стоял гроб без крышки, в нем покоилась совсем еще молодая женщина. Она была убрана чудеснейшими свежими розами, открытыми оставались лишь сложенные на груди тонкие руки и благородное, просветленное таинством смерти лицо, на котором застыло строгое, торжественное выражение глубокой веры.

Гроб обступили муж и дети покойной, мал мала меньше, младшенького отец держал на руках; они пришли сказать последнее прости. И муж поцеловал ее руку, что походила теперь на увядший лист, а прежде была сильной и крепкой и простирала на них заботливую любовь. Соленые тяжелые слезы падали на пол крупными каплями, однако никто не проронил ни слова. Молчание таило беспредельную боль. Рыдая, тихо удалились они из комнаты.

Там горела свеча, пламя на ветру дрогнуло и выбросило длинный красный язык. Вошли чужие люди, закрыли гроб,

стали его заколачивать, стук молотка гулко отдавался в коридорах и комнатах, отдавался в сердцах, что обливались кровью.

— Куда ты привел меня? — спросил гений. — Здесь нет никакой феи, чей перл принадлежит к лучшим из даров жизни!

— Здесь она пребывает, в этот священный час, — сказал ангел-хранитель и указал на угол. Там, где при жизни в окружении цветов и картин сиживала мать семейства, и, как благоволящая фея домашнего очага, ласково кивала мужу с детьми и друзьям, и, как луч солнца, разливала в доме радость, и сплачивала семью, и была средоточием всего и вся, — там сейчас сидела чужая женщина, облаченная в длинное свободное одеяние. То была Скорбь, она воцарилась здесь, заступив место умершей матери. Горючая слеза скатилась ей на колена и превратилась в перл; он переливал всеми цветами радуги. Ангел схватил его, и перл заискрился подобно семицветной звезде.

— Перл скорби, последний, без коего нельзя обойтись! Он оттеняет блеск и могущество остальных. Видишь в нем сияние радуги, той, что соединяет землю и небо? Теряя всякий раз кого-то из близких, мы обретаем на небесах еще одного друга, с которым мы жаждем встретиться. В земной ночи мы обращаем взгляд к звездам, к совершенному! Вглядись же в перл скорби, в нем заключены крылья Психеи, что уносят нас из этого мира!

ДВЕ ДЕВИЦЫ

Ты когда-нибудь видел девицу? То есть так ее называют мостовщики, они трамбуют ею булыжную мостовую. Она вся из дерева, внизу широкая, и подол схвачен железными обручами, а вверху узкая, и там продета палка, это ее руки.
Две такие девицы стояли во дворе материального склада, а стояли они рядом с лопатами, саженями и тачкой. И вот прошел слух, что девица впредь будет зваться не девицей, а штемпелем, это — наиновейшее и единственно правильное в мостильном деле обозначение для инструмента, который все мы спокон веку именуем девицею.

Нынче среди нас, людей, водятся, что называется, эмансипированные женщины, к каковым относятся директрисы учебных заведений, акушерки, танцовщицы, способные исправлять должность на одной ноге, модистки и сиделки, и вот к этим-то «эмансипированным» и примкнули две девицы с материального склада; они числились девицами при управлении дорожных работ, так неужто же они променяют свое доброе старое имя на штемпель!

— Девица — имя людское, — говорили они, — а штемпель — это вещь, и мы не позволим, чтобы нас называли вещью, это все равно что ругательство!

— Мой жених, чего доброго, со мною порвет! — сказала младшая, которая была обручена с копром, это такая большая машина для забивания свай, иными словами, копёр выполняет ту же работу, что и девица, только потяжелее. — Он хочет взять в жены девицу, а вот нужен ли ему штемпель, это еще неизвестно, короче, я себя переименовывать не позволю!

— И я тоже! Да я скорее дам себе обрубить обе руки! — сказала старшая.

Тачка же придерживалась иного мнения, а тачка вам не кто-нибудь — будучи об одном колесе, она почитала себя на четверть каретою.

— Должна вам сказать, что девица — название довольно-таки заурядное и далеко не такое благородное, как штемпель, ведь тот, кто называется штемпелем, попадает в разряд печатей. Подумайте только о сургучной печати, которая придает силу закону! На вашем месте я бы переменила имя!

— Никогда! Я для этого слишком стара! — сказала старшая.

— Вы, похоже, ничего не знаете о «европейской необходимости», — заметила старая честная сажень. — Надо уметь себя ограничивать, приспосабливаться, подчиняться требованиям времени и обстоятельствам, и если вышел закон, по которому девица должна называться штемпелем, то она и должна называться штемпелем! Нельзя же все мерить своею меркой!

— Тогда уж лучше, — сказала младшая, — пусть меня называют барышней, на худой-то конец, ведь барышня всегда отзывает девицей!

— А меня так пусть лучше изрубят в щепки! — сказала старшая.

Пора было за работу; девицы поехали — их всегда возили на тачке, так что пожаловаться на плохое обхождение они не могли, вот только их начали называть штемпелями.

— Дев!.. — сказали они, бухнув по мостовой. — Дев!.. — Они хотели было полностью выговорить: «девица», но спохватились и замолкли на полуслове, решив, что отвечать им вовсе необязательно. Ну а друг дружку они неизменно величали девицами и превозносили доброе старое время, когда всякую вещь называли ее прямым именем, и ежели ты девица, то тебя и звали девицей; так они в девицах обе и остались, ведь копёр, ну тот, что забивал сваи, и в самом деле взял да и порвал с младшею, не захотел якшаться со штемпелем.

НА КРАЮ МОРЯ

К Северному полюсу было послано несколько больших кораблей, чтобы установить, где кончается суша и начинается океан, и разведать, как далеко могут проникнуть на север люди. Долго-предолго, одолевая великие трудности, пробивались они сюда сквозь туманы и льды; и вот настала зима, солнце скрылось, воцарилась длинная-предлинная ночь; все вокруг было сковано льдом; корабли все до одного оказались намертво пришвартованы; навалило снегу, и из снега были поставлены дома-ульи, некоторые побольше, с наши курганы, другие — всего-навсего на двух—четырех человек; но только темно там не было, там светило, переливаясь красным и синим, северное сияние, то был великолепный нескончаемый фейерверк, и снег сверкал, и ночь казалась длинной пламенеющею зарею; в самые светлые часы наезжали гурьбой туземцы в диковинных одеждах из мохнатых шкур, в санках, сбитых из льдин; они привозили груды мехов, благодаря им в снежных домах появились на полу теплые ковры; меха служили матросам и подстилками, и одеялами, которыми они укрывались, засыпая под снежным куполом; а снаружи трещал мороз, какого у нас не бывает даже в самую суровую зиму. У нас все еще стоит осень, думалось им. И вспоминались яркое солнце и красно-желтая листва на деревьях. Часы пока-

зывали, что наступил вечер и пора спать, и в одном из снежных домов двое уже улеглись на покой; у младшего было с собой самое его большое сокровище, Библия, которую перед отплытием дала ему на прощание бабушка. Каждую ночь он клал ее себе под изголовье, она была знакома ему с детских лет; каждый день он прочитывал из нее отрывок и не раз, лежа на своем ложе, находил утешение в словах Святого Писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя!» Под эти слова истины и веры он закрыл глаза и уснул, и увидел сон, то было откровение духа в Боге; душа его бодрствовала, пока отдыхало тело, он это чувствовал, это было как мелодии старых, милых сердцу, знакомых песен; его овевало ласковым-преласковым, по-летнему теплым воздухом, со своего ложа он видел над собою сияние, словно снежный купол пронизали лучи извне; он поднял голову: сияющая белизна была — не стены и потолок, а огромные крылья за плечами у ангела, и, возведя глаза, он посмотрел ему в ласковый, светлый лик. Ангел поднялся со страниц Библии, как из чашечки лилии, и распростер свои крылья, и стены снежной хижины осели легчайшею пеленою тумана; вокруг, озаренные тихим солнечным светом погожего осеннего дня, расстилались родные зеленые поля, подымались холмы, темнели бурые леса; аистиное гнездо пустовало, но на дикой яблоне еще висели яблоки, хоть листья и облетели; шиповник пламенел ярко-красными ягодами, в маленькой зеленой клетке над окном деревенского дома, родимого дома, свистел скворец, свистел так, как выучили, а на прутьях клетки бабушка развешивала пташью мяту, как это обыкновенно делал ее внук; у колодца стояла молоденькая дочь кузнеца, до того красивая! Она вытащила полное ведро и кивнула бабушке, а та поманила ее и показала письмо, пришедшее издалека; оно прибыло этим утром из холодных краев, с самого Северного полюса, где внук ее был — в Божьих руках... И они смеялись

и плакали, а он, во льдах и снегах, пребывая в мире духа, осененный крылами ангела, все это видел и слышал, и смеялся, и плакал вместе с ними. Письмо было прочитано вслух, даже слова из Библии: «переселюсь на край моря, и там удержит меня десница Твоя!» И все кругом словно бы пело чудесный псалом, и ангел укрыл спящего своими крылами, словно бы опуская завесу... Сон кончился... в снежном доме стало темно, но под головою у юноши лежала Библия, а в сердце жили вера с надеждою; Бог был рядом, и родной дом был рядом — «на краю моря»!

СВИНЬЯ-КОПИЛКА

В детской было полно игрушек; а наверху, на шкафу, стояла копилка, она была сделана из глины в виде свиньи, и в спине у нее, разумеется, была щель; щель эту ножом немножко расширили, чтоб туда можно было пройти и серебряным далерам, и два таких далера уже успели попасть вовнутрь, не считая множества мелких монеток. Свинья-копилка была до того набита, что даже перестала позвякивать, а это для всякой свиньи-копилки — мерило успеха. Вот она и стояла на шкафу и свысока на всех посматривала, она прекрасно понимала, содержимого ее брюха хватит, чтобы скупить все и вся, а сознавать такое всегда приятно.

Другие тоже об этом думали, хотя и не высказывались — у них и без того было о чем говорить. Ящик комода был выдвинут, там лежала большая кукла, не первой молодости и с заклепкой на шее; она встала и, выглянув из ящика, сказала:

— Будем играть в людей, все ж какое-никакое занятие!

Тут все оживилось, картины и те повернулись лицом к стене — чтоб показать: у них есть и оборотная сторона, а вовсе не из чувства противоречия.

Дело было посреди ночи, в окно светила луна, так что свет был бесплатным. Игра должна была вот-вот начаться, приглашены были все, даже детская коляска, которая вообще-то относилась к игрушкам попроще. «Неуклюжа да дюжа! —

говаривала она. — Не всем же быть барами! Кому-то, как говорится, надобно приносить и пользу!»

Свинья-копилка была единственной, кто получил письменное приглашение, по их разумению, она стояла слишком высоко, чтоб расслышать устное, но она так и не дала ответа, спустится ли вниз, иначе спустилась бы! Если она захочет, рассудили они, пусть участвует в игре, не сходя со своего места, а уж они приспособятся. Так они и сделали.

Кукольный театрик тотчас установили напротив шкафа, чтобы ей было видно все как на блюдечке; решили, что начнут с комедии, а после будут чай и упражнение на смекалку, с него-то они сразу и начали; лошадка-качалка заговорила о тренинге и чистокровках, детская коляска — о железных дорогах и силе пара, — все это были вещи, которые имели отношение к их профессии и о которых они могли рассуждать. Стенные часы коснулись политики-тики-тики! Они шли в ногу со временем, хотя и считалось, что они отстают. Камышовая тросточка щеголяла своим железным башмачком и серебряным чепчиком — вот у кого достаток! На диване лежали две вышитые подушки, хорошенькие и глупые... Итак, можно было начинать комедию.

Все сидели и смотрели; зрителей просили хлопать, стучать и щелкать сколько душе угодно. Но манежный хлыстик заявил, что он ударяет только за девицами на выданье и никогда — за старухами.

— Я хлопаю всем! — сказала хлопушка.

— Где-то же мне должно быть место! — сказала плевательница. То же самое думали и остальные зрители.

Пьеса никуда не годилась, зато была хорошо разыграна; все актеры показывали себя лишь с красочной стороны, на них надо было смотреть с лица, но никак не с изнанки; играли они все замечательно и даже сошли со сцены, благо позволяли длинные нитки, но тем лучше их было видно. Большая кукла до того растрогалась, что у нее отошла заклепка,

свинья-копилка растрогалась на свой лад и решила сделать что-нибудь для одного из актеров, а именно — включить его в свое завещание, с тем чтобы его вместе с нею похоронили в церкви, когда придет время.

Все получили истинное наслаждение и решили поэтому обойтись без спитого чая и продолжить упражнение на смекалку, это называлось играть в людей, причем они не имели в виду ничего плохого, они всего лишь играли... и каждый думал о себе, а еще о том, что думает свинья-копилка, а свинья-копилка заглядывала далеко-далеко вперед — ведь она обдумывала свое завещание и похороны... а когда они состоятся... что бывает всегда неожиданно... Бряк! — и она свалилась со шкафа на пол и разлетелась вдребезги, и монетки пошли кружиться и прыгать: мелкие — вертелись, большие — катились, дальше всех укатился один серебряный талер, ему не терпелось повидать белый свет. И он таки его повидал, и остальные монетки — тоже, а осколки свиньи-копилки очутились в помойном ведре, ну а на шкафу на следующий день стояла новая глиняная свинья-копилка, в ней не было еще ни единого скиллинга, и потому она не могла позвякивать, чем и походила на свою предшественницу, а это неплохое начало — на том мы и закончим!

ИБ И КРИСТИНОЧКА

Близ реки Гудено, в Силькеборгском лесу, подымается гряда холмов, что походит на большой вал, а зовется Кряжем, у его подошвы, на западной стороне, стоял да и поныне еще стоит крестьянский домик; земля там скудная, сквозь тощую рожь и ячмень просвечивает песок. С тех пор уж прошло много лет; у людей, что там жили, было маленькое поле, кроме того, они держали трех овец, свинью и двух волов; короче, жили сытно, если, конечно, довольствоваться тем, что есть; пожалуй, они могли б поднатужиться и завести пару лошадей, но они рассуждали, как и прочие тамошние крестьяне: «Лошадь что жернов: все мало корму!» — от нее не столько прибытку, сколько убытку. Йеппе-Йенс обрабатывал летом свою делянку, а зимою споро мастерил деревянные башмаки. Ему пособлял работник, тот умел вырезывать башмаки, которые были и крепкими, и легкими, и фасонистыми; резали они и ложки с половниками; деньга на деньгу набегала, так что Йеппе-Йенса нельзя было назвать бедняком.

Маленький Иб, мальчуган семи лет, единственный в доме ребенок, глядючи на взрослых, тоже принялся резать щепку, а заодно и пальцы; но в один прекрасный день он вырезал две чурочки, которые походили на крошечные башмачки; это, сказал он, будет в подарок Кристиночке, а Кристиночка была маленькая дочка барочника, прехорошенькая и нежная,

прямо как барское дитя; разодень ее в шелк и бархат, никто бы и не поверил, что родилась она в доме с дерновой кровлею на вересковой пустоши Сайсхеде. Там жил ее отец, который был вдов и кормился тем, что сплавлял на своей барке дрова из лесу на Силькеборгские угриные тони, а частенько и дальше, в Раннерс. Кристиночку, годом младше Иба, оставлять ему было не на кого, и потому она почти всегда находилась при нем, на барке или же на пустоши, среди кустов вереска и брусники; когда же он собирался плыть до самого Раннерса, то отводил Кристиночку к Йеппе-Йенсу.

Иб и Кристиночка друг с дружкою ладили и за игрою, и за едою; они рылись и копались, ползали и шастали, а раз даже отважились одни-одинехоньки взобраться чуть ли не на самую вершину Кряжа, и забрели в лес, и нашли там вальдшнепьи яйца, это было целое событие!

Иб никогда еще не бывал на пустоши и никогда не плавал на барке через озера по Гудено, теперь ему все это предстояло; барочник пригласил его прокатиться и накануне вечером взял к себе.

Ранним утром дети сидели уже на высокой поленнице, жуя хлеб с малиною; барочник и его помощник шли на шестах по течению, барка быстро подвигалась вниз по реке, минуя озера, которые словно бы укрывались за лесом и тростником, и, однако же, проход неизменно отыскивался, пусть даже старые деревья и клонились к самой воде, а дубы тянули к ним сучья с обломанною корою — они как будто засучили рукава, выставляя напоказ свои узластые голые руки! Старые ольхи с подмытых откосов крепко держались корнями за дно, образуя маленькие лесные островки; на воде покачивались кувшинки; это было чудесное плаванье!.. И вот они добрались до угриных тоней, где вода бурлила в открытые шлюзы; Ибу с Кристиночкой было на что посмотреть!

В ту пору здесь еще ни фабрики, ни города не было, а стоял только старый скотный двор, и скотины там держали не-

много, место главным образом оживлялось шумом падавшей в шлюзы воды да кряканьем диких уток. Когда дрова были сгружены, отец Кристины купил большую низку угрей и свежезаколотого поросенка, все это было уложено в корзину и поставлено на корму. Домой они шли уже против течения, зато по ветру, и, подняв парус, поплыли так, как если бы у них были в упряжке две лошади.

Когда барка достигла леса и оказалась возле того места, откуда помощнику Кристининого отца было рукой подать до дому, взрослые сошли на берег, наказав детям не баловать и сидеть смирно, только долго те усидеть не могли, им непременно нужно было заглянуть в корзину, куда были упрятаны угри и поросенок, а поросенка они должны были непременно вытащить и подержать, а так как подержать хотелось обоим, то они его уронили прямо в воду; его подхватило течение, это было ужасное происшествие!

Иб спрыгнул на берег и отбежал в сторону, вслед за ним спрыгнула и Кристина.

— Возьми меня с собой! — закричала она, и вот они уже скрылись в кустах, откуда было не видно ни барки и ни реки; они пробежали еще немножко, тут Кристина упала и заплакала; Иб ее поднял.

— Идем со мной! — сказал он. — Дом стоит вон там!

Но дом стоял не там. Они шли и шли по жухлым листьям и сухому хворосту, что трещал под их маленькими ножонками; вдруг до них донесся громкий крик — они остановились, прислушались; тут заклектал орел, до того зловеще, они насмерть перепугались, но прямо перед ними, в глубине леса, росла чудеснейшая черника, в невероятном количестве, ну как тут было не остаться и не полакомиться, они и остались, и лакомились, и рот и щеки у них сделались синими-синими. Вдруг снова послышался крик.

— И всыпят же нам за поросенка! — сказала Кристина.

— Давай пойдем к нам! — сказал Иб. — Это здесь, в лесу!

И они пошли; они выбрались на проезжую дорогу, только домой она не вела; стемнело, им стало боязно. Вокруг стояла странная тишина, которую нарушали лишь противное уханье большой ушастой совы и голоса неведомых птиц; под конец они застряли в кустарнике, Кристина заплакала, Иб тоже; поплакав, они улеглись на листьях и заснули.

Солнце стояло высоко, когда они пробудились; они озябли, но рядом, на холме, солнце просвечивало между деревьями, там они могли обогреться и оттуда, подумал Иб, они наверняка увидят его родительский дом; но они были далеко от дома, совсем на другом краю леса. Взобравшись на вершину холма, они очутились на обрыве, над чистым, прозрачным озером; там под лучами солнца стаей ходила рыба. Они и не ожидали такое увидеть, а совсем рядом рос большой куст, весь в орехах, на нем было целых семь гранок; они принялись рвать орехи, и щелкать их, и выбирать молочные ядрышки, которые начали созревать, — тут их поджидала еще одна неожиданность, их даже страх взял. Из-за куста появилась высокая старуха со смуглым-пресмуглым лицом и черными-пречерными лоснящимися волосами; белки ее глаз сверкали, как у негра; за плечами у нее была котомка, в руке — суковатая палка; это была цыганка. Дети не сразу поняли, что она говорит; а она вынула из кармана три крупных ореха, в каждом, сказала она, хранятся чудесные вещи, это орехи волшебные.

Иб посмотрел на нее, вид у нее был предобрый, тогда он собрался с духом и спросил, не даст ли она ему эти орехи, и старуха отдала и нарвала с куста еще и набила ими полный карман.

Иб с Кристиною глядели во все глаза на три волшебных ореха.

— А вот в этом есть повозка, запряженная лошадьми? — спросил Иб.

— Там есть золотая карета, запряженная золотыми конями! — отвечала старуха.

— Давай его мне! — сказала Кристиночка, и Иб отдал, и старуха увязала его в Кристинин шейный платок.

— А в этом, там есть такая же хорошенькая косыночка, как у Кристины? — спросил Иб.

— Десять таких косынок, — отвечала старуха, — а еще красивые платья, чулки и шляпа!

— Тогда я хочу и этот! — сказала Кристина, и маленький Иб отдал ей и второй орех; третий же был мелковат и черен.

— Его оставь себе! — сказала Кристина. — Он тоже красивый.

— А что в нем? — спросил Иб.

— Самое для тебя лучшее! — отвечала старуха.

И Иб крепко зажал свой орех в руке. Старуха пообещала вывести их на дорогу к дому и повела, да только совсем не в ту сторону, однако же это еще не повод обвинять ее в том, что она намеревалась украсть детей.

В дремучем лесу им повстречался лесничий Крэн, который знал Иба, он-то и привел Иба с Кристиночкой домой, где за них сильно тревожились. Они получили прощение, хотя оба заслуживали хорошей порки, во-первых, за то, что упустили из рук поросенка, а еще за то, что взяли и убежали.

Кристина вернулась к себе на пустошь, а Иб остался в лесном домике; и первое, что он сделал тем вечером, — достал орех, в котором хранилось «самое лучшее»; он положил его между дверью и косяком, нажал, и тот раскололся, но внутри оказалось никакое не ядрышко, а что-то вроде нюхательного табака или же трухи, он, что называется, зачервивел.

«Так я и думал! — сказал себе Иб. — Разве в таком маленьком орешке поместилось бы "самое лучшее"! Вот и Кристине тоже не видать красивых нарядов и золотой кареты!»

Настала зима, настал новый год.

Прошло несколько лет. Иб начал уже ходить к пастору*, а тот жил от них очень неблизко. Тут к ним как-то раз пришел барочник и рассказал родителям Иба, что Кристиночка пой-

* Т.е. готовиться к конфирмации.

дет теперь в услужение и будет зарабатывать себе хлеб и что ей воистину посчастливилось, в такие она попала хорошие руки, к таким порядочным людям; подумать только, она устроилась к богатому трактирщику под Хернингом, что на западе; она будет там помогать хозяйке, а после, когда освоится и конфирмуется, они оставят ее у себя насовсем.

Иб и Кристина простились друг с дружкою: их уже называли сужеными; на прощание она показала ему два ореха, которые он отдал ей, когда они заблудились в лесу, и которые она сберегла, а еще сказала, что в сундуке у нее хранятся крошечные башмачки, что он вырезал и подарил ей мальчиком. И вот они расстались.

Иб конфирмовался, но остался при матери, он ведь куда как ловко вырезывал деревянные башмаки, ну а летом он обихаживал их маленькую делянку; больше матери помогать было некому: отец Иба умер.

Лишь изредка, да и то через письмоносца или торговца угрями, приходили известия о Кристине; у богатого трактирщика ей жилось хорошо, а когда она конфирмовалась, то написала отцу письмо, где передавала поклон Ибу и его матери; в письме говорилось о полдюжине новых сорочек и чудном платье, что ей подарили хозяин с хозяйкою. То были и в самом деле добрые вести.

Следующей весною погожим днем в дверь к Ибу с матерью постучались, это пришли барочник и Кристина; она приехала повидаться на день, воспользовалась оказией: ее подвезли до Тема и обещали захватить на обратном пути. Кристина стала красавицей, выглядела как настоящая барышня и была нарядно одета: все отменно сшито и ей к лицу. Она стояла в полном параде, Иб же был в старом будничном платье. Он потерял дар речи; он, правда, взял ее за руку и крепко сжал, он так искренне ей обрадовался, но язык ему не повиновался, а вот Кристиночка, та за словом в карман не лезла да еще взяла и поцеловала Иба прямо в губы.

— Ты что, не узнаешь меня? — сказала она.

Но даже когда они остались наедине и он все еще стоял и сжимал ее руку, он только и сумел что вымолвить:

— Ты теперь точно важная барыня! А я до того растрепанный! Как же я вспоминал тебя, Кристина! И старые времена!

И они рука об руку поднялись на Кряж, с которого им видна была река Гудено, а за нею — пустошь с высокими холмами, поросшими вереском. Иб все молчал, зато перед разлукой ему сделалось ясно, что Кристина должна стать его женой, ведь их сызмала называли сужеными, они были все равно что помолвлены, хотя ни он, ни она об этом не заговаривали.

Им осталось провести вместе считанные часы, ей же было надо возвращаться в Тем, откуда она рано поутру должна была выехать обратно на запад. Отец с Ибом проводили ее до Тема, дорогою им светил месяц, когда они добрались туда, Иб все еще держал, не мог выпустить Кристинину руку, глаза у него были такие ясные, а вот слова шли с языка туго, зато каждое было сказано от чистого сердца.

— Если ты не совсем привыкла жить на барскую ногу, — сказал он, — и если ты смогла бы жить у нас в доме, со мной, как со своим мужем, то когда-нибудь мы поженимся!.. Но мы можем маленько и обождать!

— Да, Иб, давай-ка погодим и посмотрим! — сказала она; а потом пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы.

— Я тебе доверяю, Иб! — сказала Кристина. — И, сдается мне, я тебя люблю! Но только дай мне подумать!

На том они и расстались. Иб сказал барочнику: они с Кристиной, считай что помолвлены, а барочник ответил, что ничего другого он и не ожидал; и он проводил Иба до дому и переночевал с ним в одной постели, и больше о помолвке говорено не было.

Прошел год; Иб с Кристиною обменялись двумя письмами; «твой до гроба!», «твоя до гроба!» — вот как они заканчивались. Однажды на пороге у Иба появился барочник, он пришел

передать ему поклон от Кристины; прочие же новости он выкладывать не спешил, но мало-помалу выяснилось, что дела у Кристины идут хорошо, даже отлично, ведь она красивая девушка, ее почитают и любят. Сын трактирщика приезжал навестить родителей; он служил в Копенгагене в каком-то важном месте, в *конторе*; Кристина ему понравилась, он тоже пришелся ей по душе, родители, похоже, не против, да только Кристине не дает покоя, что Иб, наверно, уж очень о ней много думает, вот она и решила оттолкнуть от себя свое счастье, заключил барочник.

Иб спервоначалу не проронил ни звука, хотя побелел, как скатерть, а потом качнул головой и сказал:

— Кристина не должна отталкивать от себя свое счастье!

— Напиши ей об этом два слова! — попросил барочник.

И Иб принялся за письмо, однако же никак не мог подобрать нужных слов, и он зачеркивал написанное и рвал написанное... Но под утро письмо к Кристиночке было готово, вот оно!

«Письмо, которое ты написала отцу, я прочел и вижу, что дела у тебя во всех отношениях идут хорошо и могут пойти еще лучше! Послушайся своего сердца, Кристина! И подумай хорошенько, что тебя ожидает, если ты за меня выйдешь! Ведь особых достатков у меня нет. Не думай обо мне и о том, каково мне, а думай о своем собственном благополучии! Ты со мною не связана никаким обещанием, а если ты в душе мне его и дала, то я тебя от него освобождаю. Да пребудут с тобой счастье и радость, Кристиночка! Господь, надо быть, даст утешение моему сердцу!

Твой навсегда закадычный друг,
Иб».

И письмо это было отослано, и Кристина его получила.

Под Мартинов день ее огласили невестой с церковной кафедры и в церкви на пустоши Сайсхеде, и в Копенгагене, где

проживал жених, туда-то она и отправилась вместе со своею хозяйкою, поскольку жениху, за множеством дел, было недосуг тащиться в Ютландию. Кристина уговорилась встретиться со своим отцом в деревне Фуннер, которая лежала у нее на пути и до которой ему было ближе всего добраться; там они и простились. Об этом было вскользь упомянуто, но Иб в ответ промолчал; он стал такой задумчивый, сказала его старая мать; это верно, он был задумчивый, оттого ему и вспали на ум три ореха, что он ребенком получил от цыганки, два он отдал Кристине, орехи те были волшебные, ведь в одном хранилась золотая карета с лошадьми, а в другом — чудеснейшие наряды; так оно и вышло! Все это великолепие и досталось ей нынче — в королевском Копенгагене! У нее все сбылось! А у Иба в орехе оказались лишь черная труха и земля. Самое для него лучшее, сказала цыганка... Что ж, и это тоже сбылось! Черная земля для него всего лучше. Теперь-то он понял, что она разумела: в черной земле, в глубокой могиле, вот где ему будет лучше всего!

Прошло несколько лет, всего несколько, но Ибу они показались долгими; старые трактирщик с хозяйкою умерли один за другим; все богатство, много тысяч ригсдалеров, отошло к сыну. Да, теперь у Кристины будет и золотая карета, и сколько хочешь нарядов!

Целых два года после того Кристина не давала о себе знать, а когда наконец отец получил от нее письмо, оно говорило отнюдь не о радости и довольстве. Бедная Кристина! Ни она, ни муж ее не умели распорядиться своим богатством, прожить легче, чем нажить, оно не пошло им впрок — они сами о том постарались.

А вереск и цвел, и засыхал; много зим подряд заметало снегом пустошь и Кряж, под прикрытием которого стоял домик Иба; засияло весеннее солнце, Иб начал пахать и отрезал плугом, как он сперва подумал, кусок от кремня, который вывернулся на поверхность большою черною стружкой; когда же

Иб дотронулся до него, то понял, что это металл, притом он ярко блестел в том месте, где его резануло лемехом. Это оказалось большое тяжелое золотое обручье, старинное; некогда здесь сравняли с землею курган, Иб нашел дорогое украшение из древней могилы. Он показал его пастору, и тот объяснил ему, какая это великолепная вещь, от него Иб пошел к уездному судье, который сообщил обо всем в Копенгаген и посоветовал Ибу самому отвезти туда драгоценную находку.

— Ты нашел в земле лучшее, что можно было найти! — сказал уездный судья.

«Лучшее! — подумалось Ибу. — Самое для меня лучшее... и в земле! Выходит, цыганка была права и насчет меня, если это и есть самое лучшее!»

И вот Иб отправился на шхуне из Орхуса в королевский Копенгаген; для него, который переправлялся лишь через Гудено, это было все равно что океанское плавание. Иб таки добрался до Копенгагена.

Ему выплатили стоимость найденного золота, это была изрядная сумма, шестьсот ригсдалеров. А потом Иб, лесной житель, пошел бродить по большому непроходимому Копенгагену.

Вечером, накануне того дня, когда он собирался с попутным судном вернуться в Орхус, он заплутался и пошел совсем не в ту сторону, в какую хотел, и, перейдя через Книппельсбро, оказался в Кристиановой гавани, вместо того чтобы попасть к валу у Западных городских ворот! Он и в самом деле двигался в западном направлении, но только не туда, куда нужно. На улице не было ни души. Тут из бедного дома вышла крошечная девочка; Иб спросил у нее дорогу; она остановилась, удивленно на него глянула и расплакалась. Тогда он спросил, в чем дело; она что-то сказала, чего он не разобрал, а когда оба они очутились под фонарем и свет от него упал на ее лицо, Ибу стало прямо не по себе, перед ним была вылитая Кристиночка, такая, какой он ее помнил со времен детства.

И он вошел вместе с этой девочкой в бедный дом и по узкой обшарканной лестнице поднялся на чердак, в маленькую, с косым потолком каморку. Там стоял тяжелый дух и царили потемки; в углу кто-то вздыхал и трудно дышал. Иб зажег серную спичку. На убогой постели лежала мать ребенка.

— Я могу вам чем-то помочь? — спросил Иб. — Девчурка за меня ухватилась, только сам я нездешний. Есть тут кто из соседей или кто-нибудь, кого я могу позвать?

И он приподнял ее голову.

Это была Кристина с пустоши Сайсхеде.

Дома, в Ютландии, имя ее не упоминалось годами, это бы смутило его покой, притом что доходившие туда слухи и вести были отнюдь не радостные: получив в наследство от родителей кучу денег, муж Кристины занесся да и пустись во все тяжкие; он оставил службу, путешествовал с полгода в чужих краях, вернулся, наделал долгов, однако ж кутил по-прежнему; воз кренился, кренился — и опрокинулся. Его развеселые друзья-собутыльники сказали хором, что он поделом наказан, вольно же ему было безумствовать!.. Однажды утром тело его обнаружили в канале в дворцовом парке.

Кристина была не жилица на этом свете; ее меньшее дитя, которому было всего несколько недель от роду, выношенное в богатстве, рожденное в бедности, уже лежало в могиле, с самою же Кристиною дела обстояли как нельзя хуже, она лежала, смертельно больная, заброшенная, в жалкой каморке, и если раньше, в молодые годы, на пустоши Сайсхеде, она еще могла бы перенести такое убожество, то теперь, привыкнув к лучшему, она от него горько страдала. Старшее дитя ее, тоже Кристиночка, голодала и холодала вместе с нею, это она привела Иба наверх.

— Я боюсь, что умру и оставлю ее, бедняжку, совсем одну! — простонала Кристина. — Куда ж она тогда денется?

И умолкла, на большее у нее не хватило сил.

Иб снова чиркнул спичкой и, отыскав огарок свечи, зажег его и осветил жалкую каморку.

Взглянув на маленькую девочку, Иб вспомнил Кристину в юности; ради Кристины он мог и позаботиться об этом чужом ребенке. Умирающая смотрела на него, глаза ее открывались все шире и шире!.. Узнала ли она его? Неизвестно; он не услыхал от нее ни слова.

*

То было в лесу возле Гудено, неподалеку от пустоши Сайсхеде; небо хмурилось, вереск уже отцвел, западные бури гнали желтую листву из лесу в реку и на другой берег, где на пустоши стоял дом под дерновой кровлею, где жили чужие люди; но у подошвы Кряжа, надежно укрытый за большими деревьями, стоял маленький домик, выбеленный и выкрашенный; в горнице, в печке, горели торфяные брикеты, в горнице было солнечно, ее озарял свет детских глаз, а из детских смеющихся красных уст слова сыпались весеннею трелью жаворонка, там кипели жизнь и веселье, там была Кристиночка; она сидела на коленях у Иба; Иб был ей за отца и за мать, тех ведь не стало, и для ребенка, и взрослого это было как сон; Иб хозяйничал в нарядном, хорошеньком домике, он был человек зажиточный; мать маленькой девочки покоилась на кладбище для бедных под королевским Копенгагеном.

Про Иба шла молва, что в мошне у него позванивает, он отрыл в земле золото, а вдобавок у него была и Кристиночка.

ХАНС ЧУРБАН

СТАРАЯ ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ЗАНОВО

За городом стояла старая усадьба, и жил в ней старый помещик, у которого было двое сыновей, с таким острым умом, что и вполовину хватило бы; они надумали посвататься к королевне, и это им не возбранялось — она велела объявить, что возьмет в мужья того, кто покажется ей самым речистым.

Двое братьев готовились в течение восьми дней, ровно столько у них оставалось времени, но и этого было достаточно, ведь они знали основы, а это немаловажно. Один вызубрил весь латинский словарь и местную газету за три года, причем одинаково шпарил что с начала, что с конца. Другой досконально изучил цеховые уставы и все, что положено знать всякому цеховому старшине, и счел, что может теперь поддерживать разговор о делах государства, а еще он умел вышивать подтяжки, такой он был искусник и щеголь.

— Королевна будет моей! — говорили оба.

И вот отец дал каждому по чудесной лошади; тому, кто вызубрил словарь с газетами, досталась вороная как смоль, а тому, кто превзошел все цеховые премудрости и вышивал, — белая как молоко, а потом они смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтоб были подвижнее. Вся прислуга высыпала во двор поглядеть, как они будут садиться на лошадей; и тут вдруг является третий брат, ведь их было трое, да только третий был не

в счет, потому что он не набрался учености, как другие два брата, почему они и прозвали его Ханс Чурбан.

— Куда это вы так вырядились? — спросил он.

— Мы едем ко двору, чтоб выговорить себе королевну! Ты что, не слыхал, о чем барабанили на всю страну?

И они все ему рассказали.

— Батюшки светы! Тогда и я с вами! — сказал Ханс Чурбан.

Братья засмеялись над ним и ускакали прочь.

— Отец, дай мне лошадь! — закричал Ханс Чурбан. — Мне пришла охота жениться! Возьмет она меня — хорошо! А не возьмет, все равно ее заполучу!

— Экий вздор! — сказал отец. — Никакой лошади я тебе не дам. Ты и говорить-то не умеешь! Не то что твои братья, эти хоть кого за пояс заткнут!

— Не дашь мне лошади? — сказал Ханс Чурбан. — Тогда я возьму козла, он мой собственный и вполне меня выдержит!

И он уселся верхом на козла, наддал ему в бока пятками и помчал по дороге. Ух, и несся же он!

— А вот и я! — крикнул Ханс Чурбан и запел так, что за версту слышно.

Братья же его ехали впереди шагом в полном молчании, им нужно было обдумать все удачные фразы, которые они собирались произнести, ведь они должны были быть как можно замысловатее!

— Э-гей! — крикнул Ханс Чурбан. — А вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И показал им дохлую ворону, которую подобрал.

— Чурбан! — сказали они. — На что она тебе?

— Я подарю ее королевне!

— Ну-ну! — сказали они и, посмеявшись, поехали дальше.

— Э-гей! А вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел, такое на дороге валяется не каждый день!

Братья снова обернулись посмотреть.

— Чурбан! — сказали они. — Это же старый деревянный башмак, к тому же без передка! Ты что, и его подаришь королевне?

— А как же! — сказал Ханс Чурбан.

Братья рассмеялись и поскакали прочь и уехали далеко вперед.

— Э-гей! Я тут! — крикнул Ханс Чурбан. — Нет, так продолжаться не может! Э-гей! Это же бесподобно!

— Ну чего ты еще там нашел? — спросили братья.

— Ох! — сказал Ханс Чурбан. — У меня даже и слов нету! И обрадуется же королевна!

— Ф-фу! — сказали братья. — Да это же грязь, которую вычерпали из канавы!

— Она самая! — сказал Ханс Чурбан. — И притом отменная, так и течет промеж пальцев!

И он набрал ее полный карман.

Тут братья поскакали во весь опор и, опередив его на целый час, подъехали к городским воротам. А там всем женихам выдавали порядковый номер и выстраивали их в очередь; они стояли по шесть человек в шеренге, да еще впритирку, так что им нельзя было и рукою пошевелить, и очень даже хорошо, иначе бы они пораздирали друг дружке платье, а все потому, что один стоял впереди другого.

Все прочие жители страны обступили дворец и толпились под окнами, желая поглядеть, как принимает женихов королевна. Стоило очередному жениху войти в залу, и он сразу терял дар речи.

— Не годится! — говорила королевна. — Вон!

И вот вошел тот из братьев, который знал наизусть словарь, только он все перезабыл, пока стоял в очереди, вдобавок половицы в зале скрипели, а потолок был зеркальный, и он видел самого себя вверх тормашками, а у каждого окна стояли по три писца, не считая цехового старшины, которые записывали все, что говорилось, для того чтобы это тут же

попало в газету, что продавалась на углу за два скиллинга. Это было ужасно, а ко всему еще там до того натопили печку, что труба раскалилась докрасна!

— Ну и жарища же здесь! — промолвил жених.

— Так ведь мой отец сегодня жарит петушков!

— Э-э! — Он запнулся, таких речей он не ожидал; он не нашелся, что сказать, потому что тщился сказать что-нибудь остроумное. — Э-э!

— Не годится! — сказала королевна. — Вон!

Пришлось ему удалиться.

Тут вошел второй брат.

— Ну и страшенная здесь жарища! — произнес он.

— Да, сегодня мы жарим петушков! — ответила королевна.

— Пету... что?! — пробормотал он, и все писцы записали: «Пету... что?!»

— Не годится! — сказала королевна. — Вон!

Тут явился Ханс Чурбан, он так прямо на козле в залу и въехал.

— Жарища здесь просто адова! — сказал он.

— Так ведь я сегодня жарю петушков! — ответила королевна.

— Вот и славно! — сказал Ханс Чурбан. — Тогда я, верно, смогу зажарить и мою ворону?

— Да на здоровье! — сказала королевна. — Только у вас есть, в чем жарить, а то у меня ни горшка, ни сковороды!

— Зато у меня есть! — отвечал Ханс Чурбан. — Вот посудина, да еще с оковкою!

Тут он вытащил старый деревянный башмак и сунул туда ворону.

— Да это целый обед! — сказала королевна. — Только где ж мы возьмем подливку?

— А у меня в кармане! — отвечал Ханс Чурбан. — Ее тут столько, что могу и отлить!

И отлил.

— Вот это мне нравится! — сказала королевна. — Ты за ответом в карман не лезешь! И у тебя хорошо подвешен язык! Тебя я и беру в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и попадет завтра в газеты? Видишь, у каждого окна стоят по три писца да еще старый цеховой старшина, и вот он-то всех хуже, потому что ничегошеньки не понимает!

Это она сказала, чтобы его напугать. И все писцы заржали и посадили на пол по кляксе.

— Стало быть, он важная птица! — сказал Ханс Чурбан. — Придется мне старшину угостить, да получше!

И, вывернув карман, он залепил ему лицо грязью.

— Отлично проделано! — сказала королевна. — Я бы так не смогла! Но я научусь!..

Вот так Ханс Чурбан и стал королем, заполучил жену и корону и сел на трон — мы узнали об этом прямо из газеты, которую печатает цеховой старшина, а на нее полагаться не следует!

«ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СЛАВЫ»

Есть такая старая сказка: «Тернистый путь славы для стрелка по имени Брюде, который добился-таки великой славы и почестей, но лишь после долгих и многих мытарств и невзгод». Иные из нас наверняка слышали ее в детстве, а может, прочли уже взрослыми и задумались о своем неприметном тернистом пути и «многих мытарствах». Сказка и быль до того похожи, только сказка находит свое гармоническое разрешение здесь, на земле, а быль чаще всего отодвигает его за пределы земной жизни, на потом, в вечность.

Всемирная история — это Laterna magica, волшебный фонарь, показывающий нам в ярких картинах на черном фоне эпохи, как брели тернистым путем славы благодетели человечества, мученики таланта.

Здесь высвечиваются все времена, все страны на одно лишь мгновенье, но ведь за этим мгновеньем — целая жизнь, целый человеческий век с борениями и победами; давайте же взглянем хотя бы на нескольких из этой процессии мучеников, которой, пока стоит земля, не будет конца.

Мы видим переполненный амфитеатр, Аристофановы «Облака» полны издевок и потешают толпу: со сцены осмеивается духовный и телесный облик самого выдающегося человека в Афинах, того, кто был народу щитом от тридцати

тиранов. Сократ, который в пылу битвы спас Алкивиада и Ксенофонта, который воспарил духом над богами древности, и сам находится среди зрителей; он поднялся со скамьи и выставил себя напоказ, чтобы смеющиеся афиняне могли судить, есть ли сходство между ним и представленной на сцене карикатурою: он стоит перед ними выпрямясь, он много выше их всех.

Тебе, сочная, зеленая ядовитая цикута, — а не оливе быть эмблемой Афин!

Пять городов оспаривали друг у друга право называться родиною Гомера, но это уж после того, как он умер, — а взгляните на него при жизни! Он скитается по этим городам, исполняя свои песни пропитания ради; мысль о дне грядущем убелила его власы! Он, величайший провидец, слеп и одинок, колючие тернии превратили одеяние первого из поэтов в рубище...

А песни его и доныне живы, и только в них продолжают еще жить древние боги с героями.

Одна за другой наплывают картины из полуденных стран и полуночных стран — столь удаленные друг от друга в пространстве и времени, они показывают все тот же отрезок тернистого пути к славе, на котором чертополох зацветает тогда лишь, когда надо украсить могилу.

Под пальмами шествуют верблюды, тяжело груженные индиго и прочими ценностями; они посланы правителем страны тому, чьи песни составляют радость народа, гордость страны; тот, кого зависть и клевета изгнали из отечества, он найден, караван приближается к маленькому городку, где он нашел пристанище; из ворот выносят бедно обряженного покойника — караван вынужден остановиться. Умерший — именно тот, кого они ищут: Фирдоуси. Тернистый путь славы пройден!

Африканец с грубыми чертами лица, толстыми губами, черной шапкой шерстистых волос сидит на мраморных ступенях

дворцовой лестницы в португальской столице и просит милостыню. Это верный раб Камоэнса, без него и тех медяков, что ему кидают, его хозяин, певец «Лузиад», умер бы с голоду.

Ныне на могиле Камоэнса стоит пышный памятник.

Еще одна картина!

За железными прутьями показывается человек, мертвенно-бледный, с длинной спутанной бородою. «Я сделал открытие, величайшее в мире! — кричит он. — А меня здесь гноят больше двадцати лет!» — « Кто это?» — «Помешанный! — отвечает сторож. — И чего только людям не втемяшится в голову! Он воображает, что можно передвигаться с помощью пара!» Саломон де Ко, который открыл силу пара и поделился своей догадкой в путаной речи, не понятой Ришелье, умирает, засаженный в дом умалишенных.

Вот стоит Колумб! Которого некогда донимали и дразнили уличные мальчишки, потому что он собирался открыть Новый мир, — он его открыл: праздничные колокола звонят в честь его победного возвращения, но еще громче звучат колокола зависти; первооткрывателю, который взял и подарил своему королю лежащее за морем американское эльдорадо, наградою стали железные цепи — те самые, что он завещал положить ему в гроб, они свидетельствуют о людской неблагодарности и отношении современников.

Картины вытесняют одна другую, странников на тернистом пути славы не счесть.

Вот он сидит, окутанный кромешною тьмой, он, кто измерил высоту лунных гор, проник в мировое пространство к планетам и звездам, он, могущественный, кто увидел и услышал в природе дух, кто восчувствовал, что земля под ним вертится, — Галилей. Ослепший, оглохший, сидит он на старости лет, пригвожденный терниями страданий, терзаясь своим отречением; у него вряд ли достанет сил поднять ногу, ту самую, коей он в минуту душевной муки, когда были зачеркнуты слова истины, топнул о землю, воскликнув: «А все-таки она вертится!»

Вот женщина с детской душою и пламенной верою: она несет впереди войска боевой стяг, она приносит отчизне победу и избавление. Посреди всеобщего ликования разводят костер: на нем сжигают Жанну д'Арк, ведьму... Да и последующее столетие оплевывает белую лилию: Вольтер, сатир остроумия, сочинил «La pucelle».

На Виборгском тинге датская знать сжигает свод королевских законов — они горят ярким пламенем, освещая эпоху и законодателя, бросая отблеск славы на темную башню, где сидит, протирая пальцем канавку в каменной столешнице, поседелый, согбенный узник, что повелевал некогда тремя королевствами, любимец народа, друг горожан и крестьян — Кристиан Второй. Тот, что был суров нравом в суровые времена. Историю его писали враги... Вспоминая его кровавое злодеяние, не забудем же о двадцати семи годах заключения.

Из Дании отплывает корабль, у высокой мачты стоит человек, он смотрит на Вен в наипоследний раз: Тихо Браге вознес имя Дании до самых звезд, ему же отплатили оскорблениями и злом... Он отправляется в чужую страну. «Небо есть повсюду, чего же мне больше!» — вот его слова; и он уплывает, самый знаменитый наш соотечественник, на чужбине его ждут почести и свобода.

«Свобода!.. О, хотя бы освободиться от невыносимой телесной боли!» — доносится до нас вздох из глубины времен. Кого же мы видим? Гриффенфельдта, датского Прометея, прикованного к скалистому острову Мункхольм.

Мы в Америке, у одной из больших рек, на берегу сгрудилась толпа. Судно способно плыть против ветра, не уступая стихиям; Роберт Фултон — имя того, кто верит, что это возможно. Судно отчаливает — и неожиданно останавливается; толпа смеется, освистывает его, родной отец Фултона и тот заодно со всеми: «Гордыня! Безумие! Поделом тебе! Запереть сумасброда!» Тут маленький гвоздик, который на мгновенье застопорил машину, ломается, колеса поворачиваются,

лопасти преодолевают сопротивление воды, судно плывет!.. Паровой челнок превращает часы в минуты, сокращая расстояния между странами.

Род человеческий! Способен ли ты понять все блаженство подобной минуты прозрения, когда дух осознает свою миссию, минуты, когда все раны, полученные на тернистом пути славы — пусть даже и по собственной вине, — заживляются и человек обретает здоровье, силу и ясность, дисгармония оборачивается гармонией, и людям открывается милость Божия — явленная одному, она простирается через него на всех!

И тогда тернистый путь славы предстает как нимб над землею; блажен, кто избран по нему странствовать и кто, ничем того не заслужив, выдвигается в строители моста между человеческим родом и Богом.

На могучих крылах вершит свой полет сквозь времена дух истории и — чтоб ободрить нас, утешить, умягчить и заставить задуматься — показывает в ярких картинах на фоне чернее ночи тернистый путь славы, который не завершается, как в сказке о стрелке, почестями и радостями в земной жизни, но уводит за ее предел, в вечность.

ЕВРЕЙКА

В школу для бедных ходила вместе с другими детьми маленькая еврейская девочка, до того смышленая и славная, способнее всех; но на одном уроке она не могла участвовать, это был Закон Божий, ведь она ходила в христианскую школу.

Ей дозволялось достать учебник и учить географию, или же решать задачу по арифметике, но задача быстро была решена, а урок выучен; перед ней, правда, лежала раскрытая книга, только она ее не читала, а сидела и слушала, и вскоре учитель заметил, что слушает она едва ли не внимательнее других.

— Читай свою книгу! — говорил он ей мягко и озабоченно, однако она не спускала с него своих черных лучистых глаз, тогда он спросил и ее, и она отвечала лучше, нежели все остальные. Она услышала, поняла и запомнила.

Отец ее был бедный, добропорядочный человек; отдавая ребенка в школу, он поставил условием, что ее не будут обучать христианской вере; отпускать ее с этого урока значило, быть может, дать повод к недовольству среди прочих детишек и всякого рода домыслам, и потому она на нем оставалась, но долго продолжаться так не могло.

Учитель пошел к ее отцу и сказал: или пусть тот забирает дочь из школы, или позволит ей стать христианкой.

— Я не в силах видеть эти горящие глаза, этот душевный порыв и жажду евангельского слова! — сказал учитель.

Отец разрыдался.

— Сам я мало сведущ в нашей религии, но мать ее была истинная дочь Израилева, тверда и непоколебима в своей вере, я пообещал ей, когда она лежала на смертном одре, что наше дитя никогда не будет окрещено; я должен держать свое обещание, для меня это как завет с Господом.

И маленькую еврейскую девочку забрали из христианской школы.

Прошли годы...

В Ютландии, в небольшом провинциальном городке, в скромной мещанской семье служила бедная девушка иудейского вероисповедания, то была Сара; волосы ее были черны, как эбен, глаза темные-темные и вместе с тем исполнены сияния и света, как то бывает у дочерей Востока; а выражение лица этой взрослой девушки было все еще как у того ребенка, что сидел на школьной скамье и с задумчивым взглядом слушал учителя.

Каждое воскресенье городскую церковь оглашали звуки органа и пение прихожан, они долетали до стоящего против дома, где не за страх, а за совесть трудилась еврейская девушка. Ей заповедали: «Помни день субботний, чтобы святить его!», но суббота для нее была рабочим днем христиан, и она могла святить ее лишь в своем сердце, а этого, считала она, недостаточно. Но что для Господа день и час! С тех пор как мысль эта проснулась в ее душе, она стала соблюдать час молитвы в христианское воскресенье; когда звуки органа и псалмопение доносились к ней в кухню, где она стояла у раковины, то даже и тут воцарялась священная тишина. И тогда она читала Ветхий Завет, сокровище и достояние ее народа, она читала только его, и ничего больше, ибо то, что отец рассказал ей с учителем, забирая ее из школы, глубоко запало ей в душу: он дал ее умирающей матери обещание, что Са-

ру крестить не будут, что она не оставит веру отцов. Новый Завет был для нее и должен был оставаться закрытою книгою, и, однако же, она столько из него знала, он озарял воспоминания ее детства. Однажды вечером, сидючи в уголку гостиной, она услышала, как ее хозяин принялся читать вслух, и она решилась послушать, это было не Евангелие, нет, а книга со старыми историями, их ей слушать не возбранялось; там рассказывалось про венгерского рыцаря, которого захватил в плен турецкий паша, и велел запрячь вместе с быками в плуг и погонять кнутом, и подвергал всяческим мучениям и издевательствам.

Жена рыцаря продала все свои украшения, заложила замок и земли, друзья его устроили складчину и собрали немалую сумму, ибо паша запросил неимоверный выкуп, но деньги были раздобыты, а рыцарь избавлен от рабства и бесчестья; больной, изможденный, добрался он до дому. Вскоре, однако, был брошен очередной клич — идти войною на врагов христианства; прослышав об этом, больной потерял всякий покой, он велел, чтоб его подсадили на боевого коня, на щеках у него вновь заиграл румянец, силы словно бы вернулись к нему, и он пустился в путь, завоевывать победу. И тот самый паша, который велел запрячь его в плуг, измывался над ним и мучил, сделался теперь его пленником и был препровожден в замковую темницу, но не прошло и часу, как рыцарь пришел туда и спросил у своего пленника:

«Как ты думаешь, что тебя ожидает?»

«Я знаю! — отвечал турок. — Воздаяние!»

«Да, воздаяние христианина! — промолвил рыцарь. — Христианство обязывает нас прощать наших врагов, любить ближнего. Бог есть любовь! Отправляйся с миром к себе домой, к своим близким, будь милостив и добр к тем, кто страдает!»

Тут пленник залился слезами.

«Мог ли я думать, что такое возможно! Я был уверен, меня ждут муки и пытки, и потому принял яд, который убьет

меня через час-другой. Мне суждено умереть, спасения нету; но прежде чем я умру, наставь меня в той вере, что вмещает такую любовь и милосердие, это вера великая и божественная! Дай мне в ней умереть, умереть как христианин!»

И мольба его исполнилась.

Такова была прочитанная вслух легенда, история; все домашние ее со вниманием слушали, но более всего занимала она пылкое воображение той, что сидела в углу, служанки Сары, еврейской девушки; в сияющих, черных, как угли, глазах ее стояли крупные, тяжелые слезы; дитя душою, она сидела и внимала точно так же, как некогда на школьной скамье постигала величие Евангелия. Слезы покатились у нее по щекам.

«Не давай крестить мое дитя!» — были последние слова ее матери на смертном одре, а в душе и сердце ее звучали слова заповеди: «Почитай отца твоего и матерь твою!»

«Так ведь я и не крещена! Меня кличут еврейкой; так меня обозвали соседские мальчишки в прошлое воскресенье, когда я остановилась перед открытой дверью в церковь и заглянула вовнутрь, туда, где на алтаре горели свечи и где прихожане пели псалом. Со школьных дней христианство имело надо мной и посейчас имеет некую власть, оно как солнечный свет — пускай даже я зажмурю глаза, он все равно светит мне прямо в сердце; и, однако же, матушка, ты можешь спать спокойно в своей могиле! Я не нарушу обещания, которое дал тебе наш отец! Я не стану читать христианскую Библию, у меня есть к кому приклониться, это Бог моих отцов!»

Шли годы...

Хозяин умер, хозяйка еле-еле сводила концы с концами, служанку держать она уже не могла, только Сара ее не оставила, она воистину познала себя в беде, без нее бы все рухнуло; она работала заполночь, добывая им хлеб трудом рук своих; никто из близкой родни о семье не пекся, хозяйка между тем с каждым днем все слабела, а там и вовсе слегла. Не один месяц провела Сара у постели больной, ухаживала за ней, рабо-

тала, ласковая и кроткая, истинное благословенье для этого бедного дома.

— Вон там лежит Библия! — сказала как-то больная. — Вечер такой длинный, почитай мне немножко, я стосковалась по слову Божию.

И Сара склонила голову; раскрыв Библию и сплетя пальцы, она принялась читать для больной; у нее то и дело навертывались слезы, но глаза становились яснее, и яснело в душе: «Матушка, твое дитя не примет крещения, не войдет в собрание христиан, ты этого потребовала, и я останусь тебе верна, в этом мы согласились на земле, но есть... высшее согласие — в Боге: "Он будет вождем нашим до самой смерти!"... "Он посещает землю, и утоляет жажду ее, обильно обогащает ее!" Я понимаю это! Я и сама не знаю, как это пришло!.. Через Него, в Нем: во Христе!»

И она затрепетала, произнеся святое имя, огонь крещения прожег ее с такой силою, что тело не выдержало и поникло бессильнее, чем больная, возле которой она сидела.

— Бедная Сара! — сказали люди. — Она надорвалась, работая и ухаживая за больной!

Они поместили ее в палату для бедных, где она и скончалась, и откуда ее вынесли хоронить, но только не на христианском кладбище, там еврейке не место, нет, а за его пределами, у самой стены.

И солнце Божие, что сияло над могилами христиан, сияло и над могилой еврейки за кладбищенскою оградою, а псалом, что звучал на христианском кладбище, доносился и до ее могилы; туда тоже достигали слова проповеди: «Воскресение — во Христе!», в Нем, Господе, сказавшем Своим апостолам: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым!»

БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО

На тесной кривой улочке, в ряду убогих домов, стоял донельзя узкий и высокий фахверковый дом, осевший и покосившийся; люди здесь жили бедные, и беднее всего было на чердаке, за окошком которого висела на солнце старая погнутая птичья клетка, где не было даже настоящей поилки, ее заменяло перевернутое бутылочное горлышко, заткнутое внизу пробкой и наполненное водой. У открытого окошка стояла старая девушка, она только что развесила на прутьях клетки пташью мяту, а внутри прыгала с жердочки на жердочку маленькая коноплянка и звонко-презвонко пела.

«Да, тебе хорошо петь! — сказало бутылочное горлышко, ну разумеется, не вслух, как это сказали бы мы, люди, ведь бутылочное горлышко говорить не может, нет, оно это подумало про себя, точь-в-точь как это делаем мы. — Тебе хорошо петь! У тебя все части тела в целости-сохранности! А попробовала бы ты лишиться тулова и остаться, как я, с одним только горлышком да ртом, в котором к тому же сидит затычка, тогда бы тебе тоже было не до песен. Но хорошо, хоть у кого-то весело на душе! Мне же веселиться и распевать не с чего, да я и не в состоянии! А ведь я певала в те поры, когда была целехонькою бутылкою и по мне водили пробкой; меня называли настоящим жаворонком, большим жаворон-

ком!.. А еще когда я была в лесу с семьей скорняка и они справляли помолвку дочери, я помню тот день, как будто это было вчера! Я много чего повидала, ежели вдуматься! Я прошла огонь и воду, лежала в сырой земле и летала повыше многих, а теперь вот парю в воздухе, под солнцем, будучи привешена к птичьей клетке! Мою историю стоило бы послушать, только я не рассказываю ее во всеуслышание — потому что не могу!»

И бутылочное горлышко начало рассказывать ее про себя, или, вернее, перебирать мысленно, — история эта и впрямь была примечательной, а маленькая птичка весело распевала свою песенку, а внизу, на улице, кто ехал, кто шел, и всяк думал о своем или же вообще ни о чем не думал — в отличие от бутылочного горлышка.

Ему вспомнилась пышущая жаром плавильная печь на фабрике, где бутылку выдули и вдунули в нее жизнь; она до сих пор помнила, что была ужас какой горячей и как, посмотрев в бурлящую печь, в которой она родилась, почувствовала непреодолимое желание тотчас же запрыгнуть обратно, но, поостыв, вполне освоилась со своим положением; она стояла в шеренге вместе со своими многочисленными братьями и сестрами, вышедшими из той же самой печи, но только одни были выдуты для шампанского, а другие — для пива, а это большая разница! Потом-то уже, странствуя по белу свету, пивная бутылка, бывает, становится вместилищем драгоценнейших «Lacrimae Christi»*, а бутылку из-под шампанского наполняют сапожной ваксою, однако же кто для чего рожден, можно определить по форме, благородства отнять нельзя, даже если у тебя внутри вакса.

Вскоре все бутылки были упакованы, и наша бутылка тоже; тогда ей и в голову не приходило, что от нее останется одно

---

* «Слезы Христовы» *(лат.)* — название изысканного и редкого итальянского вина.

горлышко, которое будет служить поилкой для птицы, впрочем, это достойное существование, по крайней мере ты что-то из себя представляешь! Она снова увидела дневной свет, когда вместе с товарками ее распаковали в ренском погребе и впервые прополоскали — это было до того непривычное ощущение! Она лежала пустая, без пробки, в смутном томленье, ей чего-то недоставало, она и сама не знала чего. Но вот в нее налили доброго, отменного вина, закупорили и запечатали сургучом и приклеили снаружи этикетку «Первый сорт», это все равно что получить на экзамене высшую оценку, но вино было и в самом деле хорошее, и бутылка тоже была хороша; когда ты молод, ты лирик! И душа ее пела о вещах, ей совершенно неведомых: о зеленых, залитых солнцем горах, где зреет виноград, где поют и целуются веселые девушки и бойкие парни; да, жизнь чудесна! Вот что ее переполняло и что воспевала ее душа, как то бывает с молодыми поэтами, которые частенько воспевают то, о чем сами не ведают.

В одно прекрасное утро ее купили. Подмастерью скорняка поручено было принести бутылку самого лучшего вина, и она очутилась в корзине с провизией в соседстве с ветчиною, сыром и колбасой; там было свежайшее масло, чудеснейший хлеб; дочь скорняка собственноручно укладывала корзину; она была до того юная, до того красивая; карие глаза ее смеялись, на губах играла улыбка, такая же говорящая, как и глаза; у нее были прекрасные нежные руки, белые-пребелые, а шея и грудь и того белее, сразу было видно, это одна из красивейших девушек в городе — притом все еще на выданье.

Когда они всем семейством ехали в лес, она держала корзину у себя на коленях; бутылка высовывалась из-под белоснежной скатерки; запечатанная красным сургучом пробка глядела прямо в девичье лицо; глядела она и на молодого штурмана, который сидел рядом с девушкой; это был друг детства, сын портретиста; он только что с честью выдержал экзамен на штурмана, и завтра ему предстояло отплыть на

корабле далеко-далеко, в чужие края; об этом немало толковали, пока укладывалась провизия, и пока об этом толковали, глаза у красивой дочери скорняка погрустнели и на губах перестала играть улыбка.

Молодые люди углубились в зеленый лес, они беседовали... вот только о чем? Ну, этого бутылка не слышала, ведь она стояла в корзине. Ее на удивление долго не вынимали, но уж когда вынули, она стала свидетельницей общей радости, у всех были смеющиеся глаза, и у дочери скорняка тоже, только говорила она меньше обычного, и щеки у нее рдели, как розы.

Отец взял в руки бутылку с вином и штопор... Странное это ощущение, когда тебя вот так вот в первый раз откупоривают! Бутылочное горлышко навсегда запомнило этот торжественный миг: пробку вытащили, на что бутылка ответила громким чмоканьем, а когда вино полилось в бокалы, в горлышке у нее забулькало.

«За здоровье жениха и невесты!» — сказал отец, и все осушили бокалы до дна, и молодой штурман поцеловал свою красавицу невесту.

«Дай Бог вам счастья!» — сказали старики родители. И молодой штурман вновь наполнил бокалы.

«За мое возвращение и нашу свадьбу ровно через год! — воскликнул он, а когда бокалы были осушены, взял бутылку и поднял ее над головой. — Ты была с нами в самый прекрасный день моей жизни, больше ты служить никому не будешь!»

И он подбросил ее высоко вверх. Дочь скорняка меньше всего думала о том, что ей приведется увидеть, как эта бутылка снова взлетает в воздух, но так оно и вышло; ну а сейчас бутылка упала в камышовые заросли у лесного озерца; у бутылочного горлышка до сих пор было живо в памяти, как она там лежала и думала: «Я угостила их вином, а они меня — болотною жижею, но не по злому умыслу!» Отсюда ей было уже не видно жениха с невестою и довольных родителей, но она еще долго слышала, как они ликовали и пели.

А потом пришли два маленьких деревенских мальчика, заглянули в камыши и, увидев бутылку, подобрали ее, теперь она была пристроена.

Жили они в лесу, старший брат их, который был моряком, приходил вчера к ним прощаться, ведь он отправлялся в дальнее плавание; мать сейчас стояла и собирала кое-что в узелок, с которым отец должен был пойти вечером в город, чтобы еще разок повидаться с сыном перед дорогой и передать ему материнский привет. В узелок была положена бутылочка с водкой, настоянною на травах, но тут мальчики принесли бутылку побольше и покрепче, ту, которую они нашли в камышах; она была гораздо вместительнее, а ведь водка эта так помогала при расстройстве желудка — она была настояна на зверобое. Так что на сей раз бутылка отведала не красного вина, а горьких капель, но и они тоже хороши — для желудка. И в узелок увязали не маленькую бутылку, а новую. И наша бутылка опять отправилась в путешествие, она попала к Петеру Йенсену, на борт именно того самого корабля, где находился молодой штурман, только он эту бутылку не видел, а если бы и увидел, то вряд ли признал бы и сказал себе: «Это та, которую мы распили в честь нашей помолвки и моего возвращения».

Правда, в ней было уже не вино, а нечто другое, однако ничем не хуже вина; Петер Йенсен частенько ее доставал, и товарищи его прозвали ее Аптекарем; он наливал им доброго лекарства, которое помогало от болей в животе, помогало до тех пор, пока в бутылке не осталось ни капли. Это было развеселое время, и бутылка пела, когда по ней водили пробкой, тогда-то ее и прозвали большим жаворонком, «жаворонком Петера Йенсена».

Прошло много времени, она стояла в углу пустая, и вот однажды — было это на пути туда или же обратно, бутылка толком не знала, она ж не сходила на берег, — однажды поднялась буря; на корабль обрушились черные, тяжелые волны,

они подхватывали его и швыряли из стороны в сторону; мачта сломалась, волной пробило обшивку, помпы не помогали, стояла кромешная ночь; корабль начал тонуть, но в самую последнюю минуту молодой штурман написал на листке бумаги: «Господи Иисусе! Мы терпим крушение!» Он написал имя своей невесты, и свое собственное, и название корабля, сунул записку в оказавшуюся под рукой пустую бутылку, крепко-накрепко заткнул ее пробкой и швырнул в бушевавшее море; он и не знал, что это та самая бутылка, из которой лилось вино в бокалы, поднятые за него с невестою со словами радости и надежды; теперь она качалась на волнах, унося привет и известие о смерти.

Корабль пошел ко дну, команда пошла ко дну, бутылка ж летела птицею, в нее ведь вложили сердце, сердечное послание. Солнце вставало и опускалось, оно напоминало бутылке красную раскаленную печь, откуда она появилась на свет, и ее тянуло влететь обратно. Она узнала штиль, пережила новые бури, но не наскочила ни на одну скалу, не была проглочена акулою; больше года провела она в море, плывя то на север, то на юг — куда отнесет течением. Впрочем, она была сама себе хозяйка, но ведь это тоже может прискучить.

Исписанный листок, последнее «прости» жениха невесте, доставил бы только горе, попади он ей когда-нибудь в руки, но где они, эти руки, что сияли белизной, расстилая скатерть на свежей траве в зеленом лесу в день помолвки? Где она, дочь скорняка? И где вообще земля, и какая страна всего ближе? Этого бутылка не знала; она плыла и плыла по волнам, и под конец ей все это надоело, у нее было иное предназначение, но она продолжала плыть, пока ее не вынесло на сушу в чужой стране. Она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг, это была не та речь, какую она слышала прежде, а когда не понимаешь языка, то много теряешь.

Бутылку подняли и стали рассматривать; увидя внутри записку, вытащили ее, начали крутить и вертеть, но так и не ра-

зобрали; ясно было, что бутылка была брошена за борт и что об этом-то в записке и говорится, но вот что именно — оставалось загадкою... И записку снова положили в бутылку, а бутылку убрали в большой шкаф, который находился в большой комнате в большом доме.

Всякий раз, когда в доме появлялся чужестранец, записку вынимали, крутили и вертели, так что послание, написанное простым карандашом, становилось все более и более неразборчивым; под конец стерлись и сами буквы. Простояв в шкафу еще с год, бутылка попала на чердак, где покрылась пылью и паутиной; там она вспоминала лучшие дни, когда она разливала красное вино в свежезеленом лесу и когда она покачивалась на волнах со вверенной ей тайною, письмом, прощальным вздохом.

И вот так она двадцать лет стояла на чердаке и простояла бы еще дольше, если бы дом не начали перестраивать. Разобрали крышу, увидали бутылку, принялись толковать о ней, но языка она не понимала по-прежнему; разве его выучишь на чердаке, пускай и за двадцать лет! «Останься я внизу, в комнате, — рассудила она, — я его, конечно, бы выучила!»

Ее вымыли и прополоскали, что было совсем нелишне; она чувствовала себя до того ясной и прозрачной, она помолодела на старости лет, вот только вверенную ей записку выплеснули вместе с водой.

Бутылку наполнили семенами, ей не знакомыми; ее закупорили и как следует запеленали, ей стало не видно ни зги, и уж тем более солнца с месяцем, а ведь что-то же нужно повидать, когда путешествуешь, думала бутылка, но она так ничего и не повидала, зато — а это самое главное — проделала путешествие и прибыла куда следовало, где ее и распаковали.

«Ну надо же, как они там, за границею, над ней хлопотали! — произнес чей-то голос. — А ведь она наверняка треснула!» Но она не треснула. Бутылка понимала все до единого слова; это был тот язык, который она слышала возле пла-

вильной печи, и в ренском погребе, и в лесу, и на корабле, единственный, настоящий, понятный, славный родной язык; она попала к себе на родину, ее поздравили с возвращением! На радостях она чуть было не выскочила из рук, она почти и не заметила, как ее откупорили, все из нее повытряхнули, после чего поставили в подвал с тем, чтобы напрочь о ней забыть; на родной стороне любо и в подвале! Ей и в голову не приходило считать, сколько она провела там времени, до того ей хорошо там лежалось, так она пролежала не один год, пока туда как-то раз не спустились люди и не забрали бутылки, и нашу бутылку тоже.

Сад был разукрашен по-праздничному; гирляндами висели зажженные лампы, разноцветные фонарики напоминали большущие тюльпаны из просвечивающей бумаги; да и вечер выдался самый тихий и ясный, ярко сияли звезды, взошла молодая луна, она была видна целиком, и голубовато-серый шар с золотистой полукаймою радовал глаза, если только они были хорошие.

Боковые дорожки тоже были в некотором роде иллюминованы, по крайней мере чтобы видеть, куда идешь; между живыми изгородями там расставили бутылки и в каждую воткнули по свечке; там была и знакомая нам бутылка, та, которой предстояло кончить бутылочным горлышком и поилкой для птицы; сейчас она чувствовала себя на верху блаженства, она снова была на лоне природы, снова участвовала в общей радости и веселье, до нее доносились песни и музыка, гул и шум людских голосов, в особенности с того конца сада, где горели лампы и фонарики выставляли напоказ свое разноцветье. Пусть сама она стояла на боковой дорожке, но это-то и давало пищу уму, бутылка стояла и держала свечу, приносила пользу и удовольствие, так оно и следовало; в такой час забываешь о двадцати годах, проведенных на чердаке, — и это благо.

Совсем рядом прошла под руку одинокая пара, точь-в-точь как тогда, в лесу, жених с невестою, штурман с дочерью скор-

няка; бутылка словно бы проживала все это заново. По саду гуляли гости, а еще там бродили люди, которых пустили поглядеть на гостей и иллюминацию, среди них бродила старая девушка, у которой не было родных, но были друзья, ей вспоминалось то же, что и бутылке, вспоминался зеленый лес и молодые жених с невестой, она имела к этому самое прямое касательство, будучи одной из сторон, то был счастливейший час ее жизни, такое не забывается, даже если ты и осталась старою девою. Однако же бутылку она не узнала, а та не узнала ее, вот так вот, случается, и разминешься в жизни — пока не встретишься вновь, а эти двое встретились, они же обретались теперь в одном городе.

Из сада бутылка попала в ренский погреб, где ее снова наполнили вином и продали воздухоплавателю, который в следующее воскресенье должен был полететь на воздушном шаре. Поглядеть на это собралась толпа народу, играл полковой оркестр, шли многочисленные приготовления, бутылка наблюдала все это из корзины, где она лежала возле живого кролика, который совершенно пал духом, ибо знал, ему предстоит подняться для того, чтобы спуститься на парашюте; бутылка же понятия не имела, что такое подъем и спуск; она видела, как шар раздувался все больше и больше и, раздувшись до отказу, начал подниматься, все выше и выше, стал рваться вверх, тут веревки, что его удерживали, были перерезаны, и он воспарил вместе с воздухоплавателем, корзиной, бутылкой и кроликом; музыка гремела, а толпа кричала: «Ура!»

«Чудно́ взлетать на воздух таким вот манером! — подумала бутылка. — Это что-то вроде нового плавания; но уж там-то, вверху, ни на что не наскочишь!»

Тысячи и тысячи людей провожали глазами воздушный шар, в том числе и старая девушка; она стояла у открытого чердачного окошка, за которым висела клетка с маленькой коноплянкой, у той еще не было тогда стаканчика для питья, и она обходилась чашкою. На самом окошке стояло миртовое

деревце, старая девушка чуть-чуть его отодвинула, чтоб не столкнуть, и высунулась, желая получше разглядеть шар; она отчетливо видела, как воздухоплаватель отправил вниз кролика на парашюте, после чего выпил за здравие всех собравшихся и подбросил бутылку высоко вверх; она и не догадывалась, что та же самая бутылка взлетела на ее глазах в честь ее помолвки, в радостный день, в зеленом лесу, во времена ее молодости.

Бутылке же было не до раздумий, так неожиданно, вдруг, достигла она высшей точки своего жизненного пути. Башни и крыши остались далеко-далеко внизу, люди казались отсюда величиной с булавочную головку.

Тут она стала снижаться, причем с другой скоростью, нежели кролик; она кувыркалась в воздухе, она чувствовала себя такой молодой, она была как шальная и расплескивала на лету недопитое вино. Вот это путешествие так путешествие! Ее озаряло солнце, множество людей следили за ней глазами, ведь воздушный шар уже пропал из виду, а скоро пропала из виду и бутылка, она упала на крышу и разлетелась вдребезги, но осколки все еще переживали ощущенье полета и не могли улежать на месте, они подпрыгивали и катились, пока не попа́дали во двор, разбившись совсем уже на маленькие кусочки, уцелело одно лишь бутылочное горлышко, его как алмазом срезало.

«Ну чем не поилка для птицы!» — сказал подвальный жилец, но у самого у него не было ни птицы, ни клетки, а обзаводиться таковыми потому, что он подобрал бутылочное горлышко, которое можно использовать как поилку, — нет, это чересчур; но оно могло пригодиться старой деве, которая проживала на чердаке, и бутылочное горлышко попало на чердак, в него вставили пробку, перевернули вверх тормашками, как это нередко случается при переменах, наполнили свежей водой и подвесили с наружной стороны клетки, в которой презвонко распевала маленькая птичка.

«Да, тебе хорошо петь!» — сказало тогда бутылочное горлышко; так ведь оно было непростое, оно летало на воздушном шаре... А больше о нем никто ничего не знал. Теперь оно висело в качестве поилки для птицы, ему было слышно, как внизу на улице громыхают повозки и топают люди, слышно, как старая девушка разговаривает с кем-то в своей каморке: ее, оказывается, навестила подруга, ее ровесница, и они вели разговор — нет, не о бутылочном горлышке, а о миртовом деревце, что росло на окошке.

— Не вздумай выбрасывать два ригсдалера на подвенечный букет для дочери! — сказала старая девушка. — Ты получишь его от меня, прелестный и весь в цветах! Видишь, какое славное стоит деревце. А ведь это отросток того мирта, который ты подарила мне на другой день после моей помолвки, из его веток я думала сделать себе подвенечный букет, когда минет год, но день этот так и не наступил! Закрылись те глаза, что должны были светить мне на радость в этой жизни. Сладким сном покоится он на морском дне, ангельская душа!.. Мирт состарился, а я и того больше, ну а когда он зачах, я взяла последнюю свежую ветку и посадила в землю, и вот эта ветка выросла в целое деревце, и из нее все-таки выйдет подвенечное украшение, букет для твоей дочки!

На глазах у старой девушки выступили слезы; она рассказывала о друге своей юности, о помолвке в лесу; ей вспомнился тост за жениха и невесту, вспомнился первый поцелуй... но об этом она умолчала, как-никак она была старою девою; ей много чего припомнилось, вот только невдомек было, что прямо под окошком у нее — еще одна памятка о былом: горлышко от бутылки, что причмокнула в ответ на уханье пробки перед тем, как подняли тот самый тост. Так ведь и бутылочное горлышко тоже ее не узнало, оно же не слушало, о чем та рассказывала, — а все потому, что думало исключительно о себе.

КАМЕНЬ МУДРОСТИ

Ты же знаешь историю про Хольгера Датчанина; ее мы тебе не станем рассказывать, а вот помнишь ли ты, как в этой истории Хольгер Датчанин «завоевал большую страну Индийскую, что лежит на востоке и тянется до края земли, до дерева, кое прозывается древом солнца», — так говорит Кристен Педерсен; знаешь, кто такой Кристен Педерсен? Впрочем, это неважно, знаешь ты его или нет. Править страной Индийской Хольгер Датчанин поставил пресвитера Иоанна. Знаешь, кто такой пресвитер Иоанн? А впрочем, это тоже неважно, знаешь ты его или нет, потому что в нашей истории он никак не участвует; сейчас ты услышишь о древе солнца в «стране Индийской, что лежит на востоке и тянется до края земли», как полагали в старину люди, они ведь не учили географии, как учили мы; ну да, впрочем, это тоже неважно!

Древо солнца было величественным деревом, равного которому мы не видали, а тебе и подавно не видать; оно раскинулось на много верст, собственно, это был целый лес, где каждая малюсенькая веточка сама была целым деревом; пальма, бук, платан, да все деревья, какие только произрастают на свете, были малыми ветками на его огромных сучьях, последние же, с их изгибами и узлами, образовывали долины и холмы, одетые зеленым бархатом, который пестрел

цветами; каждая ветвь являла собою долгий цветущий луг или же прелестнейший сад; солнце озаряло его своими благословенными лучами, ведь это же было древо солнца, и сюда слетались пернатые со всех концов света — из девственных лесов далекой Америки, из розовых садов Дамаска, из дебрей Африки, где слон и лев мнят себя единственными владыками; прилетали и полярные птицы, и, конечно же, аист с ласточкой; но птицы были здесь не единственной живой тварью, тут обитали олень, и белка, и антилопа, и еще сотня других быстроногих и красивых зверей; крона же дерева представляла собою огромный душистый сад, и в нем, там, где зелеными холмами возносились самые высокие ветви, стоял хрустальный дворец с видом на все четыре стороны света; каждая башня походила на лилию, по ее стеблю можно было подняться наверх, ибо внутри была лестница, — теперь тебе понятно, как; с лестницы можно было выйти на листья, то бишь балконы, а в чашечке цветка была чудеснейшая сверкающая круглая зала, купол которой заменял синий небосвод с солнцем и звездами; по-своему великолепны были и длинные дворцовые залы внизу, стены их отражали весь окружающий мир; здесь показывалось все, что происходило на белом свете, так что и газеты читать не надо было, да они тут и не водились. И все это можно было увидеть в живых картинах, были бы только охота и время; ибо чересчур — это чересчур, даже для величайшего из мудрецов, а здесь величайший мудрец и жил. Имя его выговорить ужас как трудно, тебе нипочем не выговорить, поэтому не все ли равно, как его зовут. Он знал все, что только может знать человек и что человеку еще предстоит узнать в этой жизни; ему было известно каждое изобретение, которое было сделано и которое еще предстояло сделать, — но не более того, ведь всему есть предел. Царь Соломон был лишь вполовину таким премудрым, а он был великий мудрец; он повелевал стихиями, могущественными духами, даже смерть и та обязана была что ни утро

являться к нему с донесением и списком тех, кто в тот день должен был умереть, но царь Соломон и сам умер, и вот эта-то мысль нередко посещала и живейшим образом занимала ученого и могущественного властелина дворца на древе солнца. Он знал: пускай он и превзошел мудростью всех людей, но и ему суждено когда-нибудь умереть, детям его суждено умереть; как лесная листва, сотлеют они и обратятся в прах. Он видел: поколение за поколением люди исчезали, как с дерева листья, а на их место являлись новые, но опавшие листья никогда не прорастали заново, они превращались в прах и питали другие растения. Что случалось с людьми, когда за ними приходил ангел смерти? Что это значило — умереть? Тело разлагалось, а душа... что такое душа? Что с нею становилось? Куда она уходила? «В жизнь вечную», — утешала религия; да, но как переход этот совершался? Где она пребывала и каково? «На небесах! — говорили праведники. — Мы вознесемся вверх!» — «Вверх!» — повторял мудрец, устремляя глаза на солнце и звезды. Вверх! — но с круглого земного шара ему было видно, что верх и низ — это одно и то же, если ты стоишь на парящей сфере; когда же он взбирался на пики самых высоких на свете гор, то воздух, который мы внизу называем ясным и прозрачным и зовем «чистым небом», оборачивался кромешным мраком, тугим, как платье, раскаленное солнце не испускало лучей, а земля наша лежала, окутанная оранжевой мглою. Немногое можно было высмотреть простым глазом, а глазам души открывалось и того меньше; сколь ничтожно наше ведение, даже величайшему мудрецу и тому была ведома лишь толика самого для нас важного.

Во дворце имелась потайная комната, где хранилось величайшее на земле сокровище: «Книга истины». Он читал ее страница за страницею, то была книга, которую в состоянии прочитать всякий, но только по частям, — у многих письмена прыгают перед глазами и не складываются в слова; на от-

дельных же страницах они становятся до того бледными, что в конце концов исчезают, оставляя пробелы; чем мудрее человек, тем больше он сумеет прочесть, а мудрейший прочтет больше всех. К тому же он умел собирать звездный свет и солнечный свет, свет таинственных сил и духовный свет, и при этом усиленном освещении на страницах книги проступало немалое число строк, но когда он доходил до раздела под заглавием «Жизнь после смерти», там ровным счетом ничего нельзя было различить. Это его печалило... Ужели он неспособен найти в этой жизни свет, при котором ему открылось бы, что же написано в «Книге истины»!

Подобно премудрому царю Соломону, он понимал язык зверей и птиц, он слушал их песни и разговоры, но толку от этого было чуть; в растениях и металлах он обнаруживал силы, способные устранять болезни, отдалять смерть — но не превозмочь ее. Во всех сотворенных вещах, что были ему доступны, искал он свет, под лучами которого прояснилась бы достоверность вечной жизни, — и не находил его. «Книга истины» лежала перед ним, словно сплошной белый лист. Христианство явило ему в Библии слово утешения о вечной жизни, но он хотел прочесть это в *своей* книге, а в ней он ничего не видел.

Было у него пятеро детей, четверо сыновей, обученных всему, чему только может обучить своих детей мудрейший отец, и одна дочь, красивая, кроткая и умная, но слепая, хотя она, похоже, от этого не страдала; отец с братьями были ее глазами, а сердце — лучшим советчиком.

Если сыновья и покидали дворцовые залы, то заходили не дальше, чем простирались ветви древа, а сестра и вовсе держалась поближе к дому, они были счастливы в доме своего детства, в стране своего детства, на чудесном, благоухающем древе солнца. Как и все дети, они очень любили слушать, как им рассказывают; и отец рассказывал им много такого, чего другие дети не поняли бы, но эти были такими умными, ка-

кими у нас бывают в большинстве своем старики; он разъяснял им все, что они видели в живых картинах на стенах дворца, дела людей и ход событий на всем белом свете, и нередко сыновья выражали желание отправиться туда и принять участие в сих великих свершениях, на что отец говорил: жизнь на белом свете тяжела и горька, она совсем не такая, какой представляется им отсюда, из чудесного мира детства. Он поведал им о красоте, истине и добре, сказал, что это три вещи, на коих держится мир, и что под давлением, которому они подвергались, они превратились в драгоценный камень, прозрачнее, чем алмаз чистейшей воды; его сияние было приятно Господу, своим блеском он затмевал все и вся, он-то и называется камнем мудрости. Точно так же, сказал отец, как, познавая творения Божии, человек убедился в существовании Бога, так, познавая самих людей, человек пришел к убеждению, что камень такой существует; а больше о нем он сказать ничего не может, это все, что ему известно. Другим детям было бы трудно понять рассказанное, но эти — поняли, ну а со временем поймут и все остальные.

Они принялись расспрашивать отца о красоте, истине и добре, и он им все это объяснил, он говорил пространно, в том числе он сказал, что когда Бог создал человека из праха земного, то запечатлел свое создание пятью поцелуями; эти огненные, сердечные, сокровенные поцелуи Творца и есть то, что мы называем ныне пятью чувствами; благодаря им человек может видеть, воспринимать и постигать красоту, истину и добро, может ценить их, отстаивать и проповедовать; притом человек наделен способностью чувствовать всем своим существом — и телом, и душою.

Дети над этим немало раздумывали, они размышляли об этом денно и нощно; и вот старшему из братьев приснился чудесный сон, и, что удивительно, в точности тот же самый сон приснился второму брату, и третьему, и четвертому — каждому снилось, будто он отправился странствовать по бе-

лу свету и отыскал камень мудрости; тот, как жар, горел у него во лбу, когда по утренней заре он возвращался на резвом своем коне зелеными бархатными лугами, родным садом в отцовский дворец, и драгоценный камень излил на страницы книги божественный свет и сияние, отчего стало зримым все, что было написано о жизни за гробом. Сестре же никакие дальние странствия не снились, она об этом не помышляла, ее миром был отчий дом.

— Поскачу-ка я по белу свету! — сказал старший брат. — Должен же я узнать его свычаи и обычаи и потереться среди людей; я хочу лишь добра и истины, а уж с их помощью я буду оберегать красоту. С моим появлением много чего переменится!

Да, замыслы у него были дерзкие и обширные, как у всех у нас, кто посиживает в углу возле печки, не изведав еще, что такое дождь, и ветер, и тернии.

Пять помянутых чувств были у него прямо-таки исключительные, так же как и у остальных братьев, но у каждого какое-нибудь одно из пяти было особенно сильно развито и превосходило другие! У старшего это было зрение, оно-то и могло ему пригодиться больше всего. Взгляд его, утверждал он, обнимал все времена, охватывал все народы, он видел, где под землею лежат сокровища и что творится в душе человеческой, будто она — за оконным стеклом, иными словами, глядя, как краснеют или бледнеют щеки, плачут или смеются глаза, он видел более, нежели бы увидели мы. До западной границы его провожали олень с антилопою, там ему встретились дикие лебеди, летевшие на северо-запад, и он отправился вслед за ними, и вот уже он ехал по белу свету, далеко-далеко от родимой страны, что «лежала на востоке и тянулась до края земли».

Ну и таращил же он глаза! Там было на что посмотреть, а ведь увидеть места и вещи воочию — это совершенно иное дело, нежели рассматривать картины, как бы хороши они ни были, а они были необычайно хороши, живые картины дома,

в отцовском дворце. От удивления глаза у него в первый момент чуть было напрочь не выскочили изо лба, столько хлама, столько мишуры выдавалось за красоту, но они все ж таки не выскочили, они должны были ему еще послужить.

Серьезно и добросовестно приступил он к познанию красоты, истины и добра, и что же он обнаружил? Он увидел, что чаще всего букет вручали уродству, вместо того чтобы преподнести его красоте, доброту сплошь и рядом не замечали, зато посредственность вместо шлепков и щелчков награждали одобрительными хлопками. Люди смотрели на кличку, а не на птичку, на платье, а не на ум, им важней было звание, чем призвание. Так уж оно повелось на свете.

«Что ж, придется мне основательно потрудиться!» — подумал он и засучил рукава; но пока он искал истину, явился дьявол, отец лжи и олицетворение лжи; он бы с удовольствием сразу вышиб Видящему оба глаза, но это было бы слишком грубой работой; у дьявола есть приемы потоньше, он позволил Видящему искать истину и созерцать ее, вкупе с добром, а когда тот увлекся, дунул и загнал ему в глаз сучок, и во второй глаз тоже, сперва один сучок, а после — другой, а это вредит зрению, даже самому лучшему; затем дьявол раздул каждый сучок в целое бревно, и с глазами было все кончено; Видящий стоял посреди бела света, ровно слепец, он ни на кого и ни на что уже не полагался; он переменил свое доброе мнение о белом свете и самом себе, а стоит человеку махнуть рукою на белый свет и на себя, что ж, тогда с этим человеком все кончено.

«Кончено!» — кричали дикие лебеди, улетая за море, на восток; «Кончено!» — щебетали ласточки, летевшие на восток, к древу солнца, то были худые вести для его близких.

— Видящему, похоже, не повезло! — сказал второй брат. — Но, может статься, Слышащему повезет больше!

Этот брат отличался редкостным слухом, он слышал, как трава растет, вот как он его изощрил.

И он сердечно со всеми простился и ускакал, прихватив в путь-дорогу свои способности и благие намерения. Его провожали ласточки, а отправился он вслед за дикими лебедями, и вот уже он ехал по белу свету, далеко-далеко от дома.

Бывает, что и избыток — помеха, и он в этом удостоверился, слишком уж тонок был его слух, он же слышал, как трава растет, но он слышал также, как бьется от радости и боли сердце каждого человека, весь мир для него стал наподобие огромной часовой мастерской, где все часы стучали: «Тик-так!», а башенные били: «Бим-бом!» — нет, это было невыносимо! И все-таки он пытался держать ухо востро, только сколько же мог один-единственный человек выдерживать всю эту какофонию! Там были уличные мальчишки лет этак под шестьдесят, хотя возраст тут ни при чем; и вопили же они! Ну, над этим можно было еще посмеяться, зато следом явилась сплетня, и поползла с шипеньем из дома в дом, по переулкам и улицам, и выбралась прямо на большую дорогу; крикливая кривда строила из себя барыню, а бубенчик на шутовском колпаке раззвонил, что он церковный колокол, этого уже Слышащий перенести не мог, он заткнул себе уши пальцами — и все равно до него доносились фальшивое пение и поношение, трескотня и трезвон; самоуверенные заявления, коим грош цена, не сходили у людей с языка, отчего учтивость — крак-крак! — дала трещину. Вокруг стояли такой шум и гам и тарарам, что не приведи господи! Это было нестерпимо, это было ужас что такое! Слышащий засовывал пальцы в уши все глубже и глубже, пока у него не лопнула барабанная перепонка, теперь он был глух даже к красоте, истине и добру, а ведь слух должен был служить мостиком между ними и его мыслью. Слышащий притих, он сделался подозрительным, никому не верил, под конец перестал верить и самому себе, а это очень прискорбно; отчаявшись найти и привезти домой дивный камень, он махнул ру-

кой на поиски — и на себя, что было хуже всего. Весть об этом разнесли птицы, летевшие на восток, и вот она достигла отцовского дворца на древе солнца; писем они не получали, там вообще не было почтового сообщения.

— Попробую-ка теперь я! — сказал третий брат. — Я этакого еще не нюхивал!

Сказано грубовато, но так уж он выражался, и надо принимать его таким как есть, он был само добродушие, и он был поэт, настоящий поэт, он мог излить в песне все, что не умел выговорить, и многое угадывал прежде, чем до этого додумывались другие. «Я чую, куда ветер дует!» — говаривал он, а у него как раз в высшей степени было развито обоняние, которому он отводил в царстве красоты видное место. «Кому нравится яблоневый аромат, а кому — и запах конюшни! — рассуждал он. — У каждой сферы запахов в царстве красоты — своя публика. Иные чувствуют себя, как дома, в погребке, где коптят сальные свечки, а водочный перегар мешается с едким табачным дымом, другие предпочитают сидеть под удушливо-пахучим жасмином или натираются крепким гвоздичным маслом, да так, что шибает по носу. Некоторых тянет подышать свежим морским воздухом, постоять на бодрящем ветру или же взобраться на горную вершину и взирать оттуда на житейскую суету!» Вот так он рассуждал — как будто уже повидал мир, пожил среди людей и успел их узнать, но это было у него с колыбели, это была прозорливость поэта, что Господь подарил ему на зубок.

И он простился с отчим домом на древе солнца, он проследовал через чудесные покои, а выйдя, оседлал страуса, который бегает куда быстрее, чем конь, ну а после, завидя диких лебедей, вспрыгнул на спину самому из них сильному; он чрезвычайно любил перемены, и вот он полетел за море, в чужие страны с большими лесами, глубокими озерами, могучими горами и величественными городами, и где бы он ни появ-

лялся, все окрест словно бы озарялось солнцем; каждый цветок и куст благоухали еще сильнее, чувствуя, что рядом друг и защитник, который ценит и понимает их, даже хилая розовая изгородь подняла свои ветви, развернула листья и произвела на свет очаровательнейшую розу, которую нельзя было не заметить, — черная, склизкая лесная улитка и та обратила на нее внимание.

— Отмечу-ка я этот цветок! — сказала улитка. — Ну вот я на него и плюнула, это все, что я могу!

— Таков, видно, удел красоты в этом мире! — сказал поэт и сложил об этом песню, он пел на свой лад, и никто его не слушал; тогда он дал барабанщику два скиллинга и павлинье перо, тот переложил ее на барабан и пошел отбарабанивать по городу, по улицам да переулкам; тут только люди ее и услышали и сказали, что поняли ее, она такая глубокая! Теперь поэт мог и дальше петь свои песни, он воспевал красоту, истину и добро, и песни его звучали в погребке с коптящими свечками, на лугу, поросшем душистой кашкою, в лесу и открытом море; похоже было, что этому брату повезло больше, чем тем двоим; но дьяволу это не понравилось, и он не замедлил явиться и принялся кадить ему и курить фимиам и тому подобные благовония, на перегонку которых он большой мастер; это были такие забористые фимиамы, что они забивали все прочие запахи, от них закружилась бы голова и у ангела, что уж тут говорить о бедном поэте; дьявол умеет-таки улавливать подобных людей; поэта он уловил фимиамами, тот попался и позабыл о своей миссии и родимом доме... Он ничего не помнил, даже себя не помнил и ходил, как в чаду.

Прослышав об этом, все пташки загоревали и три дня не пели. Черная улитка почернела еще больше, только не от горя — от зависти.

— Это меня, — сказала она, — надо было окуривать, ведь это я подала ему идею самой известной песни, той, что

для барабана, про жизнь и судьбу! Это я оплевала розу, я могу представить свидетелей!

Дома же, в стране Индийской, об этом ничего не слыхали, ведь все пташки горевали и молчали три дня, ну а по окончании траура обнаружилось: горе их было так велико, что они позабыли, о ком горевали. Вот так-то!

— Придется, верно, и мне повидать белый свет! И сгинуть, как другим! — сказал четвертый из братьев. Он был такого же добродушного нрава, что и третий, но — не поэт, почему и имел все основания быть добродушным; эти двое вносили во дворец веселье; теперь же все веселье ушло.

Зрение и слух всегда считались у людей важнейшими чувствами, и чем они острее и тоньше, тем оно лучше, три же других считаются не такими существенными, с этим младший сын никак не мог согласиться, у него как раз необычайно был развит вкус, в полном значении этого слова, а ведь именно вкус повелевает и верховодит. Он распоряжается как телесною, так и духовною пищей, вот младший сын и пробовал содержимое сковород и горшков, бутылок и жбанов — обязанность не из легких, как говорил он сам; каждый человек был для него горшком, в котором что-то кипело, каждая страна — огромнейшей кухней, в духовном смысле, ну а это уже в удовольствие, ему и захотелось его отведать.

— Быть может, мне посчастливится больше, чем братьям! — сказал он. — Я отправляюсь в путь! Но какой же мне избрать способ передвижения? Что, воздушные шары еще не изобрели? — спросил он у своего отца, ибо тому были известны все изобретения, которые уже появились или еще должны были появиться. Однако воздушных шаров на свете пока что не было, а тем паче пароходов и железных дорог. — Ладно, полечу тогда на воздушном шаре! — сказал он. — Отец, ты знаешь, как их делать и как ими управлять, ты меня научишь! Это изобретение никому не известно, все подумают, будто это ми-

раж; а когда шар мне будет уже не нужен, я его сожгу, поэтому ты должен дать мне несколько штук предстоящего открытия в области химии, которое называется серными спичками.

Он получил все, что нужно, и улетел, и птицы провожали его дольше, чем других братьев, наверно, им хотелось посмотреть, как пройдет полет, их становилось все больше и больше, им же было любопытно, они приняли воздушный шар за новую птицу; он летел с целой свитою! Небо было черно от птиц, они неслись громадной тучей, словно саранча над землею Египетской, и вот он уже очутился далеко-далеко от дома.

— Восточный ветер был мне добрым товарищем и помощником, — заключил он.

— Ты хочешь сказать, восточный и западный! — отозвались ветры. — Мы переменялись, иначе ты не попал бы на северо-восток!

Он не слышал, что говорили ветры, ну да это неважно. Птицы провожать его бросили; когда их налетела тьма-тьмущая, двум или трем прискучило путешествовать. И надо было все это так раздувать! — сказали они. Он о себе возомнил, «лететь тут совершенно не за чем, это пшик! это по́шло!», и они отстали, отстали все до одной — ну раз это пшик!

А воздушный шар снизился над одним из самых больших городов, и воздухоплаватель уселся на самом высоком месте, то был шпиль колокольни. Шар снова поднялся ввысь, чего ему делать не следовало; куда он подевался, сказать трудно, ну да какая разница, его же еще не изобрели.

И вот младший брат сидел на шпиле колокольни; птицы и не думали к нему подлетать, он им надоел, и они ему надоели. Изо всех городских труб шел ароматный дым.

— Это алтари, воздвигнутые в твою честь! — произнес ветер, желая сказать ему что-то приятное.

Он и впрямь сидел с молодецким видом и оглядывал сверху уличный люд; кто шел, гордый своею толстой мошною, кто

гордился тем, что сзади у него ключ*, пусть даже им нечего отпирать; один тщеславился своим платьем, в котором завелась моль, другой — своей плотью, в которой завелся червь.

— Суета сует! Да, пора мне уже спуститься, чтоб помешать в этом горшке и попробовать на вкус варево! — сказал младший брат. — А впрочем, посижу-ка я чуток здесь, ветер так приятно щекочет спину, благодать да и только! Пока ветер дует, я буду здесь. Мне хочется немного покоя; коли дел невпроворот, надобно сперва выспаться, говорит ленивый; но лень — мать всех пороков, а пороков в нашей семье не водится, это говорю я, так скажет и любой сын. Пока этот ветер дует, я буду здесь, мне это по вкусу!

И он остался сидеть, а сидел он на флюгере, который вертелся-поворачивался вместе с ним, почему он и думал, что дует все тот же ветер; он остался сидеть и мог просидеть там еще невесть сколько, смакуя приятные ощущения.

Ну а в стране Индийской, во дворце на древе солнца, стало пусто и тихо после того, как братья вот так вот один за другим уехали.

— Дела их плохи! — сказал отец. — Им не привезти домой светозарный камень; мне его не обресть, они пропали, погибли!.. — И он нагнулся над «Книгой истины» и вперился в страницу, где должно было быть написано про жизнь после смерти, но увидеть там ничего не увидел и ничего не узнал.

Слепая дочь была его утешением и отрадой; она прилепилась к нему всей душою; ради его спокойствия и счастья желала она, чтобы драгоценный камень был найден и привезен домой. С грустью и тоской думала она о своих братьях: куда они подевались? Где-то они сейчас? Она мечтала увидеть их хотя бы во сне, но, странное дело, даже и во сне она не мог-

---

* Прикрепленный к правой фалде мундира позолоченный ключ — знак достоинства камергера.

ла с ними соединиться. Но вот однажды ночью ей приснилось, будто они окликают ее, зовут ее, взывают к ней из своего далека, и ей пришлось отправиться в дальний-предальний путь — и вместе с тем она будто бы и не покидала отчего дома, братьев она не встретила, зато почувствовала: в руке у нее что-то горит, как огонь, хотя и не жжется, — она держала светозарный камень, который и принесла отцу. Проснувшись, она подумала было, что все еще его держит; но рука ее сжимала веретено. Ведь долгими ночами она неустанно пряла, пряжа на веретене была тоньше, чем паутина, нить простым глазом не различить; она смачивала пряжу своими слезами, и та выходила прочною, как якорный канат. Она поднялась, решение было принято, сон должен обернуться явью. Стояла ночь, отец ее спал, она поцеловала ему руку, а после взяла свое веретено и крепко-накрепко привязала конец нити к отчему дому, иначе ей, слепой, никогда не сыскать дорогу назад; теперь ей было за что держаться, на нить она полагалась, а больше ни на кого, даже на себя. Она сорвала с древа солнца четыре листка, то были весточка и привет, которые ветер должен был отнести ее братьям, если ей не суждено будет с ними свидеться. Что-то она встретит на своем пути, бедное слепое дитя! Правда, ей служила подспорьем незримая нить; и в отличие от братьев она была наделена тем, что зовут душевностью, и благодаря этому умела видеть даже кончиками пальцев и слышать сердцем.

И вот она побрела по белу свету, удивительному своею суматохой, шумом и гамом, и куда бы она ни приходила, небо прояснялось и светило солнце, она чувствовала тепло его лучей, и от черной тучи в голубом воздухе перекидывалась радуга; она слышала пение птиц, вдыхала ароматы, которыми веяло из апельсинных рощ и яблоневых садов, до того густые, что ей казалось, на губах у нее остается привкус. До нее доносились нежные мелодии и чудесное пение, но также за-

выванья и крики; мысли и мнения вели друг с другом прегромкий спор. Во все уголки души ее проникали голоса человеческих сердец и умов; они грянули хором:

Земная жизнь — темнее туч,
Поток дождя и слез.

Но тут зазвучала другая песнь:

Земная жизнь — как солнца луч
И куст душистых роз.

И в ответ на горестное:

Всяк помышляет о себе,
Забыв беду чужую, —

раздалось:

Река любви течет к тебе
Чрез нашу жизнь земную.

Слышала она и такие слова:

Во всем — изъян, порок, пробел,
Все мелко и убого.

Но она постигла также, что

Великих дел и добрых дел
Свершается так много!

И если хор продолжал греметь:

Насмешкой всех и вся встречай,
И камень первым кинь! —

то сердце слепой девушки отзывалось:

На волю Божью уповай!
И твердым будь! Аминь!

И где бы она ни оказывалась, в кругу ли мужчин и женщин, стариков или молодежи, в душу людям проникал свет истины, добра и красоты; и повсюду, где бы она ни появлялась, будь то мастерская художника, пышная, праздничная гостиная или фабрика с жужжащими колесами, — там словно бы проглядывал солнечный луч, звенела струна, благоухал цветок, а на изнывающий от жажды лист падала живительная росинка.

Но дьявол был не намерен это терпеть; а поскольку ума у него больше, чем у десяти тысяч людей, вместе взятых, то он придумал, как поправить дело. Он сходил на болото, набрал в гнилой воде пузырей и обдал их семикратным эхом речей отъявленного лжеца — для пущей крепости; он растолок в порошок заказные дифирамбы и лицемерные надгробные речи, какие только сумел найти, сварил их в слезах, пролитых от зависти, и сдобрил румянами, которые соскреб со щеки поблекшей барышни, — и из всего этого сотворил девицу, что обличьем и повадками была как две капли воды похожа на слепую девушку, благословленную добродетелями; в народе ее прозвали «кроткий, отзывчивый ангел», а дьяволу только того и надо. Люди не знали, которая из них двоих была настоящей, да и откуда им было знать!

На волю Божью уповай!
И твердым будь! Аминь! —

пела исполненная веры слепая девушка. Четыре зеленых листка с древа солнца она пустила по ветру, то были весточка и привет, которые он должен был отнести ее братьям; она была убеждена, это сбудется, а еще и то сбудется, что драгоценный камень отыщется, тот самый камень, который затмевает все земное великолепие; он сияет на челе человечества, и лучи его достигнут ее отчего дома.

— Моего отчего дома! — повторила она вслух. — Да, драгоценный камень обретается на земле, и я принесу нечто

большее, чем простую в этом уверенность; я ощущаю его жар, он словно бы разбухает в моей зажатой ладони. Мельчайшие чистейшие крупицы истины, что подхватил и унес резкий ветер, я все до единой поймала и сберегла; я дала им пропитаться ароматом всего, что есть красота, в мире ее так много, даже и для слепца; я вложила туда биенье человеческого сердца, движимого добротой; все это — лишь прах, но прах искомого драгоценного камня, притом в избытке, у меня его полная горсть!

И она протянула ее... отцу. Она была дома; она перенеслась туда на крыльях мысли, ибо ни на миг не выпускала незримую нить, связывавшую ее с отчим кровом.

Злые силы обрушились ураганом на древо солнца, вихрем ворвались в отворенные ворота, во дворец, в потайную комнату.

— Он развеется! — вскричал отец и схватил ее за руку, которую она было разжала.

— Нет! — воскликнула она проникновенно. — Он не может развеяться! Я чувствую, как его лучи согревают мне душу!

Искрящийся прах слетел с ее ладони на белую страницу книги, призванную удостоверить о вечной жизни, и отец увидал там яркое пламя; и в ослепительном сиянии проступили письмена, то было слово, одно-единственное зримое слово:

Вера.

И четверо братьев снова были с ними; их одолела и привела назад тоска по дому, недаром каждому на грудь упал зеленый листок; они вернулись в сопровождении перелетных птиц, оленя и антилопы и прочих лесных зверей; тем тоже хотелось разделить общую радость, а если звери на такое способны, неужели же им в этом отказывать?

И, подобно не раз виденной нами картине: в солнечном луче, пробивающемся сквозь дверную щелку в пыльную комнату, вьются столбом сверкающие пылинки, — но не так гру-

бо и убого, радуга, и та громоздка и тускла в сравнении с представшим здесь зрелищем, — над книжной страницей с пылающим словом «Вера» поднялись роем все до единой крупицы истины, осиянные красотой, пронизанные добром, и был он ярче огненного столпа, светившего в ту ночь, когда Моисей и сыны Израилевы двинулись в землю Ханаанскую; от слова «Вера» перекинулся мост Надежды ко всеобъемлющей Любви, в бесконечность.

СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ

I. «СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ»

— Обед был вчера отменный, — рассказывала старая мышь другой мыши, которой не довелось побывать на пиру. — Я сидела двадцать первой по счету от Мышиного короля; это не так уж и плохо! Ну а что до самих кушаний, то подобраны они были на славу! Плесневелый хлеб, шкварки, сальные свечи и колбаса — а после все то же самое сызнова; это все равно что угоститься два раза подряд. Обстановка была самая непринужденная, мы весело болтали, как в семейном кругу; все было подъедено начисто — кроме колбасных палочек*; о них-то и зашел разговор, тут кто-то и упомяни про суп из колбасной палочки; слышать о нем слышали все, да только никто не пробовал, а уж тем более не знал, как его варить. За изобретателя этого супа был провозглашен чудный тост: он заслуживал того, чтобы заведовать богадельней! Ну не остроумно ли? А старый Мышиный король поднялся и пообещал, что та из молодых мышей, которая сумеет вкуснее всех сей суп приготовить, станет его королевою, а на размышление он им дает целый год.

— Что ж, это недурственно! — сказала другая мышь. — Только как этот суп готовят?

---

* Тонкие деревянные палочки, которыми с одного конца «зашпиливали» кишки перед тем, как начинять мясным фаршем.

— Вот именно, как? Об этом-то они все и спрашивали, мыши женского полу, и молодые, и старые. Всем хотелось стать королевою, да только кому охота брать на себя такой труд и пускаться в странствия по белу свету, чтобы научиться его варить, а без этого, видно, не обойтись! И ведь не всякая мышь готова покинуть свое семейство и проторенные ходы и лазейки; на чужбине сырные корки не валяются на дороге, и не всякий день пахнет шкварками, нет, там, быть может, придется жить впроголодь, а еще, чего доброго, тебя возьмет и съест заживо кошка!

Эти соображения, похоже, и отпугнули большинство от познавательного путешествия; предпринять его вызвались лишь четверо мышек, молодых и шустрых, но бедных; они решили отправиться каждая в одну из четырех стран света, а там уж как кому повезет; и каждая взяла с собой колбасную палочку, дабы помнить о цели своего путешествия, она должна была служить им дорожным посохом.

В начале мая они отбыли и в начале же мая, спустя год, воротились обратно, но только втроем, о четвертой не было ни слуху ни духу, а решающий день настал.

— Ну почему наивысшее удовольствие всегда должно что-нибудь да омрачить! — посетовал Мышиный король, однако же велел пригласить мышей со всего околотка; собраться они должны были в кухне; три мышки-путешественницы стояли рядком и особняком; на месте четвертой, которая не явилась, водрузили колбасную палочку, обвитую черным флером. Никто не осмеливался выразить свое мнение, прежде чем три мышки не отчитаются, а Мышиный король не скажет своего слова.

А теперь послушаем!

II. ЧТО ПОВИДАЛА И УЗНАЛА ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПЕРВАЯ МЫШКА

— Когда я пустилась странствовать по белу свету, — сказала мышка, — я думала, как многие и многие мои сверстницы, что уже поглотила всю жизненную мудрость, но я ошибалась, ведь на это требуется не один год. Я тотчас отправилась в плавание на корабле, который держал путь на север; я прослышала, что корабельный кок должен уметь изворачиваться, но это дело нехитрое, когда под рукою — полным-полно свиных боков, бочек с солониной и порченой муки. Ты смакуешь жизнь! Но не научаешься тому, как варить суп из колбасной палочки. Мы плыли много дней и ночей, нас и качало, и заливало. Когда мы наконец прибыли куда нужно, я сошла с корабля; было это далеко на севере.

До чего же странно — оставить родимые ходы и лазейки, уплыть на корабле, который тоже представляет собой в некотором роде ходы и лазейки, и вдруг очутиться за сотни миль, в незнакомой стране. Там были дремучие леса с елями и березами, до того пахучие! Мне такое не по нутру! Дикие травы издавали до того пряный запах, я чихала и думала о колбасе. Там были большие лесные озера, вода в них вблизи казалась прозрачною, а издали — черною, как чернила; там плавали белые лебеди, я приняла их за пену, до того тихо сидели они на воде, но потом я увидела, как они летают и ходят, и признала их; они гусиного племени, их выдает походка — от родства не открестишься! Я держалась своих, прибилась к лесным и полевым мышам, которые, между прочим, ужасно невежественны, в особенности что касается угощения, а ведь ради этого я и поехала за границу. Одна уже мысль о том, чтобы сварить суп из колбасной палочки, настолько поразила их воображение, что они тут же разнесли это по всему лесу, но только задачу мою они посчитали неразрешимой, да и сама я меньше всего ожидала, что прямо тут, этой

же самой ночью буду посвящена в таинство приготовления сего супа. Лето в самом разгаре, оттого-то в лесу так и пахнет, сказали они, оттого-то травы такие пряные, озера такие прозрачные и вместе такие темные, а на них — белые лебеди. На лесной опушке между тремя-четырьмя домами был установлен шест, высокий, как грот-мачта, с верхушки его свисали венки и ленты, то было майское дерево; вокруг отплясывали девушки с парнями да еще и пели взапуски со скрипкою музыканта. Они продолжали веселиться на закате солнца и при луне, но я к ним не пошла — ну что делать маленькой мышке на лесном балу! — я сидела на мягком мохе и держала свою колбасную палочку. Ярче всего луна освещала лужайку, где стояло дерево и рос мох, до того бархатистый, осмелюсь сказать: бархатистый, как шубка Мышиного короля, только он был зеленого цвета, на котором отдыхал глаз. И тут вдруг на лужайку вышли гурьбою очаровательнейшие крошечные существа, ростом не более чем мне по колено, обличьем они были как люди, правда, лучше сложены, они называли себя эльфами, и на них были изящные одеяния из цветочных лепестков, отделанные мушиными и комариными крылышками, — очень недурные! Я сразу же поняла, они что-то ищут, но не знала, что именно, и тут несколько из них подошли ко мне, и самый с виду знатный указал на мою колбасную палочку и произнес: «Именно такой нам и нужен! Он как будто для нас и вырезан, он превосходен!» И чем дольше эльф рассматривал мой дорожный посох, тем больше им восхищался.

«Могу одолжить, но только не насовсем!» — сказала я.

«Не насовсем!» — ответили они хором и, приняв у меня колбасную палочку, отнесли ее, пританцовывая, на ту самую чудесную лужайку, поросшую зеленым мохом, и установили посередине. Им тоже хотелось иметь майское дерево, и мой посох пришелся им как нельзя лучше. Тут его начали украшать; и он просто преобразился!

Маленькие паучки заткали его золотыми нитями, развесили вьющиеся шарфы и флаги, столь тонкой работы, так отбеленные на лунном свету, что у меня в глазах резало; они собрали с бабочкиных крыльев разноцветную пыльцу и осыпали ею белоснежную дымку, и на ней засверкали цветы и алмазы, мою колбасную палочку было не узнать; такого майского дерева, каким она стала, пожалуй, не сыщешь на всем белом свете. Вот тогда-то и явились толпою прочие эльфы — участники празднества, причем безо всяких одежд, это был верх изящества; меня пригласили полюбоваться на все это великолепие, но только издали, я была слишком для них велика.

Тут заиграла музыка! Точно зазвенели тысячи стеклянных колокольчиков, звучно и громко; я решила было, что это поют лебеди, а еще мне послышался голос дрозда и кукушки; ну а под конец казалось, будто поет весь лес, я различала детские голоса, звон колоколов и пение птиц, слышала прелестнейшие мелодии, и все это очарование исходило от майского дерева эльфов — ну чисто куранты! — и это была моя колбасная палочка. Вот уж не думала, что из нее можно столько всего извлечь, видно, все зависит от того, в какие она попадет руки. Право же, я до того растрогалась; я плакала, как может плакать маленькая мышка, от вящего удовольствия.

Ночь промчалась так быстро! Ну да в тех краях она в эту пору длится недолго. На рассвете потянул ветерок, гладь лесного озера зарябило, все тончайшие, развевающиеся шарфы и флаги унесло прочь; зыбкие беседки из паутины, висячие мостики и балюстрады — или как это там еще называется, — перекинутые с листка на листок, вмиг улетучились; шестеро эльфов принесли мне мою колбасную палочку и спросили, нет ли у меня желания, которое они могли бы исполнить; тогда я попросила их рассказать мне, каким образом варят суп из колбасной палочки.

«Каким образом? — сказал самый из них знатный и рассмеялся. — Ты же только что это видела! Ты едва ли даже узнала свою колбасную палочку!»

«А, вот вы о чем! — сказала я. И открыла им, с какой целью путешествую и что от меня ожидают дома. — Какая, — говорю, — польза Мышиному королю и всему нашему могущественному королевству от того, что я видела всю эту красоту! Не могу же я вытрясти ее из колбасной палочки и сказать: "Вот вам палочка, а вот и суп!" Ведь обычно это предлагают на закуску, после того как все уже насытились!»

Тогда эльф обмакнул свой крошечный палец в чашечку синей фиалки и сказал мне:

«Гляди же! Я умащаю твой дорожный посох. Когда ты воротишься назад, во дворец Мышиного короля, дотронься им до теплой королевской груди, и на нем сверху донизу расцветут фиалки, пусть даже это будет суровой зимою. Так что ты вернешься домой не с пустыми руками, а вот тебе в придачу и еще кое-что!»

Но не договорив про это «кое-что», мышка прикоснулась концом посоха к груди короля, и он в самом деле покрылся чудеснейшими цветами, которые источали такой аромат, что Мышиный король приказал мышам, стоявшим ближе всех к очагу, немедля сунуть хвосты в огонь, чтоб пахнуло паленым, — до того несносно благоухали фиалки, это совсем не тот запах, который приятен мышам.

— Ты говорила, там было еще кое-что в придачу! — сказал Мышиный король.

— Да, — ответила мышка. — Это то, что, судя по всему, называют эффектом!

Тут она перевернула посох, и цветы все до одного исчезли, и он стал гол, и она подняла его, словно дирижерскую палочку.

— «Фиалки — для услаждения зрения, обоняния и осязания! — сказал мне эльф. — Но еще есть кое-что для слуха и вкуса!»

И мышка взмахнула палочкой; раздалась музыка, только не такая, как в лесу на празднестве эльфов, нет, а такая, какую можно услышать в кухне. Ну и концерт же тут начался!

Да так неожиданно, словно ветер задул во все дымоходы сразу, чайники с горшками заклокотали, совок для угольев загромыхал по медному котлу — и вдруг все затихло; слышно было лишь, как приглушенно пел свою песню чайник, до того чудну́ю, что не поймешь, заканчивал он ее или начинал; тут закипел маленький горшок, а за ним большой горшок, они друг дружку недолюбливали и, похоже, ничего не соображали. А мышка разошлась и вовсю размахивала своей дирижерской палочкой — горшки пенились, бурлили и клокотали, ветер свистел, дымоход завывал: у-у-у! — мышке стало так жутко, что она даже выронила палочку.

— А суп-то с наваром! — сказал старый Мышиный король. — Ну а что будет на закуску?

— Это все, — ответила мышка и сделала реверанс.

— Все?! — сказал Мышиный король. — Ну тогда послушаем-ка, что нам расскажет следующая!

III. ЧТО ПОВЕДАЛА ВТОРАЯ МЫШКА

— Я родилась в дворцовой библиотеке, — начала вторая мышка, — к несчастью, мне и большинству моих родичей ни разу не довелось побывать в столовой, не говоря уже о кладовой; в кухне я впервые очутилась лишь перед тем, как отправиться в путешествие, да еще вот сегодня. В библиотеке мы нередко голодали, зато приобрели много познаний. До нас дошел слух о королевской награде, назначенной за приготовление супа из колбасной палочки, и тогда моя старая бабушка вытащила одну рукопись, сама она прочесть ее не могла, но слышала, как ее читали, и там говорилось: «Коль ты поэт, ты сумеешь сварить суп из колбасной палочки». Бабушка спросила меня, не поэт ли я. Я за собой такого не знала, на что она сказала, раз так, то я должна постараться им стать; а что же для этого требуется, спросила я, ибо мне это представлялось не менее сложным, чем приготовление само-

го супа; но бабушка недаром слышала чтение рукописи; она сказала, тут необходимы три основных ингредиента: «Ум, фантазия и чувство! Если тебе удастся взять и вложить их в себя, значит, ты — поэт, а уж тогда ты запросто совладаешь с колбасною палочкой».

И вот я отправилась в путь, на запад, чтобы стать поэтом.

Мне было известно: в любом деле самое главное — ум, два же других ингредиента далеко не в такой чести! Поэтому прежде всего я решила набраться ума-разума. Да, но где же его искать? «Пойди к муравью и будь мудрым!» — изрек великий царь в земле Иудейской, это я узнала в библиотеке, вот я и шла, не останавливаясь, пока не добралась до первой же большой муравьиной кочки, где и стала дожидаться, что помудрею.

Муравьи — народ весьма респектабельный, они — олицетворение разума, все у них как арифметическая задача, где решение сходится с ответом. Работать и откладывать яйца, по их словам, значит, жить в настоящем и заботиться о потомстве, чем они и занимаются. Они разделяются на «чистых» муравьев и на «черных»; у них есть табель о рангах, первая по ранжиру — муравьиная царица, и ее мнение единственно правильное, ибо она постигла все премудрости, — знать это мне было немаловажно. Она говорила так много и до того умно, что мне это показалось глупым. Она говорила, что выше их кочки в мире ничего нет, но рядом стояло дерево, которое было выше, много выше, отрицать этого было нельзя, и посему это не обсуждалось; как-то вечером один муравей заблудился, и заполз на это дерево, и забрался ну не на самую макушку, но так высоко, как никогда еще не забирался никакой муравей; повернув назад и отыскав дорогу домой, он рассказал в муравейнике, что снаружи есть нечто более высокое, но остальные муравьи усмотрели в этом оскорбление всему их сообществу и приговорили его к наморднику и долговременному одиночеству; только вскоре после того к дереву приполз другой муравей, и совершил такое же путешествие, и сделал

то же самое открытие, и рассказал о нем, как передавали, в сдержанных и расплывчатых выражениях, а поскольку это был уважаемый муравей, из «чистых», ему поверили, и когда он умер, ему воздвигли памятник из яичной скорлупки, отдавая дань уважения учености. Я видела, — продолжала мышка, — как муравьи бегают взад и вперед, перетаскивая на спине яйца; одна муравьиха уронила свое яйцо, как она ни старалась его поднять, ничего у нее не получалось, тут на выручку пришли двое других, они помогали ей, не жалея сил, так что чуть было не обронили собственные яйца, тогда они моментально ее оставили, ведь всяк сам себе дороже; а муравьиная царица сказала по этому поводу, что здесь были явлены сердце и ум. «Эти два качества возносят нас, муравьев, над прочими разумными существами. Ум должен и обязан главенствовать, а умнее всех — я!» — и тут она поднялась на задние лапки, до того приметная, что ошибиться нельзя было; я взяла ее и проглотила! «Пойди к муравью и будь мудрым!» Я же добралась до само́й муравьиной царицы!

Потом я подошла поближе к упомянутому большому дереву, это был дуб, с высоким стволом и могучею кроною, старый-престарый; я знала, тут обитает живое создание, женщина, что зовется дриадою, она рождается вместе с деревом и вместе с ним умирает; я слыхала об этом в библиотеке; и вот теперь я воочию увидала такое дерево и дубовую нимфу; завидя меня так близко, она испустила душераздирающий крик; как и все женщины, она безумно боялась мышей, но у нее было на то куда больше оснований, чем у других, ведь я могла подгрызть дерево, и тогда бы оборвалась ее жизнь. Я заговорила с ней тепло и приветливо и ободрила ее, и она посадила меня на свою нежную ладонь и, узнав, что побудило меня отправиться странствовать по белу свету, пообещала, что, быть может, уже в тот же самый вечер я обрету одно из двух сокровищ, которые мне еще осталось найти. Она поведала мне, что Фантазий — ее короткий приятель, он так же прекрасен, как

и бог любви, и что он не раз отдыхал под сенью этих ветвей, которые еще пуще шумели у них над головами; он звал ее своею дриадой, сказала она, а дерево — своим деревом, корявый, могучий, красивый дуб пришелся ему по душе. Его крепкие корни широко протянулись и глубоко ушли в землю, а ствол с кроною возносился ввысь, в открытое небо, и спознался с метелями, буйными ветрами и жарким солнцем. Да, так она и говорила: «На самой верхушке распевают птицы и рассказывают о чужих краях! А на единственном высохшем суку свил гнездо аист, это так украшает, а кроме того, узнаешь кое-какие вести из страны пирамид. Фантазию все это очень нравится, но только ему этого мало, он и меня упрашивает рассказывать ему про жизнь в лесу с тех самых пор, как я была маленькой, а дерево — нежным росточком, не видным из-за крапивы, и до сего дня, когда оно стало таким большим и могучим. Сядь-ка сюда, под ясменник, и гляди в оба: когда прилетит Фантазий, я уж как-нибудь изловчусь и щипну его за крыло и выдерну перышко, забирай его, лучшего не доставалось ни одному поэту!.. Этого тебе будет довольно!»

Прилетел Фантазий, перо было вырвано, я его схватила, — продолжила мышка. — Я держала его в воде, пока оно не размякло!.. Оно все еще было неудобоваримо, но я его сгрызла! Это совсем нелегко — прогрызать себе путь в поэзию, ведь приходится много чего проглатывать! Итак, я обладала уже двумя сокровищами, умом и фантазией, и благодаря им я знала теперь, что третье искать надобно в библиотеке, ибо кто-то из великих изрек и написал: романы существуют единственно для того, чтобы избавить людей от излишних слез, иначе говоря, это своего рода губка, впитывающая чувства. Я припомнила парочку таких книг, они всегда казались мне весьма аппетитными, они были до того зачитаны, до того засалены, наверняка они вобрали в себя безбрежное море.

Я направилась домой, в библиотеку, и за один присест проглотила почти целый роман, то есть мякоть, собственно

содержание, корку же, переплет, я не трогала. Переварив этот роман, а за ним другой, я почувствовала, как во мне что-то зашевелилось, я принялась за третий — и стала поэтом, так я и сказала себе и другим; у меня разболелась голова, разболелся живот и чего только не разболелось; я стала думать о том, какие истории можно привязать к колбасной палочке, и в голову мне пришло столько! — муравьиная царица отличалась необыкновенным умом; я вспомнила про человека, который взял в рот оструганную палочку и сделался невидимкою, и палочка тоже; я подумала про палку о двух концах и как ставят палки в колеса, работают из-под палки, перегибают палку — и забивают осиновый кол! Все мысли мои были заняты палками! А ведь о них можно сочинять, коль ты поэт, а я и есть поэт, я ради этого из шкуры лезла! Итак, каждый божий день я могла бы вас угощать палкой, то бишь историей, это и есть мой суп!

— Давайте-ка теперь послушаем третью! — сказал Мышиный король.

— Пи! Пи! — раздалось с порога, и в кухню влетела мышка, четвертая по счету, та, которую считали погибшей; она сшибла колбасную палочку, обвитую черным флером, она бежала и день, и ночь, ехала по железной дороге товарным поездом, на который ей удалось попасть, и все равно чуть было не опоздала; она протиснулась вперед, вся взъерошенная, она потеряла свою колбасную палочку, но отнюдь не дар речи, и с места в карьер принялась рассказывать, как будто все только ее и ждали, только ее и хотели слушать, а больше на свете ничего не существовало; она заговорила, не переведя духу, — и выговорилась; она появилась до того неожиданно, что, пока она рассказывала, никто не успел ее осадить.

Послушаем-ка!

IV. ЧТО ПОВЕДАЛА ЧЕТВЕРТАЯ МЫШЬ, КОТОРАЯ ОПЕРЕДИЛА ТРЕТЬЮ

— Я сразу же отправилась в самый большой город, — сказала она. — Названия я не помню, у меня на это плохая память. Прямо с поезда я попала вместе с конфискованными товарами в ратушу, а там подбежала к тюремщику; он рассказывал о своих узниках, особенно об одном, который позволил себе опрометчиво высказаться, и вот из этого-то раздули бог знает что. «Все это — суп из колбасной палочки! — сказал тюремщик. — Но этот суп может стоить ему головы!» Конечно же, этот узник меня заинтересовал, — продолжала мышка. — Улучив момент, я к нему проникла; пусть двери и на замке, но лазейка для мыши всегда отыщется! Он был бледен, у него были длинная борода и большие блестящие глаза. Лампа коптила, но стены к этому были привычные, куда уж им стать чернее. Узник выцарапывал рисунки и стихи, белым по черному; я их не читала. По-моему, он скучал, я оказалась желанной гостьей. Он начал приманивать меня хлебными крошками, свистом и ласковыми словами; он так мне радовался; я доверилась ему, и мы стали друзьями. Он делил со мной хлеб и воду, угощал меня сыром и колбасой; я жила припеваючи; и все ж таки, должна сказать, больше всего меня привлекала его обходительность. Он позволял мне бегать по своей руке, даже под рукавом; позволял взбираться на бороду, называл меня своим дружочком; я порядком к нему привязалась да и как же тут не ответить взаимностью! Я позабыла, зачем пустилась путешествовать по свету, позабыла о колбасной палочке, припрятанной в щелке пола, она так там и лежит. Я решила остаться, ведь уйди я, бедный узник был бы один-одинешенек, разве это жизнь! Я осталась, а он — нет! В последний раз он говорил со мною так грустно, дал мне двойную порцию хлеба и сырных корок и послал мне воздушный поцелуй; он ушел и больше не вер-

нулся. Не знаю, что с ним сталось. «Суп из колбасной палочки!» — повторил тюремщик, к нему я и пошла, но ему-то как раз доверять не следовало; да, он взял меня в руки, только он посадил меня в клетку с нудным колесом, это было убийственно! Бежишь, бежишь — и ни с места, а над тобой же еще и потешаются!

Внучка тюремщика была премилой малюткой, с вьющимися золотистыми волосами, веселая и улыбчивая. «Бедная мышка!» — сказала она, заглянув в мою мерзкую клетку, и вытащила железный штырек — я спрыгнула на подоконник, а оттуда — в кровельный желоб. Свободна! Свободна! — не шло у меня с ума, где уж там помнить о цели моего путешествия!

Было темно, надвигалась ночь, я остановилась на ночлег в старой башне; там жили сторож и сова; никому из них я не доверяла, особенно сове; сова походит на кошку и страдает большим недостатком — она ест мышей; но всем свойственно ошибаться, вот и я тоже ошиблась; это была почтенная старая сова, в высшей степени образованная, она знала куда больше, чем сторож, и ровно столько же, сколько я; совята ее подымали шум по любому поводу; «Бросьте-ка варить суп из колбасной палочки!» — увещала она их, и это самые строгие слова, на какие она только была способна, до того горячо она любила свое семейство. Я прониклась к ней таким доверием, что пискнула из щелки, где укрывалась; она это оценила и обещала мне свое покровительство и заверила в том, что не позволит тронуть меня ни единому зверю, уж лучше она сама меня съест поближе к зиме, когда будет тяжело с продовольствием.

Ума у нее была палата; она доказала мне, что сторож не мог бы трубить, не будь у него привешен рожок. «Оттого он и пыжится, вообразил себя невесть какой важной птицей! Много шуму, да мало толку! Суп из колбасной палочки!» Тут я попросила у нее рецепт, и тогда она объяснила мне: «Суп из колбасной палочки — всего-навсего поговорка, которая в хо-

ду у людей, и толковать ее можно по-всякому, причем каждый уверен, что его толкование — единственно верное; на самом же деле это ничего не значит!»

«Ничего не значит!» — повторила я. Это меня сразило! Истина не всегда приятна, однако она превыше всего! Вот и старая сова тоже так сказала. Я поразмыслила над этим и поняла: если я принесу то, что превыше всего, это будет куда больше, чем суп из колбасной палочки. И тогда я мигом собралась в путь, чтобы успеть попасть домой в назначенный срок и принести наивысшее и наилучшее: истину. Мыши — народ просвещенный, а Мышиный король среди них — светоч. Он способен на то, чтобы сделать меня королевой во имя истины!

— Твоя истина — ложь! — сказала мышь, которой еще не давали слова. — Я умею варить этот суп — и сварю!

V. КАК ОН ВАРИЛСЯ

— Я никуда не ездила, — сказала последняя мышь, — я осталась на родине, это самое правильное! Зачем уезжать, когда все и так под рукой! Я осталась! Я не якшалась со сверхъестественными существами, не глодала книг и не вела бесед с совами. Я научилась варить суп, потому что самостоятельно мыслила. А ну-ка поставьте котел на очаг да налейте воды, с краями! Разведите под ним огонь! Пусть горит, пусть вода закипит, она должна кипеть ключом! Теперь бросьте туда палочку! Ну а сейчас не соизволит ли Мышиный король сунуть свой хвост в бурлящую воду и помешать? Чем дольше он будет помешивать, тем наваристей будет суп; это ничего не стоит! Не нужно никаких приправ, нужно только помешивать!

— А кто-нибудь другой это сделать не может? — спросил Мышиный король.

— Нет, — сказала мышь. — Тут вся сила — в королевском хвосте!

Вода закипела ключом, и Мышиный король пристроился у самого котла, что было небезопасно, и примерился, как это обыкновенно делают мыши в молочной, собираясь снять хвостом сливки, а потом его облизать, но стоило ему запустить хвост в горячий пар, и он тотчас же спрыгнул на пол.

— Разумеется, ты станешь моей королевой! — сказал он. — А с супом мы погодим до нашей золотой свадьбы, тогда у бедняков в моем королевстве будет чему радоваться и что предвкушать!

И они справили свадьбу; правда, многие мыши, придя домой, говорили:

— Какой же это суп из колбасной палочки? Скорее, это суп из мышиного хвоста!

Кое-что из рассказанного, на их взгляд, было изложено очень недурно, ну а в целом все могло быть иначе! «Вот я бы рассказала так-то и так-то!..»

То была критика, а критики всегда крепки — задним умом.

*

История эта обошла весь свет, мнения на ее счет разделились, однако же от нее нисколько не убыло; а это самое главное в большом ли, в малом ли, даже в супе из колбасной палочки; только благодарности за нее ожидать не приходится!

НОЧНОЙ КОЛПАК ХОЛОСТЯКА

Есть в Копенгагене улица с чудны́м названием «Hyskenstræde», а почему она так называется и что бы это могло означать? Считается, что слово — немецкое, а вот тут немцев и обидели: тогда бы нужно говорить «Häuschen», что значит: маленькие дома; оные же в ту пору, да и много лет спустя, являли собою не что иное, как деревянные лавки, вроде тех, какие мы нынче видим на ярмарках; ну, может, чуть побольше и с окошками, только окошки были роговые или же затянуты пузырем, ибо в то время за дороговизною стекольчатые окна имелись далеко не во всех домах, но только и было это так давно, что, рассказывая об этом, прадедушкин прадедушка тоже говорил «в старину», выходит, тому уж несколько сот лет назад.

В Копенгагене вели торговлю богатые купцы из Бремена и Любека; сами они сюда не ездили, а посылали своих приказчиков, которые и жили в деревянных лавках на Мелкодомной улице и занимались продажею немецкого пива и пряностей. И какое же это было чудесное пиво, а скольких сортов — «Бременское», «Прусское», «Эмское», даже крепкое «Брауншвейгское», ну а все эти пряности: шафран, анис, имбирь и особенно перец — перец был важнее всего, потому-то немецкие приказчики и получили в Дании прозвание «перечные приказчики», то бишь холостяки, ведь их связывало обя-

зательство, которое они вынуждены были принять на родине: не жениться. Так многие и жили до глубокой старости; им приходилось самим о себе заботиться, самим себя обихаживать, самим тушить огонь в очаге и в груди, ежели таковой разгорался; иные превращались в этаких бобылей со своими стариковскими понятиями и привычками; вот отсюда у нас и пошел обычай всякого неженатого мужчину, который уже в летах, называть «перечным приказчиком»; все это надобно знать, для того чтобы понять эту историю.

Над холостяком подшучивают, он-де напялит ночной колпак, надвинет его на глаза — и на боковую.

Грех да беда на ком не живет!
Холостяки — невезучий народ:
С ночным колпаком да всю ночь напролет, —
А кто же им свечку зажжет?

Да, вот так вот о них и поют! Над холостяком и его ночным колпаком насмехаются, а все потому, что так мало про него знают и про ночной колпак тоже, — ох, не дай тебе бог примерить этот колпак! Хочешь знать почему? Тогда слушай!

В стародавние времена на Мелкодомной улице не было никакой мостовой, люди ходили по рытвинам да колдобинам, ну прямо как по оврагу, и было там тесненько: лавки стояли впритык друг к дружке, а те, что напротив, — чуть ли не в двух шагах, поэтому летом хозяева нередко натягивали между ними через улицу парусину, и как же под этим навесом пряно пахло перцем, шафраном и имбирем! За прилавком редко можно было увидеть молодого приказчика, нет, то были все больше люди пожилые, и носили они вовсе не парики и ночные колпаки, как нам думается, и не триповые панталоны, жилеты и наглухо застегнутые сюртуки, нет, так одевался прадедушкин прадедушка, таким он и изображен на портрете, приказчикам же заказывать свои портреты было не по карману, а ведь куда как хорошо было бы иметь в наши дни

портрет одного такого старика, где бы он был изображен за прилавком или же по дороге в церковь в воскресный день. В широкополой, с высокою тульей шляпе — а кое-кто из приказчиков помоложе частенько втыкал туда перышко; шерстяная рубашка скрыта под отложным полотняным воротником, облегающая куртка застегнута на все пуговицы, сверху наброшен плащ, а длинные штаны заправлены в широконосые башмаки — чулок-то они не носили. За пояс заткнуты нож и ложка, а кроме того, еще один, большой, нож — чтобы обороняться, в те времена это было обычным делом. Именно так одевался по воскресным дням старый Антон, один из старейших «перечных приказчиков» в Мелкодомной улице, только вместо шляпы с высокою тульей на нем был башлык, а под ним — вязаный колпак, самый настоящий ночной колпак, он настолько к нему привык, что носил его не снимая, у него их было целых два; вот бы кого написать — худущий, как щепка, с частыми морщинами около глаз и рта, длинными костлявыми пальцами и седыми косматыми бровями; над левым глазом нависал целый клок, красить это его не красило, зато уж ни с кем не спутаешь; о нем было известно, что он приехал из Бремена, но родом, собственно, не оттуда, там жил его хозяин, а сам он был из Тюрингии, из города Эйзенаха, что неподалеку от Вартбурга; о родных краях старый Антон говорил мало, но тем больше думал.

Старые приказчики, населявшие улицу, редко когда собирались вместе, каждый оставался в лавке, которая рано вечером закрывалась и погружалась во мрак, слабый свет пробивался лишь из рогового окошка на чердаке, там, у себя в каморке, старик и сидел, чаще всего на своей постели, и, держа в руках немецкий псаломник, пел свой вечерний псалом, а не то возился по хозяйству и далеко заполночь был все еще на ногах; веселого тут мало, что и говорить; чужому в чужой стране — горькая доля! Никому до тебя нет дела, разве что ты кому заступишь дорогу!

Частенько, когда на дворе стояла кромешная ночь, дождливая, ветреная, здесь становилось до того пустынно и мрачно; фонарь был всего один, да и тот маленький, и висел он в самом конце улицы, над образом Святой Девы, написанным на стене. Слышно было, как совсем рядом, у Дворцового острова, на который улица смотрела другим концом, вода шумно плещется в бревенчатый парапет. Одинокие то были вечера и предлинные, ежели их нечем было коротать: ведь не каждый же день нужно распаковывать и упаковывать, сворачивать фунтики и драить чашки весов. Тогда надобно найти себе другое занятие, что старый Антон и делал: он сам латал свое платье, сам починял свои башмаки; когда же он наконец укладывался, то колпака, по своему обыкновению, не снимал, лишь поглубже его натягивал, правда, вскоре сдвигал его на лоб, чтобы поглядеть, хорошо ли он загасил свечу; нашаря ее, он сдавливал фитиль, после чего снова укладывался и, перевернувшись на другой бок, снова надвигал поглубже ночной колпак; но тут его нередко посещала другая мысль: а точно ли в маленькой жаровне внизу потухли уголья, точно ли они все успели остыть, что, если там еще тлится последняя искорка, она может вылететь и натворить бед; и вот он вставал с постели, ощупью слезал по чердачной лестничке, которую и лестницей-то не назовешь, и подходил к жаровне — там было не видать ни единой искры, так что он мог возвращаться наверх; но зачастую он на полпути останавливался, засомневавшись, приперта ли дверь железным прутом и накинут ли крючок на ставни; и он спускался вниз на тонких своих ногах; он мерзнул, заползая в постель, он стучал зубами, ведь холод только и начинает по-настоящему пробирать, когда знает, что ему пора убираться прочь. Антон накрывался с головою пуховым одеялом. Надвигал ночной колпак на глаза и отстранял мысли о хлопотливом дне, но приятности в этом не было, ведь тогда его посещали воспоминания прошлого и развешивали свои занавеси, а там иной раз сидят булавки, на которые как раз и наколешься.

Ай! — вскрикнешь ты. А если они вопьются в открытую рану и станут жечь, тут недолго и до слез, так и со старым Антоном, на глаза у него частенько навертывались слезы, горючие слезы, прозрачнейшие жемчужины; они падали на одеяло и на пол, и звенели при этом, словно лопнувшая струна боли, и хватали за душу; само собой, они улетучивались, они разгорались и превращались в пламя; но перед тем высвечивали для него ту или иную картину жизни, которая не изглаживалась из его сердца; когда же он утирал глаза ночным колпаком, слеза исчезала, картина тоже — но не их источник, тот неизменно пребывал в его сердце. Картины проходили перед ним не той чередой, как это было в жизни, чаще всего он видел самые мрачные, хотя порой возникали и те, что были окрашены светлой печалью, но именно они-то и отбрасывали самые глубокие тени.

«Прекрасны датские буковые леса!» — говорили люди, но для Антона куда прекраснее был буковый лес, что высился в окрестностях Вартбурга; куда могучее и почтеннее казались ему старые дубы, окружавшие гордый рыцарский замок на скалах, где с каменистых уступов ниспадали вьющиеся растения; яблонный цвет там благоухал куда слаще, нежели в датской стране; он по сю пору живо ощущал все это и чувствовал. Катилась слеза, звенела и светила: он отчетливо видел в ней двоих ребятишек, мальчика и девочку, что играли вместе; у мальчика были красные щеки, желтые кудрявые волосы, честные голубые глаза, это был сын богатого лавочника, маленький Антон, то есть он сам; у маленькой девочки, бойкой и смышленой на вид, были карие глаза и черные волосы, это была дочь бургомистра Молли. Они играли яблоком — трясли его и слушали, как внутри шуршат зернышки; потом они яблоко разрезали, и каждый получил половинку; зернышки они поделили между собой и съели, кроме одного — его, решила девочка, надо закопать в землю.

«Вот увидишь, что из него выйдет, а выйдет то, чего ты сроду не угадаешь, — целая яблоня, но только не сразу!»

И они посадили зернышко в цветочный горшок; и оба выказали большое усердие; мальчик проковырял пальцем ямку, девочка положила туда зернышко, и вдвоем они прикрыли его землей.

«Смотри же, не вынимай его завтра, чтоб проверить, проросло оно или нет, — сказала она. — Этого нельзя! Я сделала так с моими цветами, всего два раза, мне хотелось поглядеть, растут ли они, я тогда еще ничего не смыслила, и цветы умерли!»

Цветочный горшок остался у Антона, и всю зиму, каждое утро, он к нему наведывался, но, кроме черной земли, ничего там не видел; но вот пришла весна, начало пригревать солнце, и в горшке проклюнулся стебелек и выпустил два крохотных зеленых листочка.

«Это я и Молли! — сказал Антон. — Вот дивно-то! Ну надо же!»

Скоро показался третий листок; кто бы это мог быть? А потом еще один, и еще! С каждым днем и с каждой неделей росточек становился все больше и больше — и превратился в целое деревце. И все это отразилось сейчас в одной-единственной слезе, которую уронил и вытер старый Антон; но источник слез не иссякал, то было Антоново сердце.

Близ Эйзенаха тянется гряда каменистых гор, одна из них, округлая, выдается вперед, на ней нету ни деревьев, ни кустов, ни травы; она зовется Венериной горой; в горе этой живет госпожа Венера, богиня времен язычества, ее переименовали во фрау Холле, это знал — и до сих пор знает — каждый ребенок в Эйзенахе; она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера, миннезингера из числа вартбургских певцов.

Маленькая Молли с Антоном частенько стояли возле этой горы, и однажды она сказала:

«А ты не побоишься постучать и сказать: “Фрау Холле! Фрау Холле! Отвори, это я, Тангейзер!”»

Антон побоялся, а Молли — нет; правда, громко и раздельно она выговорила лишь: «Фрау Холле! Фрау Холле!»,

остальное же просто пробормотала, так невнятно, что Антон был уверен: она так ничего толком и не сказала; Молли держалась до того бойко, ну до того бойко, ну вот, к примеру, когда она приходила к нему в сад вместе с другими девчушками и всем им хотелось поцеловать его — именно потому, что он не желал, чтоб его целовали, и отбивался, — на это осмеливалась только она одна.

«А я возьму его и поцелую!» — гордо заявляла она и обнимала его за шею; она этим тщеславилась, и Антон мирился с этим и ни о чем не задумывался. Она была такая хорошенькая и резвая! Фрау Холле в горе тоже, говорят, была красивая и прелестная, но эта ее прелесть, по слухам, была бесовской, обольщением зла. Совершенством же красоты, напротив, почитали святую Елизавету, покровительницу края, праведную тюрингскую герцогиню, чьи добрые деяния, о коих сложены предания и легенды, прославили столько мест; в часовне в окружении серебряных лампад висел ее образ... и все-таки она ничуть не походила на Молли.

Яблонька, которую посадили дети, росла год от году, она стала такой большой, что пришлось высадить ее в сад, под открытое небо, где выпадала роса и пригревало солнце, она набралась сил, чтобы выстоять перед натиском суровой зимы, а с приходом весны на радостях расцвела; осенью она принесла два яблока — одно для Антона, другое — для Молли, — ни больше ни меньше.

Деревце все вытягивалось, Молли не отставала, она была свежа, как яблонный цвет; но недолго оставалось Антону на этот цветок любоваться. Все течет, все меняется! Отец Молли покинул свой старый дом, и Молли уехала с ним, далеко-далеко... Это в наше время туда можно домчаться на парах в считанные часы, ну а тогда люди тратили более суток на то, чтобы попасть в края к востоку от Эйзенаха, совсем на другой конец Тюрингии, в город, что и по сю пору зовется Веймаром.

Молли плакала, и Антон плакал — все эти слезы вобрала в себя сейчас одна-единственная слеза, и отливала она красным чудесным светом радости. Молли сказала ему, что он ей дороже всего веймарского великолепия.

Минул год, и два, и три, и за все это время пришло два письма, одно передал возчик, другое — какой-то проезжий; дорога была длинная, трудная, она то и дело петляла вокруг городов и местечек.

Сколько раз Антон с Молли слушали вместе историю о Тристане и Изольде! Антон часто воображал, что это про него с Молли, хотя имя Тристан означало «рожденный для скорби», а это к Антону не подходило, к тому же ему никогда б не вспало на мысль, как Тристану: «Она меня позабыла!», тем более что Изольда вовсе не позабыла своего сердечного друга, а когда они оба умерли и были погребены по разные стороны церкви, то на их могилах выросли две липы и сплелись цветущими ветвями над церковною кровлею; до чего же это красиво, думал Антон, и вместе с тем до того печально... ну да у них с Молли все будет иначе, и он принимался насвистывать песенку миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде:

На лугу, под липою...

Особенно хорошо там звучало:

В тиши дола, средь ветвей —
Тандарадай! —
Заливался соловей!

Песенка эта сама просилась на язык, он напевал ее и насвистывал и в ту ясную лунную ночь, когда, оседлав коня, поскакал по ухабистой дороге в Веймар навестить Молли; он хотел застать ее врасплох, так оно и вышло.

Ему оказали радушный прием, налили полный кубок вина, он очутился в кругу веселых людей, знатных людей, ему от-

вели уютную комнату с мягкой постелью, и, однако, же все было совсем не так, как представлялось ему в мечтах; он не понимал себя, не понимал других; зато мы это понимаем! Можно находиться в доме, в семье, но не сойтись с нею, вы ведете разговоры, как если бы встретились в почтовой карете, знакомство ваше шапочное, вы друг друга стесняете, вы желаете убраться подальше или же чтобы убрался ваш добрый попутчик. Нечто в этом роде чувствовал и Антон.

«Я честная девушка, — сказала ему Молли. — Я скажу тебе все сама! Многое изменилось с тех пор, как мы играли вместе детьми, все теперь по-другому и вокруг, и в нас, привычка и желание не властны над нашим сердцем! Антон! Я не хочу потерять в тебе друга, ведь скоро я буду далеко отсюда... Поверь, ты мне по мысли, но любить тебя — а я знаю теперь, что значит полюбить другого человека, — любить тебя я никогда не любила!.. Ты должен с этим примириться!.. Прощай, Антон!»

И Антон ответил: «Прощай!»; он не пролил ни единой слезинки, он лишь почувствовал, что больше он Молли не друг. Раскаленный железный прут и обледенелый железный прут одинаково больно сдирают с губ кожу, если к ним приложиться губами, Антон же поцеловал любовь не менее крепко, чем ненависть.

И суток не прошло, как он добрался домой в Эйзенах, зато испортил коня.

«Ну и что такого! — сказал он. — Мне все испортили, вот и я возьму и испорчу все, что мне о ней будет напоминать. Фрау Холле! Госпожа Венера! Язычница, вот ты кто!.. Яблоню я сломаю и растопчу, вырву с корнем, чтоб никогда уже не цвела больше и не приносила плодов!»

Яблоня осталась стоять, а сам он свалился и лежал в жару. Что же могло поднять его на ноги? Нашлось верное лекарство, горше которого не бывает, это было хорошей встряской для больного тела и увечной души: отец Антона, богатый лавочник, разорился. Наступили тяжкие дни, дни испы-

таний; беда не ходит одна: как морские валы, обрушивались одно за другим несчастья на зажиточный прежде дом. Отец впал в бедность, горе и напасти сломили его вконец; теперь у Антона были заботы поважнее, чем страдать по Молли и на нее злиться; пришлось ему стать дома кормильцем-поильцем, пришлось все улаживать, помогать, трудиться, засучив рукава, отправиться даже в чужие края на заработки.

Он попал в Бремен, узнал там нужду и тяготы, а это или ожесточает сердце, или умягчает его, порой даже чересчур. Свет и люди оказались далеко не такими, какими они ему представлялись в детстве! Что ему теперь песни миннезингеров! Трень-брень! Словоблудие! Да, так он иной раз думал, ну а бывало, песни эти проникали его душу, и он настраивался на благочестивый лад.

«Господь все направляет к лучшему! — говорил он тогда. — Хорошо, Он не попустил, чтоб Молли ко мне привязалась, к чему бы это привело теперь, когда счастье вот так вот мне изменило! Она отделалась от меня прежде, чем узнала или могла подумать, что дням процветания приходит конец. Господь оказал мне милость. Все, что случилось, — к лучшему! В этом есть мудрость свыше! Молли тут ни при чем; а я на нее так ополчился!»

Шли годы; у Антона умер отец, в родительском доме поселились чужие люди; правда, Антону привелось повидать его еще раз; богатый хозяин отправил его по торговым делам, и он оказался проездом в своем родном городе Эйзенахе. Старый Вартбург все так же стоял на скалах, а рядом — каменные «Монах и монахиня»; могучие дубы служили всему обрамлением, как и в дни его детства. В долине голо серела Венерина гора. Его так и подмывало сказать: «Фрау Холле! Фрау Холле! Открой гору! Тогда я хоть останусь на родимой земле!»

Это была греховная мысль, и он осенил себя крестным знамением; тут в кустах запела птичка, и ему пришла на память старинная песенка:

В тиши дола, средь ветвей —
Тандарадай! —
Заливался соловей!

Сколько же всего ему вспомнилось при виде родного города, который он озирал сквозь слезы! Отчий дом стоял, как и прежде, а вот сад перенесли, один угол старого садового участка пересекала проселочная дорога, и яблоня, которую он тогда так и не уничтожил, очутилась уже за садовой оградою, по другую сторону дороги, но ее все так же пригревало солнце и все так же умывала роса, она уродила столько яблок, что под их тяжестью ветви гнулись до самой земли.

«Она все растет! — проговорил он. — Ей ничего не делается!»

Правда, одна из больших ветвей на ней была сломана чьей-то озорною рукой, ведь дерево стояло у проезжей дороги.

«С него обрывают цветы, и спасибо не скажут, с него таскают яблоки и ломают ветки; если о дереве говорить как о человеке, тут впору сказать: разве было ему на роду написано, что его ожидает такая участь! Его история началась так красиво, ну а что потом? Заброшенное и забытое, садовое дерево стоит на обочине дороги и поля! Стоит на юру, каждый может трясти его и ломать! Засохнуть оно от этого не засохнет, но с годами цветов на нем будет все меньше, оно перестанет плодоносить... а там и конец истории!»

Вот о чем размышлял Антон под яблонным деревом, вот о чем он частенько размышлял по ночам в своей одинокой каморке в деревянном домишке на чужой стороне, в Мелкодомной улице в Копенгагене, куда его послал богатый хозяин, купец из Бремена, взяв с него обязательство не жениться.

«Жениться? Хо-хо!» — И он издал басовитый, чудной смешок.

Зима пришла рано, ударил жгучий мороз; на дворе мела метель, все, кто мог, сидели по домам, поэтому-то сосед на-

против и не заметил, что Антон целых два дня не отпирал свою лавку и не показывался, — кто ж будет выходить в этакую погоду без особой нужды?

На улице было серо и пасмурно, а в лавке — она же без стекольчатых окон — и вовсе царили сумерки да потемки. Старый Антон два дня не подымался с постели, у него на это недоставало сил; ненастная погода давно уже отзывалась ломотою во всем теле. Старый холостяк лежал, заброшенный и беспомощный, он еле-еле мог дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья, да и то все уж было выпито до последней капли. Не жар, не болезнь, а старость приковала его к постели. В каморке под крышей, где он лежал, его словно бы обступила ночь. Паучок, которого он не видел, довольный, прилежно плел над ним свою паутину, как будто хотел повесить пусть махонький, но новый и свежий траурный флер на случай, если старик закроет свои глаза.

Тягуче тянулось дремотно-пустое время; слезы давно уж высохли; боль ушла; о Молли он перестал и думать; у него было ощущение, что он уже не участвует больше в шумливой жизни, он — вне ее. Все его забыли. На какой-то миг ему почудилось, будто он чувствует голод — и жажду... да, он их чувствовал! Но никто не подал ему еды и питья, чтобы он мог подкрепиться, и не подаст — некому. Он подумал обо всех страждущих, вспомнил, как святая Елизавета, когда она жила земной жизнью, как она, святая его родимого края и его детства, благородная герцогиня Тюрингская, знатная-презнатная госпожа, не гнушалась заходить в самые что ни на есть бедные хижины, принося с собой еду, и питье, и надежду на исцеление. Ее праведные дела воссияли у него в памяти, ему вспомнилось, как она приходила и говорила страдальцам слова утешения, омывала болящим раны и приносила голодным пищу, хотя ее суровый муж на нее за это и гневался. Ему вспомнилась легенда о ней, в которой рассказывалось, как однажды, когда она шла с полною корзиной вина и еды, муж подстерег ее и, заступив ей до-

рогу, гневно вопросил, что у нее в корзине; она отвечала в страхе: «Розы, которые я нарвала в саду»; он сдернул салфетку, но ради праведной женщины свершилось чудо: вино и хлеб, и все, что было в корзине, превратилось в розы.

Такой жила святая в памяти старого Антона, такой явилась она его потускневшему взору, представ наяву перед его постелью, в убогой деревянной лавке, в датской стране. Он обнажил голову и посмотрел в ее ласковые глаза, а вокруг разливалось сияние и благоухали розы, они заполонили его чердак, а еще он услышал особенный, чудесный яблонный запах, он шел от цветущей яблони, которая простерла над ним свои ветви, это было то самое дерево, что выросло из зернышка, посаженного им с Молли.

И дерево стряхнуло на его пылающий лоб свои душистые лепестки и охладило его; они упали на его запекшиеся губы, и он словно бы освежился вином и подкрепился хлебом, они упали ему на грудь, и ему стало до того легко и покойно, и потянуло в дрему.

«Я засыпаю! — прошептал он тихо. — Сон пойдет мне на пользу! Завтра я буду здоров, буду на ногах! Прекрасно! Чудесно! Яблоню, посаженную с любовью, я вижу во всей красе!»

И он уснул.

На другой день — а был уже третий день, как лавка не отпиралась, — метель улеглась, и сосед напротив решил заглянуть к старому Антону, который все не показывался. Тот лежал мертвый, на спине, зажав в руках свой старый ночной колпак. В гроб Антона положили не в нем, ведь у него был еще один, чистый, кипенный.

Ну а куда ж подевались слезы, что он пролил? Куда подевались все эти жемчужины? Остались в его ночном колпаке — ведь подлинное не сходит от стирки — и вместе с колпаком были сокрыты и позабыты... Старые мысли, старые мечты, они так и остались в ночном колпаке холостяка. Не вздумай его примерить! Лоб у тебя от него запылает,

пульс забьется сильнее, сны начнут походить на явь; первый же, кто его надел, все это испробовал, хотя и произошло это полвека спустя, и надел его не кто иной, как сам бургомистр, находившийся вместе с женою и одиннадцатью детьми в стенах своего дома; ему тотчас же приснилась несчастная любовь, разорение и чуть ли не голодная смерть.

«Уф! До чего в нем жарко! — сказал бургомистр, сдергивая колпак, откуда, звеня и сверкая, выкатилась жемчужина, а за ней другая и третья. — Это все подагра! — сказал бургомистр. — У меня аж искры из глаз посыпались!»

То были слезы, пролитые полвека тому назад, пролитые старым Антоном из Эйзенаха.

Всякий, кто надевал этот ночной колпак, обязательно видел сны и видения, Антонова история становилась его собственною, так сложилась целая сказка, и не одна, ну да пусть их рассказывают другие, мы же рассказали первую, и вот наше последнее слово: упаси тебя бог примерить ночной колпак старого холостяка!

«КОЕ-ЧТО»

— Я хочу кое-чего добиться! — сказал старший из пяти братьев. — Я хочу приносить пользу; пусть положение мое будет самое скромное, главное, чтоб от моей работы был прок. Я буду выделывать кирпичи, без них не обойтись! Стало быть, я уже кое-чего добьюсь!

— Но это же слишком мало! — сказал второй брат. — Все равно что ничего; такая работа — подсобная, ее может выполнять и машина. Нет, тогда уж лучше стать каменщиком, это уже что-то. Пойду-ка я в каменщики! У меня будет звание! А значит, я вступлю в цех, стану горожанином, у меня будут свое знамя и свой кабачок; а коли все пойдет на лад, я смогу держать подмастерьев и буду зваться мастером и хозяином, а жена моя — хозяйкою; это немало!

— Это ровно ничего! — сказал третий. — Звание это — самое низкое, в городе же столько сословий и классов, куда до них мастеру! Ты можешь быть честным малым, но если ты всего только мастер, ты, что называется, «из простых»! Нет, я придумал кое-что получше! Я стану зодчим, вступлю на стезю художественную и умственную, поднимусь на одну ступень с вышестоящими в царстве духа; само собой, начать мне придется снизу, да почему бы и не сказать об этом как есть: мне

придется начать подручным у плотника, носить фуражку, хотя я привык к цилиндру, быть на побегушках у простых подмастерьев, бегать для них за пивом и водкою, а они будут мне тыкать, удовольствие небольшое! Но я буду воображать, что все это маскарад, что я — ряженый! А завтра — я хочу сказать, когда я сделаюсь подмастерьем, я пойду своею дорогой, и до других мне не будет дела! Я поступлю в Академию, выучусь рисовать и чертить, получу звание архитектора — это уже кое-что! Это уже много! Я стану «высокоблагородием», у меня будет титул — предлинный! Я буду строить и строить, как мои предшественники! Вот это занятие солидное! Это уже нечто!

— Твое нечто мне не по вкусу! — сказал четвертый. — Я не желаю быть последователем и подражателем, хочу быть гением, хочу быть всех вас способнее! Я создам новый стиль, я придумаю здание, которое бы удовлетворяло местному климату и материалу, национальному характеру и духу времени, и прибавлю еще один этаж в честь самого себя!

— А если климат и материал никуда не годятся? — сказал пятый. — Тогда дело дрянь, ведь это же будет иметь последствия! А национальный характер легко выпятить настолько, что это будет уже аффектацией, ну а желание идти в ногу со временем может толкнуть тебя на сумасбродства, как оно нередко случается с молодежью. Погляжу я, большого толку из вас не выйдет, как бы вы себя в этом ни уверяли! Воля ваша, а я на вас походить не желаю, я буду наблюдать за вами со стороны и судить о ваших делах. Во всем непременно есть какой-нибудь да изъян, вот их-то я и буду выискивать и подчеркивать, это и впрямь кое-что!

Так он и поступил, и люди говорили про пятого брата: «В нем решительно что-то есть! У него светлая голова! Вот разве что он ничего не делает!» Тем самым он уже кое-чего добился.

Это, знаете ли, всего-навсего историйка, но она будет повторяться, пока стоит мир.

Ну а пятеро братьев, что с ними сталось дальше? Вышло из них что-нибудь путное? Неужто это все? А вот послушайте, это целая сказка!

Старший брат, тот, что выделывал кирпичи, обнаружил, что с каждого готового кирпича в руки ему катится скиллинг, пускай и медный, ну а множество медных скиллингов, сложенных в стопку, превращаются в сверкающий талер, и куда им ни постучись, к булочнику ли, мяснику, портному, да к кому угодно, — дверь тотчас распахивается, и ты получаешь, что нужно; вот что приносили кирпичи; некоторые, правда, разваливались на куски или переламывались пополам, но им тоже нашлось применение.

Матушке Маргрете, бедной-пребедной женщине, до того хотелось поставить себе на дамбе, у моря, глинобитный домик; она-то и получила весь битый кирпич, да еще несколько целых кирпичин в придачу, ибо сердце у старшего брата было доброе, пускай он и не пошел дальше выделки кирпичей. Бедная женщина сама сложила себе домишко; вышел он тесноватым, единственное окошко сидело криво, дверь была чересчур низка, а соломенная крыша могла быть положена куда лучше, зато теперь ей было где приютиться, вдобавок отсюда открывался широкий вид на море, которое, бушуя, обрушивалось на дамбу; домишко обдавало солеными брызгами, но он держался, и пережил того, кто дал на него кирпич.

Второй брат, тот умел выкладывать стены как следует, на то он был и обучен. Выдержав испытание на звание подмастерья, он затянул свою котомку и запел песенку подмастерьев:

Пока я молод, побродить
По свету мне охота.
Всегда сумеет прокормить
Меня моя работа.
Когда ж домой я ворочусь,

Невесту успокою
И запросто обзаведусь
Своею мастерскою!

Так он и поступил. Воротился домой, и стал мастером, и давай ставить в центре города один дом за другим, и выстроил целую улицу, да такую, что залюбуешься; улица украсила лицо города; а все эти дома построили ему домик, который стал его собственным. Как так — построили? А вы спросите у них самих, только они не ответят, зато ответят люди и скажут: «Ясное дело, эта улица построила ему дом!» Вышел он маленький и с глиняным полом, но когда каменщик принялся отплясывать там со своей невестой, пол заблестел почище надраенного паркета, а из каждого кирпича в стене распустился цветок, это было ничем не хуже богатой обивки. Чудный домик и счастливая супружеская чета. У входа развевалось цеховое знамя, а подмастерья и ученики кричали: «Ура!» Это было нечто! Ну а потом он умер, это тоже было нечто!

Теперь очередь за третьим братом, который сперва был подручным плотника, носил фуражку и бегал на побегушках, но, выйдя из Академии, дослужился до архитектора и получил титул — предлинный и стал «высокоблагородием»! И если дома в помянутой улице построили домик его брату-каменщику, то названа она была в честь архитектора, и самый красивый дом там принадлежал ему, это вам не что-нибудь, и сам он был не кто-нибудь, а титулованное лицо, дети его звались благородными отпрысками, а жена, когда он умер, осталась благородной вдовою, это что-нибудь да значит! Имя его по-прежнему красовалось на углу улицы и было у всех на устах — да уж, это что-нибудь да значит!

Теперь настал черед гения, который намеревался придумать нечто новое, особенное да еще прибавить один этаж, но тот под ним подломился, и он упал вниз и свернул себе шею... Зато ему устроили чудесные похороны, с музыкой

и цеховыми знаменами, цветистым некрологом в газете и цветами на уличной мостовой, и над гробом его было произнесено целых три речи, одна длиннее другой, вот это его порадовало бы, уж очень он любил, когда о нем говорили; а на могиле его поставили памятник, правда, одноэтажный, но ведь и это кое-что значит!

Итак, он умер, как и трое других его братьев, так что пятый, критик и резонер, пережил их всех, ну и правильно, ведь за ним осталось последнее слово, а ему было чрезвычайно важно, чтобы последнее слово оставалось за ним. «Как-никак у него светлая голова!» — говорили люди. Но вот пробил и его час, он скончался и очутился у райских врат. А туда всегда прибывают попарно! Вот и он стоял там вместе с другою душой, которой тоже хотелось в рай, и была это не кто иная, как Матушка Маргрета из домишки на дамбе.

— Надо полагать, мы оказались рядом для пущего контраста, я и эта жалкая душонка! — сказал резонер. — Интересно, кто она такая? Бабуся! Ты тоже сюда? — спросил он ее.

Старуха присела перед ним как умела, она решила, что это с ней говорит сам святой Петр.

— Я бедная, убогая сирота! Матушка Маргрета из халупки на дамбе!

— И что же ты совершила и сделала в земной жизни?

— Право слово, ничего я в земной жизни не совершила! Ничего такого, чтоб мне отворили! Ежели меня сюда впустят, это будет истинное благодеяние!

— А как ты покинула этот мир? — спросил он, чтобы хоть как-то скоротать время, ему было скучно стоять и ждать.

— Как покинула? А даже и не знаю! Только в последние годы я совсем стала хворая, ну и, когда вылезла из постели — и на мороз, то, видать, не выдержала. Зима-то нынче суровая, ну да теперь уж все это позади. На море дня два было тихо-претихо, зато стужа стояла лютая, да вы, ва-

ше преподобие, и сами знаете; море, куда хватал глаз, замерзло; все городские высыпали на лед; они затеяли там беготню и танцы на скользкоступах — или как это у них там называется — с громкою музыкой и угощением; я лежала в моей жалкой каморке, оттуда мне все слыхать. И вот эдак под вечер — месяц взошел уже, он только еще народился — глянула я с постели в окно, на берег, и вижу: вдали, прямо там, где небо сходится с морем, показалось чудно́е белое облако; лежу я, гляжу на него да на черную точку в серёдке облака, а та все растет и растет, тут я и смекнула, что это значит; стара я и много повидала на своем веку, хотя этакую примету увидишь не часто. Я признала ее, и меня аж жуть взяла! Дважды за свою жизнь довелось мне видеть, как близится это облако, и я знала, надвигается ужасная буря с наводнением, и она застигнет этих несчастных на берегу, что сейчас выпивают, резвятся и радуются; там же весь город был, от мала до велика, кто же их упредит, ежели ни один из них не видит и не знает того, что вижу и знаю я. С перепугу я прямо ожила, ко мне возвернулись силы, впервые за много лет! Я встала с постели и добрела до окна — на большее-то меня не хватило; отворила его кое-как и вижу, люди бегают и прыгают по льду, вижу праздничные флаги, слышу, как мальчишки кричат «Ура!», а девушки с парнями распевают песни, там шло веселье, ну а белое облако с черной утробою поднималось все выше и выше; я закричала что было мочи, но меня никто не услышал, уж очень я была далеко. Вот-вот нагрянет буря, лед разломает, все провалятся и погибнут. Слышать они меня не слышали, спуститься к ним я была не в силах; как же мне залучить их на берег? Тут-то Господь и надоумил меня подпалить постель, лучше уж пускай дом сгорит, чем столько народу пропадет ни за что ни про что. Я зажгла свечу, а как увидала красное пламя... выбраться-то за порог я выбралась, да там и упа-

ла — смаялась; огонь — следом за мною, вырвался из двери, из окна да и перекинься на крышу; они как завидели это, помчались со всех ног ко мне, убогой, на помощь, думали, я сгорю в доме заживо; прибежали все до единого; это я слышала, а еще слышала, как в воздухе вдруг зашумело, а после как загрохочет, будто палят из пушек, вода поднялась и разломала лед; но они успели-таки добраться до дамбы, где надо мною летали искры; все они остались у меня целы и невредимы; а мне, видать, не вынести было стужи да страху, вот я и вознеслась сюда, к райским вратам; говорят, будто их отворяют даже таким бедолагам, как я! На земле я теперь осталась без крова, халупка-то на дамбе сгорела; дак ведь права войти сюда мне это не дает.

Тут райские врата распахнулись, и ангел провел старуху вовнутрь; входя, она обронила соломинку из своей подстилки, которую подожгла, чтобы спасти всех этих людей, — и соломинка эта превратилась в чистое золото, но при этом она стала вытягиваться, и виться, и сплетаться в чудеснейшие узоры.

— Смотри, что принесла бедная женщина! — сказал ангел. — А что принес ты? Да я и без того знаю, ничего ты не совершил, не сделал даже ни единого кирпича. Если бы ты только мог вернуться обратно и принести хотя бы один кирпич; наверняка он оказался бы никудышным, но если бы ты изготовил его с душою, это было бы уже кое-что; однако обратно ты вернуться не можешь, и помочь я тебе ничем не могу!

Тогда бедная душа, старуха из халупки на дамбе, принялась за него просить:

— Брат его сделал и отдал мне все кирпичи с обломками, из которых я сложила свою халупку, для меня, горемычной, это было превеликое счастье! Нельзя ли, чтоб все эти куски и обломки зачлись ему за один кирпич? Вот это будет по-божески! Он так нуждается, чтоб над ним смилостивились, а разве здесь не обитель милосердия?!

— Твой брат, которого ты ни во что не ставил, — промолвил ангел, — честное ремесло которого ты так презирал, вносит за тебя лепту в Царствие Небесное. Тебя отсюда не прогонят, тебе будет позволено стоять за вратами и обдумывать, как поправить земную жизнь, но войти ты сюда не войдешь, пока не совершишь чего-то на деле!

«Я бы все это изложил куда лучше!» — подумал резонер, однако же вслух ничего не высказал, а это, пожалуй, уже кое-что.

ПОСЛЕДНИЙ СОН СТАРОГО ДУБА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

В лесу, на высоком обрыве у берега моря, стоял старый-престарый дуб, ему было ни много ни мало триста шестьдесят пять лет, но столь долгий срок для него — все равно что такое же число суток для нас, людей; днем мы бодрствуем, ночью спим и видим сны; у дуба же все по-другому, три четверти года он бодрствует и только лишь к зиме засыпает, зима для него — время сна, это его ночь, наступающая после длинного дня, который зовется весною, летом и осенью.

Сколько раз, бывало, погожим летним днем около его ветвей кружилась подёнка, обитала, витала и чувствовала себя счастливою, когда же это крошечное создание присаживалось на миг на большой и свежий дубовый лист и замирало в тихом блаженстве, дуб неизменно говорил:

— Бедняжечка! Вся твоя жизнь — один-единственный день! До чего ж коротка она! Как это грустно!

— Грустно? — неизменно переспрашивала подёнка. — О чем ты? Мир восхитительно светел, здесь так тепло и чудесно, мне так весело!

— Да, но один лишь день, а после — всему конец!

— Конец! — говорила подёнка. — Кому конец? И тебе тоже конец?

— Нет, я проживу, быть может, еще с тысячи и тысячи твоих дней, мой день — это целых три времени года! Это нечто такое длинное, тебе нипочем не сосчитать!

— Нет, да я тебя и не понимаю! У тебя — тысячи и тысячи моих дней, зато у меня — тысячи радостных и счастливых мгновений! И что, вся прелесть этого мира исчезнет, когда ты умрешь?

— Нет, — сказал дуб, — пожалуй, она сохранится еще надолго, так надолго, я даже не представляю, на сколько!

— Ну, значит, нам отпущено поровну, только мы считаем по-разному!

И подёнка кружилась и вилась в воздухе, радуясь своим изящным бесценным крылышкам, таким прозрачным и бархатистым, радуясь теплому воздуху, напоенному густыми запахами кашки, шиповника, бузины и жимолости, не говоря уж о ясменнике, калужнице и дикой мяте; запахи были до того крепкие, что подёнке казалось, будто она чуточку захмелела. День был длинный и дивный, полный радости и сладостных ощущений, ну а когда заходило солнце, маленькая мушка, навеселившись, всякий раз чувствовала приятную истому. Крылышки уже не держали ее, тихо-претихо опускалась она на шелковую качающуюся травинку, кивала головою, как это умеют мушки, и блаженно засыпала — вечным сном.

— Бедная маленькая мушка! — говорил дуб. — Она прожила так недолго!

И каждый летний день все повторялось заново: кружение, речи и ответы и вечный сон; поколение за поколением подёнки появлялись и исчезали, и все они были одинаково счастливы, одинаково веселы. Дуб прободрствовал все весеннее утро, летний день и осенний вечер, теперь ему пришла пора спать, надвигалась его ночь, зима.

Бури уже пели ему:

— Покойной ночи, покойной ночи! Вот упал листок, вот упал другой! Мы обрываем, мы обрываем! Давай засыпай! Мы тебя убаюкаем, укачаем, твоим старым сучьям хорошо, верно ведь? Они даже потрескивают от удовольствия! Спи сладко, спи сладко! Это твоя триста шестьдесят пятая ночь, ты, в сущности, еще годовалый младенец! Спи сладко! Тучи посыпят землю снегом, постелят белую простыню, укутают тебе ноги снежным одеялом! Спи сладко, приятных снов!

И раздетый дуб приготовился отойти ко сну и проспать всю долгую зиму и видеть сны, в которых так же, как и у людей, всегда что-то да происходит.

Когда-то дуб тоже был маленьким, да, и желудь был ему колыбелькой; по людскому счислению, он жил на свете уже четвертое столетие; это было самое большое и могучее дерево в лесу; дуб возносил свою вершину над всеми остальными деревьями и был виден издалека, с моря, и служил кораблям вехою; ему и в голову не приходило, что его высматривает столько глаз. В зеленой кроне его вили гнезда дикие голуби и куковала кукушка, а осенью, когда листья походили на пластинки кованой меди, здесь отдыхали, прежде чем отправиться за море, перелетные птицы; но теперь была зима, дуб стоял безлистый, широко развесив свои кривые, корявые сучья; на них усаживались по очереди вороны и галки и толковали о том, что настали суровые времена, и о том, как трудно прокормиться зимою.

Тут подошло святое Рождество, и дубу приснился самый чудесный сон изо всех виденных; о нем-то мы и услышим.

У дуба было явственное ощущение, будто наступил праздник, ему слышался окрест колокольный звон; а еще будто бы стоял чудный летний день, теплый и ласковый; он раскинул пышным шатром свою сочную зелень, сквозь листву его и ветви сквозили солнечные лучи, воздух был напитан запахами трав и кустов, пестрые бабочки играли в пятнашки, подёнки самозабвенно кружились, словно все вокруг было со-

здано для того лишь, чтоб они могли кружиться и веселиться. Все, что на протяжении жизни дубу довелось пережить и увидеть, проходило теперь перед ним в праздничном шествии. Он видел старинных рыцарей и дам, ехавших на конях по лесу, в шляпах с перьями и с соколом на руке; трубил охотничий рог, заливались собаки; он видел вражеских солдат в сверкающих латах и пестрых одеждах, с копьями и алебардами, которые разбивали палатки и снова их свертывали; горел бивачный костер, под раскидистыми ветвями дуба пели песни и устраивались на ночлег; он видел влюбленных, что встречались тут при луне и, млея от счастья, вырезывали свои имена, начальную букву, на его серо-зеленой коре. Случалось, развеселые странствующие подмастерья — а было это раз в несколько лет — подвешивали к ветвям дуба цитру и эолову арфу, и вот они вновь здесь висели и вновь издавали чарующие звуки. Дикие голуби ворковали, будто хотели поведать, что при этом испытывал дуб, а кукушка куковала, сколько летних дней ему еще осталось прожить.

И тут дерево словно бы ощутило прилив живительных соков, что заструились вниз, добираясь до самых маленьких корешков, и вверх, достигая вплоть до кончиков листьев самых высоких веток; дерево почувствовало, как оно при этом вытягивается, даже корнями, в земле, оно осязало жизнь и тепло; оно чувствовало, что сил у него прибывает, оно становилось все выше и выше; ствол тянулся кверху, был все время в движении, вымахивал и вымахивал, крона возносилась все пышней и развесистей — и по мере того, как дуб рос, росли и его довольство и сладостное желание подняться еще выше, прямо к яркому, жаркому солнцу.

Он поднимался уже над облаками и тучами, которые ходили под ним то темною перелетной станицей, то большою белою лебединой стаей.

И каждый из его листьев мог озираться по сторонам, как если бы он был зрячим; средь бела дня ему видны были звез-

ды, огромные, сияющие; и каждая мигала, как пара глаз, до того ясных, до того ласковых; они напоминали дубу знакомые любящие глаза, детские глаза и глаза влюбленных, когда те встречались под его сенью.

То были упоительные, исполненные блаженства мгновенья! Но при всем при этом дуб томился желанием, чтобы и другие лесные деревья, и все оставшиеся внизу кусты, и цветы, и травы тоже смогли подняться сюда, и осязать весь этот блеск, и пережить эту радость. Грезя о своем великолепии, могучий дуб не мог быть до конца счастлив, ему хотелось, чтоб все, от мала до велика, были с ним рядом, он этого жаждал, и ветви его и листья трепетали так, как способно трепетать лишь человеческое сердце.

Дуб поводил своею вершиною, точно он чего-то искал, точно ему чего-то недоставало, он обернулся назад, и вдруг до него донесся запах ясменника, а чуть погодя еще более сильный аромат жимолости и фиалок, и ему послышалось, как отозвалась кукушка.

Ну да! Сквозь тучи и облака проглянули зеленые макушки — дуб увидел, как под ним растут и устремляются ввысь другие деревья; кусты и травы тянулись высоко вверх; некоторые даже оторвались от земли вместе с корнем и взмыли. Береза опередила всех; тонкий ствол ее с шелестом взметнулся вверх белой молнией, ветви развевались, словно зеленый флер или флаги; весь лес принялся расти в вышину, даже тростник с коричневыми метелками, птицы тоже летели к небу и распевали песни, а на длинной былинке, что вольно вилась и парила зеленой шелковой лентою, сидел и пиликал кузнечик, водя крылышком по своей задней ноге; майские жуки жужжали, пчелы гудели, всяк пел как умел, и радостная песнь эта неслась в поднебесье.

— Ну а синий цветик у воды, он тоже должен быть с нами! — сказал дуб. — И пурпурный колокольчик! И маленькая ромашка! — Дубу хотелось, чтобы все они были с ним.

— Мы здесь! Мы здесь! — разливалось в воздухе.

— А пригожий летошний ясменник!.. А позапрошлогодние ландыши, что цвели здесь в таком обилии!.. А дикая яблоня, до чего она была хороша!.. И вся эта лесная краса, которой я любовался много-премного лет!.. Доживи и дотяни они до этого дня, они тоже были бы рядом со мною!

— Мы здесь! Мы здесь! — зазвенело сверху, как будто они на лету обогнали дуб.

— Нет, ну до чего же чудесно! Просто не верится! — ликовал старый дуб. — Все они рядом! От мала до велика! Никто не забыт! Возможно ли, мыслимо ли такое блаженство!

— На небесах все возможно и мыслимо! — прозвучало в ответ.

И дуб, который все еще продолжал расти, почувствовал, как корни его высвободились из земли.

— Так оно будет лучше всего! — сказал он. — Теперь меня ничто не держит! Я полечу в вышние пределы, где царят свет и великолепие! И рядом со мною все, кого я люблю! Все, от мала до велика!

— Все!

Вот что грезилось дубу, а пока он грезил, в святую рождественскую ночь на море и суше разыгралась сильная буря; на берег обрушивались тяжелые морские валы, дуб скрипел и трещал, и под конец его вырвало с корнем, как раз когда ему снилось, что его корни высвободились. Он рухнул. Прожитые им триста шестьдесят пять лет сравнялись теперь с короткой жизнью подёнки.

Рождественским утром, когда показалось солнце, буря уже улеглась; по всем церквам торжественно звонили колокола, а из каждой трубы, даже самой маленькой, на крыше у хусмана*, вился синеватый дымок, точно над алтарем друидов, возжигавших благодарственные курения. Море все

---

* *Хусман* — мелкий крестьянин.

более и более успокаивалось, и большой корабль, который ночью благополучно выдержал натиск бури, по-рождественски празднично разукрасился флагами.

— Дерева не стало! Старого дуба, что служил нам вехой на берегу! — сказали моряки. — Его повалило в бурю этой ночью! Кто нам его заменит? Никто!

Таково было краткое, но искреннее надгробное слово, которого удостоился дуб, распростертый на снежном покрывале на берегу; а еще над ним прозвучал псалом, донесшийся с корабля, песнь о рождественской радости, о спасении душ человеческих во Христе и о вечной жизни:

Гряньте громче, Божьи чада!
Нам дарована отрада,
Ныне мы ликуем!
Аллилуйя, аллилуйя!

Так звучал старый псалом, и каждый на корабле, кто пел его и творил молитву, пусть по-своему, но возносился душою ввысь, точь-в-точь как это было со старым дубом в последнем его, самом чудесном сне рождественскою ночью.

Содержание

Литературно-художественное издание

АНДЕРСЕН
Ханс Кристиан

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СКАЗКИ И ИСТОРИИ

Редактор
А.Г.Николаевская

Младший редактор
Ю.Р.Камалова

Художественный редактор
Т.Н.Костерина

Оператор компьютерной верстки
А.В.Кузьмин

Оператор компьютерной верстки
переплета и блока иллюстраций
В.М.Драновский

Корректоры
Н.В.Семенова, С.В.Цыганова

Подписано в печать 26.07.2005
Формат 60x90/16
Тираж 7 000 экз.
Заказ № 1594.

ЗАО «Вагриус»
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д.4, корп.1

Отпечатано в ОАО «Тульская типография».
300600, г. Тула, пр-т Ленина, 109.

ВАГРИУС